М. ГОРЬКИЙ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

20

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО

# М. ГОРЬКИЙ

## ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

---

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ДВАДЦАТИ ПЯТИ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

# М. ГОРЬКИЙ

ТОМ ДВАДЦАТЫЙ

---

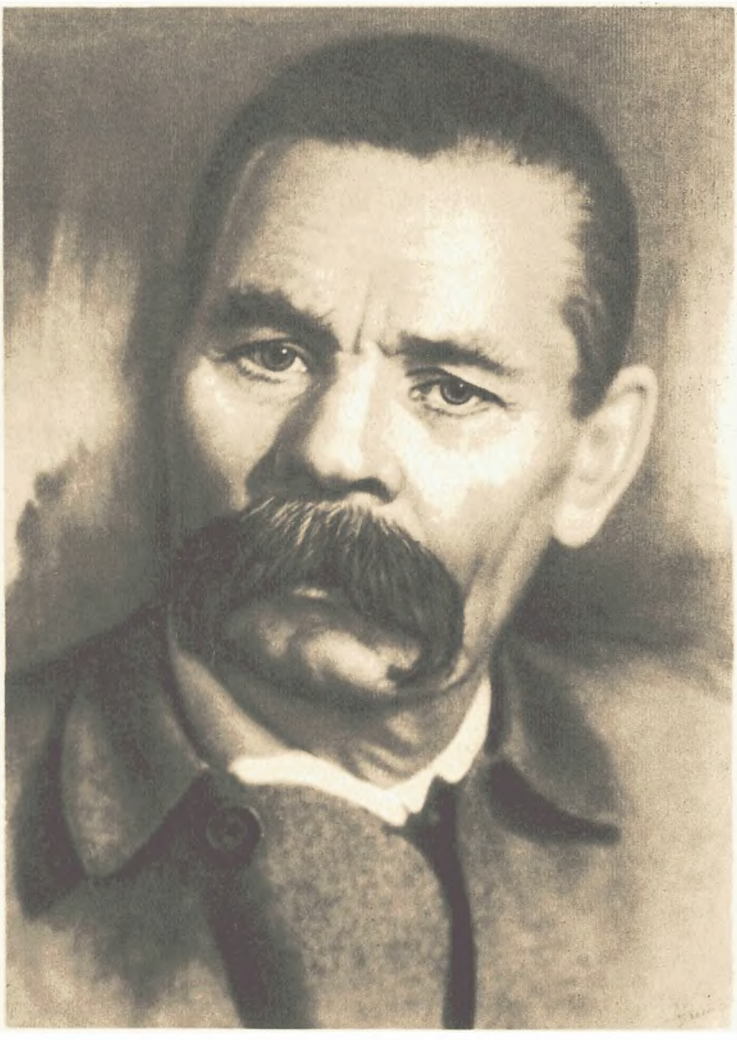
## РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНИЯ

1924—1935

МОСКВА · 1974

Г $\frac{0731—0799}{042(02)}$ Подписное

© Издательство «Наука», 1974 г.



А. М. ГОРЬКИЙ
Москва, 1928 г.

# I

# В. И. ЛЕНИН

Владимир Ленин умер.

Даже некоторые из стана врагов его честно признают: в лице Ленина мир потерял человека, «который среди всех современных ему великих людей наиболее ярко воплощал в себе гениальность».

Немецкая буржуазная газета «Prager Tageblatt», напечатав о Ленине статью, полную почтительного удивления пред его колоссальной фигурой, закончила эту статью словами:

«Велик, недоступен и страшен кажется Ленин даже в смерти».

По тону статьи ясно, что вызвало ее не физиологическое удовольствие, цинично выраженное афоризмом: «Труп врага всегда хорошо пахнет», не та радость, которую ощущают люди, когда большой беспокойный человек уходит от них,— нет, в этой статье громко звучит человеческая гордость человеком.

Пресса русской эмиграции не нашла в себе ни сил, ни такта отнестись к смерти Ленина с тем уважением, какое обнаружили буржуазные газеты в оценке личности одного из крупнейших выразителей воли к жизни и бесстрашия разума.

Писать его портрет — трудно. Ленин, внешне, весь в словах, как рыба в чешуе. Был он прост и прям, как всё, что говорилось им.

Героизм его почти совершенно лишен внешнего блеска, его героизм — это нередкое в России скромное, аскетическое подвижничество честного русского интеллигента-революционера, непоколебимо убежденного в возможности на земле социальной справедливости, ге-

роизм человека, который отказался от всех радостей мира ради тяжелой работы для счастья людей.

То, что написано мною о нем вскоре после его смерти,— написано в состоянии удрученном, поспешно и плохо. Кое-чего я не мог написать по соображениям «такта», надеюсь, вполне понятным. Проницателен и мудр был этот человек, а «в многой мудрости — много печали».

Далеко вперед видел он и, размышляя, разговаривая о людях в 19—21 годах, нередко и безошибочно предугадывал, каковы они будут через несколько лет. Не всегда хотелось верить в его предвидения, и нередко они были обидны, но, к сожалению, не мало людей оправдало его скептические характеристики. Воспоминания мои о нем написаны, кроме того что плохо, еще и непоследовательно, с досадными пробелами. Мне следовало начать с Лондонского съезда, с тех дней, когда Владимир Ильич встал передо мною, превосходно освещенный сомнениями и недоверием одних, явной враждой и даже ненавистью других.

Я и сейчас вот всё еще хорошо вижу голые стены смешной своим убожеством деревянной церкви на окраине Лондона, стрельчатые окна небольшого, узкого зала, похожего на классную комнату бедной школы. Это здание напоминало церковь только извне, а внутри ее — полное отсутствие предметов культа, и даже невысокая кафедра проповедника помещалась не впереди, в глубине зала, а — у входа в него, между двух дверей.

До этого года я не встречал Ленина да и читал его не так много, как бы следовало. Но то, что удалось мне прочитать, а особенно восторженные рассказы товарищей, которые лично знали его, потянуло меня к нему с большой силой. Когда нас познакомили, он, крепко стиснув мою руку, прощупывая меня зоркими глазами, заговорил тоном старого знакомого, шутливо:

— Это хорошо, что вы приехали! Вы ведь драки любите? Здесь будет большая драчка.

Я ожидал, что Ленин не таков. Мне чего-то не хватало в нем. Картавит и руки сунул куда-то под мышки, стоит фертом. И вообще, весь — как-то слишком прост, не чувствуется в нем ничего от «вождя». Я —

литератор. Профессия обязывает меня подмечать мелочи, эта обязанность стала привычкой, иногда — уже надоедливой.

Когда меня «подводили» к Г. В. Плеханову, он стоял, скрестив руки на груди, и смотрел строго, скучновато, как смотрит утомленный своими обязанностями учитель еще на одного нового ученика. Он сказал мне весьма обычную фразу: «Я поклонник вашего таланта». Кроме этого, он не сказал ничего, что моя память удержала бы. И на протяжении всего съезда ни у него, ни у меня не явилось желания поговорить «по душам».

А этот лысый, картавый, плотный, крепкий человек, потирая одною рукой сократовский лоб, дергая другою мою руку, ласково поблескивая удивительно живыми глазами, тотчас же заговорил о недостатках книги «Мать»: оказалось, что он прочитал ее в рукописи, взятой у И. П. Ладыжникова. Я сказал, что торопился написать книгу, но — не успел объяснить, почему торопился,— Ленин, утвердительно кивнув головой, сам объяснил это: очень хорошо, что я поспешил, книга — нужная, много рабочих участвовало в революционном движении несознательно, стихийно, и теперь они прочитают «Мать» с большой пользой для себя.

«Очень своевременная книга». Это был единственный, но крайне ценный для меня его комплимент. Затем он деловито осведомился, переводится ли «Мать» на иностранные языки, насколько испортила книгу русская и американская цензура, а узнав, что автора решено привлечь к суду, сначала — поморщился, а затем, вскинув голову, закрыв глаза, засмеялся каким-то необыкновенным смехом; смех его привлек рабочих, подошел, кажется, Фома Уральский и еще человека три.

Я был настроен очень празднично, я находился в среде трех сотен отборных партийцев, узнал, что они посланы на съезд полутораста тысячами организованных рабочих, я видел перед собою всех лидеров партии, старых революционеров: Плеханова, Аксельрода, Дейча. Праздничное мое настроение было вполне естественно и будет понятно читателю, если я скажу, что за два года, прожитых мною вне родины, обычное самочувствие мое сильно понизилось.

Понижаться оно начало с Берлина, где я видел почти всех крупнейших вождей социал-демократии, обедал у Августа Бебеля, сидя рядом с очень толстым Зингером и в среде других, тоже весьма крупных людей.

Обедали мы в просторной, уютной квартире, где клетки с канарейками были изящно прикрыты вышитыми салфеточками и на спинках кресел тоже были пришпилены вышитые салфеточки, чтобы сидящие не пачкали затылками чехлов. Всё вокруг было очень солидно, прочно, все кушали торжественно и торжественно говорили друг другу:

— Мальцейт [1].

Слово это было незнакомо мне, но я знал, что французское «маль» по-русски значит — плохо, немецкое «цейт» — время, вышло: плохое время.

Зингер дважды назвал Каутского «мой романтик». Бебель с его орлиным носом показался мне человеком немножко самодовольным. Пили рейнское вино и пиво; вино было кислое и теплое, пиво хорошее; о русской революции и партии с.-д. говорили тоже кисловато и снисходительно, а о своей, немецкой партии — очень хорошо! Вообще — всё было очень самодовольно, и чувствовалось, что даже стулья довольны тем, что их отягощают столь почтенные мякоти вождей.

К немецкой партии у меня было «щекотливое» дело: видный ее член, впоследствии весьма известный Парвус, имел от «Знания» доверенность на сбор гонорара с театров за пьесу «На дне». Он получил эту доверенность в 902 году в Севастополе, на вокзале, приехав туда нелегально. Собранные им деньги распределялись так: 20% со всей суммы получал он, остальное делилось так: четверть — мне, три четверти в кассу с.-д. партии. Парвус это условие, конечно, знал, и оно даже восхищало его. За четыре года пьеса обошла все театры Германии, в одном только Берлине была поставлена свыше 500 раз, у Парвуса собралось, кажется, 100 тысяч марок. Но вместо денег он прислал в «Знание» К. П. Пятницкому письмо, в котором добродушно со-

[1] Приятного аппетита.

общил, что все эти деньги он потратил на путешествие с одной барышней по Италии. Так как это, наверно, очень приятное путешествие, лично меня касалось только на четверть, то я счел себя вправе указать ЦК немецкой партии на остальные три четверти его. Указал через И. П. Ладыжникова. ЦК отнесся к путешествию Парвуса равнодушно. Позднее я слышал, что Парвуса лишили каких-то партийных чинов,— говоря по совести, я предпочел бы, чтоб ему надрали уши. Еще позднее мне в Париже показали весьма красивую девицу или даму, сообщив, что это с ней путешествовал Парвус.

«Дорогая моя,— подумалось мне,— дорогая».

Видел я в Берлине литераторов, художников, меценатов и других людей, они различались друг от друга по степеням самодовольства и самолюбования.

В Америке весьма часто видел Мориса Хилквит, который хотел быть мэром или губернатором Нью-Йорка, старика Дебса, который одиноко и устало рычал на всех и на всё,— он только что вышел из тюрьмы,— видел очень многих и очень много, но не встречал ни одного человека, который понимал бы всю глубину русской революции, и всюду чувствовал, что к ней относятся как к «частному случаю европейской жизни» и обычному явлению в стране, где «всегда или холера, или революция», по словам одной «гэнсом лэди» [1], которая «сочувствовала социализму».

Идею поездки в Америку для сбора денег в кассу «большевиков» дал Л. Б. Красин; ехать со мною в качестве секретаря и организатора выступлений должен был В. В. Воровский, он хорошо знал английский язык, но ему партия дала какое-то другое поручение, и со мною поехал Н. Е. Буренин, член боевой группы при ЦК(б); он был «без языка», начал изучать его в дороге и на месте. Эсеры, узнав, с какой целью я еду, юношески живо заинтересовались поездкой; ко мне — еще в Финляндии — пришел Чайковский с Житловским и предложили собирать деньги не для большевиков, а «вообще для революции». Я отказался от «вообще револю-

[1] красивой леди

ции». Тогда они послали туда «бабушку», и пред американцами явились двое людей, которые, независимо друг от друга и не встречаясь, начали собирать деньги, очевидно, на две различных революции; сообразить, которая из них лучше, солиднее,— у американцев, конечно, не было ни времени, ни желания. «Бабушку» они, кажется, знали и раньше, американские друзья сделали ей хорошую рекламу, а мне царское посольство — устроило скандал. Американские товарищи, тоже рассматривая русскую революцию как «частное и неудавшееся дело», относились к деньгам, собранным мною на митингах, несколько «либерально», в общем я собрал долларов очень мало, меньше 10 тысяч. Решил «заработать» в газетах, но и в Америке нашелся Парвус. Вообще поездка не удалась, но там я написал «Мать», чем и объясняются некоторые «промахи», недостатки этой книги.

Затем я переехал в Италию, на Капри, там погрузился в чтение русских газет, книг,— это тоже очень понижало настроение. Если зуб, выбитый из челюсти, способен чувствовать, он, вероятно, чувствовал бы себя так же одиноко, как я. Очень удивляла клоунская быстрота и ловкость, с которой знакомые люди перескакивали с одной «платформы» на другую.

Приезжали из России случайные революционеры, разбитые, испуганные, обозленные на самих себя и на людей, которые вовлекли их в «безнадежное предприятие».

— Всё пропало, — говорили они. — Всё разбито, истреблено, сослано, посажено в тюрьмы!

Было очень много смешного, но — ничего веселого. Один гость из России, литератор, и — талантливый, доказывал мне, что я будто бы сыграл роль Луки из пьесы «На дне»: пришел, наговорил молодежи утешительных слов, она мне поверила и набила себе шишек на лбу, а я — убежал. Другой утверждал, что меня съела «тенденция», что я — «конченый человек» и отрицаю значение балета только потому, что он — «императорский». Вообще было весьма много смешного, глупого, и часто казалось, что из России несется какая-то гнилая пыль.

И — вдруг, точно в сказке, я на съезде Российской социал-демократической партии. Конечно — праздник!

Но праздновал я только до первого заседания, до споров по вопросу о «порядке дня». Свирепость этих споров сразу охладила мои восторги и не столько тем, что я почувствовал, как резко расколота партия на реформаторов и революционеров,— это я знал с 903 года,— а враждебным отношением реформаторов к В. И. Ленину. Оно просачивалось и брызгало сквозь их речи, как вода под высоким давлением сквозь старую пожарную «кишку».

Не всегда важно — что говорят, но всегда важно, как говорят. Г. В. Плеханов в сюртуке, застегнутом на все пуговицы, похожий на протестантского пастора, открывая съезд, говорил, как законоучитель, уверенный, что его мысли неоспоримы, каждое слово — драгоценно, так же как и пауза между словами. Очень искусно он развешивал в воздухе над головами съездовцев красиво закругленные фразы, и когда на скамьях большевиков кто-нибудь шевелил языком, перешептываясь с товарищем, почтенный оратор, сделав маленькую паузу, вонзал в него свой взгляд, точно гвоздь.

Одна из пуговиц на его сюртуке была любима Плехановым больше других, он ее ласково и непрерывно гладил пальцем, а во время паузы прижимал ее, точно кнопку звонка,— можно было думать, что именно этот нажим и прерывает плавное течение речи. На одном из заседаний Плеханов, собираясь ответить кому-то, скрестил руки на груди и громко, презрительно произнес:

— Х-хе!

Это вызвало смех среди рабочих-большевиков, Г. В. поднял брови, и у него побледнела щека; я говорю: щека, потому что сидел сбоку кафедры и видел лица ораторов в профиль.

Во время речи Г. В. Плеханова в первом заседании на скамьях большевиков чаще других шевелился Ленин, то — съеживаясь, как бы от холода, то — расширяясь, точно ему становилось жарко; засовывал пальцы куда-то под мышки себе, потирал подбородок, встряхивая светлой головою, и шептал что-то М. П. Томскому. А когда Плеханов заявил, что «ревизионистов в партии

нет», Ленин согнулся, лысина его покраснела, плечи затряслись в беззвучном смехе, рабочие, рядом с ним и сзади его, тоже улыбались, а из конца зала кто-то угрюмо и громко спросил:

— А по ту сторону — какие сидят?

Коротенький Федор Дан говорил тоном человека, которому подлинная истина приходится родной дочерью, он ее родил, воспитал и всё еще воспитывает. Сам же он, Федор Дан, является совершенным воплощением Карла Маркса, а большевики — недоучки, неприличные ребята, что особенно ясно из их отношения к меньшевикам, среди которых находятся — «все выдающиеся теоретики марксизма», сказал он.

— Вы — не марксисты,— пренебрежительно говорил он,— нет, вы не марксисты! — И толкал в воздух, направо, желтым кулаком.

Кто-то из рабочих осведомился у него:

— А когда вы опять пойдете чай пить с либералами?

Не помню, выступал ли на первом заседании Мартов. Этот удивительно симпатичный человек говорил юношески пламенно, и казалось, что он особенно глубоко чувствует драму раскола, боль противоречий.

Он весь содрогался, качался, судорожно расстегивал воротник крахмальной рубашки, размахивал руками; обшлага, выскакивая из рукава пиджака, закрывали ему кисть руки, он высоко поднимал руку и тряс ею, чтобы водрузить обшлаг на его законное место. Мне казалось, что Мартов не доказывает, а — упрашивает, умоляет: раскол необходимо изжить, партия слишком слаба для того, чтобы разбиваться на две, рабочий прежде всего нуждается в «свободах», надобно поддерживать Думу. Иногда его первая речь звучала почти истерически, обилие слов делало ее непонятной, а сам оратор вызывал впечатление тяжелое. В конце речи и как будто вне связи ее, все-таки «боевым» тоном, он всё так же пламенно стал кричать против боевых дружин и вообще работы, направленной к подготовке вооруженного восстания. Хорошо помню, как на скамьях большевиков кто-то изумленно воскликнул:

— Вот те и раз!

А, кажется, М. П. Томский спросил:

— Может, нам и руки обрубить, для того чтоб товарищ Мартов успокоился?

Повторяю: не уверен, что Мартов говорил на первом заседании, я упомянул о нем только для того, чтоб рассказать, *как* говорили.

После его речи рабочие, в помещении перед залом заседания, угрюмо беседовали:

— Вот вам и Мартов! А — «искрист» был!

— Линяют товарищи интеллигенты.

Красиво, страстно и резко говорила Роза Люксембург, отлично владея оружием иронии. Но вот поспешно взошел на кафедру Владимир Ильич, картаво произнес «товарищи». Мне показалось, что он плохо говорит, но уже через минуту я, как и все, был «поглощен» его речью. Первый раз слышал я, что о сложнейших вопросах политики можно говорить так просто. Этот не пытался сочинять красивые фразы, а подавал каждое слово на ладони, изумительно легко обнажая его точный смысл. Очень трудно передать необычное впечатление, которое он вызывал.

Его рука, протянутая вперед и немного поднятая вверх, ладонь, которая как бы взвешивала каждое слово, отсеивая фразы противников, заменяя их вескими положениями, доказательствами права и долга рабочего класса идти своим путем, а не сзади и даже не рядом с либеральной буржуазией,— всё это было необыкновенно и говорилось им, Лениным, как-то не от себя, а действительно по воле истории. Слитность, законченность, прямота и сила его речи, весь он на кафедре — точно произведение классического искусства: всё есть и ничего лишнего, никаких украшений, а если они были — их не видно, они так же естественно необходимы, как два глаза на лице, пять пальцев на руке.

По счету времени он говорил меньше ораторов, которые выступали до него, а по впечатлению — значительно больше; не один я чувствовал это, сзади меня восторженно шептали:

— Густо говорит...

Так оно и было; каждый его довод развертывался сам собою — силой, заключенной в нем.

Меньшевики, не стесняясь, показывали, что речь Ле-

нина неприятна им, а сам он — более чем неприятен. Чем убедительнее он доказывал необходимость для партии подняться на высоту революционной теории для того, чтобы всесторонне проверить практику, тем озлобленнее прерывали его речь.

— Съезд не место для философии!

— Не учите нас, мы — не гимназисты!

Особенно старался кто-то рослый, бородатый, с лицом лавочника, он вскакивал со скамьи и, заикаясь, кричал:

— З-загово-орчики... в з-заговорчики играете! Б-бланкисты!

Одобрительно кивала головой Роза Люксембург; она очень хорошо сказала меньшевикам на одном из следующих заседаний:

— Вы не стоите на марксизме, а сидите, даже — лежите на нем.

Злой, горячий ветерок раздражения, иронии, ненависти гулял по залу, сотни глаз разнообразно освещали фигуру Владимира Ильича. Не заметно было, что враждебные выпады волнуют его, говорил он горячо, но веско, спокойно; через несколько дней я узнал, чего стоило ему это внешнее спокойствие. Было очень странно и обидно видеть, что вражду к нему возбуждает такая естественная мысль: только с высоты теории партия может ясно увидеть причины разногласий среди ее. У меня образовалось такое впечатление: каждый день съезда придает Владимиру Ильичу всё новые и новые силы, делает его бодрее, уверенней, с каждым днем речи его звучат всё более твердо и вся большевистская часть членов съезда настраивается решительнее, строже. Кроме его речей, меня почти так же взволновала прекрасная и резкая речь против меньшевиков Розы Люксембург.

Свободные минуты, часы он проводил среди рабочих, выспрашивал их о самых мизерных мелочах быта.

— Ну, а женщины как? Заедает хозяйство? Все-таки — учатся, читают?

В Гайд-парке несколько человек рабочих, впервые видевших Ленина, заговорили о его поведении на съезде. Кто-то из них характерно сказал:

— Не знаю, может быть, здесь, в Европе, у рабочих есть и другой такой же умный человек — Бебель или еще кто. А вот чтобы был другой человек, которого я бы сразу полюбил, как этого,— не верится!

Другой рабочий добавил, улыбаясь:

— Этот — наш!

Ему возразили:

— И Плеханов — наш.

Я услышал меткий ответ:

— Плеханов — наш учитель, наш барин, а Ленин — вождь и товарищ наш.

Какой-то молодой парень юмористически заметил:

— Сюртучок Плеханова-то стесняет.

Был такой случай: по дороге в ресторан Владимира Ильича остановил меньшевик-рабочий, спрашивая о чем-то. Ильич замедлил шаг, а его компания пошла дальше. Придя в ресторан минут через пять, он, хмурясь, рассказал:

— Странно, что такой наивный парень попал на партийный съезд! Спрашивает меня: в чем же все-таки истинная причина разногласий? Да вот, говорю, ваши товарищи желают заседать в парламенте, а мы убеждены, что рабочий класс должен готовиться к бою. Кажется — понял...

Обедали небольшой компанией всегда в одном и том же маленьком, дешевом ресторане. Я заметил, что Владимир Ильич ест очень мало: яичницу из двух-трех яиц, небольшой кусок ветчины, выпивает кружку густого, темного пива. По всему видно было, что к себе он относится небрежно, и поражала меня его удивительная заботливость о рабочих. Питанием их заведовала М. Ф. Андреева, и он спрашивал ее:

— Как вы думаете: не голодают товарищи? нет? Гм, гм... А может, увеличить бутерброды?

Пришел в гостиницу, где я остановился, и вижу: озабоченно щупает постель.

— Что это вы делаете?

— Смотрю — не сырые ли простыни.

Я не сразу понял: зачем ему нужно знать — какие в Лондоне простыни? Тогда он, заметив мое недоумение, объяснил:

— Вы должны следить за своим здоровьем.

Осенью 18 года я спросил сормовского рабочего Дмитрия Павлова, какова, на его взгляд, самая резкая черта Ленина?

— Простота. Прост, как правда.

Сказал он это как хорошо продуманное, давно решенное.

Известно, что строже всех судят человека его служащие. Но шофер Ленина, Гиль, много испытавший человек, говорил:

— Ленин — особенный. Таких — нет. Я везу его по Мясницкой, большое движение, едва еду, боюсь — изломают машину, даю гудки, очень волнуюсь. Он открыл дверь, добрался ко мне по подножке, рискуя, что его сшибут, уговаривает: «Пожалуйста, не волнуйтесь, Гиль, поезжайте, как все». Я — старый шофер, я знаю — так никто не сделает.

Трудно передать, изобразить ту естественность и гибкость, с которыми все его впечатления вливались в одно русло.

Его мысль, точно стрелка компаса, всегда обращалась острием в сторону классовых интересов трудового народа. В Лондоне выдался свободный вечер, пошли небольшой компанией в «мюзик-холл» — демократический театрик. Владимир Ильич охотно и заразительно смеялся, глядя на клоунов, эксцентриков, равнодушно смотрел на всё остальное и особенно внимательно на рубку леса рабочими Британской Колумбии. Маленькая сцена изображала лесной лагерь, перед нею, на земле, двое здоровых молодцов перерубали в течение минуты ствол дерева, объемом около метра.

— Ну, это, конечно, для публики, на самом деле они не могут работать с такой быстротой,— сказал Ильич.— Но ясно, что они и там работают топорами, превращая массу дерева в негодные щепки. Вот вам и культурные англичане!

Он заговорил об анархии производства при капиталистическом строе, о громадном проценте сырья, которое расходуется бесплодно, и кончил сожалением, что до сей поры никто не догадался написать книгу на эту тему. Для меня было что-то неясное в этой мысли, но

спросить Владимира Ильича я не успел, он уже интересно говорил об «эксцентризме» как особой форме театрального искусства.

— Тут есть какое-то сатирическое или скептическое отношение к общепринятому, есть стремление вывернуть его наизнанку, немножко исказить, показать алогизм обычного. Замысловато, а — интересно!

Года через два, на Капри, беседуя с А. А. Богдановым-Малиновским об утопическом романе, он сказал ему:

— Вот вы бы написали для рабочих роман на тему о том, как хищники капитализма ограбили землю, растратив всю нефть, всё железо, дерево, весь уголь. Это была бы очень полезная книга, синьор махист!

Прощаясь, в Лондоне, он сказал мне, что обязательно приедет на Капри отдыхать.

Но раньше, чем он собрался приехать, я увидел его в Париже, в студенческой квартирке из двух комнат, — студенческой она была только по размерам, но не по чистоте и строгому порядку в ней. Надежда Константиновна, сделав нам чай, куда-то ушла, мы остались вдвоем. Тогда разваливалось «Знание», и я приехал поговорить с Владимиром Ильичом об организации нового издательства, которое объединяло бы, по возможности, всех наших литераторов. Редактуру издательства за границей я предлагал Владимиру Ильичу, В. В. Воровскому и еще кому-то, а в России представлял бы их В. А. Десницкий-Строев.

Мне казалось, что нужно написать ряд книг по истории западных литератур и по русской литературе, книги по истории культуры, которые дали бы богатый фактический материал рабочим для самообразования и пропаганды.

Но Владимир Ильич разрушил этот план, указав на цензуру, на трудность организовать своих людей; большинство товарищей занято практической партийной работой, писать им — некогда. Но главный и наиболее убедительный для меня довод его был приблизительно таков:

— Для толстой книги — не время, толстой книгой питается интеллигенция, а она, как видите, отступает от социализма к либерализму, и нам ее не столкнуть с пути, ею избранного. Нам нужна газета, брошюра, хорошо бы восстановить библиотечку «Знания», но в России это невозможно по условиям цензуры, а здесь по условиям транспорта: нам нужно бросить в массы десятки, сотни тысяч листовок, такую кучу нелегально не перевезешь. Подождем с издательством до лучших времен.

С поразительной, всегда присущей ему живостью и ясностью он заговорил о Думе, о кадетах, которые «стыдятся быть октябристами», о том, что «пред ними один путь направо», а затем привел ряд доказательств в пользу близости войны и, «вероятно, не одной, но целого ряда войн», — это его предвидение вскоре оправдалось на Балканах.

Встал, характерным жестом сунул пальцы рук за жилет под мышками и медленно шагал по тесной комнатке, прищуриваясь, поблескивая глазами.

— Война будет. Неизбежно. Капиталистический мир достиг состояния гнилостного брожения, уже и сейчас люди начинают отравляться ядами шовинизма, национализма. Я думаю, что мы еще увидим общеевропейскую войну. Пролетариат? Едва ли пролетариат найдет в себе силу предотвратить кровавую склоку. Как это можно сделать? Общеевропейской забастовкой рабочих? Для этого они недостаточно организованы, сознательны. Такая забастовка была бы началом гражданской войны, мы, реальные политики, не можем рассчитывать на это.

Остановясь, шаркая подошвой по полу, угрюмо сказал:

— Пролетариат, конечно, пострадает ужасно — такова, пока, его судьба. Но враги его — обессилят друг друга. Это — тоже неизбежно.

И, подойдя ко мне, он сказал, как бы с изумлением, с большою силой, но негромко:

— Нет, вы подумайте: чего ради сытые гонят голодных на бойню друг против друга? Можете вы назвать преступление более идиотическое и отвратительное?

Страшно дорого заплатят за это рабочие, но в конце концов выиграют они. Это — воля истории.

Он часто говорил об истории, но никогда в его речах я не чувствовал фетишистического преклонения пред ее волей и силой.

Речь взволновала его; присев к столу, он вытер вспотевший лоб, хлебнул холодного чая и неожиданно спросил:

— Что это за скандал был у вас в Америке? По газетам я знаю, в чем дело, но — как это вышло?

Я кратко рассказал ему мои приключения.

Никогда я не встречал человека, который умел бы так заразительно смеяться, как смеялся Владимир Ильич. Было даже странно видеть, что такой суровый реалист, человек, который так хорошо видит, глубоко чувствует неизбежность великих социальных трагедий, непримиримый, непоколебимый в своей ненависти к миру капитализма, может смеяться по-детски, до слез, захлебываясь смехом. Большое, крепкое душевное здоровье нужно было иметь, чтобы так смеяться.

— Ох, да вы — юморист! — говорил он сквозь смех.— Вот не предполагал. Чёрт знает как смешно...

И, стирая слезы смеха, он уже серьезно, с хорошей, мягкой улыбкой сказал:

— Это — хорошо, что вы можете относиться к неудачам юмористически. Юмор — прекрасное, здоровое качество. Я очень понимаю юмор, но не владею им. А смешного в жизни, пожалуй, не меньше, чем печального, право, не меньше.

Условились, что я зайду к нему через день, но погода была плохая, вечером у меня началось обильное кровохарканье, и на другой день я уехал.

После Парижа мы встретились на Капри. Тут у меня осталось очень странное впечатление: как будто Владимир Ильич был на Капри два раза и в двух резко различных настроениях.

Один Ильич, как только я встретил его на пристани, тотчас же решительно заявил мне:

— Я знаю, вы, Алексей Максимович, все-таки надее-

тесь на возможность моего примирения с махистами, хотя я вас предупредил в письме: это — невозможно! Так уж вы не делайте никаких попыток.

По дороге на квартиру ко мне и там я пробовал объяснить ему, что он не совсем прав: у меня не было и нет намерения примирять философские распри, кстати — не очень понятные мне. К тому же я, от юности, заражен недоверием ко всякой философии, а причиной этого недоверия служило и служит разноречие философии с моим личным, «субъективным» опытом: для меня мир только что начинался, «становился», а философия шлепала его по голове и совершенно неуместно, несвоевременно спрашивала:

«Куда идешь? Зачем идешь? Почему — думаешь?»

Некоторые же философы просто и строго командовали:

«Стой!»

Кроме того, я уже знал, что философия, как женщина, может быть очень некрасивой, даже уродливой, но одета настолько ловко и убедительно, что ее можно принять за красавицу. Это рассмешило Владимира Ильича.

— Ну, это — юмористика, — сказал он. — А что мир только начинается, становится — хорошо! Над этим вы подумайте серьезно, отсюда вы придете, куда вам давно следует придти.

Затем я сказал ему, что А. А. Богданов, А. В. Луначарский, В. А. Базаров — в моих глазах крупные люди, отлично, всесторонне образованные, в партии я не встречал равных им.

— Допустим. Ну, и что же отсюда следует?

— В конце концов я считаю их людьми одной цели, а единство цели, понятое и осознанное глубоко, должно бы стереть, уничтожить философические противоречия...

— Значит — все-так надежда на примирение жива? Это — зря, — сказал он. — Гоните ее прочь и как можно дальше, дружески советую вам! Плеханов тоже, по-вашему, человек одной цели, а вот я — между нами — думаю, что он — совсем другой цели, хотя и материалист, а не метафизик.

На этом беседа наша и кончилась. Я думаю, что нет

надобности напоминать, что я воспроизвел ее не в точных словах, не буквально. В точности смысла — не сомневаюсь.

И вот я увидел пред собой Владимира Ильича Ленина еще более твердым, непреклонным, чем он был на Лондонском съезде. Но там он волновался, и были моменты, когда ясно чувствовалось, что раскол в партии заставляет переживать его очень тяжелые минуты.

Здесь он был настроен спокойно, холодновато и насмешливо, сурово отталкивался от бесед на философские темы и вообще вел себя настороженно. А. А. Богданов, человек удивительно симпатичный, мягкий и влюбленный в Ленина, но немножко самолюбивый, принужден был выслушивать весьма острые и тяжелые слова:

— Шопенгауэр говорит: «Кто ясно мыслит — ясно излагает», я думаю, что лучше этого он ничего не сказал. Вы, товарищ Богданов, излагаете неясно. Вы мне объясните в двух-трех фразах, что дает рабочему классу ваша «подстановка» и почему махизм — революционнее марксизма?

Богданов пробовал объяснять, но он говорил действительно неясно и многословно.

— Бросьте,— советовал Владимир Ильич.— Кто-то, кажется — Жорес, сказал: «Лучше говорить правду, чем быть министром», я бы прибавил: и махистом.

Затем он азартно играл с Богдановым в шахматы и, проигрывая, сердился, даже унывал, как-то по-детски. Замечательно: даже и это детское уныние, так же как его удивительный смех,— не нарушали целостной слитности его характера.

Был на Капри другой Ленин — прекрасный товарищ, веселый человек, с живым и неутомимым интересом ко всему в мире, с поразительно мягким отношением к людям.

Как-то поздним вечером, когда все ушли гулять, он говорил мне и М. Ф. Андреевой,— невесело говорил, с глубоким сожалением:

— Умные, талантливые люди, не мало сделали для партии, могли бы сделать в десять раз больше, а — не пойдут они с нами! Не могут. И десятки, сотни таких людей ломает, уродует этот преступный строй.

В другой раз он сказал:

— Луначарский вернется в партию, он — менее индивидуалист, чем те двое. На редкость богато одаренная натура. Я к нему «питаю слабость» — чёрт возьми, какие глупые слова: питать слабость! Я его, знаете, люблю, отличный товарищ! Есть в нем какой-то французский блеск. Легкомыслие у него тоже французское, легкомыслие — от эстетизма у него.

Он подробно расспрашивал о жизни каприйских рыбаков, о их заработке, о влиянии попов, о школе — широта его интересов не могла не изумлять меня. Когда ему указали, что вот этот попик — сын бедного крестьянина, он сейчас же потребовал, чтоб ему собрали справки: насколько часто крестьяне отдают своих детей в семинариумы и возвращаются ли дети крестьян служить попами в свои деревни?

— Вы — понимаете? Если это не случайное явление — значит, это политика Ватикана. Хитрая политика!

Не могу представить себе другого человека, который, стоя так высоко над людьми, умел бы сохранить себя от соблазна честолюбия и не утратил бы живого интереса к «простым людям».

Был в нем некий магнетизм, который притягивал к нему сердца и симпатии людей труда. Он не говорил по-итальянски, но рыбаки Капри, видевшие и Шаляпина и немало других крупных русских людей, каким-то чутьем сразу выделили Ленина на особое место. Обаятелен был его смех — «задушевный» смех человека, который, прекрасно умея видеть неуклюжесть людской глупости и акробатические хитрости разума, умел наслаждаться и детской наивностью «простых сердцем».

Старый рыбак, Джиованни Спадаро, сказал о нем:

— Так смеяться может только честный человек.

Качаясь в лодке, на голубой и прозрачной, как небо, волне, Ленин учился удить рыбу «с пальца» — лесой без удилища. Рыбаки объясняли ему, что подсекать надо, когда палец почувствует дрожь лесы:

— Кози: дринь-дринь. Капиш? [1].

---

[1] Вот так: дринь-дринь. Понимаешь?

Он тотчас подсек рыбу, повел ее и закричал с восторгом ребенка, с азартом охотника:

— Ага! Дринь-дринь!

Рыбаки оглушительно и тоже, как дети, радостно захохотали и прозвали рыбака:

«Синьор Дринь-дринь».

Он уехал, а они всё спрашивали:

— Как живет синьор Дринь-дринь? Царь не схватит его, нет?

Не помню, до Владимира Ильича или после его на Капри был Г. В. Плеханов.

Несколько эмигрантов каприйской колонии — литератор Н. Олигер, Лоренц-Метнер, присужденный к смертной казни за организацию восстания в Сочи, Павел Вигдорчик и еще, кажется, двое — хотели побеседовать с ним. Он отказался. Это было его право, он — был больной человек, приехал отдохнуть. Но Олигер и Лоренц говорили мне, что он сделал это в форме очень обидной для них. Нервозный Олигер настаивал, что Г. В. сказано было нечто об «усталости от обилия желающих говорить, но не способных делать». Он, будучи у меня, действительно не пожелал никого видеть из местной колонии,— Владимир Ильич видел всех. Плеханов ни о чем не расспрашивал, он уже всё знал и сам рассказывал. По-русски широко талантливый, европейски воспитанный, он любил щегольнуть красивым, острым словцом и, кажется, именно ради острого словца жестоко подчеркивал недостатки иностранных и русских товарищей. Мне показалось, что его остроты не всегда удачны, в памяти остались только неудачные: «не в меру умеренный Меринг», «самозванец Энрико Ферри, в нем нет железа ни золотника» — тут каламбур построен на слове ферро — железо. И всё — в этом роде. Вообще же он относился к людям снисходительно, разумеется, не так, как бог, но несколько похоже. Талантливейший литератор, основоположник партии, он вызвал у меня глубокое почтение, но — не симпатию. Слишком много было в нем «аристократизма». Может быть, я сужу ошибочно. У меня нет особенной любви

к ошибкам, но, как все люди, я тоже ошибаюсь. А факт остается фактом: редко встречал я людей до такой степени различных, как Г. В. Плеханов и В. И. Ленин. Это и естественно: один заканчивал свою работу разрушения старого мира, другой уже начал строить новый мир.

Жизнь устроена так дьявольски искусно, что, не умея ненавидеть, невозможно искренно любить. Уже только эта одна, в корне искажающая человека, необходимость раздвоения души, неизбежность любви сквозь ненависть осуждает современные условия жизни на разрушение.

В России, стране, где необходимость страдания проповедуется как универсальное средство «спасения души», я не встречал, не знаю человека, который с такою глубиной и силой, как Ленин, чувствовал бы ненависть, отвращение и презрение к несчастиям, горю, страданию людей.

В моих глазах эти чувства, эта ненависть к драмам и трагедиям жизни особенно высоко поднимают Владимира Ленина, человека страны, где во славу и освящение страдания написаны самые талантливые евангелия и где юношество начинает жить по книгам, набитым однообразными, в сущности, описаниями мелких, будничных драм. Русская литература — самая пессимистическая литература Европы; у нас все книги пишутся на одну и ту же тему о том, как мы страдаем: в юности и зрелом возрасте — от недостатка разума, от гнета самодержавия, от женщин, от любви к ближнему, от неудачного устройства вселенной; в старости — от сознания ошибок жизни, недостатка зубов, несварения желудка и от необходимости умереть.

Каждый русский, посидев «за политику» месяц в тюрьме или прожив год в ссылке, считает священной обязанностью своей подарить России книгу воспоминаний о том, как он страдал. И никто до сего дня не догадался выдумать книгу о том, как он всю жизнь радовался. А так как русский человек привык выдумывать жизнь для себя, делать же ее плохо умеет, то весьма

вероятно, что книга о счастливой жизни научила бы его, как нужно выдумывать такую жизнь.

Для меня исключительно велико в Ленине именно это его чувство непримиримой, неугасимой вражды к несчастиям людей, его яркая вера в то, что несчастие не есть неустранимая основа бытия, а — мерзость, которую люди должны и могут отмести прочь от себя.

Я бы назвал эту основную черту его характера воинствующим оптимизмом материалиста. Именно она особенно привлекала душу мою к этому человеку — Человеку с большой буквы.

В 17—18 годах мои отношения с Лениным были далеко не таковы, какими я хотел бы их видеть, но они не могли быть иными.

Он — политик. Он в совершенстве обладал тою четко выработанной прямолинейностью взгляда, которая необходима рулевому столь огромного, тяжелого корабля, каким является свинцовая крестьянская Россия.

У меня же органическое отвращение к политике, и я плохо верю в разум масс вообще, в разум же крестьянской массы — в особенности. Разум, не организованный идеей,— еще не та сила, которая входит в жизнь творчески. В разуме массы — нет идеи до поры, пока в ней нет сознания общности интересов всех ее единиц.

Тысячелетия живет она стремлением к лучшему, но это стремление создает из плоти ее хищников, которые ее же порабощают, ее кровью живут, и так будет до поры, пока она не осознает, что в мире есть только одна сила, способная освободить ее из плена хищников,— сила правды Ленина.

Когда в 17 году Ленин, приехав в Россию, опубликовал свои «тезисы», я подумал, что этими тезисами он приносит всю ничтожную количественно, героическую качественно рать политически воспитанных рабочих и всю искренно революционную интеллигенцию в жертву русскому крестьянству. Эта единственная в России активная сила будет брошена, как горсть соли, в пресное болото деревни и бесследно растворится, рассосется в

ней, ничего не изменив в духе, быте, в истории русского народа.

Научная, техническая — вообще квалифицированная интеллигенция, с моей точки зрения, революционна по существу своему, и вместе с рабочей, социалистической интеллигенцией для меня была самой драгоценной силой, накопленной Россией,— иной силы, способной взять власть и организовать деревню, я — в России 17 года не видел. Но эти силы, количественно незначительные и раздробленные противоречиями, могли бы выполнить свою роль только при условии прочнейшего внутреннего единения. Пред ними стояла грандиозная работа: овладеть анархизмом деревни, культивировать волю мужика, научить его разумно работать, преобразить его хозяйство и всем этим быстро двинуть страну вперед; всё это достижимо лишь при наличии подчинения инстинктов деревни организованному разуму города. Первейшей задачей революции я считал создание таких условий, которые бы содействовали росту культурных сил страны. В этих целях я предложил устроить на Капри школу для рабочих и в годы реакции, 1907—1913, посильно пытался всячески поднять бодрость духа рабочих.

Ради этой цели тотчас после февральского переворота, весною 17 года, была организована «Свободная ассоциация для развития и распространения положительных наук» — учреждение, которое ставило задачей своею, с одной стороны, организацию в России научно-исследовательских институтов, с другой — широкую и непрерывную популяризацию научных и технических знаний в рабочей среде. Во главе ассоциации встали крупные ученые, члены Российской Академии наук В. А. Стеклов, Л. А. Чугаев, академик Ферсман, С. П. Костычев, А. А. Петровский и ряд других. Деятельно собирались средства: С. П. Костычев уже приступил к поискам места для устройства исследовательского института по вопросам зооботаники.

Для большей ясности скажу, что меня всю жизнь угнетал факт подавляющего преобладания безграмотной деревни над городом, зоологический индивидуализм крестьянства и почти полное отсутствие в нем социальных эмоций. Диктатура политически грамотных рабочих,

в тесном союзе с научной и технической интеллигенцией, была, на мой взгляд, единственно возможным выходом из трудного положения, особенно осложненного войной, еще более анархизировавшей деревню.

С коммунистами я расходился по вопросу об оценке роли интеллигенции в русской революции, подготовленной именно этой интеллигенцией, в число которой входят и все «большевики», воспитавшие сотни рабочих в духе социального героизма и высокой интеллектуальности. Русская интеллигенция — паучная и рабочая — была, остается и еще долго будет единственной ломовой лошадью, запряженной в тяжкий воз истории России. Несмотря на все толчки и возбуждения, испытанные им, разум народных масс всё еще остается силой, требующей руководства извне.

Так думал я 13 лет тому назад и так — ошибался. Эту страницу моих воспоминаний следовало бы вычеркнуть. Но — «написано пером — не вырубишь топором». К тому же: «на ошибках — учимся» — часто повторял Владимир Ильич. Пусть же читатели знают эту мою ошибку. Было бы хорошо, если б она послужила уроком для тех, кто склонен торопиться с выводами из своих наблюдений.

Разумеется, после ряда фактов подлейшего вредительства со стороны части спецов я обязан был переоценить — и переоценил — мое отношение к работникам науки и техники. Такие переоценки кое-чего стоят, особенно — на старости лет.

Должность честных вождей народа — нечеловечески трудна. Но ведь и сопротивление революции, возглавляемой Лениным, было организовано шире и мощнее. К тому же надо принять во внимание, что с развитием «цивилизации» — ценность человеческой жизни явно понижается, о чем неоспоримо свидетельствует развитие в современной Европе техники истребления людей и вкуса к этому делу.

Но скажите голосом совести: насколько уместно и не слишком ли отвратительно лицемерие тех «моралистов», которые говорят о кровожадности русской революции, после того как они, в течение четырех лет позорной об-

щеевропейской бойни, не только не жалели миллионы истребляемых людей, но всячески разжигали «до полной победы» эту мерзкую войну? Ныне «культурные нации» оказались разбиты, истощены, дичают, а победила общечеловеческая мещанская глупость: тугие петли ее и по сей день душат людей.

Много писали и говорили о жестокости Ленина. Разумеется, я не могу позволить себе смешную бестактность защиты его от лжи и клеветы. Я знаю, что клевета и ложь — узаконенный метод политики мещан, обычный прием борьбы против врага. Среди великих людей мира сего едва ли найдется хоть один, которого не пытались бы измазать грязью. Это — всем известно.

Кроме этого, у всех людей есть стремление не только принизить выдающегося человека до уровня понимания своего, но и попытаться свалить его под ноги себе, в ту липкую, ядовитую грязь, которую они, сотворив, наименовали «обыденной жизнью».

Мне отвратительно памятен такой факт: в 19 году, в Петербурге, был съезд «деревенской бедноты». Из северных губерний России явилось несколько тысяч крестьян, и сотни их были помещены в Зимнем дворце Романовых. Когда съезд кончился и эти люди уехали, то оказалось, что они не только все ванны дворца, но и огромное количество ценнейших севрских, саксонских и восточных ваз загадили, употребляя их в качестве ночных горшков. Это было сделано не по силе нужды,— уборные дворца оказались в порядке, водопровод действовал. Нет, это хулиганство было выражением желания испортить, опорочить красивые вещи. За время двух революций и войны я сотни раз наблюдал это темное, мстительное стремление людей ломать, искажать, осмеивать, порочить прекрасное.

Не следует думать, что поведение «деревенской бедноты» было подчеркнуто мною по мотивам моего скептического отношения к мужику, нет,— я знаю, что болезненным желанием изгадить прекрасное страдают и некоторые группы интеллигенции, например, те эмигранты, которые, очевидно, думают, что, если их нет в России,— в ней нет уже ничего хорошего.

Злостное стремление портить вещи исключительной

красоты имеет один и тот же источник с гнусным стремлением опорочить во что бы то ни стало человека необыкновенного. Всё необыкновенное мешает людям жить так, как им хочется. Люди жаждут — если они жаждут — вовсе не коренного изменения своих социальных навыков, а только расширения их. Основной стон и вопль большинства:

«Не мешайте нам жить, как мы привыкли!»

Владимир Ленин был человеком, который так помешал людям жить привычной для них жизнью, как никто до него не умел сделать это.

Ненависть мировой буржуазии к нему обнаженно и отвратительно ясна, ее синие, чумные пятна всюду блещут ярко. Отвратительная сама по себе, эта ненависть говорит нам о том, как велик и страшен в глазах мировой буржуазии Владимир Ленин — вдохновитель и вождь пролетариев всех стран. Вот он не существует физически, а голос его всё громче, победоноснее звучит для трудящихся земли, и уже нет такого угла на ней, где бы этот голос не возбуждал волю рабочего народа к революции, к новой жизни, к строительству мира людей равных. Всё более уверенно, крепче, успешней делают великое дело ученики Ленина, наследники его силы.

Меня восхищала ярко выраженная в нем воля к жизни и активная ненависть к мерзостям ее, я любовался тем азартом юности, каким он насыщал всё, что делал. Меня изумляла его нечеловеческая работоспособность. Его движения были легки, ловки, и скупой, но сильный жест вполне гармонировал с его речью, тоже скупой словами, обильной мыслью. И на лице, монгольского типа, горели, играли эти острые глаза неутомимого борца против лжи и горя жизни, горели, прищуриваясь, подмигивая, иронически улыбаясь, сверкая гневом. Блеск этих глаз делал речь его еще более жгучей и ясной.

Иногда казалось, что неукротимая энергия его духа брызжет из глаз искрами и слова, насыщенные ею, блестят в воздухе. Речь его всегда вызывала физическое ощущение неотразимой правды.

Необычно и странно было видеть Ленина гуляющим в парке Горок,— до такой степени срослось с его образом представление о человеке, который сидит в конце длин-

ного стола и, усмехаясь, поблескивая зоркими глазами рулевого, умело, ловко руководит прениями товарищей или же, стоя на эстраде, закинув голову, мечет в притихшую толпу, в жадные глаза людей, изголодавшихся о правде, четкие, ясные слова.

Они всегда напоминали мне холодный блеск железных стружек.

С удивительною простотой из-за этих слов возникала художественно выточенная фигура правды.

Азарт был свойством его натуры, но он не являлся корыстным азартом игрока, он обличал в Ленине ту исключительную бодрость духа, которая свойственна только человеку, непоколебимо верующему в свое призвание, человеку, который всесторонне и глубоко ощущает свою связь с миром и до конца понял свою роль в хаосе мира — роль врага хаоса. Он умел с одинаковым увлечением играть в шахматы, рассматривать «Историю костюма», часами вести спор с товарищем, удить рыбу, ходить по каменным тропам Капри, раскаленным солнцем юга, любоваться золотыми цветами дрока и чумазыми ребятами рыбаков. А вечером, слушая рассказы о России, о деревне, завистливо вздыхал:

— А мало я знаю Россию. Симбирск, Казань, Петербург, ссылка и — почти всё!

Он любил смешное и смеялся всем телом, действительно «заливался» смехом, иногда до слез. Краткому, характерному восклицанию «гм-гм» он умел придавать бесконечную гамму оттенков, от язвительной иронии до осторожного сомнения, и часто в этом «гм-гм» звучал острый юмор, доступный только человеку очень зоркому, хорошо знающему дьявольские нелепости жизни.

Коренастый, плотный, с черепом Сократа и всевидящими глазами, он нередко принимал странную и немножко комическую позу — закинет голову назад и, наклонив ее к плечу, сунет пальцы рук куда-то под мышки, за жилет. В этой позе было что-то удивительно милое и смешное, что-то победоносно-петушиное, и весь он в такую минуту светился радостью, великое дитя окаянно-

В. И. ЛЕНИН И А. М. ГОРЬКИЙ
В ГРУППЕ ДЕЛЕГАТОВ II КОНГРЕССА КОМИНТЕРНА
У ДВОРЦА УРИЦКОГО

го мира сего, прекрасный человек, которому нужно было принести себя в жертву вражды и ненависти ради осуществления дела любви.

До 18 года, до пошлейшей и гнусной попытки убить Ленина, я не встречался с ним в России и даже издали не видал его. Я пришел к нему, когда он еще плохо владел рукою и едва двигал простреленной шеей. В ответ на мое возмущение он сказал неохотно, как говорят о том, что надоело:

— Драка. Что делать? Каждый действует как умеет.

Мы встретились очень дружески, но, разумеется, пронзительные всевидящие глазки милого Ильича смотрели на меня, «заблудившегося», с явным сожалением.

Через несколько минут Ленин азартно говорил:

— Кто не с нами, тот против нас. Люди, независимые от истории,— фантазия. Если допустить, что когда-то такие люди были, то сейчас их — нет, не может быть. Они никому не нужны. Все, до последнего человека, втянуты в круговорот действительности, запутанной, как она еще никогда не запутывалась. Вы говорите, что я слишком упрощаю жизнь? Что это упрощение грозит гибелью культуре, а?

Иронпческое, характерное:

— Гм-гм...

Острый взгляд становится еще острее, и пониженным голосом Ленин продолжает:

— Ну, а по-вашему, миллионы мужиков с винтовками в руках — не угроза культуре, пет? Вы думаете, Учредилка справилась бы с их анархизмом? Вы, который так много шумите об анархизме деревни, должны бы лучше других понять нашу работу. Русской массе надо показать нечто очень простое, очень доступное ее разуму. Советы и коммунизм — просто.

— Союз рабочих с интеллигенцией, да? Это — не плохо, нет. Скажите интеллигенции, пусть она идет к нам. Ведь, по-вашему, она искрепно служит интересам справедливости? В чем же дело? Пожалуйте к нам: это именно мы взяли на себя колоссальный труд поднять народ на ноги, сказать миру всю правду о жизни, мы указываем

народам прямой путь к человеческой жизни, путь из рабства, нищеты, унижения.

Он засмеялся и беззлобно сказал:

— За это мне от интеллигенции и попала пуля.

А когда температура беседы приблизилась к нормальной, он проговорил с досадой и печалью:

— Разве я спорю против того, что интеллигенция необходима нам? Но вы же видите, как враждебно она настроена, как плохо понимает требования момента? И не видит, что без нас она бессильна, не дойдет к массам. Это — ее вина будет, если мы разобьем слишком много горшков.

Беседы с ним на эту тему возникали почти при каждой встрече. И, хотя на словах его отношение к интеллигенции оставалось недоверчивым, враждебным,— на деле он всегда правильно оценивал значение интеллектуальной энергии в процессе революций и как будто соглашался с тем, что, в сущности, революция является взрывом именно этой энергии, не нашедшей для себя в изжитых и тесных условиях возможности закономерного развития.

Помню, я был у него с тремя членами Академии наук. Шел разговор о необходимости реорганизации одного из высших научных учреждений Петербурга. Проводив ученых, Ленин удовлетворенно сказал:

— Это я понимаю. Это — умники. Всё у них просто, всё формулировано строго, сразу видишь, что люди хорошо знают, чего хотят. С такими работать — одно удовольствие. Особенно понравился мне этот...

Он назвал одно из крупных имен русской науки, а через день уже говорил мне по телефону:

— Спросите С., пойдет он работать с нами?

И когда С. принял предложение, это искренно обрадовало Ленина; потирая руки, он шутил:

— Вот так, одного за другим, мы перетянем всех русских и европейских Архимедов, тогда мир, хочет не хочет, а — перевернется!

На 8 съезде партии Н. И. Бухарин, между прочим, сказал:

— Нация — значит буржуазия вместе с пролетариатом. Ни с чем не сообразно признавать право на самоопределение какой-то презренной буржуазии.

— Нет, извините,— возразил Ленин,— это сообразно с тем, что есть. Вы ссылаетесь на процесс дифференциации пролетариата от буржуазии, но — посмотрим еще, как она пойдет.

Затем, показав на примере Германии, как медленно и трудно развивается процесс этой дифференциации, и упомянув, что «не путем насилия внедряется коммунизм»,— он так высказался по вопросу о значении интеллигенции в промышленности, армии и кооперации. Цитирую по отчету «Известий» о прениях на съезде:

«Этот вопрос на настоящем съезде должен быть решен с полной определенностью. Мы можем построить коммунизм лишь тогда, когда средства буржуазной науки и техники сделают его более доступным массам. А для этого надо взять аппарат от буржуазии, надо привлечь к работе всех специалистов. Без буржуазных специалистов нельзя поднять производительные силы... Их надо окружить атмосферой товарищеского сотрудничества, рабочими комиссарами, коммунистами, поставить в такие условия, чтобы они не могли вырваться, но надо дать им возможность работать в лучших условиях, чем при капиталистах, ибо этот слой, воспитанный буржуазией, иначе работать не станет. Заставить работать из-под палки целый слой нельзя... Буржуазные специалисты привыкли к культурной работе, они двигали ее в рамках буржуазного строя, то есть обогащали буржуазию огромными материальными приобретениями и в ничтожных дозах уделяли их для пролетариата. Но они все-таки двигали культуру — в этом их профессия. Поскольку они видят, что рабочий класс не только ценит культуру, но и помогает проведению ее в массах, они меняют свое отношение к нам. Тогда они будут побеждены морально, а не только политически устранены от буржуазии. Надо вовлечь их в наш аппарат, а для этого надо иногда и на жертвы идти. По отношению к специалистам мы не должны придерживаться политики мелких придирок.

Мы должны дать им как можно более хорошие условия существования. Это будет лучшая политика... Если

вчера мы говорили о легализации мелкобуржуазных партий, а сегодня арестовываем меньшевиков и левых эсеров, то через эти колебания всё же идет одна самая твердая линия: контрреволюцию отсекать, культурно-буржуазный аппарат использовать».

В этих прекрасных словах великого политика гораздо больше живого, реального смысла, чем во всех воплях мещанского, бессильного и, в сущности, лицемерного «гуманизма». К сожалению, многие из тех, кто должен был понять и оценить этот призыв к честному труду вместе с рабочим классом,— не поняли, не оценили призыва. Они предпочли вредительство из-за угла, предательство.

После отмены крепостного права многие из «дворовых людей», холопов по натуре, тоже оставались служить своим господам в тех же конюшнях, где, бывало, господа драли их.

Мне часто приходилось говорить с Лениным о жестокости революционной тактики и быта.

— Чего вы хотите? — удивленно и гневно спрашивал он.— Возможна ли гуманность в такой небывало свирепой драке? Где тут место мягкосердечию и великодушию? Нас блокирует Европа, мы лишены ожидавшейся помощи европейского пролетариата, на нас, со всех сторон, медведем лезет контрреволюция, а мы — что же? Не должны, не в праве бороться, сопротивляться? Ну, извините, мы не дурачки. Мы знаем: то, чего мы хотим, никто не может сделать, кроме нас. Неужели вы допускаете, что, если б я был убежден в противном, я сидел бы здесь?

— Какою мерой измеряете вы количество необходимых и лишних ударов в драке? — спросил он меня однажды после горячей беседы. На этот простой вопрос я мог ответить только лирически. Думаю, что иного ответа — нет.

Я очень часто одолевал его просьбами различного рода и порою чувствовал, что мои ходатайства о людях вызывают у Ленина жалость ко мне. Он спрашивал:

— Вам не кажется, что вы занимаетесь чепухой, пустяками?

Но я делал то, что считал необходимым, и косые, сер-

дитые взгляды человека, который знал счет врагов пролетариата, не отталкивали меня. Он сокрушенно качал головою и говорил:

— Компрометируете вы себя в глазах товарищей, рабочих.

А я указывал, что товарищи, рабочие, находясь «в состоянии запальчивости и раздражения», нередко слишком легко и «просто» относятся к свободе, к жизни ценных людей и что, на мой взгляд, это не только компрометирует честное, трудное дело революции излишней, порою и бессмысленной жестокостью, но объективно вредно для этого дела, ибо отталкивает от участия в нем немалое количество крупных сил.

— Гм-гм,— скептически ворчал Ленин и указывал мне на многочисленные факты измены интеллигенции рабочему делу.

— Между нами,— говорил он,— ведь многие изменяют, предательствуют не только из трусости, но из самолюбия, из боязни сконфузиться, из страха, как бы не пострадала возлюбленная теория в ее столкновении с практикой. Мы этого не боимся. Теория, гипотеза для нас не есть нечто «священное», для нас это — рабочий инструмент.

И все-таки я не помню случая, когда бы Ильич отказал в моей просьбе. Если же случалось, что они не исполнялись, это было не по его вине. а, вероятно, по силе тех «недостатков механизма», которыми всегда изобиловала неуклюжая машина русской государственности. Допустимо и чье-то злое нежелание облегчить судьбу ценных людей, спасти их жизнь. Возможно и здесь «вредительство», враг циничен так же, как хитер. Месть и злоба часто действуют по инерции. И, конечно, есть маленькие психически нездоровые люди с болезненной жаждой наслаждаться страданиями ближних.

Однажды он, улыбаясь, показал мне телеграмму:

«Опять арестовали скажите чтобы выпустили».

Подписано: Иван Вольный.

— Я читал его книгу,— очень понравилась. Вот в нем я сразу по пяти словам чувствую человека, который понимает неизбежность ошибок и не сердится, не лезет на стену из-за личной обиды. А его арестуют, кажется,

третий раз. Вы бы посоветовали ему уехать из деревни, а то еще убьют. Его, видимо, не любят там. Посоветуйте. Телеграммой.

Нередко меня очень удивляла готовность Ленина помочь людям, которых он считал своими врагами, и не только готовность, а и забота о будущем их. Так, например, одному генералу, ученому, химику, угрожала смерть.

— Гм-гм,— сказал Ленин, внимательно выслушав мой рассказ.— Так, по-вашему, он не знал, что сыновья спрятали оружие в его лаборатории? Тут есть какая-то романтика. Но — надо, чтоб это разобрал Дзержинский, у него тонкое чутье на правду.

Через несколько дней он говорил мне по телефону в Петроград:

— А генерала вашего — выпустим,— кажется, уже и выпустили. Он что хочет делать?

— Гомоэмульсию...

— Да, да — карболку какую-то! Ну вот, пусть варит карболку. Вы скажите мне, чего ему надо...

И для того, чтоб скрыть стыдливую радость спасения человека, Ленин прикрывал радость иронией.

Через несколько дней он снова спрашивал:

— А как — генерал? Устроился?

В 19 году в петербургские кухни являлась женщина, очень красивая, и строго требовала:

— Я княгиня Ч., дайте мне кость для моих собак!

Рассказывали, что она, не стерпев унижения и голода, решила утопиться в Неве, но будто бы четыре собаки ее, почуяв недобрый замысел хозяйки, побежали за нею и своим воем, волнением заставили ее отказаться от самоубийства.

Я рассказал Ленину эту легенду. Поглядывая на меня искоса, снизу вверх, он всё прищуривал глаза и наконец, совсем закрыв их, сказал угрюмо:

— Если это и выдумано, то выдумано неплохо. Шуточка революции.

Помолчал. Встал и, перебирая бумаги на столе, сказал задумчиво:

— Да, этим людям туго пришлось, история — мама-

ша суровая и в деле возмездия ничем не стесняется. Что ж говорить? Этим людям плохо. Умные из них, конечно, понимают, что вырваны с корнем и снова к земле не прирастут. А трансплантация, пересадка в Европу, умных не удовлетворит. Не вживутся они там, как думаете?

— Думаю — не вживутся.

— Значит — или пойдут с нами, или же снова будут хлопотать об интервенции.

Я спросил: кажется мне это, или действительно он жалеет людей?

— Умных — жалею. Умников мало у нас. Мы — народ по преимуществу талантливый, но ленивого ума.

И, вспомнив некоторых товарищей, которые изжили классовую зоопсихологию, работают с «большевиками», он удивительно ласково заговорил о них.

Человек изумительно сильной воли, Ленин в высшей степени обладал качеством, свойственным лучшей революционной интеллигенции,— самоограничением, часто восходящим до самоистязания, самоуродования, до рахметовских гвоздей, отрицания искусства, до логики одного из героев Л. Андреева:

«Люди живут плохо — значит, я тоже должен плохо жить».

В тяжелом, голодном 19 году Ленин стыдился есть продукты, которые присылали ему товарищи, солдаты и крестьяне из провинции. Когда в его неуютную квартиру приносили посылки, он морщился, конфузился и спешил раздать муку, сахар, масло больным или ослабевшим от недоедания товарищам. Приглашая меня обедать к себе, он сказал:

— Копченой рыбой угощу — прислали из Астрахани.

И, нахмурив сократовский лоб, скосив в сторону всевидящие глаза, добавил:

— Присылают, точно барину! Как от этого отвадишь? Отказаться, не принять — обидишь. А кругом все голодают.

Неприхотливый, чуждый привычки к вину, табаку, занятый с утра до вечера сложной, тяжелой работой,

он совершенно не умел заботиться о себе, но зорко следил за жизнью товарищей.

Сидит за столом у себя в кабинете, быстро пишет и говорит, не отрывая пера от бумаги:

— Здравствуйте, как здоровье? Я сейчас кончу... Тут один товарищ, в провинции, скучает, видимо — устал. Надо поддержать. Настроение — не малая вещь!

Как-то в Москве прихожу к нему, спрашивает:

— Обедали?

— Да.

— Не сочиняете?

— Свидетели есть,— обедал в кремлевской столовой.

— Я слышал — скверно готовят там.

— Не скверно, а — могли бы лучше.

Он тотчас же подробно допросил: почему плохо, как может быть лучше?

И начал сердито ворчать:

— Что же они там, умелого повара не смогут найти? Люди работают буквально до обморока, их нужно кормить вкусно, чтоб они ели больше. Я знаю, что продуктов мало и плохи они,— тут нужен искусный повар.— И — процитировал рассуждение какого-то гигиениста о роли вкусных приправ в процессе питания и пищеварения. Я спросил:

— Как это вы успеваете думать о таких вещах?

Он тоже спросил:

— О рациональном питании?

И тоном своих слов дал мне понять, что мой вопрос — неуместен.

Старый знакомый мой, А. К. Скороходов, тоже сормович, человек мягкой души, жаловался на тяжесть работы в Чеке. Я сказал ему:

— И мне кажется, что это не ваше дело, не по характеру вам.

Он грустно согласился:

— Совсем не по характеру.

Но, подумав, сказал:

— Однако вспомнишь, что ведь Ильичу тоже, наверное, частенько приходится держать душу за крылья, и — стыдно мне слабости своей.

Я знал и знаю немало рабочих, которым приходилось и приходится, крепко сжав зубы, «держать душу за крылья» — насиловать органический «социальный идеализм» свой ради торжества дела, которому они служат.

Приходилось ли самому Ленину «держать душу за крылья»?

Он слишком мало обращал внимания на себя для того, чтобы говорить о себе с другими, он, как никто, умел молчать о тайных бурях в своей душе. Но однажды, в Горках, лаская чьих-то детей, он сказал:

— Вот эти будут жить уже лучше нас; многое из того, чем жили мы, они не испытают. Их жизнь будет менее жестокой.

И, глядя в даль, на холмы, где крепко осела деревня, он добавил раздумчиво:

— А все-таки я не завидую им. Нашему поколению удалось выполнить работу, изумительную по своей исторической значительности. Вынужденная условиями, жестокость нашей жизни будет понята и оправдана. Всё будет понято, всё!

Детей он ласкал осторожно, какими-то особенно легкими и бережными прикосновениями.

Как-то пришел к нему и — вижу: на столе лежит том «Войны и мира».

— Да, Толстой! Захотелось прочитать сцену охоты, да вот, вспомнил, что надо написать товарищу. А читать — совершенно нет времени. Только сегодня ночью прочитал вашу книжку о Толстом.

Улыбаясь, прижмурив глаза, он с наслаждением вытянулся в кресле и, понизив голос, быстро продолжал:

— Какая глыба, а? Какой матерый человечище! Вот это, батенька, художник... И — знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было.

Потом, глядя на меня прищуренными глазками, спросил:

— Кого в Европе можно поставить рядом с ним?

Сам себе ответил:

— Некого.

И, потирая руки, засмеялся, довольный.

Я нередко подмечал в нем черту гордости Россией, русскими, русским искусством. Иногда эта черта казалась мне странно чуждой Ленину и даже наивной, но потом я научился слышать в ней отзвук глубоко скрытой, радостной любви к своему народу.

На Капри он, глядя, как осторожно рыбаки распутывают сети, изорванные и спутанные акулой, заметил:

— Наши работают бойчее.

А когда я выразил сомнение по этому поводу, он, не без досады, сказал:

— Гм-гм, а не забываете вы Россию, живя на этой шишке?

В. А. Десницкий-Строев сообщил мне, что однажды он ехал с Лениным по Швеции, в вагоне, и рассматривал немецкую монографию о Дюрере.

Немцы, соседи по купе, его спросили, что это за книга. В дальнейшем оказалось, что они ничего не слышали о своем великом художнике. Это вызвало почти восторг у Ленина, и дважды, с гордостью, он сказал Десницкому:

— Они своих не знают, а мы знаем.

Как-то вечером, в Москве, на квартире Е. П. Пешковой, Ленин, слушая сонаты Бетховена в исполнении Исая Добровейн, сказал:

— Ничего не знаю лучше «Apassionata», готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди!

И, прищурясь, усмехаясь, он прибавил невесело:

— Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми. Гм-гм, — должность адски трудная!

Сам почти уже больной, очень усталый, он писал мне 9.VIII. 1921 года:

напишу,-сказал он и нахмурился.- В массу надобно двинуть всю старую революционную литературу, сколько ее есть у нас и в Европе.

Он был русский человек, который долго жил вне России, внимательно разглядывал свою страну,- издали она кажется красочнее и ярче. Он правильно оценил потенциальную силу ее - исключительную талантливость народа, еще слабо выраженную, не возбужденную историей, тяжелой и нудной, но талантливость всюду, на темном фоне фантастической русской жизни блестящую золотыми звездами.

Владимир Ленин большой, настоящий человек мира сего - умер. Эта смерть очень больно ударила по сердцам тех людей, кто знал его, очень больно!

Но черная черта смерти только еще резче подчеркнет в глазах всего мира его значение - значение вождя всемирного трудового народа.

И если б туча ненависти к нему, туча лжи и клеветы вокруг имени его была еще более густа - все равно: нет сил, которые могли бы затемнить факел, поднятый Лениным в душной тьме обезумевшего мира.

И не было человека, который так, как этот, действительно заслужил в мире вечную память.

Владимир Ленин умер. Наследники разума и воли его-живы. Живы и работают так же [illegible] как никто, никогда и нигде в мире не работали

Наше дело.

М. Горький

**«В. И. ЛЕНИН».**
**Машинописная страница последней редакции.**

А. М.!

Переслал Ваше письмо Л. Б. Каменеву. Я устал так, что ничегошеньки не могу. А у Вас кровохарканье и Вы не едете!! Это ей-же-ей и бессовестно и не расчетливо. В Европе, в хорошей санатории будете и лечиться и втрое больше дело делать. Ей-ей. А у нас — ни леченья, ни дела, одна суетня, зряшняя суетня. Уезжайте, вылечитесь. Не упрямьтесь, прошу Вас!

Ваш *Ленин*

Он больше года с поразительным упрямством настаивал, чтоб я уехал из России, и меня удивляло: как он, всецело поглощенный работой, помнит о том, что кто-то где-то болен, нуждается в отдыхе?

Таких писем, каково приведенное, он написал разным людям, вероятно, десятки.

Я уже говорил о его совершенно исключительном отношении к товарищам, о внимании к ним, которое проницательно догадывалось даже о неприятных мелочах их жизни. Но в этом его чувстве я никогда не мог уловить своекорыстной заботливости, которая иногда свойственна умному хозяину в его отношении к честным и умелым работникам.

Нет, это было именно сердечное внимание истинного товарища, чувство любви равного к равным. Я знаю, что между Владимиром Лениным и даже крупнейшими людьми его партии невозможно поставить знак равенства, но сам он этого как бы не знал, а вернее — не хотел знать. Он был резок с людьми, споря с ними, безжалостно высмеивал, даже порою ядовито издевался — всё это так.

Но сколько раз в его суждениях о людях, которых он вчера распинал и «разносил», я совершенно ясно слышал ноты искреннего удивления пред талантами и моральной стойкостью этих людей, пред их упорной и тяжелой работой среди адовых условий 1918—1921 годов, работой в окружении шпионов всех стран и партий, среди заговоров, которые гнилыми нарывами вздувались на истощенном войною теле страны. Работали — без отдыха, ели мало и плохо, жили в непрерывной тревоге.

Но сам Ленин как будто не испытывал тяжести этих условий и тревог жизни, потрясенной до самых глубочайших основ своих кровавой бурей гражданской распри. И только один раз, в беседе с М. Ф. Андреевой, у него, по ее словам, вырвалось что-то подобное жалобе:

— Что же делать, милая Мария Федоровна? Надо бороться. Необходимо! Нам тяжело? Конечно! Вы думаете: мне тоже не бывает трудно? Бывает — и еще как! Но — посмотрите на Дзержинского, — на что стал похож он! Ничего не поделаешь! Пусть лучше нам будет тяжело, только бы одолеть!

Лично я слышал от него лишь одну жалобу:

— Жаль — Мартова нет с нами, очень жаль! Какой это удивительный товарищ, какой чистый человек!

Помню, как весело и долго хохотал он, прочитав где-то слова Мартова:

«В России только два коммуниста: Ленин и Коллонтай».

А посмеявшись, сказал, со вздохом:

— Какая умница! Эх...

Именно с уважением и удивлением он сказал, проводив из кабинета одного товарища «хозяйственника»:

— Вы давно знаете его? Он был бы во главе кабинета министров любой европейской страны.

И, потирая руки, посмеиваясь, добавил:

— Европа беднее нас талантливыми людьми.

Я предложил ему съездить в Главное артиллерийское управление посмотреть изобретенный одним большевиком, бывшим артиллеристом, аппарат, корректирующий стрельбу по аэропланам.

— А что я в этом понимаю? — спросил он, но — поехал. В сумрачной комнате, вокруг стола, на котором стоял аппарат, собралось человек семь хмурых генералов, все седые, усатые старики, ученые люди. Среди них скромная штатская фигура Ленина как-то потерялась, стала незаметной. Изобретатель начал объяснять конструкцию аппарата. Ленин послушал его минуты две, три, одобрительно сказал:

— Гм-гм! — и начал спрашивать изобретателя так же свободно, как будто экзаменовал его по вопросам политики:

— А как достигнута вами одновременно двойная работа механизма, устанавливающая точку прицела? И нельзя ли связать установку хоботов орудий автоматически с показаниями механизма?

Спрашивал про объем поля поражения и еще о чем-то, — изобретатель и генералы оживленно объясняли ему, а на другой день изобретатель рассказывал мне:

— Я сообщил моим генералам, что придете вы с товарищем, но умолчал, кто — товарищ. Они не узнали Ильича, да, вероятно, и не могли себе представить, что он явится без шума, без помпы, охраны. Спрашивают: «Это техник, профессор?» «Ленин?» Страшно удивились: «Как? Не похоже! И — позвольте! — откуда он знает наши премудрости? Он ставил вопросы как человек технически сведущий! Мистификация!» — Кажется, так и не поверили, что у них был именно Ленин...

А Ленин, по дороге из ГАУ, возбужденно похохатывал и говорил об изобретателе:

— Ведь вот как можно ошибаться в оценке человека! Я знал, что это старый честный товарищ, но — из тех, что звезд с неба не хватают. А он как раз именно на это и оказался годен. Молодчина! Нет, генералы-то как окрысились на меня, когда я выразил сомнение в практической ценности аппарата! А я нарочно сделал это, — хотелось знать, как именно они оценивают эту остроумную штуку.

Залился смехом, потом спросил:

— Говорите, у И. есть еще изобретение? В чем дело? Нужно, чтоб он ничем иным не занимался. Эх, если б у нас была возможность поставить всех этих техников в условия идеальные для их работы! Через двадцать пять лет Россия была бы передовой страной мира!

Да, часто слышал я его похвалы товарищам. И даже о тех, кто — по слухам — не пользовался его личными симпатиями, Ленин умел говорить, воздавая должное их энергии.

Я был очень удивлен его высокой оценкой организаторских способностей Л. Д. Троцкого, — Владимир Ильич подметил мое удивление.

— Да, я знаю, о моих отношениях с ним что-то

врут. Но — что есть — есть, а чего нет — нет, это я тоже знаю. Он вот сумел организовать военных спецов.

Помолчав, он добавил потише и невесело:

— А все-таки не наш! С нами, а — не наш. Честолюбив. И есть в нем что-то... нехорошее, от Лассаля...

Эти слова: «С нами, а — не наш» — я слышал от него дважды, второй раз они были сказаны о человеке тоже крупном. Он умер вскоре после Владимира Ильича. Людей Владимир Ильич чувствовал, должно быть, очень хорошо. Как-то, входя в его кабинет, я застал там человека, который, пятясь к двери задом, раскланивался с Владимиром Ильичом, а Владимир Ильич, не глядя на него, писал.

— Знаете этого? — спросил он, показав пальцем на дверь; я сказал, что раза два обращался к нему по делам «Всемирной литературы».

— И — что?

— Могу сказать: невежественный и грубый человек.

— Гм-гм... Подхалим какой-то. И, вероятно, жулик. Впрочем, я его первый раз вижу, может быть, ошибаюсь.

Нет, Владимир Ильич не ошибся; через несколько месяцев человек этот вполне оправдал характеристику Ленина.

О людях он думал много, обеспокоенный тем, что, по его словам:

— Аппарат у нас — пестренький, после Октября много влезло в него чужих людей. Это — по вине благочестивой и любимой вами интеллигенции, это — следствие ее подлого саботажа, да-с!

Это он говорил, гуляя со мною в Горках. Не помню, почему я заговорил об Алексинском, кажется, он выкинул в это время какую-то дрянную штуку.

— Можете представить: с первой же встречи с ним у меня явилось к нему чисто физическое отвращение. Непобедимое. Никогда, никто не вызывал у меня такого чувства. Приходилось вместе работать, всячески одергивал себя, неловко было, а — чувствую: не могу я терпеть этого выродка!

И, удивленно пожав плечами, сказал:

— А вот негодяя Малиновского не мог раскусить. Очень это темное дело, Малиновский...

Его отношение ко мне было отношением строгого учителя и доброго «заботливого друга».

— Загадочный вы человек, — сказал он мне шутливо, — в литературе как будто хороший реалист, а в отношении к людям — романтик. У вас все — жертвы истории! Мы знаем историю, и мы говорим жертвам: опрокидывайте жертвенники, ломайте храмы, долой богов! А вам хочется убедить меня, что боевая партия рабочего класса обязана прежде всего удобно устроить интеллигентов.

Может быть, я ошибаюсь, но мне казалось, что беседовать со мною Владимиру Ильичу было приятно. Он почти всегда предлагал:

— Приедете — позвоните, повидаемся.

А однажды сказал:

— Потолковать с вами всегда любопытно, у вас разнообразнее и шире круг впечатлений.

Расспрашивал о настроении интеллигенции, особенно внимательно об ученых,— я в то время работал с А. Б. Халатовым в «Комиссии по улучшению быта ученых». Интересовался пролетарской литературой:

— Чего вы ждете от нее?

Я говорил, что жду многого, но считаю совершенно необходимым организацию литвуза с кафедрами по языкознанию, иностранным языкам — Запада и Востока,— по фольклору, по истории всемирной литературы, отдельно — русской.

— Гм-гм, — говорил он, прищуриваясь и похохатывая. — Широко и ослепительно! Что широко — я не против, а вот — ослепительно будет, а? Своих-то профессоров у нас нет по этой части, а буржуазные такую историю покажут... Нет, сейчас нам этого не поднять. Годика три, пяток подождать надо.

И жаловался:

— Читать — совершенно нет времени!

Усиленно и неоднократно подчеркивал агитационное значение работы Демьяна Бедного, но говорил:

— Грубоват. Идет за читателем, а надо быть немножко впереди.

К Маяковскому относился недоверчиво и даже раздраженно:

— Кричит, выдумывает какие-то кривые слова, и всё у него не то, по-моему, — не то и мало понятно. Рассыпано всё, трудно читать. Талантлив? Даже очень? Гм-гм, посмотрим! А вы не находите, что стихов пишут очень много? И в журналах целые страницы стихов, и сборники выходят почти каждый день.

Я сказал, что тяготение молодежи к песне — естественно в такие дни и что — на мой взгляд — посредственные стихи легче писать, чем хорошую прозу, и времени требуют стихи — меньше; к тому же у пас очень много хороших учителей по технике стихосложения.

— Ну, что стихи легче прозы — я не верю! Не могу представить. С меня хоть кожу сдерите — двух строчек не напишу, — сказал он и нахмурился. — В массу надобно двинуть всю старую революционную литературу, сколько ее есть у нас и в Европе.

Он был русский человек, который долго жил вне России, внимательно разглядывая свою страну, — издали она кажется красочнее и ярче. Он правильно оценил потенциальную силу ее — исключительную талантливость народа, еще слабо выраженную, не возбужденную историей, тяжелой и нудной, но талантливость всюду, на темном фоне фантастической русской жизни блестящую золотыми звездами.

Владимир Ленин, большой, настоящий человек мира сего, — умер. Эта смерть очень больно ударила по сердцам тех людей, кто знал его, очень больно!

Но черная черта смерти только еще резче подчеркнет в глазах всего мира его значение, — значение вождя всемирного трудового народа.

И если б туча ненависти к нему, туча лжи и клеветы вокруг имени его была еще более густа — всё равно: нет сил, которые могли бы затемнить факел, поднятый Лениным в душной тьме обезумевшего мира.

И не было человека, который так, как этот, действительно заслужил в мире вечную память.

Владимир Ленин умер. Наследники разума и воли его — живы. Живы и работают так успешно, как никто, никогда, нигде в мире не работал.

Июль 30 г.

# ЛЕОНИД КРАСИН

В первый раз я услышал имя Леонида Красина из уст Н. Г. Гарина-Михайловского; это было в Самаре в 95—6 годах. Убеждая меня в чем-то, в чем я не мог убедиться, Гарин пригрозил:

— Вас надо познакомить с Леонидом Красиным, он бы с вас в один месяц все анархические шишки сточил, он бы вас отшлифовал!

Угроза эта вызвала в памяти моей образ Павла Скворцова, нижегородца, одного из первых марксистов, фанатика книги, не симпатичного мне. В течение десяти лет я встретил на путях моих не мало апостолов, и мне уже казалось, что все они требуют одного: чтоб личный опыт мой я, как можно скорее и с явным ущербом для опыта, уложил в предлагаемые ими формы.

Зимою 1903 года я жил в курорте Сестрорецк, один в огромной комнате; она во время сезона служила, кажется, «пневматическим ингаляторием», ее освещали два окна, выходившие в парк, окна были высокие и шире дверей, но мелкие переплеты их рам напоминали о тюремных решетках. Труба парового отопления каждое утро шипящим голосом спрашивала:

— Не хотите ли рыбы?

Кроме меня, в курорте жила А. Г. Достоевская; банщик Прохоров рассказал мне, что это вдова кавказского генерала Грибоедова, казненного за измену царю Николаю I, почему она и живет под чужой фамилией.

Я был предупрежден, что ко мне приедет «Никитич», недавно кооптированный в члены ЦК, но, когда увидал в окно, что по дорожке парка идет элегантно одетый человек в котелке, в рыжих перчатках, в щегольских бо-

тинках без галош, я не мог подумать, что это и есть он, «Никитич».

— Леонид Красин, — назвал он себя, пожимая мою руку очень сильной и жесткой рукою рабочего человека. Рука возбуждала доверие, но костюм и необычное, характерное лицо все-таки смущали, — время было «зубатовское», хотя и на ущербе. Вспоминались слова Гарина, Павел Скворцов, десятки знакомых мне активных работников партий, всегда несколько растрепанных, усталых, раздраженных. Этот не казался одетым для конспирации «барином», костюм сидел на нем так ловко, как будто Красин родился в таком костюме. От всех партийцев, кого я знал, он резко отличался — разумеется, не только внешним лоском и спокойной точностью речи, но и еще чем-то, чего я не умею определить. Он представил вполне убедительные доказательства своей «подлинности», да, это — «Никитич», он же Леонид Красин. О «Никитиче» я уже знал, что это один из энергичнейших практиков партии и талантливых организаторов ее.

Он сел к столу и тотчас же заговорил, что, по мысли Ленина, необходимо создать кадр профессиональных революционеров, интеллигентов и рабочих.

— Так сказать — мастеров, инженеров, наконец — художников этого дела, — пояснил он, улыбаясь очень хорошей улыбкой, которая удивительно изменила его сухощавое лицо, сделав мягче, но не умаляя его энергии.

Затем он сообщил о намерении партии создать общерусский политический орган социал-демократии.

— На всё это нужны деньги. Так вот, мы решили просить вас: не можете ли вы использовать ваши, кажется, приятельские отношения с Саввой Морозовым? Конечно,— наивно просить у капиталиста денег на борьбу против него, но — «чем чёрт не шутит, когда бог спит»! Что такое этот Савва?

Внимательно выслушав характеристику Морозова, постукивая пальцами по столу, он спросил:

— Так, значит, попробуете? И даже имеете надежду на успех? Чудесно.

Эту часть беседы он кончил быстро, и всё вышло у него так округленно, законченно, что уж нечего было добавить, не о чем спросить. Затем, с увлечением юно-

ши, он начал рассказывать о борьбе Ленина с экономистами, ревизионистами и закончил памятным пророчеством:

— Вероятно — расколемся. Ленина это не пугает. Он говорит, что разногласия организаторов и вождей — верный признак роста революционного настроения масс. Как будто — он прав, но как будто — несколько торопится. Но пока он еще не ошибался, забегая вперед.

Прохоров принес самовар, за чаем Красин начал говорить о литературе, удивляя меня широкой начитанностью, говорил о театре, восхищаясь В. Ф. Комиссаржевской, Московским Художественным. Когда я сказал, что пьесы Чехова следовало бы ставить не как лирические драмы, а как лирические комедии, он расхохотался.

— Но ведь это был бы почти скандал! — вскричал он, но затем полусогласился:

— Может быть, вы правы, пожалуй, как комедии они более отвечали бы слагающейся социальной обстановке и настроению молодежи. Панихиды — не ко времени, хотя и красивы.

Рассказал, посмеиваясь, о своем посещении Льва Толстого.

— Тогда я был солдат и только что, так сказать, внюхался в Маркса.

Рассказывал он живо, прекрасно, с веселым юмором, в память мою крепко врезалось сердитое лицо Толстого и колючий взгляд его глаз.

Через три часа Леонид Борисович ушел к поезду в Петербург, сказав мне на прощанье:

— Вы тут — точно муха на лысине, сыщикам очень удобно следить за теми, кто у вас бывает. Предупреждаю: за мной хвостов нет. Я — человек без тени, как Питер Шлемиль.

Свидание с Морозовым состоялось через три дня. Аккуратно и внимательно читая «Искру» и вообще партийную литературу, Савва был знаком с позицией Ленина, одобрял ее, и, когда я предупредил его, с кем он будет говорить, он сказал ничего не обещающее слово:

— Поговорим.

Чтобы последующее не удивило читателя так, как

тогда оно удивило меня, я нахожу нужным сказать здесь несколько слов о Савве Морозове. Я познакомился с ним в 1901 году, и за два года между нами образовались отношения дружбы, мы даже говорили на ты, к чему я вообще не склонен. Морозов был исключительный человек по широте образования, по уму, социальной прозорливости и резко революционному настроению. Настроение это возникло у него медленно и постепенно, но и за семь лет пред этим он не скрывал своего «радикализма».

В 96 году, в Нижнем, на заседании одной из секций Всероссийского торгово-промышленного съезда обсуждались вопросы таможенной политики. Встал, возражая кому-то, Дмитрий Иванович Менделеев и, тряхнув львиной головой, раздраженно заявил, что с его взглядами был солидарен сам Александр Третий. Слова знаменитого химика вызвали смущенное молчание. Но вот из рядов лысин и седин выпирнула круглая, гладко остриженная голова, выпрямился коренастый человек с лицом татарина и, поблескивая острыми глазками, звонко, отчетливо, с ядовитой вежливостью сказал, что выводы ученого, подкрепляемые именем царя, не только теряют свою убедительность, но и вообще компрометируют науку. В то время это были слова дерзкие. Человек произнес их, сел, и от него во все стороны зала разлилась, одобрительно и протестующе, волна негромких, ворчливых возгласов.

Я спросил: кто это?

— Савва Морозов.

...Через несколько дней в ярмарочном комитете всероссийское купечество разговаривало об отказе Витте в ходатайстве комитета о расширении срока кредитов государственного банка. Ходатайство было вызвано тем, что в этот год Нижегородская ярмарка была открыта вместе с выставкой, на два месяца раньше обычного. Представители промышленности говорили жалобно и вяло, смущенные отказом.

— Беру слово! — заявил Савва Морозов, привстав и опираясь руками о стол. Выпрямился и звонко заговорил, рисуя широкими мазками ловко подобранных слов значение русской промышленности для России и Евро-

пы. В памяти моей осталось несколько фраз, сильно подчеркнутых оратором:

— «У нас много заботятся о хлебе, но мало о железе, а теперь государство надо строить на железных балках... Наше соломенное царство не живуче... Когда чиновники говорят о положении фабрично-заводского дела, о положении рабочих, вы все знаете, что это — „положение во гроб“...»

В конце речи он предложил возобновить ходатайство о кредите и четко продиктовал текст новой телеграммы Витте, — слова ее показались мне резкими, задорными. Купечество оживленно, с улыбочками и хихикая, постановило: телеграмму отправить. На другой день Витте ответил, что ходатайство комитета удовлетворено.

Дважды мелькнув предо мною, татарское лицо Морозова вызвало у меня противоречивое впечатление: черты лица казались мягкими, намекали на добродушие, но в звонком голосе и остром взгляде проницательных глаз чувствовалось пренебрежение к людям и привычка властно командовать ими. Не преувеличивая, можно сказать, что он почти ненавидел людей своего сословия; о тех, которые «либеральничали» в 901—5 годах, он говорил:

— Щенки. Играют.

Он вообще говорил о промышленниках с иронией, и, кажется, друзей среди них у него не было. Может быть, лучше всего говорит о нем тот факт, что рабочие Орехова-Зуева не поверили в его смерть, а объяснили ее так: Савва бросил все свои дела, «пошел в революционеры» и, под чужим именем, ходит по России, занимаясь пропагандой. Это говорилось даже в 1914 году.*

А некто Марк Азадовский в книжке «Беседы собирателя», изданной в 24 году Восточносибирским отделом географического общества, сообщает, что в 15 году им записана на реке Лене такая легенда:

«Во время войны с японцами Савва Морозов пожерт-

---

* Это может подтвердить Олимпиада Дмитриевна Черткова, бывшая горничная М. Ф. Андреевой, а ныне врач в одном из гинекологических учреждений Ленинграда. Она уроженка Орехова-Зуева, из рабочей семьи и на протяжении многих лет лично знала С. Т. Морозова.

вовал миллион аршин полотна на солдат. Пожертвовал он их великому князю. Вот сколько-то времени прошло, заходит Савва Морозов в лавку купить там что-то и видит: его полотно продают. Значит, смошейничали. Он возьми да и скажи об этом великому князю. Тот в обиду принял. Велит арестовать за эти слова Савву Морозова. Как Савву Морозова арестовали, тут заводы остановились, работы нету — что тут будешь делать. Устроили рабочие забастовку и пошли к царю просить, чтоб Савву Морозова освободили. А царь их всех перестрелял. 9 января это было».

Для того, чтоб после 1906 года в памяти рабочих удержалась такая легенда, необходимо, чтоб личность ее героя говорила очень много социальному чутью людей труда.

Деловая беседа фабриканта с профессиональным революционером, разжигавшим классовую вражду, была так же интересна, как и коротка. Вначале Леонид заговорил пространно и в «популярной» форме, но Морозов, взглянув на него острыми глазами, тихо произнес:

— Это я читал, знаю-с. С этим я согласен. Ленин — человек зоркий-с.

И красноречиво посмотрел на свои скверненькие, капризные часы из никеля, они у него всегда отставали или забегали вперед на двенадцать минут. Затем произошло приблизительно следующее:

— В какой же сумме нуждаетесь? — спросил Савва.

— Давайте больше.

Савва быстро заговорил, — о деньгах он всегда говорил быстро, не скрывая желания скорее кончить разговор.

— Личный мой доход ежегодно в среднем шестьдесят тысяч, бывает, конечно, и больше, до ста. Но треть обыкновенно идет на разные мелочи, стипендии и прочее такое. Двадцать тысяч в год — довольно-с?

— Двадцать четыре — лучше! — сказал Красин.

— По две в месяц? Хорошо-с.

Леонид усмехнулся, взглянув на меня, и спросил: нельзя ли получить сразу за несколько месяцев?

— Именно?

— За пять, примерно?

— Подумаем.

И, широко улыбаясь, пошутил:

— Вы с Горького больше берите, а то он извозчика нанимает за двугривенный, а на чай извозчику полтинник дает.

Я сказал, что фабрикант Морозов лакеям на чай дает по гривеннику и потом пять лет вздыхает по ночам от жадности, вспоминая, в каком году монета была чеканена.

Беседа приняла веселый характер, особенно оживлен и остроумен был Леонид. Было видно, что он очень нравится Морозову, Савва посмеивался, потирая руки. И неожиданно спросил:

— Вы — какой специальности? Не юрист ведь?

— Электротехник.

— Так-с.

Красин рассказал о своей постройке электростанции в Баку.

— Видел. Значит, это — ваша? А не могли бы вы у меня в Орехове-Зуеве установку освещения посмотреть?

В нескольких словах они договорились съездить в Орехово, а, кажется, с весны 1904 года Красин уже работал там. Затем они отправились к поезду, оставив меня в некотором разочаровании. Прощаясь, Красин успел шепнуть мне:

— С головой мужик!

Я воображал, что их деловая беседа будет похожа на игру шахматистов, что они немножко похитрят друг с другом, поспорят, порисуются остротой ума. Но всё вышло как-то слишком просто, быстро и не дало мне, литератору, ничего интересного. Сидели друг против друга двое резко различных людей, один среднего роста, плотный, с лицом благообразного татарина, с маленькими, невеселыми и умными глазами, химик по специальности, фабрикант, влюбленный в поэзию Пушкина, читающий на память множество его стихов и почти всего «Евгения Онегина». Другой — тонкий, сухощавый, лицо, по первому взгляду, как будто «суздальское», с хитрецой, но, всмотревшись, убеждаешься, что этот резко очерченный рот, хрящеватый нос, выпуклый лоб, разре-

занный глубокой складкой, — всё это знаменует человека, по-русски обаятельного, но не по-русски энергичного.

Савва, из озорства, с незнакомыми людьми притворялся простаком, нарочно употребляя «слово-ер-с», но с Красиным он скоро оставил эту манеру. А Леонид говорил четко, ясно, затрачивая на каждую фразу именно столько слов, сколько она требует для полной точности, но все-таки речь его была красочна, исполнена неожиданных оборотов, умело взятых поговорок. Я заметил, что Савва, любивший русский язык, слушает речь Красина с наслаждением.

Сближение с Красиным весьма заметно повлияло на него, подняв его настроение, обычно невеселое, скептическое, а часто и угрюмое. Месяца через три он говорил мне о Леониде:

— Хорош. Прежде всего — идеальный работник. Сам любит работу и других умеет заставить. И — умен. Во все стороны умен. Глазок хозяйский есть: сразу видит цену дела.

Другой раз он сказал:

— Если найдется человек тридцать таких, как этот, они создадут партию покрепче немецкой.

— Одни? Без рабочих?

— Зачем? Рабочие с ними пойдут...

Он говорил:

— Хоть я и не народник, но очень верую в силу вождей.

И каламбурил:

— Без вожжей гоголевская тройка разнесет экипаж вместе со всеми ненужными и нужными седоками.

Красин, в свою очередь, говорил о Савве тоже хвалебно.

— Европеец, — говорил он. — Рожица монгольская, а — европеец!

Усмехаясь, он прибавил:

— Европеец по-русски, так сказать. Я готов думать, что это — новый тип, и тип с хорошим будущим.

В 1905 году, когда, при помощи Саввы, в Петербурге организовывалась «Новая жизнь», а в Москве «Борьба», Красин восхищался:

— Интереснейший человек Савва! Таких вот хорошо иметь не только друзьями, но и врагами. Такой враг — хороший учитель.

Но, расхваливая Морозова, Леонид, в сущности, себя хвалил, разумеется, не сознавая этого. Его влияние на Савву для меня несомненно, я видел, как Савва, подчиняясь обаянию личности Л. Б., растет, становится всё бодрее, живей и всё более беззаботно рискует своим положением. Это особенно ярко выразилось, когда Морозов, спрятав у себя на Спиридоновке Баумана, которого шпионы преследовали по пятам, возил его, наряженного в дорогую шубу, в Петровский парк, на прогулку. Обаяние Красина вообще было неотразимо, его личная значительность сразу постигалась самыми разнообразными людями.

После слуха о его аресте на квартире Леонида Андреева, вместе с другими членами ЦК, В. Ф. Комиссаржевская говорила мне:

— Моя первая встреча с ним была в Баку. Он пришел просить, чтоб я устроила спектакль в пользу чего-то или кого-то. Очень хорошо помню странное впечатление: щеголеватый мужчина, ловкий, веселый, сразу видно, что привык ухаживать за дамами и даже несколько слишком развязен в этом отношении. Но и развязен как-то особенно, не шокируя, не раздражая. Ничего таинственного в нем нет, громких слов не говорит, но заставил меня вспомнить героев всех революционных романов, прочитанных мною в юности. Никак не могла подумать, что это революционер, но совершенно ясно почувствовала, что пришел большой человек, большой и по-новому новый. Потом, когда мне сказали, что он был в ссылке, сидел в тюрьмах, я и в это не сразу поверила.

— Чудовищно энергичен, — говорил о Леониде в 20 году известный электротехник-профессор. — И удивительно организованы внешние проявления его энергии и в слове и в деле.

И так всегда, все видели, что Леонид Красин, «Никитич», «Винтер», «Зимин» — исключительный человек.

— Не знаю товарища, который был бы так надежно наш, как «Никитич», — сказал о пем мой земляк «вы-

боржец» А. К. Скороходов в дни наступления Юденича на Петербург, как раз в тот день, когда отряды Юденича, наступая на Тосно, грозили отрезать Петербург от Москвы.

В тот день многие в Петербурге растерялись, подчиняясь панике, а Леонид, стоя у окна в моей квартире на Кронверкском и слушая, как бухает пушка броненосца, ворчал:

— В Гавани, вероятно, крыши сносит с домов и все стекла в окнах к чёрту летят. Разор!

Кто-то спросил его:

— Отразим?

— Конечно, прогоним. Дураки — убегут, а убытки останутся.

И удивленно передернул плечами:

— Чего лезут, чёрт их побери? Ведь и слепому ясно, что дело их — дохлое.

Затем пожаловался:

— Ну и накурено у вас! Дышать нечем!

Он возбуждал к себе в людях настолько глубокую симпатию, что иногда она принимала характер романтический. Я знаю, что по его слову люди благодарно и весело шли на самые рискованные предприятия.

Авель С〈офронович〉 Енукидзе, вероятно, мог бы рассказать многое из области проявлений личной приязни товарищей к Леониду, дружеской заботы о нем. Если я не ошибаюсь, т. Енукидзе сам был участником совершенно безумной попытки освободить Красина из монументальной Выборгской тюрьмы. Попытка эта была самочинной, ее вызвала личная симпатия храбрецов к Леониду, и она едва не осложнила его положение.

Знаменитый «Камо», «Чёрт»-Богомолов, Грожан, убитый в Москве черной сотней, один из тех рабочих, с которыми Леонид устраивал подпольную типографию в 1904 году в Москве, кажется, на Лесной улице, — все, кого я знал и кто знал Красина, говорили о нем, как о человеке почти легендарном.

И, может быть, лучше всех сказал о нем мой друг, доктор Алексин, человек, относившийся к революции равнодушно, к революционерам — скептически, находя, что «от них пахнет непрожеванными книгами», — сам

он никаких книг не «жевал». Однажды я сидел с доктором у Леонида Андреева, в Грузинах, а Красин приехал туда за мною по какому-то делу. Андреев был плохо настроен и как-то неловко, неуместно заговорил, что он не может верить в благодетельное воздействие революции на людей. Красин тоже был не в духе, озабочен; послушав пессимистические изъявления хозяина, он спросил:

— Если вы утверждаете, что мыться не стоит,— зачем же мыло варить? А ведь вы написали «Василия Фивейского», «Красный смех» и еще немало вещей, революционное значение которых — вне спора.

И, как это нередко бывало с Леонидом Борисовичем, он вдруг вспыхнул, засверкал красивыми глазами и произнес одну из тех речей, которые, если и не могут убедить противника, то совершенно обезоруживают его. Все знают, как великолепно мог говорить Красин, когда бывал «в ударе». И во время его речи доктор Алексин шёпотом сказал мне:

— Вот от этого пахнет историей.

В Куоккале и на Капри, в Берлине, где Красин, работая у Сименса-Шуккерта или у Сименса-Гальске за триста марок в месяц, едва перебивался с семьею, в моей квартире, в доме, где теперь ВЦИК, в Петербурге, работая по установке освещения на военных судах, везде, где «Никитич» встречался со мной, он вызывал у меня впечатление человека несокрушимой, неисчерпаемой энергии. Известно, что он не сразу пошел работать с советской властью, у него, как у многих в 17—18 годах, были колебания.

— Не сладят, — говорил он мне. — Но, разумеется, эта революция даст еще больше бойцов для будущей, несравнимо больше, чем дали пятый, шестой год. Третья революция будет окончательной и разразится скоро. А сейчас будет, кажется, только анархия, мужицкий бунт.

Но он скоро убедился, что «сладят» и тотчас же встал на работу. И тотчас же предложил мне организовать «Комиссию по улучшению быта ученых».

— Если буржуазия умела, — хотя не очень умела,— пользоваться силами квалифицированной интеллигенции, тем более должны уметь делать это мы, — говорил

он. — Ильич совершенно согласен со мною, необходимо дать ученым всё, что только мы можем дать в этих дьявольски трудных условиях.

Еще раньше этого, весною 17 года, он способствовал возникновению «Ассоциации по развитию и распространению положительных наук», в члены которой, вместе с такими учеными, как академики Марков, Федоров, Стеклов, как Лев Чугаев, Заболотный, Филипченко, Петровский, Костычев и другие, вошли также и капиталисты Нобель, Улеман и еще кто-то. Целью «Ассоциации» было организовать в России ряд научно-исследовательских институтов.

По инициативе Красина же учреждена в Петербурге «Экспертная комиссия», на обязанности которой возложен был отбор вещей, имевших художественную, историческую или высокую материальную ценность, в петербургских складах и на бесхозяйственных квартирах, подвергавшихся разграблению хулиганами и ворами. Эта комиссия сохранила для Эрмитажа и других музеев Петербурга сотни высокоценных предметов искусства.

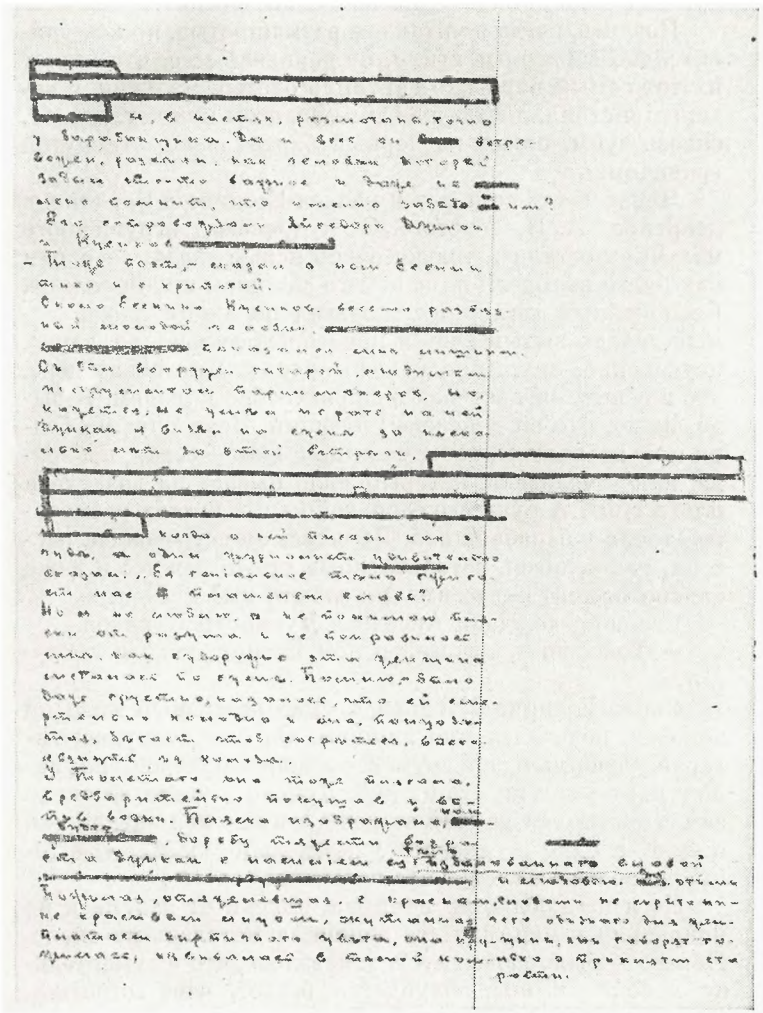
На мой взгляд, для большинства людей дело — ярмо. И даже для многих, зараженных жадностью к наживе, дело все-таки — хомут, а они — волы и рабы. Но есть художники нашего, земного дела, для них работа — наслаждение. Леонид Красин был из тех редких людей, которые глубоко чувствуют поэзию труда, для них вся жизнь — искусство.

# СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

В седьмом или восьмом году, на Капри, Стефан Жеромский рассказал мне и болгарскому писателю Петко Тодорову историю о мальчике, жмудине или мазуре, крестьянине, который, каким-то случаем, попал в Краков и заплутался в нем. Он долго кружился по улицам города и всё не мог выбраться на простор поля, привычный ему. А когда наконец почувствовал, что город не хочет выпустить его, встал на колени, помолился и прыгнул с моста в Вислу, надеясь, что уж река вынесет его на желанный простор. Утонуть ему не дали, он помер оттого, что разбился.

Незатейливый рассказ этот напомнила мне смерть Сергея Есенина. Впервые я увидал Есенина в Петербурге в 1914 году, где-то встретил его вместе с Клюевым. Он показался мне мальчиком 15—17 лет. Кудрявенький и светлый, в голубой рубашке, в поддевке и сапогах с набором, он очень напомнил слащавенькие открытки Самокиш-Судковской, изображавшей боярских детей, всех с одним и тем же лицом. Было лето, душная ночь, мы, трое, шли сначала по Бассейной, потом через Симеоновский мост, постояли на мосту, глядя в черную воду. Не помню, о чем говорили, вероятно, о войне; она уже началась. Есенин вызвал у меня неяркое впечатление скромного и несколько растерявшегося мальчика, который сам чувствует, что не место ему в огромном Петербурге.

Такие чистенькие мальчики — жильцы тихих городов, Калуги, Орла, Рязани, Симбирска, Тамбова. Там видишь их приказчиками в торговых рядах, подмастерьями столяров, танцорами и певцами в трактирных хо-



**«СЕРГЕЙ ЕСЕНИН».**
**Страница автографа.**

рах, а в самой лучшей позиции — детьми небогатых купцов, сторонников «древлего благочестия».

Позднее, когда я читал его размашистые, яркие, удивительно сердечные стихи, не верилось мне, что пишет их тот самый нарочито картинно одетый мальчик, с которым я стоял, ночью, на Симеоновском и видел, как он, сквозь зубы, плюет на черный бархат реки, стиснутой гранитом.

Через шесть-семь лет я увидел Есенина в Берлине, в квартире А. Н. Толстого. От кудрявого, игрушечного мальчика остались только очень ясные глаза, да и они как будто выгорели на каком-то слишком ярком солнце. Беспокойный взгляд их скользил по лицам людей изменчиво, то вызывающе и пренебрежительно, то, вдруг, неуверенно, смущенно и недоверчиво. Мне показалось, что в общем он настроен недружелюбно к людям. И было видно, что он — человек пьющий. Веки опухли, белки глаз воспалены, кожа на лице и шее — серая, поблекла, как у человека, который мало бывает на воздухе и плохо спит. А руки его беспокойны и в кистях размотаны, точно у барабанщика. Да и весь он встревожен, рассеян, как человек, который забыл что-то важное и даже неясно помнит — что именно забыто им?

Его сопровождали Айседора Дункан и Кусиков.

— Тоже поэт,— сказал о нем Есенин, тихо и с хрипотой.

Около Есенина Кусиков, весьма развязный молодой человек, показался мне лишним. Он был вооружен гитарой, любимым инструментом парикмахеров, но, кажется, не умел играть на ней. Дункан я видел на сцене за несколько лет до этой встречи, когда о ней писали как о чуде, а один журналист удивительно сказал: «Ее гениальное тело сжигает нас пламенем славы».

Но я не люблю, не понимаю пляски от разума и не понравилось мне, как эта женщина металась по сцене. Помню — было даже грустно, казалось, что ей смертельно холодно и она, полуодетая, бегает, чтоб согреться, выскользнуть из холода.

У Толстого она тоже плясала, предварительно покушав и выпив водки. Пляска изображала как будто борьбу тяжести возраста Дункан с насилием ее тела, изба-

лованного славой и любовью. За этими словами не скрыто ничего обидного для женщины, они говорят только о проклятии старости.

Пожилая, отяжелевшая, с красным, некрасивым лицом, окутанная платьем кирпичного цвета, она кружилась, извивалась в тесной компате, прижимая ко груди букет измятых, увядших цветов, а па толстом лице ее застыла ничего не говорящая улыбка.

Эта знаменитая женщина, прославленная тысячами эстетов Европы, тонких ценителей пластики, рядом с маленьким, как подросток, изумительным рязанским поэтом, являлась совершеннейшим олицетворением всего, что ему было не нужно. Тут нет ничего предвзятого, придуманного вот сейчас; нет, я говорю о впечатлении того тяжелого дня, когда, глядя на эту женщину, я думал: как может она почувствовать смысл таких вздохов поэта:

Хорошо бы, на стог улыбаясь,
Мордой месяца сено жевать!

Что могут сказать ей такие горестные его усмешки:

Я хожу в цилиндре не для женщин —
В глупой страсти сердце жить не в силе —
В нем удобней, грусть свою уменьшив,
Золото овса давать кобыле.

Разговаривал Есенин с Дункан жестами, толчками колен и локтей. Когда она плясала, он, сидя за столом, пил вино и краем глаза посматривал на нее, морщился. Может быть, именно в эти минуты у него сложились в строку стиха слова сострадания:

Излюбили тебя, измызгали...

И можно было подумать, что он смотрит на свою подругу, как на кошмар, который уже привычен, не пугает, но все-таки давит. Несколько раз он встряхнул головой, как лысый человек, когда кожу его черепа щекочет муха.

Потом Дункан, утомленная, припала на колени, глядя в лицо поэта с вялой, нетрезвой улыбкой. Есенин положил руку на плечо ей, но резко отвернулся. И снова мне думается: не в эту ли минуту вспыхнули в нем и

жестоко и жалостно отчаянные слова:

Что ты смотришь так синими брызгами?
Иль в морду хошь?
...Дорогая, я плачу,
Прости... прости...

Есенина попросили читать. Он охотно согласился, встал и начал монолог Хлопуши. Вначале трагические выкрики каторжника показались театральными.

Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть!
Что ты? Смерть?

Но вскоре я почувствовал, что Есенин читает потрясающе, и слушать его стало тяжело до слез. Я не могу назвать его чтение артистическим, искусным и так далее, все эти эпитеты ничего не говорят о характере чтения. Голос поэта звучал несколько хрипло, крикливо, надрывно, и это как нельзя более резко подчеркивало каменные слова Хлопуши. Изумительно искренно, с невероятной силою прозвучало неоднократно и в разных тонах повторенное требование каторжника:

Я хочу видеть этого человека!

И великолепно был передан страх:

Где он? Где? Неужель его нет?

Даже не верилось, что этот маленький человек обладает такой огромной силой чувства, такой совершенной выразительностью. Читая, он побледнел до того, что даже уши стали серыми. Он размахивал руками не в ритм стихов, но это так и следовало, ритм их был неуловим, тяжесть каменных слов капризно разновесна. Казалось, что он мечет их, одно — под ноги себе, другое — далеко, третье — в чье-то ненавистное ему лицо. И вообще всё: хриплый, надорванный голос, неверные жесты, качающийся корпус, тоской горящие глаза — всё было таким, как и следовало быть всему в обстановке, окружавшей поэта в тот час.

Совершенно изумительно прочитал он вопрос Пугачева, трижды повторенный:

Вы с ума сошли?

— громко и гневно, затем тише, но еще горячей:

Вы с ума сошли?

И наконец совсем тихо, задыхаясь в отчаянии:

Вы с ума сошли?
Кто сказал вам, что мы уничтожены?

Неописуемо хорошо спросил он:

Неужели под душой так же падаешь, как под ношею?

И, после коротенькой паузы, вздохнул, безнадежно, прощально:

Дорогие мои...
Хор-рошие...

Взволновал он меня до спазмы в горле, рыдать хотелось. Помнится, я не мог сказать ему никаких похвал, да он — думаю — и не нуждался в них.

Я попросил его прочитать о собаке, у которой отняли и бросили в реку семерых щенят.

— Если вы не устали...

— Я не устаю от стихов, — сказал он и недоверчиво спросил:

— А вам нравится о собаке?

Я сказал ему, что, на мой взгляд, он первый в русской литературе так умело и с такой искренней любовью пишет о животных.

— Да, я очень люблю всякое зверье,— молвил Есенин задумчиво и тихо, а на мой вопрос, знает ли он «Рай животных» Клоделя, не ответил, пощупал голову обеими руками и начал читать «Песнь о собаке». И когда произнес последние строки:

Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег

— на его глазах тоже сверкнули слезы.

После этих стихов невольно подумалось, что Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали полей» *, любви ко всему живо-

* Слова С. Н. Сергеева-Ценского.

му в мире и милосердия, которое — более всего иного — заслужено человеком. И еще более ощутима стала ненужность Кусикова с гитарой, Дункан с ее пляской, ненужность скучнейшего бранденбургского города Берлина, ненужность всего, что окружало своеобразно талантливого и законченно русского поэта.

А он как-то тревожно заскучал. Приласкав Дункан, как, вероятно, он ласкал рязанских девиц, похлопав ее по спине, он предложил поехать:

— Куда-нибудь в шум, — сказал он.

Решили: вечером ехать в Луна-парк.

Когда одевались в прихожей, Дункан стала нежно целовать мужчин.

— Очень хороши рошен, — растроганно говорила она. — Такой — ух! Не бывает...

Есенин грубо разыграл сцену ревности, шлепнул ее ладонью по спине, закричал:

— Не смей целовать чужих!

Мне подумалось, что он сделал это лишь для того, чтоб назвать окружающих людей чужими.

Безобразное великолепие Луна-парка оживило Есенина, он, посмеиваясь, бегал от одной диковины к другой, смотрел, как развлекаются почтенные немцы, стараясь попасть мячом в рот уродливой картонной маски, как упрямо они влезают по качающейся под ногами лестнице и тяжело падают на площадке, которая волнообразно вздымается. Было неисчислимо много столь же незатейливых развлечений, было много огней, и всюду усердно гремела честная немецкая музыка, которую можно бы назвать «музыкой для толстых».

— Настроили — много, а ведь ничего особенного не придумали, — сказал Есенин и сейчас же прибавил: — Я не хаю.

Затем, наскоро, заговорил, что глагол «хаять» лучше, чем «порицать».

— Короткие слова всегда лучше многосложных, — сказал он.

Торопливость, с которой Есенин осматривал увеселения, была подозрительна и внушала мысль: человек

хочет всё видеть для того, чтоб поскорей забыть. Остановясь перед круглым киоском, в котором вертелось и гудело что-то пестрое, он спросил меня неожиданно и тоже торопливо:

— Вы думаете, мои стихи — нужны? И вообще искусство, то есть поэзия — нужна?

Вопрос был уместен как нельзя больше, — Луна-парк забавно живет и без Шиллера.

Но ответа на свой вопрос Есенин не стал ждать, предложив:

— Пойдемте вино пить.

На огромной террасе ресторана, густо усаженной веселыми людями, он снова заскучал, стал рассеянным, капризным. Вино ему не понравилось:

— Кислое и пахнет жженым пером. Спросите красного, французского.

Но и красное он пил неохотно, как бы по обязанности. Минуты три сосредоточенно смотрел вдаль; там, высоко в воздухе, на фоне черных туч, шла женщина по канату, натянутому через пруд. Ее освещали бенгальским огнем, над нею и как будто вслед ей летели ракеты, угасая в тучах и отражаясь в воде пруда. Это было почти красиво, но Есенин пробормотал:

— Всё хотят как страшнее. Впрочем, я люблю цирк. А — вы?

Он не вызывал впечатления человека забалованного, рисующегося, нет, казалось, что он попал в это сомнительно веселое место по обязанности или «из приличия», как неверующие посещают церковь. Пришел и нетерпеливо ждет, скоро ли кончится служба, ничем не задевающая его души, служба чужому богу.

## Н. Ф. АННЕНСКИЙ

В 90 или 91 году, в Н.-Новгороде у адвоката Щеглова, Павел Скворцов, один из первых проповедников Маркса, читал свой доклад на тему об экономическом развитии России. Читал Скворцов невнятно и сердито, простудно кашлял, задыхался дымом папиросы. Слушали его люди новые для меня и крайне интересные: человек пять либеральных адвокатов; И. И. Сведенцов, старый, угрюмый народоволец-беллетрист, много писавший под псевдонимом Иванович; благожелательный барин-революционер А. И. Иванчин-Писарев; Аполлон Карелин, длинноволосый, как поэт Фофанов; Н. Н. Фрелих, красавец, о котором я знал, что он тоже революционер. Было и еще несколько таких же солидных людей, с громкими именами, с героическим прошлым.

Когда Скворцов кончил читать, на него почти все закричали, но особенно яростно — брат казненного Степана Ширяева, Петр, человек бородатый, с лицом алкоголика. Грубо кричал Сведенцов, ему вторил Егор Васильевич Барамзин, тяжело переживавший в то время свой отход от народничества к марксизму. Скворцов огрызался во все стороны, размахивая длинным камышовым мундштуком, но сочувствующих ему в гостиной не было, его не слушали, забивали криками, уже оскорбляли. Сведенцов, сказав что-то очень сильное, проклинающее, парадно отошел в угол, в облако синего дыма, а навстречу ему из угла поднялся плотный человек, седоватый, с красным лицом и в костюме более небрежном, чем на всех остальных; не то чтоб он был бедно одет, но именно небрежно, как человек, не чувствующий нужды украшать себя извне.

— Я протестую, господа,— сказал он неожиданно молодым голосом; глаза у него тоже были очень молодые, ясные; помню, я подумал: «Вот удивительные глаза!»

Откровенно поддернув брюки, что вышло у него вовсе не смешно, он выдвинулся из дыма и горячо, но не сердито, а как-то особенно неоспоримо и внушительно стал говорить об уважении к человеку и свободе человеческой мысли. Мне очень понравилась необыкновенная ясность его речи, умелый подбор простых, но веских слов, они ложились в память, как слова песни.

— Человеческая мысль, стремясь разрешить загадки жизни, имеет право ошибаться, — сказал он между прочим.

Эти слова пришлись мне так по душе, что я впоследствии попросил Николая Федоровича написать их на оттиске его статьи «О катедер-социалистах».

Расхаживая «на поисках истины» из квартиры в квартиру «неблагонадежных» людей, я несколько раз встречал Н. Ф. у Н. И. Дрягина, где собирались воспитанные Аннепским известнейшие статистики: Кисляков, Константинов, остроносый Шмит, маленький М. А. Плотников и много других людей.

Каждая встреча с Николаем Федоровичем вызывала у меня удивление перед этим человеком и углубляла уважение к нему. Удивляла меня бодрость его духа, его вера в добрые силы жизни, его рыцарское отношение к человеку.

Во время столкновения двух миропониманий, непримиримых по сущности своей, были люди, переживавшие свой личный раскол глубоко и тяжко, но встречалось немало любителей новизны, которые слишком торопливо натягивали европейский костюм марксизма на русский зипун народничества. Не один раз случалось мне наблюдать, с какой удивительной чуткостью, как бережно относился Н. Ф. к первым и с каким безжалостным остроумием обнажал он суетливую поспешность вторых.

В речах своих он был юношески горяч, великолепно владел острым словом, метко, как художник, попадал

им в цель; он умел высмеять противника, даже немножко уязвить его, но я не помню случая, когда бы его слово обидно задело человека. Всегда бывало так, что противник сам вместе с другими искренно смеялся над тем, как Н. Ф., поймав его на противоречиях, ставил в тупик. Помню, возражая Барамзину, он так и начал:

— Рыбу ловят на червей, человеков — на противоречиях.

Он был по-русски красноречив, и особенно подкупало меня блестящее умение, с которым он владел афоризмом, этой характерной особенностью подлинной русской речи. Точно фольклорист, он знал бесчисленное количество пословиц, поговорок и артистически вплетал их в свою яркую речь, однако не перегружая ее. Не знаю, это ли называется «талантом оратора», но слушать его было наслаждением. Помню, что по поводу какой-то статьи М. Меньшикова о Льве Толстом или о князе Вяземском, толстовце, он сказал:

— Верблюд, рассказывая о коне, неизбежно изобразит его горбатым.

Два человека были для меня в ту пору «настоящими» — В. Г. Короленко, который всегда знал, что́ надобно делать, и говорил о трудных делах жизни со спокойствием стоика, и Н. Ф. Анненский, чья духовная бодрость действовала благотворно на меня, переживавшего в ту пору весьма тяжелые дни. Конечно, эта бодрость заражала всех, кто знал его, но мне она была действительно «лекарством по недугу».

В лице Н. Ф. я видел человека, который счастлив тем, что он живет, и тем, что умеет наслаждаться делом, которое он делает.

Через десять лет я видел Н. Ф. в Петербурге, на демонстрации 4 марта. Как раз в тот момент, когда казаки и полиция со свирепостью, которая вначале показалась мне наигранной и театральной,— так неестественно внезапна была она,— так вот в минуту, когда пьяное воинство бросилось в толпу демонстрантов, тесно сгрудившуюся на паперти и на крыльях между колонн

Казанского собора, я увидел характерную фигуру Николая Федоровича.

Он один бежал от монумента Барклая-де-Толли встречу публике, стремительно спасавшейся от избиения,— бежал к паперти, где уже сверкали шашки, шлепали нагайки, мелькал красный флаг и откуда раздавался оглушительный тысячеустый вой, рев, стон. Казаки, ловко повертывая лошадей в людском потоке, гикали, сбивали бежавших с ног, хлестали нагайками по головам. Пешая полиция била шашками плашмя. Полицейские были, кажется, трезвы, а казаки — пьяны, это я знаю совершенно точно, видел, как легко стаскивали их за ноги с лошадей и выбивали палками из седел. Николая Федоровича я, конечно, тотчас потерял из глаз.

Вечером он пришел в Дом литераторов с разбитым и опухшим лицом. Битых людей в тот день я видел немало, и хотя это грустно, а надо сказать правду: очень многие из них оценивали синяки и царапины свои несколько высоко, как, примерно, солдаты — георгиевский крест. В этой повышенной оценке чувствовалось нечто смешное и конфузившее, ибо ведь шишка от удара на затылке человека не всегда свидетельство мужества его.

У Н. Ф. был очень большой синяк под глазом и, если не ошибаюсь, была разбита губа. Но казалось, что он забыл об этом или вообще не заметил. Все другие тоже как будто не замечали этого, а когда Н. Г. Гарин-Михайловский сказал что-то сочувственное, он услышал, должно быть, не очень любезный ответ, потому что смутился и, покраснев, отошел.

Н. Ф. очень оживлен, мягко улыбался, дружелюбно командовал. Сказал краткую речь о необходимости гласного протеста против действий полиции; стоявшая рядом со мной Капитолина Назарьева «единогласно» откликнулась:

— Всех и вышлют из Петербурга.

— Не знаете куда? — спросил Н. Ф. и усадил кого-то писать протест.

Но должно быть, вспомнив пословицу «Без спора скоро, да не крепко», несколько голосов заговорило

о литературных недостатках протеста. Тогда Н. Ф. сказал очень серьезно:

— Прошу, господа, подписывайте в порядке алфавита! — и, помнится, подписался первым.

Е. А. Соловьев-Андреевич, человек, который не любил говорить о людях хорошо, сказал:

— Есть в Анненском что-то неотразимое, импонирующее,— и, покусав губу, пьяную, как всегда, добавил, вздохнув:

— Поистине «рыцарь без страха и упрека». При этом — веселый рыцарь.

9 января 1905 года я с утра был на улицах, видел, как рубили и расстреливали людей, видел жалкую фигуру раздавленного «вождя» и «героя дня» Гапона, видел «больших» людей наших в мучительном сознании ими своего бессилия. Всё было жутко, всё подавляло в этот проклятый, но поучительный день.

И одним из самых жутких впечатлений моих этого дня был Николай Федорович Анненский — в слезах. Я увидал его в вестибюле Публичной библиотеки, забежав туда зачем-то, Анненского вели под руки,— не помню кто, кажется, Т. А. Кроль и еще кто-то. Я вот сейчас вижу перед собою его хорошее лицо, невыразимо измученное, в судорогах и мокрое от слез. Рыдал он, кажется, беззвучно, но показалось мне, что он оглушительно кричит.

Наверху, в зале библиотеки, истерически шумели, точно на погибающем пароходе. Николай Федорович, поддерживаемый под руки, медленно, как очень древний человек, спускался с лестницы, ноги его подгибались, и он плакал.

Я много видел слез отчаяния и скорби, но мне думается, что слезы Н. Ф. Анненского в день 9 января — самые страшные и сжигающие душу человеческие слезы.

# О ГАРИНЕ-МИХАЙЛОВСКОМ

Изредка в мире нашем являются люди, которых я назвал бы веселыми праведниками.

Я думаю, что родоначальником их следует признать не Христа, который, по свидетельству евангелий, был все-таки немножко педантом; родоначальник веселых праведников, вероятно, Франциск Ассизский: великий художник любви к жизни, он любил не для того, чтоб поучать любви, а потому что, обладая совершеннейшим искусством и счастьем восторженной любви, не мог не делиться этим счастьем с людями.

Я говорю именно о счастье любви, а не о силе сострадания, заставившей Анри Дюнана создать международную организацию «Красного креста» и создающей такие характеры, как прославленный доктор Гааз, практик-гуманист, живший в тяжелую эпоху царя Николая Первого.

Но — жизнь такова, что чистому состраданию уже нет места в ней, и, кажется, в наше время оно существует только как маска стыда.

Веселые праведники — люди не очень крупные. А может быть, они кажутся не крупными потому, что с точки зрения здравого смысла их плохо видно на темном фоне жестоких социальных отношений. Они существуют вопреки здравому смыслу, бытие этих людей совершенно ничем не оправдано, кроме их воли быть такими, каковы они есть.

Мне посчастливилось встретить человек шесть веселых праведников; наиболее яркий из них — Яков Львович Тейтель, бывший судебный следователь в Самаре, некрещеный еврей.

Тот факт, что судебный следователь — еврей, служил для Якова Львовича источником бесчисленных невзгод, ибо христианское начальство смотрело на него как на пятно, затемняющее чистейший блеск судебного ведомства, и всячески старалось выбить его из позиции, которую он занял, кажется, еще в «эпоху великих реформ». Тейтель — здравствует, о своей войне с министерством юстиции он сам рассказал в книге «Воспоминаний», изданной им. Да, он еще благополучно здравствует, недавно праздновали его семидесяти- или восьмидесятилетний юбилей. Но он следует примеру А. В. Пешехонова и В. А. Мякотина, которые — как я слышал — «не присчитывают, а отсчитывают» года своей жизни. Вполне солидный возраст Тейтеля нимало не мешает ему делать привычное дело, которому он посвятил всю свою жизнь: он всё так же неутомимо и весело любит людей и так же усердно помогает им жить, как делал это в Самаре, в 95—96 годах.

Там, в его квартире, еженедельно собирались все наиболее живые, интересные люди города, впрочем — не очень богатого такими людями. У него бывали все, начиная с председателя окружного суда Аннепкова, потомка декабриста, великого умника и «джентльмена», включая марксистов, сотрудников «Самарского вестника» и сотрудников враждебной «Вестнику» «Самарской газеты»,— враждебной, кажется, не столь «идеологически», как по силе конкуренции. Бывали адвокаты-либералы и молодые люди неопределенного рода занятий, но очень преступных мыслей и намерений. Странно было встречать таких людей «вольными» гостями судебного следователя, тем более странно, что они отнюдь не скрывали ни мыслей, ни намерений своих.

Когда появлялся новый гость, хозяева не знакомили его со своими друзьями, и новичок никого не беспокоил, все были уверены, что плохой человек не придет к Якову Тейтелю. Царила безграничная свобода слова. Тейтель сам был пламенным полемистом и, случалось, даже топал ногами на совопросника. Красный весь, седые, курчавые волосы яростно дыбятся, белые усы грозно ощетинились, даже пуговицы на мундире шевелятся. Но это никого не пугало, потому что прекрасные

глаза Якова Львовича сияли веселой и любовной улыбкой.

Самоотверженно гостеприимные хозяева Яков Львович и Екатерина Дмитриевна, супруга его, ставили на огромный стол огромное блюдо мяса, зажаренного с картофелем, публика насыщалась, пила пиво, а иногда густолиловое, должно быть, кавказское вино, обладавшее привкусом марганцево-кислого калия; на белом это вино оставляло несмываемые пятна, но на головы почти не действовало.

Покушав, гости начинали словесный бой. Впрочем, бои начинались и во время процесса насыщения.

У Тейтеля я и познакомился с Николаем Георгиевичем Михайловским-Гариным.

Подошел ко мне человек в мундире инженера путей сообщения, заглянул в глаза и заговорил быстро, бесцеремонно:

— Это вы — Горький, да? Недурно пишете. А как Хламида — плохо. Это ведь тоже вы, Хламида?

Я сам знал, что Иегудиил Хламида пишет плохо, очень огорчался этим, и поэтому инженер не понравился мне. А он пиявил меня:

— Фельетонист вы слабый. Фельетонист должен быть немножко сатириком,— а у вас этого нет. Юмор есть, но грубоватый, и владеете вы им неумело.

Очень неприятно, когда вот так наскочит на вас незнакомый человек и начнет говорить правду в глаза вам. И — хоть бы ошибся в чем-нибудь, но — не ошибается, всё верно.

Стоял он вплоть ко мне и говорил так быстро, как будто хотел сказать очень много и опасался, что не успеет. Он был ростом ниже меня, и я хорошо видел его тонкое лицо, украшенное холеной бородкой, красивый лоб под седоватыми волосами и удивительно молодые глаза; смотрели они не совсем понятно, как будто ласково, но в то же время вызывающе, задорно.

— Вам не нравится, как я говорю? — спросил он и, точно утверждая свое право говорить неприятности мне, назвал себя: — Я — Гарин. Читали что-нибудь?

Я читал в «Русской мысли» его скептические «Очерки современной деревни» и слышал о жизни автора среди крестьян несколько забавных анекдотов. Сурово встреченные народнической критикой, «Очерки» весьма понравились мне, а рассказы о Гарине рисовали его человеком «с фантазией».

— Очерки — не искусство, даже не беллетристика,— сказал он, явно думая о чем-то другом,— это было видно по рассеянному взгляду его юношеских глаз.

Я спросил: правда ли, что он однажды засеял сорок десятин маком?

— Почему же непременно — сорок? — как будто возмутился Николай Георгиевич и, прихмурив красивые брови, озабоченно пересчитал: — Сорок грехов долой, если убьешь паука, сорок сороков церквей в Москве, сорок дней после родов женщину в церковь не пускают, сорокоуст, сороковой медведь — самый опасный. Чёрт знает, откуда эта сорочья болтовня? Как вы думаете?

Но, видимо, ему было не очень интересно знать, как я думаю, потому что тотчас же, хлопнув меня по плечу маленькой крепкой рукой, он сказал с восхищением:

— Но если бы вы, батенька, видели этот мак, когда он зацвел!

Затем Гарин, отскочив от меня, устремился в словесное побоище, разгоревшееся за столом.

Эта встреча не вызвала у меня симпатии к Н. Г., мне почудилось в нем нечто искусственное. Зачем это он исчислял со́роки? И не скоро привык я к его барственной щеголеватости, к «демократизму», в котором мне сначала чудилось тоже что-то показное.

Был он строен, красив, двигался быстро, но изящно, чувствовалось, что эта быстрота не от нервной расшатанности, а от избытка энергии. Говорил как будто небрежно, но на самом деле очень ловко и своеобразно построенными фразами. Замечательно искусно владел вводными предложениями, которые терпеть не мог А. П. Чехов. Однако я никогда не замечал у Н. Г. свойственной адвокатам привычки любоваться своим красноречием. В его речах всегда было «словам — тесно, мыслям — просторно».

Должно быть, с первой встречи он часто вызывал впечатление, не очень выгодное для себя. Драматург Косоротов жаловался на него:

— Мне с ним хотелось о литературе побеседовать, а он меня угостил лекцией о культуре корнеплодов, потом говорил что-то о спорынье.

А Леонид Андреев на вопрос: как понравился ему Гарин? — ответил:

— Очень милый, умный, интересный, очень! Но — инженер. Это — плохо, Алексеюшка, когда человек — инженер. Я боюсь инженера, опасный человек! И не заметишь, как он приладит тебе какое-нибудь лишнее колесико, а ты вдруг покатишься по чужим рельсам. Гарин этот очень склонен ставить людей на свои рельсы, да, да! Напористый, толкается...

Николай Георгиевич строил ветку железной дороги от Самары на Сергиевские серные воды, и эта постройка сопряжена была у него со множеством различных анекдотов.

Понадобился ему локомотив какой-то особенной конструкции, и он заявил министерству путей сообщения о необходимости купить локомотив в Германии. Но министр путей или Витте, запретив покупку, предложил заказать локомотив в Сормове или на коломенских заводах. Не помню, путем каких сложных и смелых ухищрений Гарин купил локомотив все-таки за границей и контрабандно пригнал его в Самару; это, должно быть, сохранило несколько тысяч денег и несколько недель времени, более дорогого, чем деньги.

Но он юношески восторженно хвастался не тем, что сэкономил время и деньги, а именно тем, что исхитрился пригнать контрабандно локомотив.

— Вот это — подвиг! — восклицал он. — Не правда ли?

Казалось, что «подвиг» был вызван не столько силою деловой необходимости, сколько желанием преодолеть поставленное препятствие и даже проще: желанием озорничать. Как во всяком талантливом русском чело-

веке, склонность к озорству была очень заметна в характере Н. Г.

Добр он был тоже по-русски. Деньги разбрасывал так, как будто они его отягощали и он брезговал разноцветными бумажками, на которые люди обменивают силы свои. Первым браком он был женат на богатой женщине, кажется, дочери генерала Черевина, личного друга Александра Третьего. Но ее миллионное состояние он в краткий срок истратил на сельскохозяйственные опыты и в 95—96 годах жил личным заработком. Жил широко, угощая знакомых изысканными завтраками и обедами, дорогим вином. Сам ел и пил так мало, что нельзя было понять: чем же питается его неукротимая энергия? Любил делать подарки и вообще любил делать приятное людям, но не для того, чтоб расположить их в свою пользу, нет, этого он легко достигал обаянием своей талантливости и «динамичности». Принимая жизнь как праздник, он бессознательно заботился, чтоб и окружающие его так же принимали ее.

Невольным участником одного из анекдотов, походя создававшихся Гариным, оказался и я. Как-то утром, в воскресенье, я сидел в редакции «Самарской газеты», любуясь моим фельетоном, который был вытоптан цензором, как овсяное поле лошадью. Вошел сторож, еще совершенно трезвый, и сказал:

— Вам часы привезли из Сызрани.

В Сызрани я не был, часов не покупал, о чем и заявил сторожу. Он ушел, пробормотал что-то за дверью и снова явился:

— Еврей говорит: вам часы.

— Позови.

Вошел старенький еврей в стареньком пальто и невероятной формы шляпе, недоверчиво осмотрел меня и положил на стол предо мною листок отрывного календаря; на листке неразборчивым почерком Гарина было написано: «Пешкову-Горькому» и еще что-то, чего нельзя было понять.

— Это вам дал инженер Гарин?

— А я знаю? Я же не спрашиваю, как зовут покупателя,— сказал старик.

Протянув руку, я предложил ему:

— Покажите часы.

Но он отшатнулся от стола и, глядя на меня, как на пьяного, спросил:

— Может, есть другой Пешков-Горьков — нет?

— Нет. Давайте часы и уходите.

— Ну, хорошо, хорошо,— сказал еврей и, пожав плечами, ушел, а часов не дал мне. Через минуту сторож и ломовой извозчик внесли большой, но не тяжелый ящик, поставили его на пол, а старик предложил мне:

— Распишите на записку, что получили.

— Это что такое? — осведомился я, показывая на ящик; еврей равнодушно ответил:

— Вы знаете: часы.

— Стенные?

— Ну да. Десять часов.

— Десять штук часов?

— Пусть будет штук.

Хотя всё это было смешно, но я сердился, потому что и еврейские анекдоты не всегда хороши. Они особенно плохи, когда не понимаешь их или когда приходится самому играть в анекдоте роль глупую. Я спросил старика: что значит всё это?

— Подумайте, кто же едет из Самары в Сызрань покупать часы?

Но еврей тоже почему-то осерчал.

— А какое мне дело думать? — спросил он.— Мне сказали: сделай! И я сделал. «Самарская газета»? Верно. Пешков-Горьков? И это верно. И распишитесь на записку. Что вы от меня хотите?

Я уже ничего не хотел. А старик, видимо, думал, что его втянули в какую-то темную историю, у него дрожали руки, и он ломал пальцами поля своей шляпы. Он так смотрел на меня, что я почувствовал себя виноватым в чем-то пред ним. Отпустив его, я попросил сторожа убрать ящик в корректорскую.

Дней через пять явился Николай Георгиевич, запыленный, усталый, но все-таки бодрый. И тужурка инженера на нем — как его вторая кожа. Я спросил:

— Это вы прислали мне часы?

— Ах, да! Я, я. А — что?

И, с любопытством глядя на меня, он тоже спросил:

— Что вы думаете делать с ними? Мне они совершенно не нужны.

Затем я услышал следующее: гуляя на закате солнца в Сызрани, по берегу Волги, Николай Георгиевич Гарин-Михайловский увидал мальчика-еврея, который удил рыбу.

— И всё, знасте, батенька, удивительно неудачно. Ерши клюют жадно, но из трех два срываются. В чем дело? Оказалось, он ловит не на крючок, а на медную булавку.

Разумеется, мальчик оказался красавцем и необыкновенного ума. Человек, далекий от наивности и не очень добродушный, Гарин чрезвычайно часто встречал людей «необыкновенного ума». Видишь то, что сильно хочешь видеть.

— И уже изведавший горечь жизни,— продолжал он рассказывать.— Живет у деда, часовщика, учится мастерству, ему одиннадцать лет. Он и дед — кажется, единственные евреи в городе. Ну и так далее. Пошел с ним к деду. Магазин сквернекький, старик чинит горелки ламп, притирает самоварные краны. Пыль, грязь, нищета. У меня бывают припадки... сентиментальности. Предложить денег? Неловко. Ну, я и купил весь его товар, а мальчишке дал денег. Вчера послал ему книг.

И совершенно серьезно Н. Г. сказал:

— Если вам эти часы некуда девать, я, пожалуй, пришлю за ними. Можно отдать рабочим на ветке.

Он рассказал всё это, как всегда, торопливо, но несколько смущенно и, говоря, всё как-то отмахивался коротким, резким жестом правой руки.

Иногда он печатал в «Самарской газете» небольшие рассказы. Один из них — «Гений» — подлинная история еврея Либермана, который самостоятельно додумался до дифференциального счисления. Именно так: полуграмотный, чахоточный еврей, двенадцать лет оперируя с цифрами, открыл дифференциальное счисление и когда узнал, что это уже сделано задолго до него, то, пораженный горем, умер от легочного кровоизлияния на перроне станции Самара.

Написан был рассказ не очень искусно, но Н. Г. по-

ведал в редакции на словах историю Либермана с поразительным драматизмом. Он вообще рассказывал превосходно и, нередко, лучше, чем писал. Как литератор он работал в условиях совершенно неподходящих, и удивительно, что он мог, при его непоседливости, написать такие вещи, как «Детство Тёмы», «Гимназисты», «Студенты», «Клотильда», «Бабушка».

Когда «Самарская газета» попросила его написать рассказ о математике Либермане, он, после долгих увещаний, сказал, что напишет в вагоне, по дороге куда-то на Урал. Начало рассказа, написанное на телеграфных бланках, привез в редакцию извозчик с вокзала Самары. Ночью была получена длиннейшая телеграмма с поправками к началу, а через день или два еще телеграмма: «Присланное — не печатать, дам другой вариант». Но другого варианта он не прислал, а конец рассказа прибыл, кажется, из Екатеринбурга.

Писал он так неразборчиво, что рукопись нужно было расшифровывать, а это, конечно, несколько изменяло рассказ. Затем рукопись переписывалась знаками, доступными пониманию наборщиков. Вполне естественно, что, читая рассказ в газете, Н. Г. сказал, сморщив лицо:

— Чёрт знает чего я тут наплел!

Кажется, о рассказе «Бабушка» он сообщил:

— Это написано в одну ночь, на почтовой станции. Какие-то купцы пьянствовали, гоготали, как гуси, а я писал.

Я видел черновики его книг о Маньчжурии и «Корейских сказок»; это была куча разнообразных бумажек, бланки «Отдела службы тяги и движения» какой-то железной дороги, линованные страницы, вырванные из конторской книги, афиша концерта и даже две китайские визитные карточки; всё это исписано полусловами, намеками на буквы.

— Как же вы читаете это?

— Ба! — сказал он.— Очень просто, ведь это мною написано.

И бойко начал читать одну из милых сказок Кореи. Но мне показалось, что читает он не по рукописи, а «по памяти».

Я думаю, что к себе, литератору, он относился недоверчиво и несправедливо. Кто-то похвалил «Детство Тёмы».

— Пустяки,— сказал он, вздохнув.— О детях все хорошо пишут, о них трудно написать плохо.

И, как всегда, тотчас же уклонился в сторону:

— А вот мастерам живописи трудно написать портрет ребенка, у них дети — куклы. Даже «Инфанта» Ван-Дейка — кукла.

С. С. Гусев, талантливый фельетонист «Слово-Глаголь», попенял ему:

— Грешно, что вы так мало пишете!

— Должно быть, потому, что я больше инженер, чем литератор,— сказал он и невесело усмехнулся.— Инженер я тоже, кажется, не той специальности, мне нужно бы строить не по горизонталям, а по вертикальным линиям. Нужно было взяться за архитектуру.

Но о своей работе путейца он рассказывал прекрасно, с великим жаром, как поэт.

И так же отлично, увлеченно рассказывал темы своих литературных работ. Помню две: на пароходе между Нижним и Казанью он говорил, что хочет писать большой роман на тему легенды о Цин Гиу-тонге, китайском дьяволе, который пожелал делать добро людям; в русской литературе легенду эту использовал старинный романист Рафаил Зотов. Герой Гарина, хороший, очень богатый фабрикант, которому скучно стало жить, тоже захотел делать добро людям. Добродушный мечтатель, он вообразил себя Робертом Оуэном, наделал очень много смешного и, затравленный людьми здравого смысла, умер в настроении Тимона Афинского.

В другой раз, ночью, сидя у меня в Петербурге, он совершенно изумительно рассказал мне случай, который ему хотелось изобразить:

— На трех страницах, не больше!

Рассказ, насколько я его помню, таков: лесной сторож, человек углубленный в себя, подавленный одинокой жизнью и только чувствующий зверя в человеке, идет к ночи в свою сторожку. Обогнал бродягу, пошли вместе. Вялая и осторожная беседа людей, взаимно не верящих друг другу. Собирается гроза, в природе на-

пряжение, над землею мечется ветер, деревья прячутся друг за друга, жуткий шорох. Вдруг сторож почувствовал, что бродягу соблазняет желание убить его. Он старается идти сзади попутчика, но тот, явно не желая этого, шагает рядом. Оба замолчали. И сторож думает: всё равно, что бы он ни делал — бродяга убьет его,— судьба! Пришли в сторожку, лесник накормил бродягу, поел сам, помолился и лег, а нож, которым резал хлеб, оставил на столе да еще перед тем, как лечь, осмотрел ружье, стоявшее в углу у печки. Разыгралась гроза. Гром в лесу гудит особенно жутко и молнии страшнее. Хлещет ливень, сторожка дрожит, как будто сорвалась с земли и плывет. Бродяга посмотрел на нож, на ружье, встал и надел шапку.

— Куда? — спросил лесник.

— Уйду я, ну тя к чёрту.

— Зачем?

— Знаю! Убить меня хочешь ты.

Сторож схватил его, говорит:

— Полно, брат! Я ведь думал: ты меня убить хочешь. Не уходи!

— Уйду! Уж коли оба думали об этом, значит: одному не жить.

И ушел бродяга. А сторож, оставшись один, сел на лавку, заплакал скупыми, мужицкими слезами.

Помолчав, Гарин спросил:

— А может быть, не надо, чтобы плакал? Хотя он говорил мне: заплакал я горько. Я спрашиваю: «О чем?» — «Не знаю, Николай Егорович,— сказал он,— горестно стало». Может быть, сделать так, чтобы бродяга не уходил, а сказал бы что-нибудь, например: «Вот, братец ты мой, каковы мы люди!» Или просто: легли бы они спать?

Было видно, что эта тема очень волнует его и что он остро чувствует темную глубину ее. Рассказал он очень тихо, почти шёпотом, быстренькими словами; чувствовалось, что он прекрасно видит лесника, бродягу, синий блеск молний в черных деревьях, слышит гром, и вой, и шорох. И странно было, что этот изящный человек, с таким тонким лицом и руками женщины, веселый, энергичный, носит в себе такие тяжелые темы. Не

похоже это на него, общий тон его книг — легкий, праздничный. Н. Г. Гарин улыбался людям, видел себя работником, нужным миру, и обладал бодрой, подкупающей самоуверенностью человека, который знает, что он добьется всего, чего хочет. Встречаясь с ним нередко, хотя всегда «наскоро», ибо он вечно куда-то спешил, я помню его только бодрым, но не помню задумчивым, усталым, озабоченным.

А о литературе он почти всегда говорил нерешительно, стесненно, пониженным тоном. И когда, спустя много времени, я спросил его:

— Написали о леснике?

Он сказал:

— Нет, это не моя тема. Это — для Чехова, тут нужен его лирический юмор.

Я думаю, что он считал себя марксистом, потому что был инженером. Его привлекала активность учения Маркса, и когда при нем говорили о детерминизме Марксовой философии экономики,— одно время говорить об этом было очень модно, — Гарин яростно спорил против этого, так же яростно, как впоследствии спорил против афоризма Э. Бернштейна: «Конечная цель — ничто, движение — всё».

— Это — декадентщина! — кричал он. — На земном шаре нельзя построить бесконечной дороги.

Марксов план реорганизации мира восхищал его своей широтой, будущее он представлял себе как грандиозную коллективную работу, исполняемую всей массой человечества, освобожденного от крепких пут классовой государственности.

Он был по натуре поэт, это чувствовалось каждый раз, когда он говорил о том, что любит, во что верит. Но он был поэтом труда, человеком с определенным уклоном к практике, к делу. Нередко приходилось слышать от него чрезвычайно оригинальные и смелые утверждения. Так, например, он был уверен, что сифилис следует лечить прививкой тифа, и утверждал, что ему известен не один случай, когда сифилитики излечивались, переболев тифом. Он даже написал об этом: имел-

но так излечился один из героев его книги «Студенты». Тут он едва ли не оказался пророком, ибо прогрессивный паралич уже начинают лечить прививкой плазмодия лихорадки и ученые медики всё более часто говорят о возможности «паратерапии».

Любил Гарин говорить о «паразитоводстве», но, кажется, тогда уже был найден и применялся в Соединенных Штатах паразит, убивающий картофельного жучка.

Вообще Н. Г. был разносторонне, по-русски даровит и по-русски же разбрасывался во все стороны. Однако всегда было удивительно интересно слушать его речи о предохранении ботвы корнеплодов от вредителей, о способах борьбы с гниением шпал, о баббите, автоматических тормозах,— обо всем он говорил увлекательно.

Савва Мамонтов, строитель Северной дороги, будучи на Капри уже после смерти Н. Г., вспомнил о нем такими словами:

— Талантлив был, во все стороны талантлив! Даже инженерскую тужурку свою талантливо носил.

А Мамонтов хорошо чувствовал талантливых людей, всю жизнь прожил среди них, многих таких, как Федор Шаляпин, Врубель, Виктор Васнецов,— и не только этих, — поставил на ноги, да и сам был исключительно, завидно даровит.

Возвратясь из Маньчжурии и Кореи, Гарин был приглашен в Аничков дворец к вдовствующей царице, Николай Второй пожелал выслушать его рассказ о путешествии.

— Это провинциалы! — недоуменно пожимая плечами, говорил Гарин после приема во дворце.

И рассказал о своем визите приблизительно так:

— Не скрою: я шел к ним очень подтянувшись и даже несколько робея. Личное знакомство с царем ста тридцати миллионов народа — это не совсем обыкновенное знакомство. Невольно думалось: такой человек должен что-то значить, должен импонировать. И вдруг: сидит симпатичный пехотный офицер, курит, мило улыбается, изредка ставит вопросы, но всё не о том, что должно бы интересовать царя, в царствование которого

построен действительно великий Сибирский путь и Россия выезжает на берега Тихого океана, где ее встречают вовсе не друзья и — не радостно. Может быть, я рассуждаю наивно, царь не должен беседовать о таких вопросах с маленьким человеком? Но тогда — зачем же звать его к себе? А если позвал, то умей отнестись серьезно и не спрашивай: любят ли нас корейцы? Что ответишь? Я тоже спросил и неудачно: «Вы кого подразумеваете?» Забыл, что меня предупредили: спрашивать я не могу, должен только отвечать. Но ведь как же не спросить, если сам он спрашивает и скупо и глупо, а дамы — молчат? Старая царица удивленно поднимает то одну, то другую бровь. Молодая, рядом с ней, точно компаньонка, сидит в застывшей позе, глаза каменные, лицо — обиженное. Внешне она напомнила мне одну девицу, которая, прожив до тридцати четырех лет, обиделась на природу за то, что природа навязала женщине обязанность родить детей. А — ни детей, ни даже простенького романа у девицы не было. И сходство царицы с нею тоже как-то мешало, стесняло меня. В общем было очень скучно.

Он и рассказал всё это очень торопливо и точно досадуя, что приходится рассказывать неинтересное.

Через несколько дней его официально известили, что царь дал ему орден, кажется, Владимира, но ордена он не получил, потому что вскоре был административно выслан из Петербурга за то, что вместе с другими литераторами подписал протест против избиения студентов и публики, демонстрировавшей у Казанского собора.

Над ним посмеялись:

— Ускользнул орден-то, Николай Георгиевич?

— Чёрт бы их подрал,— возмущался он,— у меня тут серьезное дело, и вот — надо ехать! Нет, сообразите, как это глупо! Ты нам не нравишься, поэтому не живи и не работай в нашем городе! Но ведь в другом-то городе я останусь таким же, каков есть!

Через несколько минут он говорил уже о необходимости лесонасаждения в Самарской губернии, для того чтоб преградить движение песков с востока.

У него всегда были в голове широкие проекты, и, пожалуй, чаще всего он говорил:

— Надо бороться.

Бороться надобно было с обмелением Волги, популярностью «Биржевых ведомостей» в провинции, с распространением оврагов, вообще — бороться!

— С самодержавием, — подсказал ему рабочий Петров, гапоновец, а Н. Г. весело спросил его:

— Вы недовольны тем, что ваш враг — глуп, хотите поумнее, посильнее?

Слепой Шелгунов, старый революционер, один из первых рабочих-эсдеков, осведомился:

— Это — кто сказал? Хорошо сказал.

Было это в Куоккале, летом 1905 года. Н. Г. Гарин привез мне для передачи Л. Б. Красину в кассу партии 15 и 25 тысяч рублей и попал в компанию очень пеструю, скромно говоря. В одной комнате дачи заседали с П. М. Рутенбергом два еще не разоблаченных провокатора — Евно Азеф и Татаров. В другой — меньшевик Салтыков беседовал с В. Л. Бенуа о передаче транспортной техники «Освобождения» петербургскому комитету и, если не ошибаюсь, при этом присутствовал тоже еще не разоблаченный Доброскок — Николай Золотые Очки. В саду гулял мой сосед по даче пианист Осип Габрилович с И. Е. Репиным; Петров, Шелгунов и Гарин сидели на ступеньках террасы. Гарин, как всегда, торопился, поглядывал на часы и вместе с Шелгуновым поучал неверию Петрова, всё еще веровавшего в Гапона. Потом Гарин пришел ко мне в комнату, из которой был выход к воротам дачи.

Мимо нас проследовали к поезду массивный, толстогубый, со свиными глазками Азеф, в темно-синем костюме, дородный, длинноволосый Татаров, похожий на переодетого соборного дьякона, вслед за ними ушли хмурый, сухонький Салтыков, скромный Бенуа. Помню, Рутенберг, подмигнув на своих провокаторов, похвастался мне:

— Наши-то солиднее ваших.

— Сколько у вас бывает народа, — сказал Гарин и вздохнул. — Интересно живете!

— Вам ли завидовать?

— А — что я? Я вот езжу туда-сюда, как будто кучер дьявола, а жизнь проходит, скоро — шестьдесят лет, а что я сделал?

— «Детство Тёмы», «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры» — целая эпопея!

— Вы очень любезны,— усмехнулся он.— Но ведь вы знаете, что все эти книжки можно бы и не писать.

— Очевидно — нельзя было не писать.

— Нет, можно. Да и вообще теперь время не для книжек.

Кажется, впервые я видел его усталым и как бы в некотором унынии, но это потому, что он был нездоров, его лихорадило.

— Вас, батенька, скоро посадят,— вдруг сказал он.— Это мое предчувствие. А меня закопают — тоже предчувствие.

Но через несколько минут, за чаем, он снова был самим собой и говорил:

— Счастливейшая страна Россия! Сколько интересной работы в ней, сколько волшебных возможностей, сложнейших задач! Никогда никому не завидовал, но завидую людям будущего, тем, кто будет жить лет через тридцать, сорок после нас. Ну-с, до свидания! Я — пошел.

Это было последнее наше свидание. Он так и умер «на ходу»,— участвовал в каком-то заседании по литературным делам, сказал горячую речь, вышел в соседнюю комнату, прилег на диван, и паралич сердца оборвал жизнь этого талантливого, неистощимо бодрого человека.

# II

# И. И. СКВОРЦОВ

Впервые я видел его в 1900 или 1901 году. На квартире московского либерала была организована платная вечеринка в пользу арестованных и ссыльных. Читали, пели, кто-то очень долго играл на скрипке; затем начали рассуждать. В. А. Гольцев, редактор «Русской мысли», стоя в углу, за трельяжем цветов, взял слово и тоже очень долго говорил жалобное о положении интеллигенции.

— Каковы же задачи дня? — спросил он.

Из другого угла ему ответили:

— Ясно — организация рабочего класса, борьба против самодержавия.

Меня очень удивило то, что прямота и даже грубоватость ответа необыкновенно соединялась с интонацией юноши, а человеку, который сказал это, было, вероятно, за тридцать, был он уже лысоватый, высоколобый, лицо в густой бороде.

Таким прямодушным, честнейшим юношей он остался для меня на всю его прекрасную и трудную жизнь борца, непоколебимого большевика. Встречался я с ним не часто, но каждый раз он возобновлял у меня первое впечатление — прямодушия, бодрости, глубокой веры в свое дело. В 1905 году, когда в Москве издавалась газета большевиков «Борьба», мы встречались почти ежедневно, и меня удивляло, даже несколько смешило, то самозабвение, с которым он и Н. А. Рожков бегали по улицам Москвы, особенно часто мелькая на площади, около манежа, а из дверей манежа, еще более часто, постреливали в прохожих скучающие казаки.

Ушел И. И. Скворцов-Степанов, но для молодежи

остался прекрасный пример жизни и работы революционера.

Да, прекрасные люди, идеальные товарищи уходят из жизни, но должен сознаться, что хотя лично я провожаю их с глубокой грустью, но над грустью этой все-таки преобладает радостное изумление пред их духовной стойкостью, духовной красотой. Великое дело сделано ими, и хороших наследников себе, продолжателей этого дела, воспитали они. Смерть каждого из них как бы освещает историческое значение каждого из оставшихся товарищей, освещает их работу новым, всё более ярким огнем. Смерть каждого из них, вместе с грустью об ушедшем из жизни, всегда возбуждает одно и то же пламенное желание сказать живущим борцам:

«Ближе друг ко другу, товарищи: крепче дружба — больше силы!»

# ПИСЬМА ДРУЗЬЯМ

## I

В воскресенье, с 3 часов дня до полуночи, ходил по Москве, смотрел на людей. Они меня достаточно внимательно рассматривали, захотелось и мне незаметно потолкаться среди них, посмотреть, каковы они стали за шесть лет.

---

Угрюмые облака торопливо сеют дождь; город по-осеннему отсырел, разбух, а зелень скверов и садов ярко свежа, точно в мае. Это малограмотное разноречие создает настроение неопределенное, качающееся.

На площади у Александровского вокзала человек сто,— в большинстве, видимо, строительные рабочие,— слушают гнусавый бас громкоговорителя. Рассказывается якобы «народным» языком анекдот. Остроумие анекдота — сомнительно, грубость — несомненна. Толпа слушает серьезно, скучновато; улыбаются только подростки и то не все.

— Диковина,— бормочет рядом со мною человек в поддевке, с котомкой за спиною и в лаптях.

— Обыкновенно — телефон,— объясняет ему молодой парень, но человек с котомкой, вздыхая, повторяет:

— Диковина.

Мне кажется, что от «диковины» люди ждут чего-то лучшего, чем этот анекдот.

В октябре 905 г. на месте фонаря, с которого ревет труба громкоговорителя, стоял ларек, а на ларьке — размахивал шапкой человек в пальто на хорьковом меху, лысый, в очках; размахивал и кричал тоскующим голосом толпе железнодорожных рабочих:

— Братцы! Не верьте! Продадут вас.

И, раскачиваясь, рискуя упасть, истерически захлебываясь словами, он кричал, что революционеры подкуплены Японией и что рабочий народ должен верить: «Отцам духовным, священству, богу, он — не обманет! Только он...»

Из толпы вышел коренастый смазчик, схватил тоскующего за ноги и, перебросив его через себя, под ноги товарищей, крикнул:

— Вот как — эдаких!

«Эдаких» в толпе у громкоговорителя не видно.

---

Зашел в чайную недалеко от вокзала. Чайная — грязненькая, и хотя на стенах ее, прокопченных махорочным дымом, плакаты убеждают граждан «не выражаться» и не плевать на пол,— граждане «выражаются», кто как умеет, и — плюют. Землекоп из Можайского уезда читает товарищу своему «Правду» о затеях «батьки Левицкого». Товарищ спрашивает:

— Это — кто ж, Левицкий?

— Не знаю,— отвечает читающий и, плюнув, «выражается» — по адресу «батьки» — крайне неделикатно. Со стороны политикам объясняют, кто Левицкий.

— Стало быть, Украину хочет оторвать от нас? Так. Англия, значит, помогает...

Его товарищ сердито говорит:

— Войну хотят затеять, сволочи...

И начинает ворчать о дурной погоде, о возможности неурожая.

— На то они... и расчет держат, дескать: без хлеба нам воевать трудно.

Из угла заявляют довольно громко:

— Насчет урожая бабушка надвое сказала.

— Однако картоха гниеть...

Землекопы, серьезно занятые вопросами о жульнических шашнях «батьки» с Англией, несколько удивляют меня. Но я вспоминаю фразу из письма, полученного мною от одного рабкора с год тому назад: «Шумят у нас о войне, ну, я в нее не верю, считаю, что мы теперь народ самый страшный, как знающий за что воевать, и они не сунутся».

Землекопы уходят. Благодарю судьбу за то, что она показала мне их.

Тесно, дымно. Голоса людей жужжат, как ткацкий станок; мирно ткется спокойная, деловая беседа.

У окна, около буфета, гладковолосый молодой парень держит в черной железной клешне перед лицом своим измятую брошюру и, не отрывая глаз от нее, протягивает другую руку, слепо пощупывая стакан чая на столе. Видно, что брошюра говорит ему что-то приятное, парень улыбается, дрожит его тугая щека, шевелится темный ус.

Чай разносит ловкий и вежливый молодец, он всем говорит «вы» и никак не похож на «лакея» прежних дешевеньких трактиров, лакея, который почти всегда был или подхалим, или грубиян и нахал.

---

Пивная на Тверской. Светло и чисто. Пьющих — мало; есть выпившие, но пьяных — нет, еще не успели напиться. Вошел с улицы один серенький с мочальной бородкой, но ему отказали дать пива. Он смиренно поплутал по пивной и ушел, не обижаясь; должно быть, не первый раз сегодня ему отказывают в пойле. Под окошком в посудную мечтательно и угнетенно сидит человек бескровный, с мучнистым лицом и тупенькими глазками. Он, несомненно, из «бывших» людей, и в нем есть нечто «артистическое». Кажется, что он сейчас встанет и запоет, как пели в старину шарманщики:

Уж не жду от жизни ничего я
И не жаль мне прошлого ничуть,
Я хочу свободы и покоя...

Рабочий, видимо, металлист, возмущенно рассказывает двум парням: «Чаю нет? На рынке — нет, верно! А в складах — есть. Не чаю нет, а торговать не умеем...»

«Выразился», но вполголоса.

К столику, за которым сижу я и двое моих спутников, подходит охмелевший человек. Ему хочется поговорить, это ясно по его улыбке. Предлагаем кружку пива, но он смущенно отказывается. Ему — лет пятьдесят, он — каменщик, у него две семьи: одна — в деревне,

другая — в городе. Человек, видимо, безвольный и добродушный.

Церковный колокол зовет к вечерней службе; колокол — сильный, но грохот железных трамваев все-таки заглушает его.

Спрашиваю каменщика: бывает ли он в церкви?

— Восемь лет не был.

И, отмахнувши рукою, точно вспомнив свою ошибку, он добавил:

— Я их, церкви, строил. Как же...

Затем, улыбаясь, спрашивает:

— Вы, может, выпытать хотите меня?

Нет, не хотим, потому что — ясно: он может говорить только о своих семейных делах.

В пивной скучно. Люди пьют как-то механически, точно по обязанности,— надо же пить, если есть пиво. Кстати: пиво плохое. Подбор людей странно однообразен, большинство — пожилых, и все они как будто чужие в этом переродившемся городе.

За окнами — кинематографический бег трамваев, автобусов, автомобилей, бесконечная цепь прохожих.

---

Церковь. Однотонно, как псалтырь над покойником, читается акафист Василию Великому. Хор — четверо мужчин, шесть женщин и девочка-подросток — недурно, согласно поет:

— «Аллилуия» и «Радуйся, отче Василие, великий иерарх».

Молящихся — человек восемьдесят; старики, старухи; горбатенький подросток прислонился горбом к стене и двигает губами. Человек, похожий на старинного разносчика апельсинов — лимонов, торопливо бьет земные поклоны, сверкая приплюснутой лысиной. В большом пустом храме голос священника и пение хора тают, точно легкий дым в тихое морозное утро. Хористка-подросток успешно ковыряет пальцами резьбу киота, и когда женщина в белом платочке пробует остановить ее, она, капризно дернув плечиком, упрямо продолжает работу разрушения.

В левом приделе стоит гроб, в гробу старушка сло-

жила на груди тряпичные руки. У нее — лицо человека, который наконец догадался, что ему надо сделать, и — доволен.

---

К одному из моих спутников пристал на улице молодой парень, сильно выпивший; судя по ногам и походке, должно быть, портняга, вообще,— человек, работающий сидя.

— Дай папиросу!

— Нет папиросы.

— Спичку дай!

— Тоже нет.

— Купи!

Купили папирос, дали ему. Он — не поблагодарил, а похвалил:

— Ты, брат, настоящий большевик, если последним делишься!

Очень неплохо сказано?

Другой спутник, проезжая в автобусе мимо церкви Прасковеи-Пятницы, подслушал такую беседу:

— Церкви ломают, а вот синагоги не ломают,— ворчит какая-то «дама».

Ей немедленно возражают:

— Суть не в этом, гражданка; синагог — мало, и они не мешают, а на месте этой церкви будут строить государственное здание.

Кто-то добавляет:

— Церквей у нас около пятисот.

— А напрасно древние не хранят, по ним простоте учиться надо.

Разумно говорит древняя, но омоложенная революцией Москва: красивой простоте учиться надобно.

---

Очень бросилось в глаза отношение милиционера к пьяному: поставив на ноги перегрузившегося гражданина, который «сдрейфил» около панели, милиционер спросил:

— Идти можешь?

— Могу, товарищ, могу.

Но, сделав шагов десять, гражданин снова свалился.

— Ну, что ж? Не можешь?

— Дай отдохнуть, пойду.

— Иди за угол, там и отдохни, а здесь не стыди людей.

Лет пятнадцать назад «блюстители порядка», полицейские, не умели относиться к пьяным так сдержанно и убирали их с улиц посредством иных приемов. Кажется, что милиция вообще очень вежлива, внимательна к гражданам и хорошо делает свое очень трудное дело на кривых улицах Москвы, перенасыщенной людьми.

---

Вечер. Моросит дождь. Извозчик, парень лет 20, везет нас от Курского вокзала на Трубу. Внешне он мало похож на типичного московского извозчика царских времен, осталось только одно настоящее московско-извозчичье: стремление дать минимум скорости. К этому же стремились его деды и отцы. Жалуется извозчик: дорог овес! Не помню времени, когда бы извозчики не жаловались на дороговизну овса.

Впрочем, русский человек вообще любит жаловаться.

---

По улицам, против цирка, особенно хорошо видишь, как почистилась Москва за шесть лет. Я знал эти прогнившие улицы, наполненные живой, человеческой негодью: нищими, хулиганами, изношенными проститутками. Дома остались те же, но на улицах светло, чисто и люди — другие, всё больше молодежь, одетая чистенько, даже щеголевато. Возможно, что дурная погода заставила старенький хлам спрятаться в глубину дворов, в тайные щели и норы, но на улицах его не видно, хотя уже подошли часы его жизни — поздний вечер.

Вспомнилось, что в 904 г. во флигельке одного из этих приземистых домиков, построенных как бы из грязи, спрессованной поколениями людей, квартировал некий «частный поверенный по судебным делам», кажется — Акифьев, искуснейший фабрикант фальшивых паспортов, толстый человек с длинными руками и плоским, как тарелка, лицом. На этом лице в кисельных щечках прятались маленькие глазки, раздавленный но-

сик и дряблые губы широкого рта. Человек этот обладал весьма своеобразными взглядами. Он говорил:

— С воров за документы я беру дешевле, потому что вор — клиент постоянный, прочный, живет с библейских времен и конца жизни его не видно. А революционеры — люди временные, так сказать — на гастроли явились, за что и должны платить на десяточку дороже.

Кроме фальшивых паспортов, «частный поверенный» торговал соловьями.

---

Сидим в пивной на Трубе, за одним столиком с приличным гражданином, лет тридцати. Настроенный весьма нервно и общительно, он тотчас сообщает нам, что дед и отец его торговали скотом, сам он — тоже прасол.

— Как живете?

— А как можно жить при эдаких порядках? — спросил он и, точно его обожгло, начал «выражаться», упоминая «мать» в каждой фразе по два, по три раза. Ругался он незатейливо, но паскудно, обнаруживая вместе с горечью обиды явную бесталанность.

— 18 тысяч налогу! 18! — кричал он, а на пальцах почему-то показывал семь.— А у меня, может, 18 копеек нет, а? Мне, может, за пиво заплатить нечем? У меня всего на всё три копейки, вот!

Он вынул из кармана штанов горсточку махорки, крошки хлеба, английскую булавку и среди этого сора, действительно — 3 копейки.

— Вот они! А они — 18 тысяч! Ну, так как же мне жить? Вешать надо!

— Кого?

— Кого? Или — мы их, или — они нас! М-мы...

Он кричит, не стесняясь, потому что в пивной, точно на мельнице, ходят волны шума, все говорят громко, а кто слушает — нельзя заметить. Здесь люди в сильном подпитии; прасол — опьянел злобой. Особенно горячится молодой татарин, рассказывая что-то другому, черненькому и спокойному. Иногда рассказчик вставляет в речь свою русские слова:

— Пиредуприждал ему... Зачим Пенза? Живи Москва... Плевай бородам бога... Кыто нужны рабочи государви?..

Татар много; их дробный говор почти заглушает певучую речь москвичей. Есть несколько молодых татарок,— это было бы невозможно за десяток лет до наших дней. Сильно же одряхлел старый быт, если он разрушается так быстро, так легко.

— Во-осемнадцать тысяч! — кричит родовитый прасол, и его бурое, битое ветром лицо сереет, каменеет от злости. Он требует соли, бросает щепоть ее в кружку пива и, подняв кружку к перемякшим губам, снова рычит, упоминая «мать» всё чаще. Лицо у него ощетинено курчавым волосом и точно пенится так же, как пенится его злая речь обиженного хищника.

Пивная — полна. Пьют, не торопясь, но безобразно пьяных всё еще нет. Кроме кислого запаха пива, тяжело пахнет копченой воблой и гнилым деревом. Уходим на улицу, в темную сырость.

---

Еще пивная. На маленькой эстраде тесно сидит «хор цыган» — несколько женщин различного возраста, все в ярких платьях. Возможно, что среди них есть и цыганки, но голосов у них нет, и все они единодушно не умеют петь. Командует ими, размахивая гитарой, как цыган, рослый детина русской фабрикации; еще двое лысеньких мужчин, тоже с гитарами, прячутся за спинами женщин. Звона струн в крикливой разноголосице хора не слышно, женщины кричат очень усердно. Потом одна из них, молоденькая, пляшет, подрагивая плечами и грудями — как установлено цыганской традицией. Перед эстрадой — десяток молодых любителей «искусства», очевидно, постоянных посетителей этой пивной, они в родственных отношениях с хористками, разговаривают с ними, пересмеиваются. Всё очень убого и даже как-то жалостно.

В следующей пивной, очень просторной, много публики, и шумит по-настоящему пьяный человек в кожаной куртке. Его пытаются удалить, сначала — вежливо, затем — не очень вежливо. Он не хочет удаляться, па-

дает на пол, ходит на четвереньках, но не кричит и не дерется. Его тоже не бьют, как били бы в «доброе» старое время. Удаляют его за то, что он весьма назойливо и упрямо мешает публике наслаждаться искусством. В этой пивной — тоже эстрада, и на ней очень большая женщина мужественно поет дальнобойным голосом:

Не всё ли равно, не всё ли равно?
Придется умереть!

Публике это нравится, кричат «бис», «браво», и певица продолжает утешать ее мощным своим голосом,— пение довольно близко напоминает вопли, обычные в часы приема у дантистов. Певицу сменяют «лапотники», двое, молоденькие, мужчина и женщина, тоже бездарные. Их тоже принимают хорошо, должно быть, публика очень голодна, очень жаждет «искусства». Невольно думается, что публика вполне заслуживает более вкусной и здоровой «духовной пищи».

Существует интереснейший деревенский хор крестьянина Яркова, исполняющий старинные обрядовые песни, этнографический хор Пятницкого, оркестры нацменьшинств, написано много хороших стихотворений, остроумных юмористических рассказов. Около помещения Всерабиса ежедневно толпятся десятки безработных артистов, среди них, наверное, есть искусные чтецы и декламаторы.

Существуют — и очень плохо, очень голодно существуют — десятки, если не сотни, «начинающих» поэтов. Почему бы вот им не подвинуться поближе к действительности, не выступать на эстрадах пивных, не послушать самих себя и критику той, в огромном большинстве молодой, публики, которая, может быть, ходит в пивные не только для того, чтоб пить, а потому, что ей уже надоели серые, немые тени кинематографа? Я совершенно уверен, что многих начинающих поэтов сближение с действительностью отвлекло бы от вдохновений, которые поэты так часто почерпают из книжек своих уже прославленных товарищей. Не говорю о том, что такие выступления дали бы голодающим поэтам кое-какой заработок.

После очень «демократических» пивных и столовых крайне странно очутиться в зале великолепной «Большой Московской». Впечатление такое, как будто провалился в прошлое сквозь пятнадцать лет. Дамы и мужчины в вечерних туалетах, запах духов, хорошая музыка, европейски элегантные граждане торжественно кушают под музыку, и всё так корректно, так благочинно. Вспомнился Островский: «Всё, как в лучших домах, и бламанже со свечкой».

Вспомнилось, как в 905 году один из дубовых столбов отечественной промышленности орал в этом зале на метрд'отеля:

— Болваны! Разве это вино? Это — лошадиная моча, дьявол вас дери!

---

За полночь — на Тверской.

Может быть, потому, что погода отвратительная, «веселых девиц» меньше, чем я думал встретить. А также кажется, что они — в большинстве — скромнее, нет у них той отчаянной навязчивости, которая была так характерна для них раньше. Показалось, что и отношение к ним со стороны покупателей иное,— менее грубо, менее нахально. Но час времени слишком мало для того, чтоб делать выводы из наблюдений, это я знаю.

Скверно то, что, в общем, девицы моложе стали. Наркомздрав, Наркомтруд и Собес тратят огромные средства на борьбу с проституцией. А не лучше ли израсходовать всю массу этих денег на организацию колоний для девушек по типу удивительно удачной производственной трудкоммуны, которой справедливо гордится ОГПУ? Эта трудкоммуна блестяще и неоспоримо доказывает облагораживающее влияние свободного труда, и мне кажется, что ее пример не следует забывать во всех тех случаях, когда возникают вопросы борьбы с малолетней преступностью, проституцией и т. д., когда строятся планы излечения социальных язв.

# ФАКТЫ

## I

В часы, свободные от занятий в Трахтресте, ходит Иван Иванович Унывающий по улицам, посматривает на подобных ему совчеловеков и, выковыривая из действительности всё, что похуже, мысленно поет весьма известный романс:

Скажи, Россия, сделай милость,
Куда, куда ты устремилась?

А в душе его тихо назревал розовый прыщик надежды...

Погуляет, сладостно насытится лицезрением злодеяний советской власти и, зайдя к тому или иному из сотоварищей по тихому озлоблению, рассказывает ему вполголоса:

— Окончательно погибают! Зашел, знаете, в гастрономический магазин; главный приказчик, очевидно, чей-то знатный родственник и потому — глухонемой, помощники его в шахматы играют, а на улице — длиннейшая очередь голодного народа за яйцами, чайной колбасой, маслом, сыром; вообще — анархия! Спрашиваю: «Это — какой сыр?» Бесстыдно лгут: «Швейцарский!» — «Позвольте, говорю, как же у вас может быть швейцарский сыр, когда нет у вас никаких отношений со Швейцарией? И не может быть у вас ни сукна аглицкого, ни духов французских, ни обуви американской и ничего настоящего, а торгуете вы только имитациями и репродукциями общечеловеческих товаров, и сами вы отнюдь не настоящие культурные люди, а тоже имитации, и весь ваш карьеризм — тоже неудачная имитация европейского социал-демократизма,

против которого я... впрочем, имею честь кланяться!» Иронически засмеялся и ушел, знаете...

Сотоварищ по озлоблению не верит ему, но сочувственно мычит:

— Мужественный вы человек...

А Иван Иванович хорохорится:

— Вот увидите, я им скажу правду! Скажу прямо в глаза, за всех нас скажу! Потому что я уже не только надеюсь, но и верю!

И ведь действительно — сказал.

Как-то, находясь в состоянии глубокой задумчивости и нежно лелея прыщик сладкой надежды своей, зашел Иван Иванович в магазин — лимон хотел купить — и на вопрос приказчика:

— Что желаете, гражданин? —

ответил искренно:

— Мне бы — термидорчик!

Самокритик *Словотеков.*

# ПО СОЮЗУ СОВЕТОВ

## I

В Баку я был дважды: в 1892 и в 1897 годах. Нефтяные промысла остались в памяти моей гениально сделанной картиною мрачного ада. Эта картина подавляла все знакомые мне фантастические выдумки устрашенного разума, все попытки проповедников терпения и кротости ужаснуть человека жизнью с чертями, в котлах кипящей смолы, в неугасимом пламени адовом. Я — не шучу. Впечатление было ошеломляющее.

За несколько дней перед тем, как я впервые очутился в Баку, на промыслах был пожар, и над вышками, под синим небом, еще стояла туча дыма, такая странно плотная, тяжелая, как будто в воздух поднялось несколько десятин чернозема. Когда я и товарищ мой Федор Афанасьев, шагая по песчаной дороге, жирно пропитанной нефтью, подходили к Черному городу и я увидел вершины вышек, воткнувшиеся в дым, мне именно так и показалось: над землей образована другая земля, как бы второй этаж той, на которой живут люди, и эта вторая земля, расширяясь, скоро покроет небо вечной тьмою. Нелепое представление усилилось, окрепло при виде того, как из одной вышки бьет в тучу дыма фонтан черной грязи, точно землю стошнило и она, извергая внутреннее свое, расширяет дымно-масляную крышу над землей.

В стороне от дороги увязла в глубоком песке санитарная повозка, измазанная черным и красным; у нее сломалась ось; в повозке лежал человек, одна нога — босая, неестественно синяя, на другой — раздавленный и мокрый сапог, из него на песок падали тяжелые, темные капли; рыжеволосый возница в кожаном переднике лежал на песке, связывая ось ремнем с грязной доскою;

на измятой железной бочке сидел санитар, присыпая песком влажные пятна на халате. Афанасьев спросил его:

— Убитый?

— Шагай мимо, дело не твое.

Нас обгоняли и шли встречу нам облитые нефтью рабочие, блестя на солнце, точно муравьи. Обогнала коляска, запряженная парой серых, очень тощих лошадей; в коляске полулежал, закрыв глаза, человек в белом костюме, рядом с ним покачивался другой, остробородый, в темных очках, с кокардой на фуражке, с желтой палкой на коленях. Коляску остановила группа рабочих, десятка два; сняв шапки, размахивая руками, они заговорили все сразу:

— Помилуйте! Как же это? Мы — не можем! Помилуйте!

Человек с кокардой привстал и крикнул:

— Назад! Кто вам позволил? Марш назад!

Кучер тронул лошадей, коляска покатилась, врезая колеса в песок, точно в тесто, рабочие отскочили и пошли вслед за нею, молча покрывая головы, не глядя друг на друга. Все они как будто выкупались в нефти, даже лица их были измазаны темным жиром ее. На промысел они нас не пустили, угрожая побить.

Часа два, три мы ходили, посматривая издали на хаос грязных вышек, там что-то бухало влажным звуком, точно камни падали в воду, в тяжелом, горячем воздухе плавал глуховатый, шипящий звук. Человек десять полуголых рабочих, дергая веревку, тащили по земле толстую броневую плиту, связанную железной цепью, и угрюмо кричали:

— Аа-а́! Аа-аа́!

На них падали крупные капли черного дождя. Вышка извергала толстый черный столб, вершина его, упираясь в густой, масленый воздух, принимала форму шляпки гриба, и хотя с этой шляпки текли ручьи, она как будто таяла, не уменьшаясь. Странно и обидно маленькими казались рабочие, суетившиеся среди вышек. Во всем этом было нечто жуткое, нереальное или уже слишком реальное, обезмысливающее. Федя Афанасьев, плюнув, сказал:

— Трижды с голода подохну, а работать сюда — не пойду!

...На промысла я попал через пять лет с одним из сотрудников газеты «Каспий»; он обещал рассказать мне подробно обо всем, но, когда мы приехали в Сураханы, познакомил меня с каким-то очень длинным человеком, а сам исчез.

— Смотрите,— угрюмо сказал мне длинный человек и прибавил еще более угрюмо: — Ничего интересного здесь нет.

Весь день, с утра до ночи, я ходил по промыслу в состоянии умопомрачения. Было неестественно душно, одолевал кашель, я чувствовал себя отравленным. Плутая в лесу вышек, облитых нефтью, видел между ними масляные пруды зеленовато-черной жидкости, пруды казались бездонными. И земля, и всё на ней, и люди — обрызганы, пропитаны темным жиром, всюду зеленоватые лужи напоминали о гниении, песок под ногами не скрипел, а чмокал. И такой же чмокающий, сосущий звук «тартанья», истекая из нутра вышек, наполняет пьяный воздух чавкающим шумом. Скрипит буровая машина, гремит железо под ударами молота. Всюду суетятся рабочие: тюрки, русские, персы роют лопатами карьеры, канавы во влажном песке, перетаскивают с места на место длинные трубы, штанги, тяжелые плиты стали. Всюду валялась масса изломанного, изогнутого железа, извивались по земле размотанные, раздерганные проволочные тросы, торчали из песка куски разбитых труб и — железо, железо, точно ураган наломал его.

Рабочие вызывали впечатление полупьяных; раздраженно, бесцельно кричали друг на друга, и мне казалось, что движения их неверны. Какой-то очень толстый, чумазый, бросился на меня и хрипло заорал:

— Что же ты, дьявол, желонку...

Но увидав, что я — не тот человек, побежал дальше, ругаясь и оставив в памяти моей незнакомое слово — желонка.

Среди хаоса вышек прижимались к земле наскоро сложенные из рыжеватых и серых неотесанных камней длинные низенькие казармы рабочих, очень похожие на жилища доисторических людей. Я никогда не видел так

много всякой грязи и отбросов вокруг человеческого жилья, так много выбитых стекол в окнах и такой убогой бедности в комнатках, подобных пещерам. Ни одного цветка на подоконниках, а вокруг ни кусочка земли, покрытой травою, ни дерева, ни кустарника. Жутко было смотреть на полуголых детей, они месили ногами зеленоватую, жирную слизь в лужах, группами по трое, по пяти уныло сидели в дверях жилищ, прижавшись друг к другу, играли на плоских крышах обломками железа, щепками. Как всё вокруг, дети тоже были испачканы нефтью, их чумазые рожицы, мелькая повсюду, напоминали мрачную сказку о детях в плену братьев-людоедов и рассказ древнего географа Страбона о том, как Александр Македонский пробовал горючесть нефти: он приказал облить ею мальчика и зажечь его.

Плотники тесали бревно, поблескивая щекастыми топорами, строилась еще одна буровая вышка, по скелету ее влезал чернобородый мужик, босой, без рубахи. Он держал в зубах конец веревки, а руками хватался за ребра вышки и тяжело, неловко лез всё выше; на земле, в луже грязи оливкового цвета, стоял старичок со связкой веревки в руках, разматывая ее,— похоже было, что он запускает бумажного змея.

— На небо не залезь,— крикнул он чернобородому, а тот, сверху, густо, громко и серьезно ответил:

— Не бойсь.

Эти слова тоже остались в памяти, должно быть, потому, что всё вокруг кипело мрачным раздражением, все люди казались неестественно возбужденными, хотя, может быть, это впечатление внушила мне книга,— я где-то прочитал, что нефть обладает наркотическими свойствами.

На одном участке, в стороне от наиболее тесной группы вышек, сотни две людей работали особенно бешено, командовал ими широкоплечий детина в белом халате, в тюбетейке, обрызганный нефтью, точно маляр краской. Размахивая длинными руками и ни на минуту не закрывая волосатый рот, он истерически орал матерщину, сопровождая ею каждое слово, руками толкал рабочих в спину, в шею, раздавал пинки ногами, одного схватил за плечо и бросил на землю, точно кошку.

— Нагибай! — взвизгивал он и ругался трехэтажно.— Клади! — и снова ругался.— Двигай!

Не видно было, что делает воющий клубок людей, мне казалось, что большинство их ничего не делает, подпрыгивая, толкая друг друга, заглядывая через плечи стоявших впереди в центр толпы, где «нагибали», «двигали» что-то и тоже ругались. Казалось, что все эти люди испуганы возможностью катастрофы и бьются над тем, чтоб предупредить ее. А издали картина промысла и работы на нем создавала странное впечатление: на деревянный город напали враги, племя черных людей, и разрушают, грабят его. Я ушел в поле очумевшим, испытывая анархическое желание поджечь эти деревянные пирамиды, пропитанные черным жиром земли, поджечь, чтоб сгорели не только пруды темно-оливковой масляной грязи в карьерах, но воспламенился весь жир в недрах земли и взорвал, уничтожил Сураханы, Балаханы, Романы, всю эту грязную сковороду, на которой кипели, поджаривались тысячи измученных рабочих людей.

Утром, стоя на корме шхуны, я с таким же чувством ненависти смотрел на город, гораздо более похожий на развалины города, на снимки разрушенной, мертвой Помпеи,— на город, где среди серых груд камня возвышалась черная, необыкновенной формы, башня древней крепости, но где не видно было ни одного пятна зелени, ни одного дерева, а песок немощеных улиц, политый нефтью, приобрел цвет железной ржавчины. В этом городе не было воды,— для богатых ее привозили за сто верст в цистернах, бедняки пили опресненную воду моря. Дул сильнейший ветер, яркое солнце освещало этот необыкновенно унылый город, пыль кружилась над ним. Казалось, что нагромождение домов с плоскими крышами высушено солнцем и рассыпается в прах. Маленькие фигурки людей на берегу, становясь всё меньше, сохнут, сгорают и тоже скоро обратятся в пыль.

На промысла Азнефти я поехал рано утром, прямо с вокзала, вместе с товарищем Румянцевым, помощником заведующего промыслами. Он — один из тех рабочих,

которые воспитывались подпольем, затем — на фронтах, в битвах с белыми, работали в тылу врагов и побывали в «гуманных» руках защитников «культуры и свободы». Эти гуманные руки, обвязав череп товарища Румянцева пеньковой веревкой, закручивали ее клячом так, что лопнул черепной шов. Сколько слышал я таких рассказов о пытках! Сотни...

Едем не быстро. Товарищ Румянцев эпически спокойным тоном повествует о прошлом.

— В Ельце Мамонтов приказал собрать наиболее красивых девиц города; сначала их изнасиловали офицера, потом отдали казакам, а казаки, использовав девиц, привязали их за косы к хвостам коней и, стащив в реку Сосну, утопили.

— В Кизляре белые, выкинув из окон второго этажа тяжело раненных красноармейцев, заставили легко раненных, раздев их догола, отвозить убитых товарищей за город, в овраг. А — была зима. Оставшихся в живых перебили.

Рассказы звучат так просто и спокойно, точно всё это было не десять лет тому назад, а — сто. Слушая, я вспоминаю рассказ другого товарища,— очень мудрый рассказ:

— К белым я попадал трижды. Май-Маевский распорядился повесить меня,— не вышло, убежал я, хотя был здорово избит. У генерала Покровского тоже побывал,— вот это зверь! Тут меня так избили, что сочли мертвым, так и спасся. Под Самарой провалился, тоже здорово попало, тогда я ушел к своим с конвоем,— славные ребята! Четверо.

Вздохнув, он сказал:

— Зверье — люди! Конечно, если и наши ребята развернутся, так уж... держись за свою шкуру крепче! Но мы все-таки люди классовой ненависти, а личная у нас...

Он подумал и нашел слово:

— Не живуча. Потому — нам не за что мстить, ну, а мы у них «горшки перебили», как сказал Ильич, так они за это мстят, за горшки. Нам вот случается работать под началом бывших врагов, а — ничего!

Он снова помолчал и, улыбаясь, толкнул меня локтем.

— Вы, товарищ, хотя и не рабочий, а правильно понимаете, что такое труд,— это к чести вашей. Замечательно объединяет людей работа,— честных, конечно, верующих в наше дело и в победу. Я говорю про работу на будущее, на наше государство. Она захватывает и большую силу придает. Главное — объединяет изнутри, вот что...

Он вдруг оживился и очень связно, с хорошей усмешкой, рассказал:

— Я работаю с личным врагом, он меня в 19 году ручкой револьвера по голове колотил, на его глазах с меня шомполами кожу драли. А теперь он — мое начальство, работаем мы с ним, как два коня в одной упряжи, и — друзья! Даже не верится, что врагами были, да и вспоминать об этом неловко. Мне — за него тяжело, а ему — предо мной. Ну, всё же, иной раз, вспоминаем,— для молодежи поучительно. Крепко он приснастился к нам. Умник, образованный, а — главное, энергии у него, чёрта,— на хороший десяток людей. А тоже — и рублен, и строган, и пулей сверлен. Замечательный парень.

Выслушав этот необыкновенный рассказ, я подумал:

«Вот прекрасная тема для молодых писателей: труд „на будущее", уничтожающий личную ненависть коренных врагов,— труд, который объединяет их в процессе создания новой культуры».

Едем уже по территории промыслов, отыскивая заведующего ими, товарища Баринова. Я оглядываюсь и, разумеется, ничего не узнаю,— сильно разрослись промысла, изумительно широко! Но еще более изумляет тишина вокруг. Там, где я ожидал снова увидеть сотни выпачканных нефтью, ненормально возбужденных людей,— люди встречаются редко, и это, чаще всего, строительные рабочие — каменщики, плотники, слесаря. Там и тут они возводят здания, похожие на бастионы крепостей, ставят железные колонны, строят леса, месят цемент. По необозримой площади промыслов ползают, позвякивая сцеплениями, железные тяжи; вышек стало значительно меньше, но повсюду качаются неуклюжие «богомолки», почти бесшумно высасывая нефть из глубин земли. В деревянном сарайчике кружится на пло-

скости групповой привод, протягивая во все стороны, точно паук, длинные, железные лапы. У двери сарая лежит на скамье и дремлет смазчик, старенький тюрк в синей куртке и таких же шароварах. Рабочих, облитых черным жиром, не видно нигде. И нет нигде жилищ доисторического вида — этих приземистых, грязных казарм, с выбитыми стеклами в окнах, нет полуголых детей, сердитых женщин, не слышно истерических криков и воя начальства, только лязгает, поскрипывает железо тяжей и кланяются земле «богомолки». Эта работа без людей сразу создает настроение уверенности, что в близком будущем люди научатся рационализировать свой труд во всех областях.

Приехал товарищ Баринов, крепкий озабоченный человек, и повел меня по промыслу, говоря как бы предисловие к чудесам труда:

— Нефть — не топливо, а богатейшее сырье для фабрикации бесчисленного ряда высокоценных химических продуктов. Нефть можно изработать всю, почти до нуля, на масла,— мы еще не научились брать из нее всё, что она дает. На нее как на топливо привыкли смотреть капиталисты, которым нет дела до будущего страны, до интересов народа. Им нужно только одно: выжать из действительных сокровищ земли как можно больше золота — металла, пригодного лишь как меновой и для пустяков, для украшений. Жечь нефть как топливо — это, в сущности, преступление против трудового народа, грабеж.

Он говорит слова более или менее знакомые. Но на этой серой земле, среди массы белых цистерн, железных колонн, высочайших кирпичных труб, среди разнообразных заводов видишь, что книжные слова внушительно воплощены в живое, грандиозное дело.

— Когда мы начали хозяйствовать,— говорит он,— тут везде валялись сотни тысяч тонн железного лома. Мы поставили мартеновские печи...

Его простые речи широко развертываются, становятся всё живее и за ними всё яснее звучат большие мысли рабочего, который строит свое государство.

— Капиталисты — люди без будущего, они чувствуют это и хищнически торопятся превращать всё дей-

ствительно ценное в условную ценность, в золото, из которого машину не построишь, инструментов не сделаешь. Золото полезно только в руках зубных врачей.

У товарища Баринова золотых коронок на зубах я не помню, хотя он часто показывал зубы и улыбкой и гримасой отвращения к старым хозяевам. Говорит он уже не для меня, а, по привычке агитатора, для той кучки рабочих, которые идут за нами. Речи его заставляют вспомнить о той массе ценнейшего металла, которая потоплена в морях за четыре года империалистической войны, о миллиардах пудов железа, стали, алюминия, меди, о разрушенных городах и надолго испорченной плодородной земле. Сколько истреблено, распылено богатств, не говоря о миллионах убитых людей! И всё это делает безумная воля нескольких тысяч хищников, правящих рабочим народом Европы и Америки. Преступность капиталистического строя не только в том, что он беспощадно эксплуатирует рабочих, истребляет миллионы их, но еще и в том, что он бессмысленно расточает сокровища земли, грозит трудовому народу оставить его без топлива, без металла.

— Это будет отбензинивающая установка,— рассказывает мне Баринов, указывая на железные башни, заключенные в клетку лесов.

Затем показывает здание для установки ангидридной; огромные, погруженные до половины в землю цистерны, собирающие нефть при закрытой эксплуатации, масляные подогреватели для газолинового завода; целую батарею котлов, какие-то холодильники, качалку «Виккерса», ветряки, приводящие в движение «богомолок», показывает длиннейший ряд всевозможных новых начинаний. Говорит он обо всем понятно как человек, который несет в себе всю картину и все детали грандиозного строительства, развернутого на десятки квадратных километров. Показывая работу, он спрашивает, приказывает, советует техникам и рабочим, выслушивает их и снова говорит мне:

— Мачты эти ставятся взамен вышек, вышки все будут снесены, это уменьшит возможность пожаров и будет просторней, чище. Тут — ректификация бензина.

И отвечает на вопрос какого-то парня:

— Ничто не может загореться, если не нагрето до определенной температуры.

Я смотрю на него и с грустью думаю о людях, которые не могли нагреться до такого спокойного и ясного огня, каким горит этот рабочий. Он часто и хвалебно вспоминает товарища Серебровского. По его словам, именно энергии этого товарища Азнефть обязана широчайшим размахом строительства, применением новейших усовершенствований техники и вообще всеми успехами. О своей личной работе он молчит, хотя я уже знаю, что сегодня он с 6 часов на промыслах и это — не исключительный день. Он почти не говорит — «я».

— Мы строим, мы работаем,— говорит он.

И совершенно ясно, что он и Румянцев, да и все тут, стараются скрыть свою законную гордость достигнутыми успехами, что все искренно заинтересованы независимостью впечатлений гостя и ничего не хотят подсказывать ему. Они не забывают сказать:

— Это было до нас. Это тоже было, здесь мы только увеличили количество котлов. Это — старый завод, тут нами поставлены новые холодильники.

Возможно, что не холодильники, а что-то другое. Я никогда не записываю того, что слышу и вижу, надеясь на мою зрительную память и вообще на уменье помнить.

Чем больше ходил я по промыслам, тем более удивляло меня незначительное, в сравнении с прошлым, количество рабочих на этой огромной площади, где железо, камень и бетон вытеснили деревянные вышки. Куда ни взглянешь — всюду цистерны, железные колонны, связанные дугообразными трубами, всюду растут каменные стены. И нигде нет этой нервной, бешеной суеты, которую я ожидал увидеть, нет пропитанных нефтью людей, замученных и крикливых, нет скоплений железного лома. Создается впечатление строительства монументального, спокойной и уверенной работы надолго; сказать «на века» — уже нельзя в наше время фантастически быстрого роста промышленной техники.

— Вот это наш новый масляный завод,— говорит товарищ Баринов.

Очень странный завод, без крыши, без стен, отделен-

ный от всего другого невысокой каменной оградой. Под открытым небом свирепо гудит ряд котлов, нагревая железную коробку объема двух или трех вагонов, коробка опоясана трубами и над нею — гребень изогнутых труб.

— В коробке греется нефть,— объясняют мне.— С другой стороны вы увидите, что мы получаем из этого.

С другой стороны я вижу масляные цветные ручьи от золотисто-рыжего до почти бесцветного. Товарищ Баринов пробует бесцветное на язык и говорит:

— Это — солярное, идет для консервов.

За истечением этих ручьев наблюдает один человек, такой спокойный, домашний, в халате, точно доктор. За котлами следили трое рабочих. Странный завод.

На языке моем вертелся вопрос, давно и глубоко волновавший меня:

«Чувствует ли себя рабочий — и в какой мере чувствует — хозяином?

Не веря моим впечатлениям, вопрос этот я ставил и пред рабочими и пред людьми, которые идут во главе рабочей массы, идут в ногу с нею, в хвосте ее. Соответственно физической позиции каждого, ответы получались утвердительные, неопределенные, отрицательные, и в каждом из них, разумеется, была своя субъективная правда. Но я знаю, что среди нас мало мастеров, которые не верили бы, что они работают хорошо; не очень много людей, которые, делая свое небольшое дело, ясно сознают значение своей работы в общем потоке труда, обновляющего жизнь, и, наконец, немало людей, утомленных работой, сделанной ими, немало разочарованных. Последние как будто ожидали, что тотчас, вслед за понедельником, снова наступит вокресенье, а пять трудовых дней уже навсегда вычеркнуты из жизни. Так что разнообразные ответы на мой вопрос ничего не прибавили к моим личным впечатлениям до Баку и ничего не отняли у них. Естественно, что я хотел поставить этот вопрос товарищу Баринову, но не успел, не нашел времени сделать это и дождался, что вместо Баринова мне за него ответил случай, ответил, на мой взгляд, очень объективно.

Когда мы осматривали новый масляный завод,— тяжелый, горячий воздух над нами вдруг негромко, но глубоко вздохнул, в нем как бы лопнуло что-то, и чрез дорогу от завода, над группой труб, железных колонн, цистерн взлетело курчавое черно-серое облако.

— Эх, бензин,— вскричал кто-то сзади меня.

Через минуту мы, человек пять, стояли в двух десятках шагов от картины, которую я никогда не забуду: в тупике, между каменной стеною, железной колонной, отбензинивающей трубчатки, и белой цистерной, принимавшей бензин, бушевал поток странно белого, почти бесцветного огня, а в огонь совались, наклоняясь над ним, накрывая его чем-то, рабочие, человек пятнадцать, тюрки и русские; седобородый тюрк командовал:

— Давай кошма, давай! Скор-ро!

Я никогда не видел, чтоб огонь гасили так яростно, с такой бесстрашной дерзостью, с таким пренебрежением к боли ожогов,— в этой дружной, ловкой работе было что-то непонятное мне. Поток огня стремился к цистерне, а в ней,— как мне потом сказали,— было несколько тысяч пудов бензина. Товарищ Баринов, тихонько отталкивая меня плечом, советовал:

— Уходите, уйдите подальше!

Сам он не уходил, но и не командовал борьбою с огнем. Рабочие гасили огонь так, как будто это была хорошо знакомая, привычная работа. Не заметно было испуга на озабоченных лицах, не было и бестолковой суеты, обычной на пожарах. Синеволосый тюрк смачивал кошмы в рыжей воде канавы, их выхватывали у него ловкие, сильные руки, кошма быстро подвигалась в сторону огня и покрывала его.

— Довольно кошем, хватит,— крикнул кто-то, хотя огонь не иссякал; тогда тюрк сам подбежал к огню и накрыл его кошмой, точно птицу сетью.

— Знаим, знаим,— покрикивал он, прижимая кошму ногами, а из-под нее его хватали за ноги языки белого пламени. Кто-то из рабочих говорил Баринову:

— Переломилась, упала... перебила отводящую трубку, дала искру...

Ворвался автомобиль, огромная красная бочка, и тотчас из брандспойта, развернутого с поразительной

быстротою, в огонь потекла рыжая пена. Щеголевато одетые, медноголовые люди пожарной команды деловито закричали:

— Отходи прочь, не мешай, ребята!

Я наблюдал внимательно. На своем веку много видел я пожаров, и всегда они вызывали бестолковую, бессмысленную суету. Повторяю, что быстрота, с которой рабочие бросились на огонь, ловкость, с которой они тушили его, и то, что они делали это без лишнего шума и крика, не мешая друг другу, с какой-то немецкой выдержкой,— всё это было ново для меня и очень удивительно. Огонь тоже был бесшумен, он шипел лишь тогда, когда встречался с рыжей пеной лакричного корня, когда она душила его густотой ее кружева. С огнем покончили в 12 минут. Я спросил Баринова:

— Могло взорвать цистерну?

— Конечно, могло,— ответил он.

— Быстро погасили.

— Привычка. Случай — не из редких.

— А если бы взорвало цистерну?

— Ведь я предлагал вам уйти.

— Да, но сами-то вы не уходили.

Эти слова, как будто, удивили его.

— Куда же я уйду?

Подумав, он сказал:

— Если бы взорвало — люди сгорели бы. Но у нас, покамест, эдаких шалостей не было.

Я спросил: думает ли он, что при старых собственниках рабочие так же самоотверженно боролись бы с огнем?

— Не приходило в голову,— сказал он и, осторожно взвешивая слова, прибавил: — В старое время пожары были чаще, убыточней, потому что тогда промысла были оборудованы технически гораздо хуже. Всюду — дерево, нефть карьеров питала воздух газами. Да, в то время рабочие, пожалуй, не так бы старались, а теперь понимают: свое горит. Но и тогда мы работали на буржуя честно. Шахтинских процессов с подсудимыми рабочими не было. Квалифицированные рабочие во время забастовок не ломали машин, этим занимались чернорабочие, да и то — редко, а квалифицированный срастался

с фабрикой, чувствовал себя, в какой-то степени, хозяином дела. Это — факт.

...Мы — на Биби-Эйбате, где люди отнимают у моря часть его площади для того, чтоб освободить из-под воды нефтеносную землю. Каменная плотина отрезала у Каспия большой кусок, образовался тихий пруд, среди его дерзко возвышаются клетки буровых вышек, в клетках возится, поскрипывает железо, просверливая морское дно, мощные насосы выкачивают мутно-зеленоватую воду пруда в море, взволнованное дерзостью людей. В него непрерывно льются две сердито кипящие струи, каждая толщиною в десятивершковое бревно. Под шум этих не очень «поэтических» струй мне рассказывают нечто легендарное об инженере, кажется, Потоцком, который совершенно ослеп, но так хорошо знает Биби-Эйбат, что безошибочно указывает по карте места работ и точки, откуда следует начать новые работы.

Стучит мотор, покрикивают рабочие, шипит вода. Вдали, за бухтой, на серой горе, тоже стоят новенькие буровые, от одной из них к морю, вниз, тянется черная бархатная полоса ценнейшего жира земли.

— Постепенно мы выкачаем море вон до той линии,— говорит заведующий промыслами, указывая вдаль, на что-то, чего я не вижу.— Вообще вся эта бухта нефтеносна и ее надо...

Он делает широкий жест, как бы изгоняя всю массу воды из бухты в зеленую пустоту моря. Жест этот не кажется мне самонадеянным и фантастическим. Фантастики я видел уже немало на Днепрострое, в Москве, здесь,— как всюду,— ее воплощают в железо, она превращается в мощную реальность, говорит о величии разума и о том, что недалеко время, когда рабочий класс Европы тоже почувствует себя единственным законным владельцем всех сокровищ земли и начнет вот так же работать на себя, как начали эту работу в Союзе Советов...

В огромном складе различных материалов товарищ Баринов увидал человека, который шел прихрамывая, опираясь на палку.

— Позвольте,— вы зачем же встали? Ведь доктор

сказал вам — лежать? — удивленно спросил он больного и в ответ на какое-то его возражение строго, но ласково приказал: — Нет, нет, сделают без вас! Отправляйтесь домой, сейчас же!

— Кто это? — спросил я.

— Наш инженер. Хороший парень. У него нога болит, ему лежать надо, а он...

Эта заботливость о здоровье ценного работника напомнила мне Владимира Ильича. Его образ часто встает в памяти на богатой этой земле, где рабочий класс трудится, утверждая свое могущество. О нем говорят и спрашивают так, как будто он был здесь и еще придет. Из Тыринской сопки на Джульфа-Бакинской железной дороге хотят сделать голову В. Ленина, «основателя государства». Особенно часто думалось о нем в рабочих поселках Азнефти. Если б он видел это, какую радость испытал бы он!.. Вспомнилось, как я пришел к нему через несколько дней после разгрома Юденича, а он, крепко стиснув руку мою, весело блестя глазами, смеялся:

— Вздули рабочие генерала? А я, признаться, думал: не сладим!

Здесь он увидал бы, что рабочие «сладили» с делом гораздо более трудным и сложным, чем генеральский набег на столицу рабочих-металлистов.

...Из всех опытов строительства жилищ для рабочих в Союзе Советов наиболее удачным мне кажется опыт Азнефти. Бакинские поселки рабочих построены прекрасно. Их, вероятно, уже не одна сотня: только в поселке имени Разина я насчитал свыше 50, не менее того — в Сураханах, Балаханах, Романах. «Эти маленькие города построены умными людьми»,— вот что прежде всего думаешь о них. Издали поселок Разина похож на военный лагерь: одноэтажные домики на серой земле, точно палатки солдат, но, когда побываешь в поселке, убеждаешься, что каждый дом — «молодец на свой образец», а все вместе они — начало оригинального и красивого города. Почти каждый дом имеет свою архитектурную физиономию, и это разнообразие типов делает поселки удивительно веселыми. Каждый дом имеет террасу, выходящую в палисадник, где уже посажены

деревья, цветут цветы. Широкие бетонированные улицы, водопровод, канализация, площадки для игр детей,— сделано всё для того, чтобы поставить рабочих в культурные условия. В светлых уютных комнатах газовые печи, экономно отапливающие и плиту кухни. Всё очень умело и очень умно. На промыслах сохранены две-три старых казармы для того, чтоб дети видели, в каких грязных пещерах держали их отцов хозяева-капиталисты. Дома поселков построены одноэтажными, очевидно, для того, чтоб люди наименьше страдали от свирепых ветров, которыми издревле славится район Баку. В каждом поселке семьи тюрков живут обок с русскими семьями, дети воспитываются вместе, и это возбуждает надежду, что через два десятка лет не будет ни тюрков, ни русских, а только люди, крепко объединенные идеей всемирного братства рабочих.

Да, что бы ни говорили враги Союза Советов, а его рабочий класс смело начал и хорошо продолжает «необходимейшее дело нашего века», как назвал Ромен Роллан идею В. И. Ленина, воплощаемую в жизнь его учениками. Баку — неоспоримое и великолепное доказательство успешности процесса строения государства рабочих, создания новой культуры,— таково мое впечатление. Недели через две в Сормове это отлично формулировал один из старых рабочих — очевидно, хороший ученик Ильича:

— На производстве наш брат обязан показать себя во всей своей силе хозяином разумнее буржуя, талантливее. Покажем это — значит: дело сделано.

В 1892 году, в Тифлисе, у В. В. Флеровского-Берви, автора книги «Положение рабочего класса в России», первой у нас книги по рабочему вопросу, автора оригинального опыта истории общечеловеческой культуры, озаглавленного «Азбука социальных наук», автора еще многих книг, а также рассказов «Философия Стеши», «Галахов»,— у человека, который подавлял нас, молодежь, обширностью своих знаний и резкой нетерпимостью к чужим мнениям,— так вот у этого замечательного человека я был свидетелем такой сцены: тюрк-пуб-

лицист, фамилию которого я забыл, рассказывал нам, молодежи, интересно и красиво историю города Баку. «Бакуиэ», называл он его и, помню, объяснял: «Бад» — по-персидски — город, «ку» — ветер, Баку — город ветров.

Флеровский не любил, когда при нем слушали не его, а кого-то другого. И он, автор своеобразной истории прошлого, ворчливо сказал тюрку:

— Всё это — басни! Надо учиться и учить забывать прошлое.

— Я не могу забыть того, что вы сейчас сказали, а это уже прошлое,— вежливо ответил ему тюрк и спросил:— Как я узнаю себя сегодня, забыв о том, чем был вчера и кто был мой отец?

Они заспорили. Флеровский, как всегда, нетерпимо, грубовато; противник отвечал ему отлично закругленными фразами и как будто читая стихи. Эта сцена, а особенно слова тюрка, очень хорошо памятна, я точно вчера видел и слышал ее.

Может быть, молодым читателям не нравится, что я так часто возвращаюсь к прошлому? Но я делаю это сознательно. Мне кажется, что молодежь недостаточно хорошо знает прошлое, неясно представляет себе мучительную и героическую жизнь своих отцов, не знает тех условий, в которых работали отцы до дней, когда их организованная воля опрокинула и разрушила старый строй.

Я знаю, что память моя перегружена «старьем», но не могу забыть ничего и не считаю нужным забывать. Совершенно ясно вижу пред собой ужасающую грязь промыслов, зеленовато-черные лужи нефти, тысячи рабочих, обрызганных и отравленных ею, грязных детей на крышах казарм; согнутых под тяжестью груза, «в три погибели», персов-«амбалов», грузчиков на набережной Баку; нищих на улицах города и ребятишек, которые, разинув рты, провожают взглядами восхищения богатые экипажи, на редкость красивых лошадей, мужчин и женщин, одетых в белое; расплывшись на сиденьях колясок, они едут куда-то против ветра, закрыв или прищурив глаза. Был «царский день», на всех домах главной улицы трепались флаги, хлопая, точно плети пастухов, где-то

гудела и гремела военная музыка. Ветер изумительной силы прижимал пешеходов к стенам домов, заставлял их бежать в ту сторону, куда он дует, идущих навстречу ему останавливал, сгибал пополам, под его ударами гривы лошадей вставали дыбом, а у тех, которые пытались обогнать его, ветер зачесывал гривы вперед, и это делало морды животных чудовищными. На скрещеньях улиц покачивались монументальные фигуры полицейских в белых перчатках, помогая ветру разгонять воробьиные стаи оборванных, полуголых мальчишек. Свиреп и непримирим был ветер, и так же непримиримо было всё вокруг: богатые здания набережной и полуразрушенные дома в кривых, узких улицах тюркской части города; множество нищих в лохмотьях и тяжелые люди, плотно зашитые в дорогие ткани; женщины без лиц, с головы до ног окутанные в темное, и женщины в ярких костюмах или в белом, большие и сытые, как лошади. И бесчисленные стаи чумазых, худосочных детей с воспаленными глазами.

Трудно узнать Баку, мало осталось в нем от хаотической массы унылых домов «татарской» части, которая была так похожа на кучу развалин после землетрясения. Проложены новые широкие улицы, выросли деревья, и зелень их оживила серый камень зданий; весело разрослись насаждения Приморского бульвара, шумно катаются вагоны трамвая, некоторые из них ярко, в восточном вкусе, расписаны цветами. Нет на улицах мрачных фигур женщин, завязанных с головами в темные мешки, нет нищих, и нигде не видишь позорной непримиримости, бесстыдной роскоши и грязной нищеты. Всюду много здоровых, веселых детей, и я не мог различить, кто из них тюрк, кто русский. Даже древняя черная башня Кыз-Каляски кажется помолодевшей и не давит город, как давила раньше, а украшает его своей оригинальной формой и затейливой кладкой, отшлифованной до блеска ветрами и масленой копотью промыслов. Каждый вечер на эстраде какого-то общественного здания играет отличный симфонический оркестр; на Приморском бульваре тоже музыка, и часто слышишь прекрасные песни тюрков. Культурной работой в Баку ревностно и увлеченно руководит товарищ

Никишин, человек необыкновенной энергии, кажется, уже заработавший себе туберкулез. Горят люди и, сгорая, всё ярче разжигают путеводные огни к новой жизни.

Ночью я смотрел на Баку с горы, где предположено устроить ботанический сад, и был поражен изумительным обилием и красотою огней в городе, на Биби-Эйбате, где идут ночные работы, на промыслах. До этой ночи я не представлял себе картины более красивой, чем Неаполь ночью с горы Вомеро,— богатейшая россыпь отраженных водами залива крупных самоцветов, густо рассеянных по древнему городу, по его порту. Но Баку освещено богаче, более густо, и так же, как в Неаполитанском заливе, в черном зеркале Каспия отражаются тысячи береговых огней.

Дважды я был потрясен до глубины души зрелищем энтузиазма людей, разбуженных к новой жизни, зрелищем их пламенного восторга: первый раз — на московских батрацких курсах, где сто сорок батраков, кончив общеобразовательные курсы и разъезжаясь по деревням, пропели «Интернационал» с такою изумительной силой, какой я не чувствовал никогда еще, хотя и слышал, как «Интернационал» пели тысячи,— прекрасно пели, но это было пение верующих давно и крепко, а сто сорок батраков спели символ веры борцов как люди, только что и всем сердцем принявшие новую веру, и поразительной мощью звучал гимн ста сорока сердец, впервые объединенных в одно.

Но еще более, неизмеримо более глубокое впечатление пережил я на культурном празднике тюрков в Баку — они праздновали шестилетнюю годовщину латинского алфавита. Это было в зале «Дворца культуры», в тесно набитом людьми зале, где температура достигала, вероятно, градусов 50, если не выше, и люди как бы таяли. Изумительный старец Самед Агамали-оглы, президент республики тюрков, инициатор замены арабского алфавита латинским, говорил пламенные речи, как юноша. С законной гордостью он вспоминал, как Владимир Ильич сказал ему:

— Латинский алфавит — первый шаг, которым вы начинаете культурную революцию среди тюрков.

Сильную речь сказал крестьянин-тюрк, человек, который, вероятно, лет 50 работал на земле. Он, видимо, пришел откуда-то издалека, весь в пыли, в поту, старый, но крепкий человек, высушенный солнцем. Мне перевели его речь: он благодарил людей, которые сделали для работников на земле путь к знанию более легким, говорил о том, что язык арабский — язык господ. За ним выступила работница текстильной фабрики, молодая женщина-тюрка, в длинном голубом платье, с газовым шарфом на плечах, очень стройная. Отрадно было слышать ее вдохновенную речь о значении труда, о знании, освобождающем человека из рабства. Крестьянину и ей единодушно аплодировали, и я чувствовал себя участником действительно великого праздника. Велик был восторг сотен лучших людей древнего племени, людей, которые праздновали свой решительный шаг по пути к возрождению, к новой культуре. И велика историческая заслуга азербайджанцев, которые смело встали впереди родственных им племен,— пример их уже вызывает подражание: необходимость заменить арабский алфавит латинским сознается и горячо обсуждается в Казани, Уфе, об этом говорят в Каз- и Баш-республиках.

Смотрел я на этих людей, слушал их речи и не верил, что не так давно русские чиновники, пытаясь укрепить власть царя, могли вызвать кровавую вражду тюрков и армян. Не верилось, что я, в свое время, писал об этом преступлении самодержавия, которое, провоцируя вражду племен, не брезговало гнусной работой подстрекателя к массовым убийствам. И вот вижу: повеял ветер той свободы, которую могут создать только люди труда, и кошмар прошлого рассеялся, как будто его не было; теперь нередко в тюркских школах преподают армянки, крестьяне Азербайджана пасут свой скот на склонах красивых гор Армении, и трудовой народ Союза Советов организуется в единую, творческую силу.

На многолюдном собрании рабкоров и начинающих писателей председательствовал вездесущий товарищ Никишин. Как всюду на таких собраниях, и в Баку я убеждался в широте и разнообразии интересов молоде-

жи, в силе ее пытливости, в жажде знания. Когда я прочитал поданную мне записку с вопросом: «Должен ли писатель знать всю историю человечества или только своего народа?» — многие в толпе усмехнулись, а красноармеец, кажется, тюрк, громко сказал:

— Пустой вопрос. Писатель обязан знать всё.

Из наиболее характерных записок я сохранил десятка два, они спрашивают:

«Как вы смотрите на наши газеты? Многим из нас они кажутся тяжелыми, непонятными». «Правда ли, что газеты портят язык?» «Почему так мало печатается популярно-научных книг?» «Был ли Ломоносов действительно великим ученым и в какой из наук?» «Верно ли, что экономист и философ Богданов — доктор и лечил переливанием крови?» «Почему у нас нет книг по истории европейской литературы, всё старые?» «Переведен ли по-русски Рабле?» «В чьих руках наробраз Италии?» «Почему вам нравится Анатоль Франс?»

Но, разумеется, есть и такие наивные вопросы: «Кто первый начал утверждать, что есть бог?» «Знал ли поэт Кольцов грамматику?» «Правда ли, что наши эмигранты признают дуэль?» «Правда ли, что царь Николай Первый сын солдата?» «Можно ли чему-нибудь научиться по словарю Брокгауз и Эфрон?» Таких курьезных вопросов — немало. Записки летят на стол, как ночные бабочки — на огонь.

Уехал я из Баку под впечатлением пожара на промысле, под впечатлением спокойной и успешной борьбы рабочих против стихийной силы, уехал с отрадным сознанием, что я видел настоящий город рабочих, где они — хозяева, как это и должно быть во всех городах, на всей земле Союза Советов, во всем мире.

По дороге в «Тифлис многобалконный» почти все станции отстроены заново, а на месте старых зданий — груды взорванного, раздробленного камня. Эта упрямая последовательность работы разрушения заставляет вообразить чудовище — огромного буйвола, который ослеп, содрогаясь от ужаса тьмы, идет прямо и, встречая по пути своему вокзалы, водопроводные башни, разру-

шает их, подбрасывая вверх, расковыривая рогами, растаптывая копытами.

Тифлис мало изменился с той поры, как я был в нем, но окраины его — Навтлуг, Дидубе — сильно разрослись. Просторнее, чище стало на Авлабаре, который в мое время именовался «азиатской» частью города. Расширен и превосходно обстроен знаменитый сад Муштаид. Расширяют музей Кавказа, увеличивая его втрое. Я видел только отдел зоологии и должен сказать, что его организуют образцово по наглядности, по красоте. Залы разделены огромными стеклами, задние стены каждого отделения расписаны пейзажами неплохим художником, на фоне пейзажа умело размещены флора и фауна, и всё вместе дает вполне точную картину условий, в которых живет разнообразное и обильное кавказское зверье. В музее — чучело того тигра, который года три или четыре тому назад пришел откуда-то на Кавказ, вызвал немало страха и был убит, кажется, где-то под Тифлисом. Зверь весьма крупный, у него такие солидные лапы и клыки, но в стеклянных глазах есть что-то недоумевающее и даже смешное, как будто он, в минуту смерти, подумал:

«Вот влопался!»

Как везде в Союзе Советов, в Тифлисе много строят. Оживленно шумит милый грузинский народ-романтик, влюбленный в красоту своей страны, в ее солнечное вино и чудесные песни. Очень заметно — и странно,— что женщин на общественных собраниях маловато.

В Музее революции меня удивило отсутствие материалов по участию грузин в народническом и народовольческом движении, по участию грузинских дружин в персидской революции, а также материалов о жизни грузин в сибирской ссылке. Во Мцхете, в грандиозном соборе, построенном в IV веке, исчезла стенопись в алтаре, могучие, в два человеческих роста, фигуры 12 апостолов; в алтаре мне сказали, что эту древнейшую и величавую живопись замазали известью попы. Замазаны и наивные фрески, которые изображали историю римского воина-грузина, который при дележе одежд Христа получил часть их, пошел домой, в свою Иберию, и всё мертвое, к чему прикасалась одежда Христа, оживало.

В. М. Васнецов в 1903 году до слез восторга любовался живописью алтаря и этими фресками. Но для восторгов художника наша действительность дает много нового материала, а старину следует охранять от разрушения для того, чтоб дети видели: в целях каких суеверий, под гнетом какого варварства жили их отцы.

Очень красиво построена мощная силовая станция Загэс с ее монументом В. И. Ленину на скале среди Куры. Впервые человек в пиджаке, отлитый из бронзы, действительно монументален и заставляет забыть о классической традиции скульптуры. Художник очень удачно, на мой взгляд, воспроизвел знакомый властный жест руки Ильича,— жест, которым он, Ленин, указывает на бешеную силу течения Куры.

В Коджорах, на дачах тифлисских богачей — лагеря пионеров, дома отдыха, детские дома. Детей там, вероятно, более тысячи. Коджоры цвели и сверкали знаменами, медью оркестров. Там был, кажется, съезд учительниц, и часа три мы слушали великолепное исполнение ими народных песен Грузии. Особенно мастерски пели две девицы, одна — блондинка с огромными веселыми глазами и прекрасным, неистощимым голосом, человек исключительно талантливый, так же как ее подруга, тоже искусная и неутомимая певица. Трогательно было задушевное гостеприимство учительниц, их простота и милая их гордость волнующей красотою песен своего народа. Группы девушек и детей в саду, на пригорке, под ветзями старых деревьев, в сети солнечных лент напомнили мне лирическую красоту персидских миниатюр.

После этого — интереснейшая беседа с рабкорами в каком-то саду; здесь, в Тифлисе, беседа приняла характер горячего спора по вопросу о «самокритике». Убежденным сторонником беспощадного обличения ошибок власти, недостатков ее аппарата выступил рабкор — кажется, железнодорожник, человек средних лет, с лицом вояки, смелой речью,— человек, который хорошо видит сложную путаницу старого и нового. Он, должно быть, много претерпел на своем веку, немало

подумал и знает людей,— это чувствовалось в каждом его слове. Он говорил:

— Надо, главное, чтоб молодежь всё видела, всё знала, видела бы, что мы друг с другом не миндальничаем, не гуманничаем.

Ему возразили из толпы:

— Ты меня сначала научи, как мне себя держать, а когда научишь, тогда и ругай.

— Вас — десять лет учат, а — какой вы пример молодежи? Как живете?

Он произнес небольшую, очень горячую речь о различных уродствах быта.

— Где тут новое-то, где? — обличительно покрикивал он.

В мою очередь, я, между прочим, сказал:

— Подумайте, сколько ума, сколько энергии мы тратим на то, чтоб рассказать и доказать людям, как они плохи, и представьте, что вся эта энергия тратится на то, чтоб объяснить людям, чем они хороши.

— Как? — спросил он. — Нуте-ко, повторите про энергию!

И, когда я повторил, он, тряхнув головой, усмехаясь, заговорил:

— Это, конечно, верно, дурное мы друг в друге охоче подмечаем, даже и с радостью. Это, конечно, глупость! Однако, товарищ, это вопроса не решает: на чем полезнее учиться — на плохом или на хорошем? Письма ваши рабкорам читал я, ну, неубедительно все-таки, уж как хотите! Нет, мы должны без пощады...

А за спиной у меня кто-то вполголоса торопливо и оживленно рассказывал:

— Ругал он ее, ругал, а она всё молчит и вдруг спрашивает: «Неужто за четыре года жизни ничего хорошего не нашел ты во мне и ничего доброго не видел от меня?» Так он мне потом говорит: «Прямо с ног сбила она меня этими словами, чёрт! Замолчал я, а потом и смешно и даже совестно стало...»

Из толпы кричат:

— Вы, товарищ Горький, напишите нам книгу о хорошем и плохом...

Природа не наградила меня способностями оратора,

и каждый раз, читая стенограммы публичных моих речей, я со стыдом убеждаюсь в их бессвязности. А вот такие беседы, когда каждый спрашивает о чем хочет и говорит мне всё, что ему угодно, эти беседы — дело новое для меня,— много дали мне, многому научили. Огромное и глубокое наслаждение — наблюдать за игрою сотен разнообразных лиц, сотен пар разноречивых глаз, следить, как вспыхивает в них сочувствие или недоверие, дружеская улыбка или блеск насмешки, а иногда разгорается и огонек вражды. Большая радость воочию убедиться в том, что люди заново живут, по-новому начинают думать и чувствовать. Убеждаешься в этом каждый раз, когда от живого искреннего слова вспыхивает яркий интерес и дает тебе знать, что ты нужен, полезен. Много нового накопилось в людях, но нет еще у них времени воплотить свои чувства и мысли в свои слова с достаточной ясностью и точностью.

Из беседы в великолепном доме грузинских литераторов по вопросу об издании журнала «Наши достижения» и альманахов, посвященных национальным литературам, я не вынес определенного впечатления. Ярким моментом ее была опасливая речь одного из молодых писателей, он ее начал словами:

«Горький хочет перевести нас на смертельный ток».

Я хочу думать, что этот отзвук недоверия, а может быть, и вражды, всемерно и вполне объясняется грубейшим давлением старой, царской власти на культуру «нацменьшинств». Но всё же странно было слышать запоздалое эхо старины в те дни, когда так свободно и быстро развиваются национальные культуры даже маленьких поволжских племен, которые лишь несколько лет тому назад получили письменность, а сегодня уже издают газеты и книги на своих родных языках, организуют нацмузеи, консерватории. Вот предо мной сборник «1000 казакских-киргизских песен»; они положены на ноты, оригинальнейшие их мелодии — богатый материал для Моцартов, Бетховенов, Шопенов, Мусоргских и Григов будущего. Отовсюду — от зырян, бурят, чувашей, марийцев и так далее — для гениальных музыкантов будущего льются ручьи поразительно красивых мелодий. Я слышал, как эти песни нацменьшинств испол-

няет А. И. Загорская, концерты которой в Берлине имели громадный успех. И, когда слушаешь пение этой исключительно талантливой женщины, думаешь, конечно, не только о музыке будущего, а о будущем страны, где все разноязычные люди труда научатся уважать друг друга и воплотят в жизнь всю красоту, издревле накопленную ими. Это — должно быть, и это — будет, или все мы снова вернемся на старые пути звериной вражды и кровавых преступлений друг против друга...

...В долине Дилижана кто-то из товарищей сказал вполголоса:

— Много здесь турки перебили армян.

— Ну, что же вспоминать об этом в такой красоте,— ответили ему.

Да, удивительно красиво. Кажется, что горы обняли и охраняют долину с любовью и нежностью живых существ. На высоте 1500 метров воздух необыкновенно прозрачен и как будто окрашен в голубой, мягко сияющий тон. Мягкость — преобладающее впечатление долины. Глубокое русло ее наполнено пышной зеленью садов, и дома как бы тихо плывут в зеленых волнах по направлению к озеру Гокче. Южное Закавказье ошеломляет разнообразием и богатством своих красот, эта долина — одна из красивейших в нем. Но на красоту ее неустранимо падает мрачная тень воспоминаний о недавнем прошлом. Мне показывают:

— Вот в это ущелье турки согнали и зарезали до шести тысяч армян. Много детей, женщин было среди них...

Меньше всего лирически прекрасная долина Дилижана должна бы служить рамой для воспоминаний о картинах кошмарных, кровавых преступлений. Но уже помимо воли память воскрешает трагическую историю Армении конца XIX — начала XX веков, резню в Константинополе, Сасунскую резню, «Великого убийцу», гнусное равнодушие христиан «культурной» Европы, с которым они относились к истреблению их «братьев во Христе», позорнейший акт грабежа самодержавным правительством церковных имуществ Армении, ужасы

турецкого нашествия последних лет,— трудно вспомнить все трагедии, пережитые этим энергичным народом.

Удивительно быстро и ловко забывают факты такого рода господа «гуманисты», идеалисты, защитники «культуры», основанной на жадности, зависти, на рабстве и на циническом истреблении народных масс. Ложь и лицемерие защитников этой «культуры по уши в крови и грязи» восходят до явного безумия, до преступления, которому нет достойной кары.

...Едем мимо армянских деревень, и, глядя на них, забываешь о том, что живешь во второй четверти XX века, в царствование миллиардеров, миллионеров, в эпоху безумнейшей роскоши и поразительного развития техники. К суровой земле беспорядочно и почти неотличимо от нее прижались низенькие, сложенные из неотесанных камней постройки без труб, без окон; они еще менее, чем старые казармы рабочих на промыслах Азнефти, напоминают жилища людей,— даже загоны для овец в степи Моздока построены солидней. На плохих местах, на голой земле прилепились эти жуткие, унылые деревни армян. Видеть их как-то стыдно, неловко. Кое-где около них торчат метелки кукурузы, сизые пятна посевов ячменя. Изредка мелькают полуголые дети, женщины в темном, истощенные непосильным трудом. Холодно и одиноко, должно быть, в этих доисторических жилищах суровой зимою среди лысых гор, где прячутся погасшие вулканы. Зима на этой высоте стоит долго, бывают сильные морозы. Когда вот такие деревни мысленно поставишь рядом с Нью-Йорком, Лондоном, Парижем, Берлином — особенно хорошо видна преступная ложь современной культуры, и особенно понятна ненависть защитников ее к Союзу Советов,— ненависть, которая пожрет всех, кто ненавидит людей труда.

...Развертывается грандиозное синее зеркало озера Гокча — точно кусок неба, который опустился на землю между гор. Необыкновенен густо-синий цвет воды этого озера, отнявшего у земли площадь почти в 1395 квадратных километров. Озеро богато рыбой, больше

других — лососью, и мне сказали, что скоро эту рыбу, замораживая ее, будут отправлять в Париж.

На берегу озера большая русская деревня, в ней живут крупные, дородные бабы, большие бородатые мужики, хорошо упитанные русоволосые дети. Очень здоровый народ, но глаза большинства — странно прозрачные и сонные, такие глаза я замечал у пастухов в горах Швейцарии, и мне подумалось, что это — глаза людей, живущих вне времени, вне действительности.

Один из туземцев с берега Гокчи, широкоплечий, стройный, с густейшей сивой бородою, стоял, спрятав руки за спину, и смотрел на автомобиль, точно вспоминая: видел он уже такую телегу или нет?

— В Эривань едете? — спросил он басом.

— Да.

— Эривань — далеко,— сообщил он и, не торопясь, отошел прочь.

Дома в деревне солидные, деревянные, хотя земля вокруг безлесна, а горы почти сплошь из вулканических пород, и среди них — сказали мне — есть достаточно мягкие, удобные для строительства. В одном из домов — ихтиологическая станция, где изучают жизнь населения озера. Производится интересный опыт: в синюю воду Гокчи пустили 15 миллионов мальков сига из Ладожского озера и уверенно ожидают, что сиги приспособятся к жизни в этом огромном бассейне на высоте почти 2000 метров. Да, всюду, на всех точках земли Союза Советов делаются смелые, великого значения опыты, строится новая жизнь. Эта стройка — первое, что бросается в глаза, когда подъезжаешь к Эривани.

Серый каменный город на фоне хмурой массы среброглавого Арарата, в шапке красноватых облаков,— этот город издали вызвал у меня впечатление заключенного в клетку строительных лесов, на которых муравьиные фигурки рабочих лепят новые здания как будто непосредственно из каменной массы библейской горы. Такое впечатление явилось потому, что стройка идет на окраине города и его видишь сквозь леса. Внутри города строят не так много, как это показалось издали,— бедна Армения, многократно растоптанная копытами врагов, разоренная той звериной ненавистью и

жаждой крови, которые так умело разжигают жрецы золотого бога, имя которому капитализм — Желтый Дьявол.

Да, Армения бедна, но уже отличная силовая станция украшает Эривань, силою ее работает завод, очищающий хлопок, масляный и мыльный заводы, богато освещен город. Энергично идет стройка жилищ для рабочих, два больших корпуса уже заселены, всюду чувствуется смелая рука умного хозяина, и движение в городе носит характер движения накануне большого праздника.

Прекрасно организован музей, намечено множество работ, которые должны будут быстро преобразовать город, идут геологические исследования по всей стране. И уже сделано открытие, которое, несомненно, даст армянам значительные средства для развития промышленности и культуры страны: около Арарата найдены богатейшие залежи вулканического туфа. Из этого материала построен Неаполь и все города по берегам Неаполитанского залива, но туф Арарата плотнее везувианского,— вбитый в него гвоздь не колет массу, и в то же время она режется легко, почти как мыло. Из туфа можно, на месте разработки, резать колонны, наличники окон и дверей, консоли, карнизы, его можно резать по заданию архитектора на кубы любого объема. Залежи его исчисляются сотнями миллионов тонн. Разработка этого богатства уже начата, прокладывается подъездной путь к Закавказской железной дороге. Думают, что туф этот будет дешевле кирпича и хорошо пойдет в Северо-Кавказский край и на Украину, бедную строительным материалом. Вероятно, вулканическая почва Армении подарит народу своему и другие богатства. На обратном пути из Эривани в Тифлис мы видели выхода на поверхность земли черного обсидиана — вулканического стекла.

Вечером, после митинга, в городском саду эриванская молодежь показывала танцы сасунских армян, нечто совершенно исключительное по оригинальности и красоте. Я — не знаток искусства танцев, равнодушен к балету, на характерные пляски смотрю как на легкую и веселую акробатику, на фокстроты — без отвращения, но на-

хожу, что одежды в этом «танце» излишни и, должно быть, стесняют свободу танцоров, которых можно назвать также и бесстыдниками, хотя, конечно, в природе есть существа еще более бесстыдные, например: мухи, петухи и куры, козлы, собачки.

Танцы сасунских армян не поражают затейливостью и разнообразием фигур и не стремятся к этому, в них есть нечто другое, более значительное и глубокое. На эстраду выходят двое музыкантов в ярких национальных костюмах, двое — большой барабан и пронзительно крикливая дудка,— а за ними выплывает ослепительно блестящее, разноцветное тело — двадцать человек мужчин. Они идут плечо с плечом, держа за спинами руки друг друга, они — единое тело, движимое единой, изумительно ритмически действующей силой. Это тело свертывается в круг, в спираль, развертывается в прямую линию, строит разнообразные кривые; идеальность ритма, легкость и плавность построения фигур всё более укрепляют чарующую иллюзию единства, слитности. Отдельных танцоров трудно различить, видишь, как пред тобою колеблется ряд красивых лиц, видишь их улыбки, блеск глаз, кажется, что вот их стало больше, а в следующую минуту — меньше; индивидуальные черты каждого отдельного лица почти неуловимы, и всё время с вами говорит, улыбается вам как будто одно лицо,— лицо фантастического существа, внутренняя жизнь которого невыразимо богата. Возбуждающе поет дудка, но ее высокий голос уже не кажется пронзительным; громко, но мягко отбивает такт барабан, и за этой музыкой видишь другую — музыку изумительно красивых движений гибкого человеческого тела, его свободную игру в разноцветной волне ярких одежд. Минутами, когда стремительность движений многоглавого тела, возрастая, превращалась в золотой и радужный вихрь, я ждал, что цепь танцоров разорвется на отдельные звенья, но и в этом вихре они сохранили единодушную плавность движений, увеличивая, углубляя впечатление силы и единства. Никогда я не видел и не мог представить себе картину такой совершенной слитности, спаянности многих в едином действии. Несомненно, в этом, должно быть, очень древнем, танце скрыто нечто симво-

лическое, но мне не удалось узнать — что это: религиозная пляска жрецов или танец воинов? Мне кажется, есть в нем что-то общее с воинственным танцем гурийцев,— не помню, как называется он — «перхули» или «хорули». Но в нем не было ничего, что хоть немного напоминало бы бешеное «радение» хлыстов или истерические судороги «вертящихся дервишей», от которых, как говорят, заразились истерией и наши сектанты — «кавказские прыгуны». Вероятно, танец сасунских армян — победный танец воинов.

Не менее оригинально и так же обаятельно красиво танцевали женщины, одетые тоже по-восточному ярко и цветисто. Танцуя, они показывали, как причесывают волосы, красят лицо, кормят птицу, прядут,— и снова все мы были очарованы изумительной ритмичностью их движений, красотой жестов. Женщины танцевали каждая отдельно от другой, и жесты каждой были индивидуальны; тем труднее было сохранить их ритмичность, единство во времени, а она сохранялась идеально. Затем они исполнили комический танец хромых,— танцевали так, точно у каждой из них перебито бедро, и, хотя смешные движения их были на границе уродливого, они поражали гармоничностью и грацией.

«Сколько талантов вызвала к жизни наша эпоха, сколько красоты воскресила живительная буря революции!» — думал я по пути из Эривани.

Возвращались мы другой дорогой, по долине более богатой, плодородной, через деревни сектантов-«прыгунов». Странное впечатление вызывали эти большие зажиточные селения без церквей и эти крупные бородатые люди с такими же пустыми и сонными глазами, как и у поселенцев на берегу Гокчи. Мне сообщили, что турецкое нашествие перешагнуло через «прыгунов», не причинив им вреда, и что защитой этим сектантам служит их пассивное безразличие ко всему, кроме интересов своей общины и личного хозяйства.

Разумеется, они считают себя единственными на земле людями, которые исповедуют «истинную веру». В 1903 году один из них, Захарий — кажется, Нищенков или Никонов — снисходительно внушал В. М. Васнецову, доктору Алексину и мне:

— Наша вера — древнейша, она еще от царя Давида, помните, как он «скакаше играя» пред ковчегом-то завета? Во-он она откуда...

Его товарищ, сухой, длинный старик, с глазами из темно-зеленого стекла, гладил острое свое колено, покачивался и говорил глухим голосом:

— Ты перестань, Захарий, господам московским это без интереса.

Но Захарий не унимался, его раздражали насмешки доктора, и ему, видимо, льстил горячий интерес художника, который выспрашивал его, как, вероятно, выспрашивают дикарей католики-миссионеры. Но Захарий держал себя не как дикарь, а как вероучитель.

— Отчего — скакаше? — поучал он Васнецова.— Оттого, что пророк был, знал, что из его колена Христос изыдет,— вот оно! Священны пляски и греки знали, не теперешние, а — еллены, царства Елены Прекрасной, они тут жили по берегу Черного моря, у них там, на мысу Пицунде, остатки церкви есть. Так они тоже скакали, радовались, возглашая: «Иван, двое...»

— «Эван, эвое» *,— поправил Васнецов, но Захарий продолжал, горячась:

— Грек не может по-русски правильно сказать, он сюсюкает, я греков знаю. Иван — это Предтеча, а двое — значит за ним другой придет, ну, а кто другой — сам пойми...

Доктор Алексин неприлично хохотал, Васнецов тоже горячился, как и Захарий, это обидело старика, он вытянулся во весь рост и решительно приказал:

— Идем! Нечего тут... зубы чесать.

Люди эти приехали к наместнику Кавказа с жалобой на какие-то притеснения, они жили в одной гостинице с нами, и старик вообразил, что солидный доктор — важный чиновник из Петербурга, а Васнецов — духовное лицо, путешествующее в «штатском» платье. Он и научил Захария поговорить с ними. А. П. Чехов, наш спутник, не присутствовал при этой беседе, чувствуя себя уставшим. Вечером, за чайным столом, когда Васнецов с досадой рассказывал ему о «прыгунах», он сначала без-

---

* Крики древних греков во время религиозных танцев.

звучно посмеивался, а затем вдруг и в разрез настроению художника, сердито сказал:

— Сектантство у нас — от скуки. Сектанты — сытые мужики, им скучно жить и хочется играть в деревне роль попов,— попы живут весело. Это только один Пругавин думает, что секты — культурное явление. Вы Пругавина знаете?

— Нет,— ответил Васнецов.

— Он — с бородой, но похож на кормилицу.

Где-то, вспоминая об А. С. Пругавине, я воспользовался этим сравнением, удивительно метким, несмотря на его необычность. А сцену беседы с «прыгунами» написал для «Нижегородского листка», но цензор, зачеркнув гранки, тоже написал:

«Скрытая проповедь церковной ереси. Не разрешаю. Самойлович».

...Четвертый раз я на Военно-Грузинской дороге. Всё знакомо — кроме базы экскурсантов на станции Казбек. Экскурсии тянутся бесконечными вереницами; идут сотни здорового, веселого народа, юноши и девицы, комсомол, студенчество. Это — люди, которые хотят знать геологию, петрографию, историю, этнографию,— все хотят знать и как будто слишком торопятся приобрести знания. Когда много спрашивают,— мало думают и плохо помнят. Людям, которых отцы поставили в позицию полных хозяев своей страны, необходимо помнить, что каждый камень ее требует серьезного внимания к себе.

Никогда еще пред молодежью не открывался так широко и свободно путь к всестороннему познанию ее страны. Она может спускаться в шахты под жесткую кожу земли, подниматься на вершины гор, в область вечных снегов, пред нею открыты все заводы и фабрики, где создается всё необходимое для жизни,— учись, вооружайся! Нет университета более универсального, чем природа, всё еще богатая не использованной нами энергией, и действительность, создаваемая волею и разумом человека.

...Дорога от Владикавказа до Сталинграда по бесконечной равнине. Пустынность ее обидна и раздражает.

Не должно быть земли, которую всепобеждающий труд человека не мог бы оплодотворить, не должно! Камни и болота Финляндии, пески Бранденбурга убедительно говорят нам, что, когда человек хочет заставить даже бесплодную землю работать на него,— он ее заставляет работать.

Об этой чудотворящей силе воли, силе труда необходимо как можно чаще напоминать людям в наши дни, когда пред людями широко развернута возможность работать для себя, на самих себя, для создания трудового государства, совершенно исключающего безвольных, лентяев, хищников и паразитов.

На мой взгляд — одним из крупных недостатков людей труда является тот факт, что они не знают, сколько хорошего сделано ими на земле, какие великие победы одержаны ими в борьбе за свою жизнь, и оттого, что это не известно им, они — в массе — работают всё еще плохо, неохотно, безрадостно. Разумеется, не они виноваты в этом, а те, кто держал их во тьме и так постыдно низко ценил их чудесный труд, преображающий землю. В школы следовало бы ввести еще один и самый важный учебник — «Историю труда» — прекрасную и трагическую историю борьбы человека с природой, историю его открытий, изобретений — его побед и торжества его над слепыми силами природы.

...Пустыню перерезала широкая полоса Волги. С детства знакомая река не так оживлена, как была раньше, и, может быть, поэтому она кажется мне более широкой, мощной. Вода в ней стала как будто чище, не видно радужных пятен нефти. Нет буксирных пароходов, которые вели за собой «караваны» в четыре, пять и даже шесть деревянных барж-«нефтянок», теперь буксиры, один за другим, тащат по одной железной барже, вместимостью до девяти тысяч тонн и больше. Нет и плотов «самоплавов», теперь их тоже ведут буксирные суда, и плоты не в четыре яруса, как бывало раньше, а в семь-восемь. Это для меня ново. Но так же, как раньше, белыми лебедями плывут вверх и вниз огромные теплоходы и так же чисто, уютно на них, только всё стало про-

ще, и, хотя пассажиры, по-старому, делятся на три класса,— «господ» среди них нет. На пристанях грузчики в прозодежде и в шляпах голландских моряков.

— Грузчики теперь — народ пестрый,— рассказывает человек в очках, пассажир 3-го класса.— У нас двое монахов работали, а потом один — часовщик, а другой — из цирка.

— Бывает,— подтвердила женщина, пожилая, с красной косынкой на шее, с газетой в руках.— В Самаре учитель наш два лета на пристанях работал, тоже из духовных. Летом — работает, а зимой — учит. Замечательный человек, скотину лечит, пчеловодство знает, садовое дело. Мужики долго уговаривали его: брось, живи в деревне весь год, не жадничай!

— Согласился?

— Согласился.

— А как — заработок грузчиков?

— Жалуются.

Старичок, стоя у трапа, говорит:

— Кабы люди не жаловались, так их бы не миловали.

Но тотчас вступается другой матрос, постарше.

— А — на кого жаловаться? Мы — сами хозяева, свое работаем. Чего там...

На корме пристани, в тесной группе людей, ожидающих парохода «вниз», ораторствует широкоплечий старичище, бритый, с разрубленным подбородком, в пальто из парусины и в полотняном колпаке.

— А я говорю: не от засухи голод был, а от страха! Ужаснула людей война, и опустились руки — вот причина...

— Да засуха-то была? — кричат на него.

— Ну — была! А того хуже чехи были...

— Толкуй с ним!

— Вот и потолкуй! Ты живи смирно, и всё будет. У тебя не родит, я тебе помогу. Тебя чему учат?

— Ты по-оможешь,— иронически тянет какой-то рыжеватый человек в истертой кожаной куртке.

Схватив котомку, старик растолкал собеседников и ушел за угол конторки.

— Вы, граждане, не смейтесь над ним, он немножко чудовой. Он в голодное время большим деятелем был, его и американцы уважали. Настоящий, народный человек, хотя — из господ, из бедных, земелька была, десятин с полсотни, что ли-то. Сам работал с младшим сыном, старший — на войне остался. А младшего — чехи повесили, домишко сожгли,— старуха в нем нездорова лежала — со старухой. Сам он тоже бит был. Ну, немножко и — того, заговаривается.

Рассказывает это широколицый бородатый человек в синем новеньком пиджаке, он сидит на мешках, за поясом у него топор, лезвие топора — в кожаном чехле. У ног его ящик с инструментами столяра. Никогда не видал у русского мастерового инструментов, уложенных в порядке, и топора в чехле. Не видал и матроса, который, умываясь, чистит зубы щеткой. И капитана, который, проплавав по Волге 36 лет, сидит на своем пароходе в «красном уголке» и, вместе с верхней и нижней командой, интересуется вопросами политической и культурной жизни Запада. «Кубатура» уголка едва ли больше кубатуры обыкновенной одноместной каюты, люди сидят на колепях друг друга, большинство стоит, и эта сплошная масса крепких ребят наперебой ставит десятки разнообразных вопросов: о росте народонаселения в Англии, о ее положении в Египте, о том, чем отличается фашизм Италии от фашизма Венгрии, а с палубы в дверь «уголка» кричат:

— Сколько женщин на тысячу мужчин в Европе? А у нас? Почему к нам, на Волгу, мало иностранцев приезжает?

Очень хорошо помню, что в годы моей юности вопросы этого порядка не интересовали кочегаров, матросов и палубных пассажиров на волжских пароходах.

Даже неизбежные курьезы русской жизни как-то обновились,— впрочем, это не сделало их менее уродливыми. В третьем классе женщина лет 50, рыхлая, с лицом, точно присыпанным мукою, в черном платье, повязанная платком, обратилась ко мне с просьбой:

— Помогите, милостивец, возвратиться к нам батюшке Илиодору!

Перегруженный впечатлениями совершенно иного рода, я не сразу догадался, кто этот «батюшка».

— Ну, как же, милостивец, забыли вы невинного страдальца за нас иеромонаха Илиодора. Нам же известно, что вы помогли ему бежать за границы от злобы царя и распутинских архиереев...

Она говорила нараспев «причитающим» голоском с той привычной «жалостью» и привычкой жаловаться, которая вырабатывается десятилетиями непрерывной практики; тон, можно сказать, «древнерусский» и усвоенный не только старыми бабами,— таким тоном в 90-х годах в провинции русской либералы читали жалобные лекции, коими доказывалась обывателям необходимость конституции.

Пассажиры, с любопытством разглядывая поклонницу Илиодора, добродушно и снисходительно усмехались; пожилая женщина, только что проснувшись и расчесывая седоватые волосы, удивленно спросила:

— Это зачем же вам, гражданка, Илиодор попадобился?

Я действительно, по просьбе А. С. Пругавина и при помощи товарища Линде, устраивал иеромонаху переход через границу Финляндии в Стокгольм, куда он бежал писать о Распутине книгу «Святой чёрт». Но прежде чем я успел рассказать то, что знал о нем, меня опередил в этом какой-то человек.

— Брось, бабка,— сказал он.— Это — дело дохлое. Илиодор твой швейцаром при гостинице служит и сводничеством занимается.

Сказал, плюнул на пол и пошел прочь, а вслед ему — молодой, протестующий голосок:

—На палубу плевать вас не просят, а — наоборот!

— Извиняюсь.

Женщина в черном «причитала»:

— Не верю я в это, клевещут на него попы да интеллигенты, скучно душеньке его без нас, и нам без духовного вождя, без пастыря трудно жить.

Я отметил, что никто, ни один из двух десятков свидетелей этой сцены, не посмеялся над этой женщиной грубо, обидно, смеялись добродушно. Только кто-то с верхней койки проворчал:

— Пастырь,— пластырь, эх...

...Хорошие, «ликующие» дни, солнце как будто даже хвастливо освещает красоту берегов Волги. Заметно разрослись села и деревни, везде видишь новые избы, крытые тесом, иногда их стоит целый порядок; деревня, должно быть, горела. Впрочем, на богатых берегах могучей реки и прежде соломенные избы встречались так же редко, как мужики в поскони, сермяге и лаптях. На пристанях, так же как на станциях железных дорог Донского края и Северного Кавказа, нередко видишь группу женщин в платьях одноцветного ситца и одинакового рисунка,— это, очевидно, значит, что в деревню попал целый «кусок». Почти на каждой пристани мелькают красные повязки комсомолок, галстухи пионеров, группы экскурсантов с котомками за спиной,— это заставляет вспоминать «Перелетных птиц» Германии, обширную организацию молодежи, изучающей свою страну.

...Казань. Нижний Новгород. Но в этих городах ожило так много воспоминаний, что я сейчас не буду говорить о них.

Сормово. В детстве, когда мой вотчим служил на Сормовском заводе и скупал — вероятно, за полцены — у рабочих записки в фабричную лавку,— записки, которыми администрация платила вместо денег за труд и этим уменьшала заработок,— в детстве я был уверен, что Сормовский завод выделывает сахар, колбасу, изюм, чай, сухари, муку и вообще всё, что можно съесть. Затем я побывал в Сормове лет пятнадцати, надеясь получить там работу,— на завод, разумеется, не пустили меня, видел его только издали. Не понравилось мне накрытое облаками дыма скопище грязных корпусов, и эти грязные каменные пальцы труб, и грохот, скрежет, лязг, визг, скрип железа. Визит мой кончился дракой с фабричными подростками и бегством от них. Кажется, в 90-м году мои приятели Аким Чекин, пропагандист-народник, и Егор Барамзин, тоже народник, но уже склонный к марксизму, попробовали устроить меня на завод табельщиком, но не удалось. В 96 году я ходил по цехам завода с группой иностранных корреспондентов, которые

приехали на Всероссийскую выставку. Но меня интересовала не работа завода и не рабочие, а то, что рассказывал иностранцам представитель администрации «Сормова». Говорил он по-французски, очень громко, но в адовом шуме голос его был не слышен мне, да и языка я не знал. Но по тому, какими резкими жестами этот человек стирал пот с лица и шеи, я был уверен, что он рассказывает интересно. Я спросил «собрата по перу», кажется, сотрудника «Степного края»:

— Что он говорит?

— Жалуется на рабочих.

Шли дальше сквозь грохот, среди невиданных мною машин и черных людей; всё вокруг дрожало, вертелось, двигалось, как будто весь завод и земля под ним — всё уплывало вниз по Волге.

— А теперь что он говорит?

— Жалуется на рабочих.

Дождь хлестал по крышам. В прокатном, где по земле бегали, извиваясь, жгучие красные змеи, а дождь, врываясь в разбитые окна, шипел на полу, я третий раз спросил всё о том же и получил ответ:

— Хвалит французских рабочих.

В корпусах было нестерпимо жарко, хотя жару пронзали сквозняки, заплескивая в окна брызги холодного осеннего ливня; между корпусами текли черные ручьи, бегали, оскалив зубы, черные люди; дождь, словно метлою, снова заметал их в двери корпусов, в жару и дым. Иностранцы, подняв воротники пальто, шагали молча, с таким унынием на лицах, что их было почти жалко. Затем они и представитель «Нового времени» пошли обедать к администратору, а мы, четверо провинциалов,— в трактир.

Хорошо помню, что мне было неловко гулять по цехам с группой чужих, равнодушных людей, я не умею быть «зрителем». Ощущение этой неловкости тяготило и стесняло меня и теперь на всех заводах, которые так обильно и мощно разрослись под Нижним, на огромном треугольнике от Балахны на Волге до Растяпина на Оке,— на «Двигателе революции», «Красной Этне», «Суперзаводе», фосфорном и на изумительной бумажной фабрике за Балахной. Среди тысяч людей, погло-

щенных нелегким и требующим напряженного внимания трудом, морально неудобно «гулять», хотя бы и с той целью, чтоб описать эту прогулку. Гулять — не значит ознакомиться с производством. Поэтому я не считаю себя вправе говорить о новых заводах, на которых я был. Прекрасные, огромные заводы, и, вероятно, рабочим удобно работать в их просторных цехах.

А что видел я в несколько часов прогулки по Сормовскому заводу? Мне показалось, что на нем, в цехах, стало еще теснее, чем было в 96 году. Станки стоят вплоть один к другому, рабочие почти трутся друг о друга. В горячих цехах, на мой взгляд неопытного человека, не хватает каких-то механических приспособлений, которые облегчали бы адски тяжелый труд рабочих. Когда я смотрел, как раскаленный едва не добела коленчатый вал, весом, наверное, в несколько тонн,— вал для морских шхун, вместимостью в 10 тысяч тонн,— когда я видел, как этот вал подводили из горна под паровой молот, пред моими глазами встала картина работы на заводе Балдвина в Филадельфии, на судостроительном под Нью-Йорком. Грустно и обидно было сравнить условия работы сормовских рабочих с картиной работы американцев, которую я видел 22 года тому назад.

Возможно, что я чего-то не понимаю, ошибаюсь и что лучше бы мне не говорить об этих делах. И, разумеется, я не забыл, что русские рабочие получили от бывших хозяев наследство технически плохонькое. Знаю я, что Сормовский завод — «ветеран труда», что горячие цеха уже выносят на новое место, что на заводе скоро будет просторней и удобней для 18 тысяч носителей творческой силы,— всё это так. Но у меня есть свое отношение к труду, к рабочим, и, если я ошибаюсь,— мне на это укажут, а все-таки я должен сказать то, что думаю. Я видел, вероятно, не один десяток дворцов культуры, дворцов труда, огромных, отлично построенных зданий, которыми рабочий класс имеет законнейшее право гордиться как одним из своих культурных достижений. Превосходнейшие дворцы эти стоят, конечно, много миллионов. Мне кажется, что было бы социально разумнее затратить эти миллионы на расширение своих заводов и фабрик, на улучшение усло-

вий труда, на охрану своего здоровья. Недавно товарищ Н. А. Семашко, призывая на «борьбу с изношенностью» человеческого организма, совершенно правильно сказал:

«Нужно работать так, чтобы принести больше пользы, больше сделать для социалистического строительства. А для этого нужно прежде всего организовать свой труд. Уменье правильно, то есть с максимальной пользой, работать,— это один из основных признаков культурности, особенно в нашей трудовой стране. Достижения по правильной организации труда должны считаться основными достижениями на пути культурной революции».

Это — неоспоримо. И это должно понять особенно старое поколение квалифицированных рабочих, которые являются для молодежи учителями труда.

Повторяю: дворцы труда и культуры — великолепны, и я не объявляю «войну дворцам» этого типа, эти дворцы — крепости рабочих. Но рабочий класс — сила, которая должна беречь себя, сила, на которую историей возложена обязанность построить «новый мир» и которая страшной ценою крови своей завоевала право свое создавать этот мир.

Количественно — эта сила еще не велика, а против нее — весь «старый мир» собственников. Чтоб устоять против натиска этой враждебной массы, рабочий должен быть и физически стоек, должен заботиться о том, чтоб прежде всего облегчить свой каторжный и героический труд на фабриках, заводах, в шахтах. Каждый сознательный рабочий-революционер обязан понимать, что чем длиннее срок его жизни, тем более это полезно для его класса, тем продуктивнее должна быть его работа строителя «нового мира» и воспитателя молодежи. Не надо забывать, что индивидуализм собственников проникает всюду, как дым, как угар, и что наша крестьянская страна дымит, к сожалению, всё более густо.

Я назвал труд рабочих героическим. Он — везде таков, но наиболее хорошо я видел это в Сормове, где теснота и примитивные условия труда не мешают работникам строить морские шхуны почти голыми руками, где нет для этой работы даже подъемного крана и огромные

тяжести рабочие «самосильно» передвигают с места на место под пение «Дубинушки». Дворцы культуры и «Дубинушка» — в этом, товарищи, есть что-то и смешное и грустное.

Именно это чувствовал я, когда ходил по железным палубам морских шхун, изумляясь терпению и талантливости рабочих людей Сормова. Ходил, похваливал и думал:

«А надолго ли вас хватит при такой работе, товарищи?»

И тут же рядом, в двух десятках верст, бумажная фабрика Балахны, о которой хочется говорить торжественными стихами как об одном из прекрасных созданий человеческого разума.

Там человек образцово показал, как разум, расчет и воображение могут заставить работать иные силы, оставляя человеческую свободной и только наблюдающей, руководящей машинами. Это как раз то, к чему и должен стремиться рабочий класс,— превращать слепые и буйные силы природы в своих разумных слуг, освобождать свою физическую энергию для того, чтоб шире и глубже развить свой разум властелина земли и сокровищ ее.

На бумажной фабрике Балахны бревна с берега Волги из воды сами идут под пилу, распиленные без помощи человека, ползут в барабан, где вода моет их, снимает кору, ползут дальше по жёлобу на высоту сотни футов, падают оттуда вниз, образуя пирамиды, из этих пирамид также сами отправляются в машину, она растирает их в кашу, каша течет на сукна другой машины, а из нее спускается огромными «рулонами» бумаги прямо на платформы товарного поезда.

Всё это так удивительно просто и мудро, что, повторяю, о таких фабриках следует писать стихами как о торжестве человеческого разума. Зал, где стоит огромная, кажется, в 70 метров длиною машина, выпускающая готовую бумагу, просторен, светел и похож на танцевальный зал, да и все отделы фабрики удивительны по обилию света, простору, чистоте, гигиеничности. Было ясно, что рабочие уже гордятся этим новым своим хозяйством и понимают его глубоко воспитательное зна-

чение. Я вышел с этой фабрики в настроении человека, заглянувшего в светлое будущее, которое готовит для себя рабочий класс.

Всюду на треугольнике Сормово — Растяпино — Балахна широко развивается строительство новых рабочих поселков. А вместе с этим строятся индивидуальные гнезда, красивенькие домики в три-четыре окна по фасаду, с наличниками резной работы, с точеными колонками и со всякой иной «красивостью», соблазнявшей еще дедов и прадедов. Болотистая почва «старого мира» дает себя знать. Люди всё еще не верят, что частная собственность — источник всех несчастий жизни, всех ее уродств, преступлений и всего, что веками угнетало и сейчас угнетает человека.

А я не верю, что эта зараза надолго, не верю, что рабочий класс позволит снова надеть ярмо на шею себе. Слушал я на дворе одного из заводов речь молодого товарища-рабочего,— кажется, Зиновьева,— слушал и думал:

«Этот — не соблазнится, не станет строить для себя индивидуальное гнездо! Этот — действительно строитель „нового мира“».

А таких, как он, я видел и слышал сотни, знаю, что их — десятки тысяч.

Сердечно приветствую товарищей строителей нового мира!

## II

Начну с Курска, гнездилища рыцарей, прозванных в начале XX века «зубрами». Предок одного из этих зубров, черносотенца Государственной думы Маркова-Валяй, Евгений Марков, усердно прославлял курское рыцарство в своих романах «Курские порубежники», «Черноземные поля» и в автобиографической, неплохо написанной повести «Барчуки». Еще более усердно защищал Евгений Марков феодальные права дворянства статьями в знаменитой газете «Новое время». Вообще этот куряпин исполнял в русской истории роль капитолийского гуся, тревожно гоготал, предупреждая самодержавие царя о натиске сил, враждебных ему и дворянству.

В 91 году я видел, как на одной из улиц Курска солидный господин в поддевке из чесунчи и в белой фуражке хлестал по щекам толстую даму в зеленом платье; дама стояла, прижавшись спиною к решетке сада, и, хватаясь руками в перчатках за решетку, молча покачивалась под ударами. Господин в чесунче бил ее тоже молча и даже как будто неохотно. Одною ногой он попирал шляпку дамы,— посок сапога его был засунут в шляпку, как в галошу. Я спросил полицейского, который, усомнясь в подлинности моего паспорта, вел меня в участок:

— Это что же такое?

— Не твое дело, — ответил полицейский, но через несколько шагов объяснил:

— Он — мировой судья.

И завистливо вздохнул.

Из окон, сквозь цветы, осторожно выглядывали обыватели. На крыльце приземистого особняка стояла, облизывая губы, крупная девица с рыжеватой косою. Был тихий, «поэтический» вечер; вдали, за вокзалом, опускалось очень красное солнце, как будто садясь на платформу товарного поезда.

В 905 году, ночью, по улице Курска шла, взявшись за руки, толпа пьяных, человек полсотни, в средине ее — два офицера в белых кителях. Часть толпы нестройно кричала что-то веселенькое, другая пыталась петь «Боже царя храни». Сзади толпы двое вели под руки человека в халате и ночных туфлях; он горько и громко выл, рыдал. Слуга гостиницы задумчиво сказал:

— Добровольцев провожают на войну. Вчерась у аптекаря стекла выбили... — Помолчав, он прибавил:

— У нас даже приезжие скандалят. От скуки всё, я думаю.

В те годы Курск был чистенький, уютный городок; он вмещал тысяч 50 обывателей, и все они были такие сытые, ленивенькие, как будто все — дворяне. Город переполнял душный, жирноватый запах, в лавках поражало обилие колбас, ветчины, а на улицах — отсутствие детей. Может быть, поэтому город казался особенно тихим и скучным.

Теперь Курск вызывает впечатление захудалого города. Мостовые избиты, разрушены дождями, приземистые домики ощипаны, обглоданы временем, на всех домах отпечаток унылого сиротства, приговоренности к разрушению. Слепенькие окна, покосившиеся вереи ворот и заборы — всё старенькое, жалкое. Особенно бросается в глаза дряхлость деревянных построек. На дворах густые заросли бурьяна — крапива, лопух, конский щавель. Земля, из которой создана вся эта рухлядь, сухая, потрескалась, в сердитых морщинах и кажется обеспложенной навсегда. Невольно вспоминаешь, что «город Курск основан вятичами в IX веке». Гражданская война не очень потревожила его.

— И те и наши постреляли около без особого вреда,— сказала мне одна из обывательниц. Вероятно, «наши» для нее — победители, кто б они ни были, а цели и верования их ей не интересны.

Над всей этой дряхлостью и над всеми колокольнями двух десятков церквей возвышается до высоты 60 аршин железная ажурная башня. Это А. Г. Уфимцев, внук известного астронома-самоучки Ф. А. Семенова, строит ветродвигатель и «уравнитель» для него. Уфимцев еще молодой человек, но он — старый изобретатель: уже семнадцати лет, в 98 году, он придумал бомбу собственной конструкции и попробовал взорвать «чудотворную» икону Курской богоматери. Бомба взорвалась, но икона уцелела, — монахи были осведомлены о покушении. Изобретателя посадили в тюрьму, а затем сослали в Семипалатинскую область, где он продолжал работать над различными изобретениями. Леонид Андреев сделал из него героя своей пьесы «Савва».

Теперь Уфимцев вертится вокруг свой железной башни и торопливо говорит:

— Главная задача — технически обслужить деревню.

Его слова тотчас же будят эхо:

— Без этого до социализма не дойдем. Завет Ильича...

О заветах Ильича напоминает товарищ из губкома, человек с лицом, которое в царских паспортах определялось как «лицо обыкновенное». В этих паспортах отме-

чался цвет глаз, но никогда не писали о глазах — «умные».

Всё вокруг обыкновенно и знакомо с детства: посреди двух изжитых, покривившихся во все стороны деревянных особнячков тесный двор, стиснутый полуразрушенными сараями, заросший бурьяном, засоренный битым кирпичом и всяким хламом. Лет 50 тому назад на таких двориках удивительно удобно было детям играть «в прятки». А в маленьких домиках взрослые уютно прятались от жизни. Но теперь в щелявом сарае куют, сгибают, сваривают железо, а из мусора и бурьяна высоко в небо вонзился железный каркас ветряка, который должен дать деревне энергию для освещения, для мельниц, маслобоек, крупорушек.

— Если всесторонне обслужить деревню техникой,— повторяет Уфимцев.

В старом, одряхлевшем городе молодые поэты воспевают:

Современности четкий шаг.

Один из них поет:

Зашумели в роще травы,
Лист осин:
Электрической отравы
Не вноси!
Пусть шумят сердито ели,
Но у пней
Чтоб динамо зашумели...

Молодая поэтесса пишет:

В шумной стройке наша страна,
Романтичен в ней каждый кирпич,
В ней реальность мечту кропит,
В такт шагают подошвы дней
По пути к мировой весне...

В советской и, по ее данным, в эмигрантской прессе о беспризорных печаталось много ужасного. Кое-что о жизни уличных детей я знаю от времен моего детства. В 91—92 годах видел сотни ребятишек, спасавшихся от

голода в сытых краях: на Дону, на Украине и Кубани. Думаю, что много детей еще в те годы на всю жизнь заразились ненавистью к сытым людям. Вообще — я довольно хорошо знаю прошлое, о чем, полемизируя со мною, забывают мои корреспонденты, не знающие прошлого и обиженные настоящим. О «колониях малолетних преступников» старого, царского времени у меня тяжелые воспоминания. В нижегородскую колонию заключены были мои товарищи: сын богатого подрядчика Иван Смирнов, талантливейший парень, он отлично резал из корней дерева фигурки людей, животных; Ивана затравила мачеха до того, что он ранил ее стамеской, и за это отец отдал его в «колонисты»; другим «колонистом» был сын прачки Борис Зубов, мальчик, который семи лет выучился у двенадцатилетнего гимназиста писать и читать, за что платил учителю яблоками, пряниками и голубями, воруя всё это. За воровство его били сторожа садов, пекаря, била мать. Он был костлявый, хилый и говорил глухим голосом человека, у которого в груди пустота. Одиннадцати лет он прочитал почти все «классические» книжки Жюль Верна, Купера, Майн-Рида. Когда я сам прочитал эти книги, я убедился, что Борис, рассказывая о них товарищам, многое добавлял от себя и что в его изложении книги были как будто интересней. Тринадцати лет Зубов начал «сочинять песни», но вскоре его засадили в колонию и там он умер,— «колонисты» говорили, что Зубова убил кулаком сапожник, обучавший мальчиков ремеслу. Смирнову я помогал бежать из «колонии», что, наверное, помнит мой советчик в этом деле И. А. Картиковский, ныне профессор казанского университета. Побег удался, но через несколько дней Смирнова поймали и снова посадили в «колонию», предварительно избив его, сорвали кожу с головы, надорвали ухо. Вскоре он поджег столярную мастерскую, снова бежал и — «пропал без вести». Засадили в колонию скромного мальчика Яхонтова, кажется, только за то, что он был слабосилен и не способен к работе, а отец его, церковный певчий, был осужден за кражу со взломом. Если не ошибаюсь, Яхонтова учил грамоте К. Д. Покровский, тогда — гимпазист, а теперь — из-

вестный астроном, автор популярной книги «Путеводитель по небу». Много талантливых детей погибло на моих глазах, и мне кажется, что я не забуду о них, даже если проживу еще 60 лет. Горестная судьба этих детей — одно из самых мрачных пятен в памяти моей о прошлом. У меня сложилось такое впечатление: всё это были исключительно талантливые дети, и причиной гибели их послужила именно талантливость.

Естественно, что меня крайне волновал вопрос: что могла сделать советская власть для тысяч «беспризорных», потерявших родителей, беженцев из западных губерний, сирот гражданской войны и голода 21—22 годов, бездомных детей, которых анархизировала бродяжья жизнь, развратили соблазны города? Впервые я увидал «беспризорных» в московском «диспансере», куда их приводила милиция, вылавливая на улицах. Они являлись в невероятных лохмотьях, с рожицами в масках грязи и копоти; угрюмые, сердитые, они казались больными, замученными, растоптанными безжалостной жизнью города. Тем более странно было увидать их через час, два, когда они, вымытые, одетые в чистое, крепкие, точно вылитые из бронзы, ходили независимо по мастерским диспансера, с любопытством, но не очень доверчиво присматриваясь к работе своих товарищей, уже довольно искусных столяров, слесарей, кузнецов, сапожников. Почти все ребята кажутся внешне здоровыми, все такие плотно сбитые, мускулистые.

— Это так и есть,— сказала заведующая диспансером, пожилая женщина, видимо, бывшая учительница гимназии.— Больных — мало, большинство болезней — накожные: сухая экзема, чесотка, нарывы; затем — желудочные. Туберкулез, золотуха, рахит встречаются очень редко, венерические и сифилис — исключительно редко. Это объясняется тем, что слабосильные дети легко прикрепляются в детских домах, а главное тем, что городские «беспризорники» уже подобраны с улиц в трудколонии и теперь беспризорных очень много дает деревня, уездные города. Идет такой процесс: мальчик из бедной семьи, а нередко и из богатой, бежит в город, соблазненный письмом товарища, например — пастушонка, который убежал раньше его, пристроился здесь,

работает в мастерской, понял значение трудовой квалификации, учится грамоте, по праздникам участвует в образовательных экскурсиях, посещает зоосад, кино. Увлеченный всем этим, он расписывает свою жизнь товарищам в деревне хвастливо, преувеличенно яркими красками. Его письма подтверждаются картинками журналов, которые дети видят в «избе-читальне», рассказами красноармейцев, рабочих-отпускников. Соблазн растет, и деревенский мальчуган в Москве, на улице, где ему приходится пережить немало тяжелых дней, прежде чем милиционер приведет его к нам. Нередко на вопрос: «Почему ушел из деревни?» — получаешь ответ: «Там — скучно». Это стало настолько частым явлением, что нам приходится возвращать детей в деревни.

Заведующая показалась мне человеком не из тех, которые «поглощаются» делом, «с головой уходят в него», а из людей, которые организуют дело и, управляя им, развивая его,— не теряют голову. А потерять голову весьма легко в неугомонном кипении сотен детей, которые уже научились «свободно мыслить» и так же свободно действовать. Ежедневно улица дает добрый десяток маленьких анархистов, и, разумеется, они действуют возбуждающе на тех, кто уже подчинился или готов подчиниться трудовой дисциплине. Чтоб держать эту армию буянов в порядке, необходимо очень много спокойствия, такта, а главное — любви к детям. Это — есть. Это чувствуется в отношении детей к заведующей, которая хорошо знает, за какую руку надо взять ребенка для того, чтоб он быстро пошел по пути к самодисциплине.

Среди массы бойких человечков — поэт, страдающий «предельной близорукостью» в прямом, физическом смысле понятия, а не иносказательно, как страдают многие поэты, для которых действительность затуманена словами из плохо прочитанных книг. Поэту уже лет 17, он, помнится, подпасок, и стихи у него — на мой взгляд — интересные, очень бодрые. Указали мне мальчугана лет пятнадцати, с лицом очень резким, вихрастого, остроносого, с широко открытыми глазами. Он на вопрос: «Почему ушел из деревни?» — ответил: «У меня отец — кулак». Скучающих детей я не видел. Все заняты работой,

только недавно поступившие играют и бегают на дворе, возятся около гимнастических аппаратов и наблюдают за работой группы мальчиков, которые, готовясь к спектаклю, усердно красят декорации.

Диспансер помещен в здании военного госпиталя, в двух этажах огромного старого корпуса с маленькими окнами, длинными коридорами, в коридорах сумрачно и сыро, деревянный истоптанный пол только что вымыт. В спальнях детей и в комнатах для учебных занятий — бедновато, но чисто и уютно, дети украсили серые стены плакатами и картинками своей работы, в одной из бывших «палат» госпиталя устроен «уголок живой природы». Тут дети держат птиц, белых мышей, кроликов, морских свинок, ужей, ящериц. Столярная мастерская производит мебель, особенно хорошо делают обеденные раздвижные столы, продавая их по 25 рублей штуку. Слесарня и кузнечная вырабатывают отличные кровати — тоже на продажу. В общем диспансер вызвал у меня впечатление очень умной и серьезной организации.

Разумеется, мне известно, что есть много людей, которым — по соображениям их «высокой политики» — хотелось бы, чтоб я видел это учреждение грязным и мрачным, а детей — больными, унылыми или хулиганами. Нет, я не могу доставить «механическим гражданам» сладострастного удовольствия еще раз пошипеть на рабоче-крестьянскую власть Союза Советов.

Через несколько дней после этого я видел 1300 «беспризорных» в Николо-Угрешском монастыре. Это — те самые ребята, которые осенью 1927 года устроили серьезный скандал в Звенигороде; эмигрантская пресса злорадно раздула скандал этот до размеров кровавой «битвы мальчиков с войсками». Надо сказать, что «основания для преувеличения» были,— они находятся везде, если их хотят найти. В данном случае основание — удивительная талантливость и смелость беспризорников. Эти маленькие люди не знакомы с книгами Буссенара, Майн-Рида, Купера, но многим мальчикам довелось пережить столько удивительных и опасных приключений, что, наверное, из их среды со временем мы получим своих Майн-Ридов и Эмаров. «Республика Шкид» Пантелеева и Белых укрепляет эту надежду.

1300 смелых ребят, собранных в тихом Звенигороде и не занятых трудом, решили объявить войну скуке мещанского городка. Они достали где-то изрядное количество пороха, наделали ружей из водопроводных труб, и однажды ночью в городе загремели выстрелы. Крови не было пролито, но некоторые юные воины пострадали от ожогов, а обыватели — от страха; пострадали, конечно, и стекла окон.

Всю эту армию «повстанцев» я и видел «в плену», в стенах Николо-Угрешского монастыря. Часть мальчиков занята производством обуви для себя, другая — делала койки, иные работали в кухне и хлебопекарне, большинство деятельно помогало плотникам и каменщикам, которые перестраивали корпуса монастырских гостиниц под слесарную и деревообделочную мастерские. Подавали материал, убирали мусор, устраивали клумбы для цветов, в монастырском парке рыли канавы, стараясь найти скважину, через которую уходили воды пруда. Вокруг церквей монастыря — волны веселого шума. С полсотни мальчуганов работают в «скульптурной» мастерской, их обучает молодой художник, приглашенный из ДОПР'а, где он сидел, кажется, за растрату. Преподавательская работа его, конечно, оплачивается, и ему сокращен на треть срок заключения. Мальчики делают пепельницы, лепят различные фигурки, портреты Льва Толстого, всё это ярко раскрашивается и уже находит сбыт в кооперативной лавке колонии. Какой-то безыменный парень лет шестнадцати, лицом удивительно похожий на Федора Шаляпина в молодости, устроил в парке около монастырской стены «биосад», как называет он огромную клетку из проволоки,— в клетке сидят птенцы сороки, слепые совята, еж и большая жаба, которой он дал имя Банкир. Парень — мечтатель, фантаст, говорун и, очевидно, из тех людей, которые могут всё делать, но ничего не доводят до конца. В нем чувствуется обилие зародышей различных талантов, каждый из них тянет его в свою сторону, и все мешают друг другу.

— Начнешь учиться — другое в голову стучится,— говорит он в рифму, как «раешник», и на белобрысом лице его искреннее, веселое недоумение.

Мальчик-брюнет, с тонкими чертами лица, с матовой кожей на щеках, черноглазый, стройный, и, должно быть, знакомый с другой жизнью, моментально написал и подарил мне очень хорошие стихи. Потом оказалось, что это стихи не его и уже были напечатаны.

Всюду мелькает «Ленька», одиннадцатилетний кокет, но уже года четыре «беспризорный». Он только что возвратился из маленького путешествия под вагонами в Ташкент и обратно. Маленький, плотный, круглоголовый, он похож на двухпудовую гирю. На детском лице с пухлыми губами блестят хорошие, умные глаза. Вот он идет — вразвалочку, руки в карманах — по дорожке парка, как франт по бульвару, идет ко крыльцу кельи заведующего колонией, на крыльце сидит сам заведующий, я, мои спутники: сын и секретарь, тут же и организатор колонии товарищ Погребинский.

— Финтит,— подмигнув на Леньку, говорит он.

Ленька идет, распевая: «Как родная меня мать провожала», и будто бы настолько увлечен пением, что в десятке шагов не видит людей на крыльце.

— Ты куда, Ленька?

Мальчик на секунду остановился, затем шагнул вперед и независимо протянул Погребинскому грязную лапу.

— Ах, это ты приехал? Здравствуй!

Ленька ловко и как-то привычно умещается в коленях Погребинского.

— Да, это я приехал! А вот — Горький. Слышал о нем?

— Слыхал,— говорит Ленька, не обращая ни малейшего внимания на Горького.

В каждом движении, жесте, слове, в мимике круглого лица, пропыленного пылью всей России, чувствуется артист, уже знающий себе цену и увлеченный своею игрой с людями, с жизнью.

— Что же,— скоро снова убежишь? — спрашивает Погребинский.

— Теперь — нет, честное слово! — солидно говорит Ленька и вздыхает: — Куда? Везде был.

— А в Сибири?

— Это — верно. В Сибири — не был.

— Во Владивостоке?
— Это — где?
— Не знаешь?
Прищурив глаз, Ленька подумал.
— Знаю же,— около китайцев!
— Споешь, что ли?
— Можно.

Мальчик становится в позу артиста: грудь — колесом, левая нога выдвинута вперед, голова высоко вскинута. У него красивый, очень сильный альт, и поет он умело, увлеченно, зная, что — хорошо поет. Но он форсирует голос и, наверное, скоро сорвет его.

— Ничего с ним не сделаешь,— озабоченно бормочет Погребинский.— Уйдет, чертенок. Никак не найду — чем его удержать? Боюсь — зря пропадет.

И с гордостью, точно о сыне, он спрашивает:

— А — талантливый? Верно?

Я искоса смотрю в погрустневшие глаза маленького, подвижного человека в форме военного и завидую его умению говорить с детьми, его неутомимости, его таланту организатора. Он уже устроил ряд трудовых колоний и собрал в них, кажется, более десяти тысяч детей. Он занят организацией деревообделочных и трикотажных фабрик в Дивеевском, Понетаевском монастырях Нижегородской губернии и в Саровской пустыни. Человек этот самозабвенно служит детям и в нем самом есть что-то детское,— может быть, детская смелость, которая не останавливается пред попытками воплощения мечты в действительность. Но Погребинский, а также заведующий Бакинской трудовой колонией,— я забыл его фамилию,— и А. С. Макаренко, организатор колонии под Харьковом, в Куряже,— все эти «ликвидаторы беспризорности» не мечтатели, не фантазеры, это, должно быть, новый тип педагогов, это люди, сгорающие в огне действенной любви к детям, а прежде всего — это люди, которые, мне кажется, хорошо сознают и чувствуют свою ответственность пред лицом детей. Бесчисленные трагедии нашего века, возникнув на вулканической почве непримиримых классовых противоречий, достаточно убедительно рассказывают детям историю кровавых ошибок отцов. Это должно бы возбудить у от-

цов чувство ответственности пред детями; должно бы,— пора!

Новый тип педагога уже нашел свое отражение в литературе, такова монументальная фигура Викниксора в «Республике Шкид», намеки на этот тип есть в книге Огнева «Дневник Кости Рябцева» и даже в страшноватом рассказе талантливой Л. Копыловой «Химеры».

Старая наша литература от Помяловского до Чехова дала огромную галерею портретов педагогов-садистов и равнодушных чиновников, людей «в футляре», она показала нам ужасающую фигуру Передонова, классический тип раба — «мелкого беса». В старой художественной и мемуарной литературе так же редко и эпизодически, как в действительности, мелькает учитель, который любил своих учеников и понимал, что дети сего дня — завтра будут строителями жизни, завтра начнут проверять работу отцов и безжалостно обнаруживать все их ошибки, их двоедушие, трусость, жадность, лень.

Мне посчастливилось видеть в Союзе Советов учителей и учительниц, которые, работая в услових крайне трудных, жестоко трудных, работают со страстью и пафосом художников.

Я был в Куряжском монастыре летом 91 года, беседовал там со знаменитым в ту пору Иоанном Кронштадтским. Но о том, что я когда-то был в этом монастыре, я вспомнил лишь на третьи сутки жизни в нем, среди четырех сотен его хозяев, бывших «беспризорных» и «социально опасных», заочных приятелей моих. В памяти моей монастырь этот жил под именами Рыжовского, Песочинского. В 91 году он был богат и славен, «чудотворная» икона богоматери привлекала множество богомольцев; монастырь был окружен рощей, часть которой разделали под парк; за крепкими стенами возвышались две церкви и много различных построек, под обрывом холма, за летним храмом, стояла часовня, и в ней, над источником, помещалась икона — магнит монастыря. В годы гражданской войны крестьяне вырубили парк и рощу, источник иссяк, часовню разграбили, стены монастыря разобраны, от них осталась только тя-

желая, неуклюжая колокольня с воротами под нею; с летней церкви сняли главы, она превратилась в двухэтажное здание, где помещены клуб, зал для собраний, столовая на 200 человек и спальня девиц-колонисток. В старенькой зимней церкви еще служат по праздникам, в ней молятся десятка два-три стариков и старух из ближайших деревень и хуторов. Эта церковь очень мешает колонистам, они смотрят на нее и вздыхают:

— Эх, отдали бы ее нам, мы бы ее утилизировали под столовую, а то приходится завтракать, обедать и ужинать в две очереди, по 200 человек, массу времени зря теряем.

Они пробовали завоевать ее: ночью, под праздник, сняли с колокольни все мелкие колокола и расположили их на амвоне в церкви, устраивали и еще много различных чудес, но всё это строго запретило им начальство из города.

С ребятами этой колонии я переписывался четыре года, следя, как постепенно изменяется их орфография, грамматика, растет их социальная грамотность, расширяется познание действительности,— как из маленьких анархистов, бродяг, воришек, из юных проституток вырастают хорошие, рабочие люди.

Колония существует семь лет, четыре года она была в Полтавской губернии. За семь лет из нее вышло несколько десятков человек на рабфаки, в агрономические и военные школы, а также в другие колонии, но уже «воспитателями» малышей. Убыль немедленно пополняется мальчиками, которых присылает угрозыск, приводит милиция с улиц, немало бродяжек является добровольно; общее число колонистов никогда не спускается ниже четырех сотен. В октябре прошлого года один из колонистов, Н. Денисенко, писал мне от лица всех «командиров»:

«Если бы Вы знали, как у нас всё переменилось после Вашего отъезда. Много старых наших колонистов вышли на самостоятельную жизнь: на производство, на рабфаки и ФЗУ. Совсем мало осталось старых ребят, всё новенькие. Жизнь с новенькими, конечно, труднее наладить, чем с теми, которые уже привыкли к трудовой, общественной жизни. Дисциплина в колонии по

уходе старших ребят стала упадать. Но мы, оставшаяся часть старших, не должны этого допустить и не допустим. Сейчас в нашей колонии вся школа перестроена, наново организована школа-семилетка, а для переростков школа учебных мастерских. Тяга к учебе ⟨не⟩ слишком велика, но всё же из четырехсот ни один не проходит мимо школьных дверей».

Сейчас в колонии 62 комсомольца, некоторые из них учатся в Харькове, один уже на втором курсе медицинского факультета. Но все они живут в колонии,— от нее до города восемь верст. И все принимают активное участие в текущих работах товарищей.

400 человек разделены на 24 отряда: столяров, слесарей, рабочих в поле и на огородах, пастухов, свинарей, трактористов, санитаров, сторожей, сапожников и так далее. Хозяйство колонии: 43, если не ошибаюсь, гектара пахотной и огородной земли, 27 — леса, коровы, лошади, 70 штук породистых свиней, их весьма охотно покупают крестьяне. Есть сельскохозяйственные машины, два трактора, своя осветительная станция. Столяры работают заказ на взрыв-завод — 12 000 ящиков.

Всё хозяйство колонии и весь распорядок ее жизни фактически в руках 24 выборных начальников рабочих отрядов. В их руках ключи от всех складов, они сами намечают план работ, руководят работой и обязательно принимают в ней личное активное участие наравне со всем отрядом. Совет командиров решает вопросы: принять или не принимать добровольно приходящих, судит товарищей, небрежно исполнивших работу, нарушителей дисциплины и «традиции». Признанному виновным заведующий колонией А. С. Макаренко объявляет перед фронтом колонистов постановление совета командиров: выговор или назначение на работу не в очередь. Более серьезные и повторные проступки: лень, упорное уклонение от тяжелой работы, оскорбление товарища и вообще всякие нарушения интересов коллектива — наказываются исключением виновного из колонии. Но эти случаи крайне редки, каждый из совета командиров хорошо помнит свою жизнь на воле, помнит это и провинившийся, которому грозит жизнь в детдоме, учреждении, единодушно не любимом «беспризорными».

Одна из традиций колонии — «не заводить романов со своими девчатами». Она строго соблюдается, за всё время существования колонии была нарушена один раз, и это кончилось драмой — убийством ребенка. Юная мать спрятала новорожденного под кроватью, и он задохся там, а она получила по суду «четыре года изоляции», но была отдана на поруки колонии и впоследствии, кажется, вышла замуж за отца ребенка. Другая традиция: когда приводят мальчика или девочку из угрозыска, строго запрещается расспрашивать его: кто он, как жил, за что попал в руки уголовного розыска? Если «новенький» сам начинает рассказывать о себе — его не слушают, если он хвастается своими подвигами — ему не верят, его высмеивают. Это всегда отлично действует на мальчика. Ему говорят:

— Ты видишь: здесь — не тюрьма, хозяева здесь — это мы, такие же, как ты. Живи, учись, работай с нами, не понравится — уйдешь.

Он быстро убеждается, что всё это — правда, и легко врастает в коллектив. За семь лет бытия колонии было, кажется, не более десяти «уходов» из нее.

Один из «начальников», Д., попал в колонию тринадцати лет, теперь ему 17. С пятнадцати он командует отрядом в полсотни человек, большинство старше его возрастом. Мне рассказывали, что он — хороший товарищ, очень строгий и справедливый командир. В автобиографии своей он пишет:

«Бувши комсомольцем, захопився анархизмом, за що и був виключений». «Люблю життя, а йому наибильше музыку и книгу». «Люблю страшенно музыку».

По его инициативе колонисты сделали мне прекрасный подарок: 284 человека написали и подарили мне свои автобиографии. Он, Д.,— поэт, пишет лирические стихи на украинском языке. Стихотворцев-колонистов — несколько человек. Издается отлично иллюстрированный журнал «Проминь», редактируют его трое, иллюстратор Ч., тоже «командир», человек безусловно талантливый и серьезный, к таланту своему относится недоверчиво, осторожно.

Он — беженец из Польши и свое беспризорное существование начал восьми лет. Был в Ярославле в

детколонии, но оттуда бежал и занялся работой по карманам в трамваях. Затем попал к технику-дантисту и у него «пристрастился к чтению и рисованию». Но «улица потянула», убежал от дантиста, захватив «несколько царских золотых монет». Растратил их на книги, бумагу, краски. Плавал по Белому морю помощником кочегара, но «по слабости зрения вынужден был сойти на берег». Работал «инструктором по сбору натурального налога» на Печоре, среди ижемских зырян, изучил язык зырян, жил у самоедов; перевалил на собаках через Уральский хребет в Обдорск, попал в Архангельск; воровал там, жил в ночлежке; затем стал писать вывески и декорации. Работал в изо, попутно приготовился за семилетку, подделал документы и поступил в вятский художественно-промышленный техникум. «Экзамен сдал одним из первых, а по живописи и рисованию был признан талантливым, но — не поверил в это». Выбрали в студенческий комитет, вел культработу. Зимою, в каникулы, был арестован, «засыпался с документами, до весны просидел в исправдоме». Но и там не переставал работать над книгою, и там вел культработу. Потом был репортером «Северной правды».

Всё это рассказывается без хвастовства и, конечно, без тени желания вызвать сочувствие. Нет, рассказывается просто, так: шел болотом, потом лесом, заплутался, вышел на проселочную дорогу, песок, идти тяжело.

Пересказывать всю биографию Ч.— долго. Она, пока, закончилась тем, что вот он добровольно пришел в колонию на Куряже, живет там, деятельно работает, учится, учит маленьких. «По-прежнему — хочу быть человеком, люблю книгу и карандаш»,— говорит он. Это — красивый, стройный юноша в очках, лицо — гордое, говорит он кратко, сдержанно. Удивительно внимателен он с маленькими, удивительно мягок с товарищами, равными ему по возрасту. Может быть, это потому, что в жизни его был такой случай: в Архангельске он познакомился с одним парнем, тоже художником, к тому же боготворившим литературу. Звали его Васькой. Но долго прожить с ним не пришлось, он повесился, наколов на груди своей бумажку: «Должен хозяйке восемь копеек, если будут — отдай».

Ч., несомненно, очень богато одаренный юноша, и теперь он уже не пропадет, я думаю. Биография его — не исключительна, таких большинство среди прочитанных мною и рассказанных мне.

Откуда «беспризорные»? Это — дети «беженцев» из западных губерний, разбросанные по России вихрем войны, сироты людей, погибших в годы гражданской распри, эпидемий, голода. Дети с дурной наследственностью и неустойчивые пред соблазнами улицы, очевидно, уже погибли, остались только вполне способные к самозащите, к борьбе за жизнь, крепкие ребята. Они охотно идут на всякую работу, легко подчиняются трудовой дисциплине, если она тактична и не оскорбляет их сознания собственного достоинства; они хотят учиться и хорошо учатся. Им понятно значение коллективного труда, попятна его выгодность. Я бы сказал, что жизнь, хотя и суровая, но превосходная воспитательница сильных, воспитала этих детей коллективистами «по духу». Но в то же время почти каждый из них — индивидуальность, уже очерченная более или менее резко, каждый из них — человек «со своим лицом». Колонисты Куряжской трудовой колонии вызывают странное впечатление «благовоспитанных». Это особенно наблюдается в их отношении к «маленьким», к новичкам, которые только что пришли или которых привели. Маленькие сразу попадают в ошеломляющие условия умной заботливости со стороны страшноватых — на улице — подростков. Ведь вот такие подростки колотили их, эксплуатировали, учили воровать, пить водку, учили и еще многому. Один из «маленьких», пастушонок, отлично играет в оркестре колонии на флейте,— выучился играть в пять месяцев. Очень забавно видеть, как он отбивает такт голой, чугунного цвета, лапой. Он сказал мне:

— Когда я сюда пришел, так испугался: ой-ёй, думаю, сколько их тут! Уж как начнут бить — не вырвешься! А ни один и пальцем не тронул.

Удивительно легко и просто чувствовал я себя среди них, а я — человек, не умеющий говорить с детьми, всегда боюсь, как бы не сказать им что-то лишнее, и эта

боязнь делает меня косноязычным. Но дети Куряжской колонии не будили у меня эту боязнь. Впрочем, и говорить с ними не было нужды, они сами хорошие рассказчики, и каждому из них есть что рассказать.

Отлично выработанное между ними чувство товарищества распространяется, конечно, и на «дивчат»,— их в колонии свыше полусотни. Одна из них, лет шестнадцати, рыжеватая, веселая, с умными глазами, рассказывая мне о прочитанных ею книжках, вдруг сказала задумчиво:

— Вот я говорю с вами, а два года была проституткой.

Потрясающие слова эти были сказаны так, как будто девушка вспомнила дурной сон. Да и я, в первую минуту, принял ее слова так, как будто они только неожиданное «вводное предложение», ненужно вставленное в живые строки рассказа.

Так же, как юноши, девицы здоровы, так же «благовоспитанно» держатся, работают во всю силу и с тем жаром, который даже тяжелую работу делает веселой игрой. Они — «хозяйки» колонии, тоже разделены на отряды, тоже имеют своих «командирш». Они моют, шьют, чинят, работают в поле, на огороде. В столовой, спальнях колонии чисто и, хотя не «богато», серо, но — уютно. Руки девушек украсили углы и стены ветками зелени, букетами полевых цветов, пучками сухих пахучих трав. Всюду чувствуется любовный труд и стремление украсить жизнь четырех сотен маленьких людей.

Кто мог столь неузнаваемо изменить, перевоспитать сотни детей, так жестоко и оскорбительно помятых жизнью? Организатором и заведующим колонией является А. С. Макаренко. Это бесспорно талантливый педагог. Колонисты действительно любят его и говорят о нем тоном такой гордости, как будто они сами создали его. Он — суровый по внешности, малословный человек лет за сорок, с большим носом, с умными и зоркими глазами, он похож на военного и на сельского учителя из «идейных». Говорит хрипло, сорванным или простуженным голосом, двигается медленно и всюду поспевает, всё видит, знает каждого колониста, характеризует его пятью словами и так, как будто делает моментальный

фотографический снимок с его характера. У него, видимо, развита потребность мимоходом, незаметно, приласкать малыша, сказать каждому из них ласковое слово, улыбнуться, погладить по стриженой голове.

На собраниях командиров, когда они деловито обсуждают ход работы в колонии, вопросы питания, указывают друг другу на промахи в работе отрядов, на различные небрежности, ошибки,— Антон Макаренко сидит в стороне и лишь изредка вставляет в беседу два-три слова. Почти всегда это слова упрека, но он произносит их как старший товарищ. Его слушают внимательно и не стесняются спорить с ним — как с двадцать пятым товарищем, который признан двадцатью четырьмя умней, опытней, чем все они.

Он ввел в обиход колонии кое-что от военной школы, и это — причина его разногласия с украинским наробразом. В шесть часов утра на дворе колонии труба поет сигнал: «Вставать!» В семь часов после завтрака новый сигнал, и колонисты строят каре посредине двора, в центре каре — знамя колонии, по бокам знаменосца — два товарища-колониста с винтовками. Перед фронтом Макаренко в краткой форме говорит ребятам о деловых задачах дня и,— если есть провинившиеся в чем-либо,— объявляются выговоры, установленные советом командиров. Затем командиры разводят отряды свои по работам. Весь этот «церемониал» нравится детям.

Но еще более церемонно и даже торжественно колония сдавала пять вагонов ящиков представителю завода-заказчика. Гремел оркестр колонии, говорились речи о великом значении труда, создающего культуру, о том, что только свободный, коллективный труд приведет людей к жизни справедливой, только уничтожение частной собственности сделает людей друзьями и братьями, уничтожит всё горе жизни, все ее драмы. Невозможно было без глубочайшего волнения смотреть на ряды этих милых, серьезных рожиц, на четыре сотни пар разноцветных глаз, когда они с гордостью, с улыбками смотрели на подводы, тяжело груженные деревом, обработанным столярами-колонистами. Великолепно, дружно прозвучало гордое «ура» четырех сотен грудей. А. С. Макаренко умеет говорить детям о труде с тою

спокойной, скрытой силою, которая и понятней и красноречивее всех красивых слов. А о нем, на мой взгляд, прекрасно рассказывает вот эта выдержка из написанного им маленького предисловия к биографиям воспитанных им колонистов:

«Когда я печатал сотую биографию, я понял, что я читаю самую потрясающую книгу, которую мне приходилось когда-либо читать. Это концентрированное детское горе, рассказанное такими простыми, такими безжалостными словами. В каждой строчке я чувствую, что эти рассказы не претендуют на то, чтобы вызвать у кого-нибудь жалость, не претендуют ни на какой эффект, это простой, искренний рассказ маленького, брошенного в одиночестве человека, который уже привык не рассчитывать ни на какое сожаление, который привык только к враждебным стихиям и привык не смущаться в этом положении. В этом, конечно, страшная трагедия нашего времени, но эта трагедия заметна только для нас, для горьковцев здесь нет трагедии — для них это привычное отношение между ними и миром.

Для меня в этой трагедии, пожалуй, больше содержания, чем для кого-либо другого. Я в течение восьми лет должен был видеть не только безобразное горе выброшенных в канаву детей, но и безобразные духовные изломы у этих детей. Ограничиться сочувствием и жалостью к ним я не имел права. Я понял давно, что для их спасения я обязан быть с ними непреклонно требовательным, суровым и твердым. Я должен быть по отношению к их горю таким же философом, как они сами по отношению к себе.

В этом моя трагедия, и я ее особенно почувствовал, читая эти записки. И это должно быть трагедией всех нас, от нее мы уклониться не имеем права. А те, кто дает себе труд переживать только сладкую жалость и сахарное желание доставить этим детям приятное, те просто прикрывают свое ханжество этим обильным и поэтому дешевым для них детским горем».

Кроме колонии в Куряже, я видел под Харьковом еще колонию имени Ф. Э. Дзержинского. В ней только сотня или 120 детей, и, очевидно, она основана для того, чтобы показать, какой, в идеале, должна быть дет-

ская трудовая колония для «правонарушителей», для «социально-опасных». Она помещается в двух этажах специально построенного для нее дома в 19 окон по фасаду. Три мастерских — деревообделочная, обувная и слесарно-механическая — обставлены новейшими машинами, снабжены богатым набором инструментов. Отличная вентиляция, большие окна, много света. Дети — в удобной прозодежде, спальни — просторны, хорошее постельное белье, ванны, души, чистенькие светлые комнаты для учебных занятий, зал для собраний, богатая библиотека, обилие учебных пособий, всюду блеск, чистота,— всё это образцово, «напоказ», да и дети подобраны тоже «как будто напоказ»,— такие все здоровяки. В этой колонии можно многому научиться устроителям таких учреждений. При колонии — богато обставленный совхоз, летом дети работают в поле.

Затем — Бакинская колония на 500 человек, два корпуса за городом, среди выжженных солнцем холмов, на серой, сухой земле. Она недавно основана и находится в периоде организации, но дети уже мечтают о том, как они устроят зоосад. Напряженно и весело кипит муравьиная работа маленьких, обожженных солнцем людей. Колонией заведует человек, влюбленный в свое дело так же страстно, как А. С. Макаренко.

В общем я видел около 2500 «беспризорных», и это останется одним из глубочайших впечатлений на весь остаток моей жизни. Замечательно стойкие и своеобразные люди должны выработаться из этих детей, бодрых, здоровых, увлеченных серьезным трудом.

В каждой колонии я невольно вспоминал немецких детей «военного времени» в Герингсдорфе, летом 22 года. Их там было, кажется, свыше тысячи рахитиков, золотушных, туберкулезных, близоруких. В хорошую погоду они с утра до вечера играли на песке пляжа, купались в море. Собраны были дети возраста от шести до двенадцати лет, но — трудно было догадаться, кому из них восемь, кому двенадцать,— все они были измучены голодом, отравлены «эрзац»-пищей, награждены болезнями, и многие из них казались старенькими карликами. Среди этого племени невинно пострадавших за грехи отцов особенно трагическое впечатление вызывали

маленькие люди в темных очках или в «очках стариков» с очень сильными стеклами.

А в то время как на песке пляжа невесело играли сотни живых укоров негодяям, которые, удовлетворяя свою жажду власти, жажду денег, затеяли преступнейшую европейскую бойню, в то время как полуголодные дети устало шли есть свой горький хлеб,— в это время тут же, недалеко от них, один из детей Вильгельма Гогенцоллерна превесело играл мячиком на теннисе, а в купальнях толстые бабищи, наложницы шиберов, ожиревшие вместе с ними от выпитой крови, топали двухпудовыми ножищами, отплясывая в купальных костюмах фокстроты.

Творец культуры — человек, он же и цель ее. Основным качеством действительно культурного человека должно бы служить именно сознание им его ответственности перед наследниками и продолжателями его работы — пред детями. Изумительно, до чего слабо развито это сознание.

Я хорошо помню, как возмущались «культурные» отцы системой преподавания в гимназиях дореволюционного времени, глупейшим учебником русской истории Иловайского, катехизисом Филарета, греческим языком. И не менее хорошо я знаю, что те же самые отцы устраивали детям своим драматические сцены, доводили их до истерики, а в двух случаях — до самоубийства, именно потому, что дети не могли преодолеть трудностей греческого языка и плохо усваивали глупости Иловайского и Филарета.

В коммуне «Авангард»,— кстати, очень хорошо описанной Федором Гладковым *,— я сказал организатору коммуны Лозицкому:

— Хороши у вас дети!

— Оттого, что живут не в семьях,— тотчас ответил он, а кто-то из коммунаров добавил:

— У вас о новом-то человеке говорят да пишут, а мы вот практически пробуем помочь ему вырасти...

---

* Ф. Гладков. Коммуна «Авангард». ГИЗ, 1928, ц. 8 коп.

Добавочка эта прозвучала довольно ехидно и как будто вызовом на словесный поединок, а в словах Лозицкого я почувствовал, что общественное воспитание детей для него — практическое дело, продуманное и решенное. Он, Лозицкий, человек среднего роста, внешне — «обыкновенный хлебороб», высушенный солнцем, степным ветром и заботами о своем маленьком государстве. На небритом лице металлически блестят глаза, должно быть, довольно зоркие. Заметно, что он не очень обрадован приездом гостей, он живет уже в своем мире, и люди, явившиеся откуда-то издалека, мало интересны ему. Да, кажется, и все товарищи его любуются гостями как бездельниками. Говорит Лозицкий кратко, деловито, «конспективно» и явно не заботясь о том, чтоб убедить словами, но удивительно умело показывая хозяйство коммуны. Он, видимо, давно уже отвык от «я» и употребляет только «мы». За несколько часов он только два раза юмористически усмехнулся:

— Не знали мы, что мужикам стыдно какао пить, а вот в «Комсомольской правде» попрекнули нас за это. Непонятное дело: водку — пей, а какао — не моги! Так, что ли?

И усмехнулся, по небритому лицу его точно веселый ветерок пробежал. А еще усмехнулся он в ответ на мой вопрос: правда ли, что крестьяне ближайших деревень желают перестроить свои хозяйства тоже на коммунальный лад и будто бы подали немало заявлений об этом?

— Что ж — не верите? Может — показать документы?

И словцо «документы» прозвучало в его устах весьма нелестно для любителей документов. Я вспомнил, что вот в таком гордом тоне говорили с полицией люди, у которых документы были в полном порядке. Этот «обыкновенный хлебороб» стоит во главе 160 коммунаров, у них около 760 гектаров земли, в 27 году общий оборот коммуны превысил 800 тысяч рублей. Продали 30 тысяч пудов хлеба.

— Социализм в деревню можно вкрепить только так, как это мы делаем,— говорит он спокойно и уверенно.— Крестьянин — он прежде всего практик, он хорошо видит выгодность коллективного труда. Конечно — хозяй-

ство коммуны нашей далеко не совершенно, однако мужик считать умеет. Край засушливый,— вздыхает Лозицкий.— Вот если б орошение... Водицы бы нагнал нам Днепрострой этот... Пишут, что где-то удобрения много нашли?

Показав работу в механической мастерской и силовую станцию, он снова возвращается к этой теме.

— Бабы, пожалуй, чувствуют выгоду коммуны едва ли не лучше мужиков. Видят, что нашим женщинам легче жить, свободней, да и дети у них... Ну, детей вы сами видели.

Видел. Десятка два хорошо упитанных ребятишек, грудных и годовалых, спали в общей спальне. В сумрачной прохладе ее — ни одной мухи. Сон детей оберегает дежурная мать, она — в белом халате, двигается бесшумно. Молодая, лет двадцати. В этой же хате чистенькая, светлая комната для двух-трехлетних коммунаров, с мебелью по росту им, игрушечные столы, стулья.

— Тесно,— жалуются учительница и товарищ руководитель культурной работой в колонии.

— Да, тесно живем,— подтверждает Лозицкий.— Лесу нет. Школу надо строить. Школа у нас плохая, а нам нужно образцовую школу. У нас всё должно быть образцово. А эти, наши чиновники... не понимают!

Судорожным движением разгневанного человека Лозицкий прячет крепкие руки свои за спину и тихонько крякает.

Потом мы обедаем в столовой коммуны, за два блюда — вкусный борщ и жареное мясо — с нас взяли по 16 копеек с человека.

— Вода скверная у нас,— говорит Лозицкий в тон глуховатому гулу электромотора механической мастерской, где изготовляют бороны для крестьян, чинят сельскохозяйственные машины.

Постукивают молотки в кузнице. Где-то близко хрюкают свиньи, коммуной налажен «беконный завод». На дворе, в квадрате низеньких и длинных хат, шумно совещается группа детей школьного возраста — всё такие хорошие, крепкие ребята, загоревшие на солнце. Они уже рассказали мне о разнообразии своей жизни, похва-

стались немножко знанием хозяйства коммуны, участием в ее работе. И один из них, указывая на хаты жестом хозяина, совершенно серьезно сказал:

— Мы их перестроим!

А другой, усмехаясь, сообщил:

— Эта — конюшней была, а вот в ней люди живут, и не узнаете, что конюшня.

Несколько часов в маленьком новом государстве похожи на сон. Мне вспомнилась старинная книжка затравленного мещанами, умершего в 1848 году революционера и атеиста Иоганна Цшокке «Делатели золота», я ее прочитал, когда мне было лет пятнадцать, и, прочитав, тоже несколько дней жил, как во сне.

Когда оглядываешься назад — видишь, как поразительно далеко ушла жизнь от прошлого и как она всё быстрей идет в будущее. Лозицкий кажется мне человеком давно знакомым,— лет сорок тому назад, на бесконечных, запутанных дорогах России, я встречал людей, похожих на него. Это были люди, оторвавшие себя от земли, от семьи, от нищенского хозяйства, бесплодно истощавшего их силы, это были упрямые искатели несокрушимо прочной правды, люди, гонимые мечтою о ней из конца в конец страны, из Вологды в Закавказье, из Смоленска в Сибирь. Были это люди сумрачные, недоверчивые, не очень зрячие, иногда — озлобленные бесплодностью своих поисков, нередко — буйные, оттого, что потеряли все свои надежды «дойти до правды». Вероятно, они уже погибли за эти четыре десятка лет, износились, распылились на путях своих. Не жалко — бесполезные люди.

На место их жизнь выдвигает вот таких, как Лозицкий, людей, которые нашли правду, овладели ею, бережно, как любимое дитя, растят ее, вкрепляют ее в расшатанную жизнь,— строят правду так же, как предки их строили посады и крепости в лесных дебрях, среди полудиких племен.

Лозицкий — из тех еретиков, каким был коммунист Ян Гус, сожженный на костре, разница только та, что Лозицкий и подобные ему сами разжигают костер, на котором должно сгореть всё, что накоплено веками кошмарной жизни в душах рабов земли.

Снова — 117 километров — четыре часа на автомобиле от села к селу. Когда-то я ходил пешком по гладкой скуке этого края. Теперь, после того как пожил в странах, где города и села стоят почти бок о бок, эти степные места кажутся мне еще более пустынными. О том, что это — неверно, я должен напоминать себе, потому что впечатление пустынности, незаселенности растет. Огромная плоская равнина расползлась, размазана во все стороны, до горизонта, местами она лысая — хлеб спят,— но таких лысин немного, преобладают густые заросли подсолнуха и широкие полосы кукурузы: ее жирная зелень, чередуясь с ярким золотом мохнатых цветов подсолнечника, одевает землю степи тяжелой, пышной шубой.

Наш сильно пожилой автомобиль катится не торопясь, хрипит и чихает, вздымая облака пыли. Со стороны он, должно быть, похож на жука, так же как два трактора, ползающие далеко по лысине степи.

— Там совхоз,— сказал один из провожатых, другой поправил его:

— Колхоз.

Этот другой — «товарищ из Запорожья»,— человек очень скромный, без «особых примет»; людей такой «обыкновенной» внешности я часто встречал среди батраков в экономиях Украины. Необыкновенна в нем емкость его зрительной памяти и поразительное знание края.

— Тут скоро песок будет,— хектара два,— предупредил он шофера.— Вы, товарищ, вертайте у леву сторону. Оно не так, чтоб настоящий песок, а — очень мятая дорога. В этой балочке бандиты много людей порезали,— рассказывает он так просто, как будто говорит о кустарном промысле.

— Потом чего-сь не поделили меж собой и друг друга начали убивать. Тут скрозь Махно гулял. Одних мостов взорвано по сёму краю двадцать восемь. Видели? Ще много сковерканного железа лежит не убрано коло линии. Вредный был, сучий сын! Много разврату и разорения внес. Ну, есть, конечно, люди, что и побогатели около него...

Он коренастый, крепкий, «человек надолго». Смот-

рит в пустынные дали, спокойно прищурив глаза, и, не возмущаясь, рассказывает:

— Кровавая земля. Много людей побито здесь, ну и сами они тоже чужой крови не жалели.

— А теперь — разумнее живут?

— Это — так,— говорит он, но, помолчав, продолжает: — Для себя — разумней, а для жизни — не скажу. Вот — дорога. Разве это — дорога? Только мучить коней. А сами поправить не хотят, всё должен делать для них город,— «казна», говорят они. Не понимают ще, что разумом только для себя уже и невыгодно да и стыдно жить...

Он, должно быть, из тех «дальнозорких», которые хорошо видят, как трудна дорога в будущее, но не смущаются трудностью ее.

Пасется большое стадо. Жара и пыль. Из пустынной земли медленно поднимается село, анархически расплывшееся по ней, оно могло бы вместить небольшой уездный город. На улице, нелепо широкой, можно бы построить еще «порядок» беленьких хат, длина улицы версты две. Сколько земли бесполезно занимает она? На площади, над крышей большого дома, торчат мачты радио. Десятка полтора хат покрыты не соломой, не камышом, а белой черепицей. Это для меня такая же новость, как радио в деревне. Во дворах и на левадах — красные машины, где-то хлопотливо стучит молотилка. У «криницы» стоят два воза, нагруженные тесом, молодой рослый парень кормит лошадь,— сует ей в зубы краюху ржаного хлеба. В тени другого воза лежит брюхом на земле бородатый человек, пред ним — клетка, в клетке большой белый петух. Всюду сушится саманный кирпич. Серые «дядьки» и «жинки» смотрят из-под ладоней на автомобиль, перегруженный людями, за автомобилем гонятся собаки, человек с физиономией «урядника» бросил в собак палкой и, размахивая руками, орет. Орать — бесполезно: собака не может укусить автомобиль. С поля в село входит группа детей, все маленькие, лет до десяти, среди их — рыжеватая девушка, очевидно — учительница. За селом десятка полтора женщин месит ногами глину; длинный, костлявый старик рубит саман. Строится деревня.

— Это было бандитское село,— говорит товарищ и советует шоферу: — Езжайте направо, выгадаем шесть верст, а дорога — не хуже...

Снова развернулась степь, а минут через сорок снова из-под земли приподнялось огромное село. У мостика, на берегу грязной речки, через которую легко перепрыгнуть, дымится большая куча навоза, лежит труп собаки, над ними туча мух; тут же, в синем дыму, возятся трое ребятишек лет пяти, шести. Очень знакомая картина. Под плетнями на дворах — густейшие заросли сорных трав; осенний ветер разнесет семена их по полям. Качаясь во все стороны, идет пьяный, под мышкой у него каравай хлеба, он подпоясан новой веревкой, конец ее змеею тянется по земле.

Остановились выпить пива. Тотчас собралась кучка жителей, всё люди, мало похожие на крестьян, все в городских пиджаках, в сапогах. Один из них, давно и очень знакомый «тип» сельского шута и забавника, начинает играть привычную роль: веселым голосом, с ехидной усмешечкой в пыльных глазах, говорит, что одни люди ездят на автомобилях и пьют пиво, а другие — ходят за плугом и пить им нечего.

— Разве же усю горилку моськовску учора вылокали? — спрашивает подросток и прячется за спину человека с огромным животом и такой густой щетиной на лице, что невольно думается: всё его тело от плеч до пят покрыто такими же серыми иглами. Он — в тяжелом похмелье, смотрит прямо пред собой ошалевшим взглядом маленьких глаз, налитых кровью, но, должно быть, ничего не видит. Публика слушает шуточки своего забавника равнодушно, а он шутит уже ласково и явно напрашивается на бутылку пива.

— Отцепись,— резко говорит ему высокий вихрастый человек и спрашивает у одного из моих спутников что-то о семенах, озимях.

Через разрушенный плетень вижу соседний двор, у стены хаты за столом сидят трое, пред ними на большом глиняном блюде — яичница, бутылка водки, лысый старик режет хлеб, а сосед его, чернобородый мужчина, измазанный сажей и маслом, повалил на колени себе

мальчугашку лет семи и черными руками щекочет,— мальчуган взвизгивает поросенком, кричит:

— Пусти, приехали люди с города,— ой!

Забавник приуныл и философствует:

— А мы — знаем: люди дело делают, або дело людей? Мы же не знаем этого!

В толпе вокруг нас ни одной женщины, да и на улицах они встречаются не так часто, как мужчины, должно быть, все в работе. Мальчик вырвался из рук чернобородого, отбежал в сторону и обругал его:

— Чёрт железный!

— А я тебя на трактор не возьму,— пригрозил чернобородый.

Едем дальше по широкой улице огромного села. Площадь, на которой свободно поместится бригада солдат, посредине площади — неуклюжая церковь, от ее синей луковицы к земле опускаются белые стены, церковь похожа на толстую купеческую сваху в шёлковой «головке». Снова изредка мелькают чистенькие хатки, крытые белой черепицей. Снова размахнулась во все стороны степь, густо покрытая золотыми бляхами цветов подсолнечника и густой зеленью кукурузы.

— Озимые здесь выгорели,— объясняет товарищ.

Автомобиль, заглушая голоса, храпит и вертится по серой ленточке дороги, стремясь выбежать из круга степи, кажется, что он всё время бегает только по кругу. Часто пересекаем линию железной дороги, проезжая под мостами, почти около каждого лежит исковерканное взрывами железо. Откосы линии заросли сорными травами. Вспоминаются гладко причесанные поля Германии, их почти идеальная чистота, отсутствие паразитных растений. Мысли всё время забегают в далекое прошлое, точно скользят по кругу, поставленному наклонно, градусов в сорок пять. На нижней половине круга — отрочество мое, юность, на верхней — современные дети.

В Москве, на школьном празднике 56 школы, четырнадцатилетний мальчик, а за ним девушка старше его не более, как на год, говорили речи,— мальчик «о текущем моменте и задачах воспитания», девушка «о значении науки». Было ясно, что обе темы эти не только «за-

учены» ораторами, но вросли в сознание детей,— ясно потому, что дети нарядили их в свои слова. Мальчуган, может быть, неожиданно для себя самого, сказал неслыханные, поразившие меня слова:

«Наши друзья отцы и матери, наши товарищи!»

Говорил он, как привычный оратор, свободно, с юмором, даже красиво; девочка говорила с большим напряжением чувства, тоже своими словами о борьбе знания с предрассудками и суевериями, о «богатырях науки».

«Ну, эти двое — исключительно талантливы»,— подумал я. А затем на различных собраниях я слышал не один десяток таких же ораторов-пионеров. Каждый из них входит в жизнь с лозунгом «Всегда готов». И в этой готовности продолжать освободительную работу своих отцов-«друзей», работу строения новых форм жизни, я слышал, конечно, неизмеримо больше и смысла и силы, чем в «аннибаловых клятвах» добродушных юношей 50-х годов и в красноречии всех народолюбцев. Это уже не «милосердие сверху», не гуманизм от ума, а творческая энергия из почвы, от корней жизни.

Приехали ко мне тверские пионеры, человек десять,— мальчики и девочки. Комната — маленькая, тесная; трое сели на стульях, остальные — на полу. Сразу бросилась в глаза свобода и легкость их движений, сознание ребятами своей внутренней независимости, привычка говорить со взрослыми, уменье ставить вопросы. Сидели они, вероятно, часа полтора-два, рассказывали о своей учебе, экскурсиях, о «самодеятельности», расспрашивали об Италии, о моих впечатлениях в Москве. Когда они ушли, у меня осталось впечатление: приходил взрослый человек, интересный, веселый, с напряженной жаждой всё знать, всё понять.

— Обязательно, ребята, изучать языки,— сказала одна из девиц.— Обязательно, если мы люди Третьего Интернационала,— строго прибавила она, а лет ей тоже, наверное, не более пятнадцати. Когда они ушли, я не мог не вспомнить, что в их возрасте даже десятая часть того, что они знают, мне была неизвестна. И еще раз вспомнил о талантливых детях, которые погибли на моих глазах,— это одно из самых мрачных пятен памяти моей.

...В коммуне пионеров где-то на окраине Москвы, в стареньком двухэтажном доме ребята с гордостью водили меня по своему хозяйству, по маленьким чистым комнатам, с восторгом рассказывали о том, как гостили у них в колонии пионеры-французы и маленький француз Леон, не желая возвращаться на родину, прятался от своих земляков, плакал, упрашивая, чтоб они оставили его в России. Стены комнат колонии оклеены пестрыми плакатами, диаграммами и рисунками детей на различные героические темы.

— Ну, это — так себе,— правильно сказал о картинках один пионер. Да — «так себе». На одной из них оранжевые облака похожи формой на французские булки, зеленовато-синие деревья — на малярные кисти, но голубые пятна между облаков, золотистый песок и всё вместе сделано очень гармонично по краскам. И так всегда, всюду, где я видел детей, сверкали искорки талантливости.

Показывали мне дети «живую газету»,— ряд маленьких пьес, написанных хорошим, легким стихом,— автор стихов — один из признанных поэтов, не помню кто. «Передовая статья» — пионерка, отлично декламировала стихи о необходимости культурной работы в деревне. Затем группа девушек бойко разыграла статью о пользе яслей, одна из девиц, исполнявшая роль деревенской бабы, которая не понимает возможности общественного воспитания детей, обнаружила неоспоримый комический талант. Следующая пьеса-песня рассказывала о заразительности туберкулеза, и так была разыграна вся «живая газета», с веселым «фельетоном», со смешной «хроникой». Всё это под звуки пианино, и всё сделано так, что дети незаметно для себя с горячим увлечением подходят к запросам действительности, учатся сознательному отношению к жизни огромной своей страны.

Показывали мне пионеры «10 Октябрей», интересное стихотворение для декламации. «Октябри» были одеты в шишаки красноармейцев, вооружены копьями и щитами и от первого до десятого являлись один за другим всё более крупными. Ребята отлично умеют декламировать хором, прекрасно, легко и свободно двигаются под

музыку. Они здоровы, веселы, и всё, что они делают, искренно увлекает их.

Пионеров я видел сотни в Москве, на Украине, на Кавказе, на Волге. Прекрасное впечатление вызывают они. За пять месяцев только один раз дети напомнили мне старую Русь. Это было на улице села Морозовки. Шел мальчик лет десяти, а другой, однолеток, сидел на крыльце, и вот между ними разыгрался очень знакомый, очень старый и почти аллегорический диалог:

— Миш, ты — куда?

— Я — никуда. А ты — куда?

— И я — никуда.

— Тогда — идем вместе.

И, как будто вспомнив, разыграв старый анекдот из детской книжки, молча, медленно пошли в поле.

Пионеры хорошо знают, куда им нужно идти.

Совершенно неоспоримо, что у нас, в Союзе Советов, за десять лет очень хорошо развилось сознание ответственности пред детями, об этом лучше всего говорит факт понижения смертности детей до пятилетнего возраста, здоровье шести — двенадцатилетних и «отроков». Невозможно отрицать и тот факт, что, несмотря на жилищную тесноту в городах,— бытовые условия жизни детей значительно улучшены. С первых же дней рожденья о них начинают разумно заботиться. Ясли, детские сады, гимнастика, экскурсии — всё это, разумеется, должно дать и дает отличные результаты. Иногда кажется, что дети развиты не в меру их возраста. Но это кажется лишь в те минуты, когда, вспоминая однообразие прошлого, забываешь о непрерывном потоке новых «впечатлений бытия».

Организованное и правомощное участие в общественных праздниках действует на разум и воображение детей, разумеется, сильнее, чем действовало на «бывших детей» подневольное участие в церковных службах, крестных ходах и военных парадах «царских дней». Место чудес, о которых отцам и матерям — «бывшим детям» — рассказывали бабушки и дедушки, заняли действительные, доступные наблюдению чудеса, ребенок видит их и знает, что эти чудеса создает его отец. Это отцы устроили громкоговорители радио на площа-

дях городов, в квартирах, в сельских клубах, в избах-читальнях. Отцы летают по воздуху на машинах, сделанных ими же,— дети знают это, они были на фабрике аэропланов, на автомобильном заводе, на силовой станции.

Всё, что возбуждает мысль и воображение ребенка, делается не какими-то неведомыми силами, а вот этой тяжелой милой рукою, которая сейчас гладит голову своего октябренка или пионера. В школе ему, октябренку, понятно рассказывают о том, как просты все чудеса и как медленно, с каким трудом отцы научились делать их. Уже скучно слушать о «ковре-самолете», когда в небе гудит аэроплан, и «сапоги-скороходы» не могут удивить, так же как не удивит ни плавание «Наутилуса» под водой, ни «Путешествие на луну»,— дети знают, видят, что вся фантастика сказок воплощена отцами в действительность и что отцы совершенно серьезно готовятся лететь на луну. Отец может рассказать о героических битвах Красной Армии более интересно, чем бабушка или дед о подвигах сказочных богатырей, и может рассказать о своих подвигах партизана, в которых чудесного не меньше, чем в любой страшной сказке. Действительность развертывается пред детьми не как сложнейшая путаница непонятных явлений, противоречивых фактов, а как наглядный процесс работы отцов, которые, разрушая отжившую действительность, создают новую, в которой дети будут жить еще более свободно и легко.

Я не против фантастики сказок, они — тоже хорошее, добротное человеческое творчество, и, как мы видим, многими из них предугадана действительность, многими предугаданы и те изумительные подвиги бесстрашия, самоотречения ради рабочего классового дела, о которых рассказывают книги, посвященные описанию классовой войны 18—21 годов. Нет, я не против героической фантастики старых сказок, я — за создание новых, таких, которые должны перевоспитать человека из подневольного чернорабочего или равнодушного мастерового в свободного и активного художника, создающего новую культуру.

На пути к созданию этой культуры лежит болото личного благополучия. Заметно, что некоторые отцы

уже погружаются в это болото, добровольно идут в плен мещанства, против которого так беззаветно, героически боролись.

Те отцы, которые понимают всю опасность такого отступления от завоеванных позиций, должны хорошо помнить о своей ответственности пред детями, если они не желают, чтоб вновь повторилась скучная мещанская драма разлада «отцов и детей», чтоб не возникла трагедия новой гражданской распри.

## III

В 17 году, в Петрограде, около цирка «Модерн», после митинга, собралась на улице толпа разношерстных людей и тоже устроила митинг. Преобладал в толпе мелкий обыватель, оглушенный и расстроенный речами ораторов, было много женщин — «домашней прислуги». Человек полтораста тесно сгрудились в неуклюжее тело, а в центре его — десяток солдат; они сердито покрикивали на одного из своих товарищей, рослого, бородатого, в железном котелке на голове, с винтовкой за острым плечом. Лицо у него простое, очень плоское, нос широко расплылся по щекам, синеватые глаза выпуклы. Железный котелок, приплюснув это лицо, сделал его немножко смешным. Правая рука — на загрязненной и скрученной перевязи, но ладонь ее свободна, и пальцы непрерывно шевелятся на груди, почесывая дряхлую, вытертую шинель.

Когда на него кричало несколько голосов сразу, он молчал, прижимая левую ладонь к бороде, закрывая рот, а когда вокруг становилось потише, он, поглаживая ладонью приклад винтовки, говорил внятно, деловито и не волнуясь:

— Что же, я сам — крестьянин, только вижу, что рабочие понимают свой интерес лучше мужиков. И жалости к себе у рабочего меньше...

Растолкав солдат, к нему продвинулась большая краснощекая женщина и сказала:

— Де-зер-тир ты! И все вы — дезер-тиры!..

Он отмахнулся от нее, точно от мухи, и продолжал тоном размышляющего:

— Мужик побунтует — на коленки становится, прощенья просит, а рабочий в тюрьму идет, в Сибирь. В пятом году здесь тыщи рабочих перестреляли, а — сколько по всей Россеи, в Сибири — счету нет.

Снова прикрыв рот, как бы затыкая его бородою, он подождал, когда озлобленные люди выкричались.

— Я это не в обиду сказал, а потому что рабочие-то, которые поумнее, идут за ними, за большевиками...

На него снова закричали десятком голосов, он снова помолчал, затем, возвысив голос, упрямо продолжал:

— Это всё вранье. Германец — тоже солдат, а солдату солдата купить нечем...

Тут кто-то согласился с ним:

— Верно...

— И насчет большевиков — вранье. Это потому врут, что трудно понять, как это люди, против своего интереса, советуют рабочим и крестьянству брать власть в свои руки. Не бывало этого, оттого и непонятно, не верится им, на ихнее горе...

— И — врешь. Горе не ихнее, а — наше! — крикнул какой-то собственник горя.

— Они говорят правильно, действительно так выходит, что мы сами себе враги,— говорил солдат, похлопывая ладонью по прикладу винтовки.— Вот эту вещь, оружие, может быть, зять мой сделал, он в Туле, на ружейном заводе. А дядя мой, может, железо для нее добыл. Вот какое дело. Теперь глядите: может, нам из этих винтовок приказано будет по народу стрелять, как в пятом году. А для чего?

Он выпрямился, передвинул котелок на затылок, вытер ладонью потный лоб.

— Для защиты глупости нашей, нищеты, вот для чего. Из какого интереса три года с германцами воюем? Понимаете вы это?

Люди,— одни ругаясь, другие молча,— отходили прочь, но он, как бы не замечая этого, глядя прямо пред собой, говорил всё более густо и крепко:

— И выходит, что большевики-то правильно советуют: пакость эту надо искоренить,— безвинное пролитие крови и разор жизни. Никто, кроме их, этого не советует, хоть все начали говорить с нами ласково. А ис-

коренить можем одни мы, рабочий народ. Шабаш, и — больше ничего. Надо понять, что мы господам не прислуга, а кормильцы, и довольно натравливать нас на свою же кровь-плоть.

Тут солдат этот начал говорить, понизив голос до рычания, надвигаясь грудью на людей, размахивая рукою. Вокруг его стало просторнее, и я спросил: откуда он?

— А тебе на что знать? — грубо ответил он и, тяжело топнув ногою, сказал: — Я— вот с этой самой земли,— ну? Солдат, как видишь. Был на японской войне, вот и теперь тоже воевал, а — больше не желаю. Разбудили, проснулся. И я тебе, господин в шляпе, прямо скажу: землю мы обязательно в своё руки возьмем,— обязательно! И всё на ней перестроим...

— Круглая будет, как арбуз,— насмешливо вставил другой господин, в кепке.

— Будет! — утвердил солдат.

— Горы-то сроете?

— А — что? Помешают, и горы сроем.

— Реки-то вспять потекут?

— И потекут, куда укажем. Что смеешься, барин?

Насмехался плотненький, круглолицый человек с черными усами.

Солдат схватил его за плечо, встряхнул и сказал в лицо ему:

— Дай срок, образумится народ, он тебе, дураку, такое покажет, что в пояс поклонишься.

И, оттолкнув господина в кепке, солдат твердым шагом вышел из поредевшей толпы.

Дома я записал эту сцену так, как воспроизвожу ее теперь здесь. Я берег ее, надеясь использовать в конце книги, давно задуманной мною. Мне для конца книги очень дорог и важен этот солдат, в котором проснулся человек — творец новой жизни, новой истории. В моей панихиде прошлому он должен был петь басом. Если он жив, не погиб на фронтах гражданской войны, он, вероятно, занят каким-нибудь простеньким делом наших великих дней.

Вспомнил я о нем на Днепрострое, и три дня, прожитые мною там, образ его неотступно сопутствовал мне, как бы спрашивая:

«Ну — что? Верно я говорил?»

Да, он говорил верно. На Днепрострое воля и разум трудового народа изменяют фигуру и лицо земли. Десятки и сотни рабочих, просверливая камень берегов Днепра электрическими сверлами, взрывают древнюю породу жидким воздухом, другие десятки переносят, перевозят с места на место сотни тысяч кубометров земли, землю выкусывают железные челюсти экскаваторов, она кажется легким прахом под руками коллективного человека, который строит для себя новую жизнь. Когда видишь, как смело и просто обращается с нею обыкновенный рабочий, маленький человечек, как покорно подчиняется она его разумной силе,— детски наивной кажется древняя сказка о Святогоре-богатыре, который не мог одолеть «тяги земной». Эта сказка весьма устрашала безнадежной своей мистикой любителей пофилософствовать о таинственных силах природы и слабости человека перед ними. Устрашались, чтоб успокоиться.

Стиснутый с обоих берегов железными плотинами, бушует Днепр, но сердитый плеск его волн о железо и камень не слышен в скрежете сверл, в ударах молотов по гулкому железу, в криках рабочих, в этом мощном звуковом «сырье». Мне кажется, что люди скоро уже разложат это разнозвучное сырье на ноты, гармонизируют его, создадут героические симфонии.

Стальные жала сверл впиваются в камень, наполняя воздух странно сухим шумом, издали этот шум звучит, точно одновременное пение множества басовых струн виолончели. Гулко и строго ритмически падают удары американского крана, забивая «шпунт». Невольно вспоминаешь слова Александра Блока: «Культура есть музыкальный ритм». «Дух музыки соединился отныне с новым движением, идущим на смену старого».

Здесь, любуясь дерзкой работой людей, всё время вспоминаешь прошлое, и это очень помогает правильной оценке настоящего.

Среди скал, разодранных взрывами, коренастый парень, густо напудренный пылью, сверлит камень, действуя силою, от которой руки и плечи его непрерывно дрожат крупной дрожью. Когда я взялся за ручки сверла, меня встряхнуло, как маленького ребенка, встряхну-

ло не только потому, что я коснулся молниеносной силы, но и потому, что силою этой владеет девятнадцатилетний крестьянин Смоленской губернии — человек, пред которым, вероятно, полстолетия интереснейшей жизни и работы. Я, конечно, завидую ему, но и рад за него. Эта радость естественна: измеряя время не только годами моей личной жизни, я не могу забыть, что жизнь моя началась при огне лучины и сальной свечи. А также я хорошо помню, что в 96 году, когда по улицам Нижнего Новгорода пошел первый вагон трамвая, такие парни, как этот, тоже смоленские землекопы, стремглав разбежались прочь от «чёртовой кареты».

Дать общую картину всей работы на Днепрострое я не в силах. Я прожил там трое суток — слишком мало для того, чтоб достаточно ярко нарисовать картину грандиозного труда. Там очень много такого, что я видел впервые за мою жизнь, и уже слишком много стерто, уничтожено того, что я видел сорок лет тому назад. Тогда я ночевал тут на берегу Днепра против острова Хортицы, на теплых камнях. Вечером долго беседовал с меннонитом, на которого мне указали как на человека великой мудрости.

— Много вас таких шляется по земле,— сказал мне этот мудрец, и это было самое верное из всего, что говорил он, маленький, сухонький, заласканный людями до усталости и даже как будто до презрения к ним.

Думаю, что в то время еще не был изобретен умный и послушный американский кран, которым теперь забивают железные «шпунты» в каменное дно бешеного Днепра. Тогда в порту Феодосии били сваи «вручную», с копра. Тогда не существовал экскаватор, железные пригоршни которого черпают землю и мелкий камень легко, точно воду. Машина эта роет шлюз; ею удивительно ловко управляет черный, масленый человек, вот этот — действительно мудр. Из глубокого котлована огромные насосы выкачивают воду, круглые пасти труб переливают ее в Днепр. Когда смотришь на толстые струи воды, кажется, что не из реки, а из земли вытягивают ее жилы. Сотни людей сдирают с земли толстую каменную кожу, и видишь эту бесплодную землю поистине в руках людей.

День на Днепрострое начинается взрывами, они же и заканчивают день. У меня недурная зрительная память, и мне странно видеть, как значительно, за несколько часов работы, изменились контуры берегов. И странно знать, что камень взрывают жидким воздухом, это не только странно, а и очень весело.

В 87 году меня в Казани судил — по «14 правилу святого Тимофея, епископа александрийского»,— церковный — «духовный» — суд, какой-то иеромонах, священник и соборный протоиерей Маслов. Присудили меня к «эпитимии», не помню, в какой форме, кажется, на сорок ночей молитвы в Феодоровском монастыре. Я отказался подчиниться постановлению суда. Тогда иеромонах, старичок с зелеными глазами, упорно и грозно начал доказывать мне, что я — вор, пытался украсть жизнь, принадлежащую царю, хозяину моему земному, а душу, принадлежащую богу, отцу моему небесному, хотел предать врагу его — сатане. Я сказал, что считаю себя единственным законным хозяином жизни и души моей. Иеромонах крикнул:

— Молчи, безумец! Что — дерзкие слова твои? Воздух! Закон же церкви — камень.

Видя, как воздух, сжатый до состояния жидкости, холодный, но жгучий, точно расплавленный металл, легко взрывает могучую, древнюю породу, я не мог не вспомнить слова иеромонаха.

На моих глазах была взорвана огромная скала — Богатырь, если не ошибаюсь. Мы стояли в двух сотнях шагов от нее, когда она несколько раз глухо охнула, вздрогнула, окуталась белыми облаками; странно быстро растаяли эти облака, а скала показалась мне шире, ниже, но общая форма не очень заметно изменилась, только трещины стали обильнее, глубже. Я был удивлен, не заметив ни одного, даже маленького, камешка, взброшенного на воздух.

— Это и не требуется,— объяснил мне один из строителей, инженер.— Зачем терять энергию бесплодно? Мы нагружаем заряд до максимума его силы, и вся она тратится на внутреннее разрушение породы, а на бризантное разметывающее действие взрыва не остается ничего.

Мне очень поправился такой экономный метод разрушения. Было бы чудесно, если б можно было перенести его из области техники в область социологии. А то вот мещанство, взорванное экономически, широко разбросано «бризантным» действием взрыва и снова весьма заметно врастает в нашу действительность.

Ночью над рекой и далеко по берегам вспыхивают голубые огни электрических фонарей. Днепр заплескивает их шёлковые отражения, но они светятся на темных волнах, точно куски неба в тучах, гонимых ветром. Я стою на балконе во втором этаже, любуясь игрою огня на воде и странными тенями в каменных рытвинах изуродованного берега. Тени разбросаны удивительно затейливо, похожи на клинопись и вызывают желание прочитать их.

— Весною над крышей этого дома будет одиннадцать метров воды,— спокойно рассказывает инженер.

Молчу, соображая: дом стоит метров на десять выше уровня реки.

— Образуется озеро до тех двух фонарей,— видите?

Вижу. Фонари очень далеко, среди сероватых, бесплодных холмов.

—А вверх по течению — за мост.

Мост висит над рекою на высоте не меньше двадцати метров, но мне говорят, что он тоже окажется глубоко под водою. Очень трудно вообразить озеро такого объема и такой глубины, поднятое на эти холмы.

Вспоминаются слова одного из библейских пророков, который, должно быть, предвидел развитие трудовой техники в XX веке: «На горах станут воды».

— В древности такие грандиозные фокусы, говорят, делал бог,— замечаю я.

— Неважный был строитель, нам приходится переделывать всё по-своему, по-новому.

Затем инженер рассказывает, что этот кружевной и точно взвешенный в воздухе мост был взорван бандитом Махно.

— Взорвали неумело, посредине, а надо было рвать в пятке, с берега, тогда бы весь мост рухнул в Днепр.

Дикий «батько», наверное, был бы крайне оскорблен

убийственным пренебрежением, с которым говорят о его неуменье разрушать мосты.

— Мы хотели отправить этот мост на Турксиб, но отказались от этой мысли: разобрать и перевезти его туда стоило бы дороже, чем построить новый там, на месте.

Теплый бархат ночи богато расшит, украшен голубым серебром огней, в сумраке стремительно катятся волны Днепра, река точно хочет излиться в море раньше, чем люди возьмут ее в плен и заставят работать на себя. Всё вокруг сказочно. Сказочен голубой огонь, рожденный силою падения воды. И сказочен этот крепкий человек рядом со мною, человек, который изменяет лицо земли, такой внешне спокойный, но крепко уверенный в непобедимой силе знания и труда.

Он уходит отдохнуть, я тоже спускаюсь вниз с песчаного холма, на котором стоит дом, иду по размятой дороге к реке. Около штабеля бревен, пригнанных плотами с верховьев Днепра, кучка людей, человек пять. Сквозь сумрак тихим ручейком течет мутная речь:

— Днепр — это, как говорится, стихия, свободная сила, значит, железными перегородками ее, на пути к морю, не удержат, нет. Вот поглядим, что скажет весна, половодье...

Я знаю, что это говорит бездействующий, сытенький старичок, очень аккуратно одетый и похожий на дьячка. Утром он подходил ко мне и с почтительностью излишней, фальшиво улыбаясь, спрашивал, не помню ли я казанского крендельщика Кувшинова. Затем, в течение дня, я несколько раз видел в разных местах его фигуру, похожую на тень. Он из тех старичков, которым всё, чего они не понимают, кажется глупым и вредным. Медленно шагая, слышу его поучающий голосок:

— Всякой реке положено протекать в пространство, и жизнь человеческая тоже в пространство будущего влечется тихонько, да-а...

Сильно постарел, но всё еще жив тот сказочный, но не очень остроумный парень, который на свадьбе пел за упокой.

Странно, что и в наше время поистине великих задач есть молодые люди, поющие в голос таким старичкам.

При первом, общем взгляде на работу Днепростроя, видишь, что все усилия людей направлены на укрощение строптивой реки. Но уже скоро забывается о том, что Днепр не укрощен, и кажется, что с ним — покончено. Уже выстроен целый городок каменных домов, действует фабрика-кухня, школа, театр, расклеены афиши о гастролях артиста Александринского театра Юрьева. По широким улицам новенького, веселого города бегают здоровые ребята, мелькают красные повязки комсомолок, галстухи пионеров.

В просторной светлой столовой фабрики-кухни, в углу, за столом, накрытым чистой белой скатертью, украшенным какими-то растениями в цветочных горшках, сидит человек, обедает и, одновременно, читает газету. Он весь, с головы до ног, покрыт пылью, рыжеватые волосы его тоже обильно напудрены. Расстегнутый ворот рубахи обнажает очень белую шею и такую же грудь. Ест он поспешно, и хотя смотрит не в тарелку, а в сторону, в газету, однако весьма метко попадает вилкой в куски мяса. Читая, он улыбается, кивает головой, но вдруг, нахмурясь, наклонился ближе к листу газеты. Две рослые уборщицы в белых платках перешептываются, любуясь им,— человек красивый.

Вот он сердито и машинально ткнул вилкой в тарелку,— кусок мяса соскочил на скатерть, парень вонзил в него вилку, а на скатерти осталось пятно. Тогда парень покраснел, оглянулся и, видя, что уборщицы улыбаются, покраснел еще более густо, уже до плеч и, тоже улыбаясь, виновато развел руками.

— Сплоховал,— сказал он уборщицам.

Это, конечно, мелочь. Но мне она понравилась. Мне кажется, что за нею скрыто новое и правильное отношение к общественному добру.

Я слишком часто говорю о себе? Да, это — верно. Но как же иначе?

Я — свидетель тяжбы старого с новым. Я даю показания на суде истории перед лицом трудовой молодежи, которая мало знает о проклятом прошлом и поэтому нередко слишком плохо ценит настоящее, да и недостаточно знакома с ним.

Мне, разумеется, известно, что Днепрострой посеща-

ют многочисленные экскурсии молодежи, но я видел людей, которые живут в десятках верст от этой грандиозной стройки, а не только не посетили ее, даже не имеют представления о том, для чего затеяна эта работа и какое значение будет она иметь для Украины.

Поэзия трудовых процессов всё еще недостаточно глубоко чувствуется молодежью, а пора бы уже чувствовать ее. В Союзе Социалистических Советов трудятся уже не рабы, покорно исполняющие приказания хозяев, в Союзе работают на себя свободные люди. Если раньше смысл труда был неясен рабочему, если раньше меньшинство богатело, а трудовой народ оставался нищим, то ведь теперь это отношение в корне изменилось, и всё, что делается рабочим, делается им для себя, на завтрашний день.

Но и раньше, при условиях подневольного и нередко бессмысленного труда, рабочий все-таки мог и умел работать с тем пламенным наслаждением, которое называется «пафосом творчества» и может быть выражено во всем, что делает человек: делает ли он посуду, мебель, одежду, машины, картины, книги. Именно в труде, и только в труде, велик человек, и чем горячей его любовь к труду, тем более величественен сам он, тем продуктивнее, красивее его работа.

Есть поэзия «слияния с природой», погружения в ее краски и линии, это — поэзия пассивного подчинения данному зрением и умозрением. Она приятна, умиротворяет, и только в этом ее сомнительная ценность. Она — для покорных зрителей жизни, которые живут в стороне от нее, где-то на берегах потока истории.

Но есть поэзия преодоления сил природы силою воли человека, поэзия обогащения жизни разумом и воображением, она величественна и трагична, она возбуждает волю к деянию, это — поэзия борцов против мертвой, окаменевшей действительности для создателей новых форм социальной жизни, новых идей.

## IV

Пробежав от Петрозаводска на Кемь два-три перегона, наш поезд остановился, и тотчас под окнами ва-

гона замелькали фигурки разнообразно одетых ребят. Командовала ими девушка невысокого роста, бойкая, с веселым лицом и умненькими глазами.

— Ну, где же он? Почему не покажется нам? — требовательно покрикивала она, легко, точно мячик, подпрыгивая, стараясь заглянуть в окна. Речь шла обо мне, а девушка оказалась «вожатой» делегации пионеров Северного края. Они ехали «на слет» в Мурманск. Вечером вся делегация, двенадцать милейших душ, пришла в наш вагон и часа три показывала нам «живую газету», шумовой оркестр, пела песни, декламировала. Всё это делалось очень искусно, с горячим увлечением, делалось как «свое», не возбуждая никаких мыслей о «выучке». Особенно выделялась своей явной талантливостью тринадцатилетняя девочка, бывшая «беспризорная». Обладая отличным слухом и уже неплохой техникой, она играла в «шумовом» на гитаре. Было ясно, что этой девочке есть чем ответить товарищам за их любовное отношение к ней. На барабане играл тоненький курчавый мальчик, кажется — еврей, на треугольнике, должно быть, карел. Были карелки и среди пионерок. Мне интересно отметить различие национальностей только потому, что детей, видимо, уже не интересует это, для них уже не существует финнов, евреев, татар.

Вот случай, когда многие из старых петухов и куриц могли бы поучиться у цыплят!

Многие из песенок детей сделаны очень остроумно, в тоне самокритики, в них метко осмеиваются лень, небрежное отношение к своим пионерским делам и задачам, и по этим песням хорошо видишь, насколько глубоко развит в детях социальный инстинкт, как близка их чувству и разуму быстро текущая действительность, как широко они знают ее. Есть и другие песни, это уже рифмованные подзатыльники взрослым, и, вероятно, многие из взрослых слушают эти песенки, не испытывая никакого удовольствия.

Когда дети устали знакомить нас со своим неистощимым репертуаром, началась хорошая беседа. Мои товарищи спрашивали ребят о их жизни и работе, а я слушал и думал о том, как широк интерес детей к политической и культурной жизни страны. Материалы

для таких дум дала мне, конечно, не эта случайная встреча с пионерами.

У меня накопилось множество писем школьников, пионеров, бывших «беспризорных» и «одиночек»,— детей города и деревни со всех концов Союза Советов. Всё это — документы высокого интереса и серьезнейшей социальной значимости, хотя большинство авторов писем — люди в возрасте от семи до шестнадцати лет. Не думаю, чтобы до Октябрьской революции возможен был у детей такой живой и, главное, требовательный интерес к литератору. Разумеется, я не считаю себя единственным среди современных писателей, который возбуждает такое напряженное и, повторяю, требовательное внимание детей. Наверное, есть и другие литераторы, которым дети посылают десятки писем. Эти письма — неопровержимое доказательство того, насколько глубоко проникает в сознание детей процесс роста новой культуры. Эти письма имеют серьезнейшее воспитательное значение и для отцов, а потому я бы предложил товарищам литераторам обрабатывать документы эти в очерки и публиковать их.

Широта интереса детей к политической и культурной жизни явно растет из года в год, их вопросы становятся всё разнообразнее, и уже физически невозможно отвечать на каждое письмо детей-корреспондентов. Да и не обладаю я уменьем говорить с детями достаточно просто, с тою мудростью, с которой они ставят свои разнообразные и сложные вопросы.

Меня смущает: в какой мере дети должны знать прошлое, знать всю ту безобразную и жуткую, бесчеловечную и пошлейшую действительность, под гнетом которой жили прадеды, деды и против которой восстали отцы, для того чтоб создать для детей новую действительность? В прошлом есть много такого, что я, даже теперь, заканчивая свою жизнь, хотел бы забыть. Мне очень мешает говорить с детями уверенность, что миру необходимы люди иного опыта, других знаний, чем мои хаотические знания, мой тяжелый опыт. Современные дети кажутся мне людями другой мудрости, чем мудрость их отцов. Я думаю, масса детских писем и наблюдения над детьми уже дают мне право сказать: в детях

заметно и быстро растет чувство коллективизма, основанное на сознании успешности коллективного труда. Дети растут коллективистами — вот одно из великих завоеваний нашей действительности, я считаю его неоспоримым и все более глубоко врастающим в жизнь. Противники социализма, вероятно, скажут: рост индивидуальности затруднен, индивидуальность стирается влияниями, давлениями коллектива. Это старинное истрепанное возражение, разумеется, не теряет своего значения для людей духовно слепых, но зрячему совершенно ясно, что коллектив создает человека совершенно иной индивидуальной психики, более активной, стойкой и черпающей волю к действию, волю к строению жизни из воли коллектива.

Сидя рядом с одним из моих товарищей, вожатая, наморщив лоб, говорит ему:

— Вы, кажется, водку пили? Смотрите, вычистят из партии.

Скромный, задумчивый, крутолобый человечек негромко добавляет, сверкнув голубыми глазами:

— Всех пьющих я бы вычистил.

О другом, вероятно, таком же человечке мне рассказали в Мурманске. Отец у него сильно пил. Маленькому человечку не понравилось это, и он устроил у себя дома «уголок антиалкоголика». Достал где-то плакаты и картинки, изображающие вред алкоголизма, оклеил ими стену, достал брошюру и начал поучать отца. Отец избил его, изорвал брошюру, картинки. Но маленький борец оказался человеком сильной воли — он снова устроил «уголок». А отец — снова избил его и всё разрушил. Это повторялось одиннадцать раз. На двенадцатый в отце проснулся человек, и тогда он сказал сыну-победителю:

— Ну, хватит! Не буду пить.

И — говорят — не пьет. Я — верю, что действительно не пьет. Неловко не верить в хорошее, если даже газета парижских белогвардейцев «Последние новости» сообщает такие факты, черпая их со страниц «Известий»:

ДЕТИ УЧАТ ОТЦОВ

В Саратове к мельнице № 25 явилась на днях в полдень большая детская демонстрация. Детей было до 400 человек. На дверях мельницы демонстранты прибили плакат: «В 12 час. дня налетом красного отряда по борьбе с пьянством взята в плен мельница № 25». Между высыпавшими к воротам рабочими и демонстрантами начались мирные переговоры. Начальник штаба детей-демонстрантов кратко заявил: «Мы против пьянствующих папаш. Требуем дать возможность готовить уроки. Вместо водки покупать больше книг. Добиться закрытия пивных».

Над этой заметкой помещена другая:

ПОБЕДА ЗУБНОЙ ЩЕТКИ

В городе Нижнедевицке ученики школы I ступени после беседы зубного врача в школе выносят постановление:

«Добиться, чтобы каждому из нас родители купили зубную щетку и чтобы они сами чистили зубы». После двухнедельной атаки зубные щетки энергией школьников были внедрены в крестьянские избы. Но как обращаться с ними?

Для этой цели устраивается «генеральная репетиция» чистки зубов в школе. В классы доставляются теплая вода, зубной порошок, и ученики под наблюдением педагогов обучаются чистить зубы, а по возвращении из школы школьники проделывают эту репетицию с родными.

Сообщать своим читателям такие факты советской действительности — это не в привычках редакции «Последних новостей». С настойчивостью почти идиотической она «освещает» на страницах газеты своей явления отрицательного характера, черпая их из материалов нашей самокритики. Но вот мы видим, что даже враги трудового народа иногда — разумеется, очень редко — все-таки отмечают положительные явления советской жизни. Отмечают, вероятно, «скрепя сердце» и, может быть, потому, что им надоело слишком часто печатать заметки такого рода, как следующая:

МАЛОЛЕТНИЕ УБИЙЦЫ

В ночь на среду, на прошлой неделе, в Воскресоне зверски была зарезана старуха Барри. В течение пяти дней полиция ра-

зыскивала убийц и арестовала их только 7 апреля вечером. Одному из них 15 лет, другому 14. Убил старуху старший, Луи Элье, служивший мальчиком для посылок в дансинге в Дьеппе, младший – Эмпль Легуэн был «наводчиком». Вчера убийцы были доставлены в Воскресон, где в доме Барри судебными властями была восстановлена картина преступления. Полиция с трудом оберегала малолетних преступников от разъяренной собравшейся вокруг дома толпы. Заплаканный Легуэн подробно рассказал, как вместе с товарищем он зарезал старуху. Убийство было задумано задолго, и план был выработан во всех подробностях. В 9 час. вечера, во вторник, мальчики проникли в сад. Так как оба они очень малы ростом, то им пришлось приставить к стене железный садовый столик, чтобы подобраться к окну. Проникнув в дом, мальчики приступили к грабежу. Свет свечи разбудил старуху. Элье схватил железный лом и проломил старухе череп. Не зная, умерла ли она, мальчик продолжал избивать старуху ломом, пока голова ее не превратилась в бесформенную окровавленную массу. Денег убийцы не нашли. Вся их добыча была – 12 франков, найденные в ящике стола.

Это вовсе не «исключительный случай»,— в «культурной» Европе и С.-А. Штатах преступность среди детей и юношества всех классов очень заметно растет. У нас детская преступность должна падать и падает. Это — естественно, этим нельзя гордиться. Но гордиться деятельным участием ребят в культурной работе родителей — мы имеем право. К сожалению, далеко не все папаши и мамаши видят, понимают и ценят сотрудничество своих детей, а некоторые отцы даже поколачивают ребят за то, что они становятся умнее и решительно, активно берут на себя посильную работу по строению новой жизни. В крови отцов всё еще живет и бушует зараза прошлых веков — звериное пристрастие к своей норе, к своему логовищу, к «семье, основе собственности и государства» — того классового государства, которое, удерживая трудящихся в рабстве, драло по семи шкур с каждого и быстро вело рабочих и крестьян к физическому вырождению.

«Перед миллионами детей в Союзе Советов открыта широкая дорога в мир действительно новый»,— сказано кем-то из тех редких иностранцев, которые не ослепле-

ны враждою к Стране Советов. Он мог бы прибавить, что дети рабочих и крестьян Советских Социалистических Республик сознательно и смело идут по этой дороге впереди отцов, и это не было бы преувеличением.

Это — одно из наиболее значительных явлений нашей действительности, одно из тех «достижений», которые всё еще недостаточно поняты и недостаточно ценятся нами. Пять лет тому назад невозможно было такое активное и широкое участие детей в перевыборах советов, каким оно развернулось в текущем году. В этом же году состоялся чрезвычайно интересный съезд «деткоров». Прибавьте сюда работу крестьянских детей по борьбе за новые приемы скотоводства, по борьбе против засорения полей и вообще «мелкую», но крайне важную работу детей-школьников по практической пропаганде новых приемов сельскохозяйственной культуры. Сюда же нужно отнести демонстративные выступления детей против алкоголизма отцов.

Эти выступления напоминают мне умные слова даровитого писателя Стефана Цвейга:

«Природа, верная своей задаче сохранять творческую силу, почти всегда внушает ребенку ненависть к склонностям отца».

Сказано резко и как будто не в тон учению о наследственности, а все-таки звучит в этих словах некая грозная правда.

В Мурманск на слет пионеров Северного края я опоздал, но был у них гостем на концерте, сидел среди них и с великим наслаждением наблюдал и слушал маленьких людей нового мира. Видел товарища Палкина, очень хорошего декламатора, хотя он немножко шепелявит. Товарищу Палкину одиннадцать лет, но, видимо, он уже признанный артист. Когда он вышел к рампе, встал перед занавесом — сотен пять пионеров и все взрослые встретили его единодушными рукоплесканиями. Крепкий, большеголовый, с горячими глазами, он прочитал незнакомое мне героическое стихотворение Гюго и еще «Стену коммунаров». Читал он действительно артистически, и было ясно, что это мальчик талантливый. Но —

не в этом дело, а в том, что я совершенно не могу понять: как это случилось, что ребенок одиннадцати лет чувствует с такою глубиной и силою пафос революционного дела? Это — одно из маленьких чудес нашей эпохи, и это — человек, действительно окрыленный духом революции. О нем уже не позабудешь, и он, конечно, не пропадет. Он — сын рабочего, слесаря. Выступала тоненькая, удивительно легкая девочка, тоже лет двенадцати, не более. Она встала как-то боком к публике и, задорно поблескивая глазами вкось, тоже неплохо прочитала стихи. Выступали очень многие и та группа делегатов, с которой я познакомился в дороге. Бывшая беспризорница Сима оказалась ловкой плясуньей и хорошим режиссером, ею была поставлена маленькая сценка, в которой принимали участие люди всех племен, от каждого по паре. Это было очень забавно, но я, к сожалению, не понял, что это: Ноев ковчег или Интернационал?

В зале, битком набитом, было весело, шумно, и все-таки была «дисциплина»: каждый раз, когда на эстраду выходил кто-нибудь,— водворялась внимательная, чуткая тишина. В заключение мои знакомцы вышли на сцену с гитарами, балалайками, барабаном, треугольником и разыграли весьма ядовитый музыкальный фельетон.

Люба, их вожатая, спрашивает:

— Что нам пожелать такой-то организации Петрозаводска?

Музыканты играли: одной организации — «Понапрасну, Ваня, ходишь», другой — «Сухой бы я корочкой питалась», третьей — «Спи, младенец мой прекрасный», и так далее. Пионеры и публика, очевидно, знали, в чем тут дело, и весь зал единодушно смеялся, когда на вопросы Любы музыканты отвечали мотивами, должно быть, метко выбранных песен. Смеялись даже и тогда, когда было проиграно несколько тактов похоронного марша. В заключение Люба спросила:

— Что мы скажем на прощанье товарищам и гражданам?

И маленький оркестр заиграл под аплодисменты «Последний нонешний денечек». Всё это было удивительно хорошо, всё еще более укрепляло веру мою

в прекрасное будущее трудового народа. Память, «оживляя даже камни прошлого», воскрешала предо мною другие времена, другие игры и забавы. Далеко в прошлое ушло всё это, далеко ушло и — не воротится!

Я представляю себе пионеров — детей крестьян,— большую разнообразную работу ведут они в деревнях, и нелегко им живется. В марте, на московском съезде деткоров, руководитель съезда товарищ Фрумкина спросила ребят: приходится ли им спорить с родителями? Почти единодушно ребята ответили:

— Приходится, приходится!

Я тоже знаю, что — приходится. Есть ребята, которым, должно быть, чувство собственного достоинства или нежелание опорочить родителей перед товарищами не позволяет «выносить сор из избы». И некоторые из них пишут о своих огорчениях человеку, живущему за «тридевять земель» от них; может быть, потому и пишут далекому, что он — далеко и не расскажет. «Если отец еще раз порвет книги у меня — уйду в беспризорники»,— сообщает один из таких.

На съезде деткоров ребята указывали, как трудно работать им: сельсоветы не помогают или помогают скудно. «Шефствовать над отрядами никто не хочет». «Литературы нет» или — «мало». «Просили ячейку, чтоб она помогла нам запахать школьный участок,— не помогла, пришлось сдать в аренду». «Со стороны комсомольцев помощи нет». «Хороших вожатых — мало». «Нет помещения для собраний». «Негде ставить спектакли». «Дали вожатым комсомолку, неактивную»,— таких и подобных заявлений было высказано много.

Что делают они теперь в этих условиях? «Следим за тем, чтобы самогонку не варили». «Заполнили 600 карточек для перевыборов, написали плакаты, ходили по домам, разнося пригласительные карточки; когда взрослые ушли на перевыборы — оставались нянчить ребят». «Перед посевной кампанией выписали на школьные деньги сельхозную литературу и распространили ее». «Читали литературу неграмотным мужикам». «Учили мужиков чистить зерно, протравливать его». «Посадили у себя при школе турнепс, капусту и другие овощи, собрали, получили 300 р. дохода». «Посадили на школьном

участке турнепс, вырос большой, до полпуда, на выставке нам дали за него 32 р. премии, на эти деньги купили книг для ребят». «В некоторых деревнях детские артели птицеводов добились объединения взрослых в птицеводческие союзы». «Организовали союзы лесных лазутчиков». Нет ни одного уголка в деревне, куда не заглядывал бы зоркий глаз пионера, где его рука брезговала бы работать.

Деткоры на съезде говорили о необходимости борьбы с клопами и тараканами, о чистоте в избах, о том, что мужиков надобно учить обращаться умело с сельхозными машинами, о том, что в «Пионерской правде» и «Дружных ребятах» необходимо давать врачебные советы, страничку по музыкальной культуре, статьи о кролико- и пчеловодстве, печатать уроки по иностранным языкам и так далее, и так далее, а наконец заявлено требование: «Давать статьи о старых писателях, потому что мы у них все учимся. Нам надо сравнить старых писателей с нашими». Было предложено «давать статьи о всех важных и ученых людях, которые сделали какое-нибудь добро для жизни».

Один из деткоров рассказал:

— У нас один парень был пионером, его перевели в комсомольцы, а потом лишили права голоса, исключили. Он стал писать пропаганду в отряд, что вот такой-то пионер плохой. Организовал кулацкий кружок, который писал о пионерах плохо. Повел среди пионеров пропаганду. Пионеры сами стали говорить, что у нас, мол, ребята никуда не годятся. Он давал пионерам такие предложения: «Нам пионеротряд не нужен, зачем он нам, раньше жили без пионеротряда и было хорошо». Комсомольская ячейка обратила на нас внимание. Выбрали вожатым Путрину. Она была активной, хорошей, подняла работу отряда. Комсомольская ячейка во всем стала оказывать помощь, дала денег. Мы купили себе костюмы, библиотеку пионерскую. Затем Путрину исключили из комсомола и из вожатых. За ней мы ничего не замечали. Пионеры протестовали против ее исключения. Отряд стал распадаться.

Вслед за этим на съезде возник вопрос о лишенцах, и вот как решают деткоры этот вопрос:

— Лишенцы у нас работают так же, как и другие ученики, потому что эти лишенцы не виноваты. Разве они виноваты, что у них когда-то отец служил в полиции, в старый режим? Некоторые есть сыновья и дочери попов. Разве они виноваты? Вот перед нами стоит какой вопрос. Ты стремись своего родителя как-нибудь заинтересовать, чтобы он вышел из кабалы поповской, чтобы был тоже с нами, и через некоторое время вы тоже будете не лишенцы. И вот уже два попа выписались совсем. Одному дали жалованье, которое дает ему пропитание, а другой говорит: «Я сапоги шить умею и этим пропитаюсь». Вот видите, как у нас идет пропаганда среди учащихся. Не так, как говорят, что там против советской власти агитацию ведут и против населения и подрывают работу пионеротряда. У нас теперь организован кружок безбожников, и мы стремимся заинтересовать в этом кружке всех, чтобы поняли действительную теперешнюю жизнь. И ребята-лишенцы со всеми нами вместе работают, потому что они совсем не виноваты, что отец был у них урядником.

Другой деткор отозвался на эту речь так:

— Я слышу, что здесь говорят — лишенцев-ребят не допускать к работе. Ведь это, ребята, создается какое-то противодействие — *делают отряды противников*. Ведь сразу видно, что если пионер не хочет работать или что он против отряда. Его тогда исключить надо, отделить. У нас лишенцы все пионерами находятся. Нам неинтересно лишенца исключить, а интересно его воспитать, чтобы он не пошел по отцовскому пути, а пошел по нашему, как говорит политика, и чтобы не был там каким-то кулаком или противником советской власти, а чтобы был активным пионером и работником.

А третий сказал:

— Ребята лезут в правый уклон (*смех*). Конечно, правый уклон, когда говорят, что дети лишенных не виноваты. Их надо переубеждать, чтобы они не были такими, как отцы, но все-таки им дела, которые исполняет пионерская организация, давать ни в коем разе не следует. Если мы будем допускать их до всей работы — это будет считаться правым уклоном. У нас один комсомолец высказался против того, что ученики тех родите-

лей, которые лишены права голоса, не виноваты, так партийцы постановили, что это правый уклонист. Яблоко, ребята, от яблони недалеко падает. Если батька лишен избирательных прав, у него уже не такое настроение, как у бедняка, у него уже много другое настроение. А ученик, который у нас учится, с батьки берет пример. Есть и такие, которые, если батька говорит, не обращают на него внимания.

Из всего этого совершенно ясно, что пионеры деревни ведут разнообразнейшую культурную работу, что они являются новой и значительной силой, организующей новый быт.

«Больше внимания детям, подросткам, юношеству!» Вот еще один лозунг, который необходимо включить в ряд лозунгов пятилетки.

## V. СОЛОВКИ

В эти дни по всему Союзу Советов кинематограф показывает остров Соловки. Фильм этот я видел в Ленинграде после того, как побывал в Соловках; съемка сделана в 1926 году и уже устарела — в наше бурно текущее время даже и вчерашний день отталкивается далеко от сего дня.

Серое однообразие кино не в силах дать даже представления о своеобразной красоте острова. Да и словами трудно изобразить гармоническое, но неуловимое сочетание прозрачных, нежных красок севера, так резко различных с густыми, хвастливо яркими тонами юга; да и словами невозможно изобразить суровую меланхолию тусклой, изогнутой ветром стали холодного моря, а над морем — густо зеленые холмы, тепло одетые лесом, и на фоне холмов — кремль монастыря. С моря, издали, он кажется игрушечным. С моря кажется, что земля острова тоже бурно взволнована и застыла в напряженном стремлении поднять леса выше — к небу, к солнцу. А кремль вблизи встает как постройка сказочных богатырей,— стены и башни его сложены из огромнейших разноцветных валунов в десятки тонн весом.

Особенно хорошо видишь весь остров с горы Секирной— огромный пласт густой зелени, и в нее вставлены

синеватые зеркала маленьких озер; таких зеркал несколько сот, в их спокойно застывшей, прозрачной воде отражены деревья вершинами вниз, а вокруг распростерлось и дышит серое море. В безрадостной его пустыне земля отвоевала себе место и непрерывно творит свое великое дело — производит «живое». Чайки летают над морем, садятся на крыши башен кремля, скрипуче покрикивают.

В книге «Историческое описание Соловецкого монастыря» настоятель его и автор книги Мелетий сладостно рассказывает о том, почему гора названа Секирной. Первыми насельниками острова были «блаженный инок Герман» и «боголюбивый инок Савватий». «Сия богоизбранная двоица ознаменовала» — в 1429 году — «первое основание монастыря близ горы и воздвигла там пустыннические свои кущи». «Жена одного корелянина» — то есть карела,— «поселившегося со всем домом своим недалеко от кельи иноков, по зависти покусившегося завладеть угодьями островов Соловецких, жестоко была наказана от ангелов в образе двух благообразных юношей,— за сие, ее с мужем, намерение, противное воле божией, со строгим повелением удалиться с Соловецкого острова, что они немедленно и исполнили. Сие чудесное событие распространилось между окрестными жителями и навело страх и ужас на всех,— с той поры никто из мирских людей не осмеливался селиться на Соловецком острове».

Для нашего времени, когда политико-экономический смысл всех легенд и чудес вскрывается очень просто,— смысл этой чудесной легенды тоже совершенно ясен. Хотя есть в ней и темное место: непонятно, почему «ангелы в образе благообразных юношей» наказали жену карела, а не его самого? Рассказ архимандрита Мелетия запечатлен в красках на иконе, которая хранится в музее Соловков. Рассматривая икону, убеждаешься, что ангелы XV века крайне плохо знали технику порки: они секли прутьями карелку не по тому месту, которое указано древней традицией, а гораздо выше — по спине. Так как пишущий сие в детстве своем нередко исполнял роль секомого, он обязан сообщить секущим, что, ежели сечь прутьями по спине,— боль ощущается гораздо силь-

нее, потому что в спине находятся близко к поверхности чрезвычайно чувствительные кости, кости же седалища природа,— предусмотрительно обнаружив в этом случае гуманность, вообще не свойственную ей,— скрыла глубоко в мускулах, и допороться до этих костей нелегко даже для очень усердного и опытного секутора. И, наверное, именно один из специалистов порки, убедясь в чудесной выносливости ягодиц человеческих, создал, в сознании бессилия своего пропороть их до костей, поговорку: «Как хошь пори, хоть — сам ори!»

Желающим ознакомиться с историей политической жизни Соловецкого монастыря указываю вышеупомянутую книгу. Написана она весьма красноречиво и так елейно, как будто автор писал не чернилами, а именно лампадным маслом с примесью патоки. Читая ее, вспоминается изречение: «Красно глаголяй — лжу глаголешь».

В 1875 году имущество монастыря оценивалось в 10 миллионов рублей. Даровой труд богомольцев приносил братии чистого дохода до 50 тысяч рублей в год. Покупали монахи только хлеб в Архангельске, всё же иное необходимое добывалось трудом верующих. Тысяч на 30 ежегодно отправляли продуктов на материк. Богомольцев монастырь принимал до 25 тысяч в лето. Между прочим, трудами их построена между двумя островами каменная дамба длиною около двух верст,— труд немалый! Несмотря на всё это, монахи жаловались на умаление доходов: «Оскудевает лепта народная господу богу, уже не о душе своей пекутся люди, а только о чреве, о нищете. А как слепая вера была — нищеты не замечали».

Так, по рассказу Василия Немировича-Данченко в его книге «Соловки», жаловались они в 1875 году и так же двое из них жаловались в 1896 году строителю Архангельской железной дороги Савве Мамонтову на Всероссийской выставке, а он сердито убеждал вложить деньги монастыря в морское судостроение: «А то от вас, как от козлов: ни шерсти, ни молока».

На всем протяжении бытия своего монастырь являлся рассадником совершенно определенных идей. Очень простые и емкие, идеи эти заключают в себе са-

мую сущность консервативного мракобесия и всю политическую мудрость мещанства: «Избави бог от образованных. Мужичок наш — работничек и кормилец, а образованный смуту сеет да неустройству всякому — глава». Именно эти идеи развивали идолопоклонники троицы «православие, самодержавие, народность», развивали от времен Александра I до Константина Победоносцева, и даже в наши дни,— под криками вражды к буржуазной культуре нередко слышится изуверская ненависть к «образованному» со стороны новых махаевцев и анархистов из мещан. Именно эти идеи ежегодно тысячи богомольцев распространяли по всей крестьянской и уездной России.

О культурном уровне соловецких монахов убедительно говорит тот факт, что, несмотря на богатейшие собрания исторических документов, накопленных в течение 500 лет, не нашлось ни одного монаха, который написал бы приличную историю сношений монастыря с Англией, Швецией, историю его участия в церковном «расколе» и так далее. Наиболее ценные документы, из боязни, что их «мыши съедят», были переданы монастырем Казанской духовной академии.

Монахи и теперь живут на острове как «вольнонаемные», плетут сети, ловят знаменитую соловецкую сельдь. Их там больше полусотни, живут они «как привыкли», в сторонке от «мира», тихонько работают, молятся в церкви. Их почти не видно среди очень грешного населения острова, лишь изредка мелькнет, как тень далекого прошлого, темная фигура,— длинное одеяние еще более усиливает ее сходство с тенью. Видишь такую фигуру, и вспоминается множество монастырей, вспоминаешь тысячи угрюмых черных церковников, «стражей грешного мира». Боясь бога, они не жалели людей и очень выгодно для обители меняли свой кусок хлеба на труд бездомных бродяг, на ласки обессиленных, ошеломленных горем жизни деревенских баб, «странниц по обету». Труды и молитвы монашества нимало не мешали ему дополнять «Декамерон» Боккаччио, и нигде не слыхал я таких жирных, так круто посоленных рассказов о «науке любви», как в монастырях. А во всем прочем — удиви-

тельно бездарно было наше монашество, тогда как римско-католическое, не говоря о талантливости его миссионеров, о дьявольски ловко и широко поставленной во всем мире пропаганде, дало человечеству ряд крупных писателей, ученых, философов: Томаса Мора, Кампанеллу, Рабле, Менделя, Пристлея, выдвинуло таких организаторов, как Игнатий Лойола, Доминик, Савонарола, Франциск Ассизский. Ничего подобного не создала наша черная армия «захребетников» крестьянства.

На пароходе из Кеми в Соловки я спросил монаха:

— Как живете?

— Не худо, бога благодаря...

— А начальство как относится к вам?

— Начальство тут желает, чтобы все работали. Мы — работаем.

Помолчав, он добавил:

— Без работы и червь не живет.

Я ждал, что он скажет: «и птица». Над пароходом летала чайка. Странно, что человек на море помнит о червях.

Монах был изрядно выпивши, но не очень многословен. В ответах его чувствовалась мужицкая осторожность, устойчивое недоверие к человеку из другого мира. Он — тощий, жилистый, на землистом лице реденькая серая бородка, бесцветные глаза спрятаны в морщинах и смотрят из них на море, на палубу, точно в щель. Наверное, он смолоду смотрел на землю и людей вот так прихмуренно, как смотрят в дырочку, и мир казался ему жутко маленьким, темноватым. С острова — мир безграничен и пуст, в нем можно жить спокойно, ни о чем не думая, ни за что не отвечая.

Я спросил монаха: не поколебалась ли его вера в бога?

Отодвинувшись от меня, он подумал и сказал:

— Почто? Кому дано, да не отъемлется! Так учили нас. Так оно и есть.

— Люди становятся безбожны.

Он снова подумал и проворчал:

— Одно дело — люди, другое — монахи.

Это напомнило мне монаха в Лубнах у Афанасия Сидящего. Тот считался мудрецом и даже «провидцем». Толстый, огромный, с одутловатым, мягким, как подушка, лицом, с большим желтым носом, губы толстые и мокрые, а черные глаза нагло выкачены, и на поверхности зрачков искусственно добрая, но не глупая улыбочка. Говорили, что он страдает какими-то припадками и во время их пророчествует, но послушник в хлебопекарне сказал мне, что болезнь пророка — запой. В такие дни его прятали в чулан за хлебопекарней. Он поучал меня:

— Ты меньше спрашивай. А тебя спросят — не отвечай сразу, сначала подумай. Да не о том думай, что спросили, а о том — для чего? Догадаешься — для чего, тогда и поймешь, как надо ответить.

Монаха, с которым я познакомился на пароходе, пригласили завтракать. Он хорошо покушал колбасы, ветчины, выпил еще немного водки и стал более благодушен. В мутных глазах засияла улыбка удовольствия. Но красноречия не прибавилось у него.

— Все люди — люди! Что боле скажешь? Ничего не скажешь! Так-то,— ворчал он, вздыхая.

На обратном пути из Соловков в Кемь познакомился еще с одним монахом, толще, сытее первого, солиднее его. Глазки у него маленькие, кабаньи, и на женщин он смотрит внимательно тем «центральным взглядом», который сразу обличает в человеке склонность к смертному греху любострастия. Он получает 60 рублей в месяц на всем готовом, потому что он искусный строитель: он соединил несколько озер на острове каналами, по которым свободно ходит катерок, транспортируя лес. Он же руководил реставрацией зданий в кремле монастыря,— здания были разрушены пожаром, кажется, в 1923 году, а причиной пожара был поджог, учиненный агентами белогвардейцев. Он считает себя человеком, который в деле строительства осведомлен лучше всякого ученого инженера, и не любит инженеров.

— Мешают только. Всё меряют. Сами себе, значит, не верят,— ворчит он.

Он — привычный пьяница. Ему уже за 60, но недавно он выразил желание жениться. Это повело к тому, что «братия» пригрозила: не будем пускать в церковь. Убоясь отлучения от церкви, он решил: нельзя одну запрягать — на перекладных поеду.

На щекотливые вопросы о «братии», о боге он отвечает нечленораздельным мычанием, неопределенными жестами и подмигивая.

— Начальство — свое дело делает, я — свое,— ворчит он. — Начальство меня понимает.

Начальство относится к нему благодушно и, видимо, ценит его работу. Есть в этом благодушии ирония, но она не обидна, да едва ли строитель и чувствует ее.

За обедом он крепко напился, ему стало жарко, он снял толстый серый полукафтан, и на спине его, на ситцевой рубахе, я увидел бархатный квадрат — «нарамен-ник», по бархату шелком вышиты крест, трость, копие и — вязью — слова:

«Язвы господа моего Христа ношу на теле моем».

Когда монаха фотографировали, он, хотя и пьяный, все-таки попробовал принять позу героическую. Это не очень удалось ему.

Соловецкие монахи любят выпить, вот в доказательство этого два «документа»:

НАЧАЛЬНИКУ СОЛОВЕЦКИХ ЛАГЕРЕЙ ОГПУ

Группы монахов б. Соловецкого монастыря, смиренных Трефилова, Полежаева, Мисукова, Некипелова, Казицына, Челпанова, Сафонова, Катюрина, Самойлова, Немнонова, Белозерова и других

Покорнейшее заявление

Припадая к Вашим стопам, мы, монахи б. Соловецкого монастыря, ввиду приближения праздника Пресвятой Троицы и так как двунадесятые праздники по старо-христианскому и церковному обычаю не могут быть праздниками без виноизлияния, просим Вас разрешить выдать нам для распития и услаждения 20 литров водки, в чем и подписуемся.

(Подписи)

22 июня 1929 г.

НАЧАЛЬНИКУ СОЛОВЕЦКИХ ЛАГЕРЕЙ

Группы монахов бывшего Соловецкого монастыря: Коганева А. Н., Берстева Г. Д., Лопакова М. А., Пошникова Акима и других

Покорнейшее заявление

Припадая к стопам Вашим, смиренно просим разрешить нам, ввиду предстоящего праздника св. Троицы, получить из Вашего склада некоей толики винного продукта, сиречь спирта. Причина сему та, что завтра, 23 сего июня, будет двунадесятый день святыя Троицы и в ознаменование такового согласно священным канонам церкви надлежит употребление винное. Всего надо 8 литров.

К сему подписуемоси

монах Антоний М., Мих. Лопаков, монах Геласий.

22 июня.

Хороший, ласковый день. Северное солнце благосклонно освещает казармы, дорожки перед ними, посыпанные песком, ряд темно-зеленых елей, клумбы цветов, обложенные дерном. Казармы новенькие, деревянные, очень просторные; большие окна дают много света и воздуха. Время — рабочее, людей немного, большинство — «социально опасная» молодежь, пожилых и стариков незаметно. Ведут себя ребята свободно, шумно.

Я прпехал сюда с Матвеем Погребинским, организатором трудовых коммун, автором книжки о Болшевской коммуне, человеком неисчерпаемой энергии и превосходным знатоком мира «социально опасных». Ребята знают, что он явился набирать несколько сотен человек в Болшевскую трудкоммуну: товарищи, работающие там, сообщили им, что коммуна растет, нуждается в людях...

На крыльце одной из казарм стоит весьма благообразный старик. Сухое «суздальское» лицо его украшено аккуратной бородкой, на нем серый легкий пиджак, брюки в полоску, рубашка с отложным воротником, темный галстук. Ботинки хорошо вычищены. Он похож на «часовых дел мастера», на хозяина га-

лантерейного магазина,— вообще на человека «чистой жизни».

— Фальшивомонетчик? — тихонько спрашиваю Погребинского.

— Нет.

— Экономический шпионаж?

— Профессиональный вор. Начал с двенадцати лет, теперь ему шестьдесят три. Через несколько месяцев кончается срок.

Старик вежливо приветствует Погребинского, независимо осматривая меня и моего сына. Знакомлюсь с ним, спрашиваю: что он будет делать, кончив срок?

— У меня — своя судьба, своя профессия,— охотно и философски просто отвечает он.

Серые, холодные глаза, круглые, точно у хищной птицы, бесцеремонно и зорко осматривают меня, моего сына, секретаря. Стоит он твердо, сухое тело его стройно и, должно быть, крепко.

— Трудно вам здесь?

— Нет. По возрасту не подлежу назначению на тяжелые работы.

И, улыбаясь остренькой улыбкой, прибавляет:

— А если ошибся — плати! Так положено.

Погребинского тесно окружила молодежь. Он носит рыжую каракулевую шапку кубанских горцев, и «социально опасные» зовут его — «Кубанка». Он говорит с ними на «блатном» языке тем же грубовато дружеским и шутливым тоном, как и они с ним.

Старик, прислушиваясь к его беседе, вполголоса сообщает мне:

— Со шпаной этой, конечно, нелегко жить. Не на воле, где на них у нас управа есть. И побеседовать не с кем. Мелкота всё. А я, знаете, работал крупно. Может, помните, еще до войны писали в газетах о краже у Рейнбота, московского градоначальника? Моя работа. А также у банкира Джамгарова, у графа Татищева... Всё — я...

Усмехаясь, поглаживая бородку, он продолжает вспоминать «дней былых опасные забавы, шум успехов и улыбки славы».

— У Рейнбота засыпался. Выскочил он в ночном

дезабелье, с револьвером в руках, присел за кресло, кричит и сует револьвер в воздух, а револьвер — не стреляет! Незаряжен был, или предохранитель не открыт, или другое что,— не стреляет! Ну, конечно, на крик прибежали...

Он вздохнул и поморщился, но тотчас снова расцвел.

— Смешно было смотреть на него: спрятался, кричит. А ведь военный и даже градоначальник. Неожиданность, конечно! Неожиданность всякого может испугать,— поучительно добавляет он.

Подошел Погребинский и сказал:

— А знаешь, Медвежатник у нас, в Болшеве.

— У-у вас?

— Ну да!

Старик вырос, выпрямился еще более, лицо его покрылось бурыми пятнами, несколько секунд он молчал, открыв рот, ослепленно мигая, молчал и шарил руками около карманов брюк, как бы вытирая ладони. Было ясно, что он не верит, изумлен. Потом, сухо и сипло покашливая, вытянул лицо, щеки его посерели, он заговорил, всасывая слова:

— Ах, сволочь! Ссучился? Ах, сука! Такой суке — нож в живот! Повесить его надо, мерзавца! Ах ты...

Я отошел прочь. В памяти остались холодные зрачки, покрасневшие белки хищных глаз и на губах кипящая слюна. Сколько мальчишек воспитал ворами, а может быть, и убийцами этот человек за пятьдесят лет его работы, сколько людей он толкнул в тюрьмы!

Сижу в казарме. Часы показывают полночь, но не веришь часам; вокруг — светло, дневная окраска земли не померкла, и на бледно-сером небе — ни одной звезды. Здесь белые ночи еще призрачней, еще более странны, чем в Ленинграде, а небо — выше, дальше от моря и острова.

Широкая дверь казармы открыта, над койками летает, ластится свежий солоноватый ветерок, вносит запах леса. Большинство обитателей спят, но десятка три-четыре собрались в углу вокруг Погребинского. Ясно,

что он пользуется широкой популярностью среди этих людей; они хорошо знают обо всем, что он делает, они доверяют ему и не стесняются с ним.

На его вопросы отвечают:

— Ты — «свой», сам знаешь!

Биографии ребят однообразны: война и голод, «бегенство» и сиротство, беспризорность, встреча с такими воспитателями юношества, как старый вор, неудачно пытавшийся «поработать» в квартире московского градоначальника. Мне очень хотелось понять, что говорит Погребинский, но я не знаю «блатной музыки», читал когда-то книжку Трахтенберга о ней, но забыл язык этот. Выспрашиваю ребят, ближайших ко мне:

— Трудно вам здесь?

— Не легко.

— Прямо говори — тяжело! — советует другой.

Жалуются довольно откровенно, однако единогласия нет: то один, то другой «вносят поправки».

— Все-таки не тюрьма!

С ним соглашаются:

— Это — да!

И снова начинается «разнобой».

— На торфу тяжело работать.

— Там паек выше зато...

— Работаем по закону — восемь часов.

— Трудно осенью, на лесоразработках.

— На торф бандитов посылают теперь.

— Грамоте учат.

Человек, должно быть, не очень расположенный к наукам, говорит, вздыхая:

— Хочешь не хочешь — учись!

Эти слова тотчас вызывают эхо:

— Теперь дуракам — отставка!

По внешности — всё это люди возраста от двадцати до тридцати лет. Дегенеративные лица не часты. Конечно, есть хитренькие, фальшивые улыбочки в глазах, есть подхалимство в словах, но большинство вызывает впечатление здоровых людей, которые искренно готовы забыть прошлое, добиться «квалификации». Спрашиваю костлявого, угловатого парня с темным старческим лицом, сколько ему лет.

— Восемнадцать,— говорит он неожиданно звучным голосом, а его сосед, круглолицый весельчак, торопится сообщить:

— Он с восьми лет пошел в игру.

Чувствуется, что многие решительно отмахнулись от своего прошлого и не любят говорить о нем, а если говорят о себе, то как о людях уже чужих, о людях, которых обманули. Почти каждый вставляет в речь «блатные словечки», и порою не совсем ясно, что хочет сказать человек, а иногда фраза звучит как будто двусмысленно. Но, как всегда и везде, то и дело сверкают афоризмы. Вот за спиною моей спорят вполголоса:

— Шкуру дерут...

— Кто дерет? Своя рука.

— Не зря называется: рабоче-крестьянская...

— Н-ну... Для своей — тяжела.

— А чья?

Бойкий голосок говорит:

— Тонкая кожа — ценой дороже.

Около Погребинского кричат:

— Споем, ребята!

Начинают петь «Гоп со смыком» — песню о воре, который всю жизнь пил и умер со стаканом водки в руке. Песня не ладится и мешает беседовать. Пробуют плясать, но и это не выходит. Мой сосед, крепкий, мускулистый парень, говорит, как бы извиняясь:

— Плясуны у нас есть хорошие, да спят!

Спрашиваю: любит ли он читать и что читает? Он говорит, что здесь в библиотеке интересных книг мало, а вот «на воле» он читал Марка Твена.

— Это — самый лучший писатель!

Коротконогий увалень и, судя по глазам, неглупый парень похвалил Диккенса и Джека Лондона, а через голову его кто-то одобрил Гюго. В дальнейшем утверждается, что иностранцы пишут лучше, интереснее русских. Это утверждение давно знакомо мне: лет сорок тому назад я неоднократно слышал его в такой же среде и вообще на протяжении жизни слышал эту оценку «простых» людей сотни раз. Для меня совершенно ясно и вполне естественно, что простые люди тяготеют к тому течению художественной литературы,

которое, прославляя волю, способствует организации ее, будит в человеке активное отношение к жизни. Очень жаль, что наши литераторы не улавливают этого столь законного исторически и биологически позыва массы к организации ее воли, позыва, который в сущности своей скрывает всё еще смутное сознание необходимости преодолеть старую действительность.

Ребята продолжают говорить о книгах. Один похвалил «Уральские рассказы» и «Три конца» Мамина-Сибиряка, другой,— с длинным лицом и лошадиными зубами,— сказал, что самый лучший писатель — Чехов. Угрюмый, широкоплечий парень заявил, что «понимает читать только историческое».

— Почему?

— Интересно знать, как прежде жили, а как теперь живут, я сам знаю лучше всякого писателя.

Сказал — и сплюнул сквозь зубы.

Эта беседа шла сквозь бойкий, оживленный говор парней вокруг «Кубанки». Его насмешливые вопросы, задорные словечки «блатного» языка то вызывали хохот, то, водворяя тишину, заставляли ребят теснее сжиматься вокруг «Кубанки». Больше всего ребят занимал вопрос: переведут ли их в Болшево и получат ли они там «трудовую квалификацию»? Шум будил спящих; вставая с коек, они протирали глаза, позевывали, подходили к нам. Снова попробовали петь.

Песни еще раз убедили меня в том, что у нас развивается любопытный процесс: героика действительности вызывает к жизни лирику — свою противоположность. Но, видимо, существует ощущение неуместности словесных лирических излияний в наши суровые эпические дни. И вот создатели песен прибегают к своеобразному и довольно ловкому приему: они берут старые песенные мотивы и вставляют в лирическую мелодию нарочно искаженные, комические слова:

Что ты, девка, ночью бродишь,
Не боишься мертвецов?

или:

Своею русою косою
Трепетала по волнам.

или:

И с шашкою в рукою,
И с винтовкою в другою,
И с песней на губе.

Все эти и подобные нелепейшие слова как будто высмеивают лирику, но на самом деле таким приемом достигается то, что лирика остается в музыке. Сергея Есенина не спрячешь, не вычеркнешь из нашей действительности, он выражает стон и вопль многих сотен тысяч, он яркий и драматический символ непримиримого раскола старого с новым.

Нашу беседу в казарме прервал молодой человек «мелкого калибра». Его довольно изящная фигурка ловко вывернулась из толпы, он вежливо поздоровался, подал мне лист бумаги, сложенный вчетверо, и заговорил о том, что «желает заслужить свой проступок». Но его речь заглушили громкие крики ребят:

— Это — шпион!

— Он не из нашей казармы.

— Он против советской власти.

А густой бас очень сердито и несколько смешно крикнул:

— Такие компрометируют нас!

Шум возрастал, внушая мне подозрение, что парни «разыгрывают» меня. Но в голосах и на лицах я слышал, видел подлинное, искреннее презрение к маленькому человечку. Рябоватый парень, сосед мой, ворчал:

— Мы — воры, а на такие штуки не ходим.

— Ври! Бывает и с нами!

— Так — в своем кругу, чёрт! Родину не продаем.

Человечек замолчал, поглядывая на всех спокойно, прищурив глаза. В его позе была уверенность, что люди, давая волю языкам, воли рукам своим не дадут. Да и я видел, что презрение к нему не переходит в злобу. Но, очевидно, он весьма надоел всем.

— Приходит, проповедует.

— За дураков считает нас.

Кто-то говорит прямо в ухо мне:

— Сам сознается, зачем его послали поляки.

Человечек убеждал меня:

— Да, я вину свою признал... Вот прочитайте. Обещаю служить честно. Я так много пострадал...

Он как-то расстроил, перепутал всё, вызвал хаос... Под шум голосов я прочитал его бумагу.

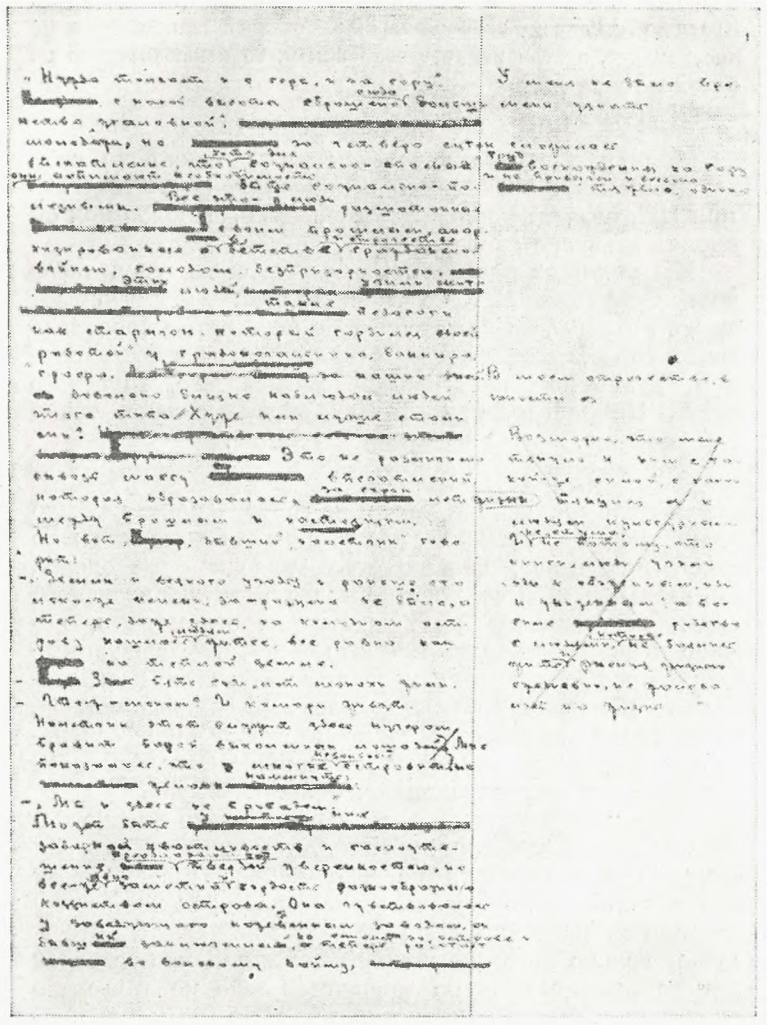
ЗАЯВЛЕНИЕ

Заключенного воспитанника трудовой колонии Соловецкого концлагеря

1927 года, октября 21 дня, я приговорен Криворогской Чрезвычайной сессией к 10 годам лишения свободы в силу ст. 54–6 Украинского У. К. В преступлении я чистосердечно сознался перед судом, но преступление, совершенное мною, было лишь потому, что я совершил его по своей молодости. В 1919 году во время гражданской войны я утерял своих родителей и попал в одну из частей пулеметной команды Красной Армии набивщиком патрон в пулеметные ленты, но в том же году попал к петлюровским войскам в плен, и благодаря моей молодости мне удалось сохранить жизнь. В начале 1920 года петлюровские войска эвакуировались в Польшу, в момент эвакуации мне пришлось уходить с ними, так как я был усыновлен поручиком Б... В начале 1924 года я был помещен в польскую школу и приют под назв. «Бурса УП» в гор. Варшаве. В 1925 году я был помещен в авиашколу – но на родину меня тянуло более сильным магнитом – я хотел уехать легально,– но не имея на то разрешения, мне пришлось принять поручение, данное мне.

Настоящим я даю подписку о том, что никогда преступлений делать не буду и буду заниматься исключительно честным трудом. И на основании этого прошу при совершении самого маленького преступления принять *высшую меру* (расстрел) и прошу Вас также на основании моей подписки заменить Соловки Красной Армией, колонией в Москве, а я со своей стороны даю клятву перед лицом Центрального исполнительного комитета и Коллегии ОГПУ, что буду принимать самое активное участие в работе.

Я действительно сознаюсь, что я сделал большое преступление – но я понимаю, какое я получил воспитание в Польше,– оно не соответствовало воспитанию, которое я мог бы получить в теперешней советской действительности, а также понимаю всё то, что сделано для меня во время пребывания в исправдоме и концлагере, а в частности, трудовой колонии. Я – молод, я – преступление совершил, но совершил лишь по своей молодости.



**«ПО СОЮЗУ СОВЕТОВ».**
**Страница автографа.**

Я прошу не отказать в вышеупомянутой просьбе и направить в Красную Армию, я с военной тактикой отчасти знаком, а остальное научусь, а если найдете возможным, то исключительно по Вашему усмотрению.

21.VI–29 г.

Мне сказали, что человечек этот принял на себя такой «заказ»: проникнуть в комсомол, держаться линии ЦК, изучить горнос и летное дело. В комсомол он проник и вскоре «провалился».

Мы ушли из казармы. Было уже около трех часов ночи. Очень смущает это странное небо — нет в нем ни звезд, ни луны, да кажется, что и неба нет, а сорвалась земля со своего места и неподвижно висит в безграничном, пустынном пространстве мутноватого, грустного света. На западе, над морем — легкие облака, точно груды пепла. Истерически кричит чайка.

«Нужда толкает и с горы и на гору». У меня не было возможности и времени узнать, с какой высоты упало сюда, на остров, большинство уголовной молодежи, но, разумеется, высота эта не могла быть значительной; среди «островитян» преобладают малограмотные, немало и безграмотных. Всё это — люди, расшатанные своим прошлым, анархизированные в детстве и отрочестве гражданской войною, голодом, «беспризорностью». Этих людей учили жить такие педагоги, каков серенький, аккуратный старичок, который хвастался своей «работой» у градоначальника, банкира, графа.

В моем отрочестве и юности я довольно близко наблюдал людей этого рода и типа. Хуже или лучше стали они? Трудно ответить на этот вопрос сквозь массу впечатлений, которая образовалась за сорок лет между прошлым и настоящим. Но все-таки мне кажется, что — хуже. Только потому должны быть хуже, что за сорок лет до нашего времени мещанство еще не торговало кокаином и другими наркотиками. Не было и тех причин анархизации молодежи, которые указаны выше и явились результатом «могучего развития» буржуазной культуры.

Несомненно, они покажутся хуже, если посмотреть

на них из «Мертвого дома» глазами Достоевского или из «Мира отверженных» глазами Якубовича-Мельшина. В них весьма мало похожего на «униженных и оскорбленных». И в большинстве своем они вызывают весьма определенную уверенность в том, что ими понято главное: жить так, как они начали,— нельзя. Присматриваясь к современным «социально опасным», я не могу не видеть, что, хотя труд восхождения на гору и тяжел для них, они понимают необходимость быть социально полезными. Разумеется, это — влияние тех условий, в которые они, социально опасные, ныне поставлены.

Бывший «налетчик» говорит:

— Земли и всякого угодья и раньше столько же имели, да — разум дремал. А теперь вот и здесь, на холодном острову, нашлось людям житье, всё равно как и на теплой земле.

— Здесь пятьсот лет монахи жили...

— Что ж монахи? И комары живут.

Налетчик этот работает здесь кучером, правит парой холеных лошадей. Он, собственно, не «налетчик», а только «подвозил» налетчиков, будучи извозчиком-«лихачом». Таких лихачей на острове несколько человек, все они заняты своим делом.

— Работаем специально на лошадях и около,— сказал один из них.

«Мимоходом» видишь, конечно, больше, чем слышишь. О многом догадываешься по сравнению с прошлым. Расспрашивать людей, а особенно «прижатых судьбою в угол»,— я не мастер, и, если сами они не говорят о себе,— молчу. Мешает еще и то, что мне кажется: в каждом из таких «прижатых» есть та или иная доля чувств, которые «во время оно» были свойственны и моему «я». Воскрешать это «я» не всегда приятно, хотя и поучительно.

В «степгазете», на кирпичном заводе, редактора показали мне неплохую шутку:

— «Слышали — Горький приехал к нам.

— На десять лет?»

Но я думаю, что во всех морях и океанах нет острова, на котором мне удалось бы прожить еще десять лет. А суровый лиризм этого острова, не внушая бесплодной

жалости к его населению, вызывает почти мучительно напряженное желание быстрее, упорнее работать для создания новой действительности. Этот кусок земли, отрезанный от материка серым, холодным морем, ощетиненный лесом, засоренный валунами, покрытый заплатами серебряных озер,— несколько тысяч людей приводят в порядок, создавая на нем большое, разнообразное хозяйство. Мне показалось, что многие невольные островитяне желали намекнуть:

«Мы и здесь не пропадем!»

Возможно, что у некоторых задор служит для утешения и преобладает над твердой уверенностью, но всё же у многих явно выражается и гордость своим трудом. Это чувствуется у заведующего кожевенным заводом; он — бывший заключенный, но, кончив срок, остался на острове и работает по вольному найму.

— В обработке кожи мы отстаем от Европы, а полуфабрикат у нас лучше,— сказал он и похвалил рабочих: — Отличные мастера будут!

В Мурманске я слышал, что мы «отстаем» и в деле производства лайки, посылаем ее за границу полуфабрикатом, так же, как это делается в Астрахани с рыбьим пузырем.

Людей, которые, отбыв срок заключения, остались на острове и, влюбленные в свое дело, работают неутомимо, «за совесть», я видел несколько. Особенно значительным показался мне заведующий сельским хозяйством и опытной станцией острова. Он уверен, что Соловки могут жить своим хлебом, следит за опытами Хибинской станции с «хладостойкой» пшеницей, мечтает засеять ею триста гектаров на острове, переписывается с профессором Палладиным и Н. И. Вавиловым. Разводит огурцы, выращивает розы, изучает вредителей растений и летает по острову с быстротой птицы; в течение четырех часов я встретил его в трех пунктах, очень отдаленных один от другого. Показал конский завод, стадо отличных крупных коров, завод бекона, молочное хозяйство. Первый раз видел я конюшни и коровник, содержимые в такой чистоте, что в них совершенно не слышен обычный, едкий запах. Ленинградская молочная ферма гораздо грязнее.

— Лошадей у нас пятьсот голов, но этого мало. Поросят продаем на материк, масло — тоже. Скот уже и теперь снабжает нас достаточным количеством удобрения,— говорит заведующий.

Он, видимо, человек типа таких «одержимых», уверенных в победоносной силе науки, каким был Лютер Бербанк и каков есть наш удивительный Мичурин.

— Плохой земли нет, есть плохие агрономы,— сказал он, и веришь, что это так и есть.

Тут кстати вспомнить, что на другом конце Союза Советов, около Астрахани, другой агроном с негодованием, но в то же время и с радостью убеждал меня:

— Мы хозяйствуем на земле всё еще как дикари,— хищнически, грубо. Вы представить себе не можете, как отчаянно истощает почву крестьянин убожеством своей обработки, это, знаете,— государственное бедствие! И вообще — ужас! Совершенно не утилизируются отбросы городов, сотни тысяч тонн окиси фосфора — огромнейшее богатство! — бесплодно погибает в помойных ямах,— вы понимаете? — сотни тысяч тонн фосфора, а? А ведь он взят у земли и его необходимо возвращать ей,-- понимаете?

Из всего, о чем он пламенно говорил, я хорошо почувствовал одно: это говорит талантливый человек, хороший работник в той области науки, которая по словам профессора Н. И. Вавилова должна «упорядочить земной шар». Таких, как этот, я встретил несколько человек. Это крепкая, здоровая молодежь — значительнейшая культурная сила нашей страны. Большое дело делают эти люди, работа их заслуживает серьезнейшего внимания и всемерной помощи.

Заразителен их пафос, когда они рассказывают о росте «рентабельных культур», о кендыре, кенафе, люфе, о рисосеянии, о культуре хлопка в Астраханской области и на Украине, о шелководстве.

Руководитель астраханской опытной станции, обожженный солнцем человек, которому очень надоели посетители, мешающие работать, с победоносной улыбочкой рассказывал о жадности, с которой крестьяне взялись за культуру кенафа.

— Хватают! Умнеет мужичок. Гектаров тысячу засеяли уже.

Работать советскому агроному приходится много, спрос крестьянства на его труд и знания быстро растет. Удивляешься, когда успевают молодые агрономы-практики следить за наукой,— по, видимо, следят, я решаюсь сказать это потому, что слышал их суждения о «Геохимии» В. И. Вернадского, о «Центрах происхождения культурных растений» Н. И. Вавилова и о его — вместе с Д. Д. Букиничем — книге «Земледельческий Афганистан».

Расскажу, как один из агрономов сконфузил меня. Это было в Сорренто. Я чистил дорогу к заливу, когда ко мне подошел розовощекий, светловолосый и чистенько одетый молодой человек. Мне показалось, что это — норвежец, швед или датчанин. Рассчитывая отдохнуть от работы пером на работе лопатой и граблями, я встретил его не очень любезно. Но он заговорил по-русски. Значит — служащий торгпредства, получил отпуск, путешествует. И снова я ошибся: он — украинец, работает по культуре винограда на Кубани, командирован изучать виноградарство в Европе, был на Рейне и Мозеле, в Шампани и Бордо, обследовал Тоскану и вот явился сюда, на юг. Естественно было спросить его: какого же он мнения о виноградарстве Италии? Спросил. И в ответ юноша с изумлением произнес горячую речь, свирепо издеваясь над итальянской культурой винограда. Окончательный его вывод был прост, как шар: никакой культуры винограда в Италии нет.

— Можно только удивляться терпению здешней лозы и плодородию почвы, а крестьяне-виноградари — варвары,— так, приблизительно, сказал он. Это совпадало с моими небогатыми наблюдениями, но всё же я подумал, что юноша чрезмерно свиреп и немножко смешно заносчив.

— Сколько вам лет? — осведомился я.

— Двадцать шесть.

— Давно работаете в этой области?

— Четвертый год.

— Вам, вероятно, известно, что культура винограда насчитывает здесь за собою тысячи две лет?

— Ну, что же! И пшеницу давно сеют, но ведь тоже плохо,— сказал он, вздохнув, и — покраснел. А затем ошеломил меня:

— Вы полагаете, что я горячусь по молодости моей? Нет, видите ли, у меня уже кое-какие работы напечатаны на немецком языке, я вам пришлю, если интересуетесь...

Прислал. Мне перевели его работы на русский язык, узнал я и оценку их компетентными людями. Очень смущен моим недоверием к нему и нелюбезным приемом. Но — зачем он так возмутительно молод!

Возвращаясь на Соловецкий остров, должен отметить заведующего питомником чернобурых лисиц, песцов и соболей. Он тоже бывший заключенный и тоже «схвачен делом за́ сердце». Зверей своих трогательно любит, любуется ими и заставляет любоваться.— «Нет, смотрите — очень красивы!»

Сумел приручить даже такое недоверчивое, злое существо, какова лиса,— она влезает на колени, на плечо ему, берет пищу из рук и не прячет, не загоняет детенышей своих в нору, когда к ее клетке подходят люди. Совершенно изумительна бесшумная, нервозная быстрота движений лисы и ее зоркая, напряженная, умная заботливость о буйном потомстве, тоже поражающем неуловимой стремпительностью движений. Тупомордый, коротконогий песец, с его круглыми ушами, более спокоен и кажется более зверем, чем лиса, да и глаза у него не такие умные.

Питомник устроен на отдельном острове, до него нужно ехать в лодке более часа по сизой холодной воде Глубокой губы — пролива между островами. Гребли два бандита, на корме сидел убийца, на носу фальшивомонетчик. Бандиты, видимо, люди угрюмого характера, убийца — большой, бородатый, толстогубый, с полуоткрытым ртом и гнилыми зубами, глаза у него страннопустые, как будто лишены зрачков. Фальшивомонетчик — худенький, остроносый, всё время тихонько чмокал, как будто понукая лошадь,— подумалось, что ему кажется: едет ночью лесом и боится всех звуков, даже чмокнуть громко боится. У него лицо доброго человека, которому, впрочем, «наплевать на всё».

Питомник — целый город, несколько рядов проволочных клеток, разделенных «улицами», внутри клеток домики со множеством ходов и выходов, как норы, в каждой клетке привычная зверю «обстановка», деревья, валежник. Не все звери прячутся от людей, лишь некоторые лисы загоняют детенышей в домики-норы. Соболиха, у которой взяли кутенка, бешено заметалась по клетке, прячась в куче валежника, высовывая из него некрасивую, конусообразную голову, фыркая, оскаливая острые, щучьи зубы.

— Очень дикий зверь,— любовно говорит заведующий. И затем — с гордостью: — Видите — принес детеныша! Первый случай. Американцам еще не удалось получить потомство от соболя.

Он кормит малышей рыбой, некоторым из них вливает в глотки лекарство, и, проглотив его, они, мотая головенками, прыгают, точно мячи. Матерей это, видимо, не беспокоит.

Заведующий рассказывает о характерах зверей, о капризах самцов.

— Вот — видите: мы его подсадили к этой самочке, а он равнодушен к ней, он, видите, интересуется ее соседкой, хотя она не такая крупная, как эта. Как люди, а?

Он тихонько смеется, а я вспоминаю Шопенгауера: если «маленькие мужчины любят больших женщин», очевидно, большие должны любить маленьких. Заведующего сопровождает женщина-ветеринар, две студентки, приехавшие на практику звероводства, рабочие и неизбежный, вездесущий фотограф. Эти люди, жена заведующего и еще один рабочий — всё человеческое население острова. Пьем чай и возвращаемся на большой остров. Холодно. С моря дует неласковый ветерок, озорниковато нагоняя волны на борт лодки. Над нами летает чайка. Иногда с воды поднимаются утки, пролетят недалеко и снова тяжело падают на воду, точно окрыленные камни.

Рядом со мною сидит человек из породы революционеров-«большевиков» старого, несокрушимого закала. Я знаю почти всю его жизнь, всю работу, и мне хотелось бы сказать ему о моем уважении к людям его типа,

о симпатии лично к нему. Он, вероятно, отнесся бы к такому «излиянию чувств» недоуменно, оценил бы это как излишнюю и, пожалуй, смешную сентиментальность.

Молочным хозяйством заведует старый священник, кажется, протоиерей. Большой, благообразный, он солидно говорит о сепараторах, казеине, молочном сахаре, щелочных солях. На бородатом лице его сосредоточенно светятся под седыми бровями глаза человека, который давно остановился где-то очень далеко от людей и едва ли видит их такими, каковы они есть.

В просторном помещении как-то особенно чисто и прохладно. За стеклом шкафа, на полочках, ряд пробирок, колбочки, какие-то металлические вещицы. Рядом с этой «лабораторией», отделенный от нее узким коридором,— холодильник, в нем, на льду, огромные куски масла, корчаги творога.

— Дóбыча дня,— говорит священник, ударяя на о.

Он живет тут же, рядом с лабораторией, в маленькой комнатке; в ней много икон, горит лампада, на столе — несколько церковных старопечатных книг, у стены — постель; в общем это — типичная келья монаха.

— Знающий человек, хорошо работает,— говорят мне.

Такой же отзыв услышал я о заведующем конским заводом, бывшем офицере Колчака. Показывая лошадей, он говорил о каждой так подробно и напористо, точно хотел добиться, чтоб лошадь поблагодарили за то, что она такова.

— Вы, конечно, не кавалерист,— с большим сожалением сказал он одному из посетителей, и было ясно, что он говорит: «Понять, что такое — конь, вы, конечно, не способны, несчастный!»

Затем он показал борова весом 432 килограмма, существо крайне отвратительное, угрюмо самодовольное. Его тяжестью и способностью к размножению свиней весьма гордятся. Свиней — очень много, и, как везде, они, видимо, вполне довольны жизнью, но, разумеется,— хрюкают.

В кустарной мастерской десятка три людей делают различные шкатулки, коробочки. Старинное мастерство монахов — «туеса», «поставцы», игрушки из бересты,

вырезанной, точно кружево, с разноцветной фольгой, подложенной под бересту,— это мастерство, очевидно, забыто. Жаль. Иностранцы, падкие на «варварское, но прекрасное искусство русского народа», покупали бы эти вещи так же «нарасхват», как они покупают всё подобное, начиная с изумительных по красоте работ палеховских мастеров, бывших «богомазов». Работой из фольги и бересты можно бы занять женщин — это весьма «тонкая» работа.

Посвистывают, сопят и фыркают маленькие паровозы, таская по узкоколейкам лес, торф, шпалы, прокладываются новые пути, люди роют землю, дробят булыжник, месят бетон, рубят дерево, на крыше электростанции шипит какая-то трубка. Едут молодцеватые пожарные, «проминая» застоявшихся лошадей.

На большой поляне идет выработка торфа, здоровые ребята в холщовых рубахах и высоких сапогах быстро, лопатами, бросают в машину огромные куски жирной грязи, машина выпускает ее толстой лентой, ленту рубят на куски, отвозят их на тачках прочь, раскладывают по земле,— всё идет «без сучка, без задоринки». Мне говорят:

— Обратите внимание на сапоги рабочих!

Обращаю. Сапоги, конечно, очень грязные. Но мне объясняют, что они — из кожи, не пропускающей сырость. В доказательство сего один из рабочих снимает сапог,— портянка действительно сухая. Узнаю, что кожа пропитывается водой, отходящей при выработке смолы; молекулы смолы, остающейся в воде, поглощаются кожей, делают ее более ноской и не пропускающей сырость.

— Сами придумали!

— А не годится ли это для брезентов, для обуви армии и так далее?

— Неизвестно, не пробовали! Много у нас есть такого, что в одном месте — делают, а в других — не пробуют делать. Мало мы знакомы со всем разнообразием работы в нашей стране и с достижениями изобретательства в различных областях труда.

На торфе работает немало женщин в серых халатах, они же ворошат сено, неподалеку от разработки торфа.

Там они одеты «в свое», довольно пестро, и вызывают очень странное впечатление,— глядя на них, я вспомнил «Сказание о сеножатех» Лескова.

В женском двухэтажном общежитии, должно быть, монастырской гостинице, старостихой оказалась женщина из семьи, одним из членов которой был знаменитый в свое время французский карикатурист Каран д'Аш. Брат его командовал судном добровольного флота «Нижний Новгород», сестра была актрисой, кажется, Александринского театра, а третий брат служил поваром у нижегородского губернатора Баранова и за искусство жарить тетеревов назначен был сначала околоточным надзирателем, а затем — помощником частного пристава.

Старостиха показывает нам комнаты женщин, в комнатах по четыре и по шесть кроватей, каждая прибрана «своим»,— свои одеяла, подушки, на стенах — фотографии, открытки, на подоконниках — цветы, впечатления «казенщины» — нет, на тюрьму всё это ничем не похоже, но кажется, что в этих комнатах живут пассажирки с потонувшего корабля.

В верхнем этаже общежития, должно быть, сосредоточены женщины, работающие «по линии культуры»: в театре, музее. Мне сказали, что большинство их контрреволюционерки, есть и осужденные за шпионаж.

Партийных людей,— за исключением наказанных коммунистов,— на острове нет, эсеры, меньшевики переведены куда-то. Подавляющее большинство островитян — уголовные, а «политические» — это контрреволюционеры эмоционального типа, «монархисты», те, кого до революции именовали «черной сотней». Есть в их среде сторонники террора, «экономические шпионы», «вредители», вообще «худая трава», которую «из поля — вон» выбрасывает справедливая рука истории.

В комнатах верхнего этажа женщин было немного,— пять, шесть, остальные, вероятно, где-то работали. В нижнем их оказалось значительно больше, и, судя по одежде, по обстановке, они были «попроще». Одна из них, молодая, пышнотелая, с большими глазами, встретила старостиху злым криком:

— Опять пришла, проклятая! Что же это, товарищи, вы ставите над нами интиллигенток? Как это...

Из ее темных глаз легко и обильно потекли слезы. Пожилая женщина с длинным носом на сером лице начала пренебрежительно успокаивать ее:

— Ну, что скандалишь, чем тебе люди мешают? Радоваться должна...— И, обращаясь к нашей группе,— объяснила:

— Нервы у нее, срок она кончила, сегодня домой едет, ну, вот и шумит...

Молодуха, разговаривая с Погребинским, уже улыбалась и, смахивая слезы со щек, обнаружила на белой коже руки, ниже локтя, сложную, весьма неблагочестивую татуировку.

— Это что у вас?

— Ну, не видишь будто! Наколочка,— кокетливо ответила она, смеясь, и этот ее слишком быстрый переход от слез к смеху вызвал сомнение в искренности и смеха и слез. А носатая женщина угодливо объясняла:

— Дурашливая она, а — хорошая, добрая...

— За что она здесь? — тихо спросил кто-то за моей спиной,— носатая не успела ответить, рядом с нею очутилась высокая, костлявая, в белом платочке до бровей, платок резко оттенял черные, круглые глаза.

— Мы этим не интересуемся,— заговорила она тоже тихо.— У всякой свое клеймо. Клеймят и клеймят, а — за что? Это никому, кроме бога, не известно...

Тут вступилась молодуха:

— Ты — не знаешь, за что тебе хвост прищемили, не знаешь? — иронически спросила она.

Мы все вышли из комнаты. В коридоре признала меня земляком дородная баба, лет за сорок, с жестяными глазами на толстом лице.

— Чай, слышали про нас,— она назвала незнакомую мне фамилию,— мы тоже заметные люди были в Нижнем-то! Помните поговорочку: «Чай, примечай, откуда чайки летят»?

В одну минуту она, усмехаясь, мигая, рассказала бойко, точно базарная торговка:

— На десять годков сюда послали,— пошутил господь! Будто рабочих выдавала я, жандаров прятала в осьнадцатом году, что ли, а — неверно это, неправда всё, наговорили на меня злые люди! Ну, ничего, потерплю...

— Трудно вам здесь?

— Везде трудно,— осторожно ответила она и повторила:— Пошутил господь, терпенье мое испытывает. Ну, я — здоровая, душой веселая...

Говоря, она привычно играет остреньким взглядом жестяных глаз, они холодно щупают человека, точно ищут, куда лучше ударить. Она заставляет меня вспомнить много таких же — по внешности, по глазам. И одну такую на скамье подсудимых нижегородского окружного суда, «казенноподзащитную» моего патрона. Председатель спросил ее:

— Итак: вы не признаете, что сидели на ногах племянника, когда ваш сожитель душил его?

— Господин судья, ваше превосходительство! Оговорил он меня, сожитель, и оттого — помер, совесть, конечно, замучила! Кроме его — виноватых нет в этом деле, а я за всенощной в церкви была.

— Установлено, что племянник ваш задушен после всенощной; в девять часов его видели еще живым.

Перекрестясь и вздохнув, подсудимая говорит:

— Не обижайте беззащитную, ваше превосходительство! Разве можно, помолясь богу, человека душить?

Но беззащитная женщина именно так и поступила: помолилась богу, а затем, придя домой, помогла приказчику, любовнику своему, удушить племянника-гимназиста,— смерть его делала «беззащитную» наследницей солидного имущества. А когда приказчика арестовали — она послала в тюрьму для него пирожок, отравленный каким-то ядом, приказчик съел его и помер, но успел подробно рассказать о преступлении. Из его показания была прочитана в суде, между прочим, такая фраза:

«Я душил, а она молитву читала».

Были мы на концерте в театре, он помещается в кремле, устроен, должно быть, в расширенном помещении бывшей «трапезной». Вмещает человек семьсот и, разумеется, «битком набит». «Социально опасная» публика жадна до зрелищ, так же как и всякая другая, и так же, если не больше, горячо благодарит артистов.

Концерт был весьма интересен и разнообразен. Не-

большой, но хорошо сыгравшийся «симфонический ансамбль» исполнил увертюру из «Севильского цирюльника», скрипач играл «Мазурку» Венявского, «Весенние воды» Рахманинова; неплохо был спет «Пролог» из «Паяцев», пели русские песни, танцевали «ковбойский» и «эксцентрический» танцы, некто отлично декламировал «Гармонь» Жарова под аккомпанемент гармоники и рояля. Совершенно изумительно работала труппа акробатов,— пятеро мужчин и женщина,— делая такие «трюки», каких не увидишь и в хорошем цирке. Во время антрактов в «фойе» превосходно играл Россини, Верди и увертюру Бетховена к «Эгмонту» богатый духовой оркестр; дирижирует им человек бесспорно талантливый. Да и концерт показал немало талантливых людей. Все они, разумеется, «заключенные» и работают для сцены и на сцене, должно быть, немало. Не знаю, как часто устраиваются такие обширные концерты, как тот, в котором я был. На афише сказано: «Театр 1-го отделения»; очевидно, театр «2-го отделения» ставит пьесы или же существуют два театра.

Пьес я не видел, но видел фотографии постановок «Декабристов», «Разлома», «Рельсы гудят», «Тайны гарема» и сочиненной драматургами пьесы «Троцкий за границей». Постановки, видимо, интересные и в стиле весьма левом, сцена загромождена различными «конструкциями», и всё вообще — «как в лучших театральных домах», где иногда — вместо искусства — публике показывают со сцены стилизованный кукиш.

В кремле Соловецкого острова, кроме театра, сосредоточены школы, довольно богатая библиотека и музей, отлично организованный Виноградовым, тоже бывшим заключенным, автором интересного исследования о «Соловецких лабиринтах», таинственном остатке древнего язычества. Музей, показывая историю Соловецкого монастыря, дает полную картину разнообразного хозяйства СЛОН'а — «Соловецкого лагеря особого назначения». Ведется на острове краеведческая работа, печатается журнал, издавалась газета, но издание ее на время прекращено.

Конечно, остров — не тюрьма, но, разумеется, с него — не убежать, хотя газеты эмигрантов и печатают

статейки, озаглавленные: «Бегство из Соловок». В одной из таких статеек сказано: «Отойдя 26 километров от места работы, беглецы...» На острове, который имеет 24 километра длины и 16 ширины, совершенно невозможно отойти «от места работы» на 26 километров. Даже эмигрант поймет, что в этом случае беглецы попадают в воду Онежского залива или в море, а, как известно, только «пьяным море по колено», но и это ведь нельзя понимать буквально. По волнам залива тоже невозможно пройти пешком 64 километра.

«Бегают» — точнее: уходят — островитяне с материка, из «командировок», уходят редко и почти всегда неудачно. На материке они работают во множестве по расчистке лесов, по лесозаготовкам, по осушению болот, по созданию условий для колонизации пустынного, но изумительно богатого края. Работают под наблюдением своих же товарищей. Одного из таких стражей я видел по дороге из Кеми в Мурманск. Наш поезд остановился далеко от станции,— впереди чинили мост, размытый рекою. Пассажиры вышли из вагонов на опушку болотистого леса, живо собрали кучу сушняка, человек с курчавой бородою, похожий на В. Г. Короленко, зажег коробку из-под папирос, сунул ее под сушняк и сказал верхневолжским говорком:

— Ну-кось, посушим небо-то!

В сыроватое, недалекое небо взвился густой бархатный дым, а человек сразу дал понять, что он много костров разжигал на своем веку. Люди присели вокруг огня на валуны, на рассыпанных старых шпалах, кто-то, подходя, спросил:

— Комарей жарите?

Очень заметно, что «простой» русский человек читает газеты. Ему хорошо известно почти всё, чем наполнено время, мир для него стал шире, яснее, и в широте мира начинает он чувствовать себя большим человеком. Он спрашивает:

— Ну, а как там — в Италии?

Завязалась интересная беседа, и тут из леса вышел человек с винтовкой, в шинели, но — мало похожий на красноармейца, не так аккуратно одет и не такой ловкий, легкий. Шинель — старенькая, расстегнута, под

нею пиджак, подпоясанный ремнем. Фуражка измята, винтовку он держит, как охотник,— под мышкой, дулом вниз. Лицо — темное, и как будто он давно не умывался; брови досадливо и устало нахмурены. Попросил папироску, а когда ему дали — сказал:

— Свои уронил в воду. Ой, много болота здесь!

— Ты — откуда?

— Воронежский.

— Ваши места — сухие.

Человек сел на камень, винтовку зажал в коленях и, покуривая, задумчиво глядя в огонь, спросил нехотя, скучно:

— Не видали, по пути, двоих?

— Гораздо больше видели,— усмешливо ответил мастер разжигать костры, а дорожный сторож, крепкий, маленький человечек с шерстяным лицом и трубочкой в углу рта, участливо объяснил:

— У него двое товарищей с работы ушли, вот в чем дело! Тут кругом, в лесу, соловецкие работают, а он — тоже из них. Теперь ему отвечать придется...

— Отвечать есть кому старше меня,— сердито вставил человек с винтовкой.

— Ну, они, конечно, вернутся, всегда вертаются! В лесах этих долго не нагуляешь, комар — не товарищ, кушать нечего, ягодов еще нету, да и поселенец гулящих не любит...

— Часто уходят? — спросили человека с винтовкой.

— Бывает,— сказал он, вздохнув, но тотчас же усмехнулся.— В лесу, знаете, прискорбно, а тут всё больше городской народ работает, к лесу не привычный.

Словоохотливый сторож тоже рассказывал что-то военнопленному австрийцу, который оброс семьей и укрепился в этом краю. Стражник, бросив окурок в огонь, продолжал:

— Бывает — по глупости плутают, черти! Иной, с устатку, заснет где-нибудь, проспит до конца работы, проснется, а — тихо, никакого звуку нет и — сумрак, прискорбно. Ну, и пошел шагать, куда страх ведет...

Кто-то посоветовал:

— В трубу трубить надо.

— Всю ночь трубить?

— Ну колокол, что ли...

От улыбок лицо человека стало светлее, он как бы незаметно умылся. Теперь видно, что лицо у него добродушное, темные глаза смотрят на людей мягко и доверчиво.

— За побеги строго наказывают? — спросили его.

— А — не хвалят.

— Ежели тебе доверие оказано — должен оправдать,— вмешался сторож, а человек, похожий — бородой — на Королепко, сказал, вздохнув:

— Всё еще темно в мозгах.

— Ох, темно! — подтвердила женщина с ребенком на руках.

— Не хвалят,— повторил человек с винтовкой, вставая, и тяжелыми шагами пошел в сторону станции.

— У них, надо понимать, порука,— заговорил сторож.— Их учат: отвечай все за каждого.

— Так и надо! — скрепил бородатый.

Поезд стоял часа два, если не больше; люди у костра сменялись, уходили одни, подходили другие, но почти не было пустых людей, которые ничего интересного не могут сказать.

Буржуазная наука говорит, что преступление есть деяние, воспрещенное законом, нарушающее его волю путем прямого сопротивления или же путем различных уклонений от подчинения воле закона. Но самодержавно-мещанское меньшинство, командуя большинством — трудовым народом,— не могло, не может установить законов, одинаково справедливых для всех, не нарушая интересов своей власти; не могло и не может, потому что главная, основная забота закона — забота об охране «священного института частной собственности» — об охране и укреплении фундамента, на котором сооружено мещанское, классовое государство.

Чтобы прикрыть это противоречие, буржуазная наука пыталась даже обосновать и утвердить весьма циническое учение о «врожденной преступности», которое разрешило бы суду буржуазии еще более жестоко преследовать и совершенно уничтожать нарушителей «пра-

ва собственности». Попытка эта имела почву в беспощадном отношении мещан к человеку, который, чтоб не подохнуть с голода, принужден был воровать у мещан хлеб, рубашки и штаны.

Я говорю это не «ради шутки», а потому, что заповедь «Не укради» нарушалась и нарушается неизмеримо более часто, чем заповедь «Не убий», потому что самым распространенным «преступлением против общества» всегда являлось и является мелкое воровство; в дальнейшем воров — как известно — воспитывает в грабителей буржуазная система наказания — тюрьма.

Учение о врожденной преступности было разбито и опровергнуто наиболее честными из ученых криминалистов, главным образом — русскими. Но в «духовном обиходе» мещанского общества, то есть в классовом инстинкте его, отношение к преступнику как неисправимому, органическому врагу общества остается непоколебимым, и тюрьмы европейских государств продолжают служить школами и вузами, где воспитываются профессиональные правонарушители, «спецы» по устрашению мещан, ненавидимые мещанством, «волки общества», как назвал их недавно один прокурор в суде провинциального городка Германии.

Разумеется, я не стану отрицать, что существуют благочестивые звери, которые душат людей с молитвой на устах. Бытие таких зверей вполне оправдано в государствах, где жизнь человека равна нулю, где самодержавно командующее мещанство безнаказанно истребляет миллионы рабочих и крестьян, посылая их на международные бойни с пением гимна: «Спаси, господи, люди твоя»...

В Союзе Социалистических Советов признано, что «преступника» создает классовое общество, что «преступность» — социальная болезнь, возникшая на гнилой почве частной собственности, и что она легко будет уничтожена, если уничтожить условия возникновения болезни — древнюю, прогнившую, экономическую основу классового общества — частную собственность.

Совнарком РСФСР постановил уничтожить тюрьмы для уголовных в течение ближайших пяти лет и применять к «правонарушителям» только метод во-

спитания трудом в условиях возможно широкой свободы.

В этом направлении у нас поставлен интереснейший опыт, и он дал уже неоспоримые положительные результаты. «Соловецкий лагерь особого назначения» — не «Мертвый дом» Достоевского, потому что там учат жить, учат грамоте и труду. Это не «Мир отверженных» Якубовича-Мельшина, потому что здесь жизнью трудящихся руководят рабочие люди, а они, не так давно, тоже были «отверженными» в самодержавно-мещанском государстве. Рабочий не может относиться к «правонарушителям» так сурово и беспощадно, как он вынужден отнестись к своим классовым, инстинктивным врагам, которых — он знает — не перевоспитаешь. И враги очень усердно убеждают его в этом. «Правонарушителей», если они — люди его класса — рабочие, крестьяне,— он перевоспитывает легко.

«Соловецкий лагерь» следует рассматривать как подготовительную школу для поступления в такой вуз, каким является трудовая коммуна в Болшеве, мало — мне кажется — знакомая тем людям, которые должны бы знать ее работу, ее педагогические достижения. Если б такой опыт, как эта колония, дерзнуло поставить у себя любое из «культурных» государств Европы и если б там он мог дать те результаты, которые мы получили,— государство это било бы во все свои барабаны, трубило во все медные трубы о достижении своем в деле «реорганизации психики преступника» как о достижении, которое имеет глубочайшую социально-педагогическую ценность.

Мы — по скромности нашей или по другой, гораздо менее лестной для нас причине? — мы не умеем писать о наших достижениях даже и тогда, когда видим их, пишем о них. Об этом неуменье я могу говорить вполне определенно, опираясь на редакционный опыт журнала «Наши достижения».

Вот, например, работа Болшевской трудкоммуны. Это один из фактов, которые требуют всестороннего и пристального, смею сказать — научного, наблюдения, изучения. Такого же изучения требуют трудкоммуны «беспризорных». И там и тут совершается процесс корен-

ного изменения психики людей, анархизированных своим прошлым; социально опасные превращаются в социально полезных, профессиональные «правонарушители» — в квалифицированных рабочих и сознательных революционеров.

Может быть, процесс этот, возможно и следует расширить, ускорить, может быть, Бутырки, Таганки и прочие школы этого типа удастся закрыть раньше предположенного срока?

Болшевская трудкоммуна черпает рабочую силу в Соловецком лагере и в тюрьмах. Соловки, как я уже говорил,— крепко и умело налаженное хозяйство и подготовительная школа для вуза — трудкоммуны в Болшеве.

Мне кажется — вывод ясен: необходимы такие лагеря, как Соловки, и такие трудкоммуны, как Болшево. Именно этим путем государство быстро достигнет одной из своих целей: уничтожить тюрьмы.

Здесь кстати будет сказать о хозяйственном росте трудкоммуны в Болшеве. В 28 году я видел там одноэтажный корпус фабрики трикотажа, в 29 — фабрика выросла еще на один этаж, оборудованный станками самой технически совершенной конструкции. В 28 — яма для фундамента фабрики коньков, в 29 — совершенно оборудованная, одноэтажная светлая и просторная фабрика с прекрасной вентиляцией. Кроме всего количества коньков, потребных для страны, фабрика будет вырабатывать малокалиберные винтовки. И те и другие ввозились из-за границы. За год построено отличное, в четыре этажа, здание для общежития членов трудкоммуны. Строится еще четыре таких же.

Трудкоммуна строит склады для своей продукции из своего материала — из древесной стружки, прессованной с продуктом, который добывается из «рапы» — грязи соляных озер. Это — огнеупорный строительный материал, из него уже построено и несколько жилых домов. В колонии строится здание для клуба, театра, библиотеки. К ней проведена ветка железной дороги. Сделано еще многое. И, когда видишь, сколько сделано за 12 месяцев, с гордостью думаешь:

«Это сделано силами людей, которых мещане морили бы в тюрьмах».

# НА КРАЮ ЗЕМЛИ

«Кола — городишко убогий, неказисто прилеплен на голых камнях между рек — Туломы и Колы. Жители, душ пятьсот, держатся в нем ловлей рыбы и торговлишкой с лопарями, беззащитным народцем. Торговля, как ты знаешь, основана на священном принципе „не обманешь — не продашь". Пьют здесь так, что даже мне страшно стало, бросаю пить. Хотя норвежский ром — это вещь. Всё же прочее вместе с жителями — чепуха и никому не нужно».

Так писал в Крым, в 97 году, вологжанину доктору А. Н. Алексину какой-то его приятель.

Поезд Мурманской железной дороги стоит на станции Кола минуту и, кажется, только по соображениям вежливости, а не по деловым. Кратко и нехотя свистнув, он катится мимо толпы серепьких домиков «заштатного» городка дальше, к мурманскому берегу «ядовитого» океана. Происхождение слова — мурман интересно объяснил некто Левонтий Поморец:

«А по леву руку Кольского городка, ежели в море глядеть, живут мурмане, сиречь — нормане, они же и варяги, кои в древни времена приходили-приплывали из города Варде и жили у нас разбоем, чему память осталась в слове — воры, воряги. Игумен оспаривал: дескать, нормане оттого нарицаются, что в земле, в норах живут, аки звери, твердил: причина тому — холод. А я говорю: это не мурмане в норах-то живут, и не от холода, а мелкий народец лопари от страха, как бы наши промышленники живьем его не слопали. Мурмана же тупым зубом не укусишь».

Рукопись Левонтия Поморца принадлежала старому революционеру С. Г. Сомову, он привез ее из сибирской

ссылки, но Аким Чекин, другой «вероучитель» мой, тоже считал эту рукопись своей собственностью. Оба они весьма яростно доказывали друг другу каждый свое право собственности на сочинение Поморца, но оценивали ее разно: Чекин утверждал, что она «ф-фальетон и ер-рунда», а Сомов, запкаясь и брызгая слюной, доказывал:

— Остроумная вещь! Погодин с Костомаровым — ученые историки, а этот Поморец, наверное, ссыльный поп и жулик, но раньше их всё решил.

Мне очень нравилась эта тетрадь толстой синеватой бумаги, исписанная кудрявым почерком и приятно корявыми словами; я настойчиво и безуспешно просил Сомова подарить мне ее, а он, также безуспешно, хлопотал о том, чтоб издать рукопись. В конце концов я сделал выписки из Поморца и начал сочинять повесть о юноше, который влюбился в свою мачеху, был изгнан отцом и стал бродягой. Тут кто-то объяснил мне, что греческое слово монах значит одинокий, и я превратил бродягу в инока. Но мне показалось, что роман пасынка и мачехи достаточно использован народным творчеством и что лучше заставить героя моего влюбиться в родную сестру. Заставил. «Светские писатели, бесам подобно, измываются над людьми», как говорил известный апостол «толстовства» Новоселов, впоследствии враг Льва Толстого и деятельный сотрудник изуверского церковного журнала, который издавался миссионером и черносотенцем Скворцовым. Затем повесть свою я уничтожил, «предав ее в пищу огню», но, разумеется, не потому, что был устрашен словами Новоселова, а от стыда за чепуху, сочиненную мной. Но кое-что из рукописи Поморца все-таки отразилось в моей «Исповеди».

Всё это относится к делу только потому, что изумляет: как недавно всё было, как странно свежо в памяти и — значит: с какой волшебной быстротою идет жизнь!

Когда поезд подкатился к Мурманску, часы показывали время около полуночи, а над океаном, не очень высоко над его свинцовой водой, сверкало солнце. Разумеется, я читал, что здесь «так принято», но, видя пер-

вый раз в жизни солнце в полночь, чувствуешь себя несколько смущенным и сомневаешься: честно ли работают часы? Вспоминаешь истины, еще не опровергнутые наукой: земной шар делится на два полушария, земля вращается вокруг солнца.... Один глупый мальчик спросил учителя:

— А зачем земля вращается?

— Это не твое дело,— мудро ответил учитель.

Зрелище добела раскаленного полуночного солнца, которое торчит над бесконечной водной равниной не то восходя, не то нисходя,— зрелище очень странное. Поведение великолепного светила кажется настолько нерешительным, что думаешь за него:

«Давненько я торчу в этой точке пространства! А не перекатиться ли мне со всеми спутниками куда-нибудь за пределы этого Млечного пути? Свободного места много...»

Вообще здесь у приезжего человека возникают смешные мысли. Но, как я убедился, местные люди примиряются с изменением небесных явлений гораздо легче и быстрее, чем с необходимостью изменить древние условия жизни на земле.

На перроне вокзала много народа и немало юных «мурманов», среди них буяпят субъекты в возрасте четырех-пяти лет. Им бы давно пора спать.

Моя молодежь уходит в город, я сажусь записывать впечатления дня. По рельсам идет группа молодежи, человек десять парней и девушек, они поют:

Без тебя большевики
Обойдутся...

Надеюсь, это не про меня? Один парень лихо подсвистывает. Совершенно ясно, что солнце восходит, оно всплыло выше. На лысой горе, по ту сторону залива, блестят серебром трещины в камнях.

Проснулся я в семь часов, за окном вагона гулял серый жидкий туман, сеялась мокрая пыль. Через час вспыхнуло солнце, но более тусклое, чем оно было в полночь. Потом снова налетели клочья тумана, и снова явилось солнце. Эти капризы продолжались часа три: впечатление было такое, как бы где-то всё время откры-

вают дверь на холод и он вторгается в город, как морозный воздух со двора в избу.

Около вокзала работает экскаватор, выкусывая железными челюстями огромные куски земли. Эта машина вызывает у меня глубокое почтение к ней,— я хорошо знаю работу землекопа, которая так нагревает поясницу, что кости в ней как будто высохли, скрипят и готовы рассыпаться. Железное чудовище с длинной шеей и глубокой пастью на месте головы гремит цепями, наклоняет шею, вырвав из холма кусочек весом в добрую тонну, поворачивает шею, приподнимает ее и, бескорыстно высыпав добычу на платформу, снова наклоняется к земле.

На работу машины смотрит женщина солидного объема, ширина ее спины и бедер едва ли меньше метра. На руке у нее головастое дитя, лет двух, сосет грудь, другую руку раскачивает человек лет пяти и, не торопясь, почти басом, убеждает:

– Мамк, иди! Чаю хочу...

Мужичок, тоже весьма крупный, сплеча бьет десятифунтовым молотом черный гранитный валун, молот упруго отскакивает, но мужичок упрямо и метко садит удар за ударом в одно и то же место, из-под молота летят искры. Валун не выдерживает и раскалывается на три куска, а победитель благодарит его за уступчивость громким, торжественным «матом». Женщина, точно она только этого и ждала, машиноподобно тащит племя свое на искусанный экскаватором пригорок, из-под ног ее обильно сыплются комья земли, мелкий булыжник.

Крупные люди, неторопливая мощность и стойкое упрямство работы — это впечатление закрепилось у меня на все дни в Мурманске и «по вся дни» жизни. На пустынном берегу Ледовитого океана, на гранитных камнях, местами уже размолотых движением ледника и временем в песок, строится город. Именно — так: люди строят сразу целый город. Против вокзала, на пригорке, обширное здание гостиницы, центральная часть его сложена из разноцветных кусков грапита, а крылья — деревянные; эти крылья и островерхая крыша придали всему корпусу странную легкость. Всюду идет стройка общественно-служебных учреждений.

— Это будет больница, а там — клуб, исполком,— говорят мне.

Выравнивается почва для будущих улиц, свозят камень для мостовых; на горе, над городом, строится целый поселок — маленькие домики. Небольшие особнячки обывателей, построенные «на скорую руку», деревянные, скучные коробки без украшений, немногочисленны и незаметны в общей массе нового. Особнякам этим десять — пятнадцать лет от роду, но, несмотря на юность, некоторые из них уже обветшали, покривились.

— Строились кое-как, без расчета на долгую жизнь. Урвать да удрать был расчет.

Расширяется вагонный двор, расширяется порт, всюду шум работы, и снова отмечаешь ее неторопливый, уверенный темп. Чувствуешь, что строятся прочно, надолго.

В порту тяжеловато двигаются солидные бородачи, глаза у них пронзительно дальнозоркие, голоса необычно гулки, точно люди эти далеко друг от друга и говорят в рупор. Руки этих людей — точно весла, широкие ладони деревянно жестки. Очень крепкие люди. Они — жалуются:

— Причалов в порту не хватает, вона двое англичан на рейде ошвартовались, приткнуться некуда.

— Тралеров мало, а то бы мы на весь Союз рыбой хвастанули,— мечтает человек в сапогах выше колен и в шляпе с назатыльником.

Остроносый товарищ из исполкома охлаждает бородатого мечтателя:

— Нет, нам похвастаться долго не удастся, мы даем только 6% всего улова, а Каспий — 54%, а Дальний Восток — 32...

— А ты дай тралера, мы те покажем Восток с процентами...

— Вот когда пятилеточка обнаружит себя для нас, тогда, товарищ, и сосчитай процент...

Только что пришел с моря тралер, трюмы его набиты треской и палтусом, рыба лежит даже на палубе, тяжелые связки красных морских окуней висят на такелаже.

— Этот самый окунь англичане очень любят...

Толстый человек с каменным лицом оглушительно кричит:

— Эй-эй, ребята, начинай выгружать!

Тралер похож на кита с парусами, воткнули в спину кита две мачты и плавают на нем.

— Вот когда нам эдаких суденышков дадут полсотни за пятилетку...

— Должны дать больше.

— Ловцов не хватаит...

— Рыба — есть, ловец — будет,— утешительно говорит сутулый старик, мокрый от плеч до пят, в кожаном переднике, выпачканном рыбьей слизью и кровью. Усмехаясь, он сообщает мне:

— Через двое-трое суток должен прийти с моря одноименец твой «Максим Горький» — хо-ороший новичок!

В огромных сараях рыбного завода женщины укладывают в бочки освежеванную треску.

— Это повезем англичан кормить...

— Их бы, дьяволов, не треской, а кирпичами кормить!

Молодой парень матрос «вносит поправку»:

— Треской, товарищи, питается не буржуазия, а рабочий класс Англии...

— Известно. Чего барин сам не прожует — собаке дает...

Говорят здесь — отлично, кругло, веско, чистейшим языком, не засоренным чужими словами.

— Вы, товарищ, на палтуса взгляните,— предлагают мне и ведут в помещение, где анафемски холодно и поленницами, с пола до потолка, лежит распластанная крупная рыба, вероятно, не менее метра длиною, янтарное мясо ее блестит золотом застывшего жира.

— Помещениев не хватаит,— говорят за моей спиной.

Я начинаю замечать, что словцо «не хватаит» — припев ко всем речам здесь.

В порту гремит работа, стучат топоры, тяжело брякают цепи, гулко шлепается тес о деревянный настил, работают лебедки на иностранных судах. Грузят лес на

три парохода, четвертый кончил погрузку. Должно быть, эти пароходы привезли части каких-то машин, множество алюминия и рулонов газетной бумаги. Последняя не очень радует глаз, досадуешь, что всё еще нужно ввозить бумагу в страну, которая обладает лесной площадью в 825 миллионов квадратных гектаров, не включая сюда леса Якутии и лесной массив Лены. Но затем вспоминаешь, что до революции мы тоже ввозили бумаги ежегодно 280 тысяч тонн и что все крупные газеты наши печатались на финляндской бумаге. И становится совсем не грустно, когда вспомнишь, что «Крестьянская газета» печатается в количестве 1450 тысяч экземпляров да издает десяток журналов для деревни; вспоминаешь огромные тиражи центральных и областных органов, газеты и книги нацменьшинств; каждый крупный уездный город тоже имеет свою газету, фабрики и заводы— тоже, затем вспомнишь обилие политической, научной, профессиональной литературы и художественной.

Едва ли есть культурное государство, которое за десять лет издало бы и продало только одних классиков 18 205 795 экземпляров, причем на долю Льва Толстого приходится 1826 тысяч, Пушкина —1661 тысяча, Салтыкова — 1188 тысяч, Чехова — 1103 тысячи, Некрасова — 984 тысячи, Короленко — 741 тысяча, Лермонтова — 470 тысяч, Достоевского — 403 тысячи. И затем неисчислимый поток современной литературы, переводной беллетристики. Естественно, что бумаги «не хватает». Поучительно было бы сопоставить цифры роста книжной продукции с цифрами десятилетий 90—900—910.

Размышляя об этом, вижу: вода залива как будто понижается, обнажая рябое дно, усеянное крупной галькой и раковинами. Кривокрылые чайки стонут и падают в сыром воздухе, как бы притворяясь, что они не умеют летать.

— Отлив,— говорят мне.— Идемте взглянуть, тут англичане кран свой затопили, черти, мо-гучий кран.

— Силов не хватает поднять его...

— Ну все-таки — поднимем!

— А — как же!

Из воды торчат железные ребра, напоминая грудную клетку, над нею — гигантский шлем, сквозь воду видны еще какие-то лапы, рычаги; вода отходит в море всё заметнее, и железо под нею как будто шевелится, приподнимаясь со дна. Весьма похоже, что в Кольском заливе утонул марсианин из романа Герберта Уэллса.

— Вот это самое — оно! — говорит высоколобый бородач и, вздохнув, двигает рукой, точно поршнем.— Видите — шишечка там впутана?

«Шишечку» я не вижу, а есть что-то кругловатое, размером в добрую бочку.

— Непонятно — к чему эта шишечка? — соображает бородач, встряхивая кожаный кисет и сунув в рот черную трубку.— Краны эти я довольно хорошо знаю, в Архангельске видел, в норвежских портах. Настроили они тут немало,— говорит он сквозь зубы.— Видели на берегу железные бараки? Это — казармы, должно быть. Тюрьму в Александровске построили, каменная здания, очень пригодилась. Там, в Александровске, профессор знаменитый живет, к нему люди ездят, как в старину к святому угоднику, старцу. Люди — всё больше молодежь, студенты...

Мне нравится, что этот человек говорит о недавнем прошлом, как о старине. Спрашиваю:

— Старина-то как будто не очень стара?

Выпустив из-под усов струю дыма, он говорит:

— Тут привычка действует. С непривычной ношей десять сажен прошел, а кажется — с версту.

Приглашают посмотреть жировой завод, это— здесь же, в порту. Собеседник мой идет на шаг сзади меня и ворчит:

— На мокром месте завод поставили, в подвал вода просачивается.

Завод только что построен и еще не работает, но уже вполне оборудован. Мне показывают котлы, трубы, объясняют, что куда потечет и откуда вытечет, но — виноват! — я слушаю невнимательно, потому что мне совершенно необходимо знать, что говорят и думают бородатые люди. В нижний этаж завода действительно просачивается почвенная вода. Объяснение этого дается откуда-то сбоку и снисходительно:

— Недогляд. Всё поскорее хочется сделать, терпенья не хватает...

Идем в город, пробираясь по рассыпанным доскам, бочкам из-под цемента, кучам щебня, мусора. Но это мусор не разрушения, а только естественные отбросы нового строительства, и этот хаос под ногами внушает чувство «омолаживающее».

После путешествия по городу пьем чай в вагоне. Один из моих собеседников — «старожил», он уже года три здесь, другой — недавно командирован сюда, партиец. Спрашиваю:

— Трудно здесь зимою?

— Темновато. Как навалится тьма эта, так, знаешь... песни петь охоты нет! Холодов особых не бывает, а вот туман, снег. Если бы — месяц, звезды, ну еще ничего, а это — редко бывает.

Молодой партиец говорит, усмехаясь:

— Здесь Джека Лондона хорошо зимой читать. Рассказы о Клондайке очень утешают...

— Сполохи тоже...

— Северное сияние...

— Ну, пускай — сияние будет! Не видал? Это, брат, надо видеть! Для этого сияния из Китая надо приезжать. Это, братец мой, такой прекрасный вид, даже — страшно. Пламень ходит по небу, столбы огненные падают, вихри носятся — беда! Прямо скажу — беспощадная красота сияние это! Глядишь — и глаза не можешь закрыть.

Человек говорит вдумчиво, негромко, со сдержанным увлечением, именно так, как следует говорить о необыкновенном.

— Я еще не видал этого,— как будто завистливо сказал молодой товарищ.

— Увидишь! Некоторые бабы, внове приезжие, даже рыдают со страха. Да я и сам боюсь, сердце замирает, знаешь. Смотрю и — думаю: «Что же она значит, такая страшная красота, какой нам знак в ней? Смысел-то какой?»

Молодой товарищ объясняет:

— Это электрическое явление природы. Считается, что...

— Считается, читается — это мы слышали,— ворчит рассказчик и хмурится.— Тут приезжал один, рассказывал — действительно электричество... Ну, ежели так, ты мне его в лампочку поймай, тогда я тебе веру дам!

— Подожди! Природа явления...

— Я, брат, сам природа! Это мне — одни слова, явление...

Собеседники мои сердятся. Чтоб отвлечь их от спора, я спросил:

— Много пьют здесь зимой?

— Тут и летом тоже пьют. Зимой-то — побольше. Темнота повелеват. Здешние говорят — теперь легче стало, как электричество завели, а вот когда керосин жгли, так выйдешь на улицу и будто в бездонну яму упал. Тут и снег сажей казался. Кое-где огоньки в окнах, так от них еще темней.

Он заговорил более легко и оживленно:

— К тому прибавь, что народу-то меньше было, не то, что теперь,— теперь к нам люди как с облаков падают. Только строй дома, поспевай! Теперь свет и зимой растет. Раньше — куда пойдешь, чего скажешь? Теперь клуб есть, театр бывает, кинематограф, комсомол разыгрался, пионеры... большая новость жизни началась! И поругать есть кого и похвалить — тоже. Другой курс жизни взят, не в штиль, а в шторм живем, так-то. А прежде только спирту в нутро наливали, чтобы светлее жить. А спирт — сам знаешь, каков: ты — его, а он — тебя...

Поговорив еще несколько минут, ушли.

Вечером в клубе — собрание местных работников. Товарищи говорят речи очень просто, деловито, без попыток щегольнуть ораторским искусством. Чувствуется в этих людях глубокое сознание важности работы, которую они ведут здесь, «на краю земли». Молодой вихрастый парень густо и веско говорит, как бы читая стихи древних, героических былин:

— Вот и здесь, в полунощном краю, на берегу холодного океана, мы строим крепость, как везде на большой, на богатой земле Союза наших республик.

Часто мелькают сочные, чеканные слова края, всё еще богатого знатоками, «сказителями» былинного

творчества. И невольно вспоминаешь «времена стародавние», «удалую побывальщину», людей несокрушимой воли, героев норманских саг, новгородских «ушкуйников» и Потанюшку Хроменького, одного из дружинников Васьки Буслаева. Хитер был Потанюшка, он не спорил против Васькина желания искупаться голым в Иордань-реке, где крестился Христос и где разрешалось купаться только в рубахах; он не спорил против Васьки, но хорошо сказал ему:

А текет она, Иордань-река,
А текет она — в море Мертвое...

Вспоминаешь изумительную кудесницу Орину Федосову, маленькую, безграмотную олонецкую старушку, которая знала «на память» все былины Северного края, тридцать тысяч стихов — больше, чем в «Илиаде». Первый, кто оценил глубокое историческое значение этих былин, собрал и записал их, был, как известно, немец Гильфердинг. Он, чужой человек,— «чуж чуженин» — обратился непосредственно к живому источнику народного творчества, а вот наши собиратели народных песен и былин, поклонники «народности», славянофилы Киреевский, Рыбников и другие, записывали песни в усадьбах помещиков, от «дворовых» барских хоров. Разумеется, песни эти прошли цензуру и редакцию господ, которые вытравили из них меткое, гневное слово, вытравили живую мысль и всё, что пел, что мыслил крестьянин о своей трагической, рабской жизни.

Только этой зоркой и строгой цензурой класса можно объяснить такое противоречие: церковь свирепо боролась против пережитков древней, языческой религии, а все-таки эти пережитки не исчезли и в наши дни. А вот песни крестьянства о своем прошлом, о попытках борьбы своей против рабства или совсем исчезли, или же сохранились в ничтожном количестве и явно искаженном виде. Как будто крестьяне и ремесленники не слагали песен в эпоху Смутного времени про Ивана Болотникова, самозванного царя, про царя Василия, шуйского торговца овчиной, песен о Степане Разине, Пугачеве, «чумном» московском бунте 1771 года, будто бы моча-

стырские и помещичьи холопы и рабочие казенных заводов не пели о своей горькой жизни. Этот варварский процесс вытравливания, обезличивания народного творчества — насколько я знаю — не отмечен с достаточной ясностью историками культуры и нашими исследователями «фольклора».

...Из клуба поехали на слет пионеров Северного края, на другой конец широко разбросанного Мурманска. Два часа ночи, и, хотя небо плотно окутано толстым слоем облаков,— все-таки светло, как днем. По улицам еще бегают дети — мелюзга, возраста «октябрят». Эти люди будущего спят, должно быть, только зимой. Какой-то седой, тоже бессонный, «мурман» садит елки пред окнами дома, две уже посадил, роет яму для третьей. Ему помогает высокая странная женщина в зеленом свитере и в кожаной фуражке. Почти всюду недостроенные дома, и по всем улицам ветер гонит стружку. Улицы очень широкие, видимо, в расчете на пожары: город — деревянный.

— Почему не строите из камня, из железобетона?

Два ответа:

— Дорого.

— Каменщиков нет.

«Вот бы итальянских пригласить сюда»,— подумалось мне.

Жалобы на недостаток строительных рабочих я слышал не один раз.

— Сезон здесь короткий, работают они сдельно, сколько хотят, заработок большой,— а не заманишь их, бормочут: далеко, холодно, «ядовитый» океан, девять месяцев солнца нет.

Плотников и каменщиков не упрекнешь за то, что они не знают одной из далеких окраин своей страны,— ее не знают и многие из людей, которые обязаны знать область, где они работают.

— Я недавно здесь,— говорил мне один из товарищей,— недавно — и еще не принюхался. Но уже ясно — богатейший край! Ежели его по-настоящему копнуть — найдется кое-что и поценнее хибинских апатитов.

В доказательство своих слов он сообщил, что где-то «поблизости» мальчишки находят слюду и «куски металла, должно быть, цинка или свинца».

— Тут был один лесовод, так он говорил, что здесь растет высокоценное дерево — мелкослойная ель, и будто нигде нет этого дерева в таком количестве, как у нас. А поселенцы на дрова рубят эту ель.

И, усмехаясь, продолжал:

— До курьеза мы ни черта́ не знаем! Недавно в лесах, около границы, медеплавильный завод нашли, хороший завод, построен, должно быть, в годы войны. 75% оборудования еще цело, только железо кровельное и кирпич разграблен, видимо, поселенцы растащили. Стали мы искать: чей завод? Никаких знаков! Нашли в Александровске заявки на медную руду, одна — времен Екатерины, другая — Николая Первого, кажется. Но заявки не на то место, где поставлен завод. Чудеса...

Мне принесли образцы находок — несколько кусков слюды и свинцового блеска. Я спросил: установлены ли места нахождения этих руд?

— Нет еще. Специалистов ждем. В Хибинах они целым табуном возятся с апатитами, наверное, и сюда заглянут.

Человек помолчал и, вздохнув, сердито договорил:

— Я не «спецеед», а все-таки так же мало верю им, как они нам. Съездит в лес, понюхает и скажет: действительно это руда, но — нерентабельна, промышленного значения не имеет. Чёрт его знает — так это или нет? Вам, конечно, известно, что кое-кто из них всё надеется, что старые хозяева еще вернутся, а старые-то хозяева, наверное, передохли давно...

Мне показалось, что здесь довольно много людей, которые «не принюхались» к этому краю. И, кажется, это не их вина,— их слишком часто «перебрасывают» с места на место.

— А где тут замшу вырабатывают? — спрашиваю я.

— Замшу? Не слыхал. Я тут недавно.

Другой сообщает:

— Не замшу, а — лайку! Но это около Кеми будто бы...

— Читал я, что по мурманскому берегу в сторону Лапландии есть несколько месторождений серебряно-свинцовой руды, а около Кандалакши — будто бы золото.

— Всё может быть,— говорят мне весьма хладнокровно.

Край требует работников энергичнейших, которые быстро и всесторонне умели бы присмотреться, «принюхаться» к его природе, его богатствам, к условиям его быта. Человек «проходящий», я, конечно, понимаю, что мое право критики ограничено тем фактом, что для более глубокого изучения действительности у меня «не хватает» времени. Такое глубокое и всестороннее изучение — социальная обязанность молодежи, ее дело и ее радость.

А все-таки в Мурманске особенно хорошо чувствуешь широту размаха государственного строительства. Размах этот, конечно, видишь и понимаешь всюду в центрах и областных городах, где энергия рабочего класса, диктатора страны, собрана в грандиозный заряд. Но здесь, «на краю земли», на берегу сурового, «ядовитого» океана, под небом, месяцами лишенным солнца, здесь разумная деятельность людей резко подчеркнута бессмысленной работой стихийных сил природы.

Ни Кавказ, ни Альпы и — я уверен — никакая иная горная цепь не дает и не может дать такой картины довременного хаоса, какую дает этот своеобразно красивый и суровый край. Тут получаешь такое впечатление: природа хотела что-то сделать, но только засеяла огромное пространство земли камнями. Миллионы валунов размерами от куриного яйца до кита бесплодно засорили и обременяют землю. Совершенно ясно представляешь себе, как двигался ледник, дробя и размалывая в песок рыхлые породы, вырывая в породах более твердых огромные котловины, в которых затем образуются озера, округляя гранит в «бараньи лбы», шлифуя его, создавая наносы валунов, основу легенд о «каменном дожде».

Воображение отчетливо рисует медленное, всё сокрушающее движение ледяной массы, подсказывает ее неизмеримую тяжесть, а в железном шуме движения

поезда слышишь треск и скрежет камня, который дробит, округляет, катит под собою широчайший и глубокий поток льда.

Невероятно разнообразие окраски камней, которыми засорена здесь земля: черные и серые граниты, рыжие, точно окисленное железо, тускло блестящие, как олово, синеватые цвета льдин, и особенно красивы диориты или диабазы зеленоватых тонов. Убеждаешься, что сила, которая, играя, уродовала, ломала эти разноцветные камни, действительно слепа.

Около маленькой станции двое рабочих разбивают на щебенку бархатистый мутно-зеленый диорит. В другом месте, перед мостом, взорван огромный валун, в его сером мясе поблескивает роговая обманка, она расположена правильными рядами и напоминает шрифт церковных книг или те прокламации, которые в старое время писались «от руки». Это — «библейский» или «письменный» камень. Огромные пространства засорены валунами, и часто, среди мертвых камней, стоят, далеко одна от другой, тонкослойные ели — то самое высокоценное «поделочное» дерево, о котором говорил «мурманам» лесовод. А за этим полумертвым полем, во все стороны вплоть до горизонта — густой лес; толстая, пышная его шуба плотно покрывает весь этот огромный край. Бешено мчатся по камням многоводные реки, на берегах мелькают новенькие избы поселенцев. Дымят трубы лесопилок, всюду заготовки леса. Вот — Хибины, видно холмы, месторождение апатитов. Здесь, в Хибинах, известная опытная сельскохозяйственная станция. Вот разрезал землю бетонированный канал Кондостроя.

Край оживает. Всё оживает в нашей стране. Жаль только, что мы знаем о ней неизмеримо и постыдно меньше того, что нам следует знать. Но всюду видишь, как разумная человеческая рука приводит в порядок землю, и веришь, что настанет время, когда человек получит право сказать:

«Землю создал я разумом моим и руками моими».

# РАССКАЗ

Когда человек узнал, что в трех днях пути от его становища пришлые люди вспахали в степи машинами огромный кусок никогда еще не паханной земли и машинами засеяли его, человек подумал, что это такие же древние люди, каков он сам, но глупее его.

В старом теле его жила тысячелетняя душа, и он знал: горе и радость всех людей степи в том, чтоб пахать землю, сеять и собирать хлеб, а всё иное, что делают люди, можно не делать. Земля родит человека для работы на ней, а когда человек изработает силу свою, она поглощает тело и кости его.

Летом над землею знойное солнце плывет медленно, а за ним прилетает с востока горячий ветер и, выжигая хлеб, травы, сушит человека тоской, сушит страхом голода. Изредка ветер сгоняет в степь черные тучи, они поят землю дождем, и тогда душа радуется — будет много хлеба. Зимою солнце скользит в небесах быстро, пронзительно холодный ветер носится по степи, шуршит по земле, свистит, скупо сеет снег, а по ночам поет всегда одну и ту же песню:

«Восходит солнце и заходит, а земля пребывает вовеки.

Род приходит и род уходит, а земля пребывает вовеки».

Человек не думал о тяжелом, уничтожающем смысле этой песни потому, что он слишком хорошо знал смысл ее. Думал он о своем скоте, о жилище своем и хлебе, думал иногда о жене своей, но думал всегда только о своем и почти никогда о себе.

Он был уверен, что нет машины, которая поборола бы силы зноя и холода, и не изменит машина путь злых ветров.

Человек этот был издревле привычен жить надеждами на помощь извне от бога, от жреца и знахаря,— жить без веры в силу разума своего, темной надеждой на тайные силы вне человека.

Когда пришла пора уборки хлеба, он, полудикий степняк, собрав свой скудный урожай, пошел посмотреть, как собирают хлеб машинами пришлые люди. Может быть, удастся посмеяться над ними.

Широкоплечий, коротконогий, в тяжелых сапогах, в толстом кафтане цвета дорожной пыли, он стоял среди степи, точно вырубленный из камня, серое бородатое лицо его — тоже каменное. Между шапкой, сдвинутой на брови, и бородою недоверчиво, угрюмо светились темные глаза — «зеркало души». Волосатые ноздри его равномерно дышали, шевеля серые усы.

Он смотрел, как пришлые люди суетятся вокруг сооружения, мало похожего на машину, а скорее на диковинного зверя, каких иногда видишь во сне. Длинная шея зверя не имеет головы, а хвост его, весь из ножей, сбоку огромного, неуклюжего туловища. И туловище так нескладно, как будто уже измято, изломано степным ветром. Трудно понять, как работает это чудовище из дерева и железа, как управляют люди силою его. Люди — обыкновенные, но — молоды они. Двигаются быстро, а не похоже, что работают торопливо. Если эта машина опрокинется набок, она может придавить не менее пятерых.

— Ее как звать? — спросил человек.

— Посторонись,— ответили ему, но он не сошел с места.

Сбоку или впереди чудовища дрожит и фыркает железный медведь на колесах, толстую шею его оседлал парень без усов, почти мальчишка, пиджак на нем вымазан маслом и как будто пошит из кровельного железа. Парень, толкая ногами свою машину, повернул колесо, широкие ободья железных колес тоже повернулись, большая машина покачнулась, застучала и покатилась по сухой земле, сметая хвостом колосья хлеба, подхватывая их десятками тонких, как гвозди, железных паль-

цев; колосья поплыли над хвостом машины куда-то в бок ее, она тряслась и ревела от жадности, пожирая их, из перерубленной шеи машины полетела солома, полова, пыль.

Человек стоял, глядя вслед ей, рот его открывался и закрывался, тряслась борода, казалось, что он кричит, на голову и плечи его сыпалась солома, летела в лицо, в бороду, он покачивался, тыкал палкой в землю, передергивал плечами, поправляя котомку на спине. Потом, точно его выдернуло из земли, он тяжело, но споро побежал за комбайном, помахивая палкой, котомка за спиною прыгала, точно подгоняя его. Бежал не один, бежали и еще другие мужики, но ему, видимо, хотелось обежать вокруг машины, он обгонял всех, но не успевал за нею, спотыкался, и всё казалось, что он кричит.

Все-таки он догнал комбайн, когда тот пошел тише, догнал и, рискуя попасть под ножи косилки, тяжело запрыгал рядом с нею. Какой-то длинный человек оттолкнул его.

— Дьявол,— хрипло сказал он, отирая пот с лица широкой, чугунной лапой.

Комбайн остановился, он подбежал к рукаву, из которого в подставленный мешок сыпалось толстой струею зерно, и, сунув пригоршни под золотую струю, зачерпнул ими зерна. Несколько секунд он смотрел на него, приподняв пригоршни к лицу, согнув пыльную тугую шею. Потом, показывая зерно окружающим, сказал хрипло и задыхаясь:

— Настояще... Дьяволы! А?

Рядом с ним стояли такие же, как сам он, но помоложе его, они смотрели на машину также очарованно, но и как бы испуганно и завистливо. Старик бросил зерно в мешок и тотчас же снова, сунув руку под струю, схватил горсть зерна, бережно спрятал его в карман кафтана. То же сделали еще двое-трое. Один сказал, вздохнув:

— Придумано!

— Не угонишься за ней,— сказал другой, а третий хмуро протянул:

— Где-е там...

Было сказано и еще несколько неопределенных слов,

но ни в одном из них не прозвучала радость. Гордость и радость звучала только в словах тех людей, которые рассказывали о внутреннем устройстве машины, о ее работе.

— Всё ж таки около нее наши хлеборобы,— задумчиво сказал кто-то.

— А кто ж? Земля требовает опыту...

Утешив друг друга, люди эти отошли прочь от рабочих «Гиганта», а тот, старый, коротконогий,— остался.

Он поднял с земли палку и, точно шпагу, вытер конец ее полой кафтана, затем, вытряхая пальцами солому из бороды, медленно пошел вокруг машины. Он щупал ее руками, взглядами, легонько постукивал палкой, размышляюще останавливался и снова шел, потряхивая бородой, поправляя шапку. Каменное лицо его стало как будто шире,— может быть, он стиснул зубы?

Потом он стоял в толпе, на митинге, и слушал речи ораторов, опираясь на палку обеими руками, глядя в землю. Изредка он шарил палкой у ног своих, щупал землю, как бы пробуя: та ли это земля, какою она всегда была?

Раздавали награды рабочим, наиболее энергично потрудившимся на новом гигантском поле. Когда награжденные получали подарки, он пристально, из-под ладони, смотрел на них. Получила награду девица, работавшая на тракторе.

— И — девке,— сказал старик соседу, потом, усмехаясь, добавил: — Заманивают.

Вскоре он пошел прочь, равномерно, через каждые три шага, тыкая палкой в землю, не оглядываясь. Возможно, что глубоко взволнована была тысячелетняя, покорная силам природы душа его.

Может быть, он завистливо думал, что новые люди способны побороть и суховей, который насмерть выжигает хлеб, и мороз, убивающий зерно в земле.

# О ВИКТОРИНЕ АРЕФЬЕВЕ

О Викторине Арефьеве я могу сказать немного. Он редко бывал в Красновидове; являлся обычно к ночи или ночью, приходя пешком с пристани «Лобышки». М. А. Ромась, весьма строгий конспиратор, побеседовав с ним, отправлял его ко мне, на чердак, там Арефьев спал и сидел, не выходя на улицу села, целый день, а ночью исчезал, спускаясь к Богородску в лодке с рыбаком Изотом или уходя на Лобышки. Ромась сообщил мне, что Арефьев выслан из Саратова или должен был уехать оттуда, избегая ареста,— не помню точно. Вероятнее — последнее, потому что Арефьев обычно являлся в Красновидово или из Казани, или из Саратова, и я думаю, что он служил связью между народовольцами этих городов.

Помню, что при первой встрече он мне определенно не понравился,— говорил со мною докторально, заносчиво и щеголял своей начитанностью. В следующий раз я примирился с этим, поняв, что за щегольство мною принято естественное желание человека, много знающего, поделиться радостью знания. Особенно возбудил мою симпатию его интерес к фольклору, он отлично знал поволжские говора́, у него были интересные записи песен пензенских татар, запевок «Дубинушки» и целое исследование о саратовской «Матане», предшественнице современной «частушки». Мне кажется, что эта работа его печаталась в «Саратовском дневнике», редакции Сараханова в 91 или 92 гг. Лет десять спустя в кружке Мережковских искали рифму к слову «дьявол», нашел, кажется, Сологуб: — «плавал». И мне вспомнилась запись Арефьева:

Милый мой по Волге плавал,
Утонул, паршивый дьявол!

К запискам своим он относился небрежно. Однажды забыл их в лодке Изота, в другой раз его тетрадь оказалась под моей койкой. Был он человек живой, размашисто открытый, богатый словом, с широким полем зрения и уменьем тонко, точно наблюдать.

Как-то будучи в Казани, я встретил его у геолога Северцева или Сибирцева, и мы решили идти в Красновидово пешком. Вышли на утренней заре. В памяти моей очень светло и выпукло лежат сорок пять верст этого пути, в непрерывной беседе с человеком, которому и природа и люди говорили больше, чем в ту пору я умел видеть и слышать. Он обладал небольшим голосом, отличным слухом и безошибочно передавал мелодии народных песен. Лицо у него было четкое, из тех, какие — увидав один раз — долго не забываешь и хочешь видеть еще. Лицо его хорошо освещали очень яркие и умные глаза; особенно ярко блестели они, когда Арефьев смеялся. Смеяться любил, это — верный признак хорошего человека.

Года через два — если не ошибаюсь — я встретился с ним в Нижнем у И. И. Сведенцова, мрачного народовольца, автора очень скучных рассказов. Это была последняя встреча. Он, кажется, имел какое-то отношение к «народовольцам». Это я заключаю по тому, что он очень подробно рассказал мне о провале типографии Ромася в Смоленске. И в этот раз он вызвал у меня впечатление человека крепкого, решительно идущего к своей цели, влюбленного в песни, навсегда преданного народу своему и готовому на всякий бой, на любую работу ради лучшего будущего.

# СОВЕТСКАЯ ЭСКАДРА В НЕАПОЛЕ

«Разрешите доложить, товарищи!»

Утром 12 января пришли ко мне девять человек моряков, и начальник их сказал мне, что:

— Совершая учебный поход, две боевых единицы Балтфлота «Парижская Коммуна» и «Профинтерн» пришли в Неаполь, и команды этих судов просят вас пожаловать в гости к ним.

Я думаю, можно не говорить о том, что когда из нового мира является один человек — это очень волнует и настраивает празднично, а когда является сразу девять — волнуешься в девять раз больше: в голове и еще где-то внутри разгорается живительное, омолаживающее тепло, чувствуешь себя счастливым и поэтому немножко глупым, много улыбаешься, не сразу находишь, о чем спросить, что сказать, а вообще — очень хорошо на «душе». Потому-то, товарищи, хотя это и предрассудок, но у меня есть душа, и в ней живет большая любовь к молодым коренастым ребятишкам в костюмах матросов, красноармейцев, в прозодежде и прочих костюмах. Но для выражения этой любви нет у меня достаточно ярких слов, и поневоле говоришь о ней в шутливом тоне.

Молодые мореплаватели, посмеиваясь, рассказывают о том, как «трепал» их шторм в Бискайском заливе,— шторм, о котором старые моряки, хорошо знакомые с бурями всех океанов и морей, говорят как о небывалом по силе. Об этом шторме, погубившем не одну сотню людей, и убытках, нанесенных им, газеты писали очень много. Подсчитано, что за время «этого шторма погибло и выброшено на мель до 60 судов, потерпело аварию около 606 судов». Количество погибших людей, должно быть, забыли подсчитать.

Начальник рассказывал, как вели себя во время шторма в «Бискайке» две тысячи молодых ребят, таких же, как эти девять, как псковские, орловские, нижегородские, ленинградские и других мест парни первый раз в жизни ввязались в безумную и бессмысленную игру стихии, как мало оказалось среди них больных морской болезнью, как мужественно они работали, товарищески помогая друг другу вне очереди, и как мало оказалось побитых, хотя шторм играл судами, как мячиками, а ребят бросало из угла в угол, «точно перышки».

— 35 колебаний в минуту,— представляете, что это такое?

— Я — представляю: это — очень скверно!

— Были и такие, что струсили,— замечает один из молодых моряков, другой вносит в рассказ точность:

— Десятка два на тысячу двести.

Начальник говорит о поведении молодой команды с явной гордостью, ребята слушают похвальный его рассказ внимательно и как бы проверяя: так ли всё? Посмеиваются, изредка вставляют забавный или меткий штришок. Пренебрежительно снисходя к проявлению глупости «культурных» людей, которые уже одичали от страха перед будущим, рассказывают о встрече французами в Бресте:

— Показали нам какой-то засоренный мусором пустырь и говорят: вот здесь гуляйте, а в город — нельзя!

— Пустырек — величиною не больше двора для прогулки заключенных в царской тюрьме...

— Мы, конечно, отказались от этой любезности...

Чувство собственного достоинства сказывается у этих ребят во всем их поведении. Вот они, рядовые матросы флота рабоче-крестьянского Союза Советов, сидят за столом, завтракают. Пусть они не обижаются на меня, но — «все познается по сравнению», и я невольно сравнил этот завтрак с другим на одной даче под Ялтой весною 1905 года. Тогда за столом сидели матросы царского флота, трое с «Потемкина» и еще два «береговой охраны», все — «удалые добры молодцы»,— те самые, о которых поется в старинных песнях. Водку они пили чайными стаканами, причем Беловин, человек огромный и мрачный, выпив, давил стакан пальцами, два — раз-

давил благополучно, третьим глубоко разрезал себе ладонь. Несмотря на присутствие за столом старой революционерки Софьи Витютневой, все они, не стесняясь, произносили «матовые» словечки в три этажа и выше. Один из них, выпив больше, чем могла «душа» принять, извергнул лишнее тут же в комнате, в кадку с каким-то растением. Революционность свою они выявляли — кроме «мата» — ударами кулаков по широким своим грудям, по столу и плевками во все стороны. Вообще вели себя весьма шумно, однако вызывали впечатление унылое, впечатление людей нездоровых, настроенных истерически, а главное, совершенно не способных, да и не желающих разбираться в явлениях текущей действительности. Истерический героизм этих людей всего яснее выразился в словах одного из них:

«Без нас, флотских, никакой революции не может быть. Кабы дурак этот, Гапон, устроил дело не девятого января, а шестого мая, в царевы именины, да флотских, петербургских позвал, ну, тогда бы дело вышло...»

Разумеется,— у этих людей были хорошие чувства, но один из матросов «Парижской коммуны», между прочим, сказал мне:

— Хорошие чувства хороши для самолюбования, а теперь надо воплощать хорошие-то чувства в живое дело.

Да, вот как! Раньше старики любили говорить: «Молодо-зелено», а теперь всё чаще думаешь: «Молодо, а — правильно».

В Сорренто завтракали культурные, политически грамотные молодые люди,— люди, которые отлично понимают свое значение и цель своего класса. Посидев часа три, они взяли с меня слово, что на другой день я буду у них гостем, и ушли в Сорренто, к пристани. Но с утра разразился проливной дождь, и товарищи по телефону заботливо сказали, чтоб я не приезжал. Трогательная заботливость. Дождь не помешал им целый день ходить по Неаполю, побывать в музее, на биологической станции, съездить в Помпею. На следующий день празднично засияло итальянское солнце, и вот я на «линкоре», который весит 26 700 тонн, то есть свыше 1600 тысяч пудов, и высота которого, как мне сказали, равна четырехэтажному дому. Вообще мне говорили очень

много оглушительных цифр, показывали чудовищные машины, еще более чудовищные пушки, но, как всегда и везде, меня всего более интересовали и волновали молодые люди, которые живут на этой стальной штуке и управляют ею среди бешеных волн высотою тоже в четырехэтажный дом. Ударами этих волн погнуты железные лестницы и нанесены стальному гиганту еще «кое-какие мелкие повреждения». Я осведомился: «Больные есть?» — «Ни одного, лазарет — пустой. Есть двое, но — на ногах, у одного болит голова, другой ушиб руку».

Спрашиваю:

— Жутко было?

Широкоплечий парень отвечает:

— Я на марсе качался, так, знаете, разов десяточек подумал: прощай «Парижская коммуна», прощайте, товарищи! Как ударит гора-волна в борт, да в нас, да встряхнет, ну, думаю, не вылезем! Однако вот вылезли...

В судовой газете «На вахте», в 26 ее номере, напечатано:

«Трехсуточное штормовое испытание в океане для нас было экзаменом и боевой проверкой как всему кораблю, так и в отдельности каждому краснофлотцу, командиру и политработнику.

Многие краснофлотцы и командиры проявляли подлинные поступки героизма, с риском для жизни выполняли свой долг и вели борьбу с бушевавшей водной стихией, сохраняя жизнеспособность корабля и его механизмов».

Людям на судне тесновато, их — 1200, а одно из помещений для них загружено углем, и многие спят на палубе. Общее впечатление — строжайшая дисциплина при наличии действительно заботливого и товарищеского отношения командиров и команды. Один из матросов прекрасно объяснил это:

— Дисциплина у нас — как надо быть, но не на мордобое, как в царское время, а на уважении нашем к людям, которые знают больше нас и хотят, чтоб мы знали столько же, сколько они.

Другой прибавил:

— Конечно, мы будем знать больше, чем они.

Это было сказано с твердой уверенностью, без тени хвастовства, и возможно, что за этими словами скрыта простая и вполне естественная мысль: дети должны знать и больше и глубже отцов.

Испытав трепку в Бискайском заливе, молодые моряки, видимо, чувствуют себя в силе выдержать не одну такую же. Те два или три десятка из них, которые поддались во время шторма естественному чувству страха, заслужили общественное порицание товарищей и были назначены на работы не в очередь, но через несколько дней, когда товарищи сняли с них этот «урок», они заявили, что будут работать так, как работали, до поры, пока сами себя не почувствуют свободными от упреков. Когда мне рассказали это, я снова вспомнил недоброе и темное «старое время». По некоторым линиям далеко ушла от него наша молодежь. Можно ли было предположить, что когда-то флот и армия будут играть столь серьезную культурно-воспитательную роль, какую играют они в Союзе Советов!

К сожалению, гостей принято кормить,— я говорю «к сожалению» не как хозяин, а — как гость. Меня кормили отличным ржаным хлебом, дагестанскими огурцами, селедками и рябчиками. На десять человек была истрачена бутылка какой-то сладковатой и, очевидно, безалкогольной влаги. Это говорит, конечно, не о скупости хозяев, а о том, что они:

«На боевом судне не пьют».

Этим они нарушают общеевропейскую традицию, по силе которой моряк должен быть алкоголиком,— традицию, которая усердно подчеркивается литературой, а особенно английской.

На кормление потребовалось не меньше часа, который я с большей пользой для себя мог бы употребить на беседу с молодыми моряками. После обеда на верхней палубе собралось несколько сотен команды и был устроен «вечер культурной самодеятельности».

Что молодежь наша талантлива — это естественно, такою она и должна быть, когда перед нею открыты все пути к выявлению ее способностей. Команда «Парижской коммуны» показала, что среди нее очень много певцов, музыкантов, танцоров и отличный, остроумный

импровизатор — «завклуба». Выступала элегантная балерина; если я не ошибаюсь, она по происхождению — кочегар. Три деревенские девицы читали,— вернее, пели — газету, остроумные куплеты «на злобу дня», девицы, конечно, тоже оказались матросами. Трио играло на «баянах», кто-то на гавайской гитаре, двое танцевали чечетку. Со мною был художник Ф. С. Богородский — мой земляк, бывший циркист, артист эстрады, его мнение об артистах «Парижской коммуны» ценнее моего, а он искренно восхищался их талантливостью.

— Хоть сейчас на любую эстраду готовы,— говорил он о них, а это, в устах «спеца»,— солидная похвала.

Удивительно хорошо было в этот вечер на палубе боевого советского корабля. Огромная стальная крепость едва ощутимо покачивалась на темной воде порта, густой, как масло. Тысячи огней Неаполя смотрели в тесный порт, где бок о бок стояли два серых чудовища из далекой страны, полуграмотными рассказами о которой буржуазная пресса пугает миролюбивого обывателя, миролюбием своим исказившего всю жизнь. У трубы броненосца, спиною к прелестям обывательских гнезд, лицом к морю сидят сотни молодых людей, которые уже твердо знают, зачем они родились и с какой целью так смело входят в этот старый мир. Они дружно аплодируют и хохочут, любуясь забавными выходками своих товарищей-артистов. Может быть, не совсем уместно, но под этот здоровый, искреннейший смех вдруг вспоминаешь, что против этих двадцатилетних ребятишек, которые с лишком сорок дней плавают по морям, познакомились со стихийной силищей океана, только что пережили «небывалый шторм», а теперь вот поют, пляшут, играют, смеются,— против этих крепких, выносливых ребят вся вековая грязь и гниль старого мира, все негодяи, мошенники, фальшивомонетчики, лорды и генералы, попы и купцы, весь мир паразитов, и предатели Беседовские, Соломоны, Пальчинские, и миллионы деревенских кулаков, и еще многое. Но всё это не пугает, не смущает, всё это вспоминается только как работа по очистке земли от грязи,— работа, которую должны будут сделать и сделают эти наши ребята.

Старый Неаполь, любивший в прошлом бунтовать, встретил их благодушно, почти дружески. Пресную воду дал бесплатно, понизил на две трети цены за посещение Помпеи и оказал еще целый ряд маленьких любезностей со стороны официальной. Но есть мелкие признаки, которые позволяют думать, что в массе неаполитанцев еще жива та активная симпатия, которую они почувствовали к русским после 1905—1906 годов.

Поведение наших моряков на улицах города засвидетельствовано одним из официальных лиц Неаполя командиру эскадры: «Третий раз советские матросы посещают наш город, и мы не имеем ни одного скандала, ни одного полицейского протокола, это совершенно необычно!» Да, это необычно. Матросы какого-то американского крейсера разгромили пять ресторанов. Англичане ходили по узким улицам Неаполя цепью, взяв друг друга под руки, остановили движение, избивали прохожих. Подвиги такого стиля были обычны и для русских матросов царского времени.

Шесть часов на двух судах — слишком мало времени для того, чтоб побеседовать обо всем, о чем хотелось. Сообщу о том, что видел и слышал мой знакомый юноша, рожденный в Италии, знакомый с Союзом Советов только по литературе и влюбленный в Союз, как в страну чудес. Когда он узнал, что по улицам верхнего Неаполя по Вомеро гуляют «русские матросы», он бросился искать их. Прежде чем найти их, он встретил десятка два странно одетых людей в ситцевых штапах, в рубашках со множеством пуговиц, в разнообразных шляпах и шапках из овчины. Эта группа смешно паряженных возбуждала любопытство неаполитанцев, жадных до зрелищ, особенно до смешных. Только потому, что день был рабочий, ряженые не могли собрать вокруг себя огромной толпы, как это было бы в праздник. Ряженые тоже искали встреч с моряками, а встречаясь, кланялись им в пояс — «по-русски» — и плачевно говорили:

— Дорогие братцы! Не верьте большевикам, они вас обманывают, они разрушили нашу дорогую родину.

Ребята с «Коммуны» и «Профинтерна», вытаращив глаза, сначала относились к этим людям как к шутни-

кам, которые хотят позабавить земляков, а затем, почуяв истинное намерение ряженых, хохотали:

— Да вы, черти, с ума сошли, что ли? Мы же и есть большевики!..

— Братцы,— не верьте...

Ребята, перестав хохотать, сердились:

— Ну, отходи прочь, а то бить будем,— говорили они; пропагандисты отскакивали прочь и скоро исчезли с улиц Вомеро.

Это так нелепо и смешно, что поверить в действительность такой выходки — трудно бы. Русских эмигрантов в Неаполе человек шестьдесят, и многие из них осели здесь еще до 1914 года,— у них было достаточно времени для того, чтоб окончательно одичать и забыть, что такое Россия. Забывают об этом с легкостью поразительной и в более краткий срок даже эмигранты Октябрьской революции, забывают даже географию своей страны. В эмигрантской прессе можно встретить удивительные перемещения городов и даже целых уездов: Кандалакша перемещена за Урал, в Сибирь, Малоархангельский уезд из Орловской губернии — в Архангельскую. «Ситцевые штаны» ряженых трудно понять, но, может быть, этими штанами хотели показать морякам, как обеднел народ Союза Советов? Итак, попытка пропаганды неаполитанско-русских патриотов не удалась. Они должны бы очень благодарить моряков за то, что ребята только посмеялись над ними и прогнали их.

В одном из маленьких ресторанов мой знакомый встретил двух товарищей, один из них был солидно выпивши, другой — весьма смущен этим. Пьяный говорил неаполитанцам речь, конечно, на русском языке, и немножко покрывая ее «матом».

— Дьяволы... Земля у вас — хорошая, а как вы живете? Живете как?.. Чего ждете, а?

Трезвый уговаривал его:

— Перестань! Ты же пьяный, ты флот конфузишь! Мы должны вести себя примерно...

— Стой, погоди! Чего они ждут, а? Товарищи итальянцы! Берись за дело...

Мой знакомый легко читает по-русски, но плохо го-

ворит. Он решил прийти на помощь трезвому товарищу и заговорил с ним. Тот сначала спросил:

— Вы эмигрант, что ли?

— Нет.

— Верно?

— Честное слово!

— Ну, тогда, брат, помоги мне купить кисточку для бритья. Ты скажи, чтоб за товарищем поглядели, не пускали бы его на улицу.

Пошли покупать кисточку, но у двери магазина моряк сказал:

— Ты погоди, я сам спрошу.

И, указав пальцем на кисть, спросил:

— Кванто коста (сколько стоит)?

Торговец назначил пятнадцать лир, а моряк, подняв два пальца, сказал:

— Дуэ!..

Торговец возмутился со всем пылом неаполитанца и сбавил пять лир.

— Тре! — сказал моряк.

Тут торговец, захохотав, спросил:

— Руссо? Маринайо руссо, си? [1]

— Вот именно, этот самый,— сказал моряк и получил кисточку за три лиры, после чего торговец долго, дружески хлопал его по плечу. Возвратились в ресторан, там смирно сидел пьяный под заботливым надзором неаполитанцев.

— Ну, спасибо,— сказал моряк моему знакомому и прибавил одобрительно:

— Язык у них очень простой.

Он ушел вниз, к порту, уводя с собою ослабшего товарища.

Затем знакомый мой увидал еще одного моряка, тот, стоя перед витриной книжного магазина, шевелил губами. Повторилась та же сцена — был поставлен тот же вопрос:

— Эмигрант?

Но затем последовало объяснение:

---

[1] Русский? Русский моряк, да?

— Эмигрантов я, конечно, не боюсь, а противно руку пожать изменнику интересам трудового народа.

Этому моряку нужно было купить кашне.

— Не шёлковое, а простое!

И снова торговец запросил, кажется, тридцать лир, уступил за цену, предложенную моряком, потому что:

— Вы — русский храбрый моряк, ваши друзья помогли нам в Мессине и поискам экспедиции Нобиле во льдах вашего моря. Мы это помним!

Хождение моего знакомого по улицам Вомеро закончилось так: на одной из маленьких площадей он увидел тесную группу, несколько десятков неаполитанцев и среди ее — нашего моряка. Это был человек, убежденный в том, что правда, сказанная по-русски, понятна людям всех иных языков. Он и говорил по-русски всё, что может сказать человек, твердо верующий в силу и победу своей правды. Слушали его молча и серьезно.

— Хороший город у вас, а как живет в нем беднота? Грязь, вонь...

Толпу растолкал какой-то человек, обнял моряка и поцеловал его.

Но тотчас же другой человек, одетый более чисто и с лицом сытого, сказал тому, который поцеловал моряка, очень строго сказал:

— Вы слишком любезны, смотрите, это может быть плохо для вас.

Этой характерной сценкой я закончу мой маленький отчет.

Французская газетка «Попюлер» напечатала, что «итальянские власти» устраивали в честь советской эскадры «пиры» и «празднества». Эта ложь нужна была газете для того, чтоб сказать несколько пошлостей о «красных моряках». Газета «Попюлер» не боится быть смешной,— она твердо уверена в глубоком невежестве своих читателей.

# ДЕНЬ В ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ

Огромный город накрыт грязновато-серой тучей. Она опустилась так низко, что кажется плоской и такой плотной, что разорвать ее может только сила урагана. На крыши великолепных зданий, на оголенные деревья, черные зонтики людей и асфальт мостовой сеется мокрая пыль, смешанная с горьким запахом дыма и грибов, которые загнили. Темнокаменные стены домов осклизли, они как будто покрыты плесенью, черная мостовая траурно блестит. Гудят, звонят автобусы, автомобили, трамваи, трещат мотоциклеты, и этот треск заставляет подумать, что у города расстроен желудок. Шум почти заглушает голоса людей, люди кажутся немыми, лишь изредка слух ловит сердитые окрики и печальное всхлипывание воды в трубах водостоков. Быстро идут навстречу друг другу пешеходы, и есть что-то враждебное в том, как неохотно уступает дорогу один другому. Мелькают в глазах желтые ноги женщин. Женщины, накрытые зонтиками, похожи на ожившие грибы более, чем мужчины.

За высокой стеною, сшитой из гладко выстроганного теса, возводится, уплотняя город, еще одно огромное здание. Стена, снизу доверху, ярко расписана рекламами, у основания ее отсыревшая старуха, окутав голову и плечи изношенной, грязной шалью, молча продает газеты. Одна из реклам изображает женщину в голубой пижаме, она сидит в желтом кресле, пред изящным столиком, на нем — кофейный прибор. Тонкими пальчиками розовой ручки женщина держит маленькую чашку. Всё — очень красиво и соблазнительно, только ноги женщины неестественно длинные.

К ним прижался спиною человек в черных очках, на деревяшке вместо правой ноги и без кисти на правой руке, левая висит вдоль тела, в ней зажата измятая серая шляпа. Он — неподвижен и тоже кажется неуместно написанным на рекламе художником-реалистом. Но он — живой, и каждые две-три минуты шевелится, подставляя прохожим шляпу. Жест этот он делает очень странно и сложно: сначала сгибает руку в локте, потом заносит ее медленно к правому плечу и, делая ею косой полукруг справа налево и сверху вниз, протягивает вперед. Лицо его морщится, перекосив рот, он двигает губами. Рука его держится вытянутой четверть минуты, не более, и снова бессильно падает вдоль тела. Этот сложный и трудный жест — бесполезен,— милостыню человеку в черных очках не подают, в течение двух часов никто не бросил монету в шляпу его. Черные стекла на месте глаз делают лицо его мертвым, и после каждого жеста он снова неподвижен, точно написанный на рекламе о пижамах. Он, должно быть, один из героев войны, «защитник отечества», «борец за национальную культуру». Рекламу он портит, он, вероятно, сотрет своей спиною ноги элегантной женщины, которая так изящно держит розовой ручкой маленькую чашку для кофе.

Широкие витрины магазинов показывают тысячи метров разноцветных материй, струятся потоки шёлка, и всюду — чулки, чулки! Пред витриной с чулками стоит группа женщин, над ними — многосводный пузырь черных зонтиков, он совершенно скрывает головы и лица. Женщины думают о ногах своих, и, вероятно, многие из них сожалеют о том, что природа создала их только двуногими. На четыре ноги можно бы натянуть две пары прелестных чулок.

Стремительно скользит по мокрому асфальту авто «Скорой помощи» и круто поворачивает на панель, почти упираясь в дверь магазина измерительных приборов,— дорогу ему пересек маленький шикарный автомобильчик на двоих; из него высовывается голова в блестящем цилиндре, желтое лицо с моноклем в глазу и кулак в рыжей перчатке, кулак гневно грозит шоферу «Скорой помощи», в другой руке человека с моноклем букет цветов. Спешно подошел полицейский в плаще,

уже собралась небольшая толпа зрителей,— в авто «Скорой помощи» что-то неблагополучно, дверь в него открыта, суетятся два санитара, поднимая кучу мокрой и грязной одежды, полицейский отдает честь человеку в цилиндре и, подойдя к шоферу «Скорой помощи», вынимает из-под плаща книжку, карандаш.

— Виноват не я, — кричит шофер.

— Не он,— подтверждают зрители.

Человек в цилиндре уже уехал. Полицейский молча пишет.

У витрины магазина готового платья для мужчин стоит некто в мокром пиджаке, окурок папиросы приклеен к его синей нижней губе. Воротник пиджака поднят, одна рука засунута в карман измятых брюк, другая держит под мышкой маленький ящик, в нем шевелится, повизгивает кудлатый щенок. За стеклом витрины стоят великолепно одетые люди с головами из мастики, у всех верхние части черепов пристегнуты глазами к скулам, точно пуговицами, раскрашенные лица ангельски красивы, но несколько идиотичны. Вполне возможно, что без голов эти люди были бы внушительнее, но традиция требует, чтоб человек имел голову даже и в том случае, если она не нужна ему. Человек с кутенком под мышкой и окурком на губе смотрит на этих людей так, точно он горестно сожалеет: почему он не манекен и не стоит за стеклом? Он тоже умеет стоять неподвижно, и от куклы его отличает только сухой, осторожный кашель. На серую кепку его регулярно, через определенное число секунд, падает крупная капля воды. Только одна почему-то.

Некоторые магазины налиты светом, и кажется, что люди в них плавают, точно рыбы в воде аквариумов. В одном разноцветно сверкают флаконы духов, рядом витрина резиновых изделий — игрушки для детей, игрушки для отцов, которые не желают иметь детей. Далее — выставка очень ярких картин; одна из них изображает фиолетовое дерево, а может быть, стог сена и синеватую женщину в тени его. Женщина — голая и лежит на боку в позе невероятно трудной — одновременно и лицом и спиной к зрителю. Синее тело ее наводит на мысль, что она не только лежит, но и разлагается. На-

против — магазин ювелира, торговля перчатками, серебряная посуда. На углу — роскошный магазин дамского белья, и снова чулки, чулки! И снова группы желтоногих женщин очарованно застыли в сырости и запахе бензина, карболовой кислоты, лизола — туман прижимает все запахи к земле. Тут же, на углу, маленький, уютный писсуар, железные стенки его украшены заявлениями врачей-венерологов о их готовности лечить болезни, которые сопровождают любовь.

Откуда-то появляется тележка, запряженная большой лохматой собакой с красными глазами; очень старая собака, глаза ее гноятся. На тележке, впереди ее и сзади, торчат две палки, третья соединяет их, и на ней развешаны старые, хорошо выглаженные брюки. Сзади тележки идет, виновато улыбаясь, сухонький человечек небольшого роста, кривые ноги его шагают по асфальту нерешительно, как по тонкому стеклу. Из-под полей старого котелка виден рот, растянутый улыбкой, и острый, небритый подбородок. Это — честный торговец, он не скрывает изъянов своего товара,— вся коллекция брюк в заплатах, к одной паре пришиты от колен продолжения из материи другого цвета, темнее; можно думать, что бывшему носителю этой пары брюк отрезали ноги. Пешеходы посматривают на торговца с недоумением.

Величественным жестом руки полицейский останавливает подвижной магазин брюк; собака устало садится на мокрый асфальт, но тотчас же встает и, оглянувшись назад, нюхает воздух. Что-то не понравилось ей, так же как и полицейскому. Он угрожающе поднял толстый белый палец, затем жестом полководца с дешевой картины протянул руку в глубину тихой улицы, украшенной двумя рядами мокрых деревьев; на каждом из них — по десятку желтых листьев, они как будто сосчитаны и оставлены только для того, чтоб напомнить людям о возможности весны. Хозяин магазина брюк, сняв котелок, обнажив лысый череп, указывает полицейскому куда-то за его плечо, но полицейский неумолимо недвижим, и собака, зевнув, поворачивает тележку с брюками туда, куда повелевает власть.

— Всё, что может быть куплено, должно быть продано; так или не так?

Это говорит седой, курчавый, горбоносый человек, в зеленом переднике, протирая тряпкой стекло витрины, забрызганное грязью.

— Да. Но — скорей, скорей,— торопит его маленький, круглый приказчик, стоя у двери магазина.

Похоронная процессия тоже торопится. Черные люди в цилиндрах, ведя за собою тощих черных лошадей, шагают слишком быстро, они как будто смущены тем, что в таком великолепном городе, по такой богатой улице им пришлось провожать кого-то, кто не мог заработать себе на похороны более приличные. Черная колесница судорожно трясет кистями и тихонько поскрипывает, внутри ее стоит гроб, небольшой, рыжий, он похож на чемодан. За колесницей следует наемный автомобиль, рядом с шофером — человек без шляпы, длинноволосый, с растрепанной седой бородкой, в очках. А сзади автомобиля сердито стучит грузовик, наполненный бочками, они распространяют запах соленой рыбы; на бочках, прикрыв плечи брезентом, сидит парень в шляпе из клеенки; презрительно оттопырив губы, он наблюдает, как безуспешно шофер грузовика пытается обогнать черный катафалк, и, сплевывая на мостовую, покрикивает что-то шоферу.

— Снимите шляпу! Уважение к мертвым,— строго внушает толстый большой человек прохожему, который обогнал его.

Но тот, очевидно, не уважает ни мертвых, ни живых; надвинув шляпу на лоб, наклонив голову, он стремительно несется вперед, расталкивая людей локтями рук, засунутых в карманы непромокаемого пальто. Он похож на сыщика из английского уголовного романа.

— Глупая голова,— бормочет толстяк, провожая его отталкивающим жестом, и, толкнув сразу двух дам,— не извиняется перед ними...

В залах выставки картин молодых художников бродят десятка два юношей и девиц, шагает, точно цапля, человек с большим животом на длинных ногах и длинным лицом; кости лица обтянуты багровой кожей, круглые глаза болезненно вытаращены, рот полуоткрыт, зубы у него зеленоватые и два — золотых. Он вызывает впечатление человека очень несчастного, возможно, что

это — художественный критик. Беспощадно яркие картины кажутся недописанными, видимо, художники делали их крайне поспешно, нимало не заботясь об анатомической правильности линий человеческого тела и о законах перспективы. Вот — женщина, левая нога у нее вывихнута, впрочем, художник оправдал этот вывих тем, что надел на ноги женщины деревянные чулки и туфли с каблуками различной высоты: левый выше правого сантиметра на три.

На деревьях с листвою серого цвета стоит красный дом, сильно помятый ураганом, один его угол втиснут внутрь, колоды окон искривлены, из одного окна смотрит человек без ушей, с медным маятником часов вместо правой щеки. У подножья серых деревьев — ярко-зеленые пятна, издали они напоминают ежей, но, может быть, это просто трава, только не было времени написать ее.

Сковородка с яичницей из двух несвежих яиц, шампиньоном и кусочком помидора, конечно — «натюрморт». Но девушка в клетчатом пальто, посмотрев на сковородку, говорит спутнику своему:

— Я ее знаю, это — жена его брата. Очень похожа.

Человек с длинными ногами смотрит на картины очень пристально и долго, потом отходит к окну и механическим пером пишет в толстенькой книжке. Лицо его становится всё более несчастным и унылым, на этой выставке ярчайших красок он как будто окончательно убеждается в своей бездарности.

В залах, так же как на улице, сильный запах бензина и плесени. На десятках полотен вихри красок хотят вырваться из тусклой действительности, но, еще более искажая ее, преодолеть не могут. Картины убеждают, что искусство живописи, теряя волшебную способность украшать жизнь, подчиняется грубой силе текущего дня, но всё еще немножко бунтует против его и, прикрываясь «наивностью», создает злые шаржи. Грустное и нелестное для художников впечатление вызывает этот бунт из-за угла.

Хотя глаза утомлены бессвязной пестротою красок, истеричными мазками кистей, но после этого испытания мокрые улицы каменного города кажутся еще бо-

лее мрачными, а весь город — декорацией трагедии, исполнители которой опаздывают начать игру. Группа рабочих, вырыв на площади длинную яму, хоронит в ней широкую трубу. Другая группа разбивает асфальт кирками, третья копается в глубокой канаве, удлиняя ее. Работают молча, торопливо, с ожесточением, из-под шин авто на них брызгает жидкая грязь. Стоят два полицейских в плащах, оба точно склепанные из железа. Они как бы олицетворяют несокрушимое равнодушие прохожих и проезжих обывателей города к людям, которые работают для их удобств.

Огромное, тяжелое здание набито оружием, которым «защищал свою свободу» народ этой страны против народов других стран, которые «защищали свою свободу» от натиска народа этой страны. Здесь можно любоваться всеми формами орудий убийства от простой дубины, окованной железом, и от самострела до пулемета и чудовищно длинной пушки с оторванным концом хобота. Рыцарские доспехи и современные ружья, мечи, кинжалы и штыки, которыми можно колоть, рубить, пилить. Очень много вещей сделано художественно, а в общем — огромное количество испорченного металла. Пройдут года, разразится та, последняя война, которая уничтожит возможность массовых убийств, столь выгодных империалистам, на эту выставку придут дети, и очень трудно будет им поверить, что предки их, живя впроголодь, тратили неисчислимое количество средств и сил для того, чтоб истреблять друг друга.

Ресторан туго наполнен обедающими. Все они сидят на стульях замечательно крепко, плотно и кушают так, как будто завтра им уже не дадут есть. Дымно, и в сизом дыме плавают, точно угри в воде, слуги, разнося пищу по столам. Пианино, скрипка и саксофон пытаются заглушить лязг ножей, вилок, дребезг посуды, звон стаканов и ворчливые голоса. На саксофоне играет человек с голодным лицом и стеклянным глазом, мертвый взгляд этого глаза неподвижно устремлен в широкую, голую спину женщины,— она чистит яблоко, срезая с него очень тонкий слой кожицы, чистит медленно. Наверное, она скушала бы яблоко вместе с кожей, если б на одном из ее пальцев не сверкал крупный бриллиант.

Женщины, у которых нет бриллиантов, показывают ноги.

Ресторан — скромный. Дамы раскрашены умеренно, мужчины в меру толсты. Все вместе они кажутся членами огромного семейства, которое выработало для каждой единицы и для всех обязательную манеру есть, пить, ковырять в зубах, улыбаться, одни и те же поклоны, жесты, междометия. Вполне допустимо думать, что каждый из них обязан круговой порукой употреблять определенное количество точно установленных слов, например — 113. Человек, который употребляет 133 слова,— уже непонятен и считается «вольнодумцем».

Слуга нечаянно плеснул пивом из кружки на колено гостя, тот вскочил со стула и, яростно размахивая салфеткой пред лицом слуги, указывая всеми пятью пальцами на колено свое, закричал, как будто его облили серной кислотой или расплавленным свинцом. Десятки пар глаз смотрят на слугу уничтожающе, и все люди, ближайшие к месту драмы, прячут колени свои под столы. Один из них громко «констатирует факт».

— Эти люди служат всё хуже.

— О да,— соглашаются с ним.

Какое единодушие, какая солидарность чувств и мнений!

Если б ресторан загорелся, члены этой секты сытых, наверное, вышли бы из огня целы и невредимы. В случаях катастроф они тоже оставляют женщин позади себя, а если женщины мешают им спасать пиджаки, брюки и кожу,— мужья и любовники избивают женщин, как это бывало всегда и было еще недавно в одном из «центров национальной культуры».

На улице стало светлее, чем днем, город богато засеян разноцветными огнями, дождь падает серебряной и золотой пылью, на крышах, на фасадах зданий сверкают огненные рекламы, витрины магазинов — точно жерла печей, где горят, плавятся и создаются вещи всех форм и цветов, всюду блестят круглые глаза автомобилей. Отражая эту безумнейшую игру земных огней, небо смущенно покраснело — в нем ни одной звезды. Совершенно ясно, что один из центров земной культуры богаче светом, чем эти старенькие, прокопченные ды-

мом, выпачканные облаками небеса с их созвездиями и Млечным путем, более тусклым и бледным, чем рекламы кино.

Вспоминается напечатанный в Библии анекдот о распутном царе Валтасаре. Однажды на стене его дворца появились написанные огнем слова:

«Мани, текел, фарес!»

Смысл этих слов остался неразгаданным и до сего дня, но Библия утверждает, что Валтасар погиб, а царство его было разрушено.

В наши дни огненные слова, никого не пугая, соблазнительно кричат о зубной пасте, о кондитерских и сереньком наслаждении кинофильм. Дерзкий богоборец Прометей, похитив огонь с небес, действительно оказал серьезнейшую услугу торговой рекламе. И давно бы пора ставить на улицах культурных центров, на месте неуклюжих фонарей, фигуры врага богов с фонарем в руке. Этого не делают, вероятно, потому, чтоб вольнодумцы не выдавали Прометея за циника Диогена, который долго и безуспешно искал с фонарем в руке человека на земле.

Диоген, живи он среди нас, вероятно, заметил бы человека, который уютно устроился на панели между дверями в магазин часов и магазин художественных изделий. Это — человек, сокращенный до минимума, ноги у него отрезаны по колени, правая рука — по плечо, левая — по локоть. Голова — цела, покрыта серебром волос, между ними — темные клочья еще не успевших поседеть, он как будто в серебряном шлеме, художественно украшенном чернью. Глаз — один, другой закрыт черной повязкой. Лицо — неестественно измято. Между обрубками его пог стоит жестяная коробка из-под бисквитов; наклонив голову немножко набок, он смотрит уцелевшим глазом в эту коробку, ожидая, когда ее наполнят монетами. Бесконечной вереницей мимо его идут двуногие, цельные люди, одетые тепло и красиво, скользят авто, похрюкивая, точно огромные безголовые жирные свиньи.

Из магазина художественных изделий выходит высокий человек с большими усами, в пенсне, в мягкой серой шляпе, в длинном пальто, рядом с ним окутанная

мехом дама на тонких ножках и высоких каблуках; бережно ставя золотистые туфельки на кафли панели, она ведет за собою на цепочке маленькую рыжую мохнатую собачку. Собачка останавливает ее и, подняв изящную ножку, орошает обрубок ноги человека. И тут, заметив калеку, усатый бросает в жестяную коробку монету, великодушно возмещая собачкино неприличие. Затем усатый помогает даме своей и мехам ее поместиться в маленький авто фисташкового цвета, а толстенький пешеход, весьма похожий на того, который требовал «уважения мертвым», говорит спутнику своему:

— Шикарна!

— Да,— соглашается спутник и добавляет: — Но содержать такую — очень дорого!

Они входят в кино. Там показывают «блестящий боевик», безмолвно разыгрывается серая тяжелая драма: полицейский, честный старик, имеет сына, тоже честного полицейского. Сын арестует воровку, очень красивую, богато одетую девушку, усаживает ее в автомобиль, везет в полицию. Девушка артистически плачет, она буквально моет слезами лицо свое, и мягкосердечная публика тронута, тысячи две мужчин и женщин сокрушенно молчат. Может быть, кое-кто думает:

«Да, чёрт побери! В мире нашем немало слез и страданий, и, если это хорошо подать,— оно волнует».

Но услужливый режиссер, зная публику, знает, что ей не нравится, если долго играть на одной струне,— девица забавно пудрит свой оплаканный нос, и этого вполне достаточно, чтоб публика захихикала. Затем преступная девица уговаривает честного полицейского заехать к ней на квартиру, квартира оказывается богато обставленной, очень трудно поверить, чтоб в ней жила воровка. Шикарная обстановка квартиры настраивает публику еще более гуманно, девица снова артистически плачет, и кое-кто, наверное, думает:

«Нет, чёрт побери! Мир устроен не так плохо, если и на уменье плакать можно заработать хорошие деньги!»

Честный полицейский ходит из комнаты в комнату, осматривая роскошную квартиру, а возвратясь в ту, где он оставил девицу плакать, находит ее лежащей в широчайшей кровати, под великолепным одеялом. Де-

вица объявляет, что она устала, взволнована, больна, не может ехать в полицию, и при этом оказывается, что у нее очень красивые плечи. Дальнейшее поглощается серой пустотой, затем вспыхивают сотни лампочек, освещая не очень довольные лица публики,— картину морального падения охранителя порядка прервали на самом интересном месте. Деньги берут большие, могли бы показать еще что-нибудь... Не всё, конечно.

В следующей картине показано, как честного полицейского раздирают муки совести, как влюбленная в него воровка рассматривает забытый им служебный билет и портрет свой, как она посылает его рассеянному полицейскому, а он, думая, что это взятка, не посмотрев, что в пакете, возмущенно идет к ней, там всё объясняется, честный малый снова целует воровку, но тут из другого центра культуры прилетает на аэроплане любовник воровки, только что ограбивший банк, мужчины, как это принято в драмах, дерутся, полицейский, конечно, убивает вора, затем он сознается в этом отцу, и честный старик сам ведет его в полицию. Всё кончилось вполне благополучно: вор убит, воровка арестована, порядок торжествует, публика аплодирует двум поколениям честных полицейских.

Дождь перестал, дома, залитые огнями, как бы только что приняли ванну, стены и окна их кажутся теплыми, хотя воздух влажно холоден. Людей на улицах — больше, автомобилей — меньше, голодные женщины с раскрашенными лицами вопросительно заглядывают в глаза мужчин, возможно, что среди этих женщин невольно гуляет и воровка, отбыв срок наказания. Впрочем, история воровки выдумана для развлечения публики и воспитания молодых полицейских. Последние монументально стоят всюду, где им указано стоять, бензиновый дым отечества окуривает их черные фигуры, шины авто брызгают на них жидкой грязью отечества.

Публика втискивается в зал кабаре, огромный, как манеж для верховой езды. Гремит и воет модная музыка, одна труба в оркестре жутко гукает, точно болотная птица выпь, другая — пронзительно визжит, неистово гнусавят саксофоны. Кажется, что и музыка так же не

дописана, как не дописаны картины на выставке. За столиками сотни мужчин и женщин усердно едят, пьют, на эстраде талантливые люди всех наций танцуют, поют, показывая опасные для целости костей своих акробатические трюки, соперничают друг с другом в силе и ловкости, в гибкости мускулов и остроумии смешных выдумок. Им помогают развлекать публику медведи, попугаи, кошки, собаки, обезьяны. Та часть зрителей, которая не ест или уже насытилась, благосклонно аплодирует артистам, одобряя нелегкий труд, забавляясь опасной работой. С полной уверенностью можно сказать, что многие зрители думают:

«А хорошо, что я не обладаю никакими талантами, иначе и мне пришлось бы делать что-нибудь в этом роде. Очень хорошо, что я не талантлив!..»

Полночь. Но город еще не погасил все огни, и по улицам всё еще ходят люди, ищут новых забав и наслаждений. Ночные рестораны открыты, музыканты неутомимы, женщин всегда больше, чем нужно.

В культурных центрах есть рестораны и клубы для мужчин, которые болеют органическим отвращением к женщине, и для мужчин, которые чувствуют себя женщинами, и, разумеется, есть мужчины, способные играть обе роли не «по склонности натуры», а ради заработка. О таких достижениях культуры говорят вполголоса, шёпотом, с двусмысленными усмешками и цинизмом. Но есть уже немало людей, которые находят, что соображения, изложенные несчастным мизантропом — Вейнингером, подтверждены наукой и что природа нередко ошибается, смешивая в одной особи клетки двух полов, вследствие чего наш мир изобилует полумужчинами, полуженщинами.

И вот, для того чтоб исправить ремесленные небрежности природы, естественно,— а значит, и необходимо — узаконить существование ресторанов, где полуженщины и полумужчины свободно общались бы с подобными себе. Идя этим путем, в культурных центрах, вероятно, придут к признанию необходимости общения полуидиотов с идиотами совершенными. Общение совершенных мерзавцев с полумерзавцами, как известно, не возбранялось никогда. Есть и другое, более упрощенное

объяснение роста гомосексуализма: мужчина-любовник стоит гораздо дешевле женщины. Этой экономической причиной объясняется и рост лесбианства, затем лесбианству солидно послужило истребление миллионов здоровых мужчин за время четырехлетней бойни и непрерывно служит всё более скотская грубость мужчин в отношении к женщинам.

В небольшом ресторане полулюдей жарко, тесно, оглушительно шумно и крепко пахнет духами. Всюду жено-мужи, некоторые — в декольте. Блестит шлифованная кожа холеного тела, сверкают подкрашенные глаза, улыбаются неестественно яркие губы. Широкоплечий парень в бальном платье, с голой до пояса спиною портового грузчика, поет высоким голосом женщины трогательный романс о его любви не «к ней», а «к нему»,— здесь очень трудно разобраться в том, кто — он, кто — она. Здесь живут только ноги, торсы, бедра, руки, особенно руки, изощренные в хватательных движениях, точно у обезьян.

Руки, плечи и спина парня вымыты до блеска, его солидные ноги, разумеется, в шёлковых чулках и бальных туфлях. Он умеет трясти бедрами, как женщина, и улыбаться, как «падшее созданье». Глядя на него и подобных ему, невольно вспоминаешь, что папуасы Новой Гвинеи называют человека «длинной свиньей».

Парня сменяет полуголый подросток. Это еще более выхоленное, изумительно гибкое тело, и оно не нуждается в голове. Маленькая, гладко причесанная и как бы покрытая лаком головка совершенно излишня на теле, которое неестественно изгибается, струится и готово растаять, как масло. На передней стороне его черепа аккуратно вылеплено кукольное личико, то есть глазки, носик, ротик,— вместе они выражают уверенность этого существа в красоте его бескостного и, должно быть, бескровного тела. Вполне возможно допустить, что именно вот это существо и является высшим достижением культуры современного общества. В одну сторону — железный «робот», механический исполнитель повелений королей промышленности, банкиров, в другую — вот это бескостное тело, сделанное и предназначенное исключительно для наслаждения им.

Глаза полуженщин и полумужчин наблюдают его изгибы, любуются его пляской с тем сладострастием, которое так характерно для котов и кошек в марте. Особенно очарована белобрысая толстая дама в костюме мужчины, она вся вспухает, раздувается, как жаба, ее зеленоватые глаза кричат понятнее всех слов, которые не принято произносить вслух. Здесь вообще мало говорят, больше двигаются, плотно и судорожно срастаясь друг с другом. Визжит и воет музыка, исполняя фокстрот, «танец живота», упрощенный до пределов цинизма.

В конце концов всё это немножко жутко, не говоря о том, что очень противно. Жутко потому, что здесь много молодежи. Вспоминаются плохонькие стихи поэта Рославлева той поры, когда он, еще мальчик, подражал Ф. Сологубу:

В этом мире, страшном и больном,
Все мечтают только об одном —
Спрятать свой неугасимый страх
На твоих, Венера, на устах.

Третий час ночи. На улицах тихо и пустынно. Запахи города сгустились. Всё так же горько пахнет дымом и плесенью. В сумраке работают люди, ремонтируя трамвайный путь.

Когда эти крепкие люди, утратив свое слишком выносливое терпение, выходят на богатые площади «центров культуры» и говорят, что вся эта гнилая жизнь позорна и вообще ни к чёрту не годится,— полиция бьет их. Иногда — расстреливает.

# ТЕРРЕМОТО[1]

Человек, который пережил землетрясение, рассказывает:

— Я шел по дороге к дому своих друзей, где меня ждал ночлег; дорога не очень круто вползала на каменистые террасы; там прилепился старый город, такой же темный, как почва под ним. В нем было много зданий, сложенных из круглых речных камней.

— В начале дороги, под первой же скалой, меня взбросило вверх, а в земле раздался густой, тяжелый гул; мне показалось, что исчез воздух, нечем дышать, изогнулось небо и вздрогнули звезды, точно падая. В ту же секунду раздался грохот камней, треск дерева, и я увидел, что весь город оторвался от земли, падает на меня; я был сброшен с дороги, скатился сквозь кустарник, под откос.

— Я рассказываю, конечно, слишком медленно о явлении, которое заняло во времени несколько секунд, но ведь мне казалось, что я переживаю не секунды, даже не часы, а какое-то неисчислимое время. Мне очень хочется говорить кратко и твердо, но я не могу.

— Это ощущение потери мною земли сравнить не с чем. В море во время самой сильной бури вы все-таки чувствуете под собою, вокруг себя нечто твердое, и вы не забываете, что море — на земле, а тут — исчезла земля, я чувствовал себя точно взвешенным в воздухе, хотя и лежал на твердом. Но оно колебалось подо мною, текло куда-то, шевелилось так же, как шевелился кустарник, хотя ветра не было. Меня раскачивало, подбрасывало, точно желая швырнуть в пространство,—

---

[1] Землетрясение (*итал.*).

безграничие его я почувствовал впервые, и это заставило меня испытать ужас, тоже несравнимый ни с чем; то, что происходило, не имело подобия себе, и если я все-таки сравниваю, это — неизбежная привычка разума. Гул земли не был похож на гром, я могу уподобить его отдаленному реву многотысячного стада слонов. И ужас мой не имел ничего общего со всей суммой страхов, испытанных мною в океане во время бури в Китайском море, где наш пароход попал в тайфун, в Африке, ночами во время тропического ливня, и на Изонцо под ураганным огнем.

— Во всех этих случаях не исчезало ощущение, что подо мною — земля, но в те десятки секунд я утратил это ощущение. И ужас пред окружающим был молниеносен,— ударив, он исчез. Его заменило другое, незабываемое ощущение, могу назвать его ясностью гибели. Именно так. Не думаю, чтоб это ощущение повторилось даже в последние минуты жизни, если я и буду умирать, не теряя сознания.

— Мне кажется, что в те секунды инстинкт жизни, чувство самосохранения погасло у меня. Я лежал, пытаясь не двигаться, механически сопротивлялся толчкам земли и понимал, что бессмысленно сопротивляться. Я знаю теперь: гениальные художники слова не ошибаются, рассказывая, что в минуту смертельной опасности силы человеческого ума — память и воображение,— напрягаясь до пределов, позволяют человеку пережить все события его жизни.

— Но я ничего не вспоминал, не воображал, я только с мучительной ясностью видел, как серая масса города, разрушаясь, стремительно скатывается, сползает по уступам горы, точно город сметен ветром, которого я не чувствую. Вздымались густейшие облака пыли и тоже ползли вниз, ко мне; из них сыпались, прыгали камни; дома верхних улиц падали вниз кучами мусора; били в стены зданий нижних улиц, давили их, помогая злым судорогам земли сбрасывать город всё ниже; каменный шум разрушения однообразно тяжел, и сквозь него слышен был пронзительный визг железа, звуки разбиваемых стекол, треск сухого дерева; из хаоса пыли и движения мелких камней вырывались, выпрыгивали

белые фигуры ночных людей, бежали вниз, падали, исчезали, но человеческих воплей я не слышал.

— Где-то близко от меня прогудел сухой, странный звук, точно лопнула бочка, меня снова встряхнуло, подбросило, и снова я видел, как над городом вздрогнуло небо.

— Камни уже катились мимо меня, мне показалось, что два-три перепрыгнули через мое тело. Был момент, когда я уверенно подумал: «Сейчас буду убит!» На меня тяжело сползал, давя кустарник, большой обломок стены, сползал и разбрасывал от себя камни. Но, остановясь выше меня, он послал вниз ко мне несколько обломков величиною с мою голову, один из них метил в лицо мое: я согнулся, сжался и получил удары в плечо, бедро, по ногам.

— Но и это не заставило меня встать, бежать или скатиться ниже; я прижимался к земле всею силой тела, в ясной уверенности, что некуда бежать, земля разрушается. Надо мною летали какие-то птицы, пробежало несколько крыс, собака, проползла змея или уж. И уже прошло несколько белых теней, одни шли молча, другие что-то бормотали, плакали женщины, и кто-то хрипло кричал: «Гаэтано, э, Гаэтано!» — «Кармела!..»

— Становилось тише, но всё еще падали стены, дробно сыпались мелкие камни; это было похоже на взрывы в каменоломне, не очень сильные взрывы.

— Наконец шум разрушения прекратился совершенно и — «жизнь вступила в свои права»,— какая пошлая ирония заключена в этой шаблонной фразе! В пыльном сумраке раздались голоса людей: стоны, плач, крики женщин; блеяли овцы и козы; визжали и лаяли псы, ревел осел, фыркала лошадь.

— В городе было около четырех тысяч людей, и по количеству звуков я понял, что осталось их немного. Кое-где вспыхивали спички; три человека недалеко от меня зажгли небольшой костер; один из них сказал: «Будем носить сюда». — «Надобно воды»,— сказал другой.

— Я встал, не очень веря в то, что могу стоять на ногах и что земля снова непоколебима. Затем пошел вместе с другими помогать раненым. Дом, в котором

жили мои друзья и где я прожил четыре дня, исчез, засыпанный огромной плотной грудой камня и мусора; она раздавила его, как орех. Под этим бесформенным холмом, высотою метров в десять, погибло пять человек взрослых, двое детей. Невозможно и бесполезно было пытаться искать их под развалинами двух верхних улиц. Мне сказали, что от всего населения осталось не более двухсот человек.

Разрушенные города стояли на горах, местами высота их достигает восьмисот метров, и некоторые города гнездились на самом хребте гор. Это очень старые города, они построены в XII—XIII веках.

Мой сын дважды возил на место катастрофы хлеб, одеяла. Он рассказал:

— Города искрошены в щебень, как будто по крышам и стенам зданий бил огромный молот. В одном месте гряда мусора достигает высоты тридцати метров; говорят, что под нею сотни мужчин, женщин, детей. Возможно, что среди них есть еще живые, но отрыть их нельзя, время от времени всё еще падают уцелевшие стены домов, увеличивая объем и тяжесть могильного холма. Из серых груд мусора торчат железные прутья кроватей, обломки ставен и рам, разбитые двери, куски мебели, красные осколки черепицы, битая посуда, клочья одежд, одеял. Ветер разносит клочья шерсти из подушек. Среди камней — ноги и круп осла, над ним — изломанный шкаф. Кажется, что во всех впадинах мусора втиснуты люди в неестественно изломанных позах. Иногда это — только платье людей.

Энергично работают войска, пожарные, организации фашистов. Работа очень трудна и небогата результатами; отрывают из-под мусора только трупы, раненых мало. Из-под развалин, над которыми уцелела и возвышается стена, пожарный пытается освободить раненую женщину, почти уже вытащил ее, но стена падает, и пожарный вместе с женщиной исчез под грудой камней.

То там, то тут мусор оседает под собственной тяжестью, густые облака пыли поднимаются в жаркий

воздух, уже пропитанный запахом трупов настолько, что некоторые из солдат, теряя сознание, падают. Многие работают в противогазах. Потрескивает дерево, уступая место камню.

Среди развалин бродит покрытая пылью лошадь, она так противоестественно выкатила круглые глаза, что кажется безумной. Бегают курицы, собаки, бродят ошеломленные, полуодетые, полоумные люди. На небольшой площадке, свободной от мусора, люди лежат неподвижно, они накрыты брезентами, пыльным тряпьем; солдаты приносят и кладут рядом с ними еще и еще трупы; количество измятых людей быстро растет. Ходит мальчик лет двенадцати, прилично одетый, даже в галстуке, ходит молча и судорожно улыбается, но глаза его неподвижны и смотрят взглядом человека, разум которого убит.

На мальчика никто не обращает внимания, как будто не видят его. Обезумевших много и кроме него. Вообще несчастие как будто оторвало людей, разъединило их, и теперь они гораздо дальше друг от друга, чем были раньше.

На груде камней сидит пожилой человек, оберегая спасенное имущество свое: две шляпы и раму зеркала, в раме еще уцелели осколки стекла и привычно, как назначено им, отражают лучи солнца.

Другой человек пытается спасти одеяло. Жителям запрещено копаться в обломках жилищ, но они все-таки пытаются спасти хоть что-нибудь свое. И незаметно для пожарных, для солдат человек дергает одеяло из-под обломков, дернет, оглянется: не заметили? — и снова дергает. Одеяло разрывается, человек, едва устояв на ногах, смотрит на пыльный кусок в его руках, бросает его на камни, идет прочь, вероятно, искать что-нибудь, что не откажется попасть в его руки.

Во втором этаже дома, половина которого разрушена, в комнате, лишенной одной стены, старик вбивает в заднюю стену гвоздь, вешает на него какое-то тряпье. Ему кричат, чтоб он ушел, стена может разрушиться, но он, не отвечая, ходит по исковерканному полу и хозяйничает, сдвигая к стене, в угол, уцелевшие жалкие

вещи. Вещи особенно дороги людям, которые не умеют делать и никогда не делали вещей.

Замечен был человек, который, взломав шкаф в стене комнаты, выбирал из него, прятал в карманы деньги. Кто-то сказал полицейскому-фашисту, что человек этот работает в чужом доме; фашист прицелился, выстрелил, человек покачался на ногах, хватая руками воздух, и упал.

Случаи этого рода были, очевидно, не редки. Один из журналистов Милана писал:

«Ужасно зрелище яростной работы стихии, но еще ужаснее бешеный разгул инстинктов человека. До того, как явились на место катастрофы войска и организации молодежи, в полуразрушенных городах разыгрывались позорнейшие и циничные сцены. Спасаясь от гибели, выбегая из домов на узкие, темные улицы, в грохот падения зданий, сильные отталкивали слабых, отбрасывали прочь женщин и детей. Это проявление инстинкта жизни понятно, хотя отвратительно.

«Но рядом с этим было нечто едва ли не более позорное, циничное и уже совершенно непонятное: появилось множество воров и грабителей; это — люди, которые еще накануне, даже за несколько часов до катастрофы, считали себя честными. А в ночь несчастия, не внимая стонам и крикам изувеченных соседей, они вбегали в дома, покинутые хозяевами, выносили оттуда всё, что попадется — ценные вещи, часы, ложки, посуду, даже стулья, даже подушки, вырывали награбленное друг у друга... Это не закоренелые преступники, это мирные граждане, жившие годами бок о бок.

«Любопытно, что в некоторых местечках заключенные в тюрьмах были временно освобождены для оказания помощи населению. Они приняли самое деятельное участие в розыске украденных вещей и аресте воров. Роли на этот раз переменились».

Говоря о «бешеном разгуле инстинктов человека», журналист забыл прибавить — собственника. С этим добавлением «разгул» совершенно понятен.

Через три дня трупный запах от погибших городов распространился десятка на два километров и окружил место катастрофы кольцом ядовитого, гнилого тумана.

Солдаты работали героически, но противогазы уже не помогали, и отравленные люди, всё чаще теряя сознание, начали отказываться разрывать мусор. Работу по извлечению трупов из-под развалин прекратили, начали заливать их креолином и негашеной известью. Вероятно, под грудами камня были еще живые изуродованные люди. Затем — «жизнь вступила в свои права».

Конечно, залечивались и не такие раны, нанесенные слепою силою стихии.

Мессинская катастрофа была ужаснее и погубила значительно большее количество людей, кажется, до 60 тысяч. В Монтекальво, Вилланова, Ариано ди Пулья и других городках погибло, как утверждают иностранные журналисты, от 10 до 12 тысяч.

Здесь вполне уместно сказать несколько слов о поведении иностранной прессы по отношению к Италии, для которой, как известно, туристы — солиднейшая статья дохода. Газеты Франции и Англии весьма сильно и как будто не совсем бескорыстно преувеличили размеры катастрофы. Было напечатано, что разрушены: Неаполь, Сорренто, Капри, Амальфи и вообще — места, наиболее посещаемые богатыми иностранцами. В одной из газет было даже сказано, что центром землетрясения является Неаполь, хотя уже было известно, что центр катастрофы — между городами Фоджия и Мельфи.

В Неаполе, в старых кварталах, несколько десятков домов дали трещины, во время паники четырнадцать человек ранено, четверо померли. В Сорренто, на Капри толчки землетрясения ощущались слабо, и разрушений нет, так же как во всех городах по берегам Неаполитанского залива.

Преувеличенные сведения о размерах катастрофы и неверные о месте ее, разумеется, вызвали определенный эффект: тысячи иностранцев выехали из Италии; девять пароходов с туристами из Америки, изменив курс на Неаполь, пошли в Марсель, на французскую Ривьеру.

Это — неплохая иллюстрация «культурной солидарности» и «гуманизма» буржуазных государств.

# РАССКАЗЫ О ГЕРОЯХ

*«Всякое дело человеком ставится, человеком славится».*

## I

Чем дальше к морю, тем всё шире, спокойней Волга. Степной левый берег тает в лунном тумане, от глинистых обрывов правого на реку легли густые тени, и красные, белые огоньки баканов особенно ярко горят на масляно-черных полотнищах теней. Поперек и немного наискось реки легла, зыблется, сверкает широкая тропа, точно стая серебряных рыб преградила путь теплоходу. Черный правый берег быстро уплывает вдаль, иногда на хребте его заметны редкие холмики домов, они похожи на степные могилы. За кормою теплохода туманнее, темнее, чем впереди, и этим создается фантастическое впечатление: река течет в гору. Расстилая по воде парчовые отблески своих огней, теплоход скользит почти бесшумно, шумок за кормою мягко-ласков, и воздух тоже ласковый — гладит лицо, точно рука ребенка.

На корме сдержанно беседуют человек десять бессонных людей. Особенно четко слышен высокий, напористый голосок:

— А я скажу: человек со страха умира-ат...

В слове «умирает» он растянул звук «а» по-костромски. Ему возражают пренебрежительно, насмешливо, задорно:

— Смешно говорите, гражданин!

— В боях не бывал.

Напоминают о тифе, голоде, о тяжести труда, сокращающей жизнь человека. Усатый, окутанный парусиной, сидя плечо в плечо с толстой женщиной, сердито спрашивает:

— А старость?

Костромич молчит, ожидая конца возражений. Это — самый заметный пассажир. Он сел в Нижнем и едет

четвертые сутки. Большинство пассажиров проводит на пароходе дни своих отпусков, это всё советские служащие; они одеты чистенько, и среди них он обращает на себя внимание тем, что очень неказист, растрепан, както весь измят, сильно прихрамывает на правую ногу и вообще — поломан. Ему, наверное, лет пятьдесят, даже больше. Среднего роста, сухотелый, с коричневой жилистой шеей, с рыжеватой полуседой бородкой на красном лице, из-под вздернутых бровей смотрят голубоватые глаза, смотрят эдаким испытующим взглядом и как будто упрекают. Трудно догадаться — чем он живет? Похож на мастерового, который был когда-то «хозяином». Руки у него беспокойные, он шевелит губами, как бы припоминая или высчитывая что-то; очень боек, но — не веселый.

Часа через два после того, как появился он на палубе теплохода, он обежал ее, бесцеремонно разглядывая верхних пассажиров, и спросил матроса:

— С верхних-то сколько берут до Астрахани?

И через некоторое время его певучий голосок внятно выговаривал на нижней палубе:

— Конешно,— легкое наверх выплыва-ат, подымается, тяжелое — у земли живет. Ну, теперь поставлено — правильно: за легкую жизнь — плати вчетверо.

Нельзя сказать, что этот человек болтлив или что он добродушен, но ясно чувствуется, что он обеспокоен заботой рассказывать, объяснять людям всё, что он видел, видит, узпал и узнаёт. У него есть свои слова, видимо, они ему не дешево стоят, и он торопится сказать их людям, может быть, для того, чтоб крепче убедиться в правде своих слов. Прихрамывая, он подходит к беседующим, минутку-две слушает молча и вдруг звонко говорит нечто, не совсем обычное:

— Теперь, гражданин, так пошло: ты — для меня, я — для тебя, дело у нас — общее, мое к твоему пришито, твое к моему. Мы с тобой — как две штанины. Ты мне — не барин, я те — не слуга. Так ли?

Гражданин несколько ошарашен неожиданным вмешательством странного человека и смотрит на него очень неблагосклонно. Пожилая женщина, в красной повязке на голове, говорит, вздыхая:

— Так-то так, да туго это понимают!

— Не понимают это — которые назад пятятся, вперед задницей живут,— отвечает хромой, махнув рукою на темный берег, теплоход поворачивал кормою к нему.

— Верно,— соглашается женщина и предлагает: — Присаживайся к нам, товарищ!

Он остался на ногах, и через две-три минуты высокий голос его четко произнес:

— Всякое дело людями ставится, людями и славится.

Прозвучало это как поговорка, но поговорка, только что придуманная им и неожиданная для него.

Вот так он четвертые сутки и поджигает разговоры, неутомимо добиваясь чего-то. И теперь, внимательно выслушав все возражения против его слов о том, что «человек умирает со страха», он говорит, предостерегающе подняв руку:

— Старики, конешно, от разрушения системы тела мрут, а некотора-а часть молодых — от своей резвости. Так ведь я — не про всех людей, я про господ говорил, Господа смерти боялись, как, примерно, малые ребята ночной темноты. Я господ довольно хорошо знаю: жили они — не весело, веселились — скушно...

— Откуда бы тебе знать это? — иронически спрашивает усатый человек.— На лакея ты не похож...

Молодой парень в шинели и шлеме резко спрашивает:

— Позвольте, гражданин! При чем тут обидное слово — лакей?

— Есть пословица: для лакея — нет... людей.

— Пословицы ваши оставьте при себе.

Присоединяется еще один голос:

— Пословица ваша сочинена тогда, когда лакея за человека не считали...

— Довольно, граждане!

Хромой терпеливо ждет, выбирая из коробки папиросу, потом говорит:

— Я тебе, гражданин, пословиц сколько хочешь насорю, ну — толку между нами от этого не много будет. Это ведь неверно, что «пословица век не сломится»...

Красноармеец перебивает его:

— Насчет страха — тоже неверно. Это теперь буржуазия смерти боится, а раньше...

— И раньше,— настойчиво говорит хромой, раскурив папиросу.— Я обстановку жизни изнутри знаю, в Питере полотером был...

— Ну, если так,— проворчал усатый и усмехнулся.

— Вот те и так! До тринадцати годов я, по сиротству, пастушонком был, а после крестный батька прибыл в село да и похитил меня, как бирюк барашка. Четыре года я и выплясывал со щеточкой на ноге по квартирам, ресторанам, по публичным домам тоже. В Питере тогда особо роскошные бардачки были, куда тайно от мужьев настоящие барыни приезжали, ну и мужья тоже тайно от них. Я все четыре года во дворе такого бардачка прожил, в подвале, стало быть, мог кое-чего видеть...

Курил хромой торопливо, заглатывал дым глубоко, из-под его желтых растрепанных усов дым летел так, точно человек этот загорелся изнутри и вот сейчас начнет выдыхать уже не дым, а огонь.

— И в боях я во всяких бывал,— обратился он в сторону красноармейца.— Я, браток, повоевал так, как тебе, пожалуй, не придется, да я тебе и не желаю. Под Ляояном был, бежал оттуда так, что сапоги наскрозь пропотели...

Кто-то засмеялся, толстая женщина спросила:

— Что же вы — гордитесь этим?

— Нет, зачем? — звонко отвечал рассказчик.— У меня для гордостей другое есть,— георгиевский кавалер, два креста получил, когда мотался на фронтах от Черновицы города до Риги даже. Там ранен два раза, в своей, за Советы,— два, для гордостей — хватит!

— За что кресты получили? — спросил усатый.

— Один — за разведку и пулемет захватил, другой — рота присудила,— быстро, но как будто неохотно ответил хромой; плюнув в ладонь, он погасил окурок в слюне и, швырнув его за борт, помолчал.

Обнявшись, тихонько напевая, подошли две девицы. Одна сказала:

— Смотри — лодка, точно таракан...

— Огоньки на берегу,— задумчиво сказала другая, а красноармеец спросил что-то о пулемете.

— Да так это, случайно,— нехотя сказал хромой воин.— Послали нас, троих, в разведку, я — за старшего. Ночь, конешно, австрияки не так далеко, шевелились они чего-то... Это еще в самом начале войны было. Ползем. Впереди, за кустами, кашлянул человек, оказалось — пулеметное гнездышко, вроде секрет. Пятеро были там. Одного — взяли, он по-русски мог понимать, ветеринар оказался. Нашего одного тоже там оставили, потому что погоня началась, а он — раненый, а у нас — пулемет. Проступок этот сочли за храбрость, даже приказ по полку был читан.

— Ногу-то когда испортили? — спросил красноармеец.

— Это уж когда господина Деникина гнали,— очень оживленно заговорил хромой.— Ногу я упрямством спас, доктор решил отрезать ее. Я его уговариваю: оставь, заживет. Он, конешно, торопится, вокруг его сотни людей плачут, он сам плакать готов; я бы, на его месте, топором руки, ноги рубил, от жалости. Ну, поверил он мне, нога-то — вот!

— Герой, значит, вы,— сказала одна из девиц.

— В гражданску войну за Советы мы все герои были...

Усатый человек напомнил:

— Ну, не все, бывало, и бегали, как под Ляояном, и в плен сдавались...

— Когда бегали — не видал, а в плен сам сдавался,— быстро ответил рассказчик.— Сдашься, а после переведешь десятка два-три на свой фронт. Переводили и больше.

— Вы — крестьянин? — спросила женщина.

— Все люди — из крестьян, как наука доказыва-ат...

Красноармеец спросил:

— В партии?

— На кой нужно ей эдаких-то? В партии ерши грамотные. А меня недостача стеснила, грамоты не знал я почти до сорока лет. Читать, писать у безделья научился, когда раненый лежал. Товарищи застыдили: «Как же это ты, Заусайлов? Учись скорее, голова!» Ну,

выучили, маракую немножко. После жалели: «Кабы ты, голова, до революции грамоту знал, может, полезным командиром служил бы». А почем я знал, что революция будет? В ту революцию, после японской войны, я об одном думал: в деревню воротиться, в пастухи, а на место того попал в дисциплинарную роту, в Омск.

Красноармеец засмеялся, ему вторил еще кто-то, а усатый человек поучительно сказал:

— В грамоте ты, брат, действительно слабоват, говоришь — проступок, а надобно — поступок...

— Сойдет и так,— отмахнулся от него солдат, снова доставая папиросу, а красноармеец подвинулся ближе к нему и спросил:

— За что в дисциплинарную роту?

— Четверых — за то, что недосмотрели арестованного, меня — за то, что не стрелял; он выскочил из вагона, бежит по путям, а я у паровоза на часах, ну, вижу: идет человек очень поспешно, так ведь тогда все поспешно ходили, великая суматоха была на всех станциях. На суде подпоручик Измайлов доказывает: «Я ему кричал — стреляй!» Судья спрашивает: «Кричал?» — «Так точно!» — «Почему же ты не стрелял?» — «Не видел — в кого надо».— «Ты что ж — не узнал арестанта?» — «Так точно, не узнал».— «Как же ты, говорит, ехал в одном вагоне с ним три станции конвоиром, а не узнал? Ты, говорит, напрасно притворяешься дураком». Ну, потом требовал: расстрелять. Однако никого не расстреляли...

Он засмеялся очень звонким, молодым смехом и сказал, качая головой:

— Суматошное время было!

— А ты, дядя, не плох,— похвалил красноармеец, хлопнув ладонью по его колену.— Чем теперь занимаешься?

— Пчелой. На опытной станции пчеловодством. Дело — любопытное, знаешь. Делу этому обучил меня в Тамбове старик один, сволочь был он, к слову сказать, ну, а в своем деле — Соломон-мудрец!

Заусайлов говорил всё более оживленно и весело, как будто похвала красноармейца подбодрила его.

Толстая женщина ушла, усатый сосед ее сказал:

— Я сейчас приду.

Но тотчас встал и тоже ушел, а на его место, на связку каната, присела девушка, которой лодка показалась похожей на таракана.

— С пчелами он такое выделывал — в цирке не увидишь эдакого! — продолжал Заусайлов и причмокнул.— Сам он был насекомая вредная и достиг своей законной точки — шлепнули его в двадцать первом за службу бандитам. Мне в этом деле пятый раз попало — голову проломили. Ну, это уж я не считаю, потому — время было мирное, не война. Да и сам виноват: любопытен, разведку люблю: я и в нашей армии ловким считался на это дело.

— В нашей — в Красной? — тихонько спросила девушка.

— Ну да. Другой армии у нас нету. Хотя и в той — тоже. Там, конешно, по нужде, по приказу, а у нас по своей охоте.

Он замолчал, задумался. Вышла женщина с мальчиком лет семи-восьми; мальчик тощий, бледненький, видимо, больной.

— Не спит? — спросила девушка.

— Никак!

— Я к тебе хочу,— сердито заявил мальчуган, прижимаясь к девушке; она сказала:

— Садись и слушай, вот человек интересно рассказывает.

— Этот? — спросил мальчик, указав на красноармейца.

— Другой.

Мальчик посмотрел на Заусайлова и разочарованно протянул:

— Ну-у... Он старый.

Красноармеец привлек мальчугана к себе.

— Стар, да хорош, куда хошь пошлешь,— отозвался Заусайлов, а красноармеец, посадив мальчика на колени себе, спросил:

— Как же ты, товарищ, к бандитам попал?

— А я их выяснил, потом — они меня. Суть дела такая: вижу я — похаживают на пчельник какие-то однородные люди, волчьей повадки, все невеселые та-

кие. Я и говорю товарищам в городе: подозрительно, ребята! Ну, они мне — задание: доказывай, что сочувствуешь! Доказать это — легче легкого: народ темный, озлобленный до глупости. Поумнее других коновал был, он и появлялся чаще. Он тоже из солдат, артиллерист, постарше меня лет на пятнадцать — двадцать. Практику с лошадями ему запретили, ну, он и обиделся. К тому же — пьяница. В шайке этой он вроде штабного был, а кроме его, еще солдат ростовского полка, гренадер, замечательный гармонист.

Мальчуган прижался щекою к плечу красноармейца и задремал, а девушка, облокотясь о свои колени, сжав лицо ладонями, смотрела за борт, высоко подняв брови. Теплоход шел близко к правому берегу, мимо лобастого холма, под холмом рассеяно большое село: один порядок его домов заключен, как строчка в скобки, между двух церквей. С левого борта — мохнатая отмель, на ней — черный кустарник, и всё это быстро двигается назад, точно спрятаться хочет.

— Банда — небольшая, человек полсотни, что ли. Командовал чиновник какой-то, лесничий, кажись, так себе, сукин сын. Однако недоверчивый. Ну вот, они трое приказывают мне: узнай то, узнай это. Товарищи говорят мне: что́ я могу знать, чего — не могу. Действовали они рассеянно: десяток там, десяток — в ином месте, людей наших бьют, школу сожгли, вообще живут разбоем. Задание у меня, чтоб они собрались в кулачок, а наши накрыли бы их сразу всех, как птичек сетью. Сделана была для них заманочка... помнится — в Борисоглебском уезде на маслобойке, что ли. Поверили они мне, начали стягивать силы. Чёрт его знает почему, старик догадался и вдруг явись, как злой дух, раньше, чем они успели собраться, однако — тридцать четыре сошлось. Начал он сеять смуту, дескать, надобно проверить, да погодить, да посмотреть. Вижу — развалит он всё дело, говорю нашим: «Берите, сколько есть». Они за спиной у меня были в небольшом числе. Тут меня ручкой револьвера по голове. Вот и вся недолга история!

— О господи! — вздохнула женщина.— Когда всё это кончится?

— Когда прикончим, тогда и кончится,— задорно откликнулся рассказчик. Женщина махнула на него рукой и ушла.

— А ведь верно, вы в самом деле — герой,— весело и одобрительно сказал красноармеец. Мальчик встрепенулся, капризно спросил:

— Что ты кричишь?

— Извини, не буду,— отозвался красноармеец.— Строгий какой!.. Чужой вам? — спросил он девушку.

— Племянник,— ответила она.— Иди-ко спать, Саша.

— Не хочу. Там — храпит какой-то.

Он снова прижался к плечу красноармейца, а Заусайлов вполголоса повторил:

— Саша...

И, вздохнув, покачиваясь, потирая колени ладонями, заговорил тише, медленнее.

— Ты, товарищ, говоришь — герой. Слово будто не подходяще нашему брату,— свое защища-ам, ну ведь и бандиты, кулаки — свое. Верно?

Мальчик снова встрепенулся и громко, как бы с гордостью, сказал:

— У меня отца кулаки убили. Я видел — как. Мы приехали из города, папа вылез ворота отворять, а они на него напали пьяные, два, а я уже проснулся, закричал. Они его палками.

— Вот оно как,— сказал Заусайлов.

— Н-да,— угрюмо откликнулся красноармеец, а девушка сказала:

— В третьем году, а он — помнит.

— Я — помню,— подтвердил мальчик, тряхнув головой.

— Расти он перестал после того,— продолжала девушка, вздыхая,— двенадцатый год ему.

— Вырасту,— хмуро пообещал мальчуган.

Заусайлов пошлепал его по колену и посоветовал:

— Так и помни!

— Вот они, дела-то,— пробормотал красноармеец.— Учительница будете?

— Да. Мы обе, с его матерью.

— Сестра вам?

— Жена брата.

— Убитого?

— Да.

Все замолчали. Красноармеец, расстегнув шинель, прикрыл мальчика и прижал его к себе плотнее.

— Вот оно, геройство,— снова заговорил Заусайлов.— Оно у нас — везде, товарищ!

Щупая пальцами папиросы в коробке, он, негромко и не торопясь, заговорил:

— Я могу хвастануть — знал героя. У нас в отряде парень был, тоже — Саша. Сашок звали его, туляк он, медная душа. Веселый был и — куда хошь сунь, везде он на своем месте. Личностью маленько на тебя схож был, тоже крепыш и зубастенький, как хорек. Ты — кавалерия?

— Да.

— То-то шинель длинна. И — аккуратен.

Закурив, он продолжал, снова оживляясь:

— Был он семинарист, Сашок, из недоучек, сказывал, что выгнали его за резвость. Однако — сильно образованный. Он меня и многих в безбожники обратил, мастак был насчет леригии, очень убедительный. Бога знал, как богатого соседа, и так доказывал, что бог — жить мешает, что не хочешь, а — веришь. Н-ну, вот...

— Случилось так, что заскочил сгоряча наш отряд далекопько, за Курском это было, Деникина гнали. Вообще перепуталась обстановка, непонятно: где — они, где — наши? Товарищи говорят: «Ну-ка, Заусайлов, сходи, сообрази, кто у нас с левого бока? И — сколько? Возьми себе, по вкусу, одного, двух парней». Это, конешно, так и надо по моей безграмотности. Взял я Сашка́ и Василия Климова,— осанистый был мужчина, вроде старшего дворника,— в Питере в царевы годы бывали такие дворники: он, сукин сын, дворник, а осанка — церковного старосты.

— Ну, пошли. Места — незнакомые. Держимся линии железной дороги, Сашок с Климовым по одну сторону насыпи, я — по другую, впереди шагов на сто. Дорога, конешно, раскарябана. Вечер — лунный, ветерок гуля-ат, облаки бегут, тени ползут, там — тень, тут — тень, да сразу — бом! «Стой!» — кричат. Вижу — пятеро.

Они хоть и белые, а в один цвет с землей и в кустах, около насыпи, неприметны. Командирчик — молодой, еще и до усов не дорос, револьверчик в руке, шапечка на боку, винтовочка коротенька за плечом,— вооружен, как для портрета фотографии. Нацелился мне в глаз, допрашивает, покрикивает; я, конешно, вроде как испугался, тоже во весь голос кричу, чтоб Сашок с Климовым слышали, дескать — бегу от красных, боюсь — мобилизуют! Он как будто верить начал, а солдатик один и подскажи ему: «Ваше благородие, выправка у него подозрительная, наверно — солдат, ихний разведчик!» Ах ты, думаю, сучкин сын! Ну, побили меня немножко, отрядил он со мной двоих, повели меня куда надо. Идем тихонько, и дождичек пошел. Начал было я балагурить с конвоем, вижу: ничего не выходит, сердятся они, видно, устали. Решил молчать, а то, пожалуй, пришибут, черти.

— Долго ли, коротко ли — дошли в село, большое село и пострадавшее: горело в двух местах, некоторые избы артиллерией побиты. У церковной ограды, под деревами коновязь, семнадцать лошадей — все дрянцо. Поодаль, на дереве два уже висят. «Ну, думаю, ежели не убегу,— тут и останусь». Темновато, огней в окнах почти нет, время — заполночь, спит белое воинство. Человек пяток на паперти прячутся от дождя. Привели меня к школе, а напротив ее — хороший дом, два этажа, только крыша разбита. Там — шумят и огонь есть. Один конвойный пошел туда, другой сел на крылечко школы, я, конешно, стою на дождике, тут — не побежишь.

— Вышел другой конвойный, говорит: «До утра велено оставить». Это — меня, значит. Потолковали они, куда меня запереть, повели недалеко от школы, затолкали в избу, в ней уж совсем ни зги не видно, окна заколочены. Солдат спичку зажег — вижу я: пол разворочен, угол разбит, верхние венцы завалились внутрь, в углу — тряпье, похоже, что убитый лежит. Дождичек проникает в избу. Солдат оглядел всё, вышел в сени, дверь не закрыл. «Это — плохо, что не закрыл, а вылезти отсюда — пустяки»,— думаю. Снизу. Тихо, только лошади сопят, пофыркивают, дождик шуршит, людей не

слышно. Солдат в сенях повозился и тоже засопел, потом, слышу,— храпит.

— Счета времени я, конешно, не вел, часов помнить не могу, сижу, не смыкая глаз, и как страшный сон вижу. Душа скучает, и — совестно: вот как влопался! Зажег осторожненько спичку, поглядел — бревна так висят, что снаружи влезть в избу, пожалуй, можно, а вот из избы-то едва ли вылезешь. Встал, попробовал — качаются.

— И тут меня точно кипятком ошпарило, слышу шёпот: «Заусайлов!» Это — Сашок, это — он! «Вылезай»,— шепчет. Отвечаю: «Никак нельзя, в сенях — солдат». Замолчал он, потом, слышу, царапает, бревна поскрипывают. И только что, на счастье свое, отодвинулся к печке,— заскрежетало, завалились бревна в избу. Ну, теперь — оба пропали.

— Солдат, конешно, проснулся, кричит: «Что ты там?» Отвечаю: «Не моя вина, угол обвалился!» Ну, ему, конешно, наплевать, был бы арестованный жив до казенного срока. Пожалел, что не задавило меня. Стало опять тихо, и слышу близко от меня — дыханье, пощупал рукой — голова. «Сашок, шепчу, как это ты, зачем?» Он объясняет: «Мы, говорит, всё слышали, Климова я назад послал, а сам следом за тобой пошел. Главная, говорит, сила их не здесь, а верстах в четырех»,— он уже всё досконально разузнал. «Они, говорит, думают, что у них в тылу и справа — наши». Рассказывает он, а сам зубами поскрипывает и будто задыхается. «Мне, говорит, бок оцарапало, сильно кровь идет, и ногу придавило». Пощупал я — действительно нога завалена. Стал шевелить бревно, а он шепчет: «Не тронь, закричу — пропадешь! Уходи, говорит, всё ли помнишь, что я сказал? Уходи скорей!» — «Нет, думаю, как я его оставлю?» И опять шевелю бревно-то, а он мне шипит: «Брось, чёрт, дурак! Закричу!» Что делать?! Я еще разок попробовал, может, освобожу ногу-то... Ну, хочешь — веришь, товарищ, хочешь — не веришь,— слышал я, хрустнула косточка, прямо, знаешь... хрустнула! Да... Раздавил я ее, значит... А он простонал тихонько и замер. Обмер. «Ну, думаю, теперь — прости, прощай, Сашок!»

Заусайлов наклонил голову, щупал пальцами папиросы в коробке, должно быть, искал, которая потуже набита. Не поднимая головы, он продолжал потише и не очень охотно:

— За ночь к нам товарищи подошли, а вечером мы приперли белых к оврагу, там и был конец делу. Мы с Климовым и еще десяточек наших первыми попали в это несчастное село. Ну, опять, пожар там. А Сашок — висит на том самом дереве, где до него другой висел, тоже молодой, его сняли, бросили в лужу, в грязь. А Сашок — голый, только одна штанина подштанников на нем. Избит весь, лица — нет. Бок распорот. Руки — по швам, голова — вниз и набок. Вроде как виноватый. А виноватый — я...

— Это — не выходит,— пробормотал красноармеец.— Обы вы, товарищ, исполнили долг как надо.

Заусайлов раскурил папиросу и, прикрыв ладонью спичку, не гасил ее огонек до той секунды, когда он приблизился к пальцам. Дунув на него, он раздавил пальцами красный уголь и сказал:

— Вот герой-то был.

— Да-а,— тихо отозвалась учительница и спросила:

— Уснул?

— Спит,— ответил красноармеец, заглянув в лицо мальчугана, и, помолчав, веско заговорил:

— У нас герои не перевелись. Вот, скажем; погрохрана в Средней Азии — парни ведут себя «на ять»! Был такой случай: двое бойцов отправились с поста в степь, а ночь была темная. Разошлись они в разные стороны, и один наткнулся на басмачей, схватили они его, и оборониться не успел. Тогда он кричит товарищу: «Стреляй на мой голос!» Тот мигом использовал пачку, одного басмача подранил, другие — разбежались, даже и винтовку отнятую бросили. А в это время — другого басмачи взяли; он кричит: «Делай, как я!» Он еще и винтовку зарядить не успел, прикладом отбивается. Тогда — первый начал садить в голос пулю за пулей и тоже положил одного. Воротились на пост — рассказывают, а им — не верят. Утром проверили по крови — факт! А ведь на голос стрелять значило — по товарищу стрелять. Понятно?

— Как же не понятно! — сказал Заусайлов.— Ничего, помаленьку понимаем свою задачу. Из отпуска, товарищ?

— Из командировки.

Учительница встала.

— Спасибо вам. Надо разбудить Саньку.

— Зачем? Я его так снесу,— сказал красноармеец.

Они ушли. Заусайлов тоже поднялся, подошел к борту, швырнул в реку папиросу.

Серебряный шар луны вкатился высоко в небо, тени правого берега стали короче, и весь он как будто еще быстрее уплывал в мутную даль...

## II

Это рассказал мне один из тех людей, которые лет тридцать говорили русской действительности решительное «нет!», а после Октября осторожно начали говорить «да!», сопровождая каждое «да» более или менее скептическим «но».

Теплым летним вечером я сидел с этим человеком среди ельника, на песчаном обрыве; под обрывом — небольшой луг, ядовито зеленый после дождя, на зелень луга брошена и медленно течет мутновато-красная вода маленькой реки, за рекою — темные деревья, с правой стороны от нас, над сугробами облаков — багровое, вечернее солнце стелет косые лучи на реку, на луг, на золотой песок обрыва.

Человек курил, глядя за реку и рассказывал, не торопясь, вдумчиво:

— Окончательно избавила меня от моих самоколебаний встреча с одной женщиной. Было это года два тому назад, в одном из уездных городов верховья Камы. Я сидел в укоме, беседуя «по душам» с предом, секретарем и убеждаясь грустно, что хотя оба они — парни не плохие, но по уши завязли в хитросплетениях старого быта, и не они руководят жизнью, а их водят за нос местные темные силы. Они и сами немножко чувствовали это. Секретарь, молодой и даже, как будто, даровитый стихописатель утверждал уже, что:

Нередко мощные деревья
Родятся от гнилых корней

— Это — не его стихи, не помню — чьи, но у него были стишки именно такого смысла. А предукома — местный уроженец, сын заводского служащего, участник партизанского движения, человек битый, мученый; женат, трое детей, сильно устал, теоретически вооружен слабо, значение поступков своих понимает не ясно и, видимо, уже решил:

Будь, что будет, всё равно!
Всё наскучило давно.

— Городишко глухой, темный, об одном таком сказано:

В городе у нас — как на погосте:
Для всего готовая могила.

— Воскресенье, время — за́ полдень, на улице жарко, точно в бане, и — сонная тишина; за крышами домов — гора, покрытая шубой леса, оттуда в открытые окна течет запах смолы и горький дымок, должно быть — уголь жгут.

Собеседник мой старался говорить живо и ради этого сильно злоупотреблял стиховыми цитатами. Цитаты свидетельствуют о начитанности, но, далеко не всегда утверждая доказываемое, часто создают такое впечатление, как будто цитирующий платит за внимание к нему краденными пятаками.

— Беседуем, всё более смущая друг друга и уже начиная немножко сердиться,— вдруг, с улицы, в открытое окно, поднимается от горячей земли большое, распаренное докрасна бабье лицо, на нем неласково и насмешливо блестят голубовато-серые, залитые потом глаза и тяжелый, густой голос неодобрительно гудит: «Здорово живете! Чай да сахар...»

— «Опять чёрт принес,— проворчал пред, почесывая под мышкой, а женщина наполняла комнату гулом упреков: «Ну, что, товарищ Семенов, обманул ты меня? Думал: потолкую с ней по-умному, она и будет сыта? А я вот опять шестьдесят верст оттопала, на-ко! Принимай гостью...»

— Лицо ее исчезло из окна. Я спросил: кто это? Пред махнул рукою, сказав: «Шалая баба!» А секретарь несколько смущенно объяснил: «Батрачка. Числится кандидаткой в партию».

— «Шалая баба» протиснулась в дверь с некоторым трудом. Была она, скромно говоря, несколько громоздка для женщины, весом — пудов на семь, если не больше, широкоплеча, широкобедра, ростом — вершков десяти сверх двух аршин. Поставив в угол толстую палку, она, движением могучего плеча, сбросила со спины котомку, бережно положила ее в угол, выпрямилась и, шумно вздохнув, подошла к нам, стирая пот с лица рукавом кофты.

— «Еще здравствуйте! Гражданин али товарищ?» — спросила она, садясь на стул,— он заскрипел под пею. Узнав, что товарищ, спросила еще: «Не из Москвы ли будешь?» И когда я ответил утвердительно, она, не обращая более внимания на свое начальство, вытащив из огромной пазухи кусок кожи солдатского ранца, величиной с рукавицу, хлопнула им по столу, однако, не выпуская из рук, и, наваливаясь на меня плечом, деловито, напористо заговорила.

— «Ну-ко вот разбери дела-то наши! Вот, гляди: копия бумаги из губпарткома — верно? Это — ему приказано»,— кивнула она головой на преда. «А это вот он писал туда. Значит — есть у меня право говорить?»

— Минут десять она непрерывно пользовалась этим правом, рассказывая о кооператорах, которые «нарочно не умеют торговать», о молочной артели, которой кулаки мешают реорганизоваться в колхоз, о таинственной и не расследованной поломке сепараторов, о мужьях, которые бьют жен, о противодействии жены председсовета и поповны-учительницы организации ясель, о бегстве селькора-комсомольца, которого хотели убить, о целом ряде маленьких бытовых неурядиц и драм, которые возникают во всех глухих углах нашей страны на почве борьбы за новый быт, новый мир.

Рассказывая, собеседник мой постепенно увлекался, забыл о стихах и живо дорисовывал фигуру бабы, ее жесты, отметил ее бережное отношение к носовому платку: она раза два вынимала платок из кармана юб-

ки, чтоб отереть пот с лица, но, спрятав платок, отирала пот рукавом кофты.

— Потом от нее несло, как от лошади,— сказал он.

— Секретарь налил ей стакан чаю:

— Пей, Анфиса! — Но она, жадно хлебнув желтенького кипятку, забыла взять сахару, а взяв кусок, начала стучать им по столу, в такт своей возмущенной речи, а затем, сунув сахар в карман, взяла еще кусок и сконфузилась: «Ой, что это я делаю!» Но и другой кусок тоже машинально спрятала в карман, а остывший чай выпила залпом, точно квас. «Налей еще, товарищ Яков!»

Рассказчик посмеивался, фыркая дымом, а я слушал и думал: «Всё это — правильно, баба хорошо оживает, и я — знаю: есть такая баба!»

Именно такую «делегатку» и батрачку наблюдал я на всесоюзном съезде по охране материнства в Москве,— такую же большую, краснолицую, толстогрудую, очень похожую на профессиональную, царских времен «кормилицу», в наши дни она — один из маленьких источников новой энергии, питающей страну, бабища государственно мыслящая. Она явилась от Уральской области, и тоже густо, с хорошим пониманием важности вопроса, говорила о том, что план «пятилетки» отводит мало места и средств делу воспитания детей. Она, памятно, сказала: — «Теперича, когда у нас в области своя нефть будет, мы должны большую работу показать, и об детях заботиться — у нас еще меньше времени останется, да и какие мы заботники, какие учителя детям-то? Стало быть: общественное-то воспитание ребят надо расширять — правда ли?»

Ей очень дружно хлопали.

Собеседник мой, торопливо покуривая, продолжал:

— Она высыпала на голову мне столько этих драм и неурядиц бытовых, что я даже перестал понимать «связь событий» в хаосе этом. Чувствую только, что эта семипудовая Анфиса — существо совершенно необыкновенное, новое для меня, что мне нужно узнать и понять — каким путем она «дошла до жизни такой»? Вы знаете, что литература наша не баловала нас изображе-

нием таких баб, хотя в жизни, в деревне, они, конечно, действовали, как неутомимые, самозабвенные строительницы «своего угла». Слушая эту, я подумал, что и она из числа таких строительниц частного хозяйства, но, по привычке к батрацкой работе, теперь механически переключила свою энергию на строительство общественное. Прочно ли это, надолго ли? Или — до первого случая, до выгодного замужества, вообще — до случая устроить свой угол? Уж очень много было в речах ее мелкой, бытовой практики и слишком незаметно отзвуков теории, а, как вы знаете, пороком нашего брата считается теоретический подход к быту, к делу. Но — как же иначе? Без плана ничего не построишь. Хотя, с другой стороны, изобретатели и творцы нового всегда как будто выскакивают из границ плана. Короче говоря — пригласил я ее к себе, я остановился у агронома, старого приятеля моего. Пригласил и за чаем подробнейше, до позднего вечера, пытал ее расспросами. Передать колорит ее рассказа, я, разумеется, не могу, но кое-что в память врезалось мне почти буквально. Отец у нее был портной овчинник, ходил по деревням, полушубки и тулупы шил. Мать умерла, когда Анфисе исполнилось девять лет, отец дозволил ей кончить церковноприходскую школу, потом отдал в «няньки» зажиточному крестьянину, а года через три увез ее в село на Каму, где он женился на вдове с двумя детями. В этих условиях Анфиса, конечно, снова стала «нянькой» детей мачехи, батрачкой ее, а мачеха оказалась «бабочкой пьяной, разгульной» да и отец не отставал от нее, любил и выпить и попраздновать. Частенько говаривал: «Торопиться — некуда, на всех мужиков тулупы не сошьешь. А будем торопиться — издохнем скорей!»

— Ей минуло шестнадцать лет, когда отец помер, заразясь сибирской язвой, и по смерти отца хозяйство мачехи еще тяжелей легло на ее хребет.

— «Был у нас шабер, старичок, Никола Уланов, охотой промышлял, а раньше — штейгером работал, его породой задавило в шахте, хромал он и считали его не в полном уме; угрюмый такой, на слова — скуп, глядел на людей неласково. Жил он бобылем, ну, я ему, иной

раз, постираю, пошью, так он стал со мной — помягче! „Зря, говорит, девка, силу тратишь на пустое место, на пьяниц твоих. До чужой силы люди — лакомы, избаловали их богатые. На всё худое они людям пример, от них весь мир худому учится". Очень понравились мне эти его слова-мысли, вижу, что — верно сказал: село — богатое, а люди жесткие, жадные и все в склоке живут. Спрашиваю Николу-то: «А что мне делать?" — „Ищи,— говорит,— мужа себе, ты девица здоровая, работница хорошая, тебя в богатый дом возьмут".— Ну, я и в ту пору не совсем дура была: вижу, сам же туда гонит, откудова звал. А первые-то его слова скрыла в душе все-таки».

— Эту часть своей жизни она рассказывала не очень охотно, с небрежной усмешечкой в глазах и холодновато, точно не о себе говорила, а о старой подруге, неинтересной и даже неприятной ей. А затем как-то вдруг подобралась вся, постучала кулаком по колену и глаза ее прищурились, как бы глядя глубоко в даль.

— «И вот — приехал к матери брат, матрос волжских пароходов, мужик лет сорока,— лютой человек! Сестру живо прибрал к рукам, выселил ее с детьми в баню, избу заново перебрал, пристроил к ней лавку и начал торговать. И торгует, и покупает, и деньги в долг дает, трех коров завел, овец, а землю богатому кулаку Антонову в аренду сдал. Я у него и стряпка, и прачка, и коровница, и тки, и пряди, и во все сторопы гляди — рвутся мои жилочки, трещат косточки! Ох, трудно мне было! Видите, товарищ, какая кувалда, а — до обмороков доходила!»

— Она засмеялась густым таким грудным смехом,— странный, неженственный смех. Потом, вытерев лицо и рот платочком, вздохнула глубоко.

— «А еще труднее стало, когда он, невзначай, напал на меня да и обабил. Хотя и подралась я с ним, а — не сладила, не здорова была в ту пору, женским нездоровьем. Очень обидно было. Я компанию вела с парнем одним, с Нестеровым, хорошей семьи, небогатые люди, тихие такие, двое братьев, Иван и Егор. Жили не делясь. Егор, дядя парня,— вдовый, он потом партизаном был и

беляки повесили его. Парня-то убили в первый год империалистической войны, отца его кулаки разорили, тоже пропал куда-то. Из всей семьи только Лиза осталась, теперь она — подруга моя, партийной стала четвертый год. Она в 16-м году, умница, в Пермь на завод ушла, хорошо обучилась там. Это уж я далеко вперед заскочила. Ну, хотела я, значит, уйти, когда идиёт этот изнасилил меня и собралась, а он говорит: „Куда — пойдешь? Пачпорта у тебя — нет. И — не дам, па это у меня силы хватит. Живи со мной, дуреха, не обижу. Венчаться — не стану, у меня жена в Чистополе, хоть и с другим живет, а все-таки венчаться мне — закон не позволяет. Умрет она — обвенчаюсь, вот — бог свидетель!“

— «Противен был он, да пожалела я, сдуру, хозяйство, уж очень много силы моей забито было в него. Ну, и Нестеровых семья вроде как родные были мне. Пожалела, осталась. Не ласкова была я с ним, отвратен он был да и не здоров, что ли: живем, живем, а детей — нету. Бабы посмеиваются надо мной, а над ним еще хуже, дразнят его, он, конешно, сердится и обиды свои на мне вымещает. Бил. Один раз захлестнул за шею вожжами да и поволок, чуть не удавил. А то — поленом по затылку ударил; ладно, что у меня волос много, а все-таки долго без памяти лежала. Сосок на левой груди почти скусил, гнилой чёрт, сосок-то и теперь на ниточке болтается. Ну, да что это вспоминать, поди-ка сам знаешь, товарищ, как в крестьянском-то быту говорят: „Не беда, что подохнет жена, была бы лошадь жива“. Началась разнесчастная эта война...»

— Сказав эти слова, она замолчала, помахивая платком в раскаленное лицо свое, подумала.

— «Разнесчастная — это я по привычке говорю, а думается мне как будто не так: конешно, трудовой народ пострадал, однако и пользы не мало от войны. Как угнали мужиков, оголили деревни — вижу я, бабы получше стали жить, дружнее. Сначала-то приуныли, а вскоре видят — сами себе хозяйки и общественности стало больше у них, волей-неволей, а надобно друг другу помогать. Богатеи наши лютуют, ой, как лютовали! Было их восьмеро, считая хозяина моего; конешно,

попы с ними, у нас — две церкви, урядник, зять Антонова, первого в селе по богатству. И чего только они ни делали с бабами, солдатками, как только не выжимали сок из них! На пайках обсчитывают, пленников себе по хозяйствам разобрали. Даже скушно рассказывать всё это. Пробовала я бабам, которые помоложе, говорить: жалуйтесь! Ну, они мне не верили. Живу я средь горшков да плошек, подойников да корчаг, поглядываю на грабеж, на распутство и всё чаще вспоминаю стариковы слова, Уланова-то: „Богачи — всему худому пример". И — такая тоска! Ушла бы куда, да не вижу, куда идти-то. Тут Лизавета Нестерова приехала, ногу ей обожгло, на костыле она. Говорит мне: „Знаешь, что рабочие думают?" Рассказывает. Слушать — интересно, а не верится. Рабочих я мало видела, а слухи про них нехорошие ходили. Думаю я: что же рабочие? Вот кабы мужики! Много рассказывала мне Лиза про пятый-шестой года, ну, кое-что в разуме, должно быть, осталось. Уехала она, вылечилась. Опять я осталась, как пень в поле, слова не с кем сказать. Бабы меня не любят, бывало, на речке или у колодца прямо в глаза кричат: „Собака ворова двора" и всякое обидное. Молчу. Что скажешь? Правду кричат. Горестно, было. Нет-нет да и всплакнешь тихонько где-нибудь в уголку.

— «Стукнул 17-й год, сшибли царя, летом повалил мужик с войны, прямо так, как были, идут, с винтовками, со всем снарядом. Пришел Никита Устюгов, сын кузнеца нашего, а с ним еще бойкенький паренек Игнатий, не помню фамилии, да какой-то, вроде цыгана, Петром звали. Они на другой же день сбили сход и объявляют: „Мы — большевики! Долой,— кричат,— всех богатеев!" Выходило это у них не больно серьезно, богачи — посмеиваются, а кто победнее — не верят. И моя бабья головушка не верит им. Однако — вижу: хозяин мой с приятелями шепчутся о чем-то, и все они — невеселы. Собираются в лавке почти каждый вечер и видно — нехорошо им! Ну, значит, кому-то хорошо, а кому — не видно. Вдруг — слышу: царя в Тобольск привезли. Спрашиваю хозяина в ласковый час: зачем это? „Сократили его, теперь — в Сибири царство-

вать будет. В Москве сядет дядя его, тоже Николай". Не верю и ему, а похоже, что Лиза правду говорила. А в лавке, слышу, рычат: „Оскалили псы голодные пасти на чужое добро". Как-то, вечером, пошла незаметно к Никите, спрашиваю: что делается? Он — кричит: „Я вам, чертям дубовым, почти каждый день объясняю, как же вы не понимаете? Ты — кто? Батрачка? Вору служишь?" Мужик он был сухой такой, черный, лохматый, а зубы белые — белые, говорил звонко, криком кричал, как с глухими. Он не то, чтобы — злой, а эдакий яростный. Вышла я от него и — право слово: себя не узнаю, как будто новое платье одела и узко мне оно, пошевелиться боюсь. В голове — колеса вертятся. Начала я с того дня жить как-то ни в тех, ни в сех и будто дымом дышу. А хозяин со мной ласков стал.

— „Ты, говорит, верь только мне, а больше никому не верь. Я тебя не обижу, потише станет — обвенчаемся, жена — померла. Ты, говорит, ходи на Никитины сходки, прислушивайся, чего он затевает. Узнавай, откуда дезертиры у него, кто такие".— „Ладно — думаю! — Ловок ты, да не больно хитер". Незаметно в суматохе-то и Октябрь подошел. Организовался совет у нас, предом выбрали старика Антонова, секретарем Дюкова, он до войны сидельцем был в монополькe и мало заметный человек. На гитаре играл и причесывался хорошо, под попа, волосья носил длинные. В совете все — богатеи. Устюгов с Игнатом — бунтуют. Устюгов-то сам в совет метил, ну — не поддержали его, мало народу шло за ним, боялись смелости его. Петр этот, приятель его, тоже к богатым переметнулся, за них говорит. Прошло некоторое время — Игната убили, потом еще дезертир пропал. И вот мою полы я — а дверь в лавку не прикрыта была — и слышу, Антонов ворчит: „Два зуба вышибли, теперь — третий надо". „Вот как?" — думаю, да ночью — к Никите. Он мне говорит: „Это я и без тебя знаю, а если ты надумала с нами идти, так — следи за ними, а ко мне не бегай; если что узнаешь, передавай Степаниде — бобылке. Я, на время, скроюсь".

— «И вот, дорогой ты мой товарищ, пошла я в дело.

Притворилась, будто ничего не понимаю, стала с хозяином поласковей. Он в ту пору сильно выпивать начал, а ходил — гоголем, они все тогда с праздником были. Спрашиваю я моего-то: что же это делается? Он, конешно, объясняет просто: „Грабеж, а грабителей бить надо, как волков". И — похвастался: „Двоих ухайдакали — и остальным тоже будет".— Я спрашиваю: разве Зуева-дезертира тоже убили? — „Может, говорит, утопили",— а сам оскалил зубы и грозит: „Вот еще стерву Степашидку худой конец ждет". Я — к ней, к Степахе, а она — ничего, посмеивается: „Спасибо, говорит, я уж сама вижу, что они меня любить перестали".

— «От ее забежала я к Нестеровым, говорю дяде Егору: вот какие дела! Он советует мне: „Ты бы в эти дела не совалась".— А я уж — не могу! Была там семья Мокеевых, старик да две дочери от разных жен, старшая — солдатка, а младшая — девица еще; люди бедные, старик богомольный такой, а солдатка — ткачиха знаменитая, в три краски ткала узором и сама пряжу красила; злая баба, а меня она меньше других травила. У нее вечеринки бывали, вроде — бабий клуб, раза два она и меня звала. Вот и пошла я к ней, от тоски спрятаться. Застала там баб, всё бедняцкие жены да вдовы... И — прорвало меня: „Бабы, говорю, а ведь большевики-то настоящей правды хотят! Игната за правду и убили, да и дезертира Зуева. Неужто, говорю, война-то ничему не научила вас и не видите вы, кто от нее богаче стал?" И, знаешь, товарищ, не хвастаю, не сама за себя говорю, а после от людей слыхала: удалось мне рассказать женщинам всю их жизнь так, что плакали. Это я и теперь всегда умею, потому что насквозь знаю всё и говорю практически. А старик Мокеев на печи лежал, слушал да утром же все речи мои Антонову и передал. Вечером хозяин лавку запер, позвал меня в горницу, а там и Антонов, и зятек его, и еще двое их-них, Мокеев — тоже тут. Он меня и уличил во всем: прямо сказал: она, дескать, не только вас, и бога хаяла! Это он врал, я тогда о боге не думала, а как все: и в церковь ходила и дома молилась. Наврал, старый чёрт! Начали они меня судить, стращать, выспрашивать. А хозяин мой уговаривает их: „Она — дура, ей что ни

скажи — всему верит, не трогайте ее, я сам поучу". Поучил. Пятеро суток на полу валялась, не только встать не могла, а рукой-ногой пошевелить силы не было. Думала, и не встану.

— «Однако — видишь — встала! Сутки через трое владыка и воспитатель мой уехал в волость и вот, слышу я ночью, стучат в окно, решила: пришли убить. А это Егор Нестеров: „Живо, говорит, собирайся!" Вышла я на улицу, сани парой запряжены, в санях — Степанида; спрашивает: „Жива ли?" А я и говорить не могу от радости, что есть люди, позаботились обо мне!»

— Громко шмыгнув носом, она часто заморгала, глаза у нее странно вспыхнули, я ждал — заплачет, но она засмеялась очень басовито и как-то по-детски.

— «Привезли они меня в город, стали допрашивать, да лечить, да кормить,— в жизни моей никогда не забуду, как лелеяли меня, просто как самую любимую. Народ всё серьезный, тут и Устюгов, и Лиза, и еще рабочий один, Василий Петрович, смешной такой. Ну... всего не скажешь, а просто: к родным попала! Дядя Егор удивляется: „Я, говорит, не верил ей, почитал за шпионку от них". Жила я в городе месяца четыре, уж началась гражданская, за советы; пошел кулак войной на нас, и было это в наших местах вроде сказки: и — страшно, а — весело! Путаница большая была, так что и понять трудно: кто за кого? Никита учит меня: „Вертись осторожно, товарищ Анфиса, держи ухо востро!" Научил меня кое-чему, светлее в голове стало, я уж по всему уезду шмыгаю, где — на митингах бабам речи говорю, где — разведку веду. Тут уж мне трудно рассказывать, много было всего, пред глазами-то как река течет. Поработала, слава те, господи!»

— Славословие богу сконфузило ее, покраснеть она не могла, и без того лицо ее было красно, как раскаленный кирпич, но она, всплеснув руками, засмеялась, виновато воскликнув:

— «Фу-ты, батюшки! Вот и оговорилась! Привычка, товарищ! Слова эти — скорлупа! А своих — не похвалишь, они сами себя делом хвалят. Ну — ладно!.. Да, милый, поработала в охотку. Егор Нестеров собрал

отрядец, десятка три, сходил в село для наказания, там, видишь, хозяйство ихнее разорили, Ивана-то укокали, должно быть, пропал, Степанидину избенку сожгли, Авдотью Мокееву убили, а сестрицу ее, Танюшу, изнасильничали,— она и по сей день дурочкой ходит. Егор суд устроил на площади. Никита Устюгов речь говорил, народ одногласно осудил Антонова, хозяина моего, да еще двоих: Зотова, мельника, и попа. Застрелили их. Дюков — скрылся, урядника в перестрелке убили, а старику Мокееву и бороду и волосья на голове обрили начисто и — ходи, гуляй! Всё было страшно, а как вывели Мокеева-то на улицу бритого — не поверишь: такой смешной он стал, что хохотали все до упаду, до слез, и весь страх пропал в смехе! Это Никита шутку выдумал, ох — умен был мужик! Посадили его предом сельсовета, Лизу — секретарем, я тоже в дело вошла, всё с бабами возилась. Тут они все уж верили мне: из богатого дома зря на бедную сторону не встанешь, говорят. „Эх, говорю, подруги! Да ведь вы сами знали, что я в богатом-то дому собакой служила!“ — „А не служи!“ — смеются. Ну, ладно! Примерно, месяца через два пришлось всем нам бежать: белые пришли и — многовато их! Егор со своими в лес ушел, у него десятка два людей было, мог бы собрать больше, да винтовок не было. Меня и Степаниду оставили в селе: наблюдайте, да не показывайтесь! Степаха, отчаянная голова, там пряталась, а я приткнулась версты за три на пасеке. Живем. По ночам Степаха приходит, один раз — винтовку скрала, принесла мне и говорит: „Знаешь, Дюков с белыми, любовничек мой, и я ему хочу дерзость устроить, сволочи! Он там взяточки собирает, стращая людей, и уже из-за его языка двое пострадали, заарестованы“. „Пропадешь“,— говорю.— „Авось — сойдет!“

— «Сошло ведь! Тоже смешной был случай. Сижу я как-то вечером па пасеке, шью чего-то, поглядываю сквозь деревья на дорогу в село и вижу: будто Степанида идет, а с нею мужчина, в белом картузе, белой рубахе: идут не по дороге, а боком, кустами, там тропинка была на целебный ключ. Не понравилась мне эта прогулка: хоть и считалась Степанида сознательной,

да уж больно жадна была на всякое баловство. А она всё ближе да ближе, тут уж я подумала: а не бежать ли мне в лес? Вдруг вижу: наклонился белый-то, а она — верхом па спину ему, ноги свои — под мышки сунула, голову в землю прижала, кричит: „Анфис"! Баба она здоровая, ловкая, плясунья была! Бегу я к ней, а сама задыхаюсь от страха, барахтается белый-то, вот-вот скинет ее с себя! Подбежала, успокоила его по затылку, Степанида револьвер вынула из кармана у него. „Веди,— говорит,— его к Егору, он там годится".

— «А это — Дюков и был. Ну, сволокли мы его на пасеку, очухался он там. Степанида говорит: „Стрелять — знаешь как? Револьвера из рук не выпускай, так и веди! Я, говорит, тут останусь, а ты не приходи и скажи, чтобы мне кого-нибудь прислали — одного, двух, дело у меня есть".

— «Ладно, повела я Дюкова; до Егора далеко было, около 20-ти верст, а верстах в пяти — хутор староверский, там тоже наши сидели. Идет Дюков впереди меня, плечи трясутся, плачет, уговаривает: „Отпусти!" Подарки сулит. Стыдно ему, конешно, что бабы в плен взяли, ну и боится тоже. „Иди, приказываю, и не пикни, а то — застрелю!" Хохотали наши над ним, да и надо мной, а он сидит на пеньшке, трясется весь, лица на нем нет, маленький, щуплый, даже смотреть жалко было. Сутки через двое Степанида заманила на пасеку еще белого, привели его к нам те двое, которых послали к ней, и говорят: „Ну, эта рисковая баба — пропала, считайте!"

— «Так и вышло: пасеку — разорили, а от Степаниды — ни костей, ни волоса, так и неизвестно, что с ней сделали. А пленник ее оказался полезный, рассказал нам, что через трое суток белые город брать будут и что к ним большая сила подходит. Не соврал. Двинулись мы в город. На Каме, на берегу, сраженьице было небольшое, как будто и ненужное, да уж очень разъярился дядя Егор. Семерых убили наших. Город белые взяли, конешно, их было, пожалуй, сотни полторы, а защитников — человек сорок. Постреляли друг в друга издали и ушли наши в лес. Так, дорогой товарищ, годика полтора, пожалуй, и вертелись мы вроде кара-

сей в сети: куда ни сунься — белые, а бывало, что и красные белели, было и так, что белые перебегали к нам. Да. За горами идет большая гражданская, Колчака бьют, а мы — свою ведем и конца ей не видим. Как пожар лесной, в одном месте — погасим, в другом вспыхнет. Переметнулись даже в Осинский уезд, там бедноты много, все рогожники, да веревки вьют. Дядя Егор прихварывать начал, лошадь помяла его, да и ранен был в ногу. Под городом Осой захватили его белые; он, вчетвером, на конных наткнулся, двоих — убили, его подранили. Четвертый, гимназист пермский, прибежал в город, где Лиза со мной была. Лизавета послала меня поглядеть: нельзя ли как выручить дядю? Белые на реке стояли, верстах в трех, у пристаней. Пришла я, а Егор висит на дереве, полуголый, весь в крови, с головы до ног, точно с него кожа клочьями содрана,— страшный! И кисти на правой руке нет. Спрашиваю какого-то рогожника: за что казнили? „Большевичок, говорит, настоящий, они его тут мучили, а он их кроет! Довели его до беспамяти! пожалуй, даже мертвого вешали".

— «Ну, тут обалдела я немножко, жалко товарища-то! У пристани народ был, я и говорю: „Как же вам, псы, не стыдно? Вас бы, говорю, вешать надо, бессердечный вы народ!" Недолго покричала, отвели меня к начальству. Какой-то седенький, лихорадочный, что ли, трясется весь, скомандовал: „Шомполами!" Десяточка два получила и с неделю — ни сесть, ни на спину лечь. Хорошо, что тело у меня такое: чем бьют больней, тем оно плотней. Вроде физкультуры. Да, товарищ, бою отведала я не меньше норовистой лошади, кожа у меня так мятавзодрана, что сама удивляюсь: как это всю кровь мою не выпустили? А — ничего, живу — не охаю».

На этом месте рассказчик остановился, тщательно раскурил папиросу, с минуту молча смотрел под ноги себе и, вздохнув, продолжал:

— Не охаю,— говорит. Слушал я ее и невольно вспоминал пустое место моей жизни в эти трагические годы. Занял я его тем, что — охал. Потом — спрашиваю: ну, а как дальше жила?

— «Да, что, говорит, дальше-то? Первое-то время

после нашей победы не легче стало, а будто скушней. Близкие товарищи — кои перебиты, кои — разбрелись по разным местам, по делам. Лиза — в Екатеринбург уехала, учиться, тогда еще Свердловска не было. Осталась я вроде как одна, народ у нас, в сельсовете, всё новый, осторожный, многого не знают в нашей жизни, а что знают — это понаслышке. Про них один парень, из бойцов, чахоточный — он помер года два тому назад,— частушку сочинил:

Сели власти на вышке,
Рассуждают понаслышке:
Мы-де здешний сельсовет,
Наплевать нам на весь свет.

— «Власть на местах была в ту пору. Потом новая экономическая началась. Пристроили меня к совхозу, да не удался он, разродилось новое кулачье, разграбило. Была зиму сторожихой в школе,— ну, какая я сторожиха? Учителишка — старенький, задира, больной, ребят не любит. Стала поденно батрачить, и вижу: всё как будто назад попятилось, под гору, в болото. Бабы — звереют, ничего знать не хотят, кроме своих углов. Беда моя — слабо я разбираюсь в теории, стыдно это мне, а учиться времени нет. Да и человек-то я уж очень практический, не знаю, как писание к настоящей жизни применить, к нашему быту, ловкости у меня нету. Одно знаю: от этих своих углов — все наши раздоры и разлады, и дикость наша, и бесполезность жизни. Знаю, что первое дело — быт надо перестроить и начинать это снизу, с баб, потому что быт — на бабьей силе держится, на ее крови-поте. А — как перестроишь, когда каждая баба в свое хозяйство впряжена, грамотных — мало, учиться — некогда? Завоевали бабью жизнь горшки-плошки, детишки да бельишко... Начала я уговаривать баб прачешную общественную устроить, чтобы не каждая стирала, а две, три, по очереди, на всех. Не вышло ничего. Стыд помешал: бельишко-то у всех заношено да и плохое, когда сама себе стирает — ни дыр, ни грязи никто не видит, а в общественной прачешной каждая будет знать про всех. Они, конешно, не говорили этого, я сама догадалась, а они провалили меня на вопросе с мылом,

дескать: как же мыло считать? У одной — десять штук белья, у другой — четыре, а мыло-то —как? Потом некоторые признались: „Мыло — пустяки, а вот стыда не оберешься! Будем побогаче — устроим и прачешную, и бани общие, и пекарню". Утешили: будем побогаче! Эх, бабы, говорю, от богатства нашего и погибаем. Ну, все-таки дела идут понемножку, безграмотность ликвидируем, „Крестьянку" совместно читаем; очень помогает нам „Крестьянская газета", вот она — да! Она — друг. Нам, товарищ дорогой, акушерский пункт надобно, ясли надо, нам амбар Антоновых надо под бабий клуб, амбар — хороший, бревенчатый, второй год пустой стоит».

— Она стала считать, что ей надо, загибая пальцы на руках, пальцев — не хватило, тогда, постукивая кулаком по столу она начала считать снова: «Раз. Два». И, насчитав тринадцать необходимостей,— рассердилась, даже раза два толкнула меня в бок, говоря: «Маловато вы, товарищи, обращаете внимания на баб, а ведь сказано вам: без женщины социализма не построить! Бебеля-то забыли? А — Ленин что сказал? Не освободив бабу от пустяков, государством управлять не научишь ее! А у нас и уком и райком сидят, как медведи в берлоге, и хоть бей — не шевелятся! Только и слов у них: не одни вы на свете! А дело-то ведь, товарищ, яснее ясного: ежели каждая баба около своего горшка щей будет вертеться — чего достигнем? То-то! Надобно освобождать нас от лошадиной работы. Время нам надобно дать свободное. Я вот сюда третий раз притопала, сосчитай: вперед-назад сто двадцать верст, а за три раза 360 — шутка? Это значит — полмесяца на прогулку ушло... Ну, ладно! Выговорилась я вся, допуста. Спать пойду. А ты мне укомцев-то настегай, не то — в губком пойду. Эх, скорей бы зачисляли меня в партию, уж так бы я их встряхивала!»

Рассказчик, помолчав, спросил: «Ну, как? Хороша?» — «Годится», — сказал я.

Тогда он, вздохнув, начал говорить о себе.

## III

По берегам мелководной речки, над ее мутной ленивой водою, играет ветер, вертится над костром, как бы

стремясь погасить его, а на самом деле раздувая всё больше, ярче. В костре истлевают черные пни и коряги, добытые со дна реки; они лежали там, в жирной тине, много лет; дачники вытащили их на берег, солнце высушило, и вот огонь неохотно грызет их золотыми клыками. Голубой горький дымок стелется вниз по течению реки, шипят головни, шёлково шелестит листва старых ветел, и в лад шуму ветра, работе огня — сиповатый человечий голос:

— Мы — стеснялись; стеснение было нам и снаружи, от законов, и было изнутри, из души. А они по своей воле законы ставят, для своего удобства...

Это говорит коренастый мужичок, в рубахе из домоткапного холста и в жилете с медными пуговицами, в тяжелых сапогах,— они давно не мазаны дегтем и кажутся склепанными из кровельного железа. У него большая круглая голова, густо засеянная серой щетиной; красноватое толстое лицо тоже щетинисто; видно, что в недалеком прошлом он обладал густейшей окладистой бородою. Под его выпуклым лбом спрятапы голубоватые холодные глаза, и по тому, как он смотрит на огонь, на солнце, кажется, что он слеп. Говорит он не торопясь, раздумчиво, взвешивая слова:

— Бога, дескать, нету. Нам, конечно, в трудовой нашей жизни, богом интересоваться некогда было. Есть, нет — это даже не касаемо пас, а все-таки как будто несуразно, когда на бога малыши кричат. Бог-от не вчерась выдуман, он — привычка древних лет. Праздники отменили, ну, так что? Люди водку и в будни пьют. А бывало, пакануне праздника, в баню сходишь, попаришься.

— Так ведь это и в будни можно, в баню-то?

— Кто говорит — нельзя? Можно, да уж смак не тот. В праздник-то сходишь в церкву, постоишь...

— Ходите и теперь ведь...

— Смак, говорю, не тот, гражданин! Теперь и поп служит робко, и певчих нет, и свечек мало перед образами. Всё прибеднилось. А бывало, поп петухом ходил, красовался, девки, бабы нарядные — благообразно было! Теперь девок да парней в церкву палкой не загонишь. Они вон в час обедни мячом играют, а то — в го-

родки. И бабы, помоложе которые, развинтились. Баба к мужу боком становится, я, говорит, не лошадь...

Сиповатый голос его зазвучал горячее, он подбросил в костер несколько свежих щепок и провел пальцем по острию топора. Он устраивает сходни с берега в реку; незатейливая работа: надобно загнать в дно реки два кола и два кола на берегу, затем нужно связать их двумя досками, а к этим доскам пришить гвоздями еще четыре. Для одного человека тут всей работы — на два часа, но он не спешит и возится с нею второй день, хотя хорошо видно, что действовать топором он умеет очень ловко и не любит людей, которые зря тратят время.

На том берегу реки пасется совхозный скот — коровы и лошади. Из рощи вышел парень с недоуздком в руках, шагнул к рыжему коню,— конь отбежал от него и снова стал щипать траву. Словоохотливый старик, перестав затесывать кол, начал следить, как парень ловит коня, и, следя, иронически бормотал:

— Экой неуклюжий!.. Опять не поймал... Ну, ну... эх, болван какой! Хватай за гриву! Эй!

Парень тоже не торопился. Коня схватила за гриву молодая комсомолка, тогда парень взнуздал его и, навалясь брюхом на хребет, поскакал, взмахивая локтями почти до ушей своих.

— Вот как они работают — с полчаса время ловил коня-то,— сказал старик, закуривая.— А кабы на хозяина работал,— поторопился бы, увалень!

И не спеша снова начал затесывать кол, пропуская слова сквозь густые подстриженные усы:

— Спорить я не согласен с вами насчет молодежи, она, конешно, действует... добровольно, скажем. Ну, однако, нам ее понять пельзя. Она, похоже, хочет все дела сразу изделать. У нее, может, такой расчет, чтобы к пятидесяти годам все барами жили. Может, в таком расчете она и того... бесится.

— Ну да, конешно, это слово — от нашего необразования: не бесится, а вообще, значит... действует! И — ученая, это видно. Экзаменты держит на высокие должности, из мужиков метит куда повыше. Некоторые — достигают: тут недалеко сельсоветом вертит паренек, так я его подпаском знавал, потом, значит, он в Красной Ар-

мии служил, а теперь вот — пожалуйте! Старики его слушать обязаны! Герой!

— Бывало, парень пошагает в солдатах три-четыре года, воротится в деревню и — все-таки свой человек! Ежели и покажет городскую, военную спесь, так — ненадолго, покуражится годок и — опять мужик в полном виде. А теперь из Красной-то через два года приходит парень фармазон-фармазоном и сразу начинает все обстоятельства опровергать. Настоящего солдата и не заметно в нем, кроме выправки, однако — воюет против всех граждан мужиков и нет для него никакого уему. У него — ни усов, ни бороды, а он ставит себя учителем...

— Плохо учит?

Старик швырнул окурок в воду, швырнул вслед за ним щепку и, сморщив щетинистое лицо, ответил:

— Я вам, гражданин, прямо скажу: не в том досада, что — учит, а в том, что правильно учит, курвин сын!

— Непонятно это!

— Нет, понять можно! Досада в том, что обидно: я всю жизнь дело знал, а — оказывается — не так знал, дураком жил! Вот оно что! Кабы он врал, я бы над ним смеялся, а так, как есть,— он прёт на меня, мне же и увернуться некуда. Он в хозяйство-то вжиться не успел, по возрасту его. А — чего-то нанюхался... Кабы из него, как из меня, земля жилы-то вытянула, так он бы про колхозы не кричал, а кричал бы: не троньте! Да-а! Он в колхоз толкает — почему? Потому, видишь ты, что он на тракториста выучился, ему выгодно на машине сидеть, колесико вертеть.

— Ведь понимаем: конешно, машина — облегчает. Так ведь она и обязывает: на малом поле она — ни к чему! Кабы она меньше была, чтоб каждому хозяину по машине, катайся по своей землице, а в настоящем виде она межу не признает. Она командует просто, сволочь: или общественная запашка, или — уходи из деревни куда хошь. А куда пойдешь?

— Ну, да, конешно, я не спорю,— начальство свое дело знает, заботится — как лучше. Мы понимаем, не дураки. Мы только насчет того, что легковерие большое пошло. Комсомолы, красноармейцы, трактористы вся-

кие — молодой народ, подумать про жизнь у них еще время не было. Ну и происходит смятение...

Поплевав на ладонь, крепко сжимая топорище красноватой, точно обожженной кистью руки, он затесывает кол так тщательно, как секут детей люди, верующие, что наказание воспитывает лучше всего. И, помолчав, загоняя кол ударами обуха в сырой, податливый песок, он говорит сквозь зубы:

— Вот, примерно, племянник мой... Двоюродный он, положим, а все-таки родня. Однако он мне вроде как — враг, да! Он, конешно, понимает: всякому зверю хочется сыто жить, человеку — того больше. На соседе пахать не дозволено, лошадь нужна, машина — это он понимает. Говорить научились, даже попов забивают словами; поп шлепает губой, пыхтит: бох-бох, а его уж не токмо не слыхать, даже и нет интереса слушать. А они его прямо в лоб спрашивают: «Вы чему такому научили мужиков, какой мудрости?» Поп отвечает: «Наша мудрость не от мира сего», они — свое: «А кормитесь вы от какого мира?» Да... Спорить с ними, героями, и попу трудно...

Загнав кол до половины, он дает ему два пинка и, стоя на коленях, закуривает новую папиросу и бормочет невнятно для себя, разбираясь в своих мыслях. Затем строго обращается к собеседнику:

— Вы, гражданин, прибыли издаля, поживете да опять уедете, а нам тут до смерти жить. Я вот пятьдесят лет отжил в трудах и — достоин покоя али не достоин? А он меня берет за грудки, встряхивает, кричит, как бешеный али пьяный. Из-за чего, спрашиваете? Будто бы я на суде неправильно показал, там у нас кооператоров судили, за растраты, что ли, не понял я этого дела. Попытка на поджог лавки действительно была, это всем известно. Суд искал причину: для чего поджигали? Одни говорят: чтобы кражу скрыть, другие: просто так, по пьяному делу. Племянник — Сергеем звать — да еще двое товарищей его и девка одна, они это дело и открыли. До его приезда все жили как будто благополучно, а вкатился он — и началась собачья склока. И то — не так, и это — не эдак, и живете вы, говорит, хуже азиатов, и вообще... И требуют, чтобы меня тоже су-

дить: будто бы я неправильно показал насчет кооператоров...

Говорит он всё более невнятно и неохотно; кажется, что он очень недоволен собой за то, что начал рассказывать. Он изображает племянника коротенькими фразами, создавая образ человека заносчивого, беспокойного, властного и неутомимого в достижении своих целей.

— Бегает круглы сутки. Ему всё едино, что — день, что — ночь, бегает и беспокойство выдумывает. Пожарную команду устроил, трубы чистить заставляет, чтоб сажи не было. Мальчишек научил кости собирать, бабам наговаривает разное, а баба, чай, сами знаете,— легковерная. В газету пишет, про учителя написал. Оттуда приехали — сняли учителя, а он у нас девятнадцать лет сидел и во всех делах — свой человек. Советник был, мимо всякого закона тропочку умел найти. На место его прислали какого-то веселенького, так он сразу потребовал земли школе под огород, под сад, опыты, дескать, надобно произвести...

Чувствуется, что, говоря о племяннике, он, в его лице, говорит о многих, приписывает племяннику черты и поступки его товарищей и, незаметно для себя, создает тип беспокойного, враждебного человека. Наконец он доходит до того, что говорит о племяннике в женском лице:

— Собрала баб, девок...

— Это вы — о ком?

— Да всё о затеях его. Варвара-то Комарихина до его приезда тихо жила, а теперь тоже воеводит. Загоняет баб в колхозы, ну, а бабы, известно, перемену жизни любят. Заныли, заскулили, дескать, в колхозе — легче...

Он сплюнул, сморщил лицо и замолчал, ковыряя ногтем ржавчину на лезвии топора. Коряги в центре костра сгорели, после них остался грязновато-серый пепел, а вокруг его всё еще дышат дымом огрызки кривых корней: огонь доедает их нехотя.

— И мы, будучи парнями, буянили на свой пай,— задумчиво говорит старик.— Ну, у нас другой разгон был, другой! Мы не на всё наскакивали. А их число

небольшое, даже вовсе малое, однако жизнь они одолевают. Супротив их, племянников-то этих,— мир, ну, а оборониться миру — нечем! И понемножку переваливается деревня на ихнюю сторону. Это — надобно признать.

Встал, взял в руки отрезок горбуши, взвесил его и, снова бросив на песок, сказал:

— Я — понимаю. Всё это, значит, определено... Не увернешься. Кулаками дураки машут. Вообще мы, старики, можем понять: ежели у нас имущество сокращают и даже вовсе отнимают — стало быть, государство имеет нужду. Государство — человеку защита, зря обижать его не станет.

И, разведя руками, приподняв плечи, он докончил с явным недоумением на щетинистом лице, в холодных глазках:

— А добровольно имущество сдать в колхоз — этого мы не можем понять! Добровольно никто ничего не делает, все люди живут по нужде, так спокон веков было. Добровольно-то и Христос на крест не шел — ему отцом было приказано.

Он замолчал, а потом, примеривая доску на колья, чихнул и проговорил очень жалобно:

— Дали бы нам дожить, как мы привыкли!

Он идет прочь от костра, ветер гонит за ним серое облачко пепла. Крякнув, он поднимает с земли доску и бормочет:

— Жить старикам осталось пустяки. Мы, молодые-то, никому не мешали... Да... Живи как хошь, толстей как кот.

Чадят головни; синий кудрявый дымок летит над рекой...

# ИВАН ВОЛЬНОВ

Иван Егорович Владимиров — Иван Вольнов, крестьянин, сельский учитель — появился на острове Капри в 1909 или 1910 году. До этого он жил где-то около Генуи, кажется, в Кави-ди-Лаванья, а туда приехал из сибирской ссылки. Сослан был как член партии социалистов-революционеров, организатор аграрного движения в Малоархангельском уезде Орловской губернии,— до ссылки сидел несколько месяцев в прославленном садической жестокостью орловском «централе», каторжной тюрьме. Там тюремные надзиратели несколько раз избивали его, а однажды, избив до потери сознания и бросив в карцер, облили соленой водой; раствор этот разъел ссадины и раны, оставив на коже глубокие рубцы.

В ссылке, в глухой сибирской деревне, он работал батраком у зажиточных крестьян, заслужил их симпатии, и они, по собственному почину, организовали ему побег. Для тех времен это не было исключительным случаем, и говорит это не о великодушии мужиков, а только о том, что они понимали: есть люди, которые делают революцию в интересах крестьянства. Сам Иван рассказывал о побеге приблизительно так:

— Мужики там были — хорошие, грамотные, я довольно плотно вкрепился в их жизнь, работал, пропагандировал и о побеге — не думал. Но как-то почью приходят двое и — обрадовали: «Приехал урядник с бумагой, говорит, что тебя требуют назад, в Россию, там еще что-то открылось за тобой, и тебе, за грехи, додать надобно. А мы тебя считаем человеком хорошим, так ты беги! Урядника напоили, спит, проснется — еще напо-

им. Про тебя ему сказано, что ты на охоту вчера ушел. Лошадь — запряжена, вот он отвезет тебя; доедешь до своих». Я сообразил, что начальство зря в Москву не потребует, а если потребовало — значит, или каторгой угостит, или повесит. Вешалка мне грозила; я был организатором боевой дружины, участвовал в эксах; получая на юге литературу из Греции, был выслежен шпионами, пришлось стрелять, одного, кажется, ухлопал. Вообще — повесить меня было за что, ну и — кроме того — шея есть. Расцеловался я с приятелями и — айда! Тихонько, черепахой прополз по России; потолкался кое-где за границей, вот — метнуло сюда.

Его спросили, как понравилась Европа. Он отвечал осторожно: «А не знаю еще! Пестро очень в глазах и толпеж в голове. Ну, конечно, сразу видишь: здесь настроено, накоплено больше, чем у нас. Землю холят — замечательно!»

В то время ему было, вероятно, лет 25—27; крепкий такой был он, двигался осторожно, тяжеловато, как человек, который еще не совсем овладел своей силой, и она его несколько стесняет. Над его невысоким, но широким лбом — плотная шапка темных, туго спутанных волос, на круглом безбородом лице — карие глаза с золотистой искрой в зрачках, взгляд — пристальный, требовательный и недоверчивый. Маленькие темные усы, губы очень яркие и пухлые; физиономисты говорят, что такие губы — признак повышенной чувственности.

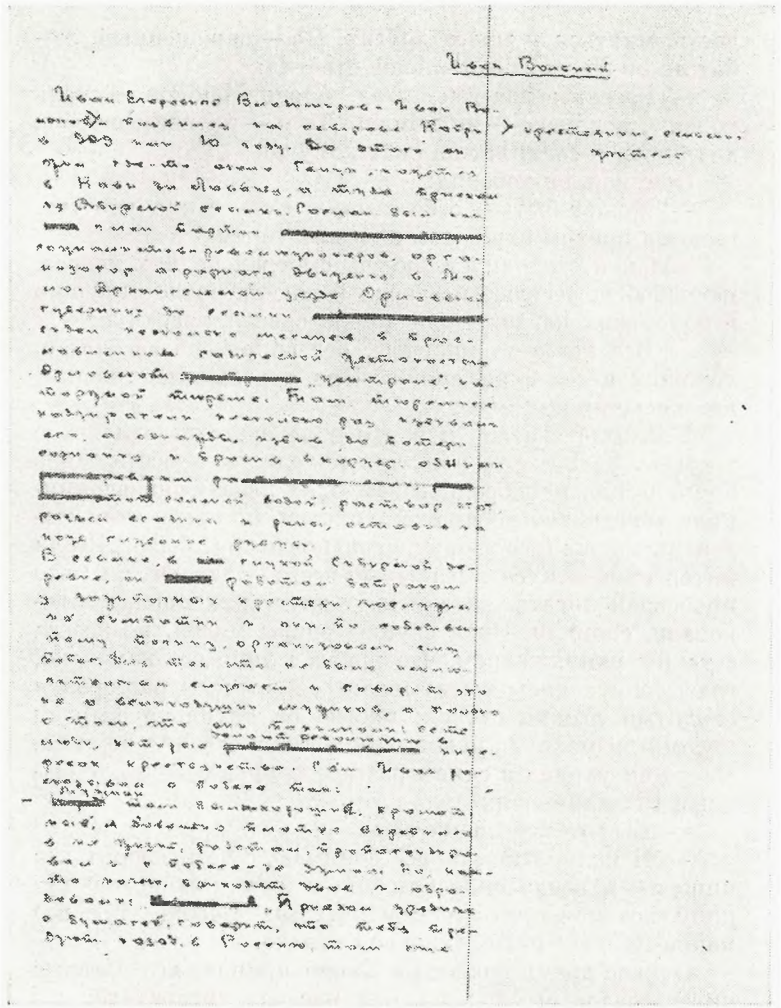
Нерешительную улыбку этих очень юношеских губ сопровождал невеселый блеск глаз, затененных густыми ресницами, и на краткий момент круглое грубоватое лицо Вольнова казалось необычным, даже — загадочным. Говорил он вдумчиво и скупо, немножко ворчливо и по складу речи, по манере ее часто казался старше своего возраста, а вообще же от его речей веяло свежестью чувства, прямодушием, простотой. И чувствовалось, что, относясь к людям не очень доверчиво, он и к себе самому относится так же, в нем как бы что-то надломлено, скрипит, и, говоря, он всегда прислушивается к этому скрипу.

В первые недели его жизни на Капри сложность и неопределенность психики Вольнова вызвали в русской

колонии острова весьма острое, но не очень дружелюбное внимание к нему. В то время на Капри жила небольшая группа литераторов: Николай Олигер, Алексей Золотарев, Борис Тимофеев, очень талантливый юноша, изуродованный ревматизмом, который потом и убил его, жил стихотворец с четырехэтажной фамилией Любич-Ярмонович-Лозина-Лозинский, человек нервно раздерганный и одержимый стремлением всячески подчеркнуть себя; он задорно подчеркивал свое дворянское происхождение, вражду к революции, к реализму в литературе и был похож на музыканта, которого заставили играть на инструменте, неприятном ему. Стихи свои он подписывал псевдонимом Любяр, читал их с пафосом, но в то же время с иронической улыбкой, и любил говорить: «Жизнь — дурная привычка». Говорил — и много — о Шопенгауэре, о Генрике Ибсене, причем казалось, что он раздувает угли, покрытые пеплом и золой. Молодежь слушала его весьма охотно и почти никогда не спорила против его поношенных парадоксов. В конце концов казалось, что он говорит не от себя, а по внушению извне.

Почти ежегодно приезжал Иван Бунин; мелькали Новиков-Прибой, Саша Черный, Илья Сургучев и еще многие. Собралось человек десять живописцев. Всё это была молодежь говорливая, не очень стеснявшаяся в формах выражения своих ощущений и настроений, склонная «углублять психологию», разрешать «трагическую загадку бытия» и «проблему личности». Все были молоды, жили весело; все были очень бедны, но жизнь тогда была дешевой, и кисленькое каприйское вино тоже дешево.

Ивана «загадка бытия», должно быть, не интересовала, так же как и «проблема личности в ее отношении к обществу». Он внимательно слушал всё, что говорили, но был не очень словоохотлив. По скупым его рассказам было ясно, что он — человек весьма наблюдательный, способный включать пережитое в твердую и точную форму. Как уроженец области коренных «великороссов», он отлично владел афоризмом. Иногда в его речах звучали слова из лексикона его земляка Н. С. Лескова: толпеж, галдеж, угнездился, блезир, ску-



**«ИВАН ВОЛЬНОВ».**
**Первая страница автографа.**

дость, мниться и много других. Но — спрошенный, любит ли он Лескова — Вольнов ответил:

— Рассказа два-три читал. «Леди Макбет» — очень хорошо, а другие — не помню. Да и — не понравилось, хитрит он и сочиняет на смех кому-то.

Подумав, он добавил:

— Может быть — себе самому. Есть такие, что утешаются смехом над своим и чужим горем.

Вольнов сторонился людей, смотрел на них искоса, исподлобья, веселью не верил и как-то, после пирушки в маленьком кабачке, идя домой, сказал, вздохнув:

— Все какие-то мореные, без вина — не веселятся, хороших песен — не знают. Про революцию говорят, как пасынки про мачеху.

Это было сказано и верно и неверно: веселились и трезвые, потому что веселила молодость, красота моря, буйная сила плодородной земли. О революции вспоминали действительно не очень охотно, но среди этих людей активных революционеров почти не было. Жили интересами искусств и прежде всего — литературы; все пробовали писать, читали друг другу рукописи, критиковали, спорили. Иван слушал споры молча, но всегда с таким напряжением, что круглое лицо его каменело, глаза, округляясь, выкатывались, в зрачках разгорался сердитый рыжий огонек; иногда он тихонько фыркал носом и, взмахивая рукою, точно муху отгонял от лица. Часто он уходил в самом разгаре споров о «смысле бытия». Бывало — спросишь его:

— Вы что всё молчите?

— Я мало читал, не всё понимаю, о чем говорят, что пишут,— отвечал он.— Стихоплет этот похож на курицу, которая притворяется петухом. Вообще тут все какие-то блаженные, «иже во святых».

Первое время жизни на Капри природа юга Италии интересовала его больше, чем русская литература, и о природе он говорил с завистью, с удивлением, которое часто казалось очень похожим на возмущение.

— Вот бы сюда согнать орловских, а то — сибирских мужиков, посмотрели бы они на землю, на работу! Глядите, черти, здесь на голые камни земля корзинками натаскана, ее лопатами пашут, а она круглый год апель-

сины родит, оливки, бобы! А у вас там земля летом — чугунная сковорода, зимой — саван, под ним — одурь, болота, овраги, чёрт ее знает что!

И неожиданно он заключал:

— А вы, черти, в бога верите, в какой-то божий разум!

На эту тему он рассуждал часто и так решительно, так озлобленно, что казалось: он сам чувствует бога как силу действительно существующую, но бессмысленную и всегда, во всем враждебную мужику. Рассматривая голубые цветы каменоломки на серых, известковых скалах острова, он с негодованием ворчал:

— Вишь ты, как прет, чёрт ее дери! Куда ни ткнись,— везде растет что-нибудь! На железе расти может. Молочай кустами вырос, а — зачем он? Как насмешка всё это.

И вздыхал, встряхивая кудлатой головою:

— Наши темные черти работать здесь долго не привыкли бы! Передохли бы с натуги. Круглый год работать не под силу им. Привыкли полгода на печи дрыхнуть.

Кажется, раза два он ездил в приморский городок Алляссио за Генуей; там жил Виктор Чернов, человек настолько известный, что вспоминать о нем неприятно.

Ко мне он приходил чаще всего поздно вечером, а то — ночью «на огонек»; придет, сядет и, вздохнув, спросит:

— Не помешаю? Вы — работайте, я посижу молча.

Было ясно, что он тоскует, что ему трудно жить. Минуты через две он рассказывал, зажав руки в коленях, покачиваясь, встряхивая головой так, точно на ней была слишком тяжелая шапка, рассказывал о курных избах орловских деревень, о мужиках, которые уходят в Донбасс, в шахтеры, а возвращаются оттуда, надорвав силы, уже не мужиками, не рабочими.

— Пьяницы, драчуны, жен калечат, ребятишек бьют — беда! Кричат бабам: «Ради вас, сволочей, раньше смерти под землей живем!» Детей в школу не пускают: «Парнишка выучится, на мою же шею сядет учителем!» Это мне в глаза говорили.

Можно было думать, что плодотворные силы южной

природы, изощряя его зависть и озлобление, делают Ивана пессимистом, мизантропом, но когда один из молодых литераторов стал назойливо доказывать ему наличие разума в природе, он угрюмо и твердо сказал:

— Ну, это вы — бросьте! Сегодня у вас — разум, а завтра будет — бог. А в бога верят только человеконенавистники, дворяне. Вот — Бунин в бога верит. Это — злая вера.

Его спросили:

— А вы во что верите?

— Ни во что,— ответил он; затем, потише, добавил: — В будущее верю. В человеческий разум. Другого — нет.

Рассказывал, как мужики громили усадьбу князя Куракина.

— Князь — хилый такой старичок, а злой, пес, был. Притащили его к речке и давай окунать в воду, орут: «Чистоту любишь? Мы тя выстираем, выполощем». В доме, во дворе, ломают всё, как свиньи, в щепки дробят! Я кричу: «Да — сукины дети — зачем? Ведь это всё — ваше!» Никакого внимания! Треск, скрип, грохот. Столы, стулья топорами рубят, бабы из-за пледа разодрались,— отняли у них плед и тоже изрубили. Как будто в вещах и скрыто всё людское горе. Такое было неистовство, что и страшно и смешно. Старик один — тихий такой старичок был — нашел где-то дворянскую фуражку и, знаете, серьезно так — мочится в нее. Я, увидев это, даже задрожал: от крепостного права сорок лет прошло, а он, видно, вспомнил что-то, старичок! Девицы сняли зеркало со стены, отнесли в пруд и утопили, да — не просто пришли да бросили, а сели в лодку, выехали на середину пруда и там — бросили.

Он засмеялся и, встряхнув головою, махнув рукой, продолжал:

— Потом оказалось, что и сам я тоже какой-то шкафик жиденький ногами растоптал, уж не знаю, чем он помешал мне. Опомнился, когда мне в ухо заорал кто-то: «Круши, Иван Егоров!» Зараза!

И — снова помолчав:

— Пьяница один, шахтер, бесшабашный человек,

взял кутенка, сунул за пазуху и пошел прочь. Догнали: «Покажи — что украл? Подай сюда!» И — кутенком — по роже его! В кровь избили. В день погрома — никто не воровал, а потом, ночью, на телегах ездили, осколки и всякую рвань собирать. Воспитана в народе великая злоба. Это я и на себе испытал, когда меня в орловской тюрьме били. Хотите — верьте, хотите — нет, а когда били меня, ногами топтали, разумеется — больно было, но кажется мне, что я и в тот час думал: «Ладно, учите, годится!»

Он снова негромко и ненадолго засмеялся. Но стоило ему засмеяться, и тогда невольно думалось, что его обычная сумрачность только — личина, а под нею зачем-то прячется жизнерадостный и очень простой, очень милый человек.

Смеялся он не часто, но помногу и — смеялся весь, встряхивая головою, закрыв глаза, притопывая ногами, хлопая руками по бедрам, по коленям. Его смешила иногда самая простая шутка, неловкое движение, неправильно произнесенное слово, и вообще смех его был не требователен. Очень трудно было объединить этот молодой, даже почти детский смех с тяжелым грузом страшного, что нес в памяти своей этот человек.

Ему советовали:

— Вам бы, Иван Егоров, надобно писать об этом!

— Хочется, да не знаю, как взяться! — сказал он.— Даже — пробовал. Не выходит ничего. Дайте-ко мне книг.

Книг он брал много, больше всего беллетристику; читал придирчиво и очень тонко замечал ошибки авторов в описании быта.

— За плохим охотятся умело,— говорил он, и в этих словах чувствовался оттенок личной обиды.

Большинство людей, с которыми он столкнулся на Капри, знали деревню как дачники, судили о ней под углом испытанных ими бытовых неудобств и эстетических эмоций, которые вызывала в них природа деревни. Мужик, которого они более или менее знали,— это «дачевладелец», хозяин тех изб, в которых они снимали комнаты; к этому мужику они относились в лучшем случае снисходительно. А вообще мужик, в массе его, оценивал-

ся по старой народнической литературе, но умилительное их отношение к мужику было уже почти стерто тревожной мыслью Глеба Успенского, мрачными рассказами Бунина и скептицизмом таких рассказов Чехова, как «Мужики», «В овраге», «Новая дача». Всё, что говорилось о мужике, можно было свести к такой оценке его: это — ненадежная личность; в 1902 году он начал бунтовать и тотчас же встал на колени перед харьковским губернатором Оболенским; в 1905—1906 годах он разорял культурные «дворянские гнезда», жег библиотеки, отрезал хвосты живым лошадям, а — по Бунину — содрал кожу с живого быка и пустил его бегать по полям. Эта политически ненадежная личность была в то же время страшной личностью. Иван Вольнов довольно быстро разобрался в смысле неласковых суждений о мужике. Как-то ночью, за бутылкой вина, вцепившись крепкими пальцами в жесткие свои волосы, он, сердито глядя в стакан, сказал:

— Осудили деревню без всякого снисхождения. Никаких обстоятельств, смягчающих грехи его ‹мужика› не найдено. Видно, что рады избавиться от обязанности думать о нем и что можно перенести свои симпатии на рабочего. А симпатии-то плутопические.

— Платонические?

— Знакомый мой, студент-филолог, Платона — Плутоном называл и всех философов — плутонами, а философию — плутней.

Чем больше он читал и слушал о деревне, о мужике, тем более ясно звучало в его речах чувство личной боли и обиды.

— Чтобы знать деревню, надобно родиться в ней, надобно вместо материна молока жеваный хлебный мякиш из грязной тряпочки сосать, надобно в шесть лет от роду видеть, как мужик топчет ногами жену, а после того сидит в огороде над лужей, плачет, сморкается в нее и орет, на смех соседям: «Иди, так твою и эдак, бей меня, я тебя бпл, валяй ты меня!» А в небе жаворонки поют, так что и эстетике место оставлено. А то: муж да жена поставили гроб со своим трехлетним дитей на церковной паперти и сидят, ждут, когда поп церковь отопрет. Март месяц, сиверко дует, снег идет, на улице не то что

собаки — воробья нет. Денег у них — шесть гривен без семишника, а поп требует рубль. И во всем селе ни единого сукина сына, кто бы сорок две копейки дал! А не дают, потому что в копейках этих нуждаются «умники», отец ребенка — «забастовщик», мать — с кулаками не в ладах, грамотница, умная. Или: описывают имущество за недоимки, баба просит: «Позвольте в останний раз самовар согреть». Разрешили: «Грей, и мы чаю попьем». Она вынесла самовар в сени да обухом топора и порушила его, в комок смяла! Урядник командует мужу: «Дай ей трепку, курве!» Муж — дал. Он бьет, а его натравливают: «Так ее!»

Иван был способен часами рассказывать о таких «картинках быта», и слушателю казалось, что этот орловский мужик торопится рассказать о своей жизни всё ужасное и горестное для того, чтоб другим, чужим, ничего не осталось, для того, чтоб перегнать их в изображении страшной жизни деревни, перегнать и лишить их права говорить и писать о том, что он знает лучше их.

— Вам надо писать, Иван Егорович!

— Да, надо бы! Только тут встречается вопрос: как быть с правдой? Всю ее как будто стыдно писать, выходит сплошь вопль и жалоба, а — кому жаловаться? Ведь — некому! И — на донос похоже: вот, дескать, какие звери живут на земле! Ну, а если — звери, стало быть — ничего, дави их, это — не грех! Дави...

Вопрос об отношении к правде очень тревожил его и долго мешал ему взяться за работу литератора.

— С правдой я не в ладах,— говорил он, натужно усмехаясь и встряхивая тяжелой головой. И повторил:— Стыдно писать про нее, и никак не могу понять чего-то... Ненавижу я ее, как Клещ в «На дне», а иной раз любуюсь ею,— кажется, что в ужасе ее скрыта какая-то умная сила.

— Этого я у вас — не понимаю.

— Да я и сам не понимаю,— угрюмо сказал он и, помолчав, заговорил снова: — Вот — Бунин, ему — легко, не о своих пишет. Он вышивает золотом по черному, ну и — себе приятно и людям — удовольствие. И — поучительно: читают люди — думают: «Вот какие чертизвери в Орловской губернии живут! Стоит ли о

таких чертях заботиться?» — Иван Бунин был автором, который наиболее увлекал и волновал Вольнова.

— Золотое перо,— говорил он, вздыхая, и, смущаясь тем, что похвалил врага, он добавлял:

— А видно, что лаптей — не носил, сена — не косил, земли — не пахал, шапкой пахарю махал.

И — снова хвалил:

— Замечательный писатель! Вот бы эдак-то научиться! — вздыхал он и, закрыв глаза, встряхивая шапкой спутанных волос, читал на память, точно стихи: — «О, какая тоска была на этой пустынной, бесконечной дороге, в этой мертвой деревне, молча стоявшей на краю ее, в этих бледных равнинах за нею, в этих жнивьях и копнах на их просторе, в этот синий степной вечер, молчаливый, как могила!»

Особенно понравилась, но и наиболее возмутила его «Деревня» Бунина.

— В печенки въелась,— сознался он, усмехаясь.— Написал «Суходол», пропел панихиду дворянству, опомнился — «Деревню» написал. Вышло так: мы, дворяне, плохи, ну, а вы — еще хуже. Отомстил нашим за своих.

Он читал на память почти целые страницы, читал всегда вполголоса и медленно, прислушиваясь к суховатому и строгому звучанию слов бунинской речи. Прочитает и, помолчав, скажет:

— Просто как! А за́ сердце берет.

Особенно восхищался он рассказом «Захар Воробьев».

— Это — на сто лет! — говорил он.— Революцию сделаем, республика будет, а рассказ этот не выдохнется, в школах будут читать, чтоб дети знали, до чего просто при царях хорошие мужики погибали.

Лично Бунина он не любил. Он, даже и захмелев, относился к людям сдержанно, высказывая свои антипатии и симпатии очень редко, скупо, в двух-трех осторожных словах. Я не помню, чтоб он о Бунине как о человеке говорил худо или хорошо. Он просто замалчивал существование Бунина как человека и даже как будто прятался от него. Только однажды, после какой-то встречи и беседы с Буниным, сказал:

— Он, конечно, считает мужиков неизлечимыми уродами. Мы для него — Азия, на четвереньках живем.

Попробовал бы, помог мужику встать на задние ноги! А он, вместо того, о прошлом дворянства скучает.

И, взяв с полки «Суходол», он прочитал:

— «Многие из соплеменников наших, как и мы, знатны и древни родом. Имена наши поминают хроники: предки наши были стольниками, и воеводами, и „мужами именитыми", ближайшими сподвижниками, даже родичами царей. И, называйся они рыцарями, родись мы западнее, как бы твердо говорили мы о них, как долго еще держались бы! Не мог бы потомок рыцарей сказать, что за полвека почти исчезло с лица земли целое сословие, что столько нас выродилось, сошло с ума, наложило руки на себя или было убито, спилось, опустилось и просто потерялось где-то — бесцельно и бесплодно! Не мог бы он признаться, как признаюсь я, что не имеем мы ни даже малейшего точного представления о жизни не только предков наших, но и прадедов, что с каждым днем всё труднее становится нам воображать даже то, что было полвека тому назад».

— Слышите? А как раз полвека-то назад — крепостное право было. «Суходол» у него вроде юбилейного плача.

Иван так и оставил за этой книгой подзаголовок «юбилейный вопль», «юбилейная панихида».

Я был уверен, что Вольнов начнет писать «под Бунина». Он уже работал над «Повестью о днях моей жизни», просиживал над нею ночи, стал молчаливее, осунулся и ходил, глядя в землю, точно боясь споткнуться, рассыпаться. Часто спрашивал, как надобно писать о том или о другом, но советы слушал исподлобья и, чувствовалось, не верил им. Его спрашивали:

— Как идет работа?

Он отмалчивался, но как-то раз — сказал:

— Трудновато! Приходится в одно время и пни корчевать и кружева плести.

Но уже ясно было, что советам он не верит из боязни заговорить чужими словами.

Когда он принес первые главы повести, меня очень неприятно удивила его напряженная, крикливая манера читать; он кричал как будто из окна в толпу или стоя на телеге. Но оказалось, что так крикливо, коро-

тенькими, резкими фразами повесть была написана, фразы эти сливались в сплошной вопль и рычание, чтение имело характер спутанной речи, которая одновременно обвиняла и защищала. Диалоги он торопливо и невнятно бормотал, а описания — выкрикивал, даже как будто выпевал. Лицо у него налилось кровью. Кто-то из слушателей посоветовал:

— Не читайте бегом!

Эти слова очень верно определяли общее впечатление,— действительно казалось, что чтец не сидит, а именно бежит, перепрыгивая через какие-то ямы и кочки, торопясь достигнуть цели.

Видно было, что и писал он «бегом», спеша рассказать как можно больше тяжелого и страшного. Одна за другою, но бессвязно, необъясненно следовали сцены драк, избиения баб, детей, лошадей, мужик перегрызал горло живому петуху, ревнивая баба вывертывала сосок груди пьяной бобылки. Повесть каждой страницей кричала:

«Вот как страшно! Вот как! А еще — вот как! И — вот как!»

Кончив читать, Иван смял рукопись, сунул ее в карман и, отирая пот с лица, сказал:

— Ну, знаю, что плохо! Сам слышал,— ни к чёрту не годится!

Борис Тимофеев подтвердил эту самокритику:

— Да, это ты — набухал сгоряча! Всю свою губернию дегтем и кровью вымазал.

— Не стоит говорить,— согласился Иван, приглаживая волосы, рука его дрожала.

Ночью, на берегу моря, сидя в камнях, посеребренных луною, в необыкновенной, тоже как бы окаменевшей тишине, которая возможна только над равниной спокойной, тяжелой воды, Иван рассказывал:

— Я — не писал, а — спорил. Сам понимаю, что этого не надо было делать. Но хотелось показать, что я знаю страшного и подлого больше, чем знают Бунин, Чехов и всякие Родионовы *. Вот в чем ошибка. Желае-

---

* Родионов — земский начальник в Боровичах, Новгородской губернии, автор нашумевшей книги «Наше преступле-

те правды? Вот вам — правда! У меня ее больше, чем у вас, и моя — тяжелее. Вы ее издали видите, а я родился в ней, жил, буду жить.

Он очень долго и горячо говорил о том, что Тургенев, Григорович, Толстой изображали крепостных мужиков мягко, осторожно.

— Когда я читал их, так — оглядывался: разве это наши крестьяне — орловские, тульские, калужские? Места — наши, а мужик — не наш! У нас таких тихоньких — нет, я таких — не знаю, не видел. Я знаю страшного мужика, он живет в грязи, в тоске, он — дикий и несчастный. Значит — что же? При крепостном праве — мужик лучше, благообразнее был?

Покуривая тоненькие итальянские папироски одну за другою, бросая окурки на застывшую воду, он говорил о «Подлиповцах» Решетникова:

— Они — где-то у чёрта на куличках, от моей совести — далеко! А вот от моей деревни до Москвы триста верст. В Москве — университет, консерватория, Третьяковская галерея, Художественный театр и чёрт ее знает что еще! А у меня в деревне — домовые, ведьмы, коновал лошадей портит, роженицу сквозь хомут пропихивают... понимаете?

После этой ночи он стал несколько доверчивее, откровенней, снова принялся работать над повестью и начал больше читать. Прочитал «Мужиков» Бальзака, «Землю» Золя, романы Ренэ Базена, Эстонье — французы успокоили его:

— Пишут деловитее нашпх,— сказал он.

Он легко находил общее между иностранной и русской литературой; прочитав «Последнего барона» Лемонье, он заметил:

— Это — тоже «Суходол».

Почти никогда не говорил о политике, о партийных программах, революционная литература не интересовала его.

— После прочитаю,— говорил он и всё более углублялся в работу писателя.

---

ние». В этой книге он изобразил крестьян и рабочих-керамистов очень мрачными красками.

Эсеровская закваска его напоминала о себе не часто, но очень определенно. Как-то завязался разговор на тему о необходимости «выварить мужика в фабричном котле», он нахмурился и проворчал:

— Котлов-то нет. Да и строить их никому неохота, кроме иноземцев, а они — гости, которые легко становятся хозяевами...

В другой раз захмелевшая компания, вспомнив об Азефе, начала подтрунивать над партией, боевую славу которой создал провокатор. Вольнов, послушав насмешки минуту-две, сердито заявил:

— Глупо говорите. Азеф — мерзавец, но он предавал людей, а вот люди, которые предали и предают революцию, то есть, значит — весь народ, они — гораздо хуже Азефа!

И сквозь зубы произнес странные слова:

— Бывало, что и отцы детей жандармам выдавали. Думаете — не было этого? Было...

Как-то незаметно для всех он женился на одной из эмигранток, от нее у него — сын, Илья; теперь это очень серьезный юноша, отличных способностей. Жил Иван на берегу моря в обломке старинной сторожевой башни, стена ее опускалась прямо в море, и во время прибоя волны бухали по стене с такой силой, что всё дрожало в маленькой квадратной комнате с каменным полом.

В Россию Вольнов вернулся в 1917 году, весной. Его возвращение домой, в деревню, хорошо изображено им в повести, которую он писал в 1928 году, живя в Сорренто. Не знаю, кончил ли он эту повесть; судя по началу, она могла быть лучшим из всего, что ему удалось написать. Я встретился с ним в Москве в 1920 году, он приехал из Орла, где сидел в тюрьме. Безобидно и шутливо он рассказал, что местная власть не терпит его, сажала в тюрьму уже три раза и очень хотела бы расстрелять.

— Они меня арестуют, а мужики тихим манером — телеграмму Ильичу: выручай! Ильич выручит, а начальство еще злее сердится на меня. Начальство по всему уезду — знакомое; кое-кто в пятом году эсерствовал,

потом оказался мироедом, вышел на отруба, землишки зацапал десятин полсотни. Один начальник — сиделец винной лавки, другой был прасолом, в одной волости командует учитель, которого я знал псаломщиком, черносотенцем, наши ребята в шестом году хотели башку сломать ему. Вообще там все, кто похитрее, перекрасились, а мужик остался при своих тараканах. В Малоархангельске среди чекистов оказался ученичок мой, солдат, сын мельника, так он мне прямо заявил: «Иван Егоров, не шуми! Враг разбит, революция кончена, теперь надобно порядок восстановлять!» — «Как же, говорю, враг разбит, если ты командуешь? Как же революция кончена, если везде торчит ваша черная братия?»

Посмеиваясь и как будто не сожалея, он сказал:

— Все рукописи, записки мои — арестовали и не отдают, должно быть, сожгли, черти!

Настроен он был хорошо: очень бодро, активно; трезво разбирался в событиях.

— Теперь — главное дело мужика на ноги ставить! Я там, у себя, организовал артель по совместной обработке земли, общественные огороды и еще кое-что... Бедные мужики значение совместного труда отлично понимают.

Он похвалил мужиков еще за что-то и тотчас же, как бы выполняя некую обязанность, обругал их за пьянство, за жадность.

— Привыкли в своих избах гнить, как покойники в могилах.

Был он с делегацией мужиков своего края у М. И. Калинина, был у Ленина. О Калинине кратко сказал:

— Староста — хорош! Мужикам очень понравился.

А на вопрос: какое впечатление вызвал Ленин, он ответил:

— От всякого интеллигента барином пахнет, а от него — нет!

О времени между 1917 и 1920 годами мне он ничего не рассказал, а на расспросы хмуро ответил:

— Зря болтался в разных местах.

После я узнал, что в 1918 году он дважды ездил в Сибирь за хлебом для Москвы, во вторую поездку

очутился в Кунгуре среди анархистов, а затем — в Самаре, когда она была занята эсеровской «народной армией». Должно быть, именно в Самаре он близко наблюдал тех «вождей» партии эсеров, которые изображены им в повести «Встреча». Наша критика не обратила должного внимания на эту искреннюю и очень жуткую повесть, а она — один из наиболее ярких документов гражданской войны. Мне кажется, что здесь вполне уместно будет напомнить для характеристики Ивана Вольнова его предисловие к этой повести:

«Вам, мои единомышленники, далекие, неведомые братья мои, и вам, с кем об руку боролся я, посвящаю я эту повесть, которую официальные архиереи от эсерства назовут бесстыдной и гадкой.

Вам, кто в течение девяти ярчайших в русской истории лет не находит себе пристанища в стране своей, кто всем сердцем и всеми помыслами предан революции, но влачит жизнь жалкого обывателя<...>

Надо опомниться и осознать ошибки.

Я не зову вас перекрашиваться,— это самое бесчестное и постыдное, что только можно сделать, ибо *мы не сумеем искренно перекраситься: мы из другого теста*,— я только призываю вас к мужеству осознания ошибок.

Всех перекрасившихся я мыслю нечестными и слабыми: в дни гонений на партию они испугались ответственности за ошибки и преступления ее и, играючи, перелетели в чужой лагерь. Так же легко и безболезненно они продадут и новых хозяев своих, если к тому представится случай. Такова психология трусов, стяжателей и честолюбцев.

Некоторые из фигур моей повести как бы утрированы. Да, мне хотелось ярче оттенить их слабость, никчемность или ничтожество. Я как бы сгустил краски. Но в жизни они были еще слабей и противнее.

Я хочу, чтобы вы, читая эту повесть, хоть в малой мере были искренни с собой и почувствовали, что мы почти слепы, что наши маленькие ущемленные самолюбьица патерли бельма на наших глазах, что Россия не отталкивала нас от себя, а *наши самолюбьица превратили нас во внутренних и внешних изгоев*».

В этих строчках особенно глубокое значение имеют слова: «Мы не сумеем искренно перекраситься, мы — из другого теста».

В 1928 году, зимою, в Сорренто, я спросил Вольнова:

— Настроение героя «Встречи», бывшего учителя Ивана Недоуздкова,— это ваше настроение тех дней?

Он ответил, не задумываясь:

— Я считаю это настроение типичным для многих молодых эсеров в то время. В Самаре, а особенно после отступления из нее, очень многие партийцы, рабочие и крестьяне поняли, в какую трущобу крови и грязи завел их Центральный комитет партии. Были самоубийства, дезертирство, переходы к большевикам. В Недоуздкове есть кое-что мое — презрение и ненависть к вождям. Мое же настроение более определенно выражено в словах Недоуздкова Португалову и потом в сознании Португалова, когда он говорит: «Мы проиграли». Эти слова говорил я, когда приехал в Самару, увидал вождей и познакомился с настроением «народной» армии. Развелось в ней много бандитов. Большинство, конечно, обманутые мужики, они уже чувствовали, что обмануты, что вожди партии снюхались с царским офицерьем, а офицерье ведет крестьянство на расстрел, на гибель в своих хозяйских интересах. Страшные разыгрывались сцены...

Он рассказывал это сквозь зубы, глядя в пол, шаркая подошвой по кафелям пола.

— Слова Недоуздкова о непробудном пьянстве Наполеончика с партийными проститутками — это о Викторе Чернове. Я сам ездил за город приглашать его на одно из важных партийных заседаний, он — отказался, был пьян, окружен девками. Меня это так ошарашило, что я теперь не понимаю, как не догадался избить или застрелить его...

За всё время моего знакомства с Иваном это был единственный раз, когда его «прорвало». С глубоким отвращением и остро наточенной ненавистью он рассказывал о Чернове и других людях, которым он верил, кого считал искренними революционерами, и было ясно, что поведение партийных вождей в гражданской войне было ударом, который разрушил все верования Воль-

нова. «Герои» оказались морально ниже любого из «толпы» — вот к чему сводилась его угрюмая и презрительная речь и вот что было, видимо, наиболее тяжелым моментом драмы, которую пережил Иван Вольнов, человек искренний и простодушный.

Сцена «Встречи», на которую он ссылался, в главном ее смысле такова: Недоуздков говорит:

— Всё у меня оборвалось в душе, Португалов! Всё.

Недоуздков болезненно рассмеялся, хватаясь за голову.

— Ах вы, петрушки, социал-спасители!.. А эти самарские трюки Наполеончика,— какой ужас, какая гадость!.. Это непробудное пьянство, эти шатанья с партийными...* по кафе и вертепам!.. А за Волгой лилась кровь... Охрипшими с перепоя голосами вы убеждали молодежь идти спасать Россию. И молодежь верила и умирала. Ах, проклятые, проклятые, подлые обманщики!..

— Ах, бросьте свое донкихотство! — сквозь стиснутые зубы проговорил Португалов. — Есть другой выход... — Он был бледен, хрустел пальцами. — Ставка на демократию кончена. Мы проиграли. Но мы должны быть с народом. Не с царской сволочью, а с мужиками и рабочими. Мы должны предупредить Каппеля. Мы арестуем главнокомандующего и Сольского с его тупоголовыми министрами, открываем фронт и, вместе с большевиками, бьем по Каппелю. Других путей нет. Или — или. Или служба черному Дидерихсу, или переход к красным, с которыми народ...

Живя в Сорренто в 1928 году, Иван писал повесть, читал начало ее, и мне казалось, что эта повесть будет наиболее зрелым произведением его. Начиналась она сценой возвращения эмигранта-революционера в деревню, его встречей на станции со своим отцом и торжественной встречей, которую устроила эмигранту деревня. В этом торжестве, смешном и трогательном, отец

---

* В тексте повести очень резкое и едва ли справедливое слово.

эмигранта не принимает участия, он, в стороне, спрятался под телегу и горько плачет. Из дальнейшего оказалось, что в 1906 году отец, желая спасти сына, выдал его товарищей полиции, а сын, узнав об этом, стрелял в отца и ранил его. Мне вспомнились слова Вольнова, сказанные им давно на Капри по поводу Азефа: «Бывало, что отцы выдавали детей жандармам». Повесть имела характер явно автобиографический, и я спросил Ивана: не его ли это отец? Он задумался, глядя на страницу рукописи, потом, встряхнув головою, хотел что-то сказать и — не сказал ни слова. А дня через два спросил неожиданно:

— Может быть, лучше — выкинуть отца-то?

Я посоветовал ему не делать этого.

— На мелодраму похоже,— пробормотал он, но тотчас же добавил: — Впрочем, мелодрама — тоже правда. Если — плохо, так уж — всегда правда.

И, не торопясь, взвешивая слова, рассказал:

— В 1906 году было такое — сына должны были арестовать за участие в террористическом акте: убил шпиона и ранил стражника, и сам был ранен; отец террориста, лесник, тоже участвовал в этом акте, но никак не мог помириться с тем, что сына повесят, и сам застрелил его, а потом покаялся попу, тоже эсеру, но поп — выдал его. И отца повесили в орловской тюрьме.

Рассказав, он помолчал и тихонько добавил:

— Об эдаких делах хорошо бы забыть.

В другой раз он сердито пожаловался:

— Тяжело писать! Чёрт ее дери, эту правду прошлого! Из-за нее ничего не видно...

Как раньше, он всё еще поругивал деревню, мужиков, было уже ясно, что он делает это по привычке и по желанию быть объективным. Но уже и в словах и в глазах его сияла твердая вера, что бедняцкое крестьянство встанет на ноги. Он говорил:

— Годка через два-три увидите, как покажет себя мужик в колхозах! Замечательно покажет! Он умный, он свои выгоды четко понимает.

В нем, несмотря на его обычную сумрачность и перегруженность знанием страшного, сохранилась душевная мягкость, даже нежность, воспитанная, должно быть,

грустной природой русской равнины. Он стыдился этих чувств, всячески гасил их, неумело пытался скрывать под личиной грубости и — не мог скрыть. Как раньше, на Капри, так и теперь, спустя почти двадцать лет, он снова на юге Италии восхищался красотой природы, ее неутомимым плодородием и негодовал:

— Одним — апельсины, виноград, оливы, а другим — еловые шишки...

Жил он напротив дома, где я живу, ежедневно бывал у меня, но иногда, вдруг, не являлся двое, трое суток, это значило, что он — пьет. Это уже был «запой». Я слышал, что вино и убило его там, в деревне.

Жалко. Он был еще молод, очень талантлив и мог бы написать весьма ценные, яркие книги. Он не мог освободить себя из плена проклятой «правды прошлого», и эта правда долго мешала ему видеть, как мощно и продуктивно работает энергия людей, которые вырвались из-под гнета старой, убийственной правды.

Он всё искал, «кому жаловаться» на страшную жизнь мужика, и не мог понять, что существует и уже правильно действует единственно непобедимая сила, способная освободить крестьянство из-под тяжкой «власти земли», из рабства природы.

Он долго не верил, что сила эта — разум и воля рабочего класса и что на этот класс историей возложена обязанность вырвать всю массу крестьянства из цепких звериных лап частной собственности, уродующей жизнь всех людей. Не верил, что силища рабочего класса несет крестьянству действительное — и навеки! — освобождение от каторжной жизни.

Но жизнь, суровый наш учитель, все-таки заставила его поверить в то, что очевидно, неоспоримо, и он, талантливый писатель, горячо взялся за трудную работу организации деревни на началах коллективизма.

Как всякий честный человек, он нажил себе не мало врагов, но неизмеримо больше друзей. Хоронить его собралось несколько тысяч крестьян-колхозников, и он был похоронен как настоящий революционер, с красными знаменами, пением грозного гимна, в котором всё более мощно, всё более уверенно звучат слова:

«Мы — свой, мы новый мир построим!»

# КАМО

В ноябре — декабре 905 года, на квартире моей, в доме на углу Моховой и Воздвиженки, где теперь помещается ВЦИК, жила боевая дружина грузин, двенадцать человек. Организованная Л. Б. Красиным и подчиненная группе товарищей-большевиков — Комитету, который пытался руководить революционной борьбою рабочих Москвы,— дружина эта несла службу связи между районами и охраняла мою квартиру в часы собраний. Несколько раз ей приходилось выступать активно против «черных сотен», и однажды, накануне похорон Н. Э. Баумана, когда тысячная толпа черносотенцев намеревалась разгромить Техническое училище, где стоял гроб Николая Эрнестовича, убитого мерзавцем Михальчуком *, хорошо вооруженная, но маленькая дружина грузинской молодежи рассеяла эту толпу.

К почи, утомленные трудами и опасностями дня, дружинники собирались домой и, лежа на полу комнаты, рассказывали друг другу о пережитом за истекший день. Всё это были юноши в возрасте 18—22 лет, а командовал ими товарищ Арабидзе, человек лет под тридцать, энергичный, строго требовательный и героически настроенный революционер; если не ошибаюсь, это он застрелил в 908 году генерала Азанчеева-Азанчевского, начальника одного из карательных отрядов в Грузии.

Арабидзе был первый человек, от кого я услышал имя Камо и рассказы о деятельности этого исключительно смелого работника в области революционной техники. Рассказы были настолько удивительны и легендарны,

* Михальчук – дворник одного из домов Немецкой, ныне Бауманской улицы. За убийство Баумана был оправдан. В 906 году судился за кражу домашних вещей и – обвинен.

что даже в те героические дни с трудом верилось, чтоб человек был способен совмещать в себе так много почти сказочной смелости с неизмепной удачей в работе и необыкновенную находчивость с детской простотой души. Мне тогда подумалось, что, если написать о Камо всё, что я слышал,— никто не поверит в реальное существование такого человека, и читатель примет образ Камо как выдумку беллетриста. И почти всё, что рассказывал Арабидзе, я объяснял себе революционным романтизмом рассказчика.

Но, как нередко случается, оказалось, что действительность превышает «выдумку» своей сложностью и яркостью.

Вскоре рассказы о Камо подтвердил мне Н. Н. Флеров, человек, которого я знал еще в 92 году в Тифлисе, где он работал корректором в газете «Кавказ». Тогда он был «народником», только что вернулся из сибирской ссылки, очень устал там, но познакомился с Марксом и весьма красноречиво убеждал меня и товарища моего Афанасьева в том, что:

«На нас работает история».

Как многим уставшим, эволюция нравилась ему больше революции.

Но в 905 году он явился в Москву другим человеком.

— У нас, батенька, начинается социальная революция, понимаете? Начинается и будет, потому что началась снизу, из почвы,— говорил он, сухо покашливая, осторожным голосом человека, легкие которого сжигает туберкулез. Мне было приятно видеть, что он утратил близорукость узкого рационалиста, радостно слышать горячие слова.

— Какие удивительные революционеры выходят из рабочей среды! Вот послушайте!

Он начал рассказывать об одном удивительном, а я, послушав, спросил:

— Его зовут Камо?

— Вы знаете? Ага, только по рассказам...

Он крепко потер свой высокий лоб и седые редкие кудри на лысоватом черепе, подумал и сказал, напомнив мне скептика и рационалиста, каким был он за 13 лет до этой встречи:

— Когда о человеке говорят много — значит, это редкий человек и, может быть, та «одна ласточка», которая «не делает весны».

Но, отдав этой оговоркой дань прошлому, он подтвердил мне рассказы Арабидзе и, в свою очередь, рассказал:

В Баку, на вокзале, куда Флеров пришел встречать знакомую, его сильно толкнул рабочий и сказал вполголоса:

— Пожалуйста, ругай меня!

Флеров понял, что надобно ругать, а пока он ругал,— рабочий, виновато сняв шапку, бормотал ему:

— Ты — Флеров, я тебя знаю. За мной следят. Приедет человек с повязанной щекой, в клетчатом пальто, скажи ему: «Квартира провалилась, засада». Возьми его себе. Понял?

Затем рабочий, надев шапку, сам дерзко крикнул:

— Довольно кричать! Что ты? Я тебе ребро сломал?

Флеров засмеялся:

— Ловко сыграл? После я долго соображал: почему он не возбудил у меня никаких подозрений и я так легко подчинился ему? Вероятно, меня поразило приказывающее выражение его лица; провокатор, шпион попросил бы, а не догадался приказать. Потом я встречал его еще раза два-три, а однажды он ночевал у меня, и мы долго беседовали. Теоретически он человек не очень вооруженный, знает это и очень стыдится, но читать, заняться самообразованием у него нет времени. Да это как будто и не очень нужно ему, он революционер по всем его эмоциям, революционер непоколебимый, навсегда, революционная работа для него физиологически необходима, как воздух и хлеб.

Года через два, на острове Капри, снова поставил предо мною фигуру Камо — Леонид Красин. Мы вспоминали товарищей, и он, усмехаясь, спросил:

— А помните, в Москве вас удивило, что я на улице подмигнул щеголеватому офицеру-кавказцу? Вы, удивясь, спросили: кто это? Я назвал вам: князь Дадешкелиани, знакомый по Тифлису. Помните? Мне показалось, вы не поверили в мое знакомство с таким петухом и как будто даже заподозрили меня в озорстве. А это

был Камо. Отлично он играл роль князя. Теперь он арестован в Берлине и сидит в таких условиях, что, наверное, его песня спета. Сошел с ума. Между нами — не совсем сошел, но это его едва ли спасет. Русское посольство требует его выдачи как уголовного. Если жандармам известна хотя бы половина всего, что он сделал,— повесят Камо.

Когда я рассказал всё, что слышал о Камо, и спросил Красина — сколько тут правды, он, подумав, ответил:

— Возможно, что всё правда. Я тоже слышал все эти рассказы о его необыкновенной находчивости и дерзости. Конечно, рабочие, желая иметь своего героя, может быть, несколько прикрашивают подвиги Камо, создают революционную легенду, понимая ее классовое воспитательное значение. Но все-таки он парень на редкость своеобразный. Иногда кажется, что он избалован удачами и немножко озорничает, балаганит. Но это у него как будто не от легкомыслия молодости, не из хвастовства и не от романтизма, а из какого-то другого источника. Озорничает он очень серьезно, но в то же время как бы сквозь сон, не считаясь с действительностью. Был такой случай: незадолго до ареста, в Берлине, он шел по улице с товарищем, русской девицей, она указала ему в окне бюргерского домика на подоконнике котенка и говорит: «Смотрите, какой хороший!» Камо подпрыгнул, схватил котенка и подал спутнице: «Возьми, пожалуйста!»

Девица должна была доказывать немцам, что котенок сам спрыгнул из окна. Это не единственный анекдот такого рода, и я объясняю их тем, что у Камо совершенно отсутствовал инстинкт собственности. «Возьми, пожалуйста»,— это он говорил часто и тогда, когда дело касалось его собственной рубахи, его сапог, вообще вещей, лично необходимых ему.

— Добрый человек? Нет. Но — отличный товарищ. Мое, твое — он не различал. «Наша группа», «наша партия», «наше дело»...

— Другой раз, тоже в Берлине, на очень оживленной улице, какой-то лавочник вышвырнул из двери мальчишку,— Камо рванулся в лавку, испуганный спут-

ник едва удержал его, а он вырывается и кричит: «Пусти, пожалуйста, ему надо морду бить!» Возможно, что это он репетировал свою роль безумного, но — это мне теперь кажется. А в то время пускать его на улицу без провожатого было невозможно: он, казалось, только затем и выходил, чтоб впутаться в какой-нибудь скандал.

— Верно, он сам рассказал мне, что во время одной экспроприации, где он должен был бросить бомбу, ему показалось, что за ним наблюдают двое сыщиков. До момента действия оставалась какая-то минута. Он подошел к сыщикам и сказал: «Убирайтесь прочь — стрелять буду!»

— «Ну, что же, ушли они?» — спросил я.

— «Конечно, убежали».

— «А почему ты сказал им это?»

— «Что такое — почему? Надо было сказать — сказал».

— «А все-таки почему? Жалко стало?»

— Он —рассердился, покраснел.

— «Ничего не жалко! Может быть, просто бедные люди. Какое им дело? Зачем тут гуляют? Я не один бросал бомбы; ранить, убить их могли».

— Его поведение в этом случае дополняется и, может быть, объясняется другим: где-то в Дидубе он выследил шпиона, схватил его, прижал к стене и начал убеждать: «Ты — бедный человек? Зачем служишь против бедных людей? Тебе товарищи богатые, да? Почему ты подлец? Хочешь — убью?»

— «Шпион» не пожелал, чтоб его убили, он оказался русским рабочим из батумской группы, приехал за литературой, но потерял адрес квартиры товарища, в которой раньше останавливался, и искал ее по памяти. Видите, какой оригинальный парень Камо?

Самый изумительный из его подвигов — гениальная симуляция душевнобольного, симуляция, которая ввела в заблуждение премудрых берлинских психиатров. Но искусная симуляция не помогла Камо, правительство Вильгельма II все-таки выдало его жандармам царя, и, закованный в кандалы, отвезенный в Тифлис, он был помещен в психиатрическое отделение Михайловской

больницы. Если я не ошибаюсь, он симулировал безумие на протяжении трех лет. Его бегство из больницы в Тифлисе тоже — фантастический фокус.

Лично с Камо я познакомился в 20 году, в Москве, в квартире Фортунато, бывшей моей квартире на углу Воздвиженки и Моховой.

Крепкий, сильный человек, с типичным лицом кавказца, с хорошим, очень внимательным и строгим взглядом мягких темных глаз, он был одет в форму бойца Красной Армии.

По его осторожным и неуверенным движениям чувствовалось, что непривычная обстановка несколько смущает Камо. Сразу стало понятно, что расспросы о революционной работе надоели ему и что его целиком поглощает другое. Он готовился поступить в военную академию.

— Трудно понимать науку,— огорченно говорил он, шлепая, поглаживая ладонью какой-то учебник, точно ласкал сердитую собаку.— Рисунков мало. Надо делать в книгах больше картинок, чтобы сразу видно было, что такое дислокация. Вы знаете, что это такое?

Я — не знал, а Камо смущенно улыбнулся, сказав:

— Вот видите...

Улыбка была беспомощная и какая-то детская. Эта беспомощность была хорошо знакома мне, я в юности тоже часто испытывал ее, постигая словесную мудрость книг. Понятно было мне и то, как, должно быть, трудно одолевать сопротивление книги смелому практику, для которого служба революции прежде всего — дело, творчество новых фактов.

Это при первой же встрече с Камо вызвало у меня горячую симпатию к нему, а чем дальше, тем более он поражал меня глубиной, цельностью и ясностью его революционного чувства.

Совершенно невозможно было соединить всё, что я знал о легендарной дерзости Камо, о его сверхчеловеческой воле, изумительном самообладании, с человеком, который сидел предо мной за столом, нагруженным учебниками.

Невероятно, что, пережив такое длительное напряжение сил, он остался таким простым, милым товарищем и сохранил душевную молодость, свежесть, силу.

Он еще не изжил в себе юношу и юношески романтично был влюблен в хорошую женщину, хотя и не блиставшую красотой, да, кажется, и старше его.

О своем романе он говорил с тем лиризмом страсти, который доступен только очень здоровым, сильным и очень целомудренным юношам:

— Она — замечательная! Доктор, понимаешь, и всё знает, все науки. Она приходит с работы и говорит мне: «Что такое? Не можешь понять? Так это — очень просто!» И — верно! Очень просто. Ах, какой человек!

И, рассказывая о романе своем словами иногда смешными, он делал неожиданные паузы, трепал руками густые, курчавые волосы на голове и смотрел на меня, молча спрашивая о чем-то.

— Ну, и что же? — поощрял я его.

— Вот видишь как...— неопределенно сказал он, и нужно было долго допрашивать его, чтоб услышать наивнейший вопрос:

— А может быть, не надо жениться?

— Почему?

— Знаешь — революция, учиться надо, работать надо, враги кругом,— драться надо!

И по нахмуренным бровям, по суровому блеску глаз ясно было, что его очень сильно мучает вопрос: а не будет ли женитьба изменой делу революции? Было странно, и немножко комично, и как-то особенно трогательно, что юношеская свежесть и сила его чувства мужчины не совпадает с его могучей энергией революционера.

С такой страстью, как о своей любви к женщине, он говорил о необходимости поехать за границу, работать там.

— Просил Ильича: «Отпусти, я буду за границей полезный человек!» — «Нет, сказал, учись!» Ну, что ж? Он — знает. Такой человек! Смеется, как ребенок, ты слышал, как смеется Ильич?

Улыбнулся ясно и снова потемпел, жалуясь на трудности постижения военной науки.

Когда я расспрашивал его о прошлом, он неохотно подтверждал все необыкновенные рассказы о нем, но — хмурился и мало добавлял нового, незнакомого мне.

— Глупостей тоже много делал,— сказал он однажды.— Напоил одного полицейского вином, смолой башку ему намазал, бороду намазал. Знакомый был. Спрашивает меня: «Ты вчера чего в корзине носил?» — «Яйца».— «А какие бумаги под ними?» — «Никаких бумаг!» «Врешь, говорит, я видел бумаги!» — «А что ж не обыскал?» — «Я, говорит, из бани шел». Вот какой глупый. Рассердился я — зачем заставляет меня врать? Повел его в духан, напился он там пьяный, намазал ему. Молодой я был, озорничал еще,— закончил он и сморщил лицо, точно отведав кислого.

Я стал уговаривать его писать воспоминания, убеждал, что они были бы крайне полезны для молодежи, не знакомой с технической работой,— он долго не соглашался, отрицательно встряхивал курчавой головой.

— Не могу. Не умею. Какой я писатель, некультурный человек?

Но согласился, когда признал, что воспоминания его тоже — служба революции. И, вероятно, как всегда в жизни своей, приняв решение, он тотчас же взялся за дело.

Писал он не очень грамотно, суховато и явно стараясь говорить больше о товарищах, меньше — о себе. Когда я указал ему на это — он рассердился:

— Что мне — молиться на себя нужно? Я — не поп.

— Разве попы на себя молятся?

— Ну — кто еще? Барышни молятся?

Но после этого стал писать более ярко и менее сдержанно о себе.

Был он своеобразно красив особенной, не сразу заметной красотой.

Сидит предо мной сильный, ловкий человек в костюме бойца Красной Армии, а я вижу его рабочим, разносчиком куриных яиц, фаэтонщиком, щеголем, князем Дадешкелиани, безумным человеком в кандалах,— безумным, который заставил ученых мудрецов поверить в правду его безумия.

Не помню, по какому поводу я упомянул, что у меня на Капри жил некто Триадзе, человек о трех пальцах на левой руке.

— Знаю его — меньшевик! — сказал Камо и, пожав плечами, презрительно сморщив лицо, продолжал: — Меньшевиков не понимаю. Что такое? На Кавказе живут, там природа такая... горы лезут в небо, реки бегут в море, князья везде сидят, всё — богато, люди — бедные! Почему меньшевики такие слабые люди, почему революции не хотят?

Он говорил долго, речь его звучала всё более горячо, но какая-то его мысль не находила слов. Он кончил тем, что, глубоко вздохнув, сказал:

— Много врагов у рабочего народа! Самый опасный — который нашим языком неправду умеет говорить.

Само собою разумеется, что больше всего хотелось мне понять — как этот человек, такой «простодушный», нашел в себе силу и умение убедить психиатров в своем будто бы безумии?

Но ему, видимо, не нравились расспросы об этом. Он пожимал плечами, неохотно, неопределенно:

— Ну, как это сказать? Надо было! Спасал себя, считал полезным революции.

И только когда я сказал, что он в своих воспоминаниях должен будет писать об этом тяжелом периоде своей жизни, что это надобно хорошо обдумать и, может быть, я оказался бы полезен ему в этом случае,— он задумался, даже закрыл глаза и, крепко сжав пальцы рук в один кулак, медленно заговорил:

— Что скажу? Они меня щупают, по ногам бьют, щекотят, ну, всё такое... Разве можно душу руками нащупать? Один заставил в зеркало смотреть, ну — смотрю: в зеркале не моя рожа, кто-то худой, волосами оброс, глаза дикие, голова лохматая — пекрасивый! Страшный даже. Зубы оскалил. Сам подумал: «Может — это я действительно сошел с ума?» Очень страшная минута! Догадался — плюнул в зеркало. Они оба переглянулись, как жулики — знаешь? Я думаю: это им понравилось — человек даже сам себя забыл!

Помолчав, он продолжал тише:

— Очень много думал: выдержу или действительно сойду с ума? Вот это было нехорошо. Сам себе не верил, понимаешь? Как над обрывом висел, а за что держусь — не понимаю. Не вижу.

И, еще помолчав, он широко усмехнулся, говоря:

— Они, конечно, свое дело знают, науку свою. А кавказцев не знают. Может, для них всякий кавказец — сумасшедший? А тут еще — большевик. Это я тоже подумал тогда. Ну, как же? Давайте продолжать: кто кого скорее с ума сведет? Ничего не вышло: они остались при своем, я — тоже при своем. В Тифлисе меня уже не так пытали. Видно, думали, что немцы не могут ошибиться.

Из всего, что он рассказывал мне, это был самый длинный рассказ. И, кажется, самый неприятный для него. Через несколько минут он неожиданно вернулся к этой теме, толкнул меня тихонько плечом,— мы сидели рядом,— и сказал вполголоса, но жестко:

— Есть такое русское слово — ярость, знаешь? Я не понимал, что это значит — ярость? А вот тогда, перед докторами, я был в ярости,— так думаю теперь. Ярость — очень хорошее слово! Страшно нравится мне. Разъярился, ярость! Верно, что был такой русский бог — Ярило?

И услышав: да, был такой бог — олицетворение творческих сил,— он засмеялся.

Для меня Камо — один из тех революционеров, для которых будущее — реальнее настоящего. Это вовсе не значит, что они мечтатели, нет, это значит, что сила их эмоциональной классовой революционности так гармонично и крепко организована, что питает разум, служит почвой для его роста, идет как бы впереди его.

Вне революционной работы вся действительность, в которой живет их класс, кажется им чем-то подобным дурному сновидению, кошмару, а реальная действительность, в которой они живут, это — социалистическое будущее.

# ОБ ИЗБЫТКЕ И НЕДОСТАТКАХ

Мы шагали проселочной дорогой среди полей, раздетых осенью, нищенски разрезанных на мелкие кусочки; озорничал неприятный ветерок, толкая нас в затылки и спины, хлопотливо собирал серые облака, лепил из них сизоватую тучу; по рыжей щетине унылой земли метались тени, шевеля оголенные кусты, как будто желая спрятаться в них. Когда мы были в полуверсте от небольшой деревни, туча вдруг рассыпалась мелким, но густым и холодным дождем.

— Бежим! — скомандовал мой спутник Григорий Иванович, длинный, тощий человек, с костлявым лицом угодника божьего; на его лице серой кожи, в морщинах глубоких глазниц и под кустиками седых бровей прятались маленькие, очень сердитые и докрасна воспаленные глаза. Он себя называл рядовым железнодорожного батальона, но гораздо больше был похож на дьячка, в общем же — «человек бывалый», битый, мятый, сильно огорченный жизнью и приученный сердиться на все случаи. До деревни бежали мы во всю силу, но достигли ее, конечно, мокрыми, точно утопленники. Попросились обсушиться в одну избу, которая посолиднее, в две, в пяток, но никуда не пустили на очень простом основании:

— Много вас, таких, шляется!

— Чтоб вам издохнуть,— пожелал домохозяевам Григорий Иванович.

А дождь буйствовал всё сильнее, мы прислонились под воротами большой избы с двором, покрытым тесом, стоим, мокнем, и вдруг из дождя явился невысокий, коренастый мужичок, такой же сплошь облизанный дождем, как и мы.

— Вы чего тут жметесь — весны ждете? — спросил он веселым голосом. Мне стало интересно, а вместе с

тем и досадно, что в такую погоду человек шутит. В ответ на угрюмые слова солдата: «Никуда не пускают!» — он предложил:

— Айда ко мне!

Говорил он крикливо, как глухой, и весело, точно пьяный. Веселость эта противоречила не только погоде, но и одежде мужика: на нем отрепанный кафтан, одною полой его он прикрывал голову, под кафтаном — ситцевая рубаха неуловимого цвета, из-под рубахи опускаются портки синей пестряди, ступни ног — босые; мне показалось, что дождь вымочил его еще более безжалостно, чем нас. Солдат спросил:

— А ты, хозяин, чего же гуляешь?

— В село ходил, к знахарке, недалеко, версты четыре,— охотно ответил он.— Девчоночка у меня чего-то занедужила. «Хозяин!» — усмешливо воскликнул он, сбросив полу кафтана с головы и обнаружив рыжеватые клочья, должно быть, очень жестких волос,— даже дождь не мог причесать их.— Какой же я хозяин, драть те с хвоста? Хозяева в сапогах ходят.

Широкоплечий, длиннорукий, он, видимо, был силач, шагал по цепкой грязи легко, быстро и всё спрашивал: кто мы, откуда, куда?

— Вот к тебе идем,— ответил солдат сразу на десяток вопросов.

— Пожалуйте, милости прошу, я — гостям рад,— сказал веселый мужичок тоном человека, которому есть где принять, есть чем покормить гостей, и этот его тон заставил солдата насмешливо спросить:

— Выпил маленько?

— Непьющий. Не оттого, что тятя-мама запретили, а — душа не принимат. Даже запахом водочки недоволен я...

— Веселый ты,— угрюмо заметил солдат.

— Слезой горя не смоешь. Лезьте через плетень, ближе будет.

Перелезли через плетень, вышли огородом на берег речки, в сажень шириною, соскользнули по взмыленной дождем глине к избенке в два окна, без двора, с будочкой отхожего места среди зарослей картофельной ботвы. В пазах избы наляпана глина, солома на крыше взъеро-

шена ветрами, прикрыта хворостом, хребет крыши пригнулся, как бы под тяжестью кирпичной трубы.

«Особнячок не из пышных,— подумал я.— Внутри, должно быть, тесно и грязно».

Переступив порог двери, мы очутились в маленьких сенях, и сразу стало понятно, что это — предбанник. На лавке у окна сидела старуха в холщовой рубахе, широко расставив голые ноги, цвета сосновой коры; она расчесывала редким деревянным гребнем космы седых волос; при входе нашем взмахнула головой, точно испуганная лошадь, руки ее упали на колени, и она плачевно, испуганно заныла:

— Господи, царица небесная, что уж это? Опять ты, Егорша, привел кого-то...

Шлепнув на пол мокрый кафтан, Егорша хозяйственно и ласково заговорил:

— Не страдай, мамаша, не беспокой себя, прихорашивайся знай,— женихи появились! Ну, прохожие, вы сбросьте лишнее здесь, а то — намочите в избе...

— Ну куда ты их денешь? — ныла старуха.

— Найдем место. Входите, гости. Старухи — они только ворчать способные...

— Эх, паяц! — вздохнув и безнадежно качая головой, сказала старуха, а я попросил у Егорши разрешения повесить мокрую одежонку нашу на чердаке.

— Валяй! — одобрил хозяин.

Влезли мы на чердак, там дождь сечет крышу, ветер шелестит соломой и хворостом, посвистывает, нашептывает что-то горестное.

— Правильно ведьма назвала его — паяц,— ворчит в сумраке солдат, развешивая одежду.— Да и жулик, должно быть. Жаль, чаю-сахару нет у нас, а то — самовар бы...

Сходя вниз, он предусмотрительно захватил с собой тяжелую свою котомку. Внизу, в бане, было еще более сумрачно, серые стекла окна впускали в тесную комнатку неприятно теплую муть тяжелого запаха. Хозяин колыхался у стола, заправляя жестяную маленькую лампу; посмотрев на гостей, он сказал:

— Один — вроде щуки, а другой похож на окуня. Ну, садитесь...

Из бани сделали жилую комнату очень просто: полок заменял полати, под полатями — нары и постель хозяев, на ней, в углу, уже совсем в темноте, кто-то шевелился. Печь приспособили для стряпни, подняв ее под, а для житья на ней — сломали каменку. На шестке печи сидела кошка, нелюдимо сияли зеленые глаза, с полатей свешивалась и точно таяла в сумраке чья-то маленькая белая голова, в переднем углу, на лавке, под грудой тряпья дышало, тихонько всхрапывая, тоже что-то маленькое. Хозяин зажег лампу, укрепил ее на гвозде, вбитом в стену, помазанную мелом, скудный огонек лампы осветил новенькие, еще не затоптанные грязью желтые заплаты на прогнившем полу. При огне всё как-то странно сдвинулось, сомкнулось теснее, образовался какой-то скорбный уют и вызвал у меня сердитый вопрос: «Это — жизнь?»

— Ну, как будем жить? — спросил хозяин, точно подслушав мои мысли, и веселый его голос заставил меня подумать, что стесненный человек этот играет на удальство.

— Хорошо бы теперь чайку хлебнуть,— продолжал он,— да самовара нету у нас.

— Чаю, сахару тоже нет,— спокойно, сочным голосом дополнили из-под полатей.

— Это хозяйка моя голос подает,— объяснил Егорша.— А картошки не дашь, Палага?

— Картошек из-за дождя не успели нарыть.

— Так. Ну,— хлебца, соли дай. Хлеб да вода — богатырская еда.

— Тятя,— позвал с полатей тихий голосок.

— Эх вы, жители,— пренебрежительно сказал солдат.

— Не нравимся? — спросила хозяйка, выступая на свет и застегивая кофту на груди.— Тогда — может, к другим пойдете?

Вопросы ее прозвучали не задорно, не обиженно, однако с явным чувством своего хозяйского достоинства. Я обозлился на солдата, а он, должно быть, испугался, что выгонят нас в дождь и в ночь. Он был скупой человек, но тут, смягчив свой деревянный голос, примирительно сказал:

— Ты, хозяйка, не беспокойся, еда у нас есть.

Нахмурив темные брови, женщина задумчиво посмотрела на солдата, на меня.

— Ну, вот и поешьте,— разрешила она равнодушно и, пройдя в передний угол, наклонилась там, разбирая тряпье. Была она небольшая, плотненькая, на круглом красноватом лице под высоким и выпуклым лбом серьезно светились овечьи глаза, широко расплывшиеся нос и толстые губы делали ее лицо некрасивым, но было в нем — в глазах ее — что-то приятное, заставившее подумать: «Не глупая». И в лице и в ее фигуре заметно было нечто общее с мужем; Егорша тоже светлоглазый, курносый, скуластый, беззаботно курчавая бородка не придавала его лицу особенного мужества. Стоя в углу, около печи, он говорил:

— Куда же ты, Яшук, сикаешь? Ты, брат, мимо лохани,— не слышишь?

Белоголовый тощенький мальчик слабо сказал что-то, но слов его не слышно было за словами отца.

— Вот, прохожие, у парня — глаза мокнут, вроде бы гниют. Не знаете средства против глаз? Мокнут и мокнут — что ты будешь делать!

— В больницу вези,— посоветовал солдат.

— Возить нам — не на чем. Мы, брат, сами возим желающих,— говорил Егорша, помогая сыну влезть на полати.— В больницу я его водил даже три раза. Капали ему капли в глаза, промыванье дали — не помогло. Нет, не помогло, — повторил он и впервые тяжко вздохнул, наблюдая, как солдат вынимает из котомки половину буханки солдатского хлеба, куски пирога.— Нет, уж я так думаю: положено ему ослепнуть. Вот и девчоночка тоже — горячка у нее четвертые сутки. Простудилась, хрипит... как она там, Палага?

Но, не дожидаясь ответа жены, он с радостным удивлением вскричал:

— Это — что же? Свинина?

— Ветчина,— поправил солдат.

— Богато живете! Палага — гляди: ветчина.

Хозяйка, улыбаясь, подошла к столу:

— Кусище какой! Ба-атюшки...

— Каких же денег это стоит?

Солдат решил быть веселым.

— Не куплено, крадено,— сказал он. Егорша не поверил.

— Будто — слямзил? Вре-ешь!

— Верное слово.

Толкнув жену в бок, Егорша захохотал, закачался, и обнаружилось, что сзади его стоит старуха, вытянув шею вперед, выкатив глаза; челюсть у нее отвисла, обнажив темную, жадную дыру беззубого рта. Солдат великодушно пригласил хозяев поесть.

— За это — спасибо! — сказал Егорша.— Ты вот что, друг, ты отрежь кусок парнишке, ему польза будет. Мясо, брат, редкая пища...

Схватив кусок ветчины, он побежал к полатям, говоря на бегу:

— Пищу воровать — можно! Я, конешно, не верю, что вы — воры...

— Поверь,— настаивал солдат, а хозяйка спросила меня:

— И ты воруешь?

Раньше чем я успел ей ответить, ответил солдат:

— Он — нет! Он — грамотой испорчен, стесняется.

— Пищу можно воровать! — повторил Егорша, толкнув жену и старуху, понуждая их сесть к столу.— Пищу и мышь и птица воруют. И даже таракан. Воровство — не баловство, я так понимаю.

— А ты ври больше на себя-то,— сказала жена, хмурясь. Егорша согласился с ней:

— Конешно, на себя врать — пользы нет. Ну, а все-таки поговорочка звенит: «Хочешь есть, да — нечего,— в клеть лезь, хлеб у кого...»

— Нету поговорки такой,— сердито сказала старуха.

— А ты всё знаешь?

— А и знаю!

Должно быть, желая прервать возможную ссору, солдат сказал:

— Ловко у тебя язык привешен!

— У меня — душа звонкая, оттого и язык бойкий,— ответил Егорша.

— Нуте-ка, кушайте,— предложил солдат.

И все замолчали. Солдат любил есть и ел много, но на

этот раз кусок не шел в горло ему, так же как и мне. Жутко было видеть, как жадно ест Егорша, и особенно страшно совала куски мяса старуха в черный беззубый рот: поднося кусок к лицу, она одновременно всем телом наклонялась к нему, точно опасаясь, что кусок вырвут из пальцев ее. Она всхлипывала, всхрапывала, и ее тусклые глаза ревниво, из-под седых бровей, следили за быстрой рукою Егорши. Было видно, как ерзает ее кадык, образуя из кожи на шее нелепые, невиданные морщины. У меня ее жадность возбуждала тошноту, и я заметил, что молодуха раза два уже толкала ее локтем в бок. Сама она, Палага, ела не торопясь, аккуратно, пережевывала пищу долго, и казалось, что это молчаливое насыщение тяготит ее,— от этого, а не от сытости краснеют ее уши, щеки. Видимо, я догадался правильно, и Палага что-то заметила, сочный голос ее вдруг покрыл громкое чавканье мужа и животный храп старухи.

— Он у меня сказочник, выдумщик. Иной раз найдет на него — всю ночь, до утра балагурит. И даже бывает страшно слушать. Вдруг придумает, что разродятся тараканы.

— Угу,— сказал Егорша, кивнув головой.

— Разродятся так, что ни людям, ни кому другому живому — места на земле нет уж, одни тараканы кишат, а боле — ничего!

Егорша перестал есть и совершенно уверенно сказал:

— А то — мыши! Против таракана — средств нету, а мышь — силоватей его, она таракана может кушать. Сами знаете: всё держится на силе.

— На глупости больше,— вставил солдат.

Егорша уже успел набить рот ветчиной и не мог ответить, а только помахал рукою в воздухе. Но, проглотив жвачку, он немедля и напористо снова заговорил:

— А глупость — не сила? Глупость, брат, тоже сила. Побори-ка ее! У нас, в селе, учительша против глупости ратовала, так приехали ночью из города жандармы — хоп ее! И — пожалуйте в Сибирь, в безлюдное место...

— Ты расскажи про нее,— предложила жена.— Он про нее так рассказывает, что даже до слез доводит.

Вытирая рот подолом юбки, старуха сказала неожиданным басом:

— В бога она не верила, отца не уважала, вот ей и — каюк! Да еще и на том свете...

Егорша, дурашливо крестясь, сказал:

— Господи — помилуй, хвостиком по рылу! — а Палага посоветовала старухе:

— Ну, покаместь ты на том свете не побывала, так про него не рассказывай.

— Она, учительша, была необыкновенной храбрости,— говорил Егорша солдату.— А отец у нее — поп, бо-ольшой силы попище! Вот она беседует с ребятами, с девками, а он незаметно подкрался, да за волосья ее, да по щекам. Избил, а она встала с земли и говорит: «Понимаете, за что он, поп, отец мой, бил меня? За то, что я вам правду говорила. Не верьте, кричит, попам!» Тут он ее — еще! Да еще...

— А — как надо? — спросила старуха и сама же ответила: — Так и надо.

— Ты, мамонька, иди-ко спать,— сказала дочь, не сердито, но внушительно.

— Успею,— откликнулась старуха: она уже насытилась, ее дергала икота, но она всё еще закладывала в рот неверной, как бы пьяной рукою кусочки пирога, отщипывая их пальцами, формы и цвета кореньев хрена.

— Гляди, вот до чего старики голодные, — сказал мне Егорша.— Им, ядри их чёрт, всё равно, что делается...

— А ты черного-то к ночи не поминал бы, паяц с ярмарки...

— Перестань, мать...

— Ему скажи, чтоб перестал, да, ему! — заговорила старуха басом и так глухо, точно в горле ее кусок застрял.— Видали вы убогого такого, люди добрые? «Хочу, говорит, честным жить», а живет со всеми зуб за зуб, никому — ни богатому, ни умному — не покоряется. То ему ребра мнут, то — в тюрьму сажают. На улицу стыдно выйти из-за него,— рычала старуха всё гуще и озлобленнее; дочь ее, сметая крошки со стола, хмурилась, Егорша, вытирая ладони о портки на коленях, посмеивался, подмигивал нам и этим довел тещу до того, что она, застучав по столу сухими кулаками, накинулась на него:

— Ежели во святы угодники метишь — не женись, рыжий бес, не мучай бабу зря...

— Ну, где же зря?— возразил Егорша, подмигивая.— Она, гляди, пятерых родила.

— Плюнуть тебе в хайло,— заревела старуха.

Дочь взяла ее под мышки, легко подняла и понесла к двери, говоря:

— Иди, иди, мамонька! Покушала, ну — отдохни...

Старуха, болтая ногами, держалась за живот и рычала, плевала на пол.

— Хорошо живешь с женой-то? — спросил солдат.

Егорша ответил с жаром:

— Жена, брат, это... это, я тебе скажу, вся награда жизни моей! Ей-богу! Не будь ее — забили бы меня, как гвоздь в стенку. А ее даже злодеи мои уважают — умница, работница, песни поет лучше городской актрисы...

Я спросил Егоршу, почему он в тюрьме сидел.

— Сажают! — очень правильно ответил он.— Вот последний раз земскому чего-то не так сказал, он меня и запрятал на целые три месяца. У нас тут дворянство кругом, господа — строгие, то есть требуют обращения, а в людях понимают меньше, чем в лошадях али собаках. Я прошлой осенью конюхом был у Лодыгина, а земский зятем ему приходится, ну и служит тестю, как тот пожелает. А до этого пруд чистил у купца Баюнова, громаднейший купец, морда красная сковородой, бороду бреет. Жулик такой, что хоть в цирке показывай. И всё на копейки считает. «За границей, говорит, весь счет на часы да копейки и всякая работа идет по шесть копеек в час, что ни делай, хошь нужник, хошь церкву». Он, сукин сын, хлопотал, чтоб меня окружным судом судили.

Я осведомился, за что. Егорша, сморщив лицо, почесывая шею, усмехнулся:

— Так, пустяковина. Будто бы я его, быка такого, убить хотел, будто — покушение сделал. А я просто лопатой...

— По башке? — спросил солдат, поглядывая на Егоршу очень дружелюбно, с явным удовольствием.

— Нет... по плечу, что ли. Да ведь это так... просто: я замахнулся, а он подвернулся,— скучновато объяснил Егорша.

Вошла Палага, села на скамью возле девочки и оттуда сказала:

— Ты про бабушку Степаниду расскажи.

— Да, вот это случай свежий,— подхватил Егорша, снова оживляясь.— В страдную пору тут бобылка померла на жнивье, надорвалась и — в землю носом! Мужики покойников уважают, а тут, сами знаете, хоронить — не время, да и некому — бобылка. Работала она у Костюхина — есть такой деляга, живоглот. Уговаривают его: на твоей полосе померла — тебе и хоронить. Ну, у него свои резоны: не у меня она силу потеряла, а у всех, кто ее нанимал. Затеялся спор. Лежит старуха на меже, раздуло ее горой, сутки лежит и другие, вонь пошла от нее, ну и слухи тоже: умерла, а — почему? Неизвестно. Того гляди, полиция вступится, и тут уж — раскошеливайся! Костюхин настоял: хоронить вскладчину и первый внес рубль шесть гривен — заработок ее. Ну, сколотили кое-как четыре с двугривенным, я взялся гроб сделать,— я свои деньги у богатого в кармане держу! — усмехнулся он, подмигнув солдату.

Рассказывал он очень живо, в светлых глазах его блестели острые улыбочки, обветренная кожа скуластого лица смешливо морщилась, и беззаботная бородка как будто росла.

— Ну, ладно! Пошли к попу, а он говорит: «Кто вас знает, отчего она померла? Тут требуется полиция. Но, жалеючи вас, между прочим, отпою за десятку». Туда-сюда — не уступает! А тут еще с гробом ошибся я — покаместь работал, старуху-то еще боле разнесло. Ну, как же быть? Заплатили попу десяточку, а покойницу на погост повезли так: она — на телеге вдоль, а гроб в ногах у нее поперек. А в могилу положили сперва ее, а гроб поставили сверху, иначе — не выходило! Вот какие похороны бывают...

— Случай-то хоть и свежий, а — невеселый,— хмуро сказал солдат, а Палага тихонько выговорила:

— Пойдете дальше — расскажете, как люди живут...

— Н-да, живем — туго. И даже надеяться не на что, и ждать нечего. Живешь? Ну, и привыкай. Мне вот скоро четыре десятка минет, а работать я начал с восьми лет, и

на работу — охочий, не лентяй, нет! Однако сами видите, лишнего — не выработал.

— Зато душа хорошая,— сказала Палага.

— Душа не корова — молока не дает,— отликнулся муж.— Не-ет, своим горбом лишнего не наживешь, лошаденку надобно, хоть — махонькую, хоть на двух ногах, вроде меня. Обязательно, друзья, для добычи лишков требуется скотина да наш брат — бездомный батрачок. Кабы мастерство знать, да в деревенском быту какому мастерству научишься? К тому же и мастеровой живет в чужих оглоблях.

— Да, стеснительно живем,— сказал солдат, кивая лысоватым черепом.

— Простору — много, а деваться — некуда! Я ли не странствовал? Родился в Вологодской губернии, а — вот куда занесло. И везде — как на ниточке висишь. В одном повезло: жену хорошую случайно нашел. Как-то, под вечер, иду около Симбирска, рассчитался с заводишка суконного, гляжу: около дороги — телега, у телеги — баба воет, тут же и другая на пенек присела. Подошел: что случилось? Оказывается — переселенцы, в Сибирь поехали, а мужик по дороге запил, пропил всё домашнее барахло, а теперь вот выпряг лошадь и пошел ее пропивать. От своих вторые сутки отстали, догнать не на чем, да и незачем, ну что делать? Вот так и нашел я жену с тещей...

Странно и глубоко печально было слушать его: он и о своей неудачной жизни говорил всё так же усмешливо, играючи, не чувствовалось в словах его ни уныния, ни озлобления на судьбу, никакой горечи, звучала только привычно веселенькая и уже навсегда вкрепившаяся безнадежность; ее-то, вначале, я и понял как игру на удальство. Подумалось: «Весело скрипит, а под корень сломлен».

Солдат слушал его, сидя прямо, как деревянный, молча прикрыв сердитые глаза, шевеля пальцами рук, положенных на стол, точно играя на невидимых и неслышных гуслях.

— Вот прикрепились здесь, — продолжал Егорша. — Село этим летом наполовину выгорело, ну кое-какая работенка есть. А деревня эта опасная, тут, считай, почти

в каждой избе носовая болезнь, сифилис действует, гундосят все...

— Ну, уж — все! — поправила его жена.— Что зря порочишь!

— А кого я порочу? Тут, года четыре назад, какое-то войско стояло по случаю бунта, что ли, так солдаты всех баб, девок перепортили.

— Ой, что ты! Есть здоровые...

— Ты доктор? а мне доктор говорил, Петр Васильев. «Береги, говорит, детей...» Никого я не порочу. И солдат тоже. Солдаты за себя не отвечают, они на присяге, как на коне, куда конь скачет, там люди и плачут.

— Любишь ты поговорки, — угрюмо сказал солдат.

— Одна утеха,— ответил Егорша,— ничего не осталось, как шутки шутить. Нет ни земли, ни лошади — ни хрена! Одна жена, да теща, да таракан во щи.

Вошла старуха с грудой тряпья в руках и зарычала:

— Будет уж языки чесать! В сенях — текет, я тут спать лягу. Вы, прохожие, на чердак идите.

Бросив тряпье на пол, она продолжала:

— Ходют тут, всякие. А — чего ходют? Всё — спрашивают.

— А ты бы не ворчала, мама,— посоветовала дочь.

— Она без этого не живет,— сказал Егорша.

Ползая на коленях, расстилая тряпки по полу, старуха пригрозила:

— Вот они придут в город, скажут: в деревне Синюхиной мужик живет языкатый, отрезать бы ему язык-от...

Егорша проводил нас в предбанник.

— Уж вы как-нибудь там устроитесь... Сенца бы туда, да скота не имеем, а для себя сена — не держим,— не научились сеном-то питаться...

— Неглупый мужик,— пробормотал солдат, устраиваясь около трубы.— Неглуп. А — лишний. Эх, чёрт вас..

Он матерно выругался и замолчал. По соломе крыши неустанно и назойливо барабанил дождь. Тихий его шорох упрямо заставлял вспоминать речи Егорши. Крупная капля метко попала мне в глаз. Минут через пяток внизу, в предбаннике, послышался приглушенный голос Палаги:

— Посидим здесь, пока она уснет...

— Ух, ядовита старушка,— тяжело вздохнул Егорша.

Помолчали. Потом снова заговорила жена тихонько, но внятно.

— Нехорошо как вышло...

— Что?

— Зашли к нам бедные люди, а мы их — объели.

— Ну, ничего! Нас — тоже объедают. Они и украсть не побоятся и милостыню попросить не постыдятся. А нам с тобой — не красть, не просить...

И вдруг скрипнула дверь, раздался густой и как бы торжествующий шёпот старухи:

— Вот ругаете меня, а я, покуда вы ели, куски-то со стола всё в подол, всё в подол...

— Да иди ты — спи! — почти крикнула Палага, а Егорша проворчал:

— Экое наказанье...

— Ду-ураки! Глядите сколько! Когда ты меня, дура, потащила — испугалась я: ох, уроню куски...

Сильно хлопнула дверь, стало тихо. И даже дождь как будто обессилел. Солдат снова крепко выругался.

— Ты что? — спросил я.

— Капает на меня. Изба, мать вашу... Избавили мужика... от всякого смыслу, трещит, как скворец...

Минуту он возился молча, переползая на другое место, потом зарычал, как старуха:

— Слова придумывают: изба — избыток. Сволочи. Лексей — слышишь? Избыток, а? Старуха-то? Куски прятала... слышал? Избыток... Давить надо сукиных детей, мать...

— Ты кого ругаешь?

— Кого надо. Мужик-то — как про нас... Не дурак мужик. И хорошо, что не богат. А — будь богат, тоже сволочью был бы. Избыток, растак вашу...— Ворчал он долго, еще раза два ползал в пыли чердака, меняя место, на него, должно быть, везде капало. Капало и на меня, но я уж притерпелся. Потом солдат как-то вдруг захрапел, засвистел носом. Через некоторое время, сквозь дремоту, я снова услыхал голос Егорши:

— Ну, не плачь! Что поделаешь? Конешно, лучше бы мать умерла — легче было бы нам...

— Ты подумай! Ведь третий ребенок...

— А чем бы кормили, будь они живы? По миру посылать?

— А Яша слепнет...

— Самим бы не ослепнуть,— сказал Егорша.

Беседовали они долго, и под шелест их голосов я уснул. Солдат разбудил меня на заре. Дождь иссяк, и мы ушли тихонько, как бы опасаясь разбудить хозяев.

Давно это было. Я не помню, чтобы мне когда-нибудь хотелось написать о невеселой жизни веселого Егорши и милой жены его. А теперь вспомнилось и написалось потому, что на днях был у меня приятель, один из тех замечательных наших партийцев, которые зорко наблюдают за строительством новой жизни в деревне и отлично умеют возбуждать в крестьянстве сознание необходимости двигать жизнь по широкому пути к социалистической культуре. Приятель мой начальствует над целым краем и, объезжая его по службе революции на аэросанях, остановился в одном большом селе. День был выходной и солнечный, веселый, время послеобеденное, но на улице еще пусто. Аэросани остановились на площади у церкви, шофер стал осматривать, всё ли в порядке. Первыми из ворот посыпались, конечно, ребятишки, за ними поползли старухи, деловой пород заседал в сельсовете. Одна старушка, подойдя вплоть к саням, удивляется:

— Ба-атюшки мои, чего состроили! Так само собой и бегает?

Приятель мой видит: хотя и старуха, а — из бойких, глазенки у нее живые, умненькие. Сам он тоже человек очень бойкий, шутливый и в знакомстве с деревенским людом наметанный. Объясняет старушке:

— Да вот, бегает! Конечно, не без нечистой силы, черти двигают, хотя их не видно, а они — тут.

Но старушка шутку понимает:

— Чертей-то, говорят, нету.

— А были?

— Не видывала. А ты, товарищ, над нами не смейся, мы понимаем — лектричество действует. Эх, вот бы на

эдаком покататься, покуда второе-то пришествие не настигло!

Приятель спросил, будто испугавшись:

— А оно будет, второе-то?

— Бают — будет.

— А кто придет?

Старушка отвечает:

— Как нам, темным, знать? Наверно — вроде тебя, какой-нибудь эдакой.

Публика смеется, а старушка, любуясь своей бойкостью, балагурит:

— Прокатиться бы разок да рассказать на том свете, какие у нас предметы делать научились.

— Ну,— говорит приятель,— ежели у тебя такая задача — садись, едем!

— Одна? Ты бы и соседок пригласил.

Натискал товарищ в сани пяток старух, повез их в поле, гонит во всю силу, смеются старухи, повизгивают, как девушки,— довольны. Возвратился в село, а на площади уже сотни две народа, молодежь издевается:

— Что, не пригодилось старье, назад привез?

— Почем с головы за провоз берешь?

А один парень, будучи немножко под хмельком, ревниво и задорно спросил:

— На старухах колхоз строить хочешь?

В этом месте приятель сказал мне:

— Гляжу я на людей, слушаю смешки и думаю: должность моя вроде губернаторской, по старой мерке. А ведь в старину с губернатором этак-то и во сне не говорили, как со мной говорят. Думаю, и в душе солнце светит. Агитнули глубоко!

— Подошел ко мне солидный бородач, спрашивает: «Куплена машина-то, али сами построили?»—«Сами».— «В Горьком, значит. Так я и думал, а спросил для поверки. Вот видите, граждане, сами рабочие строят. Это надобно оценить. А стариков покатать можешь, товарищ?»

Приятель мой покатал и стариков, а когда вернулись на площадь, бородач заявил, обращаясь к односельчанам:

— Он, граждане, товарищ этот, хорошо сделал, что вот показал нам, куда рублишки наши идут. А то мы здесь, в глуши, читаем, слышим — строят! А что стро-

ят — не видим. Поэтому я, в знак радости, приношу на заем двадцать пять рублей, — кто еще желает?

И неожиданно «в знак радости» мужики собрали сто сорок целковых, так что шофер даже предложил:

— Не поехать ли нам, товарищ Матвей, по краю народ катать? Большую помощь Автодору окажем.

Молодежь празднично галдит, смеется, а бородач всё настойчивее щеголяет своей гражданской сознательностью, внушая кому-то:

— При советской власти жизнь стала убедительная, она теперь и стариков переучивает.

— Переучишь вас, чертей болотных, — кричат ему из толпы.

Разгорается «спор двух поколений»; какой-то аккуратно одетый старец задорно говорит:

— Мы, старики-то, быстрей молокососов учимся, потому — сами много знаем...

— Не столько знаете, как воняете.

— Вредоносные вы...

— Не все! Знай правду — не все!..

— Забились в старину, как гвозди в стенку...

— Без клещей — не выдерешь.

— Выдирают...

Но большинство граждан, окружив аэросани, похлопывают и гладят машину ладонями, точно лошадь, и кто-то сообщает:

— Теперь и гражданин крестьянин в инженеры пройти может.

— Ну, а как же?

— Наша власть способствует...

Снова появился пьяненький парень и — задорится:

— А вот я, товарищ, пропиваю деньги! Заработал и — прогуливаю! Я гулять люблю...

— Озорничать,— подсказали из толпы.

— Правильно, — согласился парень. — Озорничать я — прилежный.

— А работать?

— И работать. У меня, товарищ, такие трудодни — ух! Могу с круга спиться...

Его уговаривают:

— Не дури. Не показывай себя глупее, чем ты есть.

— Я глупый? — кричит парень, явно намереваясь разыграть скандальчик, но его сжимают и оттирают прочь широкие плечи «граждан крестьян». Слышно, как он орет:

— А может, я со скуки глуп?

На его место становится другой, тоже рослый мужик и тоже немножко под хмельком. Одет солидно, в городском хорошем пальто, в чесаных сапогах, новенькая меховая шапка сдвинута на затылок, обнажая широкий лоб; лицо — сухое, остроносое, голубоватые глаза серьезно прихмурены, подбородок бритый, рыжеватые, лихо закрученные усы придают лицу выражение решительное, и сразу видно, что человек этот цену себе знает.

— Это вы, товарищ, значит, культуру показываете нам? Успехи механики в деле индустриализации? Очень хорошо. Вроде как приехали к дикарям и желаете, чтобы удивлялись?

Приятель мой спросил его: кто он?

— Тут меня знают, — не без гордости ответил он, и тотчас же из толпы крикнули:

— Это наш!

— Потомственный здешний батрак.

— Он у нас — поучительный.

— А кто отец мой? — спросил крестьянин, обращаясь к толпе, и получил ответ:

— Отца у него в пятом году убили...

— Тоже батрачок был.

— На десятине сидел сам-пят.

— Стойте! — сказал парень, подняв руку. — Убивают и зря, а тут, надо прямо сказать: убили за приверженность к правде революции. Верно?

— Верно, верно!

— То-то! И опять же: кто убил?

— Износковы.

— Тут у нас такие живоглоты были. Износковы.

— Мироеды.

— Теперь — ясно, товарищ? И предлагаю вам пожаловать ко мне.

По настроению парня, по отношению односельчан к «потомственному батраку» приятелю моему показалось, что его хотят как будто немножко «разыграть» или

устроить длительный словесный бой с этим типом. А уже поздновато было, догорала вечерняя заря.

— Пожалуйте, — настаивал парень, раздвигая толпу рукою. — Прошу и граждан, которые желают. Как вы руководите культурой, товарищ, то вам будет интересно.

— Ненадолго, — предупредил товарищ.

— Не задержим, — ответил мужик. — Дельце не крупное и простое.

Пошли. Привел он к новенькой в три окна избе, с крытым крыльцом на резных колонках, обил в сенях валенки от снега, гостеприимно и молча открыл дверь в избу, освещенную лампой, спускавшейся с потолка. Потолок и стены оштукатурены, выбелены, пол окрашен, на полу, в переднем углу — широкий матрац, застланный простыней, из-под одеяла, на подушки, высунулись три головы, на одной еще блестят глаза, две другие утонули в крепком сне. На деревянной кровати, хорошей столярной работы, сидит молодая женщина, кормит ребенка, она, видимо, не очень довольна гостями и строго приказывает:

— Закрывайте дверь, а то дети простудятся.

В переднем углу небольшая полка книг, над ней портреты Ленина, Сталина; около печи, у стены, новенький, зеленый шкаф с посудой, рядом с ним, на столике, блестит самовар. Вслед за хозяином вошло в избу человек десять, они встали у двери, а он прошел вперед, к обеденному столу и, предложив товарищу стул, сказал:

— Вот посмотрите, как советский крестьянин-колхозник примеряется жить. Конечно, можно бы обоями оклеиться, однако, во избежание тараканов, обои отрицаю. Так что кое-какую заботу о культуре имеем, в меру возможности. Тоже и понимать в существе жизни начинаем кое-что.

Говорил он хвастливо, но в то же время как бы спрашивая глазами: так ли всё это? Сухое, суровое лицо его стало мягче. Приятель спросил:

— Партиец?

— Это — впереди. Покаместь — советский колхозный гражданин. Трудодней у меня порядочно вышло, получил по шесть кило; кроме всего прочего, на лесозаготовках прирабатываю. Есть корова. Купил же-

не пальто за тридцать пять червонцев,— могу показать.

— Не надо,— сказала жена, укладывая ребенка в кроватку, рядом со своей.

— А ты бы, вместо пальто, корову другую купил, на твою семью одной мало,— посоветовал товарищ.

— Вот видишь? — обрадовалась жена.— Я тебе тоже говорила!

— Значит — еще корову надо купить? Так,— неопределенно сказал хозяин.

— Дети у тебя на полу спят, это им нездорово.

— Кровать надо? Понимаем. А где ее поставить?

— Пришей к избе еще комнату.

— Еще-о? — насмешливо протянул хозяин,— какой ты добрый!

И, прищурясь, он спросил:

— Ты, что ж, в кулаки загоняешь меня? Тебе — какая власть дана: дело делать али шутки шутить?

— Шутить с тобой я буду после того, как ты вторую корову купишь, да комнату пристроишь, да и вообще начнешь образцово жить в пример другим. Получишь ты за это премию, вот тогда мы с тобой и пошутим,— сказал ему товарищ.

— Слышите, как власть наша говорит? — обратился хозяин к людям. Они слушали молча, изредка покашливая, перешептываясь, количество их незаметно возрастало, они, плотной массой, занимали уже почти половину комнаты, и от их дыхания огонь лампы потускнел, в избе становилось сумрачно. Пристально глядя на товарища, хозяин продолжал:

— Работать, конешно, следует без расчета на премии, ведь премии-то мы вроде как сами себе выдаем. К тому же я здесь не один таков, есть не хуже меня, а получше.

Приятель мой спросил: сколько времени грудному ребенку? Оказалось: две недели. Тогда приятель поставил еще вопрос:

— А ты, поди-ка, уже спишь с женой-то?

— Ну, а как же? На то и жена.

Даже в сумраке видно было, что жена густо покраснела, а женщины зашептались слышнее, раздались смешки и вздохи. Тут приятель произнес маленькую

речь о необходимости беречь женщин после родов и еще раз сказал о пользе второй комнаты, где жены в последние месяцы беременности и некоторое время спустя после родов могли бы спать отдельно от мужей. В ответ на эту речь раздался одобрительный гул бабьих голосов:

— Верно, товарищ!

— Вот — спасибо, что сказал!

— Уж это — так надобно нам, бабам...

Высунулась бойкая старушка, которая обещала рассказать на том свете про аэросани,— высунулась и торжественно заявила:

— Вот она, тетки, наша-то власть — видали? Молодой, а — какие дела понимает! А бывало, становой пристав али урядник...

Речь ее прервал густой мужской голос:

— Насчет второй горницы — правильно! От нашей тесноты ребятишки страдают, приходится им раньше время понимать чего не надо...

Хозяин утвердительно кивнул головой:

— Это — так! Признаюсь за всех: на одной постеле — не воздержишься. И про детей — верно. Эх, дела-то сколько!

— Радио у вас нет,— заметил товарищ. Хозяин нахмурился:

— Радио нет! — подтвердил он.—Оно, радио-то, елементов требует, а за елементом надо в город ехать, почти сотню километров. Радио нам — не присягает.

И, повысив голос, он начал говорить строго:

— Ты вот слышал, как пьяный человек кричал, что он — от скуки глуп? Это он крикнул из души. Жить нам скушновато, особенно тем, которые города понюхали, в Красной Армии служили. И деньжонки есть, и зарабатывать их приятно стало, а как откачнешься от работы, примерно, в выходной день, так, знаешь, и... некуда себя ткнуть. Нас тут около трехсот домов, а собраться негде.

Товарищ напомнил о церкви.

— Думали про церковь,— сказал хозяин.— Мала, стара, темная, скуку в ней, может, сто лет копили. Нет, церква нам не играет. Конешно, и ее можно в пользу обратить, а думаем, что лучше бы нам новенький домик взогнать для собраний.

— Клуб называется,— сказал кто-то из толпы.

— Клуб не клуб, а дело нужное. Молодежь у нас в школе спектакли ставит по «Театру в деревне», школа от этого, от возни в ней, много терпит, а удовольствия народу — маловато. И пьески — для глупых.

— Ну, что же? Старайтесь, это в вашей доброй воле,— сказал товарищ, а хозяин продолжал:

— Ежели всё пойдет так, как пошло,— мы построимся. У нас тут свои плотники найдутся, они могут сгрохать домик, хоть в три этажа. А до той поры ты бы, товарищ, помог нам, достал бы небольшой, сил в двадцать, что ли, моторчик, тогда мы бы всё село осветили, да и радио завели, между прочим...

Эти слова особенно взволновали граждан, вперебой раздались крики:

— Керосину не хватает нам, товарищ!

— Лампочки зажечь надо...

— Вон как чуваши осветились!

— Тише, пожалуйста! — попросила хозяйка,— детей перепугаете.

— Ну да, испугаешь их!

— Чего наши дети боятся? — как будто сожалительно спросил кто-то.

Граждане действительно забыли и о чистоте крашеного пола, и о детях на матраце, они гуртом двинулись к столу, и бородатый мужик, «похожий на портрет писателя Короленко», убедительно говорил, заглушая всех:

— Нам, товарищ, надобно жить сообразно городу, как в нем налаживается. А то — что же будет? Одни — так, другие — эдак! Опять, значит, разрез народа надвое? Сам видишь, товарищ, недостает нам многого...

— Верно! Стесняют недостатки ход жизни нашей,— подтвердил потомственный батрак.

А пожилая высокая женщина жаловалась:

— Надобно, чтобы такие вот, как ты, дохожие до всего, приезжали к нам почаще.

— Слыхал голос народа, товарищ? — спросил хозяин, усмехаясь, и по лицу его видно было, что он очень доволен беседой.

...Я записал этот рассказ о «недостатках» так, как слышал его из уст «до всего дохожего» товарища.

# ТУМАН

Город окутан желтовато-серой сыростью, ее можно бы сравнить с мокрым дымом, если б такой дым был возможен. В пяти шагах от человека сырость кажется настолько густой, даже плотной, что там, впереди, уже не может быть воздуха, он — уничтожен этой грязной влагой. Но в нее входишь, как во всякий иной туман, только дыхание затруднено и обессилены глаза. Все звуки огромного города странно слиты в глуховатый, обесцвеченный, тусклый шум; лишь изредка ревут автомобили, еще реже слышишь голоса людей, и это может быть только потому, что их — ждешь. Медь колокола утратила плавность своего звучания, не замирает медленно, как всегда, а прерывается, точно после каждого удара колокольню накрывают шляпой; гудок парохода звучит уныло, как будто пароход устал или боится плавать в тумане.

Выкатываются из тумана, исчезают в нем потные «такси», экипажи и лошади как будто смазаны маслом, отсыревшие люди странно молчаливы, они шагают встречу друг друга, подняв воротники пальто, сунув руки в карманы, вытянув шеи вперед,— шагают с быстротой, которая намекает на стремление избежать катастрофы. Туман заключает их в полупрозрачный пузырь, и человек в этом пузыре — точно желток в белке яйца.

Две старухи прижались к сырой стене дома и пробуют раскрыть большой черный зонтик; ткнули концом его в бок низенького толстого человека, он зарычал, а старухи, точно механические игрушки, одновременно и однообразно взмахнув руками, затряслись, заговорили фразами из одних междометий.

Стены домов, стекла витрин покрыты мокрой пылью. Всё вокруг кажется мягким, точно сделано из грязноватых льдин и — тает. Воображение настраивается фантастически: может быть — неожиданно для астрономов — взорвалось солнце, расплавило мертвую луну, она потекла, жидкая масса ее охладилась до температуры парного молока,— окутала землю газоподобной, удушливой влагой, и земля охвачена непонятным разуму процессом влажного тления. Этот огромный город миллионов людей уже начал плавиться, и скоро его камень, стекло, металл, дерево — весь он беззвучно потечет ручьями густых, мутных жидкостей, они тоже начнут испаряться, превращаясь в серовато-желтый туман...

Но люди города этого легко разрушают темную игру взволнованного воображения. Прежде всего отрезвляет полисмен — монументальное, отлитое из одного и того же материала существо, действующее механически спокойно и уверенно. Полисмен одинаков на всех улицах, и почтительно удивляешься силе, с которой культура «аристократической расы» — наиболее энергичных грабителей мира, обесчеловечивая людей, достигает «единства во множестве».

Мощный рычаг порядка, рука полисмена, вызывает из тумана и отправляет в туман экипажи, автомобили, воза товаров и убеждает, что для города этого еще не пришло время гибели. К дверям домов и магазинов, полных света и сухого тепла, подплывают автомобили, из них выходят слишком прямолинейные или чрезмерно округленные джентльмены в цилиндрах, в шляпах разнообразных форм; джэнтльмены элегантно и властно подают руки изящным леди; со смехом и восклицаниями, которым не откажешь в музыкальности, женщины, с брезгливыми гримасками на фарфоровых личиках, касаются красивыми ножками влажного асфальта и керамики панелей. Магазины проглатывают их, точно обжоры устриц.

Как много в этом городе обуви, одежды, белья, шляп, мехов, кожаных изделий, чемоданов, сигар, трубок, тростей, посуды, принадлежностей для рыболовства, охотничьих ружей, игрушек для детей и для взрослых, часов, золотых вещей, самоцветных камней! Ослепи-

тельно много. И все вещи так могущественно блестят, что вопрос о праве леди и джентльменов пользоваться ими меркнет в этом соблазнительном блеске.

Особенно разнообразны и обильны запасы пищи. Ее разнообразие внушает мысли о прогрессе гастрономии, развитии кулинарного искусства, об изысканности разума желудка людей высокой культуры. За стеклами витрин гастрономических магазинов гордо красуются дары всего мира, всех стран, морей, озер, лесов, рек. Свежее, копченое, соленое, консервированное мясо, рыба, раки, дичь, овощи, фрукты, пряности, соуса, сыры, колбасы, пирожные, конфекты, печенья, торты, шоколад, какао — всё это собрано, вероятно, в тысячах тонн, и всё это леди и джентльмены должны пережевать, переварить, превратить в удобрение земли...

По безлюдной улице, застроенной однообразными домами в три этажа, по три, по четыре окна в каждом этаже,— по безлюдной улице сквозь туман быстро шагает длинноногий человек в костюме шотландца: шапочка с двумя лентами сзади, рыжая, сильно потертая куртка с оторвавшейся заплатой на локте правой руки, коротенькая юбка до колен, ноги от колен до щиколоток — голые, на ступнях — огромные растоптанные башмаки. Под мышкой у него — волынка, он прижимает ее левым локтем к боку, красные пальцы его рук неслышно барабанят по ладам дудок, волынка тенористо и надсадно поет какую-то веселую мелодию, басовая дудка вторит ей однотонным глуховатым гулом. Лицо музыканта серое, костлявое, скулы обостренно торчат, натянув кожу туго, до красных пятен, конец хрящеватого носа прячется в сердито ощетиненные рыжие усы, подбородок тоже густо покрыт медно-красной щетиной. На этом лице из глубоких глазниц необыкновенно резко выделяются глаза. Голубоватые зрачки как бы плавают на поверхности воспаленных белков,— плавают, сверкая, и хочется назвать эти глаза раскаленными. Музыкант делает восемьдесят три быстрых шага под окнами четырех домов, затем возвращается на угол богатой улицы и снова, с настойчивостью безумного, пошатываясь, идет назад, колышется оторванная заплата на локте его, точно стремясь оторваться. Надув щеки, шевеля усами, он

наполняет кожу волынки воздухом, затем, оторвав дудку от губ, надсадно кашляет и плюет, не переставая шагать,— шагает он потому, что полисмен запретил нарушать музыкой покой благополучных людей, стоя под их окнами, но на ходу он может играть: подданные короля Великобритании, классической страны компромиссов,— свободные люди. Музыкант кашляет, плюет сгустками темной крови, и, как будто не желая растаптывать кровь свою подошвами грязных башмаков, он плюет не на панель, а на потные, жирные стены нижних этажей. Не кажется, что он делает это намеренно, но ждешь, что, сделав еще десяток шагов, он свалится с ног от голода и усталости.

# ПЕЙЗАЖ С ФИГУРОЙ

Холмы так приятно округлены, как будто эти мягкие формы придал им умный труд людей в заботе о красоте пейзажа, в который вставлен их маленький старинный город — тесная семья разноцветных домиков, они как бы позируют пред художником, склонным к романтизму. С одного холма в небо вонзился острый шпиль готического храма — стрела, уверенная, что она достигнет цели; с другого ступенями спускаются в долину кубические, из дерева и камня, гнезда людей. Над городом, в чистенькое, бледно-голубое небо, солидно восходит солнце; белый его блеск уже погасил розовые краски зари, но сила лучей еще умеренно освещает гладко причесанные пласты вспаханной земли цвета какао и ярко-зеленые, шёлковые полосы озимых посевов. От города спустилась и легла в долину светло-серая полоса тщательно выглаженной дороги; шагает, падменно покачивая головами, пара монументальных лошадей цвета старой бронзы, их ведет крупный человек, одетый в синее, за ними следует высокая черная женщина, согнувшись под тяжестью корзины на спине ее. Два ряда старых деревьев строго ограждают прямолинейность дороги, мелкие ветви деревьев аккуратно срезаны, новых поросле́й еще нет, кажется, что их и не будет и что до гибели своей деревья простоят без листьев, в больших узловатых шишках, которые обременяют сучья, точно странные опухоли. Среди полей красиво разбросаны маленькие группы деревьев, уже одетых светло-зеленой листвой, ее шевелит кроткий ветер весны, и кажется, что эти деревья двигаются по равнине. Некоторые из них подошли совсем близко к насыпи железной дороги, ветер, насыщенный сыроватым, вкусным запахом земли, встряхивает

их, как бы считая юные листья, лучи солнца точно гнезда вьют среди ветвей. Всё вокруг способно внушить почтительное чувство к людям, которые умели устроиться на земле так уютно.

На толстом сучке дерева, почти касаясь ногами железнодорожной насыпи, висит человек. Это человек очень бедный: веревка, которая удавила его, связана из двух кусков различной толщины, толстый мохнатый узел возвышается близко над его головою, точно огромный, мохнатый, серый паук. Человек вытянул руки по швам, как солдат, его пальцы запутались в лохмотьях широких брюк, толстая куртка, в пятнах извести, распахнулась на груди и как бы сползает с опущенных плеч, серая рубаха вздернута к подбородку, обнажая немного менее серую кожу живота, пояс брюк спущен низко, и солнце освещает рыжеватый клочок волос. Человек склонил голову на грудь и правое плечо, на синеватой его лысине отражено солнце, его левое ухо настороженно поднято к небу, выкатившийся правый глаз внимательно застыл, рассматривая грязный башмак на правой ноге; подошва башмака отстала, из щели торчит большой палец, точно непроглоченный кусок мяса из беззубой пасти какого-то очень старого животного.

# ШОРНИК И ПОЖАР

После многих дней жестокой засухи в селе, над Волгой, вспыхнул пожар. Огонь показался на окраине села, около кузницы; огонь точно с неба упал на соломенную крышу убогой избы солдатки Аксеновой, упал и начал хвастаться веселой хитростью своей игры: украсил весь скат крыши золотыми лентами, вымахнул из чердачного окна огромную рыжую бороду и, затейливо изгибаясь, рождая синий дым, мелкий дождь красных искр, взмыл над избой, стремясь в тусклое от зноя небо к солнцу, раскаленному добела. Первым увидал несчастье старичок шорник; я сидел с ним на бревнах против церковной паперти, слушая премудрые рассказы деревенского ремесленника о его бродячей жизни, рассказы человека, которому ближние сильно пересолили душу очень горькой солью.

— Ух ты-и!— вскричал он, прервав свою речь.— Гляи, гляди-ко,— пожар занялся.

Есть какие-то секунды, когда на явление огня смотришь неподвижно и безмысленно, очарован изумительной живостью и бесподобной красотой его. Я предложил шорнику:

— Пойдем гасить,— но он, глядя на пожар из-под ладони, сказал:

— Не-ет, чужому на пожаре — опасно, а зримость и отсюдова хорошая.

Это было утром в праздничный день Ильи Пророка, народ сельский еще торчал в церкви, но по улице уже мчались ребятишки, был слышен истерический крик женщин, по плитняку церковной паперти прыгал толстый мужик с деревянной ногой, дергал веревку колокола,— бил набат и ревел, как медная труба:

— Пожа-ар, мпряпс-е, горите-е...

Церковь тошнило людьми, они вырывались из дверей ее, рыча, взвизгивая, завывая, прыгали со ступеней паперти через судорожно извивавшееся тело какой-то женщины, празднично пестрая масса их крошилась на единицы, они бежали во все стороны, обгоняя, толкая друг друга, выкрикивая:

— Го-осподи!.. Батюшка, Илья Пророк!.. Матушка... Пресвятая!..

Торопливые удары набатного колокола хлестали воздух, из-под ног людей вздымалась пыль, заунывно выли и лаяли собаки.

Изумительна была быстрота, с которой опустела церковь, но еще более поспешно действовал огонь,— он уже обнял всю избу, вырывался из двух ее окон и точно приподнимал избенку от земли. Загорелось еще что-то, взлетали круглые облака густо-сизого дыма.

На траве у паперти валялась, всхрапывая и взвизгивая, в сильнейшем припадке истерики кликуша в пестром ситцевом платье. Выгибаясь дугою, хватая пальцами траву, она точно боялась оторваться от земли, ноги ее — в красных чулках, как будто с ног содрана кожа.

Солидно, не торопясь, но шагая широко, на паперть вышел тощий, высокий, сутулый церковный староста, лавочник Кобылин, в поддевке, очень похожий на попа в рясе, а за ним выбежал, крестясь, голубой попик, кругленький, черноволосый, румянощекий. Приставив кулаки ко рту, как бы держа себя за седую бороду, Кобылин кричал:

— Иконы-то... образа-то захватите...

Шлепнув себя ладонями по бедрам и мотая головою, точно козел, он сказал:

— Экие бараны!

Затем, благодарно глядя в небо, перекрестился.

— От меня — далеко, слава те Христу,— а поп спросил, глядя на кликушу:

— Это — Марковых женщина?

— Ихняя. Лизавета.

— Неприлично как она... Ефим, ты бы ее убрал, в сторожку, что ли...

Хромой мужик, перестав бить набат, стоял, прислонясь плечом к стене, отирая пот с одутловатого безглазого лица. Проворчав что-то, размахивая длинными руками обезьяны, он спустился с паперти, взял женщину под мышки, приподнял ее, но она судорожно выпрямилась, выскользнула из рук его и, толкнув хромого, заставила его сесть на землю, а сама крепко ударилась затылком о ступень паперти.

— Ух ты! — вскричал хромой и матерно выругался.

— Неосторожный какой,— упрекнул его поп.

Кобылин глухим басом сказал:

— Ну, ничего, пускай ее корчится, глядеть некому. Идем чай пить, батя...

Кучка молодежи весело тащила по улице гремучий пожарный насос, торопливо шагали старики, один из них, в сиреневой рубахе и белых холщовых портках, седенький, точно высеребренный, и глазастый, как сыч, выкрикивал:

— Это обязательно кузнец! Он вчерась, затемно, дачнику лосипед чинил.

— Не любишь ты кузнеца, дед Савелий!

— Зачем? Я — всех люблю, как богом заповедано! Ну, а ежели он — пьяница и характером — дикой пес...

Где-то отчаянно и как будто радостно закричали:

— У Марковых занялось!

Да, загорелась крыша надворных построек богатого мужика Маркова, и огонь, по стружкам, по щепкам, бежал, подбирался к недостроенной избе, еще без рам в окнах, без трубы на тесовой крыше. Многочисленная семья старика Маркова, предоставив пожарной дружине гасить огонь, поспешно опустошала пятиоконную жилую избу и клеть, вытаскивала сундуки, подушки, иконы, посуду; батрак Семенка и студент, дачник Марковых, приплясывая на огоньках стружек и щепы, сгребали их железными вилами, высокая, дородная девица плескала на ноги им водой из ведра, батрак весело покрикивал на огонь:

— Ку-уда? Шалишь! Барин, не зевай, брючки загорятся!

Огромный старичина Марков в чалме буйных сивых волос, с бородою почти до пупка, толкал в огонь одно-

глазую сестру свою, старую деву, громогласно орал на нее:

— Ближе, дура! Ближе, курва, я те говорю!

Высокая плоскогрудая Палага, держа обеими руками икону, показывала ее огню и, сверкая одиноким зеленым глазом, визжала:

— Заступница милосердная, купина неопалимая, спаси, сохрани! Господи! Соседи, что же вы... Помогите!

— Ближа-а! — ревел Марков, одной рукой поддергивая штаны, а ладонью другой толкая сестру в спину, в затылок. Она, прикрывая лицо иконой, отскакивала от огня, бормотала:

— Да что ты! Сгорю ведь я...

И еще более визгливо, отчаянно звала соседей на помощь, а брат, мигая, сверкая страшно выпученными глазами, всё толкал ее на огонь, и отблески огня наливали глаза его кровью. Когда Марков ударил старуху по затылку слишком сильно, она, высоко взмахнув иконой, упала лицом в пыль, на нее посыпались искры; пытаясь встать, она шлепала иконой по земле, мычала:

— У-ух, о-ох!

Брат схватил ее за ноги, оттащил прочь, вырвал икону из рук ее,— у него свалились штаны до колен, тогда он, сунув икону под мышку себе и вздергивая штаны, яростно взревел:

— Эх, дьяволы, мать вашу...

Дьяволы — небольшая группа стариков, старух и среди них шорник — молча стояли на той стороне улицы, у плетня огорода, следя, как семья Маркова и человек пять соседей его, сломав плетень, таскают имущество в огород, следили, шевеля губами, точно считая чужое добро или молясь. Эта безмолвная группа людей быстро разрасталась, подходили, напившись чаю, миряне и дачники полюбоваться игрою огня, борьбой с ним.

Огонь потрескивал, посвистывал, шипел, посылая во все стороны маленьких красных гонцов, взметывая, вместе с дымом, горящие головни, с лисьей хитростью и как бы подражая воде, растекался ручьями, змеино ползал, пытаясь ужалить ноги людей. Молодежь пожарной дружины забрасывала в огонь четыре багра, отрывала ими бревна, тес, кричала:

— Ра-азом! Ух, да-ух! Тащи-и...

Воду подвозили две бочки, но они рассохлись, половина воды вытекала по пути к пожару, несмазанный насос стучал и скрипел, вода из шланга выливалась бессильной, тонепькой и жалкой струей. Огонь брызгал на людей искрами, горячий воздух жег руки, лица, люди работали недружно и неохотно, видя, что сгорят только две избы богатого мужика и что на крышах ближних изб сторожко сидят хозяева, поливая тес водою из колодцев. Солидный, бородатый, лысый писатель Евтихий Карпов ласково и строго убеждал зрителей:

— Что же вы, миряне, не помогаете? Надобно помогать людям, которые терпят несчастие. Сегодня вы поможете им, завтра — они вам помогут.

Кто-то из толпы сердито спросил:

— А вам, господин, как известно, что и завтра пожар будет?

— Табачок,— заворчала старушка в синем платье и с лицом синеватого цвета.— Гостите у нас, а папироски курите, бесову забаву.

И еще сердитый голос:

— Ребятишек приучаете к табаку.

Толстый мужик в клетчатом жилете поверх розовой рубахи, в синих пестрядинных штанах и босой, ласково ухмыляясь в рыжую бороду, смотрел на Карпова маслеными глазами и уговаривал его:

— Ты, Евтихей Павлов, не слушай дикарев этих. Чего они понимают? Живут дачниками, а туда же, ворчат — как собаки на чужого.

— Живут? — закричали на него.— Кабы не судьба паша горькая...

— Нужда заставляет избы под дачи сдавать, мерин!

— Он — знает. Сам сдает.

— Ему бы только чаи распивать с дачниками-то...

Кто-то веселым голосом прокричал:

— Кузнеца нашли-и!

В толпе озабоченно откликнулись:

— Костантин, айда кузпеца бить...

Часть зрителей быстро пошла прочь, а маленький остробородый человечек, прищурив детски ясные глазки, сказал:

— Докажут ему, кузнецу-то! Докажут, что бог создал человека, а чёрт кузнеца.

— Бог — Адама создал, а не человека,— сурово вмешалась старуха.— Не говори чего не знаешь.

— Да ведь Адам-от человек же?

— Адам — крылатый был, вроде ангела, до греха с Евой, а после того у Адама-то от крыльев одни лопатки остались...

— Эй, бабы, слышите?

— Поломали, повыдергали нам бабы крылья-то.

— А и верно! Вредное сословие...

— Бабы-то? Вреднее — нет...

— Сказано: «Куда бес не поспеет, туда бабу пошлет».

Около Евтихия Карпова — шорник, его умненькие глазки сухо и остро усмехались, солдатское плюшевое лицо собралось в комок мягких морщин, он говорил негромко и поучительно:

— Вы, барин, не беспокойтесь. На пожаре у мужиков разум, как воск, тает. Всякому до себя, господин хороший...

— Нет, позволь,— пробовал возразить Карпов.

— Да, пожалуйста. Я ведь не спорю.

— Видишь ли: мир, община...

— Конешно,— поторопился согласиться шорник.

— Общая жизнь — понимаешь?

— Вот, вот,— снова согласился шорник и отошел прочь.

— Какой бестолковый,— сказал мне Карпов, глядя в спину шорника.— Портят крестьянство отходники, оторванные от почвы... Покурим? — предложил он, вынув портсигар, но оглянулся и — спрятал его в карман, объяснив:— Забыл: я еще чаю не пил, а натощак — не курю.

Группа мужиков, человек десять, вела кузнеца в разорванной от ворота до подола грязной рубахе, по лицу его, как бы нарочно смазанному сажей, на растрепанную бороду текла кровь, он шагал, покачиваясь, и мычал:

— Сволочи, спросите Пашку Авдеева или дачника его — мы втроем за Волгой ночь были.

— Был — так был.

— Узнаем — поверим.

— Сволочи. Я в гору шел, когда вспыхнуло, мать...

— С тобой — не спорят. Шел — так шел.

— А за что били? За что? Мать...

— Разберем — узнаешь. Не лай.

Прошли, и в толпе пронзительно и торопливо зазвучал женский голос:

— А мое слово — подожгла Лизавета-кликуша...

— Ты — видела?

— А ты в одно то веришь, чего видишь? В бога — веришь, а — видел его? В Москве не был, а — знаешь, что Москва-то есть? Э-х, лопоухий чёрт...

И еще быстрей, еще более горячо женщина продолжала:

— Побей меня гром — она, Лизавета. Обидели бабу в кровь, в самые печени обидели, вот она и возместила...

— Давай, давай, давай,— дружно закричали гасители огня, зацепив баграми горящие бревна, и оторвали от избы сразу венцов пять; огонь брызнул искрами, вздохнул синим дымом в небо, как бы напудренное горячей сероватой пылью, и еще быстрее стал доедать то, что обнял, превращая дерево в красное золото углей. Парни поливали край огромного костра скудной струей из шланга, девки плескали в огонь ведра воды, огонь обращал ее в дым, в пар, шипел, посвистывал, трещал и делал свое дело. Покрикивая, повизгивая, прыгали босоногие мальчишки, загоняли длинными хворостинами головни в костер; посредине улицы шагал, как журавль, староста Кобылин; подойдя к зрителям, он сказал замогильным басом:

— Надо было смиренно достоять обедню тем, которые незаинтересованные, а бросились все, вот господь и тово... и наказал...

— Кого наказал-то? — вскричала женщина.— Богатого, а богатому и пожар — выгода. Марковы-то в земстве застрахованы... Наказал!

— Аксенова всегда всё знает, во всех кармапах копейкп считала,— сказал Кобылин, а женщина плачевно кричала:

— А я за что наказана? Вон, от избенки-то и углей не останется.

— Тебя за распутство бог наказал,— объяснил Кобылин и пошагал через улицу — туда, где на завалине избы старшего сына сидел Марков, рядом с ним — ведро квасу, в руке его эмалированная кружка, он мочил в ней губы, бороду, глотая квас, и говорил сыну:

— Пожег сапоги-то? Форсите всё, щеголяете.

Сын, коренастый, рыжеволосый, стирая рукавом рубахи пот с широкого остроносого лица, стоял около и, поднимая то одну, то другую ногу, угрюмо осматривал порыжевшие головки сапог.

— Чать — праздник,— уныло сказал он. Отец закричал:

— Али ты — парень? Женатый, дети есть...

Кобылин сел рядом с Марковым, взял из руки его кружку и зачерпнул квасу, говоря:

— Ропщете? Роптать — грех. Пожар — дело божье. На людей роптать можно, а на бога — грех.

— Люди,— сказал Марков и матерно выругался, а Кобылин, перекрестив кружку, выпил квас и, покачивая головой, продолжал:

— Люди — помощники нам слабые. Не любят нас, считают счастливыми. А — какое счастье? Вот — погорел ты...

— Пожарная снасть — плоха у нас,— жалобно сказал молодой Марков. На его слова старики не обратили внимания. Кобылин спросил:

— Сестра-то сильно обожглась?

— Ничего,— ответил Марков.

— У вдовой-то снохи — припадок?

Старик не ответил, а сын, подняв щепку, замахнулся бросить ее в огонь, но швырнул вдоль улицы. Кобылин вздохнул.

— Слушок есть, будто чья-то баба угли из самовара вытряхнула.

— Кто видел? — угрюмо спросил Марков.

— Не знаю кто. А — говорят. Будто даже Лизавета ваша...

— Отойди, дьяво-ол,— заорал Марков, вскочив на ноги. — Что ты дразнишь, а?

Кобылин встал, выгнул спину, как верблюд, и по-

шел прочь, оглядываясь через плечо, говоря бесцветным густым голосом:

— Тебе, кум, молиться, а ты — злишься. Бог не зря наказывает...

Сын Маркова, почесывая бедро сжатым кулаком, проворчал:

— В рыло бы ему дать.

Отец встал, плюнул вслед куму и ушел во двор избы, опустя руки вдоль тела так, точно нес большие тяжести.

Огонь, довершая чистое свое дело, становился всё ниже ростом, как будто уходил в землю, под золотые груды углей. Серым дымом курились облитые водою бревна и вдруг снова вспыхивали, кудрявые огоньки бежали вдоль их, гасли в одном месте, упрямо появлялись в другом. С веселой яростью кричали мальчишки и били огоньки палками, высекая из головней стайки золотых искр. Взрослые не спеша расходились по избам, на улице становилось тише, и вдруг в жаркий воздух врезался отчаянный вопль:

— Го-ори-им! Эй, гори-им!

За уцелевшей избой Марковых вымахнуло в небо сизое облако дыма.

К полудню за огородом Марковых, на окраине села, успели сгореть еще две избы. А под вечер шорник и я сидели на берегу Волги, в густой, но душной тени старых ветел. На реке — пустынно и скучно, солнце отражалось в ней тускловато, казалось, что мутная вода покрыта полупрозрачной пеленою какой-то ржавчины и от воды исходит неприятно густой, теплый запах болота.

Шорник аппетитно курит толстую козью ножку, из его рта, сквозь седые усы, вместе с дымом спокойненько текут давно обдуманные слова.

— Вот, значит, говорит мне этот, сочинитель твой: надо, говорит, народу жить сообща, братски-залихватски. Тогда, дескать, всё будет хорошо и достойно есть яко воистину, и хвалите бога во святых его, мать вашу за ногу...

Я возражаю:

— Ну, этак-то он не говорил — хвали́те бога...

— Погоди! А ты знаешь, как он думает?

— Знаю.

— Ни хрена ты не знаешь,— уверенно возражает шорник. — Ни единого нуля не знаешь. Ты еще — теленок, а не лицо. Тебя и вблизи от мордвина не отличишь, а ты мне противишься.

Как большинство бывалых людей, он любит похвастаться, а как большинство стариков — болтлив, но слушать его — приятно и полезно.

— Мне шестьдесят три года,— говорит он, почесывая ногу ногой и посыпая ее песком. — С девяти лет — работник, три ремесла знаю: шорник, шубник, суконщик. Семь губерний насквозь прошел, на Урале, даже за Уралом бывал, в сотнях церквей молился, в сотнях рек купался, а сколько баб, девок имел — тому счета нет. Так-то, мил друг Закорючкин!

— Что же он тебе еще говорил? — спрашиваю я.

Старик, прищурясь, смотрит на реку, с того берега отплывает большая лодка, загруженная женщинами в ярких ситчиках; оттуда слабо доносится песня.

— Он мне ничего не может сказать,— пренебрежительно отвечает шорник, помолчав. — А я ему: «Кто же, говорю, такой стол устроит, чтобы за ним все люди пили-ели? Чтобы, значит, смирный с буйным, лакей с барином, батрачок с хозяином бок о бок?» Он — удостоверяет: «Оттого и живем грязно, что живем разно». Не зря учился, словами — богат, так и сыплет, так и сыплет, даже слюна кипит на губах. Ну, меня словами не одолеешь.

Странное у него, шорника, лицо: шишковатый лоб — гладок, кожа на нем туго натянута — ни одной морщины — и блестит так же, как на лысине, а под седой щетиной щек и бритым подбородком — глубокие, дряблые складки. Когда он говорит — щетина шевелится, точно растет, и это неприятно видеть.

— Вот, говорю, люди в Сибирь тысячами переселяются, неделями ждут поездов, лежат на станциях, одни дохнут с голода, другие — пропиваются дотла, а ребятишки мрут, как тараканы в нежилой избе. Крышка народу! Не-ет, меня не переспоришь. Переспорь, я на тебя год буду даром работать. Видал, как пожар гасили? То-то. У соседа беда — не беда, а забава.

Окурком козьей ножки он прижигает мохнатую толстую гусеницу и, глядя, как судорожно она извивается, равнодушно говорит:

— Сколько этих кликуш по деревням! Доктора удостоверяют, что это болезнь, знахари доказывают — порча от злых людей, а попы — дескать, от беса. Я думаю: притворство, корчи эти. Притворяются бабы бесноватыми для того, чтоб их не били, а — боялись. Бабы — хитрые. Да ведь и всякому хочется от людей как-нибудь спастись.

Гусеница свернулась кольцом, замерла. Шорник раздавил ее пяткой цвета сосновой коры и вздохнул:

— Бают, кликуша подожгла, сноха Маркова, жена второго сына его. Муж ее в Сибирь загнан, дачницу убил, жил с ней, что ли... Вот вдова и корчится от вдовства своего. Да, наверно, и свекор покоя не дает, они тут все снохачи.

Я спрашиваю:

— Как ты это знаешь?

— Я здесь — не первый раз. Однова — целую зиму жил, тулупы пошивал. Да я и сам не дальний, из-за Лыскова. Месяца полтора на Марковых работал, жил у них. Он меня обсчитал, старый пес. У него — примета: обязательно обсчитать, хоша бы на пятак, а то, говорит, деньги переведутся. Н-да. Года его — за восьмой десяток перешли, а — гляди, какой боец! И сын у него, который убивец, хорош был: красивый, силач, грамотный, книги читал, с дачниками всё возился. Может, его и зря засудили. Ну, однако тоже был жадный.

Шорник зевнул длинным, воющим зевком, лег на спину, закинул руки под голову, прикрыл острые глаза.

— Мужик — чем сытей, тем жадней. Мужика, мил друг Закорючкин, досыта не накормишь, он — впрок ест. У него с господом богом неурядица: не то — бог даст, не то — откажет, голодом помирать прикажет. Стало быть: ешь в запас, чтобы бог-от спас.

Песня на реке зазвучала слышнее, старик вскочил и, прикрыв глаза ладонью, уставился на реку: лодка, точно цветами нагруженная, тяжело плыла против течения.

— Сюда перебираются,— сказал шорник. — Перо-

грузили лодку-то, дуры, утонуть могут. Они почти ежегодно эдак-то утопают. В юбках — недалеко поплывешь. Конешно, убыток невелик, баб — довольно много, а все-таки... беспокойство...

— Ты в бога-то веришь? — спросил я его. Он ответил ворчливо, поговоркой:

— «Божиться — божусь, а в попы — не гожусь». — Сел, сгреб ладонями холмик песка, покрыл его растрепанным картузом и, так устроив подушку, положил на нее лысую голову, заворчал: — Всё допрашиваешь, вроде как шпиён али — судья, земский начальник. А земский-то — кто? Он — помещик, его назначили на возврат мужиков крепостному праву. А при крепостном-то праве мне бы на одном месте сидеть истукапом без ума — вот оно что! Ну, скажем, тебя это не касается, как ты не мужик. А спрашивать — как сорье перетряхивать,— толку нет, Закорючкин. Ты — себя знай, кроме себя, мил друг, ни хрена не узнаешь. Да и себя-то...

Шорник безнадежно отмахнулся рукой от чего-то.

— Ты что сердишься?

— А — не приставай. Длинен ты, да не умен.

Я пригласил его в трактир чай пить.

— Дай вздремну,— сказал он, но тотчас же сел, продолжая ворчать:

— Беспокойный ты. Наянливый. Скажи тебе: верю, не верю. А — кто ты таков? Я тебя всего четвертый день вижу. Может, я так верю...

Скороговоркой, тоном привычного балагура, он произнес:

— «Бог в числе трех: святой дух — ко всему глух, отец — купец, любит почет, не угоди — сечет, сынок — баюнок, сам воскрес, а мы — неси крест»,— слыхал прибаутку? Мне, мил друг, не до богов, у меня вот ноги отнимаются. Ну, и — тревожно душе: куда пойдешь, где сядешь, как отнимутся ноги-то? Работал полсотни лет, а ни хрена нет... Марков-то сильно в жире, а у меня — одни жилы...

Он, как говорится, «попал на свою тропу», речь его бежит легко, свободно, чувствуется, что не вчера надуманы сердитые его мысли.

— Я тебе удостоверяю: о себе думай. Куда тебе дорога? К чему прицепиться? Вот о чем думай. А спрашивать будешь — тебе такого наврут, до смерти не распутаешь. Сам разбирай вопросы. Слыхал, как школьники говорят? «Вопрос: отчего ты бос? Ответ: лаптей нет». Вот те и вся премудрость...

Он засмеялся влажным смехом, похожим на кашель, всхрапывая, сплевывая; смех докрасна раскалил его лицо, шею и долго сотрясал его сухое, легкое, жилистое тело. Перестав смеяться, лег и, повторив: «Вот те и премудрость»,— как-то сразу — точно в воду нырнул — спрятался в сон. На реке всё яснее звучала песня, покачивалась лодка, в ней бабы шевелились, становясь всё крупнее, цветистей.

# ЭКЗЕКУЦИЯ

*«Экзекуция – исполнение судебного решения».*
Словарь юридических терминов

Май был сухой, дождь только дважды оросил жесткий суглинок полей деревни Дубовки, и опять хвастливо развернулись, всё более медленно пошли длинные жаркие дни. С июня зашумели сухие грозы, обманывая надежды крестьянства. Только во второй половине июня небо сплошь покрылось оловом облаков и на поля посыпалась мелкая пыль дождей, назойливых по-осеннему.

— Видать, и семян не воротим,— уныло соображали хозяева Дубовки, глядя на взъерошенные скудными всходами клочья своей земли,— она даже в урожайные годы давала 35—40 пудов при посеве восемь — десять на десятину.

Удобрять ее нечем было, скота мало, лошадные мужики ездили за 42 версты в город и, покупая там навоз у дворников купеческих домов, немножко подкармливали свои наделы, даже платили навозом безлошадным беднякам за батрацкую работу. Вообще Дубовка жила трудно, как и многие деревни этого скудного уезда, а волость, в которую включалась Дубовка, особенно славилась бедностью и частыми продажами имущества крестьян за недоимки. Из 52 семей Дубовки половина мужиков осенью уходила в город колоть дрова мещанству по 15—20 копеек за погонную сажень, весною — набивали погреба снегом, окалывали грязный лед на улицах, хватались за всякую работу, только б сохранить семье лишний кусок хлеба. Зимою плели лапти из лыка, тайно надранного в монастырском лесу, плели вентери для ловли рыбы и корзины из прутняка, нарезанного в оврагах. Бабы нередко уходили

в город в прислуги, и многие приживались там, бросая мужей.

Дубовка прикрепилась на извилистом берегу какой-то древней реки, она капризно избороздила землю долинами, оврагами, построила холмы, и от нее осталась узенькая, почти пересыхавшая летом двуименная речка Юла, или Безымянка. Весною Юла собирала в себя ручьи с полей и, пополняясь рыжей, глинистой водою, ежегодно обрывала, обламывала берега, понемножку сокращая площадь посевов и узкую полосу лугов. Бедность и убожество Дубовки никого не удивляли,— деревня славилась дерзостью мужиков, пьянством и сердитым отношением к ней начальства,— начальство сердилось не только за неплатеж налогов, а и за то, что считало мужиков Дубовки кляузниками, склочниками, любителями судиться.

Был в Дубовке свой мудрец, солдат Ераков, защитник Севастополя, маленький, тощий, с бритым подбородком и баками, с длинным носом дятла и сердитыми глазами под навесом седых бровей, человек гордый, уверенный в своей мудрости. Прилепился он на околице деревни в хорошей избе с большим огородом, имел десять колодок пчел, любил читать псалтырь по усопшим, учил людей правилам хорошей жизни и терпеть не мог детей. В огороде у него работали бабы-соседки и старуха, вторая его жена, забитая героем до полной глухоты. Он рассказывал, что дубовцы были переселены на эту неплодородную землю из Смоленской губернии после войны с Наполеоном в наказание за бунты и что до воли, до 61 года, он в Дубовке был «бурмистром», но никто из стариков слова «бурмистр» не понимал и Ераков начальником крестьянства не помнил. Как многие из деревенских мудрецов той поры, он объяснял тяжесть и горе деревенской жизни очень просто.

— Забаловались люди. Не верят ни в бога, ни в беса, живут для брюха. И царя не жалеют, а царь об нас печется — волю дал, думал — народ богаче будет. Ну — ошибся его императорское величество. Молодой был, добрый, в молодости и волчонок добер. При помещиках — лучше жили, тогда власть была у мужика на вороте, а не в городе. Помещик знал: от голодного мужика,

как от козла, ни шерсти, ни молока. Он ходил по земле своей с палочкой и всё видел: одпому — поможет, другому — по шее наложит. Ну, люди и жили в порядке. А теперь вот земство завели, а оно, земство-то, на даче сидит, в карты играет с вечера до утра. Свечки в стеклянных пузырях жгут, чтобы насекомое не беспокоило. Сам видел это баловство. А мужики с помещиками судятся, чего никогда не было.

Кроме Ераков, был еще мудрец Серах Девахин, портной, птицелов, охотник, мужик дикого вида: широкоплечий, но сутулый и плоскогрудый, как будто раздавленный. Ходил он по земле, не торопясь и как-то неуверенно раскачиваясь на длинных погах; лицо имел высоколобое, стиснутое густейшей светло-русой, как бы полинявшей бородой; он вообще был чрезмерно волосат, кустики волос росли у него даже на пальцах рук. Портной, а сам одевался неряшливо, в какие-то грязные и рваные лохмотья, точно на показ своей бедности. Ему было за сорок лет, но солидные люди звали его — Сережка. Странно было видеть на узком лице Сераха большие и очень красивые синеватые бабьи глаза, его глухой тяжелый голос и дикий вид никак не совпадали с мягкой улыбкой этих глаз. Он был любимцем женщин и парней. Это они наименовали его Серахом, всегда внимательно слушая его размышления и, должно быть, считая «блаженным». Покуривая пятаковую глиняную трубку на длинном самодельном чубуке, он гудел, глядя в землю:

— Вчерась в лесу выбрал сухое местечко — лег, уснул. Проснулся — гляжу: гриб стоит, крепенький такой молодчик, белый гриб. А когда ложился я — не было его. Вот, ядри вашу долю, гриб три часа растет, а жеребенок года.

Матерно он ругался редко, а когда его спросили, почему он говорит «ядри», «ядрит»,— объяснил:

— Ядро — значит зерно, самая суть. Ядри — стало быть, крепи, грей, накаливай, как, примерно, кузнец. Не накалишь — не скуешь. Это и людей касаемо.

Такие его речи были мало понятны, но привлекали молодежь тем, что не похожи были на обычные речи дедов, отцов и всегда служили началом для иных речей.

— Зря третесь, ребята, в город надо уходить, на фабрики,— негромко и раздумчиво гудел он. — Там народ рабочий грамотнее, ловчей, богаче. Там — пестрота! А у нас: зимой бело да морозно, летом зелено да знойко. В одну пору — снег, в другую — пыль. Эдак-то жить не больно охота. В городе человек может цену себе поднять, а здесь: ты — на гору, сосед — за ногу. Вот Лобов начал сад разводить, а вы, ядрит вашу долю, все посадки у него выдергали. У нас состязание неправильное: состязаются для того ради, чтоб один выше другого не лез, все должны одинаково картошку есть. В городе — там всякий ярится другому на плечи вскочить, там — не зевай! Васька Гогин улицы мостит, брюхо отрастил, у него под рукой боле полусотни людей ходит, а когда он парнем был, я ему, дураку, морду бивал, как хотел.

Солидные люди считали Сераха смутьяном, вредным человеком, и Влас Белкин внушал парням:

— Вы Сережку не слушайте, он — дурак и всё врет.

— А какую неправду говорит он? — спросил бойкий подпасок Костяшка.

Белкин ответил:

— Правды много, ее — как васильков во ржи. Случайно и дурак правду сказать может, однако учат добру не дураки, а старики.

Белкин — небольшой, сытенький, круглоглазый, горбоносый, похож на филина. Он держал лавочку, скупал у мужиков и баб лапти, корзины, всякое рукоделье, платил керосином, сахаром, чаем, нитками, иголками и всякой мелочью. У него было два сына — один в солдатах, другой работал грузчиком на Волге и уже третий год не являлся на зиму в деревню. Румянорожий Белкин тихонько покашливал, притворяясь нездоровым, но, овдовев с год тому назад, усердно сватался к Левашевой Христине, одинокой женщине, не любимой деревней. Не любили ее за то, что она пренебрегала парнями, да и вообще мужики не пользовались ее благосклонностью.

В прошлом жизнь ее была несчастная, потом стала темной. Отец, коновал, выдал ее замуж за слесаря в затон на Оке, но вскоре пьяный утонул вместе с зятем.

Христина, родив ребенка, умершего через месяц, пошла в кормилицы к каким-то дачникам, уехала с ними в город, и лет десять о ней не было «ни слуха ни духа», а потом она вдруг явилась, солидная, красивая, с нахмуренным лицом, дерзкая на слово. Поставила себе уютную избенку в два окна, развела огород и, когда надо, нанимая работать развеселую бобылку Дуняшу Котомину, жила одиноко, не очень приятельствуя с бабами, но охотно принимала в гости, всегда вдвоем, Сераха и бывшего грузчика Лобова, чернобородого мужика с отрезанной ступней левой ноги, прозванного Однопятым. На святки, на Пасху к ней приезжала из села старушка учительница и будто бы учила Христину — грамоте — над этим в Дубовке посмеивались. В сватовстве Белкину она отказала и, должно быть, обидно. Он после этого начал рассказывать, что Христина три года сидела в арестантских ротах, а после того занималась стыдным ремеслом в публичном доме. Зная, что Белкин ни о ком, кроме себя, не умеет сказать доброго слова, ему вообще не верили, но рассказы о Христине многие приняли как правду,— Белкин был в дружбе с урядником. Однажды Христину пробовали ограбить, но она вовремя проснулась и поранила чем-то грабителя,— он ушел, оставив кровавый след. Другой раз парни вытоптали ей гряды в огороде, после этого она явилась на сход и сказала:

— Вот что, миряне, я — баба сильная, если поймаю которого из ваших балбесов, убью!

Сказала так, что поверили: убьет. А приятели ее, Лобов и Серах, обещали парням кости переломать. Христину оставили в покое, но еще более крепко невзлюбили.

— Под барыню живет, сука!

Три года Дубовка судилась с монастырем, который не уплатил крестьянству 1607 рублей за купленную у него часть выгона с оврагом, за работу по устройству в овраге плотины и очистку двух прудов. Иск свой Дубовка проиграла — монастырь доказал, что земля была пожертвована ему крестьянством, а за работу

уплачено им хлебом и скотом. Судились четвертый год с помещиком Красовским, который вырубил у крестьян березовую рощу, выкорчевал порубку и начал сеять на ней лен. У Красовского оказались какие-то планы и документы, из них явствовало, что дубовцы двадцать шесть лет ошибочно считали рощу своей.

Влас Белкин нашел адвоката, который вел дела Дубовки бесплатно, из «милости к ближним», из желания «послужить народу», а может быть, потому, что дразнил начальство своим либерализмом. Платили адвокату по 50 рублей за поездки в Москву в судебную палату. Деньги эти собирал с деревни Белкин, себе он тоже требовал на поездки в город к адвокату полтинник в сутки. Дело с Красовским кончилось в сентябре 83 года — в неурожайный год, о котором говорилось в начале этого очерка. Судебная палата постановила: «В иске крестьян деревни Дубовки отказать, возложив на них судебные и за ведение дела издержки».

Печальное решение это привез Белкин теплым и ясным вечером,— привез его на новой, только что купленной лошадке, такой же кругленькой и сытой, как он сам. Тотчас вслед за ним прискакал урядник Сашура Кашин, темненький, как цыган, сухощавый и чрезвычайно важный воин в синих очках, с саблей на левом боку, с толстеньким револьвером в чехле на правом, со шпорами на каблуках щегольских сапог. Староста Дубовки Софрон Грачев лежал в городе в больнице — ему вырезали грыжу. Сашура быстро созвал сход и высочайшим тенором строго прочитал копию постановления палаты с крыльца лавки Белкина.

Мохнатые лица мирян одеревенели, головы уныло понурились, и некоторое время все молчали, как бы не дыша. Потом Христина Левашева сказала громко и насмешливо:

— С волком кобыла тягалась — хвост да грива осталась!

Сашура, грозя пальцем, напомнил ей:

— Гляди, против закона говоришь!

Христину поддержал солдат Ераков:

— Судились тараканы с петухом. Я вам, дурное племя, говорил — бросьте!

Крестьяне стояли и сидели на земле, ошеломленно, молча поглядывая друг на друга, вздыхая, тихонько крякая. Урядник шептался с Белкиным, стоявшим рядом с ним. Серах громко откашлялся и спросил «ни к селу ни к городу»:

— Белкин, чего это ты коня купил на зиму глядя?

Лавочник вздернул голову, точно его снизу в подбородок ударили невидимой рукой, и, мигнув круглыми глазами, торопливо закричал:

— Здравствуйте! Купил — значит, надо! При чем здесь конь? Тут вопрос: издержки с нас взыскуют, поняли? Платить издержки-то надоть!

Десяток голосов сразу крикнул:

— Чем платить?

— Много ли?

— Будя, плачено!

— Не платить, мать...

— Четыре года платили...

— Братцы, что же это, а?

— Грабеж!

— Какая сумма?

Топнув ногой, урядник заорал:

— Тише, стадо!

Но уже голоса мужиков и баб слились в сплошной рев, стон, толпа закачалась, точно земля поплыла под ногами людей, они хватали друг друга за руки, за плечи, за пояса. Сашура, стоя за спиной Белкина, кругло открыв рот, шевеля тараканьими усами, тоже кричал, размахивая рукой над плечом лавочника, как бы добавляя ему третью руку. Но, не слушая криков начальства, не глядя на него, миряне рычали и ревели, яростно поливая друг друга густейшей матерщиной, уже свирепо взмахивая кулаками.

— Уходи, драться будут,— предупредил Лобов Христину.

— Пускай,— сказала она.— Ничего.

— Говорили вам: мириться надо с Красовским,— неистово, истерически завывала какая-то женщина.

— Верно! Ераков говорил...

— Триста рублев давал Красовский? Давал?

— А сколько просудили?

Тут снова раздался трубный голос Сераха:

— Нет, узнать бы — зачем это Белкин коня купил?

И вслед за ним пронзительно закричала Христина:

— Ну, чего друг на друга скалитесь, как псы голодные, ну?

— Молчать тебе, курва! — рявкнул кто-то.

Но она продолжала:

— Полсотни-то, которые собраны на адвоката, Влас Васильев, добросердечный, с урядником Сашурой разделили...

В толпе дважды истерически крикнули:

— Стой, братцы!

— Тиш-ша!

И в наступившей тишине Христина надсадно продолжала:

— У Авдотьи они, пьяные, деньги делили. Вот она, Авдотья! Дуняша, верно?

— Ну да,— очень тонко и внятно ответила Авдотья.

— Ах ты, стерва,— взвизгнул урядник, оттолкнул Белкина, держась одной рукой за эфес сабли, а другой за револьвер, стоя фертом и подрагивая левой ногой.— Ах, непотребная...

Кто-то угрюмо спросил:

— Ты, дура, чего же молчала?

Авдотья повела плечом, отвечая:

— А кто бы мне поверил? И какая мне прибыль? Не один раз они делили деньги-то...

С этого и начался бунт дубовских крестьян. Кто-то ударил Авдотью, она пронзительно взвизгнула, и визг ее как бы дал команду людям. Человек десять, как один, бросились на крыльцо, легонький урядник подпрыгнул в воздух, хватая его руками, и тотчас исчез под ногами людей; Белкин вцепился в дверь лавочки, выкрикивая:

— Православные... братцы... Стойте! Миром надо...

Его оторвали от двери, бросили на землю и, покрякивая, матерно ругаясь, стали топтать ногами. Над густым месивом людей, каждый из которых стремился хоть разок ударить лавочника или урядника, высоко взлетел чехол револьвера с хвостиком и был пойман длинной рукой Сераха. Две березы стояли перед избой

Белкина, вечерний ветер срывал с них листья, желтые бабочки кружились над людьми. Прислонясь плечом к стволу березы, ласково глядя, как бьют, Серах раскачивал револьвер на ремне. Христина, стоя рядом, заботливо предупредила:

— Взгляни, не заряжен ли? Я намедни сказала Дуняше вынуть заряды-то. Они в барабанчик такой вденуты, шесть...— Говорила она спокойно, как будто не слыша и не видя, что творится кругом ее. Нестерпимо режущими ухо голосами отчаянно выли бабы, уговаривая мужей идти, бежать домой. Мужики, отталкивая их, лезли в драку, точно пьяные.

— Да уйди от греха, чё-орт!

— Убивают ведь...

— Господи! Что будет?

— На каторгу захотелось, чертям...

— В самом деле, не убили бы,— сказала Христина, глядя куда-то через головы людей.— Поди-ка останови...

Раскачиваясь больше, чем всегда, Серах шагнул к свалке и, хватая людей за шивороты, за руки, обнаруживая большую силу, начал разбрасывать их:

— Будя, будя! Учи, да не переучивай, а то еще дурее станут.

— Ограбили, разорили! — заорал в лицо ему растрепанный мужик, страшно выкатив налитые кровью глаза.

В стороне тощий подпасок Костяшка, притопывая, точно собираясь плясать, горячо говорил что-то пятку парней. Старуха мать дергала его за подол рубахи и ныла:

— Не лезь, Коська, в чужое дело, Христа ради! Уйди-и... Пропадешь! Христинушка, ты — разумная, отговори их, поджечь чего-то хочут!

Становилось тише, крестьяне разбились на мелкие кучки. Яркая заря осеннего вечера горела в небе, облака поплыли торопливей, сыровато-теплый ветер втекал с поля в улицу, гуще падал жухлый лист с деревьев.

У крыльца лавочки, упираясь руками в ступени, завалив корпус назад, тяжело дыша, сидел урядник в мундире с надорванным воротником, оторваннымн пу-

говицами. Без очков, опухшее, измазанное кровью, запыленное лицо его стало совсем черным и слепым. Он икал, кашлял, плевал кровью и слезно вскрикивал:

— Закон накажет. За казенные вещи... Револьвер украли... отняли, это — разбой! Не беспокойтесь... За казенную вещь строго взыщут...

Первые пьяными явились на улице братья Плотниковы — Митрий, семь лет работавший батраком у попа, веселый маленький мужичок, отличный певец и знаток церковной службы, и коренастый благообразный Василий, известный в крае охотник, тоже певун, неуемный пьяница, как и брат его. Шли они обнявшись, налаживались петь и мешали друг другу, не соглашаясь, какую песню начать. Остановясь перед урядником, Митрий плюнул под ноги ему, помолчал, глядя на лысую голову брата, и звонким тенорком затянул:

— «Тело злобы богопротивное отроцы божественнии обличиша».

Брат, кивнув головой, рявкнул:

— «Явите, вопия, тело мое...»

— Врешь,— сказал Митрий,— это из другого ирмоса...

— Сам врешь...

К ним подошел Серах, пошептался, посмотрел на Сашуру и сказал ему:

— Ты чего выставил себя на посмеяние? Иди к старосте в избу. Иди-ко! Можешь?

Урядник молча встал на ноги, пошел, держась в тени. Трое мужиков, посмотрев вслед ему, вошли в лавку, а какая-то женщина тревожно закричала на всю улицу:

— Эй, эй, глядите-ко, Сережка-то...

Лавку опустошили с невероятной быстротой. Всё что можно съесть: воблу, окаменевшие баранки, какие-то рыжие железные пряники — честно собрали в три корзины для общего пользования. Плотниковы и Серах нашли пять четвертей водки, торжественно вынесли всё это за околицу на берег Юлы, и человек сорок расположились цыганским табором для пира. Но уже сильно стемнело и явилась потребность в огне. Тогда кто-то предложил для костра разобрать крыльцо лавки, парни

живо сбегали, разобрали, оказалось мало, сняли ворота прихватили для растопки несколько связок лаптей.

До полуночи всё съели, выпили, мирно и благодушно, без ссор, без обид, посидели у огонька еще некоторое время. Братья Плотниковы согласно и вполне к месту запели было «Мира человеча обновление», но дальше не пошло — у Василия загорелась штанина. Некоторые уже уснули, другие разбились на группы, и в одной из них однопятый Трофим Лобов, не очень пьяный, сокрушенно и угрюмо говорил:

— Ошиблись маленько. Не надо было имущество трогать.

— Это — верно. Бить — можно, а разорять — нельзя.

— То-то и оно.

Лобов помолчал и догадался:

— А водка еще должна быть где-то.

— У Дуняши наверно есть.

— Дуня, скажи правду!

— Под клетью у Белкина ищите,— сказала Авдотья.— Ведь я у него беру, а не сама водку-то делаю.

Грузчик встал и пошел в деревню, странно втыкая в землю изуродованную ногу. За ним, покашливая, увязался какой-то маленький мужичок, а оставшиеся трое благоразумных деловито начали вспоминать ход событий.

— Кто первый Сашуру ударил?

— Будто Сережка.

— Не-ет, не он!

— Тогда Плотников.

— Который?

— Васька.

— На Василье не отыграемся, его губернатор на охоту выписывает.

— Лобов драться любит...

— Н-да, он — любит.

В стороне от этой группы сидели Христина, Костяшка, Авдотья и двое парней, над ними возвышался Серах. Седалищем ему служил пень, вымытый весенней водой, похожий на огромного паука. Тыкая в воздух чубуком трубки, Серах гудел:

— Рассказать — просто, доказать — трудно, вот что!

Доказывает цифра, число. Без числа ничего нельзя понять.

— В людях? — спросил Костяшка.

— И в людях. Один — есть один. Это — не число.

— Воры люди,— вставила Христина, достав из-под подола юбки бутылку, оглядываясь и наливая водку в чашку без ручки.— Либо воры, либо нищие.

Серах взял чашку из руки ее, подул на водку, выпил, курнул и сказал:

— Не осуждай! И воры и нищие — на дешевку живут. Без радости.

— Это — врешь. У воров — радость есть,— сердито возразила Христина. Серах махнул на нее рукой.

— Брось! Не всегда пляшут от радости.

— Не понимаю я разговора вашего! — с досадой и тоскливо заговорил Костяшка.— Люди вы умные, а загадками играете. Говорили бы просто. А то понять ничего нельзя.

Христина, позевнув, предостерегла его:

— Понимать не торопись, а то ошибешься в понятии.

— Такая скука — удавился бы, ей-богу! — напористо продолжал Костяшка.— Даже хлеб есть скушно. Живешь, как чиж в клетке. Еще летом ничего, а вот зима подходит. Волкам позавидуешь...

— Иди в город,— сказал Серах.— Помаешься там, ну с пользой для ума.

— Помаешься да и сломаешься,— добавила Христина и засмеялась, а потом сказала: — Шучу я. Иди, иди, ничего! Город научит... калачи есть. Вот иди со мной, я утром в затон пойду.

Воротился Лобов и его провожатый, принесли еще семь бутылок водки и с ней радость людям, все заговорили громче, веселей. Костер вспыхнул ярче, огонь острыми когтями, быстро хватая воздух, рвал темноту, как дым.

Луну стерли облака, ночь потемнела, люди, выпив, уходили в деревню, осталось десятка полтора, но эти неугомонно сидели до рассвета, а на рассвете кто-то восторженно закричал:

— Глядите — Красовский горит!

Крик этот как будто отрезвил людей, все вскочили, глядя на зарево в облаках, покрикивая:

— Ага, наказал бог вора!

— И-эх, ты-и!

Но радость погасили чьи-то угрюмые слова:

— Бог пожары летом зажигает. По зареву-то видно, что не усадьба горит, а сено на лугу. Стало быть, подожгли сено.

— Не наши ли ребята?

Говоря, люди уже шагали в сторону зарева и с каждой минутой быстрей, как будто пожар, становясь ближе, с большей силой тянул их к себе. Легконогий Митрий Плотников, идя впереди, оглядывался и, размахивая руками, увещевал:

— Давайте уговоримся: ежели Красовский там, сукин сын, не будем задирать его, а побалакаем по-соседски, добренько, может, он согласится заплатить нам чего-нибудь....

— Так заплатит, что все заплачем,— мрачно сказал Лобов.

Поднялись на бугор к ветряной мельнице, и стало видно, что горят два стога сена. Один стог снизу доверху был ярко одет в золотисто-красную парчу, около него чёртиками прыгали трое людей, тащили что-то, кричали; другой горел дымно, невесело; сквозь дым нехорошо просвечивали красные, мясные пятна. В сторону от него уходила крупная белая лошадь, запряженная в беговые дрожки, был слышен крик:

— Стой! К-куда, дьявол...

Лобов приостановился, поглядел на лошадь и быстро пошел наперерез ей, а Митрий Плотников, замедлив шаг, обернувшись к деревне, одобрительно сказал:

— Ползут наши!

Да, из деревни рассеянно шагали мужики, человек пять, и всё — люди, огонь, дым, рассвет — тянулось медленно, как бы хотело совсем остановиться. Но вдруг всё пошло иначе. Лобов перенял лошадь, разобрал вожжи, сел в дрожки и погнал навстречу своим, заорав диким голосом:

— Ребята, ломай дрожки! Пусть ему, дьяволу, убыток будет!

Это легкое дело было сделано в две-три минуты, белая лошадь вырвалась из толпы и стремглав помчалась к ограде усадьбы, влача по земле оглобли. Лобов, сидя на земле, крякал, выламывал железиной тонкие спицы из колес, мужики топали ногами, ломая дерево дрожек, гнули железные части, поругиваясь, покрикивая; кто-то пожалел:

— Эх, топора нет!

Митрий Плотников, спрятав за пазуху какие-то обломки, смотрел на усадьбу, восхищаясь:

— Красота!..

Над деревьями сада возвышалась острая фигурная крыша двухэтажного дома с башенками, балконами, со множеством окон; на стеклах, замороженных ночью, серых, как лед, уже розовато поблескивала утренняя заря.

Вдруг из-за угла ограды выскочил на длинном бронзовом коне Красовский, широколицый, с добротной бородой купца, в дворянской фуражке,— красный ее околыш удлинял его лицо, но белая тулья срезывала голову так, что казалось: головы-то Красовскому все-таки не хватает. Он скакал, звучно шлепая по лошадиным ляжкам плетью, наехал на людей и, ловко повертывая коня, матерно ругаясь, стал хлестать плетью уже по головам и спинам мужиков, приговаривая:

— Поджигать? Л-лавки грабить? Мерзавцы... Воры! Ага-а!

Люди бросились бежать, но Лобов схватил всадника за ногу, сдернул с коня и, распластав Красовского по земле, сел на спину его, сунул ноги свои под мышки ему и, придавив затылок ладонью левой руки, правой стал медленно размахивать в воздухе. Красовский хватал и царапал руками землю, бил пятками в спину Лобова, а грузчик кричал:

— Идите сюда, эй!

Митрий Плотников подбежал первый и удушливо забормотал:

— Трофим, побойся бога! Что ты делаешь? Господи...

Кто-то благоразумно посоветовал:

— Так ему неспособно говорить, надо перевернуть мордой вверх.

— Правильно.

Перевернули. И, глядя в раздутое, выпачканное землей лицо, Серах ласково спросил:

— Ты что же это, Владимир Павлыч, дерешься? Налетел, наскочил и без доброго слова — плетью хлещешь? Не годится эдак-то! Мы — не скот. Мы тебе зла не сделали...

Красовский, всхрапывая, как лошадь, стирал с лица, с бороды землю и молчал.

— Высудил с нас дело-то да с нас же издержки ищешь,— заговорили мужики.

— Да-а...

— Теперь нам осталось по миру идти.

Красовский молчал, поглаживая кисть руки, потряхивая головой. Митрий Плотников пытался выправить на своем колене измятую дворянскую фуражку и бормотал:

— Сердиться не тебе надо, Владимир Павлыч, мы — обиженные, нам полагается сердиться-то. Ушиб ручку-то? То-то.

Кто-то заметил:

— Мяса много, а косточки тонкие...

— Убить его надо,— хрипло сказал Трофим Лобов.

— Что вы хотите? — глухо спросил Красовский, не глядя ни на кого.

Мужики дружно загалдели:

— Мы хотим миром кончить.

— Издержки платить нет сил у нас!

— Не будем, так и знай!

— Стыдился бы нищих грабить.

— Чего вы хотите? — повторил помещик.

— Не согласны мы с твоим судом.

— Планы твои — фальшивые, вот что, барин...

— Мошенству учат вас...

Красовский осторожно поднялся на ноги и, оглядывая всех невидимыми из-под густых бровей глазами, заговорил с хрипотцой, покашливая:

— Всякое дело можно миролюбиво решить. А вы сено подожгли.

— Не-ет,— закричал Плотников с радостью.— Нет, мы сено не поджигали! Присягу дадим. Мы на пожар пришли...

— Помочь чтобы,— уныло сказал кто-то.

— Думали — усадьба горит.

— За сено не отвечаем.

— Спроси своих — они у стогов были, когда мы пришли...

— Дрожки разбили,— сказал Красовский.

Плотников подал ему фуражку, говоря не совсем уверенно:

— Дрожки — это лошадь будто разбила...

Мужики молча посмотрели на Лобова, он тряхнул головой.

— Ну, чего врать? Как малые ребята. Я дрожки изломал. К чёртовой матери...

— Вот видите,— сказал помещик и шагнул в сторону усадьбы, перед ним расступились. Тогда он пошел увереннее, быстрее, помахивая платком в красное лицо свое, держа в руке фуражку, и сказал:

— Дым какой едкий...

Это была неоспоримая правда: потянул утренний ветерок и окутал людей густым облаком серого дыма. Митрий Плотников, шагая рядом с барином, поддержал его:

— Сено еще ничего, а вот солома совсем ядовито дымит. В Орловской губернии в некоторых деревнях соломой печи топят, а избы-то курные, печи без труб, для пущей теплоты, дым-то прямо в избу идет — беда! Очень глаза страдают от этого...

Сзади словоохотливого мужичка и внимательно молчавшего барина шагало, перешептываясь, человек десять, а другие, постепенно отставая, на минуту останавливались в поле, точно часовые, затем собирались в кучки, спрашивая друг друга:

— Обманет?

— А как знать?

— Они, господа, капризные...

— Н-да...

— Им и добро сделать недорого стоит.

Лобов дошел до остатков дрожек, постоял над ними,

взял колесо, швырнул его, оно немножко покатилось и легло. Он взял другое, приладился, пустил его. Это колесо, подпрыгивая на кротовых кочках, укатилось дальше. Почесывая грудь, Лобов медленно пошел в деревню. Всходило солнце, мужик шел против него, нахмурив тяжелые брови, пряча серые сердитые глаза.

Двое суток Дубовка прожила в тревожном и унылом ожидании каких-то событий, но события не торопились, и жизнь текла надоедливо медленно. По утрам кое-где сухо барабанили цепы, молотя рожь,— собрали ее по 12—15 пудов с десятины. Вечерами скучно выпивали у кого-нибудь в овине, и Серах, пошевеливая пальцами в плотной бородище, размышлял:

— Лето было вредное, а осень — на-ко вот! Праздник какой выдался. И всё так...

— Что всё? — спросили его.

— Несогласно в жизни,— объяснил он.

Белкин исчез куда-то, Василия Плотникова вызвали на охоту, ушла Христина. Глухонемой брат старосты Грачева забил дверь лавки Белкина досками, закрыл окна ставнями и сидел на завалинке, не подпуская к лавке мальчишек, грозя им палкой и мыча, как бычок.

На третьи сутки утром мальчишки подняли тревогу, закричав:

— Солдаты идут!

Деревня настороженно притихла.

Въехал с поля верхом на сером коне толстый круглолицый офицер в очках, со смешной крохотной бородкой под нижней губой, за ним по четверо в ряд вошла колонна солдат и походная кухня с длинной трубой, похожая на огромного гуся. Офицер приказал мальчишкам позвать старосту. Они объяснили:

— Староста в больнице, помирает, ему брюхо взрезали.

Офицер строго крикнул:

— Зовите, кто у вас тут старший?

Мальчишки живо привели солдата Еракова, он встал во фронт, отдавая честь, и выслушал приказ:

— Чтоб ни одна душа из деревни не выходила, а к полудню собрать всех взрослых — понял?

— Так точно.

— Солдат?

— Так точно. Севастополь защищал.

— Сколько лет тебе?

— Восемьдесят два.

Ераков покосился на врагов своих — мальчишек и вполголоса заговорил:

— Осмелюсь доложить вашему благородию — народ здесь от мала до велика вор и буян...

— Ну, иди, старик! Марш! — сердито сказал офицер.

Оставив половину солдат на улице, другую он растыкал по одному вокруг деревни, по огородам. Солдаты были не страшны: мелкорослые, пыльные, в стареньких, потертых шинелях, а сапоги почти на всех новые, рыжей кожи.

— Это что же будет? — спрашивали миряне друг друга, выходя на улицу, рассаживаясь по завалинкам и посматривая на серое войско. Митрий Плотников торопливо и успокоительно объяснял:

— Обыкновенная маневра, как полагается осенью на случай войны. Государи любят зимой воевать, когда народу свободно. Ну, вот эти, значит, вроде как бы взяли нас в плен, а другие придут вышибать этих...

— Врешь! — радостно покрикивал Ераков.— Это пороть вас будут, пороть...

— Когда ты, Ераков, лопнешь со зла? — спрашивали его, не веря историческому опыту защитника Севастополя.

Офицер ушел в избу старосты. У Софрона Грачева был самый большой самовар из четырех медных в деревне, остальные чаепийцы пользовались дешевыми жестяными. Войско развалилось в верхнем конце деревни на земле, как овечье стадо, над ним колебались зеленоватые струйки махорочного дыма и лениво крутился серый дым походной кухни.

Дубовцы пытались заговаривать с солдатами, но ка-

кой-то с саблей на боку унтер или фельдфебель свирепо отгонял их прочь. Серах пробовал побеседовать с часовым, но часовой, не подпуская его к себе, закричал:

— Назад!

— Да мне вот к речке!

— Назад! — повторил часовой, неприятно пошевеливая ружьем.

В деревне стало необыкновенно тихо, даже собаки забыли, что на чужих следует лаять, и не кудахтали куры, припрятанные догадливыми бабами. Тепло и ласково сияло солнце, освещая дубовцев на завалинах, точно нищих на церковной паперти. К полудню улица опустела, народ разбрелся по избам обедать, солдаты тоже занялись этим делом. А почти тотчас после обеда, откуда-то сверху, как будто с крыши, пугливо крикнули:

— Еду-ут...

— Стройся,— приказал воин с саблей на боку.— Губернатор едет,— сказал он кому-то.

Со двора Грачева выбежал офицер и скомандовал:

— Смир-рно!

Солдаты вскочили, построились, одеревенели, и в деревню въехал губернатор. Приехал он не в гости, а, видимо, по делу, и не один, а в сопровождении четырех конных полицейских. Рядом с ним в коляске сидел толстый важный человек с круглым и усатым лицом старого кота из богатого дома. Губернатор выскочил из коляски легкий, тонкий, серый, вытер платком лицо, обмахнул серебряную бородку и, здороваясь с офицером, громко сказал:

— Надо было на колени поставить...

— Не имел приказания, ваше превосходительство.

— Ну да, я знаю! Это должен был исправник, но я его обогнал.

Затем губернатор, офицер и усатый человек ушли в избу старосты, а кучер губернатора тихонько двинул страховидных лошадей вдоль улицы,— лошади шли, высоко поднимая сухие, гладкие ноги, зверски оскалив зубы, фыркая, брызгая пеной и поглядывая на людей искоса, свирепо, глаза их были налиты кровью и внушали уныние.

Некоторое время спустя бешено примчался в облаке пыли еще экипаж, в нем сидели исправник, становой пристав, старуха в сером платье с красным крестом на груди и красной перевязью на рукаве, их сопровождали трое урядников верхом. И наконец бойкая пестрая лошадка прикатила бричку с грузом, зашитым в рогожу. Затем всё двинулось так быстро, как будто поехало с крутой горы.

Полицейские, согнав дубовцев в кучу, выравняли их в два ряда, и один, с медалями на груди, приказал:

— Становись на колени!

— И бабы? — спросил Серах.

— Я те поговорю,— крикнул полицейский, а другой деловито повторил:

— Все на колени становись!

Дубовцы зашевелились, переглядываясь, толкая друг друга, и все стали почти наполовину короче. Урядники вынесли со двора Грачевых широкую скамью, поставили ее среди улицы, попробовали — прочно ли стоит? Стояла прочно. Рыжебородый полицейский очень осторожно положил в конце скамьи большую охапку прутьев.

— Вон как,— сказал Серах, вытягиваясь в переднем ряду, и вздохнул:

— Бабы, вы становитесь сзади нас.

— Молчать! Не шевелись! — закричал полицейский с медалями.

Со двора старосты вышло гуськом начальство, впереди — губернатор, за ним исправник, офицер, становой и штатский, похожий на кота.

Губернатор стройный, тонконогий, аккуратно обтянут серой коротенькой курточкой, в штанах с красным лампасом, в лакированных сапожках. Лицо у него узенькое, тоже серое, под седой квадратной бородой сверкало что-то красненькое, похожее на крест, на нем было много золота, а лакированные ноги казались железными; шел он быстро, легко, точно по воздуху, и было ясно, что это человек особенной силы и беспощадной строгости. Остановясь посредине фронта дубовцев против Митрия Плотникова, он закричал пронзительно, как павлин:

— Н-ну, что, мерзавцы? Бунтовать, а? Негодяи! Дармоеды! Недоимщики!

Плотников кувырнулся в ноги ему и заныл, выпрямляясь, приложив темные руки ко груди своей:

— Ваше сиятельство, преподобный... господин граф, простите Христа ради! Действительные дураки... виноваты... разорились до конца, не дай бог.

Вслед за ним завыли бабы, забормотали, закричали мужики:

— Обидели нас!

— Прости Покрова ради.

— Темнота наша...

— Разорены вконец!

— Хоть помирай...

— Смутьяны тут еще...

Губернатор стоял, дрыгая правой ногой, под седыми его бровями грозно блестели глаза, необыкновенные, золотистые, точно чешуя фазана.

— Молчать, идиоты! — снова закричал он.— Я вам покажу, как бунтовать. Налогов не платите, а пьянствуете, дебоширите... Я вас выучу!

Его серое, как бы запыленное лицо потемнело, он широко открывал рот, показывая золотые клыки, и грозил то кулаком, то пальцем, тонким и длинным, точно гвоздь. Его хорошо освещало солнце, и при каждом движении губернатора от его зубов, погонов, пуговиц, перстня на пальце отскакивали золотые лучики,— можно было подумать, что он насквозь прошит золотом. Он сверкал, гремел, и смутно вспоминались какие-то сказки о страшных людях. Дубовцы, перестав ныть и понурясь, слушали бешено быстрый гон его слов.

— Государь император... в заботах о вас, подлецы... министры, архиереи... губернаторы ночей не спят,— кричал он, притопывая ногой.— Вам на каторге место! Но прежде я вас перепорю.

Сняв фуражку, он обнажил дыбом вставшие седые короткие волосы, вытер виски и лоб платком и хрипло скомандовал:

— Начать!

Становой пристав поднял к лицу бумажку и прочитал:

— Трофим Лобов.

Офицер, протирая очки платком, сказал исправнику:

— Следует ли детям смотреть, как секут родителей?

Исправник приподнял толстые усы, надул щеки, но — не успел ответить,— губернатор строго сказал:

— Детей тоже надо сечь!

Но тотчас же распорядился:

— Разогнать мальчишек по дворам и смотреть, чтоб не высовывались в окна-а! В чем дело, пристав? Где этот вызванный?

Двое полицейских уже подвели Лобова к скамье.

— Раздевайся.

— Нет сил со страха,— спокойно сказал Лобов.— Снимайте штаны сами, коли это нужно вам.

Пристав сказал губернатору:

— Ваше превосходительство, он упорствует, не хочет...

— Еще бы он хотел! Дать ему десять лишних! Нет, барабана не надо, поручик, мы — без церемоний! Мы — просто, да!

Лобов лег вдоль скамьи, вытянув шею за край ее и упираясь в край подбородком. Двое полицейских, откинув корпуса, держали его за руки и за ноги, как будто растягивая человека. Казалось, что именно от этого красноватые ягодицы грузчика так неестественно круто вздулись. Солнце освещало ягодицы так же заботливо, как губернатора и всё другое.

— Раз, два, три,— торопливо и звонко начал считать становой тихий свист в воздухе и сухие шлепки прутьев по человечьей коже, но губернатор хозяйственно сказал:

— Не так часто, реже!

Лобов молчал, лежа неподвижно, только мускулы под лопатками вздрагивали. Кожа его покрылась темно-красными полосами, а к последним ударам покраснела сплошь, точно обожженная. Когда кончили сечь его, он так же молча спустил со скамьи ноги, сел, тыкая в землю изуродованной ногой, растирая ладонями подбородок и щеки, туго налитые кровью.

— Котомина Евдокия,— вызвал пристав.

— Не пойду,— закричала Авдотья, вырываясь из рук урядника, схватившего ее сзади за руки. Лобов, поравнявшись с нею, сказал:

— Упрись подбородком в край скамьи — кричать не будешь.

Но она уже кричала:

— Бесстыдники... Да что вы? Не хочу...

Урядник толкал ее коленом в зад, головой в плечи. Ему помогли, но перед скамьей Авдотья снова начала сопротивляться, выкрикивая:

— Ваше благородие, избавьте срама. Прошу же я вас.

— Живее! — резко приказал губернатор.

Авдотью уже притиснули на скамью, но она всё еще извивалась, точно щука, и, только когда обнажили ноги, спину ее — замолчала на минуту, но после первых же ударов начала выть:

— За что-о? Мучители...

— Гляди-ко ты,— пробормотал Плотников, толкнув локтем Сераха.— Дуняшка-то — стыдится! А ведь бесстыдно живет...

— Чужие,— кратко откликнулся Серах.

Начальство очень внимательно рассматривало, как на стройном, желтоватом, точно сливочное масло, теле женщины вспыхивали розовые полосы, перекрывая одна другую. Тело непрерывно изгибалось, толкая и покачивая полицейских, удары прутьев падали на спину, на ноги, полицейские встряхивали Авдотью и шлепали ею по скамье, как мешком.

— Довольно, — крикнул губернатор на двадцатом ударе, но полицейский не удержал руку и ударил еще раз.

Авдотья вскочила на ноги, оправила юбку и побежала прочь, подняв руки к голове, пряча растрепанные волосы под платок.

Вызвали Плотникова. Этот пошел, расстегивая на ходу штаны, криво усмехаясь, говоря:

— И не знаю — какая моя вина? Человека нету смирнее меня!

— Ваше сиятельство,— плачевно закричал он, сняв штаны и падая на колени,— брат мой, Василий, ве-

рой-правдой служит вам — всеизвестный охотник...

— Двадцать пять,— сказал губернатор сухо и четко.

В начале порки Плотников аккуратно на каждый удар отвечал звонким голосом «о-ой!» Но лежал смирно, не двигаясь, и прутья погружались в его тело, как в тесто. Только при последних ударах он стал кричать тише, не в такт ударам, а когда кончили пороть его, пошевелился не сразу.

— Вставай,— сказал полицейский, стирая ладонью пот со лба.

Плотников встал, покачнулся, лицо его дрожало, из глаз текли слезы, шевелилась бородка, он облизал губы и сказал по привычке шута балагурить:

— Дай бог впрок!

Вызвали Христину, Василия Плотникова,— их не оказалось.

— Найти! — приказал губернатор.

Серах подошел молча. Ему губернатор назначил сорок, и это заставило Трофима Лобова вслух и внятно догадаться:

— Список-то Красовский, стерва, составил!

Серах долго укладывал длинное жилистое тело свое на скамье и начал кряхтеть только в конце счета. А когда кончили сечь его, он сел, покачивая головой, точно не решаясь встать, а встав, тотчас же снова шлепнулся на скамью и, улыбаясь, сказал:

— Вон как... Ослаб все-таки...

Снова встал, согнулся, чтоб поднять штаны, спустившиеся до щиколоток, и вдруг громко, с треском выпустил кишечный газ в сторону губернатора. Губернатор сказал что-то исправнику, исправник взревел:

— Еще десять этому скоту!

По лицам двух-трех серых солдатиков солнечным зайчиком скользнула улыбка, усмехнулся Лобов, зашептали бабы, наклонив головы, исправник, свирепо нахмурясь, разгонял платком испорченный воздух, губернатор, взяв под руку офицера, пошел прочь, а человек с лицом кота сказал:

— Это он, идиот, нарочно...

После первых же добавочных ударов из-под кожи

Сераха выступила кровь, и полицейские, ударив розгой, начали отворачивать лица в сторону, должно быть, избегая мелких, точно ягоды бузины, капелек крови. Когда кончилась порка, Серах встал, коснулся ладонью зада, поднес ладонь к лицу и сказал:

— Вон как...

— Иди, иди,— сердито посоветовал полицейский, осматривая мундир и брюки. Серах взял штаны в руки и пошел прочь голоногим.

— Барон Таубе,— позвал губернатор. Исправник поспешно бросился к нему, и всё начальство исчезло во дворе Грачевых.

— Молоко пить пошли,— соображал Плотников.— А может, чаек.

Авдотья, повернув в его сторону опухшее, заплаканное лицо, гневно сказала:

— Поди, поклонись в ножки им.

Без начальства полицейские стали сечь торопливее, да и всё вообще пошло быстрее, но как будто обидней, никто уже не командовал, не угрожал, обнаружилась какая-то скука. Со дворов появлялись солдаты, которые искали названных в списке Василия Плотникова, Христину и какого-то Ивана Новикова. Митрий Плотников с радостью объявил:

— А такого у нас нет и даже вовсе не было никогда. Был Носков Ванька, так его еще в августе свезли в сумасшедший дом.

Становой пристав равнодушно сказал:

— Смотрите, за укрывательство преступников отвечать придется.

Все устали: солдаты — стоять в строю, миряне — на коленях, некоторые уже сидели, а высеченные лежали на земле. Ераков, несмотря на свой возраст, честно стоял, как приказано, на коленках и ворчал:

— Это разве наука? Подпаску Коське двадцать пять розог дали, а ему вдвое надобно. Не-ет, бывало драли на долгую память. Да не розгой, а палочками, палочками.

С поля наплывал холодноватый ветерок, разнося в воздухе листья, вздымая с земли пыль, фыркали лоша-

ди губернатора, где-то ударили собаку, она взвизгнула, завыла. На огородах каркали вороны, кричали галки, в окнах изб появились рожицы детей. Курчавый парень вырвался из рук урядника и побежал вдоль улицы. Конный полицейский, охранявший коляску губернатора, ловко поставил пред парнем свою лошадь, парень ткнулся в бок ее, отскочил, упал, его схватили и, ударив по шее, повели, он упирался ногами в землю, гнал пред собой пыль и кричал:

— Мне — в солдаты идти... Некрут я...

— Дурак! Солдат тоже порке подлежит,— презрительно сказал Ераков, а Лобов, лежа на боку сзади него, спросил:

— А ты, старый чёрт, не помогал Красовскому список составлять?

— Кабы помогал, я бы тебе сотню назначил,— ответил старик. Лобов легонько похлопал его по спине, говоря:

— Это ты считай за мной...

Сзади Лобова всхлипывали, жалуясь:

— Как же я теперь? Подруги смеяться будут — вышла за поротого.

— Эка беда! Посмеются да и перестанут.

— Стыдно мне будет.

— Подумаешь, какой стыд.

А солидный мужской голос добавил:

— Не по роже били, а по заднице.

— Да и рожа — не дороже,— добавил женский голос.

В воротах двора Грачевых встал, протирая очки, офицер и что-то сказал подручному своему, тот отдал честь и длинно крикнул:

— Смир-рно-о!

На улицу вышло начальство, губернатор посмотрел на свои сапоги, пошаркал ногой о землю и заговорил громко, но спокойно:

— Встать, негодяи! Идиоты... Ну, что, получили горячих? Так-то вас и надо. Мало еще. Вас надо каждый месяц драть.

Он помолчал, пошептался с исправником и продолжал:

— Предупреждаю: виновные в избиении урядника Кашина при исполнении им служебных обязанностей, в избиении... этого... торговца...

— Белкина,— подсказал исправник.

— Вот — Белкина! И в поджоге сена помещика Красовского будут преданы суду.

К нему подъезжала коляска. Отдохнувшие лошади, красиво играя ногами, точно плясать собирались, взмахивали мордами, туго натягивая вожжи. Губернатор смотрел на них и лениво кричал:

— Я вас выучу, я вам на шкурах ваших!..

Он молодецки прыгнул в коляску, за ним влез коренастый исправник и толстый человек с лицом кота. Когда лошади пошли, губернатор встал в коляске и, проезжая мимо дубовцев, погрозил им пальцем. Ераков стоял, как надлежит солдату. Плотников кланялся начальству с улыбочкой, как гостю, который догадался наконец, что ему пора домой. Горнист проиграл сбор. Из огородов, из проулков выбежали часовые, офицер похлопал лошадь свою по шее, влез в седло и сказал фельдфебелю:

— Ночевка — там же.

Дубовцы осторожно расползались по домам. Проезжая мимо них, офицер, наклонясь вперед, заботливо оправлял рукою в перчатке гриву лошади. Вслед ему звучала команда:

— В ряды стройся! Не путать! Черти не нашего бога. Смирно! Ряды вздвой! Шагом — арш!

Пошли. За ними поехала кухня. Поравнявшись с Лобовым, ездовой придержал лошадей, спрашивая Лобова:

— Земляк, тут на село Василев Майдан короче этой нет дороги?

Лобов подумал и сказал:

— Переедешь мост — свороти направо, к лесу, верст семь выиграешь.

— А дорога — как?

— Скатерть.

— Спасибо.

— На здоровье.

Лобов прилег на завалину своей избы. Из окна вы-

сунулась простоволосая рыжая сестра его Акулина и спросила:

— Почто ты его в болото послал? Не проедет он там.

— А тебе что? — ворчливо спросил Лобов.

Сестра сердито усмехнулась и хлопнула окном. На улице стало пусто, тихо, казалось, что и в избах нет ни одной души. Солнце, красное, как сырое мясо, опускалось в синеватые облака. Крикливо пролетела стая галок, и снова деревню обняла вечерняя тишина.

На улицу вышла Авдотья с железным ведром в руке, остановилась, глядя из-под ладони вдаль, где на пригорок вползала серая колонна войска и сзади нее покачивалась черная труба походной кухни.

Лобов крикнул ей:

— Я ждал, что они, дьяволы, вдобавок песню заорут!..

Авдотья не ответила.

— Журавли летят, Дуняш!

— Ну, так что? — спросила женщина.

— Зазывно курлыкают. А мне — вот некуда лететь.

Авдотья пошла к ручью.

— Что Серах, как? — крикнул Лобов.

Не останавливаясь, женщина ответила:

— Старуха эта, с крестом красным, намазала ему, завязала тряпочками. Глубоко просекли...

— Он все-таки нашел, как спасибо им сказать...

Авдотья зашла за угол избы, пошатнулась, всхлипнула, поставила ведро на землю и, схватив руками полу кофты, сунув лицо в нее, затряслась, рыдая беззвучно.

# ОРЕЛ

В конце главной улицы города, у выхода ее в поле, к монастырскому кладбищу,— одноэтажный, в пять окон, дом, похожий на сарай. Он обшит тесом и когда-то давно был выкрашен рыжей краской, но ее смыли многие дожди, выжгло солнце, в дряхлое дерево глубоко въелась долголетняя пыль и окрасила его в свой, пепельно-грязный цвет. Но кое-где на коже дома еще остались ржавые пятна, похожие на кровоподтеки после ударов. Очень старый дом. Он уже запрокинулся во двор, и тусклые стекла окон его как будто хотят взглянуть в даль неба, точно им надоело смотреть на железную решетку ворот кладбища и на кресты над могилами за решеткой.

Фасад дома украшают четыре проржавевших вывески. Одна извещает: «Сей дом вдовы титулярного советника Анны Репьевой», на другой сказано, что дом «Свободен от постоя»,— хотя размещение солдат в жилищах обывателей давным-давно не практикуется,— третья говорит, что дом «Застрахован в обществе „Саламандра“», а общество это — «прогорело» лет тридцать тому назад. Четвертая вывеска — побольше, свежее, ядовито зеленая, на ней изображен черный двуглавый орел, и его дугою окружают черные слова:

«Канцелярия земского начальника первого участка Мямлинского уезда».

Летом земский начальник живет в селе Савелове, верст за десять от города, и приезжает «править суд» по пятницам, часов в десять утра. Крестьяне обычно собираются на судбище рано утром и в хорошую погоду сидят под окнами канцелярии, на истоптанной кирпич-

ной панели, а в дождь — жмутся на дворе; двор — большой, пустой, зарос крапивой, лопухом; от соседнего двора его отделяет полуразрушенный сарай, посредине двора — колодезь и старая, корявая ветла. Из бурьяна торчат обгоревшие пеньки и куча кирпича — остаток печки. Иногда земского ждут час, и два, и пять.

Жарко. В городе пахнет, точно на чердаке,— гретой пылью и птичьим пометом. Тихо. Дети — в школах, женщины — в кухнях, в огородах, мужчины — на службе, на работе. Под окнами канцелярии, потея, вздыхая, почесываясь, сидят и лежат серые, темные бородатые люди, иные дремлют, кое-кто — спит, всхрапывая, посвистывая. Медленно плетется разноголосый, негромкий говорок, но, слушая его издали, кажется, что это говорит всё время один и тот же человек.

— Не едет.

— Гляди — опять не будет.

— Наши дни для него — без цены.

— Дурят господа над нами.

— Этот еще ничего!

— Н-да. Мягкой.

— Орел.

— А вот в третьем участке брат его, Костянтин, ну и собака!

— А ты бы не орал,— Гришка услышит, он тебе покажет.

— Эх, мать вашу крошу на лапшу!

На кладбище идет козел, важно покачивая головою.

— Исправник шагает...

— Похоже.

На минуту голоса примолкли, и слышно, как на кладбище яростно поют зяблики. Потом снова шелестят голоса.

— Костянтин приказал перед лошадью его шапки снимать.

— Ври!

— Верно. Не снимешь — день ареста. Другой раз не снимешь — трое суток.

— С ума сходят.

— Бывает и это. Мусин-Пушкин судил-судил да вдруг начал в стадо стрелять. Гонят стадо с поля, а он

приснастился у окошка и — давай садить! Ружье у него — не одно, так он и дробью и пулями.

— Много скота перепортил?

— Голов пяток, что ли.

— Это — верно. История — известная.

— Связали его, привезли в город, а там и говорят: «Да он давно уж с ума-то спятил!»

— Вот — черти!

— Так сумасшедший и судил?

— Так и судил.

— Отменили приговора-то?

— Нет, нельзя! Закон, слышь, обратно не действует.

Кто-то уныло говорит:

— Сидим, как пленные турки, эхма...

— Надобно, так посидишь,— отвечают ему, и снова вполголоса, не торопясь, плетется говорок:

— Лаяться мастер Костянтин.

— Умеет.

— Мужику против него не выругаться.

— Офицеры они все. У нашего брата в казармах учились.

— А приехал он, Костянтин, в село с женой, такая тоненькая, глазастенькая, щеки — желтые, как репа. И всего имущества привез — чемодан, гитару да зеленую птицу попугая в клетке, и птица тоже матерно ругается.

— Ври, как на мертвого!

— Верно. Птица — известная.

— Вскоре и лошадь привели, ну — ничего не скажешь — красавица!

— Это пред ней шапки снимать надо?

— Пред ней самой. Вся — белая, ноги — точеные, глаз — веселый.

— Верно. Не идет, а — пляшет!

Лошадь хвалят долго, подробно. Звонкий тенор подводит итог похвалам:

— Такую лошадь не жеребцу крыть, а — губернатору.

— Эй, Евдоким, гляди, нарвешься!

— А потом и повезли-и! Столы, стулья, диваны, сундуки, дома на три...

— Чу, Гришка проснулся...

Мужики гуськом, один за другим, идут во двор, толпятся пред черным крыльцом, а из дома выходит заспанный и встрепанный Гришка Яковлев, бывший волостной писарь, великий знаток всех закопов жизни, знаменитый пьяница. Выход его всегда одинаков: крупно шагая длинными и тонкими ногами, покачивая сильно вздутым животом, без рубахи, в тиковых полосатых подштанниках, босой, с полотенцем на плече, он подходит к колодцу и, не глядя на людей, командует хрипло:

— Давай!

Кто-нибудь из мужиков вытаскивает бадью воды, Гришка сгибает узкогрудое, серокожее тело под прямым углом, всхрапывает:

— Лей!

Мужик обливает подземной, холодной водой лысоватую, тыквоподобную голову, спину с лопатками, как ладони. Журавлиные Гришкины ноги трясутся, шевелятся ребра, как у загнанной лошади, он кашляет, ругается, хрипит, держась руками за сруб колодца.

— Три!

Мужик усердно растирает полотенцем Гришкину спину.

— Тиш-ше, чёрт!

И наконец, выпрямившись, всё такой же серокожий, Гришка говорит:

— Сегодня земский не приедет. У кого есть прошения — давай! Остальные — ползи домой!

Большинство мужиков и баб уныло и ворчливо уходят со двора, а некоторые идут за Гришкой в канцелярию, упрашивая его:

— Григорий Михалыч, бога ради — двинь дело! Который раз приходим. Сам понимаешь, косить пора! Мы же люди не свободные.

Законник, покашливая, шутит:

— Врете: покуда не арестованы — значит, свободны.

Но шутку эту давно знают, и она никого не смешит. Черноволосый, курчавый, как цыган, Евдоким Костин, мастер по установке жерновов на мельницах, ставит дело просто и ясно; он говорит нахмурясь, оскалив плотные белые зубы:

— Григорий, ты меня не томи, морду побью! А взыщешь с Волокушина — трешницу дам.

Гришка, стоя на верхней ступени крыльца, затяжно кашляет, ноги его трясутся, он схватился за кромку двери, чтоб не упасть, его длинное, серое, в рыжей бородке, лицо вспухло, побурело, он бьет себя кулаком в грудь и наконец, прокашлявшись, скрипит:

— Я — что? Взяточник?

— Ну, а — кто? — спокойно спрашивает Костин.

— Меня — купить можно?

— Все покупают.

— Слышали? — обращается Гришка к мужикам.— Это называется оскорбление словом при исполнении служебных обязанностей. Будьте свидетелями.

— Э, дурак,— махнув на него рукою, говорит Костин и идет прочь, а за ним быстро следуют мужики, приглашенные в свидетели.

Поглаживая грудь, Гришка садится на верхнюю ступень крыльца и мотает мокрой головой, влажные рыжеватые и уже полуседые волосы падают на серые щеки его. Глаза законника опухли, белки налиты кровью.

— С-сволочь,— высвистывает он и снова кашляет.

Земский начальник приезжает на беговых дрожках или в красивом плетеном шарабанчике. «Тяглой силой» служит ему маленькая, необыкновенно бойкая лошадка, а правит ею бывший гусар Иконников, теперь — сельский стражник, человек угрюмый и странно скупой на слова. Он служит земскому в качестве денщика и кучера, сопровождает его на охоту, на рыбную ловлю. Он — большой, смуглолицый, лысый, глаза у него круглые, как пуговицы, и кажутся такими же плоскими. На нем рубаха малинового цвета, заправленная за пояс черных солдатских брюк, на широком ремне прицеплен револьвер в желтом кожаном чехле, на левом боку полицейская шашка,— рядом с ним земский, в сером пыльнике с капюшоном на голове, напоминает монаха, схимника.

Мужики, сняв шапки, стоят молча, плотно прижимаясь друг к другу, бабы прячутся сзади их, а впереди — нахмурясь, с лицом великомученика — Гришка

Яковлев, в сером пиджаке до колен, в серых полосатых брюках, в стоптанных белых ботинках с черными пуговками.

Иконников снимает с земского пыльник, точно скорлупу с яйца, и пред народом — знакомая фигура творца справедливости, раздатчика «правды и милости», которые должны «царствовать в судах» *. Земскому начальнику за сорок лет, но он стройный, широкогрудый. Череп его украшен серебряной щетиной, сдобное, румяное лицо украшают пышные усы и большие ласковые глаза. На нем золотистая рубаха из чесучи, кавалерийские рейтузы, сапоги с лаковыми голенищами, за широким поясом с бляшками из черненного серебра торчит забавный хлыстик, туго сплетенный из ремня, он кажется железным, рукоятка у него тоже серебряная.

Он вытирает запыленные щеки и широкий лоб белым платком, встряхивает серебряной головой и, расправляя пальцами обеих рук густые светловолосые усы, прищурясь — улыбается.

— Опять собралась целая рота,— говорит он ленивеньким, но звучным барским голосом.— Ну, здравствуйте!

Крестьянство разноголосо бормочет приветствия, бабы очарованно смотрят на идольски красивого барина, и, может быть, некоторым из них вспоминаются девичьи сны, вспоминается песня о том, как «ехал барин с поля, две собачки впереди, два лакея позади», ехал и, встретив девушку-крестьянку, влюбился в нее, взял в жены.

Земский явно уверен, что народ любуется его молодцеватостью, здоровьем, силой; он потягивается, расправляя мускулы, и, щурясь, смотрит в жаркое небо, как бы проверяя, достаточно ли ярко освещает его солнце. Он командует:

— Яковлев! Подай стол и стул сюда, в канцелярии — жарко и мухи. Ворота закрыть!

— Готово! — скрипит деревянным голосом Гришка и тоже командует:

— Раздайся!

---

* Выражение царя Александра II: «Правда и милость да царствуют в судах».

Толпа тяжело шевелится и обнаруживает сзади себя в тени у крыльца — стул, стол, накрытый зеленой клеенкой, графин с водой, чернильницу, пачку бумаг.

— Прошений много? — спрашивает земский, садясь к столу, поглаживая усы.

— Тринадцать.

— Черти! — говорит земский, удивленно пожимая плечами.— Чего вы всё собачитесь, чего судитесь? Когда же вы научитесь мирно жить, а? Эх вы... бестолочь! Дали вам свободу, а вы не умеете пользоваться ей, и вот приходится нам же, господам, учить вас... Воспитывать...

Из толпы выдвигается тощий старичок с голым черепом, с двумя шишками на нем, с клочковатой, грязного цвета, запутанной бородой, слишком тяжелой для его узкого лица с невидимыми глазами,— выдвинулся и запел назойливо, как нищий:

— Ваше скородие, Митрий Сергеич, драгоценный наш защитничек,— бедность! Бедность заела! Людей-то много, а хлеба-то мал кусок! Кусочек-то маловат, барин милой! А люди-то — воры, воры все...

Из толпы громко спросили:

— А где живет вор вороватее тебя?

— Цыц,— командует земский, хмуря золотистые брови.— Это — кто сказал?

— Евдоким Костин,— определяет Гришка.

— Правду сказал, ваше благородие,— подтверждает крупная пожилая баба в пестром платье городского покроя.

— Тиш-ше! — строго приказывает земский, хлопнув ладонью по столу.— Я вас предупреждал и еще раз предупреждаю: не смейте ругаться при мне! Слышали? Ну, вот...

И, откинувшись на спинку стула, подняв руку в воздух, покачивая ею, он внушает:

— Я — творю суд. Это важное дело. Суд воспитывает правосознание ваше. Понимаете? Должны понять. Я не первый раз говорю. Правосознание — это чтобы вы не обижали друг друга, не ругались, не дрались. Не воровали. Не рубили в казенных лесах воровским образом дерево. Не собирали грибов там, где запрещено. Вовре-

мя платили налоги государству. И — земству. Не пропивали денег...

Говорил он не сердито, не торопясь и очень скучно. Говорил и смотрел, как Иконников шагает по двору, а за ним ходит, точно собака, гнедая лошадка, толкает его мордой в плечо, старается схватить губами за ухо.

— Не дури,— густо сказал Иконников и, вынув из кармана, должно быть, кусок сахара, вложил его в губы лошади.

— Вам сколько ни дай — всё мало! — продолжал земский, безнадежно махнув рукой.— Знаю я вас! Сутяги вы, кляузники, ябедники. Зависть грызет вас, вот что! Вот вы — судитесь. С кем? Всё — с богатыми. Будто бы они вас теснят, жить не дают. А работу они вам дают? Вот видите? Мне дает работу государь, вам — богатый мужик.

Блуждающий взгляд земского остановился, брови нахмурились. Прислонясь спиной к срубу колодца, в тени ветлы сидит женщина, широко раскинув ноги: в подоле юбки ее заснул полуголый тощенький ребенок, кривоногий, со вздутым животом, по животу ползали мухи. Баба тоже спит, склонив неудобно голову на плечо, удивленно открыв рот.

— Что ей надо? — спросил земский, указывая на бабу пальцем. Гришка, стоя за его спиной, как ангел-хранитель, деревянно ответил:

— Пелагея Ямщикова. Муж имеет четыре года тюрьмы за убийство. У нее отобрали душевой надел.

— Да. Вот видите: убийство,— проворчал земский и вернулся к своей теме.— Вы должны признать: богатый мужик — это умный мужик. Он богат, потому что умен. Он — опора власти, опора царя, да! Богат — значит, богатырь, человек, награжденный богом особой силой ума, духа и тела. Вот как надобно думать.

В толпе стоит Василий Кириллович Волокушин, коренастый старик в суконной, выгоревшей и сильно заношенной поддевке; он давно вырос из нее, и она не застегивается на его животе, вздутом, как пузырь, и опущенном почти до колен. Желтое, как тыква, рыхлое лицо его поросло кустиками седоватых волос, на подбородке они соединены в реденькую острую метелку, на

его сизоватом носу, изрытом оспой,— круглые очки в серебряной оправе, за стеклами очков тускло поблескивают сиреневые зрачки бараньих глаз. Лысый его череп покрыт, как тряпочкой, морщинистой и пятнистой кожей. Он владелец двух водяных мельниц и знаменит своей скупостью. Знаменит он и как сутяга: непрерывно судится у земских, у мирового судьи, в окружном суде. Он слушает речь земского, как молитву, благочестиво сложив руки на животе; верхняя губа его надувается, шевеля волосики усов, нижняя — отпадает, обнажая темные колышки редких зубов. Он громко сопит.

И все люди слушают медленную, натужную речь барина очень внимательно, почти не шевелясь. Сгущается знойная, тягостная скука, угашая неумелые мысли. Земский высморкал нос трубным звуком и, перелистывая бумаги, позвал:

— Бунаков и Дроздова!

Поклонясь так низко, точно их ударили по затылку, у стола встали старик с шишкой и толстогубая женщина в городском платье.

— Ну — как? — спросил судья.— Договорились? Согласны мириться?

— Не могу я, ваше высокородие, не могу,— басом заговорила женщина, и большое глазастое лицо ее густо налилось кровью.— Изувечил он мне корову, старый дьявол, а ведь корова-то какая, господи! И сравнить ее не с чем, из четырех она у меня королевной ходила. А ведь на трех ногах корова не живет. Человек — так он и на одной ноге может, а ее — только на мясо, куда кроме?

— Стой, стой! — сердито крикнул земский.— Всё это я слышал. Бунаков, ты должен возместить за корову!

— Ваше воскородие, премудрый судья,— запел старик, прикрыв глаза, раскачиваясь.— А кто мне за овес возместит? Ведь ее коровы сколько овса стравили! И это она пустила их в мой овес нарочно... Она мне всё нарочно делает...

— Может, я и живу нарошно? — с угрюмой злостью спросила женщина.

— А кто тя знает? Очень ты на ведьму похожа, на оборотня.

— Ваше благородие,— глядите, что он говорит! А — брат мой, родной, брат по крови. Защитите от жулика...

— Молчать! — рявкнул земский, и румяное лицо его побледнело, голубые глаза холодно побелели.— Приказываю кончить эту вашу скотскую ерунду миром. Сегодня же, здесь!! Иначе я вам запишу по неделе ареста... Прочь! Дурачье! Костин и Волокушин! — вызвал он.

Вслед за Волокушиным подошел Евдоким Костин, маленький, сухой, большеглазый, в белом рваном пиджаке, в грязных штанах из парусины, подвернутых до колен, босой. Ему, вероятно, лет под тридцать; смуглый, суровый, в черной бородке, он очень похож на цыгана. Земский, играя хлыстом, посмотрел на него неласково, но в это время Гришка, наклонясь к земскому, сказал:

— Вон, Митрий Сергеич, опять мужик на дворе мочится. Никакого сладу с ними нет...

— Дай его сюда, сукина сына!

Гришка подвел коренастого человека с веселым лицом в окладистой бородке. Земский, покраснев, спросил негромко:

— Ты где ж это мочишься?

— А вон там,— ответил мужик, показывая рукой.

— А ты понимаешь, что здесь происходит?

— Предположительно — судятся,— не сразу сказал мужик.

— Ага, понимаешь, значит! — сказал земский, снова бледнея.— Так вот: за то, что понимаешь, а все-таки пакостишь, я тебя арестую на трое суток.

Мужик удивленно взмахнул головой, оглянулся и быстро сунул руку в карман пестрядинных штанов.

— Прочь! — рявкнул земский, хлопнув хлыстом по столу, и привстал на стуле, а мужичок, пугливо отскочив, протянул руку с конвертом в ней и тоже прокричал:

— Докладаю письмецо, от братца вашего Сергей Сергеича.

Земский вырвал конверт из его руки, разорвал, прочитал письмо и усмехнулся, спрашивая:

— Ты — первый раз здесь у меня?

— Первоначально,— виновато ответил мужик.

— Когда тебе брат дал письмо?

— Вчера, о́полдень.

— Пешком шел?

— Следственно.

Снова нахмурясь, обмахивая лицо письмом, земский несколько секунд смотрел на мужика молча, должно быть, заметив, что мужик не совсем обычный: золотистая бородка аккуратно подстрижена, волосы на голове лежат гладко, плотной рыжеватой шапочкой, кожа лица и шеи — чистая, как будто он только что мылся в бане. У него приятные синеватые глаза. На левой руке его висят серые, пыльные лохмотья, а на нем, поверх изношенной полотняной рубахи, сильно потертый, необыкновенно пестрый жилет, как будто из атласа, расшитого разноцветным шёлком.

— Что это значит — следственно? — строго спросил судья.

Мужик, переступив с ноги на ногу, торопливо заговорил:

— Как, значит, Сергей Сергеич сказали, так вслед за тем и пошел я...

— Говорите вы, чёрт вас... Смысла слов не понимаете. Кто это научил тебя — следственно, первоначально?

Мужик виновато ответил:

— Артикехтор.

Земский мигнул, точно ему пыль в глаза попала, и захохотал, кругло открыв рот, раздувая смехом пышные свои усы. Густой, гулкий хохот его вызвал улыбки на темных, потных лицах народа. Бунаков даже взвизгнул, но тотчас прикрыл рот ладонью. Брюхо Волокушина колыхалось беззвучно, на рыхлых его щеках шевелились морщины. Только Иконников не обращал внимания на происходящее; стоя у колодца, он поил лошадь из бадьи и, черпая воду ладонью, поливал голову и грудь спящей женщины.

— Ох, черти,— сказал земский, устав хохотать, вытирая платком слезы.— Артикехтор,— повторил он, усмехаясь, и, записав слово на письме брата, помахал письмом в красное лицо свое.

— Как же он тебя учил, артикехтор?

— Надо, дескать, кругло говорить, а не шершаво. Ты, говорит, не мужик, ты — мастеровой...

— Что за вздор! — говорит земский, милостиво усмехаясь.— Ну, ладно, арест я снимаю с тебя.

И обращается к народу:

— Вот видите, какой... исполнительный мужик. Дали ему приказание — иди! И он отшагал пятьдесят две версты... точно рюмку водки выпил! Раз-два, левой, правой, — эт! Молодец! Но все-таки ты, братец, соображай, где что можно делать! Суд — это, знаешь, всё равно как, например... обедня, богослужение. Потому что суд защищает правду, а правда — от бога.

Он поднял руку в небо, блестели ногти его пальцев. Но сравнение суда с обедней, видимо, не удовлетворило его, он добавил построже:

— Суд — это как воинский парад пред богом. И — царем.— И обратился к народу:

— Если бы это сделал кто-нибудь из вас, которые бывали у меня, я бы такому болвану неделю ареста дал. Учить вас надо.

— Ох, надо! — подтвердил Волокушин, тяжко вздохнув, а земский снова заговорил с мужиком в жилете:

— Брат рекомендует тебя как хорошего столяра. Пойдешь ко мне в Савелово, там тебе работа будет.

— Ваше благородие,— сказал столяр,— у меня струмента нет.

— Пропил?

— Заложил случайно. Дитя померло, ягодкой-земляникой объелось. Похороны, то да се. Дополнительно — Сергей Сергеич меня с работы послал, я вот у него, у Василья Кириллыча, работаю...

— Ничего, Волокушин подождет,— сказал земский.— Подождешь, да?

Волокушин поклонился.

— Как угодно, Дмитрий Сергеич...

— Ну, вот видишь,— сказал земский, хмурясь.— А где инструмент заложен?

— У Иван Петровича,— охотно ответил столяр.

— И — врешь,— быстро сказал Бунаков.— Есть у тебя инструмент.

— Чужой, Волокушина. Да и не годен для тонкой работы.

— Молчи! — приказал земский, строго глядя на Бунакова.— Ты что же? Ростовщичеством занимаешься?

— Ваше воскородие, милостивец,— жалобно запел Бунаков.— Ежели Христом богом просят, так как же? По доброте души моей...

Привстав со стула, земский веско сказал:

— Немедленно возвратить инструменты столяру! Понял? Дроздова!

— Вот она я, батюшка, здесь,— успокоительно сказала женщина, но отодвинулась от стола подальше.

— Ты согласна продать корову?

— Да ведь куда же ее, без ноги-то!

На всякий случай Дроздова, сделав плачевное лицо, отирает полой кофты сухие глаза.

— Так вот — Бунаков купит ее. Яковлев, запиши решение!

— Ваше воскородие! — завыл старик.— Куды мне ее? Теперь — лето, мясо — не едят. Прямой убыток.

— А если ты будешь визжать... — закричал земский, и Бунаков, согнувшись, пряча голову, втолкнулся в группу людей, точно козел в стадо овечье.

Земский расправил плечи, молодецки выгнул грудь и спросил:

— Волокушин, почему не платишь за работу Костину?

— Тому причина — законная, ваше высокородие,— четко заговорил мельник.— Он, Евдокимко, порядился жернова отбить: нижний — лог, дорогой, самолучший московский камень, и верхний — ходун, тоже самолучший, днепровский. Он, Евдокимко, славится как первый мастер этого дела, однако жернова мои сбил. И это сделано для озорства. Вот, спросите людей, каков он есть злой озорник.

— Ой, верно это,— подтвердила Дроздова.

— И за то я плату ему задержал, как нанесен мне крупный убыток...

— Довольно,— приказал земский.— А ты, Костин, что скажешь?

— Врет он, скажу я,— высоким тенором ответил Костин.— Вы спросите его: пробовал он жернова?

— Не учить меня, дурак! — крикнул земский.— Я сам знаю, о чем надо спросить.

Закурив папиросу, он решил:

— Волокушин! Требуется, чтоб сведущие люди осмотрели жернова и сказали: испорчены они или нет?

Усмехаясь, Евдоким Костин шагнул ближе к столу.

— Ваше благородие! Сказать что может только работа, а сведущие люди будут мельники, так они, конечно, скажут против меня. Я их, дьяволов, знаю.

— Ты — что? Учить меня хочешь? — спросил земский зловеще.

— Да нет! Куда мне! Только — жить надо мне, а без работы я — не жилец. Волокушин меня второй месяц за руки держит. Пускай бы хоть половину заработка отдал, чёрт с ним, боровом.

Выдувая дым из ноздрей, поблескивая глазами, земский так же зловеще, но потише заговорил:

— Я про тебя, Костин, кое-что слышал,— нехорошо говорят про тебя!

Но Костин не уступал, тенорок его поднимался всё выше.

— Мало ли что говорят! Мы все друг о друге нехорошо думаем, а говорим — того хуже. Вот про Волокушина говорят, что он жену до смерти забил, а уж ростовщик он посильнее Бунакова.

— Куда мне! — жалостливо вставил Бунаков, а Дроздова добавила басом:

— От Василья Кириллыча вся волость плачет.

— Какой я ростовщик? — удивленно спросил кого-то Бунаков, но из толпы прозвучал негромкий, однако вполне уверенный возглас:

— Оба вы ненасытные мироеды!

Земский молча написал что-то и позвал:

— Яковлев!

Гришка, согнувшись, глядя под ноги себе, сидел на ступени крыльца. Неуклюже, точно падая, он встал, наклонился к начальнику. Они пошептались, и начальник прочитал написанное:

— «Задержать Евдокима Костина при уездной полиции впредь до моего распоряжения». Вот. Полицейский у ворот есть? Иконников, посмотри. Так-то, Костин.

Костин повернулся спиной к земскому и сказал людям:

— Вот вам — суд! Видали?

— Эге-э, брат,— медленно протянул земский, встал, взмахнул хлыстом, но Костин уже быстро шагал к воротам. Его догнал Иконников и положил руку на плечо его. Рука, должно быть, тяжелая: Костин как бы споткнулся и, остановясь, спросил:

— Чего?

— Не торопись,— посоветовал Иконников.— Коню не способно.

Веселый конек резво прыгал рядом с ним. Земский смотрел на игру его и усмехался, обнажив белые, плотно составленные зубы. Потом он заговорил, обратясь к Волокушину:

— На тебя, почтеннейший, подано три жалобы. Особенно серьезна жалоба учительницы Медведевой. Это даже и не жалоба, а просьба — принять меры охраны ее против тебя, сударь. Жаловаться она хочет прокуратуре.

Волокушин кашлянул, встряхнув животом, и заговорил, как бы читая написанное:

— Разрешите, ваше высокородие, заявить,— как я будучи попечитель школы, что она, Медведева, внушает ребятишкам несогласное с вероучением святой церкви отца Семеона, известного вам.

— Картежника,— добавил земский, весело подмигнув.

— Дескать, земля появилась сама собою из газа и огня и даже никому не принадлежит. Кроме того — у нее неизвестные мужчины ночуют, как замечено.

— А тебе, старик, того же хочется? — спросил земский, но тотчас, сморщив румяное лицо, сплюнул и продолжал уже строгим голосом:

— Все-таки нельзя хватать женщину за волосы и бить ее книгой по щекам. За это тебе придется ответить. И — вообще, сударь мой...

Но в этот момент явился Иконников, держась за гриву коня, и, положив на стол какой-то пакет, сказал:

— Полицейского у ворот не было, сам отвел. Письмо взял у верхового из Мурзина.

— Ага — не было? Отлично,— с явной радостью, вскрывая конверт, сказал земский.— То есть не отлично, а — свинство! Яковлев, почему полицейского не было?

Гришка, изогнувшись, сказал что-то невнятное, но земский махнул на него рукой, читая письмо. Лицо его сияло. Затем, сунув письмо в карман, он громко и торопливо начал командовать:

— Яковлев — кончаем! Разберись тут, сделай сводку по новым прошениям и пришли мне, как всегда. Невод предводителю дворянства послал? Так. Иконников — запрягай, едем в Мурзино.

Он встал, потянулся, разминая мускулы, красивый, обласканный горячим солнцем, влюбленно поглядел на свои плечи, руки.

— Н-ну, православные, на сей день кончаю канителиться с вами,— черти! Есть важное дело, да... Устаешь с вами, пустяковый народ. Вы — поглядите, каков я, э?

Он похлопал ладонями по груди — грудь гулко гудела.

— Орел,— негромко и со вздохом сказала Дроздова.

— И вот, государь император приказал мне служить ему, заботясь о вас, о ваших делах. А дела ваши — пустяковые. Ерунда и глупость — все эти ваши жалобы. Вот — баба! Пришла тоже за делом и — спит у колодца, будто всю жизнь не спала. Скушно с вами до смерти, ребята! Однако — по приказу его императорского величества — служу! Служу покорно и терпеливо. Вот и берите пример с меня... Верно говорю?

Сразу откликнулось несколько голосов — поспешно и уныло, нерешительно и с радостью:

— Верно... Милость ваша. Дай бог здоровья! Когда же наше-то дело? Защитник...

Земский надел фуражку, Гришка накинул пыльник на его широкие плечи, земский сел верхом на дрожки сзади Иконникова и покатился со двора, кивая головой на поклоны народа. Волокушин, Бунаков, Дроздова и еще человека четыре подошли к Яковлеву. Прижав под мышкой бумаги, он стоял на крыльце и, склонив голову на плечо, смотрел на них сверху вниз красным глазом привычного пьяницы,— смотрел и шипел:

— Ну, што? Разболтались? Верблюды... Наказывал — меньше болтайте...

Он ушел в канцелярию, люди молча, гуськом, двинулись за ним. На дворе осталось десятка два, они надевали котомки на плечи, собираясь в дорогу к далеким избам.

— Ну, и пристрастно обстрогает он их,— с восторгом сказал столяр.

— Да-а, пощиплет перышки.

— Экая должность завидная.

— Бабу-то разбудить бы, что ли...

— Вроде — мертвая.

Плотник, свертывая папиросу, сказал:

— А спорить не приходится: орел мужчина! Костина-то как заклеил, а?

Разбудили бабу; очумело оглядываясь, баба завыла:

— Господи, опять нет мне решения? Что же это? Когда же?

Слабеньким голоском заплакал ребенок, и все стали уходить со двора торопливее, перекидываясь последними словами:

— В Мурзино-то к предводительше дворянства помчался.

— Известный прихвостень бабий...

Маленький мужичок с тараканьими усами, остриженной бородой и ежовым подбородком, срубая палочкой крапиву у колодца, взмахнул головой и громко, завистливо сказал:

— На законах-то — как на балалайке играет, орелто.

— Для того, преднамеренно, учились,— объяснил столяр и, выпустив длинную струю дыма, прибавил:

— Дополнительно сказать — философы, как хотят, так и вертят. До увидания, честной народ! Однако — не в этом бы месте!

Из огорода выбежала шершавая собака, понюхала свежий навоз — не понравился. Тряхнув башкой, она подбежала к срубу колодца, подняла ногу, затем, так же торопливо, нырнула в подворотню.

# БЫК

Деревня Краснуха приобрела быка. Это случилось так: выйдя в отставку, сосед Краснухи, генерал Бодрягин, высокий тощий старик, с маленькой головой без волос, с коротко подстриженными усами на красненьком личике новорожденного ребенка, жил года три смирно, никого не обижая, но осенью к нему приехал тоже генерал, такой же высокий, лысый, но очень толстый; дня два они, похожие на цифру 10, гуляли вокруг усадьбы Бодрягина, и после этого генерал решил, что надобно строить сыроварню, варить сыры. Богатым мужикам Краснухи это не понравилось — они дешево арендовали всю пахотную землю генерала, 63 десятины, а беднота — приободрилась в надежде заработать. Так и вышло: генерал немедля нанял мужиков рубить лес, начал строить обширные бараки, всю зиму весело и добродушно командовал, размахивая палкой, как саблей, а во второй половине апреля скоропостижно, во сне, помер, не успев заплатить мужикам за работу,— деньги платил он туго, неохотно.

Становой пристав, распоряжаясь похоронами, погнал мужиков провожать гроб с генералом на станцию железной дороги, а в усадьбе, ожидая, когда кончатся поминки, остались трое отменно жирных: староста Яков Ковалев и приятели его Данило Кашин да Федот Слободской. Поминало Бодрягина немного людей, человек шесть, но поминали шумно, особенно гремел чей-то трескучий, железный бас, то возглашая «вечную память», то запевая «Спаси, господи, люди твоя», причем однажды он спел не «спаси», а «схвати», и все громогласно смеялись.

Потом на крыльцо вышел, с трубкой в руке, сильно выпивший наследник Бодрягина, тоже военный человек, коренастый, черноволосый, с опухшим багровым лицом и страшно выпученными глазами. Он грузно сел на ступеньки и, не глядя в сторону мужиков, набивая трубку табаком из кожаного кошелька, спросил грозно, басом:

— Вы чего тут мнетесь, а?

Староста, согнувшись, протянул ему подписанные Бодрягиным счета и стал осторожно жаловаться, а наследник смял бумажки, скатал их ладонями в комок и, бросив в лужу, под ноги мужиков, спросил:

— Сколько?

— Восемьдесят семь целковых,— сказал Ковалев.

— Ни хрена не получите,— тяжело качнув головой, заявил наследник.— Именье заложено, инвентарь будут с аукциона продавать, а у меня — денег нет, да и не за что мне платить вам! Поняли? Ну и ступайте к чертям.

Тогда заговорил Данило Кашин; он умел говорить много, певуче и как-то так, что заставлял всех и всегда молча ждать: вот сейчас он скажет что-то очень важное, хорошее и всё объяснит, всё разрешит. Так случилось и с наследником; он тоже минуты две слушал молча, попыхивая зеленым дымом, страшные глаза его потускнели, стали меньше, и наконец он сказал:

— Будет, растаешь! Возьмите быка, его в подарок дяде прислали, он в инвентарь еще не вписан. Берите и — к чертям болотным!

Кашин тихонько шепнул старосте:

— Брать надо, брать!

Но староста и без его совета принял предложение военного человека как закон. А Слободской, мужик тяжелый, большой, угрюмый, взглянул на это дело, как на всё в жизни.

— Всё едино,— сказал он,— берем.

И вот привели быка в деревню, привязали его к стволу черемухи, против избы Ковалева; собралось человек двадцать мужиков и баб, уселись на завалинке избы, на куче жердей против нее. Бык — огромный, черный, точно вырезан из мореного дуба и покрыт лаком, толстоголовый, плосколобый, желторогий — стоял неподвижно, только уши чуть заметно шевелились. Красноватые

ноздри на тупой его морде широко разведены в стороны, и от этого морда кажется свирепой. Большие выпуклые глаза покрыты влажной сизоватой пленой; бык тихонько пофыркивает и смотрит сосредоточенно, как бы надумывая что-то. Смотрит он за реку, в луга, там серовато-ватый покров снега мелко изорван черными проталинами и сквозь снег торчат ржавые прутья кустарника.

Люди, неодобрительно разглядывая быка, молча слушают рассказ Ковалева. Он человек среднего роста, крепкий, с миролюбивой улыбочкой на румяном лице, с ласковым блеском в голубоватых глазах; он говорит мягким, гибким голосом добряка и приглаживает ладонью седоватые редкие волосы, рассеянные неряшливо по щекам, подбородку, по шее.

— Так, значит, и сказал,— докладывает он,— «Берите и — больше никаких, а то, говорит, я вас...» Ну, он — военный, с ним не поспоришь, да мне, старосте, с начальством спорить и не полагается. Конечно, животная эта наших денег не стоит...

Ковалев говорил виновато. По дороге из усадьбы в деревню он, глядя, как медленно шагает бык, подумал, что, пожалуй, староват бык, да и слишком тяжел для мелких деревенских маток, поломает их.

Немедленно после старосты заговорила мужеподобная, большеротая, толстогубая вдова железнодорожного сторожа Степанида Рогова.

— Немощный он,— сердито сказала она густым голосом.— Глядите,— яйца-то высохли.

Вмешался Кашин.

— Ты, Степаха, брось! Ты знай свои, куриные...

На эту тему заговорили все мужики, и так, что бабы начали плеваться, кричать:

— Эх, бесстыжие рожи! Охальники! Ребятишки слушают вас. Постыдились бы детей-то, черти безмозглые!..

А Рогова, гневно сверкая красивыми глазами, точно чужими на ее грубом лице, кричала Кашину, напирая на него грудью:

— Говядина! Говядина и — больше ничего!

На нее тоже закричали сразу несколько мужиков и баб:

— Будет тебе орать! Эх ты, халда! Заткни глотку, эй!

Деревня не любила Рогову за ее резкий характер и за скупость; не любила, считала чужим человеком и завидовала ей. Муж ее был путейским сторожем, и ему «всю жизнь судьба везла», как говорили мужики. Года три тому назад ему удалось предупредить крушение поезда, пассажиры собрали для него 104 рубля да дорога наградила полусотней рублей. Вскоре после этого, в половодье, переезжая на лодке Оку, утонул его брат с женой и сыном; тогда Рогов послал Степаниду хозяйствовать в Краснухе на землю брата, а сам еще на год остался работать на дороге, да вскоре, спасая имущество станции во время пожара, сильно ожегся и помер от ожогов. За это дорога выдала Степаниде 100 рублей. Женщина заново перестроила избу деверя, обратила в батрачку свекровь — старуху, счастливую своей глупостью и деловитостью снохи,— купила лошадь, корову, завела пяток овец, дюжину кур, с весны до Покрова держала батрака и открыто жила с сельским стражником Прохором Грачевым, недавно арестованным за «нанесение увечья» пастуху деревни Выселки. Всего этого было слишком достаточно для того, чтоб Рогову не любили, но это ее не смущало, и, не обращая внимания на злые окрики, она упрямо твердила в лицо Кашина:

— Ему — сто лет, быку, сто лет!

Кашин, коренастый, коротконогий, с бритым солдатским лицом, толстыми усами и темными глазками медведя, человек исключительной физической силы, отмахиваясь от нее, уговаривал Рогову веселым тенорком:

— Ты погоди, не бесись! Какое твое дело? Чего теряешь, чего выиграть хочешь? Нам дело решить надо: продавать его али оставить да на случки пускать? Он — породистый.

Рогова всё наскакивала на него, выкрикивая:

— А ты, а ты чего добиваешься, ну-кось? Ну, скажи...

— Кормов не оправдает,— крикнул кто-то.

Марья Малинина, повитуха и знахарка, сытенькая старушка, маленькая, точно подросток, в черной юбке, аккуратно, с головы до поясницы, закутанная в серую шаль, заговорила, покачивая головой:

— Верно, не оправдает кормов. И ухода потребует, очень много ухода надобно за ним...

Тихонько подошел учитель, молодой человек в огромных серых валенках, в городском пальто, с поднятым воротником, в мохнатой шапке, надвинутой на глаза, погладил круп быка и сказал сиплым голосом:

— «Жвачное млекопитающее, из семейства полорогих».

Кашин громко удивился:

— Чего это? Бык — млекопитающий?

— Именно.

— А еще чего соврешь?

Учитель подумал и сказал:

— Любит соль.

— А конфетов не любит? — спросил Кашин.

Рогова, толкнув учителя локтем в бок, продолжала кричать:

— Ты, двуязычный, молчи, не мешай! Пускай они, деловики наши, развяжут узелок этот...

Встал с завалины староста, бросил на землю окурок, растер его ногой и заговорил:

— Ну, пора кончать, покричали сколько надо! Теперь вопрос: у кого держать быка?

Все замолчали, а Кашин, оглянув народ, сорвал с головы своей шапку, хлопнул ею по широкой своей груди и удало сказал:

— Видно, мне надобно брать его. Ладно, я готовый миру послужить. Хлевушок надобно ему, так вы дайте мне жердочки и хворост из Савеловой рощи...

Учитель передвинул шапку на затылок, открыл серое носатое лицо с большими глазами в темных ямах, испуганно спросил:

— Как же это, господа миряне? Дерево назначено на ремонт школы, хворост — на топливо мне, я же сам хворост рубил, сам укладывал.

— Не ной, Досифей, не скули,— попросил Кашин, пренебрежительно махнув на него рукой.

— Нет, вы школу не обижайте,— говорил учитель, покашливая.— Ведь ваши дети в ней учатся, не мои.

— А им наплевать на детей,— сказала Рогова.— Тебя до чахотки довели и детей перегубят...

— Экая вздорная баба! — удивился Кашин.— Не всё я возьму, Досифей, не плачь! Иди с богом на свое место, ты тут несколько лишний...

Учитель снова надвинул шапку на лицо, закашлялся неистово и, сплевывая на землю, изгибаясь, пошел прочь. За ним последовала Рогова, но через несколько шагов обернулась, крикнув:

— Облапошит вас Кашин, глядите!

Кашин, усмехнувшись, помотал головой и вздохнул:

— Еще разок хрюкнула...

Все молчали. Только староста и Кашин, сидя рядом, отрывисто и как бы нехотя, невнятно говорили о чем-то. Но Слободской, должно быть, устав молчать, пробормотал в бороду себе:

— А этот, чахлый, всё про школу.

— Тепло любит,— откликнулся плотник Баландин.

— Учит, а чему? — спросил Кашин.— Каля-маля, кругла земля. «Зубы, десны крепче три и снаружи и снутри».

— Нас учили про птичку божию читать,— вспомнил староста.— Дескать — «не знает ни заботы, ни труда».

Батрак Слободского, красивый скромный парень, сказал:

— Считать учат.

— Считать всякий сам научается,— строго выговорил Кашин. Кто-то поддакнул ему:

— Это верно. Я в цирке собаку видел — считает!

— Значит, решили,— заговорил Ковалев,— ставим быка на содержание Данилу Петрову. За корм возместить ему придется. Баландин хлевишко соорудит. Так, что ли?

— А как иначе? — откликнулся плотник.— Самое правильное.

Человека три встали с бревен, побрели в разные стороны.

Слободской искоса посмотрел на них и, снова опустив голову, сказал в землю:

— Помрет скоро учитель, кровью харкать начал.

— Ребятишки рады будут.

— Нет, это — напрасно!

— Им, дьяволятам, лишь бы не работать, а учиться они охочие.

— Они Досифея уважают.

— Сказки рассказывает им.

— Уважать его не за что,— решительно заявил Кашин.— Да и вообще дети уважать — не могут, не умеют.

— Эхе-хе,— вздохнул Баландин и позевнул с воем, а затем скучно выговорил:

— И учен, да не богат, всё одно наш брат, нищий.

Но хотя говорили об учителе, а думали о другом, и Никон Денежкин, первейший в деревне пьяница и буян, выразил общее желание, сказав:

— Магарыч с тебя надо, Данило Петров. Ставь четвертуху!

— Это за что? — очень искренно удивился Кашин, похлопывая ладонью по крупу быка.

— Уж мы понимаем за что!

— Я, значит, должен питать, охранять общественное животное, да я же и водкой вас поить обязан?

— А ты не ломайся,— сердито посоветовал Денежкин.— Нас тут семеро, давай три бутылки и — дело с концом.

Ковалев, немножко нахмурясь, спросил все-таки ласковым голосом:

— Народ спросит: какая причина выпивки?

— Чего там — причина? Захотелось, ну и выпили.

Батрак Слободского и Баландин пытались привести быка в движение, батрак толкал его в бока, плотник дергал веревку, накинутую на рога. Бык стоял, точно отлитый из чугуна, только челюсти медленно двигались и с губ тянулась толстая нить сероватой слюны.

— Паровоз,— пробормотал Слободской и, подняв с земли щепку, швырнул ее в морду быка, а Денежкин ударил его ногой в живот; тогда бык не громко, но густо и очень грозно замычал, покачнулся, пошел.

— Ну и чёрт! — одобрительно сказал Кашин, хлопнув себя руками по бедрам, притопнув ногой.

Денежкин отправился за водкой. У избы старосты осталось четверо; он скручивал папиросу, рядом с ним сидела Марья Малинина. Слободской, согнувшись, озабо-

ченно ковырял палочкой землю, а Кашин лежал вверх спиной на бревнах и глядел за реку; оттуда веяло сырым холодом, там опускалось солнце, окрашивало пятна снега в розоватый цвет, показывало вдали башню водокачки железнодорожной станции, белую колокольню, красный, каменный палец фабричной трубы. Тихонько, но папористо струился сухой, старушечий говорок Малипиной.

— А дифтерик из Мокрой к нам перескочил, Яков Михайлыч...

— Перескочил? — спросил Ковалев. У него не свертывалась папироса, он был очень занят этим и спросил из вежливости, равнодушно, как эхо.

— И у меня такая думка, что это Татьяна Конева занесла, по ее вдовьему горю.

— Не ладишь ты с Татьяной!

— Зачем? Мне с ней делить нечего. А известно мне, что она водила в Мокрую Катюшку с Лизкой прощаться с двоюродным и, наверно, потерла своим ребятишкам глазки, личики рубашечкой с мертвенького,— говорила Малинина, точно сказку рассказывая.

— Не верю я, чтобы матери детей нарочно заражали дифтериком,— сказал Ковалев, отхаркнулся и плюнул с дымом.

— Бывает, — кратко и веско откликнулся Слободской, а Данило Кашин живо подтвердил:

— Бывает, я знаю! Марья сама эдак-то травила ребят.

— Ну, это — шутишь ты, и нехорошо. Я чего не надо никогда не делывала и не буду,— спокойненько говорила Малинина, роясь правой рукой во многих юбках, надетых на ее кругленькое тело. Нашла в юбках табакерку, понюхала табаку и подняла лицо в небо, ожидая, когда нужно будет чихнуть, а чихнув, продолжала:

— Я опасного боюсь! Я ведь знаю, доктора преследуют матерей, которые дифтерик прививают детям. Это, дескать, самоубийство детей. Однако и матерей надо понять — пожалеть. У Коневой — четверо, мал мала меньше, а от мужа всю зиму ни слуха ни духа. Четверых милостыней не прокормишь.

Ковалев отодвинулся от нее и строго заговорил:

— Ну, а ты чего? Захворали дети Коневой? Иди, лечи! Чего тут сидишь?

Старушка вытерла рот концом шали и, не повышая голоса, ответила:

— Я дифтерик лечить не могу, я только русские болезни лечу, а дифтерик — аглицкая. А твое дело — сказать уряднику про Коневу...

— У нее задача — Коневу истребить,— добродушно сказал Кашин. Старушка немедля ответила:

— Конева для меня — тьфу! — и, плюнув на землю, притопнула плевок.

— Ты иди-ка, иди,— настаивал Ковалев.— Что тебе тут сидеть?

— Улица для всех,— объяснила Малинина и пересела на бревна, рядом со Слободским. Он, не глядя на нее, сказал:

— Язва ты.

— Денежкин идет,— сообщил Кашин, вставая на ноги.— Айда в избу к тебе, Яков... Огурчиков дашь?

— Можно.

Трое мужиков ушли во двор старосты. Марья Малинина посмотрела в розовое небо, на шумную суету галок, подождала, когда во двор прошел Денежкин, встала и, погрозив избе старосты маленьким кулачком, пошла вдоль улицы мелким, быстрым шагом.

Кашин немедленно начал строить хлев, а быка отдал на присмотр и попечение пастуху, нелюдимому зобатому старику с большой лысой головой на узких плечах, с выкатившимися глазами на лице синеватой кожи, спрятанном в густой курчавой бороде. Борода у него росла от ушей к подбородку густо и еще не вся поседела, а на тугo вздувшемся зобе волосы были какие-то бесцветные, разошлись редко, торчали вперед, и от этого казалось, что у старика на шее — другая голова, обращенная лицом в нутро груди, выставившая наружу красный затылок. Некоторое время пастуха так и звали Двуглавый, но становой пристав, узнав об этом, рассердился.

— Идиёты! — закричал он.— Двуглавый-то кто у нас? Государственный орел, священный знак государя императора, черти не нашего бога!

Он приказал:

— Забыть и не сметь!

Взрослые забыли, но ребятишки помнили прозвище пастуха, и за это им давали подзатыльники, драли уши, волосы. Два раза в день на улице Краснухи появлялся бык, почти вдвое более крупный, чем любая корова стада. Его мощная туша, медленный барский шаг, бархатистый лоск его шерсти, жирный огрудок, важное покачивание огромной желторогой башкой — весь он очень плачевно оттенял малорослость деревенского стада. Бабы, девки не любили его, и многие из них, выгоняя коров со двора, хлестали быка хворостинами, колотили палками, покрикивая:

— У-у, дьявол!..

— Дармоед!..

Обычно стадо гоняли за реку; в широком ее месте был хороший, мелкий брод. Но стояло половодье, стадо паслось по жнивью, где по частым межам нещедро прорастало кое-что зелененькое и где лошадные хозяева уже начали пахать. Отощавшие за зиму коровы тщательно и жадно выщипывали губами молодые побеги сорняков, а бык, должно быть, считая этот нищенский корм оскорбительным для себя, стоял монументом или медленно переходил с места на место, источая на землю голодную слюну. Изредка он мычал глухо и обиженно. Пастух сказал Кашину:

— Бык этот — большой цены, его сытно кормить надо, а вы, хозяева, погубите его. Продавали бы скорее немцу, управляющему Встошкина.

Кашин поднял ладонь к его лицу, как бы желая закрыть глаза пастуха.

— Ты — молчи, Антон! Я знаю, как надо. А ты — помалкивай.

Вся деревня смотрела на старосту, Кашина и Слободского, как на людей, виноватых в том, что пропали деньги, заработанные у генерала. По вечерам у избы Ковалева собирался народ, и почти всегда разгорались сердитые споры. Рогова кричала:

— Надо же было выдумать эдакое,— променять почти сотню рублей на дохлую скотину.

Ее нападки почему-то радовали миротворца Кашина, и он изливал свое неистощимое красноречие.

— Ну ладно, ну хорошо, действительно — виноваты, ошиблись! Бычишко — дерьмо, цена ему — три красных, верно! Но ведь это — не мы дураки, случай — дурак! Нам бы действительно просить еще чего-нибудь, лошадь, что ли, ну, там, телегу... Да он, наследник-то, пьяный был. К тому же — военный! Чего с него возьмешь?

Тяжело передвигая по сухой холодной земле огромные валяные сапоги, подходил учитель, как всегда подняв воротник пальто. Молча, бескровной рукой снимал шапку, обнажая высокий лоб и прямые, зачесанные на затылок волосы, сероватые, в цвет кожи лица. Он был еще юноша, на остром его подбородке и на костлявых щеках едва заметно прорастал бесцветный пух, и особенно молодили его лихорадочно блестевшие голубоватые глаза.

У Степаниды Роговой было основание называть его двуязычным: он ей жаловался на отношение мужиков к нему и школе, а мужикам жаловался на то, что Рогова плохо кормит его и дорого берет за квартиру; комната для учителя при школе обгорела год тому назад, и ее всё еще не собрались починить. Мужикам он надоел своими просьбами, бабы относились к нему жалостливо, как к полоумному, а некоторые и брезгливо, как к больному чахоткой. У него была странная привычка: здороваясь с людьми, он почти всегда произносил какие-то книжные фразы, как будто хотел напомнить людям, а может быть и себе,— что он — учитель. Вот и теперь, подойдя, он сказал:

— «Живительное дыхание весны выманило людей из темных изб на воздух, под теплые ласки солнца».

— Цветешь? Ходишь? — встретил его Кашин и тотчас вернулся к своей теме.

— Его, военного, может, к нам земским начальником назначат. Он прямо сказал: «Денег у меня нету». Ну, куда же ему деваться? Хороший дворянин, самостоятельный в земские не пойдет. И в попы не пойдет. Он —

в театр, в актеры, в цирк али еще куда. На фортопьянах играть, на скрипке.

— Книги писать,— подсказал учитель.

— Правильно! — согласился Кашин.— Книги писать они могут сколько угодно. Это для них — самое легкое дело. Лев Толстой, граф, обеднел до того, что сам землю пахать начал, а опомнился, начал книги писать — усадьбу купил. Штука?

— Это не так,— сказал учитель и закашлялся с воем, точно ребенок в коклюше.

— Нет, врешь, так! — победно закричал Кашин.— Имеет усадьбу. Картинка есть — пашет. Даже и босой, вот как! Ты со мной не спорь, я старше тебя, я в десять раз больше тебя знаю! Я — просвещенный,— гордо сказал он, поглаживая грудь свою ладонью.— Ты намедни про Гоголя сказывал, а не знал, что по-настоящему гоголь-то — селезень. Даже песня есть:

Вниз по реченьке гоголюшка плывет,
Выше бережка головушку несет.

Слыхал? Надо, брат, знать, что как называется.

Знал Кашин много, крепко верил в ценность своих знаний и любил учить: учил ребятишек играть в бабки, парней и девок — песни петь, батраков — работать и мириться с жизнью. А особенно любил он поучать учителя. Пристрастие к болтливости не мешало ему искусно хозяйствовать, он имел пару лошадей, три коровы, круглый год держал батрака. К сорока пяти годам он схоронил двух жен, семерых детей, уцелело двое: старший — в солдатах, младший поссорился с ним, ушел на Каспий рыбу ловить, и неизвестно было, жив ли он. Третий год Кашин жил с дочерью Слободского, вдовой; она привела ему двух девочек да от него родила девочку и мальчика; ее девчонки бегали на станцию торговать молоком, лепешками; девочку от Кашина на днях задушил дифтерит, а сына он спрятал от эпидемии в избе бездетного Слободского. Дочь Слободского была красивая, высокого роста, пышногрудая, но такая же сумрачная и скупая на слова, как ее отец.

— Господа — живучие,— говорил Кашин, поучая

учителя; тенористый голосок его звучал торопливо, как весенний ручей, и очень согласно с криками ребятишек, игравших в бабки за пожарным сараем, согласно с теплым дыханием ветра, с ласковыми запахами весны.

— Им, господам, есть куда деваться. Вот, возьми Черкасовых: отец в пух, прах разорился, всё имение растранжирил,— мать тотчас в городе гимназию девичью завела, сына выучила пароходы строить, он тысячи зарабатывает, на паре лошадей ездит — шутка! А дочь за прокурора выдала — вот как! Я, брат, все истории знаю. Или — возьми Левашовых...

У пожарного сарая собрались девки и, высоко построив голоса, пронзительно раздергивали городскую песенку. Кашин замолчал, подняв вверх левую руку с вытянутым указательным пальцем, а учитель внятно и любовно выговорил:

— «Вечерами, отдыхая от трудов, крестьяне собираются на улицах сел, деревень и проводят время в мирной беседе, тогда как молодежь поет задушевные русские песни».

— Юрунду поют,— сказал Ковалев, сплюнув.

— Верно! — подтвердил Кашин.— Я же говорил им, дурам. Это — городская, мещанская песня, а надо петь самолучшие господские. И слова не те поют, надо петь — так.

Притопывая пяткой левой ноги, помахивая правой рукой, сохраняя мелодию, он, говорком, рассказал:

Мне не спится, не лежится,
И сон меня не берет,
Я пошел бы к Саше в гости,
Да не знаю, где живет.

Попросил бы приятеля —
Пусть приятель отведет.
Мой приятель меня краше,
Боюсь — Сашу отобьет,

— а они орут:

Мне не спит-ца, не лежит-ца,
Между прочим — почему?
Ах, я узнаю, отгадаю,
Когда, может быть, помру.

— Юрунда, конешно,— повторил Ковалев.— Дай-ко табачку.

— Я песни знаю,— живо говорил Кашин, доставая кисет из кармана штанов.— Может, сотни песен известны мне...

— А все-таки чего с быком делать будем? — угрюмо спросил Слободской.

— И это знаю. Я обо всем думаю. Нет такой вещи, чтобы я ее не обдумал...

Свертывая сигарку, искоса посмотрев на учителя, точно задремавшего, прислонясь спиной к стволу черемухи, Ковалев проговорил:

— Вот Слободской боится, что взыщут с нас мужики восемьдесят рублей, а бык — нам останется... И продадим его целковых за тридцать...

— Этому не быть! — твердо сказал Кашин и, закрыв один веселый глаз, грозя пальцем кому-то над своей головой, он вполголоса, очень секретно, добавил: — Вы о быке не беспокойтесь, я про него больше вашего знаю. Дайте мне срок, я вас могу удивить. О быке, намекну я вам, недоимщикам надо заботиться, а не нам... Вот что...

С поля возвращались двое запоздалых пахарей, оба — тощие, в рваных кафтанах, в комьях рыжей грязи на лаптях; за ними устало, покачивая головой, шла мохнатая лошаденка. Учитель выпрямил шею и сказал:

— «Для земледельческих работ славяне издревле пользовались лошадью».

— Это кто такое, славяне? — настороженно спросил Кашин.

— Мы, русские,— сказал учитель.

— А почему же — славяне? — строго осведомился Кашин. Учитель виновато объяснил:

— Племя наше так называется.

Сожалительно покачивая головой, Кашин сказал тоном осуждения:

— Неправильно говоришь, Досифей, даже — смешно. Это о скоте говорится — племя, а про крестьян — нехорошо так говорить! Эх, брат...

— Вот он чему ребят учит,— грустно сказал Ковалев.

Сухо покашливая, держа себя рукой за горло, учитель заговорил огорченно:

— Вы не знаете, Данило Петрович! Люди все на племена делятся: мордва, например, немцы, англичане.

— Мы тебе не мордва,— напомнил Ковалев, пустив на учителя длинную струю дыма, а Кашин добродушно засмеялся:

— Чудак ты, Досифей! Ну, пускай там немцы, англичане делятся, как хотят, они все одинаковы, это, может, обидно им. А мы — православный народ, христиане, мы не мордва, не немцы... Смешной ты, ей-богу...

— А вот, Данило Петрович, говорится «племянник»,— не уступал учитель, но Кашин твердо ответил ему:

— Не-ет, Досифей, я учитель — погуще тебя, посильнее буду. Молодой ты очень. Учитель — ходовой человек, бывалый, тогда он — учитель. А ты — где бывал? То-то...

Досифей хотел сказать еще что-то, но Кашин, махнув на него рукой, сказал:

— Посиди, помолчи!

Девки пели другую песню, скучнее, заунывней.

Вот мой гроб обит клазетом,
Золотою бахромой,
И буду я лежать при этом
Навеки мертвый и немой.

Ах, скорее хороните:
Неподвижный труп — готов!
И на грудь мне положите
Полевых букет цветов.

— Насчет недоимщиков ты ловко сообразил,— сказал староста и смачно, с дымом, плюнул на землю.

— Уж я не ошибусь,— откликнулся Кашин, прислушиваясь к песне.

— Всё про смерть поют,— как-то вопросительно отметил учитель. Кашин немедленно подхватил его слова:

— А что? Им не завтра помирать. Им до смерти, как до Америки,— далеко! Ты про Америку — чего знаешь? Слыхал ты, там построили мост над морем, висит мост на воздухе и — ничего, висит!

— Это мост через реку Гудзон,— поправил учитель.

Кашин даже привстал, удивленно мигая, вытаращив круглые глаза.

— Ну и врешь,— сказал он,— Ты же карту не видал, Досифей. Эх ты, брат! Ведь Америка-то остров, а — откуда же на острове река? На островах рек не бывает. Эх, Досифей, о смерти думаешь, а пустяки говоришь.

— Я о смерти не думаю,— слабо откликнулся учитель.

— И тоже врешь. Должен думать, не думал бы, так не говорил. Нет, чего же? Твоя жизнь — решенная. Против чахотки средства нет. От нее не спрячешься, она прямо ведет на погост, в могилу, и — боле никаких! Брось спорить, меня не переспоришь. Айда к девкам, я с ними петь буду, я их зимой многим новым песням научил. Айда!

Коренастый, тяжелый, но ловкий, он легко поднялся на ноги и пошел, вскрикивая:

— Девки-и! А вот он я — иду!

Ковалев тоже встал, почесал спину об угол избы и скрылся к себе во двор. Слободской, поглядев вослед Кашину, направился за старостой, и учитель слышал, как он во дворе спросил:

— Обманет нас Данило-то?

Ответ Ковалева прозвучал невнятно. Учитель пошаркал по земле подошвой сапога, пощупал пальцами свой серый нос, поковырял указательным в левом глазу, посмотрел на палец, вытер его о пальто на груди, с минуту постоял, оглядываясь вокруг, как бы решая: куда идти? И пошел к пожарному сараю, а встречу ему уже весело струился звонкий тенорок Кашина:

Гляжу я, гляжу я на черную шаль,
И душу терзает обида и печаль,— и-эх!

Девки яростно и дружно подхватили:

Когда я мальчишка молоденький был,
Одну я девчоночку отчаянно любил!
Эх, дуй, раздувай, разыгрывай давай,
Парень девчонку отчаянно любил.

Кашин стоял пред девицами, взмахивая руками, точ-

по крыльями, и, сгибая ноги в коленях, подпрыгивая, подбрасывал в такт веселой песни широкое тело свое от земли.

Краснуха считалась деревней зажиточной, но из тридцати семи дворов девятнадцать закоренели в недоимках, а пять хозяйств из девятнадцати были совсем разорены. Один из мужиков удавился после того, как описали и продали за недоимки его имущество, другого изуродовала грыжа, третьего разбил паралич, четвертый, Асаф Конев, человек грамотный и очень неприятный богачам деревни своим умом, ушел из деревни, бросив жену с пятеркой детей, и второй год пропадал без вести. Эти многодетные четыре семьи нищенствовали, «ходили по миру» и так надоели Краснухе, что милостыню им подавали редко и только те сердобольные бабы, которые жили тоже на очереди идти по миру «в кусочки». Татьяна Конева никогда уже не просила милостыни в своей деревне, а зимою и летом уходила далеко, добиралась даже до губернского города, за сто тринадцать верст. После одного из таких путешествий она вернулась без грудного ребенка и сказала, что он помер; соперницы ее пустили слух, что Татьяна нарочно заморозила дитя. В общем нищие Краснухи жили не так уж плохо, легче и сытее многих бедных семей, которые, работая «исполу» с богачами или батрача на них, жили трудно, голодно и озлобленно.

— Вредный народ,— говорил о них Кашин. Староста тяжко вздыхал:

— Великая обуза мне они.

А Слободской мрачно удивлялся:

— Отчего бы не выселять горлопанов этих на пустые места? В Сибирь бы куда-нибудь.

— В Америку продавать,— весело мечтал Кашин.— В Америке людей не хватает, неграми пользуются, такой народ есть негры, в черной шерсти все, вроде медведей.

Первым богачом и умником Краснухи числился Ермолай Солдатов, старик высокого роста, в шапке седых курчавых волос, с такой же курчавой густейшей бородой, с большим красным носом и круглыми, как у птицы, серыми глазами без улыбки. Он держался в стороне от всех, на мирских сходах бывал редко, но накануне схода

почти всегда беседовал со старостой, и Ковалев, слушая его спокойные советы, особенно усердно растирал неряшливую бороду свою ладонью по щекам. Почти каждый год к Солдатову приезжал старший сын, матрос Балтийского флота, служивший второй срок, лысый, усатый и до того жадный на девок, что парни Краснухи следили за ним, как за подозреваемым в конокрадстве, но он подпанвал их и все-таки успел заразить одну «дурной болезнью». Изба у Солдатова в пять окон, двор покрыт тесом. С ним жил второй сын, Михаил, женатый на дочери волостного старшины, рыжий красавец, с наглым лицом и барской медленной походочкой, руки в карманах, кудрявая голова гордо вскинута, мужик грамотный и насмешливый, отец троих детей. Каждый праздник он, сидя за кучера, возил старика за восемь верст в монастырь к обедне; в хорошую погоду Солдатов сам заботливо усаживал в бричку старшего внучонка, Евсейку, краснощекого паренька лет семи.

Отца и сына Солдатовых уважали, боялись, но редкие их советы и мысли ценили очень высоко. Отец Слободского, восьмидесятилетний злой старикан,— зимою бродяга по монастырям, летом пчеловод и рыбак,— ставил Солдатовых в пример всем людям:

— Учитесь: живет мужик, как помещик. Настоящее его благородие.

Однажды, после схода, когда раздраженный Федот Слободской высказал свое заветное желание выслать недоимщиков «в пустые места», старик Солдатов спросил:

— Ну, выселишь, а кто на тебя работать будет?

Слободской, нахмурясь, не ответил, а Кашин живо вскричал:

— Было бы корыто — свиньи будут, было бы болото — черти найдутся.

— Зря орешь, Кашин,— возразил Солдатов, строго глядя на Данила сверху вниз.— Надо понимать дело-то! Когда работник свой, деревенский, это — одно, а когда он со стороны — другое. Своего всегда вразумить можно, он у тебя под рукой, у него тут избенка, семья. А сторонний — схватил да ушел, ищи его! Понимать, говорю, надо: бог бедного богатому в помощь дал; стало быть, умей взять с него пользу.

Кашин, несколько сконфуженный, сказал:

— Орут они много.

— Крик спать мешает, крик делу не мешает,— ответил Солдатов и важно пошел прочь, меряя падогом землю.

Кашин, глядя вслед ему, вздохнул:

— Премудро сказал, старый чёрт!

— Да-а, разума накопил он и себе и сыну,— подтвердил Ковалев.

— И духу святому,— добавил Кашин.

Дня через два после беседы Кашина с учителем староста пошел по избам недоимщиков. Сначала он зашел на пустой двор Васьки Локтева, самого зубастого и опасного. Локтев сидел на ступени полуразвалившегося крыльца, выстрагивая ножом топорище из березового кругляша. Мужик высокий, костлявый, с головой в форме дыни, остриженной, как у солдата, с полуседой черной бородой, настолько густой, что черные клочья в ней были похожи на комья смолы.

— Здоров, Василий!

— Садись, гость будешь,— ответил Локтев, не взглянув на старосту.

— Не ласково встречаешь,— ответил Ковалев и получил в ответ:

— Я не девка, тебе не любовница.

Староста сунул ладони под мышки себе, помолчал и осведомился:

— Как у тебя с недоимками?

— Об этом весной не говорят. Осенью приходи, к тому времени разбогатею, всё заплачу, даже прибавлю пятачок.

— Ты не шути! Гляди, имущество опишем.

— Это дело нетрудное — имущество мое описать.

Говорил Локтев глухим басом, равнодушно и, согнувшись, строгая на колене березовый кругляш, не смотрел на Ковалева.

— Продавать быка-то? — спросил староста.

— Валяйте. Даю за быка два четвертака с рассрочкой платежа на год.

— Как думаешь, какую цену брать за него?

— Бери сколько дадут, меньше не надо.

— Всё дуришь ты, Василий,— вздохнув, сказал Ковалев.

— В дураках живу.

— Рублей тридцать, сорок выручим, обернем в недоимки — ладно?

— Плохо ли,— откликнулся Локтев и, щупая пальцем лезвие ножа, добавил: — А того лучше, половину пропить, ну, а другую бедняге царю на сапоги.

— Ой, Вася, добьешься ты, повесят тебя за язык.

Локтев, прищурив глаз, посмотрел, гладко ли оструган топорище, и промолчал, а староста тихонько вышел за ворота, оглянулся на согнутую фигуру Локтева и пошел наискось улицы, к Ефиму Баландину, пробормотав:

— Сукин сын... Погоди!..

Баландин, маленький, тощий, в рубахе без пояса, в кожаных опорках, с волосами, повязанными лентой мочала, пилил на дворе доску. Поздоровавшись с ним, староста получил в ответ торопливый возглас:

— Здорово, здорово, начальство.

Голос Баландина звучал пискливо, руки двигались быстро, да и все его тощее тело сотрясалось в судорогах. Ковалев, смерив напиленные доски глазами, спросил:

— Кому это?

— Ванюшке Варвары Терентьевой, этому, который трехлетний. Разоряюсь я, разоряюсь, староста, божий человек! Вот — доску купил у Солдатова, сорок копеек взял, кощей, сорок, да, а в городе цена ей — пятиалтынный — каково? А Варвара — плачет мне: «Пожалей, говорит, пожалей!» Мужа-то, знаешь, отвезли в больницу, ногу лечить, он и лежит там, и лежит. Конешно — пища вкусная, отдых человеку, ну, тут и здоровый больным себя объявит. Нестерпимый у ней мужик, лентяй, пьяница,— что поделаешь, дорогой человек? Ну, Варваре теперь легче будет, трое осталось...

Он быстро, ловко шлепал доской о доску, измеряя их длину, поправлял пальцем мочало, съезжавшее на его лохматые брови, под его остренькой редкой бородкой прыгал в морщинах кожи красный кадык, хрящеватый маленький нос тоже был красен, глубоко посаженные глаза слезились. Говорил он непрерывно, как

бы торопясь выговорить все слова, какие знал, и его бабий, пискливый голос сверлил воздух так неприятно, что староста заткнул одно ухо пальцем.

— Зарабатываешь, значит? — спросил он.

— Разоряюсь, разоряюсь, браток! Девятый строю. А у богатых детишки-то неохоче мрут, на них не разживешься. Вот Варвара-то, когда заплатит за гроб? Что с нее возьмешь? Уговорились, она картошку поможет садить, рубахи детишкам пошьет, ну, там еще чего, маленько. Помогать друг дружке надо, помогать, без помощи — никак невозможно! Вот мне теперь три бабы поработать обязаны: видишь, как сошлось? С Бариновых ягненка взял за гроб, Лизавета у них почти в два аршина вытянулась, хоша ей всего тринадцать лет было. Помаленьку надо; сразу дернешь — надорвешься, помаленьку — разживешься; так-то, человек божий!

Словоохотливый, точно Кашин, Баландин отличался от него тем, что говорил не для поучения людей, а для себя. Замечали за ним, что часто он и один сам с собой разговаривает, думает вслух. Считался он в деревне человеком хитрым, жуликоватым, и был в его жизни такой случай: возвращаясь из соседней деревни, он заметил в кустах, близко от дороги, мертвого человека, какого-то горожанина. Он обыскал труп и, не найдя в карманах ничего интересного, спорол с пальто и с пиджака все пуговицы. Но оказалось, что человек-то — самоубийца, отравился ядом. Тогда возник вопрос: кто лишил его пуговиц? Испуганный плотник зарыл их у себя в огороде и со страха забыл, где они зарыты, а весною дети его нашли пуговицы, вынесли их на улицу, и хотя Баландин быстро отнял их, все-таки деревня года три дразнила его. Но этот маленький слабосильный человек был очень искусным плотником, и деревня, несмотря на его недостатки, ценила Баландина.

Когда староста спросил его, что делать с быком, он тотчас же ответил:

— А продать. Продать, покамест Кашин не присвоил его. Продать, денежки разделить — вот и всё дело! Мне — шесть рублей тридцать копеечек причитается с генерала, не забудь! У тебя расписочка моя есть...

Ковалев помолчал, думая: «Сказать, что счета, смятые наследником Бодрягина и брошенные в лужу, погибли?» Решил, что об этом не надо говорить плотнику, скажется это тогда, когда бык будет продан и утрата расписок генерала послужит поводом к тому, чтобы все деньги обратить на покрытие недоимок.

— Ну, будь здоров,— сказал он Баландину. Плотник проводил его прибауткой:

— Прощай, не тощай, будь широк, наживай жирок.

Староста зашел еще в три избы наиболее заметных и влиятельных хозяев, но один из них валялся на полу, раскаленный «горячкой» до бреда, другой ушел в овраг, версты за три, резать лозу для вентерей — он был рыбак,— а Никон Денежкин, злой с похмелья, отмахнулся от него рукой, прорычав:

— Да ну вас к лешему, делайте как хотите!

Затем Ковалев, уже из любопытства, остановился над окном вросшей в землю, полуразвалившейся избенки Татьяны Коневой. Окно было так низко над землей, что староста, чтобы заглянуть в него, должен был согнуться, упираясь руками в колена. В эту избу он не заглядывал года два и ожидал увидеть в ней тесноту, грязь, но в избе было просторно, пол вымыт и выметен, стены обмазаны глиной, мешанной с мелко рубленой соломой и коровьим пометом, густо побелены.

«Ничего нет, потому и чисто,— подумал староста, потом добавил: — Как в больнице».

Татьяна Конева, маленькая, тощая, сидела на лавке у стола, примеряя на ногу пятилетней дочери туфлю, сшитую из войлока, и звонко рассказывала ей:

— Пришла она в город, а город огромный, и где в нем счастье живет — нельзя понять, только видит она — живет счастье! Всего в городе много, все люди сытые, одетые, да все в шелках-бархатах, шелка-бархаты шелестят, сапоги-башмаки поскрипывают...

Староста, усмехаясь, кашлянул. Сын Коневой, сидя на полу, щелкал дверцей птичьей клетки; приподняв гладко остриженную голову, нахмурив белое глазастое лицо, он недружелюбно крикнул:

— Кого надо? Мам, в окошко заглядывает какой-то.

— Не узнал разве? Это Яков Тимофеич, староста

наш,— сказала мать. Лицо у нее тоже было глазастое и всё сплошь иссечено мелкими морщинами, как у старухи.

— Выправился сын-от? — спросил Ковалев.

— Да вот встал, играет.

— Я не играю, а клетку чиню,— солидно поправил сын.

— Учиться надо бы ему, да учитель-то захворал,— сказала мать, прижав к себе девочку.

— Теперь, с двоими, тебе легче будет,— объяснил ей староста таким тоном, как будто это он устроил так, что двое детей Татьяны умерли один за другим.

— Да, да,— согласилась женщина, вздохнув.— Родим да схороним...

— Дело простое,— усмехнулся Ковалев.

Черноволосая девочка смотрела на него из-под локтя матери, шевеля губами.

— Девчурка-то тоже — ничего, выздоровела?

— Да она и не хворала.

— Вот умница,— похвалил Ковалев, а мальчик, взмахнув головою, строго спросил его:

— А хворают дураки только?

— Гляди-ко ты, какой бойкий,— удивленно воскликнул староста.

— Он у меня дерзкий,— виновато, но ласково сказала мать.— Он со всеми так.

— Непокорный, значит,— объяснил Ковалев.— Это у него от учителя. Учитель тоже — спорщик.

Стоять согнувшись было неудобно, легче бы встать на колени, но нельзя же старосте на коленки встать у окна нищей бабы, смешно одетой в юбку из мешковины, в зеленоватый глухой жилет вместо кофты, к жилету пристроены полосатые рукава; горожане из такой полосатой материи штаны шьют. Ковалев еще раз осмотрел избу: на полке, около печи, немножко посуды, стол выскоблен, постель прибрана, и всё — как будто накануне праздника. И дети — чистые.

— Чисто живешь,— похвалил он.

— Исхитряюсь кое-как, — сказала женщина.— Вот войлок дали на станции, обувку ребятам сделала, а то — простужаются босые,— холодно еще.

— Ну, живи, живи,— разрешил староста и, выпря-

мив ноющую спину, пошел прочь, чувствуя легкую обиду и думая:

«Не жалуется. Ничего не попросила...»

Неприятно было вспомнить, что у него дома три бабы: мать, еще бодрая старуха, жена, суетливая и задорная, сестра жены, старая дева, плаксивая и злая, а в доме грязновато, шумно, дети плохо прибраны, старший — отчаянный баловник, драчун, на него постоянно жалуются отцы и матери товарищей, избитых им.

Когда он шел мимо избы Роговой, Степанида выскочила со двора с решетом в руках, схватила его за рукав и озабоченно, сдерживая голос, сказала:

— Тимофеич, слушай-ко: учитель-то у меня нехорош стал...

— А был хорош? — шутливо спросил Ковалев.

— Ты погоди, послушай,— говорила она, оглядывая улицу и толкая старосту во двор свой.— Сказала я ему, чтоб он квашню на лавку поставил, а он взял квашню-то, поднял да и сел на пол, а квашня — набок, я едва тесто удержала. Гляжу, а у него изо рта кровь ручьем, ты подумай! Это уж к смерти ему. Ты, батюшка, сними его от меня, в больницу надо отвезти, давай лошадь, моя — на пахоте! Да я и не обязана возить его.

— А кто обязан? Я, что ли? — ласково заговорил Ковалев.— И где я лошадь возьму, у кого? Никто не даст, все пашут. Тридцать верст туда-обратно. Это значит — двое суток время потерять.

— А мне как быть?

— Отлежится. Позови Марью Малинину, она заговорит кровь-то,— успокоительно говорил староста, почесывая спину о перила крыльца.— Ты не беспокойся. Уж очень ты любишь беспокоиться,— укоризненно сказал Ковалев.

— А умрет? — спросила Рогова, выкатив красивые глаза свои.

— Эка важность! Имущество тебе останется.

— Ну, какое! Три рубахи, трое штанов, всё ношеное, пиджачишко да пальтишко. Часы будто серебряные.

— Вот видишь — часы. Родные-то есть у него?

— Не знаю. Письма писал кому-то. Голье, наверно, родные-то. А он мне девять рублей должен.

— Родных у него нет,— вспомнил староста.— Он барыней Левашовой воспитан, сирота он. Родных нет, а есть жалованье. Понимаешь? Значит, надо следить, когда в волость повестка на жалованье придет. Тут тебе и девять рублей и поминки и... вообще. Ты, главное, живи смирно. Ну, будь здорова!

Он вышел на улицу. Рогова шла за ним, считая что-то на пальцах. Ковалев обернулся к ней и сказал:

— Сейчас у Коневой был,— чисто живет, шельма!

Рогова, стоя у ворот, смотрела вслед ему, нахмурясь, озабоченно надув толстые губы. Из сеней вышел большой рыжий кот; подняв хвост трубой, он потерся об ноги хозяйки, мяукнул.

— Чего тебе, балованый? — спросила Рогова, наклонясь, подняла его с земли и, поглаживая башку кота, забормотала:

— Запел, замурлыкал? Ах ты, зверь...

Шумели ребятишки, играя в бабки, бормотал и посвистывал скворец, невидимый жаворонок звенел в голубом воздухе, напоенном теплым светом весеннего солнца.

Утром, когда пастух собирал стадо, быка не оказалось на улице. Бабы тотчас зашумели, окружили Антона, спрашивая тревожно и сердито — куда девал быка? Утро было хмурое, сеялся мелкий дождь. Старик подождал, когда бабы немножко обмокли, охладели, и сказал:

— Бык — с хозяином.

— А кто ему хозяин?

— Кто кормит, тот и хозяин. Быка вчера поутру прямо с выгона продавать повели.

Бабы закричали: кто, куда, кому, за сколько?

— Повел Данило Кашин, а больше я ничего не знаю, и не задерживайте стада,— ответил киластый старик.

Бабы побежали к старосте. Он, собираясь в поле, подтвердил, что Кашин и Слободской отправились продавать быка.

— Кормить его никому не охота, а мужиков я спрашивал — они решили продать.

— Самовольничаешь ты с Кашиным да Слободским,— закричали бабы, но когда староста ласково спросил их: «Да вы чего кричите? Чем недовольны?» — бабы не могли объяснить причину своего раздражения, пошли по домам, стали вспоминать, сколько мужьями заработано у генерала, заспорили и быстро перессорились. Примирила их Степанида Рогова, выбежав на улицу и объявив, что ночью помер учитель.

В скучной жизни и смерть — забава. В избу Роговой начали забегать бабы, девицы, вползали старики и старухи с палочками, явились ребятишки. Рогова, не пуская никого в комнату учителя, сердито уговаривала:

— Да чего смотреть-то? Чего? Какой интерес? Он и мертвый не лучше мужика, учитель-то. Идите-ко, идите с богом.

Марья Малинина осведомилась:

— Кто же его, сироту, обмоет, оденет, ручки ему на грудях сложит, гробик закажет, попа позовет?

— А я почему знаю? — раздраженно рычала Степанида.— Что он мне — сын али муж? Он и так девять рублей остался должен мне. Вот староста явится, он скажет, это его дело...

Пришла Матрена Локтева, женщина большая, толстая. Сердце у нее было больное, она страдала одышкой, и распухшее лицо ее казалось туго налитым синеватой кровью.

— Скончался, значит? — спросила она.— А я вот всё маюсь — задыхаюсь, а не могу умереть.— Затем, сочувственно качая головой, сказала:

— Большие расходы тебе, Степанида Власьевна. Поп дешевле пятишницы, наверно, не возьмет, да лошадь надо за ним туда, сюда.

— С ума ты сошла, Матрена! — взревела Рогова, хлопнув ладонями по широким своим бедрам.— Какие расходы? При чем тут я? Он мне девять...

Но, не слушая Рогову, слепо глядя в лицо ее заплывшими глазами, Локтева говорила:

— А попа можно и не звать. Вот Мареевы да Конева без попа детей хоронили...

— Конева — еретица, она в бога не верит, и мужичонка ее в церковь не ходил, они — еретики,— строго сказала Малинина, но и это не остановило течение мысли Локтевой; всё также медленно она продолжала:

— И зачем ему поп? Он тоже, как дитя, был глупенький, невинный ни в чем, да и смирнее ребятишек наших. Взглянуть-то на него не допускаешь? Ну, так я пойду...

Тяжело поднялась на ноги и выплыла из избы, а Рогова проводила ее воркотней:

— Дура толстая, залилась жиром, как свинья.

На смену Локтевой явился староста, молча прошел за переборку, в комнату учителя, прислонился к стене, поглаживая ее спиною. Учитель вытянулся на постели, покрытый до подбородка пестрым, из ситцевых лоскутков, рваным одеялом; из дыр одеяла торчали клочья ваты, грязноватой, как весенний снег; из-под одеяла высунулись голые ступни серых ног, пальцы их испуганно растопырены, свернутая набок голова учителя лежала на подушке, испачканной пятнами потемневшей крови, на полу тоже поблескивало пятно покраснее. Часть длинных волос учителя покрывала его щеку и острый костяной нос, а одна прядь возвышалась над головой, точно рог. Был виден правый глаз; полуприкрытый, он смотрел в подушку и точно прятался.

— Нехорошая какая видимость,— сказал староста, выходя из комнаты.— Словно он не сам помер, а убитый.— Он сел к столу и начал свертывать папиросу, вздохнул и сморщил мягкое благообразное лицо.

— Ах ты, господи... Стражника нет, заарестовали, не выпускают...

— А ты бы не доносил на него,— проворчала Рогова.

Староста, глядя на нее, как в пустое место, продолжал:

— Как вот хоронить чужого-то человека? Может, особый закон какой-нибудь имеется для этого? Н-да, Малинина, ты займись тут; это — твое дело, больные, мертвые. За работу из жаловапья получишь.

— Не забудь, он мне должен остался,— напомнила Рогова.

— Забуду ли, ты у меня — первая на памяти,— сказал Ковалев, закуривая.— Я только про тебя и думаю: как у меня Степанида живет?

— Старенек ты для шуточек,— сказала Рогова.

— Помолчи, чудовища,— предложил Ковалев и снова обратился к Малининой: — Всё это дело, Марья, я тебе строго поручаю, а то Рогова насчитает расхода рублей на сто. Позови Коневу, она тебе поможет.

— Одна управлюсь. Не хочу я видеть эту нищую,— твердо сказала Малинина.

— Эх, забыл я, что ты воюешь с ней. Напрасно. Она живет... вроде как будто и нет ее в деревне. Она вам — пример.

— Ой, умен ты, Яков! — вскипела Рогова.— Нищих в пример ставишь.

Ковалев встал, поглядел на папиросу.

— Ну, мне — пахать! Так, значит. Налаживай, Марья.

И обратился к хозяйке, как всегда, мягко:

— А ты гляди, ежели что окажется неправильно, так я с тебя взыщу!

Тут Рогова топнула ногой так, что где-то задребезжала посуда, а женщина, показывая кукиш в затылок старосте, заревела во всю силу голоса:

— Вот чего ты взыщешь с меня, на-ко вот! Жалуется, стражника заарестовали, а сам донес на него. Ябедник! Паточная рожа, святая задница, прости меня господи!..

— Степанидушка,— успокоительно заговорила Малинина,— надо бы водицы согреть, обмыть усопшего надо, а то в день страшного суда, второго пришествия Христова, немытый он...

— Отстань! — густо сказала Рогова.— Вот — печь. Грей. Я сегодня печь топить не буду. И дров не дам. Как хотите...

Малинина, сердито поджав губы, вышла из комнаты, а Рогова села к столу, выдвинула ящик, достала ученическую тетрадку, карандаш, посмотрела в потолок и, помусолив карандаш, начала писать что-то. В избе стало тихо, как в погребе. Потом с печи мягко спрыгнул толстый рыжий кот, бесшумно касаясь лапами пола, по-

дошел к хозяйке, взобрался на колени ей, и хвост его встал над столом, как свеча.

— Пошел прочь,— проворчала женщина, но не столкнула кота, а он, замурлыкав, начал гладить мордой ее руку.

Вскоре явился плотник Баландин, босой, без шапки, заправив подол рубахи за пояс синих штанов, пришел, держа в руке аршин, взмахнул им и весело поздоровался:

— Здорово, хозяйка, добрая душа! Вот и я — мерочку снять.

Рогова подняла голову и уверенно сказала:

— Одиннадцать рублей сорок копеек оказалось за ним...

— Однако капитал! — откликнулся плотник.— А не найдется у тебя стаканчика веселухи?

— Есть.

Рогова сняла кота с колен, посадила на лавку и пошла в угол, к маленькому шкафу на стене.

...Поздно вечером со станции пришли Кашин и Слободской, оба немножко хмельные. Слободской поставил на стол бутылку водки, положил кольцо колбасы и спросил Ковалева:

— Любаша где? У жены моей, ага! Мать, сестра — спать пошли? Вот и хорошо. Решим дело без бабья, тихо, мирно.

— Продали? — нетерпеливо спросил староста.

— Обязательно,— сказал Кашин.— Эх, самоварчик бы с дороги...

— Сейчас налажу,— охотно согласился Ковалев, выходя в сени, а Кашин, вполголоса, сказал Слободскому:

— Ты помалкивай, я с ним пошучу, на цифре поиграю.— Слободской молча кивнул головой, ударами ладони в донце бутылки выбивал из нее пробку.

— За сколько? — спросил Ковалев, возвращаясь.

— А как думаешь?

Староста посмотрел в угол, улыбаясь, сказал осторожно:

— Полсотни.

— Девяносто целковых,— гордо произнес Слободской.

— Тише! Что орешь! — грубо предостерег его Кашин.

— Врете? — удивленно воскликнул Ковалев.

— Эх ты,— качая головой, с укором говорил Кашин Слободскому.— Я ж тебе сказал: придержи язык! Говорить — не работать, торопиться не надо. Пушка! Стреляешь куда не знаешь.

И тенорок его негромко, но горделиво, напористо зазвенел:

— Продали милостиво, ниже цены. Бык это — известный, я про него давно знаю. Испытанный бык, семь лет ему; Бодрягину генералу он попал сдуру, по капризу, от Челищевых. Я после всё это расскажу, я досконально всё знаю, всю историю. Я, брат, в деле не ошибусь! Теперь давайте решим главное. Значит: девяносто. Нам — по три пятерки — сорок пять, верно? Сверх того, беру себе пятерку — за корм, за хлопоты, за мое знание — идет? Остается сорок целковых. Гони их, староста, в недоимки! Честно, как в аптечке. И все будут довольны.

— Узнают,— жалостливо сказал Ковалев.

— Бро-ось! Кто станет узнавать? Бык далеко ушел, за Волгу. Кончили?

— Опасаюсь я,— умильно сказал Ковалев, но Кашин торопливо забросал его словами, и староста, пожимая плечами, почесывая спину о стойку полатей, махнул рукой:

— Ладно.

— Бабам — ни словечка! — строжайше предупредил Кашин, сунув в руку старосты красную и синюю бумажки.— Продали быка за сорок целковых, и конец! Ну-ко, давайте выпьем,— предложил он, разливая водку по чашкам.

— На пропой будут требовать,— сказал Ковалев, быстро спрятав бумажки в карман штанов.

— Потребуют — дай на ведерко,— советовал Кашин.— Дашь — спокойнее будет. Казну сорок целковых не утешат. На два ведра попросят, поспорь и на два дай.

Староста взял чашку с водкой и, крестясь, сказал:

— Вот и поминок учителю.

— Помер? — спросил Кашин и как будто немного огорчился.— Ах ты... помер все-таки! Жаль, любил я поспорить с ним, приятно мне было это. Вот оно как: пожил — помер...

— Ну, и спасибо,— докончил Слободской, нюхая кусок колбасы.— Запах какой хороший.

— Завтра хоронить,— сообщил староста, держа руку в кармане, куда спрятал деньги.— Беспокойно мне. Наш брат, мужик, умрет, так это — привычно и ничего сомнительного не сыщется,— помер да и всё. А тут — чужой, да еще вроде как будто казенный человек.

— Полицейский,— подсказал Слободской.

Кашин вынул из кармана коробку папирос «Пушки», одну из них протянул старосте:

— Покури, Яша, городскую; толстая, сытная папироса, вкусная. И не беспокойся: всё обойдется, как надо. Я, брат, знаю... Я, мил друг, столько знаю, что и сам себе удивляюсь: где это во мне помещается? Ей-богу!

Тощая, косоглазая и рябая сестра Ковалева внесла кипящий самовар, с треском поставила его на стол и сердито сказала:

— Сами угощайтесь...

...Учителя хоронили на другой день поздно вечером. Крышку гроба несли на головах два школьника, а гроб — Локтев, Денежкин, Баландин и вечный батрак, бобыль Самохин, человек лет сорока, лысый и глуховатый. Учитель оказался легким, трое шли очень быстро, а Самохин всё время сбивался с ноги, и Локтев сердито учил его:

— Шагай как следует: раз — два, правой — левой, козел!

За гробом шла, выпятив грудь, точно солдат, Степанида Рогова; рядом с нею галкой подскакивала на коротких ножках Малинина, позади их шагал староста, размахивая падогом, его окружали мальчишки и девчонки, десятка полтора, а отступя от этой группы шагов на двадцать вела за руку дочь свою Татьяна Конева; рядом с ней, пахмурясь шел сын. Спачала Конева

пошла было вместе со всеми, но Марья Малинина ядовито спросила ее:

— Думаешь, копеечку подадут? Не надейся, хоронят тоже нищего.

Тогда Конева замедлила шаг, а через некоторое время и сын ее отступил из группы товарищей, остановился, подождал, когда мать поравняется с ним, и, взяв ее за руку, пошел рядом.

Когда гроб поставили на край могилы и Баландин стал вбивать в крышку гвоздь, гроб скользнул с холмика на землю, боковая доска отвалилась, и учитель, повернувшись на бок, как будто захотел спрятать от людей серое костлявое лицо; застывшие глаза его были плохо прикрыты, казалось, что он щурится, глядя на огненные облака. Локтеву всё это не понравилось.

— Эх ты, грободел! — сердито сказал он Баландину.

Плотник, прилаживая доску, крякнул и оправдался:

— Понимаешь, гвоздей не хватило! Да и доски — старые, рухлые, плохо держат гвоздь.

Локтев заворчал на Малинину:

— Копейки надо было положить на глаза!

— А ты их припас, копейки-то? — спросила старушка, крестясь.

— Эх, черти! — вздохнул Локтев.

Рогова посоветовала ему:

— Ты бы не лаял над могилой-то...

И тяжелым басом своим проговорила очень громко:

— Заступница усердная, мати господа вышнего, прими душеньку усопшего раба твоего Досифея.

Староста выслушал ее, крестясь, поклонился могиле и быстро пошел прочь.

— Хитрый,— сказал Денежкин, подмигнув и усмехаясь.— Бежит, боится — на водку потребуем.

Лопатой и ногами сбросили рыжую землю в могилу. Баландин любовно охлопал холмик земли лопатой, ребятишки разбежались по погосту, собирая первые цветы между могил; у одной из них опустилась на колени Татьяна Конева, Малинина и Рогова молча крестились, кланялись земле. Денежкин шагнул к Роговой и сказал:

— Ну, давай на четверть.

— Это что еще? — удивилась Рогова.

— А ты — без разговоров! Давай!

— Правильно! — подтвердил Локтев, усмехаясь.— Что ж, мы даром время тратили?

— Да что вы, обалдели? — закричала Рогова.— Что он мне — муж, сын? Со старости просите...

— Не спорь, Степанида, не отвергай! — вмешался Баландин, держа лопату на плече, как ружье.— Дай нам помянуть человека, господь тебя вознаградит...

— А не дашь, он тебе стекла в окнах выбьет, господь,— свирепо предупредил Денежкин.

— На бутылку дам,— согласилась Рогова, громко вдохнув воздух носом.

— Ну, ты, не торгуйся! — сказал Локтев спокойно, но глаза его нехорошо вспыхнули.— Ты от него неплохо попользовалась, чихнет он — плати, мигнет — плати! Это всем известно.

Денежкин протянул руку плотнику.

— Дай-ко лопату, я ее лопатой по башке стукну.

Малинина быстренько побежала прочь. Рогова начала искать карман в своей юбке, рука ее дрожала.

— Два целковых давай,— потребовал Денежкин.— Чтоб и на закуску хватило, слышишь?

— Не глухая,— пробормотала Рогова и подала ему два серебряных рубля и пошла прочь, шагая наклоня голову, вытирая лицо концом шали.

— Эхе-хе, грехи! — вздохнул Баландин, оглядываясь. — Надо бы ребятишек заставить хоть молитву спеть, они молитву поют, слышал я. Покойникам причитается уважение, а у нас как-то так... голо вышло.

Локтев искоса взглянул на него и пробормотал:

— Погоди, разбогатеем — барабан купим, с барабаном хоронить будем.

— Ну, пошли,— скомандовал Денежкин.

Татьяна Конева всё еще молилась, дочь ее сидела на соседней могиле, разбирая сорванные подснежники; сын, стоя за спиной матери, оглядывался, слушал; потом, когда все ушли, он положил руку на плечо матери и серьезно сказал:

— Ладно уж, мам, будет, вставай, идем...

Погост — за версту от деревни, расположен на обширном невысоком холме и был огражден пряслом, но жерди давно и почти все исчезли — беднота растаскала на топливо, колья тоже повыдерганы, а четыре пустили корни и пышно разрослись в толстые ветлы. У подножья холма под ветлами торчала небольшая старенькая часовня; подмытая дождями, она заметно наклонилась вперед, точно подвигаясь с погоста к деревне. В ней отстаивались покойники в ожидании попа. Кресты и могилы были разбросаны так беспорядочно, как будто живые торопились зарыть мертвых в землю и заботились о том, чтоб, как при жизни, свой покойник не очень приближался к чужим, чтоб ему хоть в земле-то посвободнее было. С погоста хорошо видно половину улицы, изогнутой по берегу реки, а другая половина, отделенная пожарным сараем, пряталась за группой старых берез. Улица похожа на челюсть, в которой многие зубы загнили, а некоторые еще крепки.

Четверо мужиков, закопав учителя, спустились, не торопясь, к часовне. Денежкин, подбрасывая на ладони две серебряные монеты, заглянул внутрь часовни, посредине ее — деревянные козлы, на них ставили гроба. Денежкин сунул монеты в карман, попробовал закрыть дверь, она заскрипела, но не закрылась.

— Починить бы надо, плотник,— сказал он.

Баландин скупо ответил:

— Заплати — починю.

Локтев, сунув пальцы рук за пояс штанов, посвистывая сквозь зубы, прищурясь, смотрел через деревню вдаль, в луга, обрезанные черной стеной хвойного леса. Над лесом еще пылали огненные облака, солнце уже расплавилось в их кипящем огне. Над деревней выяснялась серебряная и как бы прозрачная луна.

— Шумят, — сказал, улыбаясь, тихий мужик Самохин.

— Тому есть причина,— объявил Баландин. — Деньги делят за быка. Собирались делить вчера, да староста с Кашиным в Мокрое ездили зачем-тось. Айда, братцы!

Пошли, но Денежкин, шагая рядом с плотником, сказал:

—Стойте! Там, наверно, тоже отчислят на пропой души, так нам наши деньги, может, разделить по полтине для завтрашнего дня? Завтра — воскресенье. Опохмелимся.

— Не-е,— пискливо протянул Баландин.— Это — не сойдется! Я — питух слабый, мне подай мои шесть тридцать! Я эту сумму с кожей вырву, с пальцами.

— Не вырвешь,— вмешался Локтев.— За быка деньги в недоимки пойдут.

— Это — кем решено-установлено? — завизжал плотник.

— Мной. Я установил, — сказал Локтев, усмехаясь, и успокоил Баландина.

Плотник пренебрежительно махнул рукой, говоря:

— Ну, ты — это ничего! Тебя, друг, мир не послушает.

— А меня? — спросил Денежкин.

— И тебя. Вы оба — миру не головы,— забормотал плотник, ускоряя шаг, и вплоть до деревни почти непрерывно он взвизгивал, повторяя в разных словах одну мысль: — Миром, люди божии, двигает мужик отборно крепкий, да-а! Яко на небеси, тако и на земле божией. Чины: ангелы, архангелы, керувины, серафины...

Денежкин, хрипло и резко похохатывая, вставлял пропитым голосом:

— Херувины, керасины, ах, старый чёрт! Выдумает же!

— Нет, я не чёрт! Я — богу раб, царю — слуга вечный! Вот кто я! Я, брат, божественно думаю-рассуждаю, да-а! Мужик-крестьянин показан в нижних чинах, из него генерала не состряпаешь, нет! Не бывало того, ну и — не будет...

— В морду тебе дать,— лениво сказал Денежкин и снова заговорил о том, что два рубля надобно разделить, но его прервал Локтев; он поравнялся с плотником, взял его за плечо и, заглянув в лицо ему, сказал:

— Ты, чиновник, вот что объясни: вот мы — Краспуха — общество, верно?

— И верно! А как же? Ты не дави плечо мне, не сбивай с ноги.

— Потерпишь,— сказал Локтев, еще более замедляя шаг. — Так, значит, общество, общее дело делаем, так?

— Ну и так!

— Однако — у одних хлеба много и они его на сторону продают, а в деревне — нищие. Это правильно?

— Нет, неправильно! — визгливо крикнул Баландин.

— Ага! — сказал Денежкин, усмехаясь.

— Неправильно, — кричал плотник. — Не первый раз слышу я эти твои слова, а они — не твои! Это — от учителя, сукина сына, прости господи, это от него, смутьяна! Он, козел чахлый, смуту здесь сеял, он это!

Локтев остановился, оттолкнул Баландина от себя и, размахнувшись, ударил его по виску. Плотник не охнул и очень легко свалился на землю, а Денежкин дал ему пинка ногой и с удовольствием сказал:

— А полтинника ты не получишь, хе-хе! Проспорил полтинник...

Плотник лежал неподвижно. Самохин, не останавливаясь, не оглядываясь, ушел вперед. Денежкин и Локтев посмотрели на плотника и тоже пошли.

— Лежит, — сказал Денежкин. Локтев промолчал, но через несколько шагов твердо выговорил:

— Многим надо бы морды бить. Тоска!

— Да, — согласился Денежкин. — Я, как выпью, так обязательно драться хочу. А полтину я ему действительно не дам. Вот Самохину — другое дело.

— Самохин — стражнику служит, — угрюмо заметил Локтев.

— Так я и ему не дам, — тотчас же сообразил Денежкин, сунул руку в карман, достал рубль и протянул его Локтеву.

— На. Квиты!

Локтев взял монету, подбросил ее высоко в воздух, а когда она упала на землю, к ногам его, сказал, подняв ее:

— Решка.

— Для нас, брат, орлом не ляжет,— откликнулся Денежкин.

Вошли в улицу, встречу им от пожарного сарая из-

ливался шум многих голосов и особенно звонко звучал голос Данилы Кашина.

— Я, миряне, честь-совесть подробно знаю! Вот я его, быка, кормил, поил, уход за ним имел. Ну, я с вас за это ни копейки не беру. Я обществу — верный слуга!

— Знаем тебя, знаем, Данило Петров! — кричали ему.

— Давай на два ведра!

— Хватит одного!

— Тебе хватит, а мне нет!

— Так как же? Одно или два? — крикнул староста.

Мужиков было у сарая десятка полтора, и почти все они в один голос крикнули:

— Два-а!

— Эхма, где наше не пропадало!

— Гони за вином!

— Вино есть! — объявил Кашин.— Я вчерась догадался: наверно, думаю, миряне не упустят случая. Вино есть!

На завалинках сидели и ворчали бабы, собирались парни, девки, чей-то басовитый голос радостно командовал:

— Бабы, давай огурцов соленых, капусты квашеной — жив-во!

Кто-то густо напомнил:

— Хлеба!

— Все, что ли, собрались? — спросил Ковалев.

— Все, все!

— Вот — Локтев с Денежкиным...

— Баландина, плотника, нет!

Денежкин, расталкивая людей, хрипло говорил с усмешкой на опухшем красноглазом лице:

— Баландин идет! Он, сослепа, мордой на крест паткнулся.

Сняли с пожарной телеги бочку, положили на телегу доски, попробовали, плотно ли доски лежат, и на этом столе быстро появились две светлейшие четверти водки, каравай ржаного хлеба с ножом, воткнутым в него, большие плошки с огурцами, капустой. Кашин, взмахивая руками, подпрыгивая, командовал:

— Изначала — бабы, как, значит, помощницы, наставницы наши! Бабы — подходите, благословясь, причащайтесь, покорнейше просим!

И вполголоса, подмигивая, он говорил ближайшим мужикам:

— Пускай они первые клюкнут да опьянеют — шуму меньше будет, воркотни избавимся.

И снова кричал:

— Бабочки, радость наша! Не задерживайте! Глотай ее, царскую малопольную! Эхма...

Мужья, признав политику Кашина правильной, ухмыляясь, подталкивая жен к водке, любезно уговаривали их:

— Иди, иди, чего кривишь рожу!

— Айда, Настёнка, тяпни чашечку для здоровья, не упирайся, дура.

А Кашин, разливая из бутылки по чашкам, притопывал ногой, звонко распевая:

И затем лишь я, ой-богу,
Прод-должаю пить,
Чтоб эту водку понемногу
И вовсе истребить... Эх, ты-и!

— На здоровье, Настасья Павловна! Ох, когда ты красоту свою изживешь? Ну, ну, бабочки, не кобеньтесь!

Бабы притворялись, что пить водку — дело для них новое, и пили ее маленькими глоточками, как пьют очень горячий чай, а выпив, морщились, вздрагивали всем телом, плевали. Подошла жена Локтева; он, сидя на земле, дернул ее за подол юбки и строго сказал:

— Немного глотай, задохнешься!

— Тебе легче будет,— ответила она.

Пошатываясь, приближался Баландин и еще издали плачевно кричал:

— Господа общество, требую помощи-защиты!

Денежкин взял из руки Кашина чашку, налитую до краев, и, бережно неся ее на уровне своего рта, пошел встречу плотнику, остановился пред ним.

— Пей!

— Не хочу! Не желаю от разбойника.

— Пей, я те говорю,— негромко, но грозно повторил Денежкин.

Плотник поднял голову, глаза его слезились более обильно, чем всегда.

— За что били? — спросил он, всхлипнув, взял чашку в обе руки и присосался к ней, а когда он выпил, Денежкин, швырнув чашку за плетень, в огород Кашина, сказал:

— Ну вот! И — молчи! А то...

Плотник, мотая головой, обошел его с левой руки и быстро направился к старосте, но Ковалев, должно быть, еще раньше выпил, он сидел на бочке и, блаженно улыбаясь, грыз мокрый огурец, поливая бороду рассолом, и покрикивал:

— И вышло всё благополучно, как надо! Баландин, садись рядом...

— Шесть тридцать мне... причитается!

Староста захлюпал губами, засмеялся:

— Никому, ничего! Как уговаривались. Всё — в недоимку! Забыл?

— Вор-ры! — завизжал плотник.— Пьяницы...

Локтев ударил его ногой под колено, плотник пошатнулся, сел рядом с ним и еще более визгливо прокричал:

— Разбойник!

— Сиди смирно,— посоветовал Локтев и добавил: — А то — водки не дадим.

— А ты работал ему, генералу?

— Не работал!

— А я — работал!

— Ну и твое счастье.

— Счастье? В чем?

— Да — чёрт тебя знает! Отстань...

— Ай-яй-яй! — пробормотал Баландин, пьянея.

И все пьянели очень быстро. Луна блестела ярче, сероватый сумрак позднего вечера становился серебряным, бородатые лица мужиков, широкие рожицы девок, баб, парней, теряя краски, блестели тускло, точно отлитые из олова. К сараю со всех дворов собирались хозяева, становилось шумнее, веселей.

Девки сгрудились за сараем, под березами. Добродетельный Кашин дал парням две бутылки:

— Нате-ко, угоститесь малость и девчонкам по рюмашке дайте, веселее будут, ласковее,— сказал он, а понизив голос, добавил:— Не хватит — еще дам! Только — вот что: ежели Денежкин драку зачнет,— бейте его не щадя, дыхалки, дыхалки-то отшибите, буяну!

Девицы уже налаживались петь, и Матрена Локтева, покачивая грузное тело свое, упрашивала:

— Вы, девицы, спойте какую-нибудь позаунывнее, на утешение души!

А муж ее, держа чашку водки в руке, внушал старосте:

— Ты, Яков, не миру служишь, ты — Кашину да Солдатову собачка, а они деревне — чирьи, их каленым гвоздем выжечь надо, как чирьи.

— Глядите, чего он говорит, беспокойный! — кричал Ковалев пьяным, веселым голосом и хохотал, хлопая ладонями по коленям своим.— Данило Петров, хо-хо, он тебя каленым гвоздем, о-хо-хо...

Кашин, искоса посматривая на Локтева, ораторствовал:

— Жить надо, как пчела живет: тут — взял, там — взял, глядишь — и воск и мед есть...

Но голос его заглушала Рогова, басовито выкрикивая:

— Вот так и пропивают житье, а после — жалуются, охают!

Девки дружно взвыли высокими голосами:

Не красива я, бедна,
Плохо я одета,
Никто замуж не берет,
Ах, меня за это!

Немного в стороне сидел Баландин, дружелюбно прислонясь к плечу Денежкина. Денежкин отчетливо и удало играл на балалайке; молодой парень, нахмурясь, плясал, вздымая топотом ног холодную пыль, а тихий мужичок Самохин, прищурив глаза, сладостно улыбаясь, тоже топал левой ногой и детским голосом,

негромко, осторожно приговаривал:

Эх, нужда пляшет,
Нужда скачет,
Нужда песенки поет,
Н-нужда по миру ведет...

— Дел-лай! — свирепо кричал Денежкин плясуну.— Делай, чёрт те в душу!

А Баландин, качая головой, всхлипывая, жаловался:

— Шесть тридцать... пропало, а?

Парень, перестав плясать, взмахнул головой и, глядя в небо, прокричал:

Эх, ветер дует и ревет,
На войну солдат идет...

И снова отчаянно затопал ногами.

А Денежкин снова крикнул:

— Дел-лай!

# ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О И. П. ПАВЛОВЕ

В 1919 году я, в качестве одного из трех членов «Комиссии помощи профессору Ивану Петровичу Павлову», пришел в Институт экспериментальной медицины, чтоб узнать о нуждах знаменитого ученого.

— Собак нужно, собак! — горячо и строго заявил он.— Положение такое, что хоть сам бегай по улицам, лови собак!

В его острых глазах как будто мелькнула веселая улыбка.

— Весьма подозреваю, что некоторые мои сотрудники так и делают: сами ловят собачек.

— Сена нужно хороший воз,— продолжал он.— Нужно бы и овса. Лошадей дайте штуки три. Пусть будут хромые, раненые, это — неважно, только были бы лошади!

Он быстро объяснил, что лошади нужны для того, чтоб получить сыворотку из их крови. В комнате было так же холодно, как на улице. Иван Петрович в толстом пальто, на ногах валяные ботики, на голове — шапка.

— У вас, видимо, дров нет?

— Да, да! Дров — нет.

Он пошутил:

— Говорят: теперь не дома отапливаются печами, а печи домами. Но — деревянных домов тут, близко, нет. Дров давайте. Если можно.

— Продукты я получаю из Дома ученых. Удвоить паек? Нет, нет! Давайте, как всем, не больше.

Требуя помощи его научной работе,— от помощи персонально ему он решительно отказался.

— Продукты надо расходовать бережно. Слышно — какой-то дурак лезет на Петербург? Вот видите: большевики-то озлобили всех...

В те дни такое бережное отношение к «продуктам» наблюдалось крайне редко. Обильны были факты иного рода: на заседания совета Дома ученых аккуратно являлся некий именитый профессор, он приносил в платке сухие комья просяной каши, развертывал платок и, отправляя маленькие комочки каши в свой ученый рот, тяжко вздыхая, уныло покачивая умной главой, показывал собратьям своим, до чего доведен большевиками деятель науки. Он ничего не говорил и вообще ничем не выражал своей заботы о том, как и где добыть пищу для его товарищей по работе, он только показывал на каше: «Страдаю».

Таких и подобных демонстраций большевистской жестокости господа интеллигенты устраивали много. Нет спора: люди, недоедая, страдали, но едва ли стоило сопровождать страдания творчеством мелких пакостей, назначенных для самолюбования и для уязвления большевиков. Но — сопровождали.

И. П. Павлов, мне кажется, спорил с советской властью по недоразумению, потому что не имел времени серьезно подумать о значении ее работы и потому еще, что около него были враги советской власти, люди, которые отравляли его ложью, сплетнями, клеветой.

Лет шесть тому назад он, памятно, сказал мне:

— Я могу верить в бога, но, разумеется, предпочитаю знать. Вера есть тоже нечто, подлежащее изучению, она развивается из отвлеченных понятий, то есть из работы мозга. Изучая его работу, мы все-таки еще не знаем, как он работает. И — узнаем ли? Это — вопрос. Вот мы с вами поспорили. Одно и то же вещество нашего мозга воспринимает впечатления и реагирует на них различно и даже непримиримо различно. Я ищу причину этого в биологической — органической — химии, вы — в какой-то химии социальной. Мне такая незнакома...

И. П. Павлов был — и остается — одним из тех редчайших, мощно и тонко выработанных органов, непрерывной функцией которых является изучение загадок

органической жизни. Он изумительно целостное существо, созданное природой и работой как бы для познания самой себя. Высшая для человека форма самопознания является именно как познание природы посредством эксперимента в лаборатории, в клинике и борьба за власть над силами природы посредством социального эксперимента.

Свободное и успешное развитие этой работы, которая должна быть целью жизни каждого разумного человека, требует полного равенства в праве на знание,— равенства, невозможного в обществе классовом, при наличии уже обессмысленной власти капитала, ныне создающей такие рецидивы средневековой дикости и зверства, каков, например, современный фашизм — кровавый и гнусный конец царства буржуазии.

И. П. Павлов — умер, но энергия его, воплощенная в работу, ещё долго будет жить.

# III

## НЕ ПУБЛИКОВАВШЕЕСЯ АВТОРОМ

Оливы пахнут горько. Жесткий лист,
Нагретый солнцем знойного полудня,
Насытил воздух масляной отравой.
И тусклое деревьев серебро
Одето едким голубым туманом.
Не хочется дышать. И трудно думать.
А думать — есть о чем.

# О ЕДИНИЦЕ

Лет за 20 до сего года, когда я жил на острове Капри, явились ко мне гости из Якутска — Алексей Семенов, полурусский, полуякут, с женою Наташей, китаянкой из-под Шанхая.

Алексей — человек среднего роста, крепенький, круглолицый, с глазами северянина, в них сияло неугасимое любопытство, проницательность исследователя и чувство «радости бытия»; Наташа — кругленькая, бойкая и веселая, казалась подростком, а в китайских глазах ее светилась та же радость жить, что и в глазах мужа.

Семенов рассказал, что он — сирота, жил — кажется — в Троицко-Савске «мальчиком» при магазине фирмы «Кунст и Альберт», в свободное время занялся «от скуки» изучением «эсперанто», но, изучив его, стал сомневаться в том, что есть люди, которые говорят на таком языке. Сомнение — поучительно, не сомневаясь — не убедишься. Алексей Семенов убедился в том, что эсперанто существует, очень своеобразным способом: он послал в Лондон, фирме, торгующей дичью, телеграмму на эсперанто, предложив поставлять англичанам мороженых рябчиков. Рябчиков у него, конечно, не было, но англичане ответили ему тоже на эсперанто, значит — язык этот существует и, зная его, можно путешествовать по Европе. Затем Семенов женится на китаянке, тоже сироте, которая до одиннадцатилетнего возраста говорила по-русски всего девять слов: «Мама пойдет гулять, пусть тебя волки съедят, сукин сын».

Через некоторое время Семенова переводят приказчиком в Якутск, там он знакомится с нижегородским маляром Упрыжкиным и евреем извозчиком Браилов-

ским. Оба — уголовные. Нижегородец, кажется, был сослан за кощунство и богохульство. Браиловский — не помню за что. Втроем они начинают развивать культурную работу в Якутске: организуют кружок любителей драматического искусства; Упрыжкин — декоратор, плотник и вообще человек «на все руки», Браиловский — суфлер, он же свозит и развозит актрис на репетиции и спектакли, примиряет капризных, утешает обиженных. Семенов дает театру средства, помогает ему и непосредственно, своим трудом. В городе живут политические ссыльные, но всё это идет мимо людей, у которых другие настроения и цели, более высокие.

Зоркий глаз Семенова открывает в окрестностях Якутска огнеупорную глину, тройка «культуртрегеров» делает кирпич, он идет на перекладку печей в казенных зданиях города: зимою при двух топках в день простой кирпич быстро перегорал. Устроили первую в Якутске оранжерею, нашли около города литографский камень, который некуда использовать. Семенов организует экспедицию для изучения кратчайшего пути от Якутска к берегам Охотского моря, он вообще неутомимо работает, пытаясь изучить суровый край, который самозабвенно полюбил и любит.

Накопив достаточное количество денег, он осуществляет давнюю мечту свою — познакомиться с Россией и Европой. Добрался с женою до Москвы, Петербурга, и там его поражают вагоны трамвая. Если обить их изнутри звериными шкурами для тепла, поставить на полозья, запрячь в них оленей — можно устроить весьма удобное и быстрое сообщение между Якутском — Иркутском. Расстояние — пустяковое: 4000 верст с небольшим. Он ведет переговоры с городским головой Петербурга об уступке Якутску старых вагонов трамвая. Его, разумеется, высмеивают.

Вооруженный только «эсперанто» и прочитав несколько книг по истории культуры, он, с женою, объехал все главнейшие города Западной Европы, побывал во всех музеях, осмотрел ряд промышленных предприятий и крайне удивил меня емкостью своей памяти, своеобразием оценок. Он — русский оптимист, он считает $2 \times 2 = 5$. Это — правильный, смелый счет, с поправкой

на скепсис — на сомнение — он даст как раз 4, как убеждает в этом вся наша текущая действительность, творимая энергией рабочей массы. Известно, что пессимисты считают 2 × 2 = 3 и что ошибочность этой манеры считать доказана всей историей роста культуры, а особенно неопровержимо доказывается двенадцатилетней работой строительства нового мира в Союзе Социалистических Советов.

Алексей Семенов за восемь лет до 17-го года сосчитал правильно; беседуя со мною на Капри, он сказал очень просто и вполне уверенно:

— Здесь везде, в Европе, нужно делать революцию, как начали у нас. Только они все — очень вялые, это, я думаю, климат мешает им. И слишком удобно всё, это — тоже, должно быть, мешает. Я думаю — мы их обгоним. А вы как думаете?

Когда «мы их обогнали», Алексей Семенов был избран наркомфином в Якутске. Из всех бумажных денег, которые выпускались в оборот на безграничном пространстве Союза Советов, самые оригинальные деньги выпустил Алексей: он взял разноцветные этикетки для бутылок вина, своею рукой написал на «Мадере» — 1 р., на «Кагоре» — 3 р., «Портвейн» — 10 р., «Херес» — 25, приложил печать наркомфина, и якуты, тунгусы очень хорошо принимали эти деньги как заработную плату и как цену продуктов. Когда Советская власть погасила эти своеобразные квитанции, Семенов прислал мне образцы их. Если б у него не оказалось под руками винных этикеток, он, вероятно, выпустил бы деньги не на простой, а на клозетной бумаге.

Он — один из самых бескорыстных людей, встреченных мною за всю мою жизнь. К деньгам и вещам у него органическое презрение, он любит только книги, а больше их — работу. В то время, когда он исполнял работу наркомфина, жена его Наташа — мы прозвали ее «Ходя» — действовала на фронтах, была в пулеметной команде, исполняла поручения разведчика, курьера и т. д.

В 20 году Семенов прислал ее ко мне с образцами свинцового блеска и письмом, в котором, извещая, что нашел месторождение свинца и начал разрабатывать

руду с помощью семнадцати тунгусов, сообщал, что о его находке узнали японцы и предлагают ему за пуд руды пуд дроби. Это внушило ему уверенность, что руда очень богата, и он предлагает показать ее кому-нибудь из ВСНХ. «Подробности расскажет Наташа»,— писал он.

Наташа ничего не могла рассказать: по одежде ее путешествовали стада вшей, температура у нее была выше 40°, она стояла на ногах, покачиваясь, улыбалась и бормотала:

— Не сяду, не могу, это, кажется, тиф...

Так и оказалось. Мы отправили ее в больницу, откуда она выскочила обритой, как мальчишка, сухонькой, но всё такой же неутомимо веселой, какой она была всегда. Мне очень жаль, что я не могу напечатать интереснейших писем Семенова о постройке им города Томмота на берегу Алдана,— он мечтал создать там «Город-сад». Письма эти остались у меня в Сорренто. Но вот его последнее письмо от 23 июля текущего года:

«Дорогой Алексей Максимович.

По настоянию Наташи, моего жизнерадостного спутника на жизненном пути, я начинаю учиться печатать, чтобы удобнее было читать мои письма, и вижу, что это неплохо, тем более, что процесс работы мне нравится. Впрочем, мне нравится всякая работа, как нравится всякая погода: и зной, и холод, и снег, и дождь, и ветер, и тишь. Всё по-своему хорошо.

Мечтатель я, как пишете Вы в своем обращении к Наташе,— это верно, но там, где мне предоставлялась свобода, некоторые мечты мои превращались в реальность. Без капитала, когда основным фундаментом была лишь заработная плата, мне удалось организовать несколько предприятий: издание газет, типографию, сплав по р. р. Юдоме, Мае и Алдану в 1912—1914 годах, транспортные экспедиции на Темтон (приток Алдана), свинцовые рудники и пр. Выпуск денег за время моего наркомфинства, налаживание дороги с Лены на Алдан (через Саныяхтат), организация нелегальной бесплатной почты, во время действия которой не потерялось ни одного письма,— всё это было реальностью, но требовало не холодного чиновника, а мечтателя. Вот в таком смысле я понимаю и Ваше определение. Не в осудительном, а в поощрительном.

Пишу Вам из замечательного места – с пристани Укулан на Алдане, заложенной мною 12 июня 1925 г., в бытность членом правления местного треста «Алданзолото». На другом, левом берегу Алдана красуется город Томмот, в основании которого (15 июня 1925 же года мы начали рубить просеки для визирки при планировке города) я принимал деятельное участие, выдвинув свой план взамен архитекторского, не практичного.

Я сейчас любуюсь естественным бульваром из столетних сосен и лиственниц, оставленных по кайме берега. Каждый аршин бульвара пришлось отвоевывать. Обычно мы сначала вырубим, а потом садим тощие кустики. Когда я слышу похвалу: «А какой-то не дурак составлял план Томмота», то порой скромность готова уступить место самодовольству и того и гляди опубликую, что составитель-то я. Впрочем, некоторые жители знают. На днях на перевозе один из старателей ласково спросил: «Что же, так твою растак, строитель города, в пять лет раз тебя видим?»

Зиму 1927/28 и лето 1928 г. я и Наташа посвятили себя свинцовым рудникам. Проживали по 19 рублей с копейками в месяц, посадив себя на конину, гречневую кашу и капусту, сами таскали себе дрова из леса (служащие и рабочие у нас получали дрова готовые, а мы уменьшали себестоимость свинца). Когда в 1927 году в Кремле А. И. Рыков спросил меня: «Когда вы поедете к Ал. Макс. в Сорренто?», я ответил, что замедление в получении визы из Рима заставляет меня ехать не в Сорренто, а на Верхоянский хребет. «Что там будете делать?» – «Хочу конкурировать с англичанами, добывая свинец». Желание одолеть англичан хотя бы только на Верхоянском хребте побудило меня заключить договор на поставку свинца Якутторгу по цене на 10% дешевле привозного. Чтобы добиться этого, и я и Наташа превратились в дервишей. Однако нашему сподвижничеству скоро наступил конец. Инженеры уговорили Якутское правительство расторгнуть договор об аренде, не выяснив вопроса о возможности существования государственного предприятия там, где работало маленькое кустарное. Результаты сказались. Через три месяца Ендыбальские рудники закрылись, так как приехавшие оказались не подготовленными к работе в условиях Робинзона. Истрачено несколько десятков тысяч рублей на проезд и дискредитирование государственного хозяйства.

Теперь организуется свинцовое дело в другом месте с затратой уже миллионов. Искренно желаю, чтобы не постигла его участь Ендыбальского.

Мне не нашлось места для службы в учреждениях ЯАССР, и я обратился в концессию «Лена Гольдфильдс» с просьбой о работе. Оттуда запросили меня об условиях. Я сообщил, что сумма 150 руб. в месяц вполне удовлетворит мои запросы. Концессия назначила 200 р. На днях я приехал сюда, проехав из Якутска вниз по Лене и вверх по Алдану месяц, и буду сдавать о-ву «Союззолото» грузá, которые доставляются с верховьев Лены концессионными пароходами, проходя водой 4000 км.

Я уже увлекся новым делом: изучаю графики уровня воды в Алдане за четыре года (как начали ходить пароходы) для рационализации маневрирования судов, вешаю груза, помогаю грузчикам петь песни на отдыхах после запалок, выполняю поручения команды пароходов, пою им песни, рассказываю о том, что видел, вообще живу хорошо. Половины жалования, оставляемой себе, хватает на содержание и почтовые расходы, а других расходов у меня нет. При надобности могу опять перейти на сухари и воду и чувствовать себя хорошо.

Теперь (мне скоро будет 50) я прихожу к сознанию, что только снижение своих потребностей до минимума может охранить меня от унижений. Материальные затруднения, являющиеся в большинстве случаев следствием повышенных требований к жизни, налагают на дух человека путы. Это избитая истина, но я только теперь почувствовал весь ужас ее. Надо сознаться, дураком был раньше в этом вопросе. Жестокая историческая необходимость заставляет нас терпеть обречение на безработицу тысяч людей. Эту историческую необходимость я понимаю. Сейчас переживаются большие пертурбации в деревне. Крепкие мужики полагают, что в результате проводимых мероприятий все сельчане превратятся в таких, которые не платят сельхоз. налога и не могут нести косвенного обложения. Переломный момент проходит с кряхтением, но раз это неизбежно, то надо перестраиваться для завоевания новой, необычной для людей старого уклада, жизни.

Здесь я должен прожить до осени, пока не будут доставлены и сданы все груза, идущие по Алдану. Возможно, что уеду в Якутск на пароходе или верхом напрямик, т. е. сделав вместо 1900 километров только 430. В крайности пройду пешком, так как ходить люблю и притом это дешево. К сожалению, местность пока пустынная и сухарей надо брать на всю дорогу. За это время я думаю пособрать сведения о жизни Алдана. Теперь экзотика периода зарождения, которой я был свидетелем, про-

шла и началась пора повседневной, размеренной, основательной работы. Освещение отдельных сторон ее, полагаю, принесло бы пользу, так как о некоторых отраслях алданского дела, например, с вопросом о дорогах к Алдану, я осведомлен, по-видимому, лучше многих.

Я очень просил бы снабдить меня удостоверением на право получения от «Союззолота» и других организаций и учреждений сведений справочного характера. Я, как «предприниматель», лишен избирательных прав. Это нисколько не удручает меня, так как я знаю, что лишение – лишь бумажная сторона дела: в прошлом я был тоже «предпринимателем» и в то же время наркомом финансов и членом ЯЦИКа. Но какой-нибудь казенный человек на самом законном основании может не дать сведений мне, как человеку неполноправному.

В 1927 году я рассказывал А. И. Рыкову о моей последней идее-фикс – проекте создания на среднем Алдане сельскохозяйственной базы для Алданского золотого района. Передайте ему, что дело двинулось. Появились первые колонисты, которые пока зависят от тунгусских обществ (пускать на участки будут с 1930 или 1931 года). Почти всем колонистам я дал подряды заготовить дрова для концессионных пароходов. Я помогаю чем могу и им и другим, например, некоторым из пароходской команды, которые тоже хотят переселиться. Дороговизна здесь, в Томмоте, ужасная; картофель 12—14 руб. пуд, яйца 2.50—3 р. десяток, молоко 1 рубль бутылка. А рядом (по здешнему рядом — в 500—700 верстах) роскошные места для пашен, хорошие луга, и всё это пустует. Наш долг – удешевить продукты, удешевить, усилить добычу золота. А как медленно это делается!

Как много работы и как хорошо жить, даже и неполноправному!

Алек. Семенов

Город Томмот, Алданского округа, Якутской республики (через Амур), Укулан, А. А. С-ву.

23 июля 1929 г.».

Когда Алексей Семенов был у меня на Капри, там жили два писателя — украинец Михайло Коцюбинский и поляк Стефан Жеромский.

— Хотел бы я иметь таких людей, как этот, у себя

в Польше,— сказал Жеромский после того, как посмотрел на Семенова и послушал его. Помню, меня очень удивили эти слова талантливого литератора и человека, который страстно любил свою родину, мучительно горевал о ее судьбе, ярко видел все недостатки и пороки ее интеллигенции, но все-таки сохранил в себе болезненный национальный гонор и не однажды убеждал меня в том, что поляки — самое талантливое племя из всех славянских племен.

Коцюбинский, говоря о Семенове, вспомнил Крашенинникова, Дежнева, Щапова и других северян. У меня к людям, подобным Семенову, с юности горит, не угасая, чувство глубокого уважения и — не скрою — зависти. Хорошо они умеют жить. Это — потому, что радостно и неутомимо умеют работать.

# <СЕРАФИМ САРОВСКИЙ>

Мать Александра Ив<аповича> Лапина умерла в начале 80-х годов, 96-ти лет от роду. По рассказам А. И., в 96 г.— год вскрытия мощей Серафима — она в девицах намеревалась уйти в монастырь — постричься — и вместе с нянькой своей ходила по монастырям Московской области, бывала в Понетаевском, Дивеевском, Оранском и других монастырях Нижегородской губ., беседуя со старицами и старцами. В Саров направил ее, кажется, Иоасаф Печерский или кто-то из оптинских. Она жила в Сарове три месяца, затем, через год, возвратилась к Серафиму и, уже будучи невестой Лапина-отца, ездила к Серафиму за благословением на брак.

Будучи уже старухой, она рассказывала детям: Сергию, впоследствии — в 90-х годах — архиерею Симбирскому, Петру, Василию и Александру: в первое посещение Серафим очень напугал ее грубостью, но вызвал тяготение к нему, и она умолила его разрешить ей жить около него в деревне, а затем, через некоторое время, приблизил ее к себе вместе с купчихой из Кашина, которая обшивала и кормила Серафима. Купчиха страдала запоем, старец на эти дни прогонял ее, а когда она возвращалась — сек прутьями, после чего приказывал мыться в ручье и, наконец, налагал эпитимию «какую-нибудь». Старик был раздражителен, в состоянии раздражения бил купчиху и Лапину по щекам, плакал, просил прощения за побои, и все трое долго молились по ночам. С ним жил старенький монах Наум и хромой мужичок из Сергача, бывший вожак медведей. Прирученных медведей было два: один — старый, издох на

глазах Ланиной, в первое ее посещение Сарова, а когда она пришла вторично,— был другой медведь, «молодой шалун». Не любил монахов, вел тяжбу с Понетаевским монастырем из-за леса, был «очень хороший хозяин», от бог‹атых› требовал денег. Ланина подарила ему тулуп. «Дура, деньги принесла бы, тулуп-то мне и мужики дадут».

«Господи! Да что ты, не слышишь, что ли?»

* * *

Снова кровохарканье. Отсюда — вывод:

Надо было жить скромней,
Не ломать в саду камней
И не думать по ночам
О возмездье сволочам.
Надо помнить: даже вошь
Голым словом не убьешь
И что ночью даже кит
Где-то в море крепко спит.
Ты «велик», но — не с кита,
И судьба твоя — не та.
Кит живет в воде соленой,
Ты же не приемлешь опой.
Ты бытуешь в среде пресной,
Впрочем — очень интересной.

* * *

Дорогие мои дети!
Очень трудно жить на свете!
Всюду — папы или мамы
Непослушны и упрямы.
Ходят бабушки и деды
И рычат, как людоеды.
И куда вы ни пойдете —
Всюду дяди или тети.
И везде учителя
Ходят, взоры веселя.
Ходят, кашляют — следят:
Кто бойчее из ребят?
А заметят: мальчик боек,
Так ему наставят двоек.
На носá надев очки,
Смотрят: где тут девочки?
И шагая, как верблюды,
Ставят девочкам «неуды»,
Дорогие мои дети!
Тяжелы порядки эти!

# «СЕЛО КОМАРОВО КОГДА-ТО РАСПОЛОЖИЛОСЬ...»

Село Комарово когда-то расположилось в устье реки, по берегам ее, но река давно уже промыла себе другое русло, верст за тридцать выше села; на месте ее остался крутобокий овраг, он густо зарос кустарником, и если дул северный ветер — из оврага выплывал приятный шёлковый шумок. По дну оврага струился скудный ручей, почти пересыхавший летом, веселый озорник весною, а река лениво ползла мимо Комарова. Старики говорили, что в овраге жил разбойник Данило Разумный с товарищами, там их обложили солдаты и, перебив всех, сожгли избу Разумного. Но другие старики спорили, доказывая, что Разумный был мельник, разбоем не занимался, а мельницу сжег, по злобе на тестя, зять Антон Денисов, отец теперешних богачей, мельник же с горя ушел в монастырь. Какая-то правда была в этих рассказах: в глубине оврага сохранились остатки пожарища, огромные головни, угли, кирпичи, черепки посуды; ручей изредка выносил на берег реки человечьи кости, а недавно весною выкатил череп какого-то очень зубастого человека. Затылок черепа был проломлен, внутри гремели мелкие косточки или галька, но все зубы были целы, мелкие, белые, веселые. Рыбак Иван Татаринов взял череп в руки, потряс его, погремел костями и завистливо сказал:

— Вроде как довольный, что ему башку разбили.

У него, Татаринова, была причина завидовать: ему в шестом году передние зубы — четыре нижних и три верхних — с корнями выбил нагайкой казак.

Две улицы — два конца — села, соединяясь на берегу реки, дальше расползались каждый по своей линии. Верхний конец восходил от реки на глинистую го-

ру и заканчивался березовой рощей, в ней славно сияли золоченые кресты церкви, просвечивали сквозь кружевную зелень синяя глава колокольни и ярко раскрашенный дом попа с чердаком и балконом. Там же, за рощей, в доме Асафа Терехина, выехавшего на хутор, помещалась церковноприходская школа, а за нею — кладбище, и с того берега реки летом в лунные ночи видно было, как в роще гуляют покойники, греясь в тепле лунного света. За рекой прямо из воды вставала медно-зеленая стена соснового леса. Комаровцы хвастались:

— Наши леса до Сибири доходят.

Солидные избы Верхнего конца и три каменных дома смотрели окнами на реку и в лес, а избенки Нижнего конца стояли боком к реке, тянулись от нее в овраг, как бы желая спрятать в нем свою ветхость и неприглядность, растрепанную, потемневшую солому крыш, косые окна, раздерганные плетни дворов и огородов. Концы жили не очень дружно, как два народа, один — победитель, а другой — побежденный. Верхние ребятишки дразнили нижних.

— Мышееды!

Нижние кричали в ответ:

— Жиряки!

Не только отцы и матери, но даже деды и бабушки Нижнего конца не могли объяснить ребятам, кто и когда ел мышей, а верхние ребята на прозвище «жиряки» не очень обижались.

В Комарове было много интересных рассказов о счастливых и несчастных людях, были там, на Верхнем конце, живые счастливые люди и были необыкновенные. Жил там, в избе Поляковых, тоже выехавших на хутор, Исай Григорьевич Мордвинов, знаменитый охотник, истребитель волков, зайцев и лисиц, маленький черный мужичок с двухвостой бородой, толстыми бровями, лысый, красногубый и как будто без глаз. По земле он ходил легко и бесшумно, как по воздуху, говорил тонким голосом, но тихонько, осторожно, точно прислушиваясь к своим словам. Умнейшая старуха села Матрена Заезжева объясняла эту его манеру говорить:

— Чёрта в слове выпустить боится, чёрта носит он в себе, вот что!

Как многие охотники, Мордвинов был колдун и знаменит — да и страшен — был еще тем, что «пускал килы по ветру»,— в Комарове было трое зобатых да в окрестных деревнях пятеро. Был у него сын, но ушел из дома, бросив жену, и постригся в монахи. Мордвинов жил со снохой, которая сама себе откусила язык и почти не могла говорить понятно, а только мычала, размахивая руками, топая левой ногой,— тощая, растрепанная, с вытаращенными глазами. Язык она откусила, когда хотела удавиться и уже повесилась, но веревка оборвалась, а баба упала и ударилась головою так, что перекусила язык.

Был блаженный Костя, сын богача Асафа Терехина. Когда отец его и братья с женами, простясь с соседями, выезжали на хутор за восемь верст, Костя не хотел покинуть село; его привязали к телеге за шею и за руки, так он и пошел, точно бычок. Шесть лет прошло с той поры, но Костя то и дело прибегал в село зимою и летом, в метель и в дождь, прибежит, загогочет дико и начинает плясать на улице, кривоногий, коренастый, с огромной гладко остриженной головою, с окладистой бородою на дряблом, сером лице, измятом морщинами; глаза у него какие-то рыжие и неподвижные, точно у мертвого. Визгливым голосом он кричал какие-то непонятные слова и обладал способностью предсказывать пожары: встанет пред избой, завоет волком, и люди запасаются водой и всю ночь до утра следят, не появится ли где-нибудь истребительный огонь. Зная, что его ждут, огонь, конечно, не вспыхивал. Но было два случая, когда загорелось не на тех дворах, пред которыми выл Костя, бывало и так, что хотя Костя и не выл, а все-таки изба загоралась.

Был еще сумасшедший племянник Петра Денисова, парень двадцати трех лет, стройный, дородный красавец, точно барский сын. Он сошел с ума внезапно, летом, в год объявления войны, и теперь жил почти невидимо, являясь на улице очень редко и обычно поздними вечерами в длинной до щиколоток белой холщовой рубахе и без штанов, как ангел. Появится, встанет где-нибудь, чаще всего — на крыше, и стоит столбом, смотрит, как гуляют девки, парни, а когда кто-нибудь попытается

ближе посмотреть на него — он тотчас же исчезает, бежит прочь.

Богатейшими хозяевами села были Петр и Павел Денисовы да Нифонт Рыбаков. Денисовы добывали известковый камень версты за две от села, а Рыбаков строил мелкую судоходную посуду: косные лодки, подчалки, мелкие баржонки-тихвинки, мокшаны. Строил он тоже недалеко от села, версты на три выше по течению, и в те дни, когда ветер дул с верха,— по реке густо плыла затейливо скрученная золотистая стружка.

Четвертым богачом считался лавочник Антон Григорьевич Колобашкин, седовласый красавец, дородностью похожий на попа, с бархатным голосом, ласковой улыбкой голубых глаз и сдобным лицом в светлой, пышной бороде. Весь Нижний конец был в долгу у него, он взыскивал долги работой, ставя мужиков Денисову на ломку камня, Рыбакову на выгрузку леса, на пилку бревен и другие работы. Ум его славился не только в Комарове, но и в окрестных деревнях.

Остальные мужики Верхнего конца сеяли рожь, овес за погостом, на своей земле и арендуемой у полковницы Жихаревой.

В Нижнем конце проживали человечки обыкновенные, многосемейные, безземельные, безлошадные, они работали на собственных богачей, ходили на рубку леса, на сплав, пятеро жгли в лесу валежник на уголь, привычно «перебивались с хлеба на квас», да и квас заквасить не каждой хозяйке удавалось. Нижние бабы работали в огородах верхних, давали им в няньки своих девчонок.

Верхние славились своим уменьем сушить, солить, мариновать грибы, дело это они поставили широко: брали в аренду казенный лес, нанимали нижних баб, ребят и большим обозом переправлялись за реку на лошадях, с кадками, со всякой приправой в телегах, и недели на три, на месяц пропадали в лесу. Бабам платили за корзину определенной вместимости по двадцать пять копеек, мальчишкам, девчонкам — по гривеннику и каждое лето жестоко спорили: нижние бабы не могли попять, почему детям платят мало. Ведь грибов-то они собирали не меньше взрослых. Верхние бабы возражали:

— А своим ребятам мы и вовсе ничего не даем!

Но в лесу бабы жили дружно, верхние не чванились своей зажиточностью; вечерами, после ужина, сидя у костров, все вместе слушали мудрые рассказы старухи Заезжевой о городской жизни, пели песни, жаловались на судьбу, вспоминали девичьи надежды и мечты. Знанием песен, умением петь и стиховодить особенно отличались Матрена Заезжева и племянница ее Сашка Дамка. Матрена Павловна, любимица баб и девиц всего села, старуха бодрая, дородная, несокрушимого здоровья, всегда веселая; любили ее за то, что она легко утешала огорченных и скорбящих. Расскажут ей о горе, она похлопает по спине, по плечу ладонью, мягкой, как оладья, погладит по голове и скажет:

— А ты полно, перестань, не горюй, на слезы нету спроса! Уж очень вы, бабоньки, нежноваты стали, а вот в мое время бывало...

И ладными словами начнет рассказывать утешительно страшное о том, как бывало при крепостном праве, когда она была дворовой девкой помещиков Звягинцевых, как ее изнасиловали кадеты, сын барыни и товарищ его, как за это ее собственноручно отхлопала по щекам барыня, после чего выдала замуж за конюха, а на другой год снова явился сынок, снова стал приставать к ней, а муж мешал ему, тогда мужа сдали в солдаты, а ее взяли в дом, в горничные барыне, и заставляли при гостях песни петь.

— Стало быть, все-таки выиграла ты, в горницах-то легче жить, чем при конюшне,— заметила Рыбакова.

— Ну еще бы! И легче и чище, ну все-таки — не своя воля!

— А — на что бабе воля? — спрашивала Прасковья Федоровна Рыбакова, маленькая, плоская, сухая, голос тоже сухой, и говорила она дробно — точно солдат бил в барабан. На темном лице ее жадно и тревожно дрожали круглые, птичьи глаза, костлявые пальцы быстро чистили корни грибов, и вся она была трепетная от жадности.

— Вот племянница-то твоя, Сашка-то,— вольная... бесова слуга.

Рыбаковой — не возражали, она была мстительна.

О себе Заезжева рассказывала не так хорошо и страшно, как разные истории о мучениях крепостных

мужиков и баб и дворовых, истории были одна другой страшнее, и, послушав их, бабы говорили:

— Да-а, гляди-ко ты, что было! Ну, теперь все-таки не то.

Только одна Сашка Дамка, не умиротворяясь рассказами тетки, задорно кричала:

— А что — не то? В старину господа ломали нас, теперь — отцы, мужья, свекры ломают. Научились терпеть, вот вам и кажется, что лучше стало...

Тетка строго уговаривала ее:

— А тебе бы не орать! Известно всем, что ты взбалмошная, мятежная, языку своему не хозяйка, мыслям не владыка.

Дамка была человеком из последних в селе. Бабы дружно не любили ее, подозревали в тайном распутстве, ославили пьяницей, хотя незаметно было, что она пьет больше любой из них. Ей было лет тридцать, но она казалась гораздо моложе. Тело у нее стройное, ловкое, гордой осанки, спина как будто никогда не сгибалась, груди не по-бабьи высокие и очень дразнили мужиков. Отличалась она от светловолосых и рыжеватых женщин села темными волосами, цыганской смуглостью кожи, ее густые брови, яркие губы и неприятно белый блеск мелких, плотных зубов — всё это делало ее непохожей на законную деревенскую бабу. Глаза ее называли змеиными, и, действительно, когда Сашка, прищурясь, смотрела на человека — в ее глазах играл неприятный, злой огонек. Молодые мужики и парни очень настойчиво охаживали ее, трое даже пытались изнасиловать, но от насильников она отбилась, действуя палкой, и после этого к ней начали относиться осторожнее. Рыбак Иван Татаринов, один из ее приятелей, сказал:

— Дамка не одной палкой, она и словом укрощать умеет... Она — умная. Кабы она не так злая была, тогда бы ее даже уважали...

Была она грамотна, и говорили, что, кончив школу, она и сама тоже метила попасть на легкий хлеб в учительницы, уговорила свою мать, птичницу помещиков Звягинцевых, отпустить ее в город к тетке, Матрене Заезжевой, стряпухе подрядчика ломовых извозчиков, но тетка сплавила ее в горничные при газете, где теткин

сожитель служил посыльным. Затем Дамка выскочила замуж за какого-то, его в седьмом году арестовали, а ее выслали на родину. С той поры она и болтается в селе. Вначале она хороводилась с плотниками Рыбакова, открыто жила с одним из них, тоже певцом, но его забрали в солдаты и убили в первый же месяц войны.

А когда война высосала из ⟨села⟩ молодых парней и мужиков, бабы особенно невзлюбили Дамку. Она жила с теткой Матреной как ее работница; тетка, накопив кое-какие деньжонки, жила на покое в маленькой, но чистенькой избенке Нижнего конца, стряпала на свадьбах, на поминках у богатых мужиков, имела небольшой огород и вот славилась как мудрая советчица по всем делам сельской жизни. Племянницу ругала за ее беспутную жизнь, но восхищалась ее голосом и учила петь правильно, как бабушки певали. Голос у Дамки был звонкий, гибкий, неистощимый, пела она, закрыв глаза, и с такой силой, ⟨что⟩ подбородок ее непрерывно дрожал от яростного напряжения. Особенно любила она две песни. «Братову песню»:

Эх, да — брат сестру нежит,
По головоньке гладит,
«Сестрица родная,
Расти поскорее!

Когда будешь большая,
Отдадут тебя замуж
В семью несогласну,
В деревню чужую.

Мужики там дерутся,
Топорами секутся,
А поутру там дождь, дождь,
И по полночи дождь, дождь.

И дождь будет литься,
И страшное — сниться,
А свекровка — браниться,
А соседи — коситься.

И соседи всё злые...»

Пела колыбельную с такими словами:

Баю-баю-бай,
Мое дитятко,
Спи, усни, мое маленько,
Спи да усни,

На погост гости,
Баю да люли — хоть сегодня умри!
А завтра к дитенку
На похороны.

Положим чурочку в могилочку
Под бел камень,
Под сыпуч песок,
Подле бабушки своей, подле родненькой.

Певала она и другие песни, очень дерзкие:

Середи мово двора
Стоит горенка нова,
Ново выстроена,
Чисто выскоблена.

В этой горенке новой
Стоит столик дубовой,
А за этим за столом
Сидит писарь молодой,

Сидит—пишет в три пера,
Пишет царские дела,—
Ох, да царские дела,
Они правы завсегда!

Заунывными песнями она доводила баб даже до слез, и, вздыхая, покачивая головами, они говорили:

— Судьба-то, жизнь-то наша, бабоньки, горькая какая!

И даже четыре бабы Денисовы грустно помалкивали, только Прасковья Рыбакова сердито, скороговоркой ворчала:

— Вот уж не вижу ничего хорошего в этих панихидах, прости господи. И не Сашке бы петь эдак-то. Голо-

сок-то высок, да уста — грязные, пьяными оцелованы, оплеваны. Поет — только расстраивает да разжигает. Ей, по распутной жизни,— веселое петь полагается.— И напоминала: — Ее Дамкой-то за что прозвали? За то, что она честных жен, девок, как простые шашки, расталкивает, вон ведь за что! Забыли?

Дамка певала и веселые песни, но все они были задорные и дерзкие. Например — про старосту:

Староста, староста,
Подь сюда пожалуйста,
Государская собачка,
Рассуди наши дела.

А он, староста, дурак,
Рассудил дело не так,
Тащи старосту вперед,
Станем хворостом пороть!

Обычно после таких песен начинался смех и спор, бабеночки помоложе хохотали, а Рыбаковой да сестре старосты, солдатке Елене Фокиной, и всем бабам Денисовым эта песня не нравилась.

— Про нашего старосту худого не скажешь,— напоминали они одна другой.— Хороший человек: боголюбивый, политичный, никогда никого не обидит. Конечно — осмеять всякого можно, вон господа и над царем, над богом смеются, а — кому от этого польза?

Тогда примирительно выступала Матрена Заезжева:

— А вы — не спорьте, бабоньки. Ведь не про нашего милого Ефима Лукича песня сложена, против него худого слова и бес не скажет. Песня поется не для слова, а для голоса. Это ведь неверно, будто «из песни слова не выкинешь», совсем неверно. Любое выкину, любое вставлю. Не бывает ни дурака, ни злодея, которые словом не владеют. Песня поется не для ушей, а на слух души. Пословица да прибаутка — для поучения, а песня для утешения... Так-то.

Говорить Матрена Павловна никогда не уставала, говорила складно, забавно.

До десяти лет Петр Новоселов прожил, не испытав ничего необыкновенного, а на одиннадцатом прославился как воришка. Возвращаясь берегом реки с каменоломни, куда носил обед отцу, Петр поднял с песка маленький перочинный ножик удивительной красоты,— ножик о четырех лезвиях, они заключены в щечки из чего-то вроде кости, кость радужно и глубоко — как будто изнутри — прокрашена, и краски переливаются, играют, непонятно сменяя одна другую. Петр долго стоял, рассматривая находку, открывая и закрывая голубовато блестящие лезвия, они приятно щелкали, и казалось, что окраска щечек светится на солнце всё ярче. Ножик совсем новенький, как будто вчера сделан, лезвия еще не точены, и на одном конце ножа — медное, а может быть, и золотое колечко. Стоял Петр пред устьем оврага, ветер шевелил кусты, гнал на реку знакомый тихий шелест, река такая же ленивенькая, как всегда, и стружка плыла так же, не торопясь, но мальчику казалось, что всё вокруг окрашено по-новому, ласково и радостно. Мальчик представил, как будут завидовать ему товарищи, но тотчас же сообразил, что никому, кроме Ильи, показывать находку не надо — отнимут или украдут. Софка — первая попытается украсть. Единственный карман штанов был прорван, — Петр снял с шеи крест, продел в колечко гайтан и спрятал нож под рубахой, подумав:

«Наверно, рублей пять стоит».

По пути домой он раза два останавливался, снова рассматривая ножик, а дома спрятал нож в сенях над дверью в избу, потом перепрятал его, снес в огород, сунул в щель старой ветлы, прикрыл корой, а перед ужином, когда тетка послала его в огород окучивать картофель, он, поработав немного, встал за корявый ствол ветлы, вынул находку и, когда любовался ею, бесшумно явилась Софка.

— Ой, что это у тебя? — неприятно громко спросила она, остроносая, с лицом, густо обрызганным веснушками, с рыжим хвостиком на затылке. Она была старше брата на два года, кончила сельскую школу, чванилась этим и вообще мешала брату жить. Петр сунул ножик под мышку себе и, плотно прижав его, сказал:

— Не твое дело.

Сестра дернула его руку, ножик упал, Петр успел наступить на него, ударил Софку кулаком в живот, и в то время, когда они дрались, подошел отец, осыпанный, как всегда, с головы до ног белой пылью.

— Бросьте баловать, чертята,— сказал он густым, привычно ласковым голосом.— Тетка жалуется — не помогаете ей... Чего роешь? — спросил он Петра,— Софка объяснила:

— Он какую-то серебряную штучку добыл и прячет...

Отец протянул раскрытую ладонь:

— Дай сюда.

На ладони отца ножик стал меньше и потускнел. Отец, осторожно пошевеливая его пальцем другой руки, угрюмо спросил:

— Где взял?

— Нашел.

— Не врешь?

Явилась тетка и зашипела:

— Вот они вещи-то, дачников-то Ненюковых, куда пропадали: ах, постреленыш!

Растрепанная Софка, отсасывая кровь разбитой губы и сплевывая ее, быстро сказала:

— Ну уж — нет! У Ненюковых наперсток пропал да маленькие ножницы, так их у сороки в гнезде нашли.

— А ты молчи, рыжий бес! — приказала тетка.— Балуешь ты их, Мирон[1], вот Петька воровать начал...

— Давай ужинать,— сказал отец, сунув ножик в карман, и пошел умываться; тетка побежала в избу, сестра — за нею, сказав Петру вполголоса:

— Дурак.

Петру очень хотелось заплакать от злой обиды. Прислонясь к стволу ветлы, он горестно подумал: жаль, что тетка не потонула в ледоход, когда они с отцом ловили дрова на реке и лодка опрокинулась. Голоса лишилась, шипит, как блин на сковороде, а не потонула. И лучше бы отец женился на Дамке, чем вводить в из-

[1] Везде выше — Ефим.

бу эту злую, шипучую солдатку. Вспомнил, что недавно, за ужином, когда Софка расколола чашку, тетка ударила ее скалкой по голове так, что Софка свалилась со скамьи на пол, отец долго приводил ее в чувство, опрыскивая водой, а когда она очнулась, сказал тетке: «Экая ты зверь!»

— Петька, ужинать! — крикнула Софка.

Ели картофель, размятый вместе с пареной репой и разбавленный снятым молоком,— тетка была мастерица стряпать, и отец нередко похваливал ее:

— Ловко ты, Настасья, умеешь брюхо обмануть.

За ужином тетка не столько ела, сколько кашляла и шипела:

— Семушкин Федор воротился без руки, левую по плечо отпилили, а Чужаковой Авдотье в городе сказали, что как муж ее сбежал из солдат, так паек у нее отнят. Чего теперь ей, хворой, делать? По миру идти с детями-то.

Отец неожиданно спросил:

— Значит, Петрун, нашел ты вещицу?

— Ну да.

— Верно?

— Вот те крест!

Петр перекрестился и тоже спросил:

— Отдашь ножик?

— Кому?

— Мне.

— Подумать надо,— сказал отец; он всегда говорил мало, коротко и чаще всего вот эти слова:

— Подумать надо.

Тетка снова зашипела:

— Балуешь, балуешь... Воришки будут...

— Врешь,— сердито сказал Петр, а Софка обиженно спросила:

— А я — чего украла?

Отец молчал, равномерно действуя ложкой, откусывая белыми зубами большие куски хлеба. Так же молча он встал, стряхивая крошки с бороды, тяжелой рукой и как бы нехотя перекрестился и вышел на двор. В избе он был особенно велик, а на дворе становился меньше и доступнее. Петр выскочил вслед за ним, но отец посмот-

рел на него из-под локтя так нехорошо, как будто оттолкнул, и прошел под поветь в угол, где раньше стояла лошадь, а теперь он устроил себе кровать. Петр сел в изломанную тачку около повети, придумывая, как выпросить ножик. Хорошо бы подойти, топнуть ногой и крикнуть:

«Отдай ножик!»

Не отдаст. Он — тихий, а никого не боится. И — упрямый.

На улице пастух ругался с бабами, грызлись и визжали собаки, захожий бондарь набивал обручи на бочки. Зимою Петр ходил в школу, выучился читать и любил, глядя в небо, переставлять звезды так, чтоб из них получались слова; это была интересная, но трудная игра, звезды не передвигались как нужно, слова составлялись медленно. Да теперь еще и маловато было звезд, ночь только что начиналась. Перед глазами мелькал разноцветный убор ножа, и было скучно, обидно жить.

К отцу, под поветь, прошел Иван Татаринов, и это немножко оживило мальчугана: после беседы с приятелем отец всегда становился ласковее,— уйдет дядя Иван, и можно попросить отца, чтоб отдал ножик. Только бы не уснуть. Татаринов принес водку, было слышно, как она булькает, как покрякивают мужики и чистят воблу. Выпивши, отец говорил приятелю:

— Легкий ты, Иван, приятный ты мне.

Пьяненькие, они становились смешными, обнимались, целовались, пели песни, но это смешное не радовало Петра, а будило в нем досаду и грусть. Верхний конец села богатый, там есть даже каменные дома, ребятишки там наряднее одеваются; было стыдновато жить в Нижнем конце сыном бедного мужика, который работает на богатых и живет в дружбе только с таким же бедняком, прозванным Ванькой Беззаботным. Смелый на слово Илюшка Татаринов как-то спросил друзей:

— Работаете вы много, а всё — бедные, это почему?

Его отец ответил:

— Бедны, да — не вредны.

Ответил складно и памятно, но — не утешительно; Петр замечал, что Нижний конец живет всё беднее и

бедные становятся злей, дерутся чаще. Отец сильнее дяди Ивана, но — слушается его: зимой, когда умерла мать, отец начал пить почти каждый день, но Татаринов запретил ему пьянствовать, и отец послушался. Теперь пьют вместе, изредка, и всегда — на ночь. Могут и ножик пропить. Петр напряженно вслушивался в голос Татаринова и краткие слова отца — не заговорят ли о ножике?

— Сашка Дамка сказывает, что видела Чужакова Никиту,— негромко говорил Татаринов.— Кроме его, еще двое дезентиров около угольщиков трутся, один — из Оленина, а другой будто городской.

— Дивно, что мало бегут,— сказал отец.

— Да, воюют давно, а бегут — мало.

— Теперь бы самое время против богатых войну объявить, как в пятом году.

— Сговор нужен.

О войне Татаринов говорил не меньше тетки Настасьи, но ее речи шипели горячо, а дядя Иван говорил легко, как бы шутя, и слова его звенели, точно стекло. Петр вспомнил тетку, когда она еще жила с мужем,— была она добрая, веселая, толстенькая, одевалась чисто, а когда мужа взяли на войну и тотчас же убили — она высохла, сморщилась, потемнела, растрепалась и всё считала, сколько мужиков убито, сколько воротилось домой без рук, без ног, слепых, больных.

Утомясь вслушиваться в беседу приятелей, Петр задремал, но уснуть не успел,— явилась Софка, вытащила его из тачки.

— Иди, иди в избу!

И, легонько толкая его в спину, сказала:

— Тетка Настасья шипит на улице, что ты ножик-то украл.

К заботам сестры о нем Петр привык и, если заботы были приятны ему, принимал их молча. На другой день, когда он понес отцу обед, по дороге ему встретился Илья Татаринов, с ведром, в котором плескались окунишки и ерши.

— Покажи ножик,— попросил Илья.

— Нет его, отец отнял.

— А где ты украл?

— Да — не украл я, нашел,— с досадой крикнул Петр.

— А чего сердишься? — недоверчиво спросил приятель.

— Не приставай!

— А чего зазнаешься? — приставал Илья, поставив ведро на землю, вытянувшись, точно солдат, и спрятав руки за спину. Петр, зная, что сейчас из-за спины могут вылететь крепкие, быстрые кулаки, пошел своей дорогой, а Илья обидно крикнул вслед ему:

— Украл, так думаешь — ловок? Эх, ты...

— Кабы не обед нести, я бы тебе раздергал харюто,— ответил Петр, быстро спускаясь под гору.

К вчерашней обиде на утрату ножика прибавилась новая. Петру Новоселову лестно было, что его друг — один из лучших бойцов Нижнего конца против ребятишек Верхнего. Илька Татарин — хороший, забавный товарищ: смелый, веселый, вчера — задумчивый и ласковый, сегодня — грубый, злой, он был похож на книжку с картинками — почти на каждой странице другая. Он уже кончил школу, и ее попечительница, важная барыня Куломзина подарила ему книжку — «Хижину дяди Тома». Зимой эту книжку Илья читал вслух, и даже непоседливая егоза Софка слушала молча, только изредка вскрикивая:

— Ой!

А Илья говорил ей:

— Ты — погоди, еще хуже будет!

Неприятно было в Татарине только одно: с Софкой он разговаривал больше и ласковее, чем с ним, Петром, и вообще дружил с нею больше, чем с другими девчонками. У него было две сестры: старшая жила горничной ⟨у⟩ помещицы Куломзиной, а младшую дядя Иван отдал в монастырь учиться рукоделью.

Раздумывая обо всем этом, Петр подошел к месту работы отца, поставил обед на груду известкового камня и, приложив ладони ко рту, крикнул вверх:

— Тятя, обедать!

Сажени на две выше берега, в рыжеватой, круто срезанной горе, залегла широкая полоса известкового камня, и в этом кампе выломаны две глубокие пещеры. Од-

на из них давно засыпана оползнем горы, и видно лишь верхний ее край, похожий на челюсть, в которой торчало четыре обломанных зуба. Над нею висели обнаженные корни деревьев, точно огромные серые черви. Рядом с нею выломана другая, в ней работал отец со стариком Гаврилой Зверковым, она так далеко уходила, что внутри ее было темно и работали с фонарем: отец выламывал камень, а Зверков вывозил его на тачке и сыпал вниз по жёлобу из толстых досок; внизу камень укладывали штабелем в полтора аршина высотой, сажень ширины и четыре сажени длины. Денисовы платили отцу со штабеля, и отец выработал за зиму уже три, начинал четвертый. Скоро Денисовы подведут к берегу баржу и наймут баб Нижнего конца грузить камень.

Обычно, когда Петр подходил к ломке, он еще издали слышал глухие, охающие удары в пещере, грохот камня, падавшего по жёлобу, видел белую пыль над ним. Но в этот день было тихо, пещера не охала, не вздыхала пылью. Петр подождал несколько минут и полез на четвереньках по крутому жёлобу в зубастую пасть пещеры, он не один раз бывал в ее пыльной темноте, и было жутко, что сегодня она не дышит. Встав на ноги, он пробежал шагов десять, наткнулся на груду мягкой земли, она поднималась до потолка пещеры, плотно закрыв ее жерло; мальчик тотчас понял:

«Завалило!»

Он выскочил из пещеры, камнем скатился по жёлобу, без памяти побежал в село, наскочил на чьих-то баб.

— Отца завалило камнем...

Одна из них схватила его за голову, прижала лицом к животу и начала причитать:

— Ой ты, сирота, сиротинушка...

Живот у нее был мягкий, точно тесто. Петр, задыхаясь, бил ее кулаками по бедрам, пытался укусить, но она прижимала его лицо всё крепче, и ее вой раздирал уши.

Потом он нашел себя на берегу реки, ноги его в воде, голова лежала на коленях Софки; наклонясь над ним, она капала слезами на лицо его и растирала грудь ему мокрой тряпкой.

— Очнулся? — прошептала она, всхлипнув, и столк-

нула его на песок, говоря: — Лежи, я побегу. Господи, господи...

Весь мокрый, Петр встал, пошел за сестрой, какая-то тяжесть шевелилась в голове, пошатывая его; его обгоняли бегом бабы с лопатами в руках, ребятишки, проехал верхом на толстом буланом коне старший Денисов, тощий, маленький, точно подросток; впереди по жёлобу грохотал камень, пещера дымила серой пылью, и доносился звонкий голос Ивана Татаринова:

— Делай, делай! Делай, не зевай...

Он работал в самом устье пещеры, на краю ее, выгребая лопатой из-под ног своих кучи земли, выталкивая ногами и руками большие белые камни. Камни не все попадали в жёлоб, многие, минуя его, прыгали вниз по горе и крошились. Денисов, подняв вверх темное лицо свое, козлиную бороду, размахивал фуражкой и сиповато кричал:

— По жёлобу пускай камень, по жёлобу. Не кроши зря, эй! Татаринов,— по жёлобу, я те говорю. Экой дурашной...

Желтая лысина Денисова покрылась потом, таяла, как восковая, под жарким солнцем, он стоял в облаке пыли, держа лошадь на поводе, и лошадь фыркала в спину ему. Народу собралось немного и всё старики да бабы. Петр хотел влезть к Татаринову, но по жёлобу сыпалась земля, прыгали камни, он полез прямо по крутому срезу горы, по чья-то старуха дернула его за ногу, взвизгнув:

— Ку-уда, постылый! Ах ты, бесенок...

Тогда он вскочил на штабель камня, уселся там и, не отрываясь, смотрел, как Татаринов выгоняет из пещеры землю, камни, а сзади его, в пыли, двигаются люди. Подъехал на лодке Рыбаков с дочерью и попом Иосифом в необыкновенной рясе, она была зеленоватая, но отливала красным, и это напомнило Петру краски щечек ножика. Тучный, краснолицый, чернобородый Рыбаков, пожав руку Денисова, густо сказал:

— Опять у тебя это самое.

— Работники неумелые,— прискорбно откликнулся Денисов.

К ним подошел поп, он, вылезая из лодки, оступился в воду и теперь, сев на землю, стал, покрякивая, снимать сапог. Он был тоже толстый, скуластый, как чуваш, с редкой бородкой в морщинах желтых щек, с кустиком седых волос на подбородке.

Рыбаков, прищурив огромные глаза, смотрел вверх, говоря:

— Камень не любит мужика, да и мужик его — тоже. Мужик — дерево любит.

— Девочка, помогла бы мне сапог снять,— попросил поп Софку,— она взглянула на его дочь, подходившую к штабелю, и молча отодвинулась прочь.

— Эй, внизу! Подсобите-ко, примите... Осторожно.

Это кричал Татаринов, подтаскивая к жёлобу странно мягкое человечье тело,— Петр вскочил на ноги.

— Зверкова отрыли,— звонко сказала Сашка Дамка и полезла на четвереньках вверх по жёлобу, за нею карабкались еще две бабы, и все, кто был внизу, сгрудились у конца жёлоба.

Петр сел па камни. Зверкова не жалко, он старичок злой и любил дразнить мальчишек Нижнего конца. Поп вывернул голенище мокрого сапога и, положив его на солнце рядом с Петром, спросил:

— Ты — чей?

Мальчик, так же как сестра его, молча отодвинулся от сапога, не находя в себе никаких слов. И мыслей не было,— было только желание поскорее узнать — жив отец или помер?

Дамка и жена угольщика Баева понесли Зверкова к реке, Татаринов снова полез вверх по жёлобу, хрипло вскрикивая:

— Эй, делай, делай!

А Денисов кричал ему:

— Иван,— погоди-ко! Иван Матвеев, эй! Экой дурак!

— Правильно прозван — беззаботный,— сказал Рыбаков.

По жёлобу снова сыпалась земля, катились белые камни, пещера дышала мутной пылью, жара становилась сильнее, люди двигались уже не так суетливо, и время пошло медленнее, тяжелей.

— Жив! — закричали на берегу.

Петр привстал, посмотрел: у воды, в полукруге людей, сидел голый старик; встряхивая мокрой головой, он кашлял, плевал, скреб пальцами рук седоволосую грудь, пред ним стоял поп, и тело Зверкова казалось зеленоватым. Дамка, на коленях, хлопала по спине старика ладонями и что-то говорила ему, чья-то высокая старуха поливала водой из ведра голову, плечи Зверкова, а поп, взмахивая рукой, доказывал Денисову:

— Господь милостив.

— Милостив, да не ко мне.

Петр соскочил с камней и, подбежав к жёлобу, закричал вверх:

— Дядя Иван, скорее! Пусти меня туда, дядя Иван...

Татаринов не ответил, тогда мальчик сел на землю и завыл, зарыдал.

Новосслова отрыли к вечеру, когда уже покраснело солнце. Он лежал на берегу реки...

## ‹ФОЛЬКЛОРНАЯ ЗАПИСЬ›

Смерть на погосте [сидит,]
На деревню вниз глядит.
Черен ворон прилетел,
Супроти старухи сел.
Перышки почистил, спрашивает:
«Что ты тут сидишь,
О чем думаешь?»
Смерть говорит — челюстями стучит:
«Больно уж деревня-то бедна да грязна,
Да и на добычу мне — старушка одна.
Ох, надоело мне по сёлам ходить!
Ох, нагляделась я на бедных-то людей!»
Тут ей ворон бает — густо каркает:
«Как же ты, тетка, в городах не живешь?
Там бы твои косточки поправились,
Скоро обросли бы мясцом да жирком.
Ты бы обула там козловы башмаки,
Сшила бы себе злат-парчовый сарафан,
К поясу приладила кожаный кошель.
[На грудях повесила серебряны часы.]
Часики стучат да постукивают,
Деньги в кошеле-то позвякивают,
Люди от зависти покрякивают — и-эх!
Было б тебе, Смерть, развеселое житье!»

### ‹1›

На погосте Смерть сидит,
На деревню вниз глядит.
Черен ворон прилетел,

Супроти старухи сел:
— «Что ты, тетка, тут сидишь,
Что высматриваешь?»
— «Ой, птица вековая‹...›

*Другой вариант*:

Сторож церковный курочек завел,
Старая лиса на погост пришла,
Крадется лисица до курятника.
Глядь — на могилке Смерть сидит.

# ПРИМЕЧАНИЯ

## УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

### ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

*Андреева* — М. Ф. Андреева. Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы. Изд. 3. М., «Искусство», 1961.

*Архив* $Г_{III}$ — Архив А. М. Горького, т. III. Повести, воспоминания, публицистика. Статьи о литературе. М., Гослитиздат, 1951.

*Архив* $Г_{IV–XII}$ — Архив А. М. Горького, т. IV. Письма к К. П. Пятницкому. М., Гослитиздат, 1954; т. V. Письма к Е. П. Пешковой, 1955; т. VI. Художественные произведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе и языке, 1957; т. VII. Письма к писателям и И. П. Ладыжникову, 1959; т. VIII. Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами. М., Изд-во АН СССР, 1961; т. IX. Письма к Е. П. Пешковой. М., Гослитиздат, 1966; т. X. М. Горький и советская печать. М., Изд-во АН СССР, кн. 1, 1964; кн. 2, 1965; т. XI. Переписка А. М. Горького с И. А. Груздевым, 1966; т. XII. Художественные произведения. Статьи. Заметки. М., «Наука», 1969.

*Вольнов* — Иван Вольнов. Избранное. М., 1956.

*ВС* — М. Горький в воспоминаниях современников. М., Гослитиздат, 1955.

*Г и Грузия* — Максим Горький и деятели грузинской культуры. Тбилиси, 1970.

*Г и его время* — И. А. Груздев. Горький и его время. М., Гослитиздат, 1962.

*Годы подполья* — Леонид Красин («Никитич»). Годы подполья. М.— Л., 1928.

*ГИЗ* — М. Горький. Собрание сочинений, тт. 1—22. М.— Л., ГИЗ, 1927—1929.

*Г-30* — М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах. М., Гослитиздат, 1949—1953.

*Г Чтения*, 1961—1968 — Горьковские чтения, 1958—1959. М., Изд-во АН СССР, 1961; Горьковские чтения. М., «Наука», 1968.

*Десницкий* — В. Десницкий. М. Горький. Л., 1940.

*К* — М. Горький. Собрание сочинений, тт. 1—21. Berlin, Verlag «Kniga», 1923—1928.

*Костомаров* — Николай Костомаров. Бунт Стеньки Разина. СПб., 1859.

*Крупская* — Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине, вып. 1. М., Госиздат, 1930.

*Минокин* — М. Минокин. Иван Вольнов. Очерк жизни и творчества. Тула, 1966.

*ЛЖТ*$_{I—IV}$ — Летопись жизни и творчества А. М. Горького, вып. I—IV. М., Изд-во АН СССР, 1958—1960.

*ЛБГ* — Личная библиотека М. Горького.

*Ленин и Горький* — В. И. Ленин и А. М. Горький. Изд. 3, доп. М., «Наука», 1969.

*Лит Насл* — Горький и советские писатели. «Литературное наследство», т. 70. М., Изд-во АН СССР, 1963.

*Луначарский* — А. В. Луначарский. Собрание сочинений в 8 томах. М., ГИХЛ, 1963—1967.

*Протоколы* — «Пятый (Лондонский съезд РСДРП). Протоколы». М., 1963.

В двадцатый том вошли рассказы, литературные портреты, очерки, воспоминания, написанные Горьким в 1924—1935 годах. Очерки «В. И. Ленин», «Леонид Красин», «Сергей Есенин», «Н. Ф. Анненский», «О Гарине-Михайловском» включались автором в *К*. Остальные произведения после публикации их в периодической печати в собрания сочинений автором не включались. Очерк «В. И. Ленин» выходил отдельными изданиями: М а к с и м Г о р ь к и й. Ленин (Личные воспоминания). М., 1924: М. Г о р ь к и й. Владимир Ленин. Л., 1924; в окончательной редакции: М. Г о р ь к и й. В. И. Ленин. М.— Л., ГИХЛ, 1931; то же — 1932 и 1933. «Рассказы о героях» (вместе с «Михаилом Вилоновым») выходили отдельной книгой: М. Г о р ь к и й. Рассказы о героях. М.— Л., ГИХЛ, 1932.

Тексты вошедших в том произведений подготовили и примечания к ним составили: *И. А. Бочарова* («Леонид Красин», «Сергей Есенин», «Н. Ф. Анненский», «О Гарине-Михайловском»); *Л. Г. Бухарцева* («На краю земли», «День в центре культуры», «Рассказы о героях»; «Иван Вольнов» — подготовка текста; «Об избытке и недостатках»); *Л. П. Быковцева* («Советская эскадра в Неаполе», «Терремото»); *Т. Б. Дмитриева* («По Союзу Советов» — подготовка текста и текстологический комментарий); *Э. Л. Ефременко* («Шорник и пожар», «Экзекуция», «Орел», «Бык»); *М. Б. Козьмин* (реально-исторический комментарий к произведению «В. И. Ленин»); *А. М. Крюкова* («Камо», «Туман», «Пейзаж с фигурой», «Из воспоминаний о И. П. Павлове»); *И. А. Ревякина* (подготовка текста произведения «В. И. Ленин» и текстологический комментарий, «Оливы пахнут горько...», «Село Комарово когда-то расположилось...»); *Л. Я. Резников* («На краю земли» — реальный комментарий); *И. И. Соколова* («Письма друзьям»); *Е. А. Тенишева* («Снова кровохарканье...», «Дорогие мои дети!», ‹Фольклорная запись›); *В. Ю. Троицкий* («И. И. Скворцов», «Факты», «Рассказ», «О Викторине Арефьеве», «О единице», ‹«Серафим Саровский»›).

Реально-исторический комментарий к очеркам «По Союзу Советов» написан *К. В. Айвазяном*, *С. Г. Асадуллаевым*, *И. В. Баскевичем*, *Г. Д. Гвенетадзе* и *Л. Я. Ревниковым* под руководством и при непосредственном участии *Т. Б. Дмитриевой*; к очерку «Иван Вольнов» — *М. В. Минокиным* и *Л. Г. Бухарцевой*.

Тексты рассмотрены и утверждены Текстологической комиссией под председательством *В. С. Нечаевой*.

# I

## В. И. ЛЕНИН

(Стр. 7)

Впервые в отрывках, под редакционным заглавием «Горький о Ленине», напечатано в газете «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1924, № 84, 11 апреля; с небольшими сокращениями под заглавием «Владимир Ленин» — в журнале «Русский современник», 1924, № 1, ⟨май⟩, стр. 229—244, а затем отдельными изданиями: Максим Горький. Ленин (Личные воспоминания). М., 1924; М. Горький. Владимир Ленин. Л., 1924. В апреле и мае того же года печаталось в переводе на иностранные языки в Англии, Франции, США, Германии. Полностью первая редакция напечатана под заглавием «В. И. Ленин» в книге: М. Горький. Воспоминания. Рассказы. Заметки. Berlin, «Kniga», 1927, стр. 5—26, и в т. 19 *К*, стр. 5—26.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Начало черновой рукописи (*ЧА*) первой редакции на двух двойных листах, без заглавия (ХПГ-36-4-2).

2. Беловой автограф (*БА*) первой редакции, под заглавием «Человек», на 16 двойных листах (ХПГ-36-4-1).

3. Авторизованная машинопись ($АМ_1$) второй редакции под заглавием, написанным автором от руки, «В. И. Ленин», со вставками печатных страниц из т. 20 *ГИЗ*, со значительной правкой чернилами и карандашом (ХПГ-36-4-5).

4. Снятая с $АМ_1$ и дополнительно правленная автором машинопись ($АМ_2$). Последние три строки, подпись и дата: «Июль 30 г.» — написаны Горьким от руки, черными чернилами (ХПГ-36-4-3).

5. Корректурные листы т. 22 *Гр* (ХПГ-36-4-4).

6. Автограф вставки в окончательную редакцию текста: «Однажды он, улыбаясь ∽ Телеграммой» (ХПГ-36-4-6). Вошло в отдельное издание: М. Горький. В. И. Ленин. М.— Л., ГИХЛ, 1931.

В ЦПА Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС сохранилась машинописная копия корректуры 1924 г. (*МК*), с правкой рукою М. Ф. Андреевой.

Печатается со следующими исправлениями:

*Стр. 24, строка 30*: «и детской наивностью» вместо «детскою наивностью» (по *БА* и *К*).

*Стр. 25, строка 8*: «Как живет синьор Дрынь-дрынь?» вместо «Как живет Дрынь-дрынь?» (по *БА*, $AM_1$, *К*).

*Стр. 31, строка 25*: «к мерзостям ее» вместо «к мерзости ее» (по *БА*).

*Стр. 32, строка 30*: «доступный только человеку» вместо «доступный человеку» (по *БА*, $AM_1$, *К*).

*Стр. 34, строка 1*: «народам» вместо «народу» (по *БА*, $AM_{1,2}$, *К*).

*Стр. 35, строка 14*: «на настоящем съезде» вместо «на предстоящем съезде» (по *БА* и *К*).

*Стр. 39, строка 18*: «обладал качеством, свойственным» вместо «обладал качествами, свойственными» (по *БА*).

*Стр. 42, строки 2—3*: «черту гордости Россией, русскими, русским искусством» вместо «черту гордости русским искусством» (по *БА* и *К*).

*Стр. 42, строка 6*: «своему народу» вместо «рабочему народу» (по *БА* и *К*).

*Стр. 48, строка 23*: «жду многого» вместо «жду много» (по $AM_1$).

*Стр. 49, строка 40*: «Июль 30 г.» вместо «Июнь 30 г.» (по $AM_2$ и переписке).

Произведение создавалось непосредственно после смерти В. И. Ленина. Как только мир узнал о кончине Ленина, к Горькому стали обращаться редакторы, издатели с просьбой написать статью, очерк, литературный портрет. 23 января 1924 г. ему телеграфировал редактор журнала «Русский современник» А. Н. Тихонов: «Очень прошу написать для нашего журнала воспоминания о Ленине» (Архив А. М. Горького, КГ-п-76-1-22). На следующий день Горькому от имени Госиздата писал О. Ю. Шмидт:

«Государственное издательство обращается к Вам, глубокоуважаемый Алексей Максимович, с просьбой написать в возможно скором времени воспоминания или очерк о Владимире Ильиче, размер и характер которого предоставляем Вашему усмотрению. Особенно желателен был бы большой очерк, включающий имеющиеся у Вас подлинные материалы. Этот очерк будет нами издан в самом спешном порядке отдельной книгой» (Архив А. М. Горького, КГ-уч-13-29-1; «Литературная Россия», 1963, № 13, 29 марта).

26 января 1924 г. Горький писал П. П. Крючкову:

«Смерть В. И. ⟨Ленина⟩, хотя и предреченная, все-таки очень ушибла меня. Начал писать о нем, но, с горя, зверски изругал „День“, „Руль“ и всех Керенских, Черновых. Пачкать имя большого человека соседством с этой шушерой не годится; буду писать заново» (*ЛЖТ*$_{ш}$, стр. 359). К этому этапу работы над произведением, видимо, и относится дошедшее до нас начало *ЧА*.

27 января Горький в письме к переводчику Эль Мадани сообщал: «...очень огорчен смертью Ленина ⟨...⟩ Пишу воспоми-

пания о нем. Я крепко люблю этого человека и для меня он — не умер. Это был настоящий, большой человек, по-своему — идеалист. Он идею свою любил, в ней была его вера. Очень крупная потеря» (*Ленин и Горький*, стр. 287).

В разгар работы над произведением о Ленине Горький получил обширное письмо от М. Ф. Андреевой, датированное 29 января:

«Начала писать тебе в тот день, когда пришло известие о кончине Владимира Ильича, и не смогла.

Такое было острое чувство тоски от утраты и своей и общей, что всё было трудно и всё казалось ненужным и таким ничтожным.

Великого мужества, великого дерзания и глубокой, крепкой честности ушел из мира Человек ⟨...⟩ Вспоминаешь о нем, и чем больше вспоминаешь мелочей, тем больше становится он сам — Человек» (полностью см.: *Андреева*, стр. 354—355).

4 февраля Горький отвечал М. Ф. Андреевой: «Получил твое — очень хорошее — письмо о Ленине. Я написал воспоминания о нем, говорят—не плохо. На днях пошлю П. П. ⟨Крючкову⟩ для печатания на машинке, что прошу сделать скорее, ибо их надобно печатать в Америке, Франции и России.

Писал и — обливался слезами. Так я не горевал даже о Толстом. И сейчас вот — пишу, а рука дрожит. Всех потрясла эта преждевременная смерть, всех. Екатерина Павловна прислала два письма с изображением волнения Москвы,—это нечто небывалое, как видно. Рожков, Десницкий выпускают сборник воспоминаний об Ильиче, получил от них телеграмму. И отовсюду пишут письма, полные горя глубочайшего, искреннего ⟨...⟩

На душе — тяжело. Рулевой ушел с корабля. Я знаю, что остальная команда — храбрые люди и хорошо воспитаны Ильичом. Знаю, что они не потеряются в сильную бурю. Но — не засосала бы их тина, не утомил бы штиль— вот что опасно.

Все-таки Русь талантлива. Так же чудовищно талантлива, как несчастна.

Уход Ильича — крупнейшее несчастие ее за сто лет. Да, крупнейшее» (*Г-30*, т. 29, стр. 420—421).

В первых числах февраля работа над *БА* была, очевидно, закончена. Писатель обещал передать произведение А. Н. Тихонову. Об этом он сам сообщал Е. П. Пешковой в письме от 11 февраля 1924 г. (см.: *Архив* $Г_{IX}$, стр. 233). 30 января Тихонов писал Горькому: «Спасибо Вам большое за рукопись об Ильиче. Ждем ее с нетерпением» (Архив А. М. Горького, КГ-п-76-1-24). На просьбу Шмидта писатель ответил 7 февраля: «...воспоминания о В. И. мною написаны, но уже обещаны другому издательству» (там же, ПГ-рл-54-4-1). Однако М. И. Будберг 12 февраля сообщила Горькому, что его договорные отношения требуют, чтобы произведение было передано и Госиздату (там же, КГ-рзн-1-157-55).

Редактор «Русского современника» очень заботился, чтобы

первым напечатать произведение Горького о Ленине. С этим желанием была связана его просьба еще в письме от 30 января 1924 г. передать журналу право издания произведения и за границей (там же, КГ-п-76-1-24). Горький не согласился с этим. Он придавал публикации своего произведения за рубежом большое политическое значение. В частности, ему хотелось как можно скорее дать в зарубежной прессе отповедь злобному ликованию белых эмигрантов, о чем 11 февраля 1924 г. он писал Е.П.Пешковой (см. *Архив Г*$_{IX}$, стр. 232—233). На следующий день о том же он говорил корреспонденту газеты «Вечернее чешское слово», так изложившему свою беседу с Горьким: Писатель сейчас работает над очерком о Ленине, который будет опубликован сначала в Америке, а потом в России; Ленин был человеком большого значения, и Горький считает за честь то, что являлся его другом («Večerní České Slovo», 1924, 12 февраля. См. также: «Prager Tagblatt», 1924, № 37, 13 Februar, S. 6). В середине февраля 1924 г., как явствует из писем М. И. Будберг, текст произведения был передан немецким, французским, английским и американским издателям; с более или менее значительными изменениями он печатался во многих газетах, например: «Daily Herald», 17, 19, 21, 22 и 24 апреля; «L'Humanité», 6 апреля, 18 мая; «La Revue Européenne», № 14, 1 апреля, № 15, 1 мая; «Prager Tagblatt», № 189, 12 августа.

20 марта 1924 г., отвечая на вопрос чехословацкой коммунистической газеты «Руде право», Горький писал: «Мои воспоминания о Ленине будут опубликованы в России и выйдут в свет 20 апреля» («Вечерняя Москва», 1924, № 78, 3 апреля).

После первых публикаций автор вернулся к тексту произведения о Ленине в связи с включением его в книгу: М. Горький. Воспоминания. Рассказы. Заметки. Berlin, «Kniga», 1927, и в т. 19 *К*.

Текст, вошедший в книгу «Воспоминания. Рассказы. Заметки» и в т. 19 *К*, а затем без изменений перепечатанный в т. 20 — *ГИЗ*, стал исходным в дальнейшей работе писателя над произведением в 1930 г.

Горький не был удовлетворен первой редакцией своего произведения о Ленине. Уже в письме к М. Л. Павловичу (М. Л. Вельтману) от 29 декабря 1925 г. он заявил, что «написал о Владимире Ильиче плохо». И так объяснял причину этого: «Был слишком подавлен его смертью и слишком поторопился выкричать мою личную боль об утрате человека, которого я любил очень. Да» («Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1926, № 8, 10 января).

Поводом для нового возвращения автора к тексту произведения о Ленине послужили обращения Госиздата, готовившего новое собрание сочинений писателя. У работников издательства возник ряд вопросов, и они решили посоветоваться с автором. От их имени 27 марта 1930 г. с письмом к Горькому обратился заведующий Госиздатом А. Б. Халатов: «Вашей статьей о Ленине мы очень дорожим. Но мы просим Вас ее пересмотреть и прередактировать, учтя наши замечания. Вы знаете, как осторожно

мы относимся к каждому слову о Ленине, и Вы не осудите нас за то, что мы вынуждены обратиться к Вам с этой настоятельной просьбой» (Архив А. М. Горького, КГ-п-83а-1-88).

Погруженный в работу над третьей частью «Жизни Клима Самгина», Горький только во второй половине апреля смог обратиться к тексту своего произведения о Ленине. Сначала он решил ограничиться небольшой правкой — в основном тех мест, о которых ему писал Халатов. Эта работа им была закончена в конце апреля 1930 г.

Но, вернувшись к своему произведению, Горький не удовлетворился беглым редактированием. Как свидетельствует его переписка этой поры, он перечитывает воспоминания соратников Ленина, обращается к изучению документов. В середине мая он пишет Н. К. Крупской: «...сейчас кончил читать Ваши воспоминания о Вл⟨адимире⟩ Ильиче,— такая простая, милая и грустная книга. Захотелось отсюда, издали пожать Вам руку и — уж, право, не знаю — сказать Вам спасибо, что ли, за эту книгу? Вообще — сказать что-то, поделиться волнением, которое вызвали Ваши воспоминания» (*Г*-30, т. 30, стр. 167). И, тут же, рассказав об одной из своих встреч с Лениным в Горках, замечал: «...я был изумлен, как много он видит „мелочей“ и как поразительно просто мысль его восходит от ничтожных бытовых явлений к широчайшим обобщениям. Эта его способность, поразительно тонко разработанная, всегда изумляла меня. Не знаю человека, у которого анализ и синтез работали бы так гармонично» (там же, стр. 168). В это же время Горький просит П. П. Крючкова прислать ему ряд книг, в которых рассказывалось о Ленине. Они были получены писателем в июне (письмо Крючкову от 12 июня 1930 г.— Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-293). А 19 июня Горький телеграфировал Крючкову: «Пришлите мне воспоминания об Ильиче. Печатать в юбилейном ⟨т. 22 *Гр*⟩ подождите, пока не возвращу» (там же, ПГ-рл-21а-1-297). На следующий день ему же Горький писал, что следует восстановить один из вычерков. Кроме того, добавлял он, «я предлагаю задержать выпуск „Воспоминаний“, потому что могу дополнить их теперь, имея в руках письмо Н. К. Крупской, в котором она свидетельствует, что со мною „Ильич говорил о себе больше, чем с кем-либо“» (там же, ПГ-рл-21а-1-298).

О решении переделать и дополнить свое произведение Горький известил 20 июня 1930 г. Халатова: «...убедительно прошу приостановить печатание „Воспоминаний о Ленине“ и выслать мне их для дополнений». Одним из таких дополнений являются вставленные на следующем этапе работы над произведением слова Ленина о Троцком: «А все-таки не наш! С нами, а — не наш... Честолюбив. И есть в нем что-то... нехорошее, от Ласаля...»

Завершая создание второй, окончательной редакции произведения ($AM_I$ — ХПГ-36-4-5), Горький писал 5 июля 1930 г. Крючкову: «Воспоминания о Ленине на днях вышлю» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-301). А восемь дней спустя ему же

сообщил об окончании работы: «Исправленные и дополненные воспоминания о Ленине посылаю все-таки на Ваше имя. Будьте добры, распорядитесь,— если Вы в силах сделать это [1],— чтоб с рукописи сняли копию и прислали мне. Скажите, чтоб особенное внимание обратили на 24-ю стр., тут можно напутать. И скажите, что прошу усиленно о тщательности копии.

Если ж Вы не в состоянии заняться этим делом — пошлите рукопись Халатову» (там же, ПГ-рл-21а-1-302).

Вероятно, в тот же день — 13 июля — писатель телеграфировал Халатову: «Воспоминания переделаны, высланы Крючкову сегодня» (*Архив* $Г_X$, кн. 1, стр. 206).

В письме Крючкову и телеграмме Халатову речь шла об $АМ_1$. Она включает написанную заново часть (после слов: «работы для счастья людей»), в которой Горький рассказывает о своих встречах с Лениным на Лондонском съезде, в Париже, на о. Капри, и по-новому расположенные прежние разделы, существенно отредактированные и дополненные автором. Начинается произведение в $АМ_1$ так же, как и в первой редакции.

Получение от Горького новой редакции произведения Крючков подтвердил 22 июля 1930 г. (Архив А. М. Горького, КГ-п-41а-1-97), обещая возвратить ее уже перепечатанной.

Получив перепечатанный текст произведения ($АМ_2$) и внеся в него дополнительные исправления, Горький на последней, 53-й, странице, в самом конце ее, после слов: «Владимир Ленин умер. Наследники разума и воли его — живы.»— дописал: «Живы и работают так успешно, как никто, никогда, нигде в мире не работал.

Июль 30 г. М. Горький».

В начале августа Горький извещал Крючкова: «...возвращаю „Воспоминания“, пожалуйста, внесите поправки! ‹...› Исправленный экземпляр вышлите мне для немцев» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-312). Крючков ответил 15 августа: «„Воспоминания о Ленине“ верну Вам через несколько дней» (там же, КГ-п-41а-1-100).

28 августа Горькому писал Халатов: «Обработанную Вами рукопись об Ильиче мы передали в набор. Через пару месяцев мы закончим печатание юбилейного издания Ваших сочинений» (*Архив* $Г_X$, кн. 1, стр. 213). Том, в который была включена новая редакция произведения о Ленине, вышел из печати в первой декаде января 1931 г. («Книжная летопись», 1931, № 2, стр. 105; № 3, стр. 165—166).

26 декабря 1930 г. Горький писал Халатову: «Если „Воспоминания о В‹ладимире› Ильиче“ еще не напечатаны — включите в них прилагаемый кусочек; на днях нашел его в старых бумагах — ценны слова: „понимает неизбежность ошибок и не обижается“» (*Архив* $Г_X$, кн. 1, стр. 230). Автограф этого допол-

---

[1] Крючков в это время болел.

пения — об Иване Вольнове — в виде чернового наброска на отдельном листе хранится в Архиве А. М. Горького (ХПГ-36-4-6). На полях помета Горького, зачеркнутая синим карандашом: «Ленин». В корректурных листах т. 22 *Гр* (ХПГ-36-4-4) отмечено место для этой вставки.

В той же корректуре вычеркнут отрывок «В обоих случаях ∞ среди них жить, а?» (см. т. 22, *Гр*, стр. 195). Но, вероятно, листы возвратились в издательство, когда том уже печатался. В середине января 1931 г. Халатов писал Горькому: «В ближайшие дни выйдет из печати отдельной брошюрой Ваш очерк о В. И. Ленине, в который мы включили и несколько строк об Ив. Вольнове, присланные Вами в последнем письме. Эту книгу мы предполагаем распространить в ленинские дни (21 января). Как только она выйдет из печати, сейчас же пошлю ее Вам» (*Архив Г*$_{X}$, кн. 1, стр. 234). Речь шла об издании: М. Горький. В. И. Ленин. М.— Л., ГИХЛ, 1931.

Одновременно с этим изданием последняя редакция произведения о Ленине появилась с сокращениями в журнале «Наши достижения», 1931, № 1, стр. 7—10; отрывки из него поместили в номере, посвященном памяти В. И. Ленина, «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1931, № 22, 22 января.

Основная творческая установка Горького при создании первой редакции была сформулирована им следующим образом: «...не мое дело говорить о Владимире Ленине-политике, мне дорог и близок Ленин-человек». Эта ориентация подчеркивалась и подзаголовком в отдельном издании 1924 г.: «Личные воспоминания». Разумеется, сама логика этих воспоминаний, фактический материал, использованный автором, заставляли его раскрывать в образе Ленина-человека реальные черты и гениального политика. В окончательной редакции художник полностью отказался от попыток искусственно выделить из единого образа только нравственно-психологическую сторону, усилил историческую часть повествования, дав развернутое изображение V (Лондонского) съезда партии. Стремясь к реалистической достоверности, к исторической точности, Горький снял неоправданные параллели, которые сближали Ленина с деятелями совсем иных периодов русской истории. Чрезвычайно характерны для углубившегося исторического мышления Горького и для его идейной позиции слова о деятельности наследников разума и воли Ленина, завершающие произведение в окончательной редакции.

На первую редакцию воспоминаний Горького о Ленине критика не дала развернутых отзывов. Произведение было лишь упомянуто в нескольких журнальных обзорах. Один из откликов содержался в рецензии В. Итина на 1-ю книгу журнала «Русский современник». В. Итин отмечал: «Художественно нарисованный М. Горьким Ленин-человек, Ленин в будничной повседневной жизни для нас бесконечно дорог» («Сибирские огни», 1924, № 2, стр. 186).

Критик А. Лежнев, признавая, что воспоминания Горького о Ленине заключают в себе «много интересных подробностей, тонко подмеченных черт», заявил, что личность Ленина будто бы «понята и освещена» в целом «неверно, фальшиво» («Красная новь», 1924, № 4, стр. 307).

Сходную оценку дал напостовский критик Г. Лелевич. Отметив, что произведение «содержит массу ценного фактического материала», он в то же время обвинил Горького в «непонимании Ленина и ленинского дела». Выражая вульгаризаторские и сектантские взгляды напостовцев, Лелевич заявил, что Горький из «буревестника» русской революции давно уже превратился в «размагниченного интеллигента». Он отнес пролетарского писателя к попутчикам, объединившимся, по его мнению, с буржуазной литературой на почве «великорусского шовинизма» («Большевик», 1924, № 5-6, стр. 149—150).

Отрицательное отношение некоторых критиков к воспоминаниям Горького о Ленине объяснялось тем, что в борьбе, которую развернули тогда троцкисты против ленинской идеи построения социализма в одной стране, объединились все оппозиционные и враждебные ленинизму элементы. Не выступая открыто против Ленина и даже делая вид, что они восхваляют его, троцкисты пытались извратить ленинизм и образ самого вождя пролетарской революции, подменить ленинизм троцкизмом. Весьма наглядно это проявилось в той оценке произведения Горького, с которой выступил в 1924 г. Троцкий. Он подверг грубой, демагогической критике понимание Горьким личности Ленина и противопоставил ему свою «трактовку», попытавшись вытравить из образа Ленина глубокую человечность, присущую величайшему политику, навязать ему черты бездушного политиканства, характерные для самого Троцкого. Он отрывал классовое, пролетарское содержание ленинского дела от его народности, отрывал ленинизм от революционных традиций русского освободительного движения. Троцкий старался приписать Ленину нигилистическое отношение к культурным ценностям прошлого и к русской интеллигенции. Что же касается Горького, то, исходя из своего отрицания возможности построения пролетарской культуры, Троцкий рассматривал великого пролетарского писателя как «попутчика».

Обвиняя Горького в «банальном психологизме и мещанском морализировании», издевательски называя его «псаломщиком культуры», Троцкий особенно наглядно раскрыл свое отношение к национальным культурным ценностям в следующем суждении. Когда осенью 1919 г. встал вопрос о возможной эвакуации Петрограда в связи с приближением войск Юденича, некий рабочий, как утверждал Троцкий, будто бы сказал: «Много им, в случае чего, достанется; надо бы подвести под Петроград динамиту, да взорвать всё...». Эта чудовищная «идея» вызвала восторг Троцкого, призывавшего разрушать «без слезливой сентиментальности» ценности, созданные народом в прошлом (см.: «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1924, № 229, 7 октября). Троцкий пытался приписать подобный взгляд Ленину, замал-

чивая, что идея сдачи и взрыва Петрограда принадлежала Зиновьеву. Ленин же в ответ на решение Троцкого и Зиновьева о сдаче Петрограда белогвардейцам передал 17 октября 1919 г. по прямому проводу Петроградскому комитету РКП(б) предписание удержать Петроград во что бы то ни стало и защищать город до последней капли крови (см.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 39, стр. 603, и т. 51, стр. 61, 63 и 79).

Статья Троцкого вызвала у Горького негодование. Прочитав ее, он сделал следующую запись: «Суждения Льва Троцкого по поводу моих воспоминаний о Ленине написаны хамовато по моему адресу и с неожиданным для меня цинизмом демагога. Не помню случая, чтобы Троцкий писал так нарочито грубо и так явно — тоже как будто нарочито — неумно. А — главное: не понимаю скрытую цель статьи. Не хочет ли Троцкий, рисуя Ленина таким топором, таким „революционером без оглядки", взвалить именно на него всю тяжесть ответственности пред историей за „разбитые горшки"?.. Похоже. „Революционер без оглядки" — это был тип, презираемый Ильичом, враждебный ему.

Если бы я хотел, я мог бы возразить Троцкому, опубликовав письмо Ильича о Зиновьеве: там очень веско говорится о людях „без оглядки, действующих со страха", о „лакеях революции и вообще о лакеях". Когда-то Троцкий грозил: „Если мы уйдем, то хлопнем дверью так, что вздрогнет весь мир" — нечто в этом роде, кажется — буквально так. Но — это было красноречие человека, который тоже „действует со страха" и не очень убежден в своей революционности. Сейчас — что-то иное. Из каких побуждений?

Троцкий — наиболее чужой человек русскому народу и русской истории».

Публикация второй, окончательной редакции произведения «В. И. Ленин» вызвала ряд положительных критических статей.

«Перед нами совершенно новая книжка»,— говорилось в рецензии А. Кут⟨узова⟩ («Вечерняя Москва», 1931, № 31, 6 февраля). Рецензент отмечал новые эпизоды, которые внес Горький в свое произведение. Самое же существенное изменение, утверждал А. Кутузов, это точка зрения, с которой рассматривается Ленин. Если раньше Горький писал, что не его дело говорить о Ленине-политике, ему дорог и близок Ленин-человек, то теперь Горький говорит о Ленине так, как только и можно говорить о Ленине, как о «вдохновителе и вожде всемирного трудового народа» (там же).

В неподписанной рецензии, появившейся в журнале «На литературном посту», говорилось, что после переработки литературного портрета Ленина «он стал много ярче, выразительнее и, что особенно важно, цельнее». По мнению рецензента, «разнообразные зарисовки Ленина ⟨...⟩ объединены теперь в гораздо большей степени, чем в первом варианте, „основной чертой характера Ленина", подмеченной и подчеркнутой Горьким с подлинным художественным чутьем и мастерством. Эту черту Горький определяет как „воинствующий оптимизм материали-

ста“». «Со страниц брошюры Горького,— резюмировал рецензент,— перед читателем встает Ленин, великий революционер-материалист, человек гениальный и вместе с тем простой в своей гениальности» («На литературном посту», 1931, № 5, стр. 42).

Н. К. Крупская, работавшая в это время над своими воспоминаниями о Ленине, писала Горькому в конце 1930 г.: «Сегодня получила Ваши воспоминания об Ильиче — хорошие. Живой у Вас Ильич. О Лондонском съезде очень хорошо. Правда всё. Каждая фраза Ваших воспоминаний вызывает ряд аналогичных. И потом Вы любили Ильича. Кто не любил, тот не мог бы так написать. Живой весь Ильич» («Октябрь», 1941, № 6, стр. 24).

С большим интересом воспоминания Горького были встречены — еще в первой редакции — за границей. В конце сентября 1924 г. Ромен Роллан сообщал Горькому, что слышал много восторженных отзывов о его произведении, опубликованном к тому времени в «La Revue Européenne» (Архив А. М. Горького, КГ-ин-ф-5-1-32). «Как взволновали меня Ваши воспоминания о Ленине!» — восхищенно писал Горькому в феврале 1925 г. Стефан Цвейг. В марте того же года он снова высказывал свои впечатления об этом произведении, в котором, по его словам, раскрывается подлинное отношение писателя к вождю социалистической революции: «Ваша книга о Ленине с предельной ясностью показывает всякому, кто *хочет* видеть, Вашу глубокую *человеческую* симпатию к этому великому революционеру...» (*Архив Г*$_{VIII}$, стр. 17 и 18). А три года спустя, в статье «Дело Артамоновых», он так охарактеризовал воспоминания Горького о Ленине, наряду с его воспоминаниями о Толстом: «Может быть, во всей современности не создан более современный и долговечный портрет» («Neue Freie Presse», 1927, 19 мая,— Цит. по кн.: И. Груздев. Современный Запад о Горьком. Материалы к вопросу об оценке Горького в иностранных литературах. Л., 1930).

Стр. 7. *...наиболее ярко воплощал в себе гениальность.*— Эта характеристика Ленина, как и следующая, которую цитирует Горький, взята из статьи, опубликованной в крупнейшей немецкой буржуазной газете Чехословакии «Prager Tagblatt», 1924, № 20, 23 января (см.: П. Лисовский. Иностранная печать о Ленине. Л., Госиздат, 1924, стр. 157.

Стр. 8. *...«в многой мудрости — много печали».*— Библия, Книга Екклесиаста, гл. I, стих 18.

Стр. 8. *Мне следовало начать с Лондонского съезда...*— Лондонский съезд — V съезд РСДРП, состоявшийся в Лондоне 30 апреля — 19 мая 1907 г. Горький присутствовал на нем в качестве делегата с совещательным голосом.

Стр. 8. *...голые стены со деревянной церкви...*— Церковь Братства («Брадерхуд чёрч») на юго-западной окраине Лондона; здание церкви принадлежало фабианцам.

Стр. 8. *До этого года я не встречал Ленина...*— Ошибка памяти Горького, впоследствии признанная им самим. В статье «М. Горький во время московских баррикад 1905 года» («Красная

газета» (веч. вып.), 1928, № 160, 12 июня) К. П. Пятницкий свидетельствует, что Горький впервые увидился с Лениным в Петербурге 27 ноября 1905 г. на заседании ЦК РСДРП, обсуждавшем вопрос о вооруженном восстании и о газетах «Новая жизнь» и «Борьба». Верность этого свидетельства подтвердил сам Горький (см. «Октябрь», 1941, № 6, стр. 22).

Стр. 8. *...восторженные рассказы товарищей...*— Впервые Горький услышал восторженный отзыв об Ульянове — «Тулине» в 1896 г. от самарского нотариуса Е. О. Юрина, знакомого с самарскими марксистами (см.: *Ленин и Горький*, стр. 356). Ознакомлению Горького с ленинскими идеями и ленинской революционной тактикой в огромной степени содействовали социал-демократы — искровцы и большевики, с которыми он подружился, принимая участие в работе нижегородской, а затем московской и петербургской социал-демократических организаций: И. И. Скворцов-Степанов, В. А. Десницкий, сестры З. П. и С. П. Невзоровы, Е. Д. Стасова, Л. Б. Красин, М. Ф. Андреева и др. 26 декабря 1904 г. Р. С. Землячка писала Ленину и Н. К. Крупской, что Горький относится к Ленину «как к единственному политическому вождю» («Пролетарская революция», 1925, № 3, стр. 25). Летом 1905 г. сам Горький писал В. И. Ленину, что считает его «главой партии» (*Ленин и Горький*, стр. 13).

После встречи на Лондонском съезде отношения Ленина и Горького переросли в дружбу. Осенью 1916 г. Горький писал о Ленине М. Н. Покровскому: «Какой прекрасный работник Ильинский, какая это умница, как нужен этот чудесный человек здесь, дома» (цит. по статье А. Овчаренко. Публицистика М. Горького периода мировой войны.— «Вопросы литературы», 1959, № 3, стр. 40).

Стр. 9: *Когда меня «подводили» к Г. В. Плеханову...*— Встреча на V съезде РСДРП была первой встречей Горького и Плеханова. До этого они знали друг друга по произведениям и по рассказам товарищей. Плеханов оценивал Горького как «высоко талантливого художника — пролетария» (Г. В. Плеханов. Литература и эстетика, т. 2. М., 1958, стр. 496). В период, к которому относится его первая встреча с Горьким, Плеханов стоял на меньшевистских позициях.

Стр. 9. *...заговорил о недостатках книги «Мать»... со в рукописи, взятой у И. П. Ладыжникова.*— См. примеч. в т. VIII наст. изд., стр. 478—479.

Стр. 9. *...осведомился, переводится ли «Мать» на иностранные языки, насколько испортила книгу русская и американская цензура...*— См. примеч. в т. VIII наст. изд., стр. 435—447 и 493—495.

Стр. 9. *...автора решено привлечь к суду...*— Вероятно, речь идет о возбуждении департаментом полиции судебного преследования против Горького за революционную агитацию. Сообщение об этом было напечатано в газете «Русское слово» 23 апреля 1907 г. Меры к возбуждению судебного преследования

Горького как автора «Матери» были приняты цензурным комитетом 30 августа 1907 г.

Стр. 9.— *Фома Уральский* — А. П. Смирнов (1877—1938), делегат V съезда от Петербургской организации РСДРП; примыкал к большевикам. Горький ошибочно приводит партийную кличку А. П. Смирнова. Он фигурировал на V съезде РСДРП как Фома-питерец (см.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 48, стр. 163).

Стр. 9. *...я находился в среде трех сотен отборных партийцев...*— На съезде присутствовали 303 делегата с решающим и 39 — с совещательным голосами от 150 тысяч членов партии из 145 партийных организаций (100 организаций РСДРП, 8 — социал-демократии Польши и Литвы, 7 — социал-демократии Латышского края, 30 — Бунда). В числе делегатов с решающим голосом было 89 большевиков, 88 меньшевиков, 45 представителей социал-демократии Польши и Литвы, 26 — социал-демократии Латышского края и 55 членов Бунда.

Стр. 9. *...я видел со Плеханова, Аксельрода, Дейча.*— Г. В. Плеханов (1856—1918), П. Б. Аксельрод (1850—1928) и Л. Г. Дейч (1855—1941) в 70-х годах XIX в. активно участвовали в движении революционного народничества. В 1883 г. Плеханов, порвав с народничеством, создал первую русскую марксистскую группу «Освобождение труда», в которую кроме него вошли Аксельрод, В. И. Засулич, Дейч и В. Н. Игнатов. После II съезда РСДРП Плеханов перешел к меньшевикам. Аксельрод и Дейч стали лидерами меньшевизма и на V съезде РСДРП отстаивали ликвидаторскую идею легализации партии.

В письме к Е. П. Пешковой, написанном сразу же после съезда, Горький рассказывал: «Наши старички Плеханов, Аксельрод и иже с ними оставили во мне жалкое впечатление людей, ослепленных, ошеломленных жизнью. Полубольные, они раздражаются по каждому ничтожному поводу, у них много честолюбия и — не чувствуется силы» (*Архив $Г_{IX}$*, стр. 28).

Стр. 9. *...за два года, прожитых мною вне родины...*— Горький выехал из России в начале 1906 г.

Стр. 10. *...обедал у Августа Бебеля со толстым Зингером...*— Август Бебель (1840—1913), Пауль Зингер (1844—1911) — руководители немецкой социал-демократии. Находясь с 1 по 19 марта 1906 г. в Берлине, Горький встречался с ними. Вероятно, здесь Горький имеет в виду ужин у Бебеля, состоявшийся 10 марта 1906 г. См. в статье Эрвина Чиковски «О поездке М. Горького в Западную Европу и Соединенные Штаты Америки в 1906 году (по материалам немецких архивов и немецкой печати)» (Gorki-Lesung, 1964. Sonderbuch aus der wissenschaftlichen Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin. Gesellschafts- und Sprach-wissenschaftliche Reihe. Jahrgang XIV (1965). Heft 2, S. 248).

Стр. 10. *...назвал Каутского «мой романтик».*— Карл Каутский (1854—1938) — один из лидеров и теоретиков немецкой социал-демократии и II Интернационала. В первый период своей деятельности — марксист, автор работ, пропагандирую-

щих идеи марксизма; перед первой мировой войной перешел на позиции реформизма. Эта эволюция Каутского изменила отношение к нему Горького: оценивая его сначала как «одного из видных учителей пролетариата Европы», после ренегатства Каутского он называл его «бывшим социалистом» и «жалким старичком» (*Г-30*, т. 25, стр. 462 и т. 26, стр. 133).

С т р. 10. *...впоследствии весьма известный Парвус...* — Парвус (псевдоним А. Л. Гельфонда, 1869—1924) в 90-х годах эмигрировал из России в Германию, где стал одним из активных деятелей немецкой социал-демократии; после раскола РСДРП в 1903 г. поддерживал меньшевиков. В письме к Ладыжникову от второй половины декабря (ст. ст.) 1905 г. Горький отозвался о Парвусе: «Противно видеть его демагогом а ля Гапон» (*Г-30*, т. 28, стр. 401).

С т р. 11. *Указал через И. П. Ладыжникова.*— В примечании к письму Горького, посвященному этому вопросу, Ладыжников сообщал: «Парвус растратил деньги, которые он присвоил от постановки пьесы „На дне" в Германии. Растратил около 130 000 марок. Деньги эти должны были быть переведены в партийную кассу. В декабре 1905 года по поручению М. Горького и В. И. Ленина я два раза говорил в Берлине с Бебелем и К. Каутским по этому вопросу, и было решено дело передать третейскому суду (вернее, партийному). Результат был печальный: Парвуса отстранили от редактирования с.-д. газеты, а растрату денег он не покрыл» (*Г-30*, т. 28, стр. 573).

С т р. 11. *Видел я в Берлине литераторов со самодовольства и самолюбования.*— См. записную книжку Горького в т. VI наст. изд., стр. 406—407.

С т р. 11. *Морис Хилквит* (1869—1933) — один из основателей американской социалистической партии. В ноябре 1906 г. кандидатура Хилквита была выставлена социалистическими организациями в Конгресс, но не прошла.

С т р. 11. *...старика Дебса...*— Дебс Евгений (1855—1926) — основатель социал-демократической партии США, влившейся в 1901 г. в социалистическую партию.

С т р. 11. *...по словам одной «гэнсом лэди»...* — Слова этой дамы Горький занес в свою записную книжку (см. т. VI наст. изд., стр. 414).

С т р. 11. *Идею поездки в Америку для сбора денег в кассу «большевиков» дал Л. Б. Красин...*—В январе 1906 г., опасаясь ареста за участие в революционных событиях, Горький, находившийся в это время в Финляндии, решает уехать за границу и использовать свое пребывание там для агитации против предоставления займов царскому правительству и для сбора средств в партийную кассу большевиков. «Вопрос о поездке Горького в Америку возник в 1906 году, когда Горький был вынужден эмигрировать из России,— вспоминал Н. Е. Буренин,— Владимир Ильич Ленин придавал этой поездке большое значение» (*В С*, стр. 223). Будучи членом ЦК РСДРП, Красин подготовил и осуществил отъезд Горького в Америку.

С т р. 11. *Н. Е. Буренин* (1874—1962) — участник револю-

ционного движения, в 1905 г. член боевой группы при ЦК РСДРП.

Стр. 11. ...— *пришел Чайковский с Житловским...* — *Чайковский* Н. В. (1850—1926) — политический деятель, начавший свой путь с организации революционной молодежи (кружок «чайковцев», 1869), а закончивший его главой белого правительства, созданного в Архангельске английскими и американскими интервентами в 1918 г. *Житловский* Х. И. (1865—1943) — один из лидеров мелкобуржуазной еврейской социалистической партии. 16 января 1933 г. Горький писал И. А. Груздеву: «...Чайковский и Житловский в Финляндии, пред отъездом моим за океан, предлагали мне собирать деньги и для них, т. е. для партии эсеров, а не исключительно для большевиков. Когда я отказался от этого предложения, Житловский откровенно заявил, что я „проиграю", ибо они со своей стороны пошлют „бабушку"» (*Архив* $Г_{XI}$, стр. 299).

Стр. 12. ...*послали туда «бабушку»...* — «Бабушкой русской революции» эсеры прозвали одну из старейших деятельниц своей партии — Е. К. Брешко-Брешковскую (1844—1934), которая после Октября эмигрировала как один из злейших врагов Советской власти.

Стр. 12. ...*а мне царское посольство — устроило скандал.*— Вскоре после приезда Горького в США буржуазная пресса начала против него шумную кампанию. Поводом послужило то, что писатель приехал в США с М. Ф. Андреевой, брак с которой не был официально оформлен. Действительной причиной травли было стремление скомпрометировать Горького и помешать ему проводить сбор средств для большевиков.

Стр. 12. ...*но и в Америке нашелся Парвус.*— Имеется в виду газетный магнат Уильям Рандольф Херст (1863—1951), который, нарушая авторские права, перепечатывал без разрешения писателя его произведения (см.: *Архив* $Г_{IV}$, стр. 201; ср. там же письмо Хилквита к Ладыжникову, стр. 360).

Стр. 12. *Затем я переехал в Италию, на Капри...*— Из Америки Горький выехал 30 сентября (13 октября) 1906 г.; 13 (26) октября прибыл в Неаполь; с 20 октября (2 ноября) поселился на о. Капри, где прожил до конца 1913 г.

Стр. 13. ...*споров по вопросу о «порядке дня».*— Обсуждение порядка дня V съезда РСДРП заняло почти шесть заседаний. Большевики, сплотив на революционной платформе представителей социал-демократии Польши, Литвы и Латышского края, имели на съезде значительное большинство. Учитывая неизбежность принятия по основным вопросам большевистских резолюций, меньшевики стремились снять с повестки дня общие вопросы. Большевики отстояли включение в порядок дня главного теоретического вопроса — об отношении к буржуазным партиям,— но вопрос об оценке современного момента меньшевикам при поддержке бундовцев удалось снять.

Стр. 13. ...*как резко расколота партия на реформаторов и революционеров,— это я знал с 903 года...*— На II съезде

РСДРП (июль-август 1903 г.) произошел раскол на большевиков и меньшевиков. Горький сразу же определил свою позицию как позицию большевика.

С т р. 13. *Г. В. Плеханов ∞ открывая съезд, говорил, как законоучитель...*— Плеханов открыл V съезд РСДРП от имени ЦК, избранного на IV съезде и являвшегося в большинстве своем меньшевистским. Речь Плеханова была краткой. Существо ее выражалось в призыве к большевикам «столковаться» (см.: *Протоколы*, стр. 4—5).

С т р. 13—14. *...Плеханов заявил, что «ревизионистов в партии нет»...*— Во вступительной речи Плеханов, говоря о необходимости «столковаться», заявил: «И это облегчается для нас тем обстоятельством, что в нашей партии почти совсем нет ревизионистов» (там же, стр. 4).

С т р. 14. *Коротенький Федор Дан говорил...*— Дан (псевдоним Ф. И. Гурвича, 1871—1947) — один из лидеров меньшевизма; в годы реакции — ликвидатор; после Октябрьской революции боролся против Советской власти, в 1922 г. выслан за границу.

С т р. 14. *...чай пить с либералами...*— Имеется в виду встреча Дана, Абрамовича и других меньшевиков в ноябре 1906 г. с кадетским лидером Милюковым. Ленин говорил об этом на V съезде РСДРП: «...выяснилось, что еще в *ноябре* 1906 г. Дан был *приватно* „на чашке чая“ с Милюковым, Набоковым, с вождями эсеров и энесов» (*Протоколы*, стр. 340; В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 15, стр. 327).

С т р. 14. *Мартов* (псевдоним Ю. О. Цедербаума, 1873—1923) с октября 1905 по 1907 г. руководил меньшевистской фракцией; после Октябрьской революции выступал против Советской власти, в 1920 г. выслан за границу. На V съезде РСДРП Мартов выступал с отчетным докладом о политической деятельности ЦК. Это было на шестом заседании. Кроме того, он неоднократно выступал в прениях. Горький передает свои впечатления, относящиеся не только к докладу Мартова, но и к его выступлениям.

С т р. 14. *...надобно поддерживать Думу.*— Об этом Мартов говорил в начале своего доклада (см.: *Протоколы*, стр. 74).

С т р. 15. *А — «искрист» был!* — Мартов участвовал в редактировании «Искры» в 1900—1903 годах.

С т р. 15. *Красиво, страстно и резко говорила Роза Люксембург...* — Выдающаяся деятельница польского и немецкого революционного рабочего движения Роза Люксембург (1871—1919) на Лондонском съезде возглавляла делегацию социал-демократии Польши и Литвы и в основном солидаризировалась с позицией большевиков. Она выступила на седьмом заседании съезда с речью против буржуазного либерализма и охарактеризовала революцию 1905 года как предтечу серии будущих пролетарских революций (*Протоколы*, стр. 97—104).

С т р. 15. *...взошел на кафедру Владимир Ильич...*— Из дальнейшего рассказа Горького видно, что он имеет в виду доклад об отношении к буржуазным партиям, с которым Ленин выступил на 22-м заседании съезда. Ленин подверг резкой кри-

тике стремление меньшевиков подменить самостоятельную политику рабочей партии политикой зависимости от либеральной буржуазии и отрицание ими революционности крестьянской демократии (*Протоколы*, стр. 364—374; В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 15, стр. 330—343).

Стр. 16. *...он доказывал необходимость для партии подняться на высоту революционной теории...*— Отстаивая на четвертом заседании съезда необходимость обсуждения теоретических вопросов, В. И. Ленин говорил: «Не снимать теоретические вопросы должны мы, а поднимать всю нашу партийную практику на высоту теоретического освещения задач рабочей партии» (*Протоколы*, стр. 41; В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 15, стр. 314).

Стр. 16. *...кто-то рослый, бородатый...*— Возможно, меньшевик А. С. Мартынов. Ср.: И. В. Попов. В Петербурге, Лондоне, Париже...— «Октябрь», 1968, № 4, стр. 149.

Стр. 16.— *З-загово-орчики... в з-заговорчики играете! Б-бланкисты!* — Упрек в бланкистской тактике (по имени французского утопического коммуниста и революционера Бланки, выдвинувшего тактику заговоров) еще до V съезда сделался своеобразным шаблоном в полемике оппортунистов против В. И. Ленина и его учеников.

На V съезде РСДРП с «традиционными» обвинениями большевиков в бланкизме выступали Плеханов («вы уходите в бланкизм»), Мартов («социал-демократическая партия... *готовить* восстание... не может... если не становится партией заговора»), Абрамович («... наша „будничная“ реалистическая тактика в тысячу раз революционнее, решительнее и плодотворнее самых бурных и красивых бланкистских „жестов“!») (*Протоколы*, стр. 45, 62, 431). Разоблачая и высмеивая эти упреки, Ленин еще в своей работе «Что делать?» (1902) писал: «Мы восставали и всегда будем, конечно, восставать против *сужения* политической борьбы до заговора, но это, разумеется, вовсе не означало отрицание необходимости крепкой революционной организации» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, стр. 135—136).

Стр. 16. «*Вы не стоите на марксизме, а сидите, даже — лежите на нем*».— Эта мысль была высказана не Р. Люксембург, а Л. Тышко, представителем польской социал-демократии: «Признаюсь откровенно, мне кажется, что вы не стоите на почве марксизма, а скорее лежите на ней» (*Протоколы*, стр. 256).

Стр. 16. *...через несколько дней я узнал, чего стоило ему это внешнее спокойствие.*— «От съезда Ильич устал до крайности, нервничал, не ел,— вспоминала Н. К. Крупская.— Я снарядила его и отправила в Стирсуден, в глубь Финляндии 〈...〉 Когда приехала в Стирсуден — Ильич уже отошел немного» (*Крупская*, стр. 151).

Стр. 16. *...речи его...*— Кроме доклада об отношении к буржуазным партиям, В. И. Ленин выступил на V съезде РСДРП с речами: по вопросу о порядке дня, по докладам о деятельности ЦК и думской фракции, об отношении к польскому проекту резолюции о буржуазных партиях, а также с докла-

дом от комиссии по выработке резолюции о Государственной думе.

С т р. 16. *...прекрасная и резкая речь против меньшевиков Розы Люксембург.*— По всей вероятности, Горький имеет в виду речь Р. Люксембург об отношении к буржуазным партиям, произнесенную на 22-м заседании съезда. «В какое хлопотливое кудахтанье курицы, отыскивающей жемчужные зерна на мусорной куче буржуазного парламентаризма, превратили вы это учение ‹марксизм›, представляющее могучий взмах орлиных крыльев пролетариата!»,— восклицала она, обращаясь к меньшевикам (*Протоколы*, стр. 391).

С т р. 17. *Питанием их заведовала М. Ф. Андреева...*— М. Ф. Андреева (1868—1953) была гостем V съезда. «Чтобы сколько-нибудь улучшить питание наших товарищей, большинство которых жило впроголодь,— писала она впоследствии,— мы организовали доставку бутербродов и пива целыми корзинами в здание той церкви, где заседал съезд» (*Андреева*, стр. 122).

С т р. 17. *Пришел в гостиницу, где я остановился...*— В отель «Империэл» на Рассел-сквер. О данном эпизоде Горький упомянул в своем выступлении на вечере в Московском комитете партии 23 апреля 1920 г., посвященном 50-летию В. И. Ленина (см.: *Г-30*, т. 24, стр. 204—205).

С т р. 18. *Дмитрий Павлов* — см. примеч. в т. XVII наст. изд., стр. 598—599.

С т р. 18. *Гиль С. К.* (1888—1966) — с 1917 по 1924 г. шофер Ленина.

С т р. 19. *Года через два, на Капри, беседуя с А. А. Богдановым-Малиновским...*— С Богдановым Ленин беседовал во время своего первого посещения Капри в апреле 1908 г., т. е. через год после V съезда РСДРП.

С т р. 19. *...он скавал мне ∞ увидел его в Париже...*— Здесь неточность: Горький встречался с Лениным в Париже в 1911 и 1912 гг., т. е. после того, как Ленин дважды посетил Капри. В Париже Горький навещал Ленина в квартире на улице Мари-Роз. Крупская так описывала эту квартиру: «Осенью мы переменили квартиру, поселились в тех же краях, на глухой уличке Мари-Роз, две комнаты и кухня, окна выходили в какой-то сад. „Приемной“ нашей теперь была кухня, где и велись все задушевные разговоры» (*Крупская*, стр. 161).

С т р. 20. *Нам нужна газета...*— Речь, видимо, шла о массовой ежедневной большевистской газете. В январе 1912 г. в Петербурге и других городах развернулся сбор средств на ее издание. 22 апреля (5 мая) 1912 г. вышел первый номер газеты. Она называлась «Правда». В числе ее постоянных сотрудников был назван и Горький.

С т р. 20. *...хорошо бы восстановить библиотечку «Знания»...*— Имеется в виду «Дешевая библиотека» изд-ва «Знание», в которой среди множества других произведений вышли труды К. Маркса, Ф. Энгельса, П. Лафарга, А. Бебеля.

С т р. 20. *...это его предвидение вскоре оправдалось на Балканах.*— Горький имеет в виду войны 1912—1913 годов между

Балканским союзом (Болгария, Сербия, Греция, Черногория) и Турцией, затем между Болгарией и ее союзниками из-за раздела завоеванных территорий.

Стр. 20. *Война будет.*— В статье «Конгресс английской социал-демократической партии» (1911) Ленин писал: «Военное столкновение надвигается всё более грозно. Буржуазная шовинистическая пресса обеих стран ‹Англии и Германии› бросает в народные массы миллионы и миллионы зажигательных статей с натравливанием на „врага"...» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, стр. 228).

Стр. 21. *После Парижа мы встретились на Капри.*— Здесь — ошибка памяти: Ленин был на Капри 10—17 апреля 1908 г. и 18—30 июня 1910 г., т. е. до встреч с Горьким в Париже.

Стр. 21. *...как будто Владимир Ильич был на Капри два раза...*— Ленин был на Капри действительно два раза и действительно в «различных настроениях». В апреле 1908 г. он поехал на Капри, «уступая настояниям Горького», как вспоминала Н. К. Крупская. Горький хотел примирить его с А. Богдановым, А. Луначарским и В. Базаровым, впавшими в философский идеализм («махизм») и проповедовавшими богостроительство и отзовизм. Но «поездка не принесла, конечно, примирения с философскими взглядами Богданова» (*Крупская*, стр. 148).

Стр. 22. *...я вас предупредил в письме: это — невозможно!* — 24 марта 1908 г. В. И. Ленин писал Горькому: «Получил Ваше письмо насчет драки моей с махистами ‹...› Вы должны понять и поймете, конечно, что раз человек партии пришел к убеждению в сугубой неправильности и *вреде* известной проповеди, то он обязан выступить против нее». Далее, характеризуя философию махистов как нелепую, вредную, филистерскую, поповскую, Ленин говорит о невозможности примирения, к которому его призывал Горький: «Какое же тут „примирение" может быть, милый А. М.? Помилуйте, об этом смешно и заикаться. Бой *абсолютно* неизбежен» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 47, стр. 150—151).

Стр. 22. *...я сказал ему, что А. А. Богданов, А. В. Луначарский, В. А. Базаров — в моих глазах крупные люди...*— *А. А. Богданов* (1873—1928) — философ-идеалист, социал-демократ, в 1903 г. примкнул к большевикам, в годы реакции отошел от большевизма, стал отзовистом. Ревизуя марксизм в области философии, Богданов перешел на позиции махизма и создал идеалистическую философию эмпириомонизма. *А. В. Луначарский* (1875—1933), будучи в 1904—1907 годах видным деятелем большевистской партии, в годы реакции отдал щедрую дань философии махизма и богостроительству. *В. А. Базаров* (1874—1939) — философ, экономист, социал-демократ; во время революции 1905—1907 гг. примыкал к большевикам; в годы реакции, отойдя от большевизма, пропагандировал богостроительство. В 1907—1909 годах Горький, общаясь с названными лицами на Капри, полагал, что некоторые их идеи означают развитие марксистской философии. Однако уже к 1910 г. писатель разочаровывается в Богданове и порывает с ним.

Ленин подверг резкой критике философские идеи русских махистов, раскрыв их субъективно-идеалистический и реакционный характер в работе «Материализм и эмпириокритицизм» (1908).

«Я был на о. Капри в апреле 1908 г. и объявил всем этим 3-м товарищам о безусловном расхождении с ними по философии» (В. И. Ленин. Письмо ученикам каприйской школы, 17 (30) августа 1909 г.— Полн. собр. соч., т. 47, стр. 198).

Стр. 22. *Значит — все-таки надежда на примирение жива? Это — зря,— сказал он.*— См.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 48, стр. 140.

Стр. 23. «*Кто ясно мыслит — ясно излагает*»...— Артур Шопенгауэр. Афоризмы и максимы. СПб., 1892, стр. 4. В экземпляре книги, хранящемся в *ЛБГ*, эти слова отмечены Горьким.

Стр. 23. ...*ваша «подстановка»*...— Формулируя сущность вводимого им понятия «подстановки», которое якобы устраняет противоположность материи и духа, Богданов писал, что «основу явлений физического опыта составляют непосредственные комплексы различных ступеней организованности, к числу которых относятся и комплексы психические» (А. Богданов. Эмпириомонизм, кн. III, СПб., 1906, стр. 148). Такая «подстановка» психического под физическое являлась у Богданова не чем иным, как разновидностью идеализма, ибо рассматривала физическую природу как производное от коллективного опыта.

Стр. 24. ...*рыбаки Капри, видевшие и Шаляпина и немало других крупных русских людей*...— Ф. И. Шаляпин был на Капри в апреле 1908 г., а потом приезжал еще несколько раз. На Капри у Горького бывали Г. В. Плеханов, В. Н. Фигнер, А. В. Луначарский, К. С. Станиславский, И. Е. Репин, И. А. Бунин и другие выдающиеся деятели русского революционного движения и искусства.

Стр. 24. ...«*простых сердцем*».— Горький использует ставшее крылатым название повести Флобера «Простое сердце» (см. *Г-30*, т. 24, стр. 486).

Стр. 24. *Я к нему «питаю слабость»*...—Ср. в мемуарах Н.К. Крупской: «К Луначарскому Ильич всегда относился с большим пристрастием — больно его подкупала талантливость Анатолия Васильевича» (*Крупская*, стр. 169).

Стр. 25. *Не помню, до Владимира Ильича или после его на Капри был Г. В. Плеханов.* — Плеханов был на Капри в июне-июле 1913 г., т. е. после Ленина.

Стр. 25. ...*Н. Олигер, Лоренц-Метнер* ∞ *Павел Вигдорчик*...— *Олигер* Н. Ф. (1882—1919) — писатель, связанный с традициями народнической литературы; перед революцией 1905 года принял участие в революционном движении, был арестован и 1904—1905 годы провел в тюрьме. А. К. *Лоренц-Метнер* (ум. 1918) — участник революционного движения, большевик. *Вигдорчик* Н. А. (р. 1874) — врач, писатель, участник социал-демократического движения; после раскола РСДРП примыкал к меньшевикам.

С т р. 25. *Энрико Ферри* (1856—1929) — руководитель центристского большинства итальянской социалистической партии, редактор газеты «Avanti»; в 1909 г. отошел от партии; впоследствии примкнул к фашизму.

С т р. 26. *В России, стране, где необходимость страдания проповедуется как универсальное средство «спасения души»...* — Христианскую идею спасительной силы страдания наиболее полно развил Достоевский. Очищение страданием проповедуют многие его герои, а сам писатель заявляет: «Я думаю, самая главная, самая коренная духовная потребность русского народа — есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всем» (Ф. М. Достоевский. Дневник писателя за 1873 г. ⟨Берлин⟩, 1922, стр. 260). Горький на протяжении всего своего творчества боролся против этой идеи.

С т р. 26. *...я не встречал со страданию людей.* — В одной из заметок 1930-х годов Горький повторяет эту свою характеристику Ленина: «Я знал только одного идеального гуманиста, человека, который ненавидел страдание всеми силами великой его души,— это Владимир Ленин» (цит. по кн.: Ал. Овчаренко. Эпоха, человек, искусство. М., 1967, стр. 13).

С т р. 27—29. *В 17—18 годах мои отношения с Лениным со Пусть же читатели знают эту мою ошибку.* — В период между февральской буржуазно-демократической революцией и Великой Октябрьской социалистической революцией и некоторое время после Октября Горький, хотя и оставался непоколебимым сторонником научного социализма, идеи которого он на протяжении предшествующих многих лет утверждал всем своим творчеством, однако не сумел правильно разобраться в сложнейших исторических ситуациях, связанных с перерастанием буржуазно-демократической революции в социалистическую, с установлением и первыми шагами диктатуры пролетариата. Гипертрофированное представление об анархизме поднявшихся крестьянских масс, опасения за культуру, которой якобы угрожают эти массы, известная недооценка организаторских возможностей партии, ее способности обеспечить союз рабочего класса и трудового крестьянства, ввести в берега разбушевавшуюся стихию — всё это заставляло Горького сомневаться в достаточной подготовленности, своевременности социалистической революции в создавшихся условиях. Кроме того, писатель склонен был тогда преувеличивать революционное значение интеллигенции, относился к ней недостаточно дифференцированно, упуская из виду, что по мере развертывания классовых боев многие ее представители, ранее фрондировавшие против самодержавия или даже принимавшие некоторое участие в освободительном движении, теперь, напуганные революционным шквалом, занимали всё более реакционные позиции. На почве этих временных заблуждений писателя у него и возникли тогда разногласия с партией, с Лениным.

По поводу своих временных идейно-политических ошибок и их преодоления Горький высказывался не только в комментируемом произведении, но и в ряде других выступлений. Так, в

1928 г. он писал редактору французского прогрессивного журнала «Европа»: «Я считаю себя большевиком с 1903 〈... 〉С большевиками я спорил и враждовал в 18 году, когда мне казалось, что они не в силах овладеть крестьянством, анархизированным войною, и в столкновении с ним погубят рабочую партию. Затем я убедился, что ошибаюсь, а теперь совершенно убежден, что русский народ, несмотря на враждую к нему всех правительств в Европе и вызванные этой враждою экономические затруднения, вступил в эпоху своего ренессанса» (Архив А. М. Горького, ПГ-рпз-67-2). В статье «„Механическим гражданам" СССР» (1928) Горький подчеркивал, что он «... в 17 году переоценил революционное значение интеллигенции и ее „духовную культуру" и недооценил силу воли, смелость большевиков, силу классового сознания передовых рабочих» (*Г-30*, т. 24, стр. 436).

Огромное значение в деле преодоления Горьким временных заблуждений имели его личное общение с Лениным в 1918—1921 годах, а также письма вождя — в частности, известные письма от 31 июля и 15 сентября 1919 г. (см.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 51, стр. 23—27 и 47—49). Сурово критикуя писателя за его ошибки, Ленин всегда сохранял неизменное уважение и дружеское расположение к нему, верил в него, зная, что в творчестве такого подлинно народного, пролетарского писателя, как Горький, историческая правда не могла не восторжествовать над временными иллюзиями и заблуждениями. Еще в середине 1917 г. на вопрос одного из членов Выборгского районного Совета рабочих депутатов Петрограда: «Неужели А. М. Горький совсем отошел от нас?» — Ленин ответил: «Нет, Горький не может уйти от нас, всё это у него временное, чужое, наносное, и он обязательно будет с нами» (И. Гордиенко. Из боевого прошлого. М., 1957, стр. 97). Летом 1918 г. Горький в письме к Е. П. Пешковой сообщал, что ему «надоела» «бессильная, академическая оппозиция» газеты «Новая жизнь» (в ней он сотрудничал) и что он собирается работать с большевиками (см.: *Архив* $Г_{IX}$, стр. 207—208). Рецидивы неправильных представлений еще некоторое время проявлялись в отдельных высказываниях Горького, но путь его снова определялся твердо и ясно,— это был путь с партией большевиков, с народом, борющимся за социализм.

Стр. 27. *...опубликовал свои «тезисы»...*— Имеется в виду статья Ленина «О задачах пролетариата в данной революции» («Правда», 1917, № 26, 7/20 апреля), вошедшая в историю революции под названием «Апрельские тезисы». Это выступление определило курс партии большевиков на перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую.

Стр. 28. *Первейшей задачей революции я считал создание таких условий, которые бы содействовали росту культурных сил страны.*— Начиная с марта 1917 г., Горький напечатал много статей, смысл которых сводился к утверждению, что главная задача состоит не в том, чтобы добиться перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую, а в том, чтобы

быстро и энергично поднять в России культуру, создать условия для духовного и психического возрождения народа, «развития интеллектуальных сил страны» («Новая жизнь», 1917, № 1, 18 апреля/ 1 мая), что должно предотвратить катастрофу, якобы угрожавшую стране и революции.

С т р. 28. ...*весною 17 года была организована «Свободная ассоциация для развития и распространения положительных наук»*...— Горький выступил одним из инициаторов создания этой ассоциации. Она конституирована 28 марта (10 апреля) 1917 г. Председателем Ассоциации был первый вице-президент Академии наук, выдающийся математик *В. А. Стеклов* (1864—1929), товарищами председателя — Горький и профессор *Д. К. Заболотный*, секретарями — профессор *В. А. Догель* и называемый далее Горьким крупный специалист в области электротехники и радиотехники профессор *А. А. Петровский* (1873—1942). Упоминаемые писателем крупные ученые — химик *Л. А. Чугаев* (1873—1922), геолог и минералог *А. Е. Ферсман* (1863—1945) и биохимик *С. П. Костычев* (1877—1931) — входили в Совет Ассоциации, состоявший из пятидесяти человек. Членами его были избраны и такие крупнейшие русские ученые, как академики И. П. Павлов, В. И. Вернадский, А. П. Крылов, А. А. Марков, Н. С. Курнаков; профессора Н. Е. Введенский, В. Л. Комаров, А. Е. Фаворский, а также общественные деятели Г. В. Плеханов, Л. Б. Красин. Создание Ассоциации приветствовали В. Г. Короленко и К. А. Тимирязев. Ассоциация пропагандировала знания среди широких народных масс, способствовала сохранению и развитию научно-технических очагов, помогала ученым издавать их труды. Просуществовала она до 1920 г. Народный комиссариат просвещения РСФСР в отчете за 1918 г. констатировал, что ее деятельность является «весьма ценным вкладом в новое строительство знаний» (*Г Чтения*, 1968, стр. 318).

С т р. 29. ...*после ряда фактов подлейшего вредительства со стороны части спецов*...— Имеется в виду подрывная деятельность группы буржуазных специалистов на шахтах Донбасса («шахтинское дело», 1928), а также раскрытие в 1929—1930 гг. вредительских организаций на транспорте, в золото-платиновой промышленности, в области снабжения и др.

С т р. 29. ...*лицемерие тех «моралистов», которые говорят о кровожадности русской революции*...— Касаясь этого вопроса, Горький писал в 1920 г. в статье «Владимир Ильич Ленин»: «Когда „объективно мыслящие люди“ обвиняют его в том, что он является возбудителем жестокой гражданской войны, террора и других преступлений,— мне вспоминается Ллойд-Джордж, который в 13—14 годах говорил милые хвалебные речи по адресу немецкого народа, провожая в Германию экскурсию школьных учителей и принимая в Англии учителей немецких, а сам в то же время точил штыки и начинял снаряды, которые должны были рвать немцев в клочья. Все эти „великие люди“: лучший — самый бесстыдный циник Клемансо; „наивный демократ-романтик“ Вудро Вильсон; социалисты, вотировавшие кредиты на ор-

ганизацию общеевропейской бойни; ученые, изобретавшие удушливые газы и прочие гадости; поэты, которые проклинали в 14-м году немцев, в 18-м — англичан, — вся эта плесень и ржавчина разлагающегося старого общества,— именно она своей подлой рукой нанесла глубокую, может быть смертельную, рану европейской культуре...» («Коммунистический Интернационал», 1920, № 12, столбцы 1928—1929).

Стр. 30. *...в 19 году, в Петербурге, был съезд «деревенской бедноты»*. — По-видимому, речь идет о съезде Комитетов деревенской бедноты Северной коммуны, состоявшемся в ноябре 1918 г. в Петрограде.

Стр. 33. *...пошлейшей и гнусной попытки убить Ленина...* — Имеется в виду покушение на жизнь Ленина, совершенное 30 августа 1918 г. эсеркой Ф. Каплан. 4 сентября в беседе с А. В. Луначарским Горький сказал, что террористические акты против вождей Советской республики «побуждают его окончательно вступить на путь тесного с ними сотрудничества» («Максим Горький и Комиссариат Просвещения»—«Известия», 1918, № 198, 12 сентября).

Стр. 33. *Я пришел к нему, когда он еще плохо владел рукою и едва двигал простреленной шеей.*— Горький посетил Ленина, после его ранения, в сентябре 1918 г.

Стр. 33. *Учредилка* — Учредительное собрание, собрание «народных»представителей типа буржуазного парламента, открывшееся в Петрограде 5 (18) января 1918 г. 244 из 397 его депутатов принадлежали к мелкобуржуазным и буржуазным партиям (эсеры, меньшевики, кадеты) и являлись противниками Октябрьской социалистической революции. Когда ВЦИК предложил Учредительному собранию принять «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», оно уклонилось от ее обсуждения и отказалось признать Советскую власть. 6 января декретом ВЦИК Учредительное собрание было распущено.

Стр. 34. *...я был у него с тремя членами Академии наук.* ...— Имеется в виду посещение Ленина Горьким 27 января 1921 г. вместе с делегацией Объединенного совета научных учреждений и высших учебных заведений Петрограда в составе вице-президента Академии наук В. А. Стеклова, непременного секретаря Академии наук С. Ф. Ольденбурга и президента Военно-Медицинской академии профессора В. Н. Тонкова.

Стр. 34. *Спросите С.* ...— Имеется в виду академик В. А. Стеклов.

Стр. 35. *...посмотрим еще, как она пойдет.*— См.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 38, стр. 156.

Стр. 35. *...«не путем насилия внедряется коммунизм»...*— См. там же, стр. 162.

Стр. 35. *Цитирую по отчету...* — В *БА* Горький вклеил вырезку из газеты, однако не из «Известий», а из «Северной коммуны» (Петроград, 1919, 22 марта). Стенограмма доклада Ленина о партийной программе, напечатанная в газете, очень сжатая и в ряде мест неточно передает мысль Ленина. В настоящем издании в приведенную Горьким цитату внесено несколько поправок

по Полному собранию сочинений В. И. Ленина, т. 38, стр. 166—168.

Стр. 37. *Подписано: Иван Вольный.*— См. в наст. томе очерк «Иван Вольнов» и примеч. к нему.

Стр. 37. *Я читал его книгу,— очень понравилась.*— Повидимому, речь идет о книге «Повесть о днях моей жизни», вышедшей отдельным изданием в 1913 г., а в 1912 г. печатавшейся в журнале «Заветы».

Стр. 38. *...одному генералу, ученому, химику, угрожала смерть.*— Речь идет об А. В. Сапожникове (1868—1935), авторе ряда работ в области органической химии и химии взрывчатых веществ. Во второй половине февраля или в начале марта 1920 г. Горький писал В. И. Ленину:

«*Профессор химии Сапожников нашел, что из газовой смолы — отброс газовых заводов, имеется в изобилии, — можно добывать гомоэмульсии, обладающие антисептическими свойствами, не менее сильными, как, например, карбол‹ка›* ‹...› Сапожников несколько месяцев сидит в тюрьме, приговорен к заключению до конца гражд‹анской› войны за то, что у него в квартире найдено было оружие его двух сыновей, белогвардейцев ‹...›

Я прошу Вас: скажите Дзержинскому, чтоб он позвонил Бакаеву и предложил ему выпустить Сапожникова на поруки „Комиссии по улучшению быта ученых“...» (*Ленин и Горький*, стр. 171).

19 марта 1920 г. Ленин телеграфировал Горькому: «...Сапожников освобожден 9/III...» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 51, стр. 165).

Стр. 38.— *Я княгиня Ч...* — В записной книжке Горького, озаглавленной «Эпиграфы», имеется запись об этом эпизоде: «Я — княгиня Чавчавадзе — подайте мне кость для моих собак! Быль» (Архив А. М. Горького, ГЗ-17-4).

Стр. 39. *...до логики одного из героев Л. Андреева...*— Имеется в виду герой рассказа «Тьма».

Стр. 40. *А. К. Скороходов* (1882—1919) — сормовский рабочий-революционер. Накануне Октября работал в большевистском Петроградском комитете; после победы революции— первый председатель Петроградского районного совета, председатель Петроградской чрезвычайной комиссии; в конце 1919 г. расстрелян белогвардейцами в Харькове. О нем см. примеч. в т. XVII наст. изд., стр. 591—592.

Стр. 41. *...органический «социальный идеализм» свой...*— В речи на торжественном заседании пленума Бакинского совета 21 июля 1928 г. писатель указывал: «Лет двадцать пять назад старик Каутский написал статью о русском и американском рабочем, где он подметил, что русский рабочий — идеалист. Да, у него идеализм особого типа, который не свойственен рабочему Запада,— социальный идеализм, который он оправдал тысячу раз после Октябрьской революции» (*Г-30*, т. 24, стр. 391—392; см. также: Карл Каутский. Американский и русский рабочий. СПб., 1906, стр. 31—37).

Стр. 41. *Только сегодня ночью прочитал вашу книжку о Толстом.*— См. т. XVI наст. изд., стр. 582—583.

Стр. 42. *...на квартире Е. П. Пешковой...*— Ленин посетил Горького на квартире Е. П. Пешковой в Машковом пер. (ныне улица Чаплыгина) 20 октября 1920 г.

Стр. 42. *...он писал мне 9.VIII. 1921 года...*—Горький цитирует письмо с незначительными отклонениями.

Стр. 44. *...с поразительным упрямством настаивал, чтоб я уехал из России...*— В одной заметке 1930-х годов Горький вспоминает, как Ленин ему говорил: «...о здоровье вы нимало не заботитесь, а здоровье у вас — швах. Валяйте за границу, в Италию, в Давос. Не поедете — вышлем» (*Ленин и Горький*, стр. 388).

Стр. 45. *...одного товарища «хозяйственника»...*— Имеется в виду Л. Б. Красин. 27 ноября 1926 г. Горький писал Е. П. Пешковой о Красине: «Это о нем говорил Ильич: может быть премьер-министром в любом государстве Европы» (*Архив ГИХ*, стр. 258).

Стр. 45. *Я предложил ему съездить в Главное артиллерийское управление...*— Ленин посетил Главное артиллерийское управление Красной Армии 18 июня 1920 г. Аппарат, корректирующий стрельбу по аэропланам, был изобретен А. М. Игнатьевым (1879—1936), инженером, участником революции 1905 г., старым другом Горького (см.: Е. Агокас. Незабываемая встреча.—«Авиационный технолог», 1941, № 4, 25 января).

Стр. 46. *Говорите, у И. есть еще изобретение*?— Горький имеет в виду самозатачивающиеся резцы. Они были изобретены Игнатьевым в 1912 г., а патент на это изобретение получен им в 1926 г. (см. «Наши достижения», 1934, № 3, стр. 176—181).

Стр. 47. *И есть в нем что-то... нехорошее, от Лассаля...*— Один из руководителей немецкого рабочего движения 60-х годов XIX в. Ф. Лассаль (1825—1864) как политик и как человек обладал рядом отрицательных качеств, чуждых пролетарской идеологии и морали. К. Маркс отмечал «назойливое самохвальство» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 31, изд. 2, 1963, стр. 380) как отличительную черту Лассаля и писал о нем: «Он держит себя совсем как будущий рабочий диктатор...» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма. 〈Л.〉, 1948, стр. 139). «За Лассалем-социалистом по пятам следует Лассаль-демагог», — замечал Ф. Энгельс (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 38, стр. 32). Говоря о заслугах Лассаля в письме, вызванном смертью последнего, Энгельс отмечал, что он был для них с Марксом «в настоящем очень ненадежным другом, в будущем — довольно несомненным врагом...» (цит. по кн.: Ф. Меринг. Карл Маркс. История его жизни, 1957, стр. 337).

Стр. 47. «*Всемирная литература*»— издательство, организованное в 1918 г. в Петрограде по инициативе и при ближайшем участии Горького с целью издания выдающихся произведений мировой художественной литературы. В 1924 г. влилось в Государственное издательство.

Стр. 47. *...я заговорил об Алексинском...*— Перед рево-

люцией 1905 г. Г. А. Алексинский (р. 1879) принимал участие в революционном движении; был членом социал-демократической фракции во II Государственной думе; после поражения революции примкнул к отзовистам. Во время июльских событий 1917 г., связанных с разгромом демонстрации в Петрограде, выступил с грязной клеветой против Ленина; позднее — был в белой эмиграции. Горький еще в каприйский период назвал Алексинского «жалчайшей личностью», «дегенератом п нигилистом» (цит. по кн.: А. О в ч а р е н к о. Публицистика М. Горького, стр. 281).

С т р. 47. *...негодяя Малиновского не мог раскусить.*— Р. В. Малиновский (1876—1918) — провокатор, работавший среди большевиков; в 1912 г. был избран в Государственную думу. Боясь публичного разоблачения, сложил с себя полномочия и уехал за границу. В 1918 г. вернулся в Советскую Россию. Разоблачен и расстрелян по приговору Верховного трибунала.

С т р. 48. *...беседовать со мною Владимиру Ильичу было приятно.*— Н. К. Крупская в письме Горькому от 25 мая 1930 г. свидетельствовала, что с ним «Ильич говорил о себе больше, чем с кем-либо» (*Ленин и Горький*, стр. 267).

С т р. 48. *«Комиссия по улучшению быта ученых».*— В декабре 1919 г. постановлением Совнаркома РСФСР учреждена Всероссийская комиссия по улучшению быта ученых; в Петрограде Комиссию возглавил Горький. В 1921 г. преобразована в Центральную комиссию по улучшению быта ученых — ЦЕКУБУ. Председателем ее был назначен А. Б. Халатов.

С т р. 48. *...считаю совершенно необходимым организацию литвуза...*— Эта идея реализована в 1933 г., когда по постановлению ЦИК СССР, в ознаменование 40-летия литературной деятельности Горького, в Москве был открыт Литературный институт его имени.

## ЛЕОНИД КРАСИН

(Стр. 50)

Впервые напечатано в газете «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1926, № 294, 19 декабря.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Черновой автограф (*ЧА*) под заглавием «Л. Б. Красин (Из воспоминаний)» и авторской датировкой «Декабрь 1926» (ХПГ-35-12-1).

2. Авторизованная машинопись с правкой (*АМ*), послужившая оригиналом набора для газеты «Известия» (ХПГ-35-12-4).

3. Три машинописные страницы с авторской правкой, по содержанию примыкающие к воспоминаниям о Л. Б. Красине (ХПГ-35-12-3).

Печатается по тексту *АМ* с исправлениями по *ЧА*:

*Стр. 60. строка 23*: «перебивался» вместо «пробивался».

*Стр. 60, строка 27*: «впечатление человека» вместо «впечатление».

Написано вскоре после смерти Л. Б. Красина, последовавшей 24 ноября 1926 г.[1] 27 ноября Горький писал из Сорренто в Москву Е. П. Пешковой: «Пожалуйста, возложи венок на гроб Леонида Борисовича.

Надпись на ленте: „Старому другу. М.Г.“

Вот и еще один ушел. На мою оценку он, по уму своему, по талантливости, был вторым после В⟨ладимира⟩ Ильича» (*Архив* $Г_{IX}$, стр. 258).

О своей дружбе с Красиным Горький писал Ф. В. Гладкову 30 ноября 1926 г.: «Я его знал 23 года, это большой человек» (*Г-30*, т. 29, стр. 485).

К Горькому с просьбой написать воспоминания обращались из газет, журналов, издательств.

4 декабря П. М. Керженцев писал Горькому: «Читал статьи и воспоминания о Красине в газетах и подумал — вот бы Вы черкнули о нем строк 150, ведь Вы хорошо его знали и близко соприкасались. Он ведь такой художественно-цельный и яркий — что о нем, кажется, легче писать беллетристу. Вот если надумаете что — пишите мне, я свезу в „Правду“» (Архив А. М. Горького, КГ-п-35-2-9). О том же от имени издательства «Прибой» писателя просил М. А. Сергеев (Архив А. М. Горького, КГ-изд-49-1-2). Горький согласился и уже 5 декабря сообщал И. П. Ладыжникову: «... посылаю заметку о Л. Б. Наспех писать я не умею и написал плохо. Леонид заслужил не такие слова» (*Архив* $Г_{VII}$, стр. 248).

19 декабря воспоминания Горького появились в газете «Известия» под заголовком: «Л. Б. Красин. Из воспоминаний». В тот же день частично — в вечернем выпуске «Красной газеты» (№ 304). Вслед за тем с сокращениями напечатаны в Германии, в журнале «Die Weltbühne» (1926, № 52, 28 Dezember) под заголовком: «Leonid Borisowitsch Krassin von Maxim Gorki» с редакционным примечанием: «Авторизованный перевод с неопубликованной русской рукописи».

10 марта 1927 г. Горький писал Сергееву: «...со статьей моей о Л. Б. Красине случилось такое: одновременно с Вашей телеграммой я получил телеграмму, подписанную, кажется, „Кружок друзей“ Л. Б. Написав „Воспоминания“, послал в „Международную книгу“ Ладыжникову, предполагая, что он знает, куда передать рукопись, а он передал ее почему-то в „Известия“, где ее и напечатали. На днях получил письмо Б. С. Стомонякова, который пишет, что сборник в память Красина издается, моя статья в него входит, издатель — „Прибой?“» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-39-33-4).

Горький не знал, что сборник, готовившийся «Прибоем», и тот, о котором писал ему Стомоняков,— два разных издания. «Кружок», о котором упоминается в приведенном письме, был ор-

---

[1] Красин умер на посту полпреда СССР в Англии. Прах его был перевезен в Москву.

ганизован после смерти Красина его близкими друзьями; в него входили, в частности, Г. М. Кржижановский, Я. С. Ганецкий, А. С. Енукидзе, Н. К. Крупская, Н.Е. Буренин. Стомоняков являлся секретарем.

Сборник «Леонид Борисович Красин („Никитич“). Годы подполья» вышел в 1928 г. Воспоминания Горького перепечатаны здесь из «Известий». Изменен заголовок: «Л. Б. Красин и Савва Морозов». Сборник «Памяти Л. Б. Красина» («Прибой», 1927) вышел без участия Горького.

Стр. 50. *...услышал имя Леонида Красина из уст Н. Г. Гарина-Михайловского...*— См. в наст. томе «О Гарине-Михайловском». Гарин знал Красина по совместной работе на строительстве Крутобайкальской железной дороги в 1895 г.

Стр. 50. *...образ Павла Скворцова...*— См. «Время Короленко» в т. XVI наст. изд. Красин встречался с П. Н. Скворцовым в Нижнем Новгороде в 1891—1892 годах, где жил, «отбывая воинскую повинность и занимаясь уроками и чертежными работами, а попутно ведя ожесточенную борьбу во имя народившегося тогда русского марксизма с такими мастодонтами народничества, как Н. Ф. Анненский, Зверев, Шмидт и другие нижегородские статистики». Верным соратником Красина в этой борьбе был, по его словам, «один из старейших русских марксистов П. Н. Скворцов, автор замечательных статей в „Юридическом вестнике“ и блестящей критической монографии, разбивавшей в пух и прах „Судьбы капитализма в России“ В. В. Воронцова, книгу, бывшую библией тогдашнего народничества» (Л. К р а с и н. Автобиографические заметки.— *Годы подполья*, стр. 35—36).

Стр. 50. *Зимою 1903 года я жил в курорте Сестрорецк ко мне приедет «Никитич»...*— В Сестрорецке Горький жил, выезжая иногда в Петербург, с 1(14) февраля до середины (конца) апреля 1904 г. Свидание с Красиным могло произойти в феврале.

Стр. 50. *А. Г. Достоевская* (1846—1913)—вдова Ф. М. Достоевского.

Стр. 50. *...«Никитич», недавно кооптированный в члены ЦК...*— Л. Б. Красин был кооптирован в члены ЦК после II съезда РСДРП, т. е. в июне-августе 1903 г. «Никитич» — партийная кличка Красина (другие клички — Винтер, Зимин). «Его партийная работа в качестве члена ЦК заключалась главным образом в добывании средств для партии, в организации и обслуживании подпольной типографии в Баку и в организации транспорта нелегальной литературы из-за границы» (*Годы подполья*, стр. 268).

Стр. 51. *...время было «зубатовское», хотя и на ущербе.*— *Зубатовщина* — полицейская провокация, имевшая целью отвлечь рабочий класс от политической борьбы и «из рабочих же образовать группы для борьбы с социализмом» (В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 7, стр. 88). Свое название эта система полу-

чила по имени ее инициатора С. В. Зубатова. Летом 1903 г. зубатовские организации были закрыты.

С т р. 51. *...по мысли Ленина ∞ интеллигентов и рабочих.*— Речь идет о ленинском организационном плане создания революционной марксистской рабочей партии России. Теоретическую разработку этого плана Ленин дал в книге «Что делать?» (1902). Он писал о необходимости создать постоянную армию испытанных борцов, социал-демократических Желябовых, способных внести в движение масс сознательность, возглавить и направить это движение (см.: В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 6, стр. 171).

С т р. 51. *...о намерении партии создать общерусский политический орган социал-демократии.*— Вероятно, речь шла о создании новой социал-демократической газеты, которая продолжала бы линию «старой „Искры"» (так называлась линия, проводившаяся «Искрой» с 11 (24) декабря 1900 г. по 22 октября/ /4 ноября 1903, № 1—51, когда определяющую роль в газете играл Ленин). С № 52 (ноябрь 1903 г.) «Искра» перестала быть боевым органом революционного марксизма и Ленин вышел из ее редакции. Новую газету большевикам удалось организовать в конце 1904 г. Она выходила под названием «Вперед» с 22 декабря по май 1905 г., до III съезда партии. В ее редакцию входили Ленин, Луначарский, Ольминский и Воровский.

С т р. 52. *Вероятно — расколемся.*— Красин говорил о положении в партии после II съезда, на котором оформилось два направления в российской социал-демократии: революционное, большевистское и оппортунистическое, меньшевистское. Меньшевики захватили партийные центры («Искру» в конце 1903 г., ЦК — летом 1904 г.) и вели линию на раскол партии. В этих условиях большевики развернули борьбу за созыв III съезда РСДРП. Красин во внутрипартийной борьбе стоял на стороне Ленина и являлся делегатом III съезда.

С т р. 52. *...восхищаясь В. Ф. Комиссаржевской...*— Красин был хорошо знаком с В. Ф. Комиссаржевской (1864—1910) и неоднократно привлекал ее (в Баку и других городах) к участию в концертах и спектаклях, сборы с которых шли в партийную кассу (см.: *Годы подполья*, стр. 247).

С т р. 52. *Тогда я был солдат...*— Летом 1893 г. Красин служил солдатом в Туле, в пехотном Великолуцком полку.

С т р. 52. *Питер Шлемиль* — герой повести немецкого писателя-романтика А. Шамиссо «Необыкновенная история Петера Шлемиля» (1814).

С т р. 52. *Свидание с Морозовым состоялось через три дня.*— См.: *Годы подполья*, стр. 42 и 43. Ср. там же, стр. 213.

С т р. 53. *...о Савве Морозове.*— См. очерк «Савва Морозов» и примеч. к нему в т. XVI наст. изд.

С т р. 53—54. *В 96 году ∞ командовать ими.*— Эта часть текста взята автором из ранее написанного очерка о Савве Морозове (см. т. XVI наст. изд., стр. 498—499).

С т р. 54—55. *«Во время войны ∞ 9 января это было».*— См.: М. К. А з а д о в с к и й. Беседы собирателя. О собирании

и записывании памятников устного творчества. Применительно к Сибири. ‹Иркутск›, 1924, стр. 39.

Стр. 56. *Красин рассказал о своей постройке электростанции в Баку.*— С июня 1900 до весны 1904 г. Красин работал помощником управляющего строительством Бакинской электростанции на Баиловском мысу.

Стр. 56. *...кажется, с весны 1904 года Красин уже работал там.*— Ср. в воспоминаниях Красина: «В Орехово явился в начале лета 1904 года и по уши ушел в довольно сложную техническую работу...» (*Годы подполья*, стр. 213).

Стр. 57. *...в Петербурге организовывалась «Новая жизнь», а в Москве «Борьба»...*— Первые легальные большевистские газеты; выходили при ближайшем участии Горького и при финансовой поддержке Саввы Морозова. Красин организовывал легальную типографию «Дело», где печаталась «Новая жизнь».

Стр. 58. *...Морозов, спрятав у себя на Спиридоновке Баумана...*— См. очерк «Савва Морозов» в т. XVI наст. изд.

Стр. 58. *После слуха о его аресте на квартире Леонида Андреева, вместе с другими членами ЦК...*— 9 (22) февраля 1905 г. на квартире Андреева в Москве был арестован ЦК РСДРП (кроме Красина, Любимова и Постоловского), а также хозяин квартиры. Рассказ Красина об этом см.: *Годы подполья*, стр. 216—219.

Стр. 58. *...был в ссылке, сидел в тюрьмах...*— Первый раз Красин был выслан из Петербурга в 1890 г. за участие в студенческих беспорядках. С этого года до переезда на работу в Баку (1900) он неоднократно арестовывался и ссылался: в Казань, Нижний Новгород, Воронежскую губернию, Иркутск.

Стр. 58. *...известный электротехник-профессор.*— Вероятно, А. А. Петровский, который работал с Красиным с 1917 г. в «Свободной ассоциации для развития и распространения положительных наук».

Стр. 59. *А. К. Скороходов* — см. в наст. томе примеч. к стр. 40.

Стр. 59. *...когда отряды Юденича, наступая на Тосно...*— Тосно—станция на Николаевской ж. д., связывающей Петербург с Москвой. Отряды Юденича подходили к Тосно в октябре 1919 г.

Стр. 59. *Авель С‹офронович› Енукидзе* (1877—1937) — старый большевик, один из основателей бакинской социал-демократической организации. С Красиным был знаком с марта 1901 г. В Баку работал вместе с ним чертежником на электростанции, участвовал в создании подпольной типографии.

Стр. 59. *...попытки освободить Красина из монументальной Выборгской тюрьмы.*— В марте 1908 г. Красин был арестован на даче в Куоккала и доставлен в Выборгскую тюрьму (см.: *Годы подполья*, стр. 233). Побег, в организации которого участвовали А. М. Игнатьев и А. Охтенский, не удался. После месячного пребывания в Выборгской тюрьме Красин был освобожден и скрылся за границу.

Стр. 59. *Знаменитый «Камо», «Чёрт»-Богомолов, Гро-*

*жан...*—См. в наст. томе «Камо». *Богомолов* (псевдоним Н. Н. Карпова, 1881—1935) — большевик, активный участник революции 1905 г., партийная кличка «Чёрт»; с Красиным познакомился в августе 1905 г. *Грожан* П. А. (1879—1905)— большевик, соратник Красина; в 1905 г. в Москве входил в «Военно-техническую группу»; убит черносотенцами после объявления манифеста 17 октября (см.: *Андреева*, стр. 109, 111).

Стр. 59. *...устраивал подпольную типографию...*— См. в воспоминаниях Красина: «В 1904 году, после моего переезда в Орехово-Зуево, „Семен“ ⟨Т. Т. Енукидзе⟩, сдав ведение дела в Баку на руки А. С. Енукидзе, переехал в Москву, и мы занялись устройством аналогичной типографии где-то на Лесной улице, причем легальным прикрытием должна была служить торговля кавказским сыром, орехами, вином и т. п., а в качестве рабочих предполагалось пригласить тех же испытанных наших товарищей из Баку» (*Годы подполья*, стр. 146).

Стр. 59. *Алексин* А. Н. (1863—1923) — См. очерк Горького «А. Н. Алексин» в т. XVI наст. изд.

Стр. 60. *...работая у Сименса-Шуккерта...*— С 1909 г. Красин работал в Берлине младшим инженером крупной электротехнической фирмы «Сименс и Шуккерт». В 1912 г. возглавил московский филиал этой фирмы, а в следующем году стал директором общероссийского отделения «Сименс и Шуккерт» в Петербурге.

Стр. 60. *...не сразу пошел работать с советской властью...*— В 1910 г. Красин вышел из большевистского центра вместе с отзовистской группой «Вперед», а в последующие годы вообще почти не вел партийной работы. Однако дружеские отношения с Горьким, Луначарским, М. Ф. Андреевой, Воровским и другими позволяли ему фактически не порывать связи с деятельностью большевиков. В 1917 г. произошло несколько встреч Красина с Лениным, вернувшимся из эмиграции. Их последствием было возвращение Красина к активной партийной работе.

Стр. 60. *...встал на работу.*— Во время переговоров Советского правительства с Германией (начались в декабре 1917 г. в Брест-Литовске) Красин был привлечен к работе в дипломатических комиссиях (финансовой и экономической, потом — политической). Летом 1918 г. жил в Берлине, участвуя в переговорах о восстановлении торговых отношений с Германией. В августе 1918 г. вернулся в Москву и был назначен председателем Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной армии. Затем решением правительства введен в состав Президиума Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ), а в ноябре 1918 г. назначен наркомторгом. В последующие годы — видный советский дипломат.

Стр. 60. *«Комиссия по улучшению быта ученых».*— См. в наст. томе примеч. к стр. 48.

Стр. 61. *Марков со Улеман...*— См. примеч. к стр. 28 наст. тома. *Федоров* Е. С. (1853—1919) — минералог. *Филипченко* Ю. А. (1882—1930) — биолог. *Нобель* — братья Роберт и Людвиг, владельцы нефтяных заводов. *Улеман* — Ульман Э. Э. — владелец переплетной мастерской в Петербурге.

Стр. 61. ... *«Экспертная комиссия»*... — Организована в 1920 г. при Петроградском отделении Народного комиссариата торговли и промышленности с целью сберечь ценнейшие произведения прикладного искусства, прекратить их утечку за границу, создать в Советской республике антикварный экспертный фонд.

## СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

(Стр. 62)

Впервые, с сокращениями, напечатано в «Красной газете» (веч. вып.), 1927, № 61, 5 марта, с примечанием от редакции: «Перевод статьи М. Горького, написанной для немецкого издательства, выпускающего сборник о Есенине». Полностью — в книге: М. Горький. Воспоминания. Рассказы. Заметки. Berlin, «Kniga», 1927.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Беловой автограф (*БА*) без заглавия (ХПГ-12-3-1).

2. Авторизованная машинопись с правкой (*АМ*), озаглавленная (сбоку, на полях): «Встреча с Есениным» (ХПГ-12-3-2).

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями:

*Стр. 62, строки 14—15*: «Есенина в Петербурге в 1914 г.» вместо «Есенина в 1914 г.» (по *БА*).

*Стр. 67, строка 14*: «да он — думаю — и не»: вместо «да он — я думаю — и не» (по *БА*).

*Стр. 68, строки 3—4*: «пляской, ненужность скучнейшего бранденбургского города» вместо «пляской, скучнейшего бранденбургского города» (по *АМ*).

*Стр. 68, строка 6*: «законченно русского» вместо «законченного русского» (по *АМ*).

Написано в декабре 1926 г. Свою первую встречу с Есениным Горький относил к 1914 г. Эта дата названа в его письме к И. А. Груздеву от 9 января 1926 г. (*Архив* $Г_{XI}$, стр. 29). В заметке о В. Маяковском говорится даже о весне 1914 г. (*Архив* $Г_{XII}$, стр. 226). Во всех этих свидетельствах Горький вспоминает, что видел Есенина в Петрограде в сопровождении поэта Н. Клюева. Однако Есенин появился в Петрограде лишь в марте 1915 г., а с Клюевым познакомился осенью этого года. Первая встреча состоялась, по-видимому, не ранее осени 1915 г., когда Горький налаживал в Петрограде журнал «Летопись», первый номер которого вышел в декабре того же года. В февральском номере «Летописи» предполагалось напечатать поэму Есенина «Марфа Посадница», но ее запретила цензура.

Встреча в Берлине состоялась между 11 и 17 мая 1922 г. Горький жил в Берлине с ноября 1921 г.; Есенин с Айседорой Дункан прилетели туда из Москвы 10 мая (см.: Н. В. Крандиевская-Толстая. Я вспоминаю. Л., 1959, стр. 97).

К творчеству Есенина Горький проявлял большой интерес. Самоубийство поэта потрясло Горького. «Мы потеряли великого

русского поэта...»,— писал он Ф. Элленсу 7 февраля 1926 г. (*Архив Г*$_{VIII}$, стр. 99). И в письме к В. М. Ходасевич от 13 января 1926 г.: «Есенина, разумеется, жалко, до судорог жалко, до отчаяния, но я всегда, т. е. давно уже думал, что или его убьют, или он сам себя уничтожит» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-48-9-12). О своем давнем предчувствии, что Есенин «кончит плохо», Горький писал и Груздеву 9 января 1926 г., как бы набрасывая здесь первоначальный вариант своих воспоминаний о нем (см. *Архив Г*$_{XI}$, стр. 29—30).

Поводом к написанию воспоминаний о Есенине послужило обращение С. А. Толстой-Есениной к Горькому от 15 июня 1926 г. Посылая копию неотправленного письма Есенина к Горькому от 3 июля 1925 г. (см.: альманах «Литературная Рязань», 1955, кн. 1), она сообщала: «Сейчас в Москве существует комитет по увековечению памяти Сергея. В него вошли писатели, друзья и близкие. К годовщине смерти комитет хочет выпустить сборник воспоминаний о Сереже. За это время, после его смерти, о нем написано очень много. И почти всё очень плохо. Этим сборником мы хотели по возможности дать настоящее лицо Сергея, каким оно сохранилось в воспоминаниях людей, его знавших и любивших. Я не знаю, доходит ли до Вас вся та спекуляция и всякая мерзость, которая поднялась вокруг его имени и которая побудила комитет выступить в печать с этим сборником? Если бы Вы захотели написать что-нибудь о Сергее, о своих встречах с ним, это было бы очень, очень ценно для нашего сборника» (Архив А. М. Горького, КГ-рзи-1-28-1).

Горький ответил 7 июля 1926 г.: «Уважаемая София Андреевна, о моих двух встречах с Есениным я непременно напишу. Но — не ранее сентября. Напишу немного и, надеюсь, это не задержит сборника» (*Г Чтения*, 1968, стр. 222). Однако воспоминания были написаны лишь к декабрю. 3 декабря Горький писал С. А. Толстой: «Уважаемая София Андреевна, посылаю обещанную заметку о С. Есенине. Предполагал я написать статью о нем, а не воспоминание о встрече с ним, но статья потребовала бы много времени,— ведь о Есенине можно и следует сказать очень много...» (там же, стр. 223).

История первой публикации произведения Горького до сих пор до конца не выяснена. 5 марта 1927 г. оно неожиданно появилось в «Красной газете» и в обратном переводе с немецкого, как было указано в редакционном примечании. Горький узнал об этом из письма Д. Заславского от 6 марта т. г. (Архив А. М. Горького, КГ-п-28-20-1). На вопрос Горького, нельзя ли узнать, кто передал «Красной газете» очерк о Есенине? — Заславский сообщал, что история появления очерка в газете «подобна истории мидян: темна и баснословна». В редакции газеты Заславскому сообщили, что произведение перепечатано в сокращенном виде «из какой-то белой газеты,— какой, редакция не помнит» (Архив А. М. Горького, КГ-п-28-20-2).

В мае Горький получил письмо от С. А. Толстой, благодарившей за воспоминания: «Думаю, что Вы из всех писавших луч-

ше всех дали облик живого Сергея». С. А. Толстая сообщала, что издание сборника очень затруднялся «общей травлей» Есенина, и добавляла: «Сведение о том, что нами получены Ваши воспоминания, произвело фурор в Москве, и все лучшие журналы и газеты стали просить Вашу работу для напечатания у себя. Мы всем отказали, на руки никому не давали по сей день, и никто переписать не мог» (Архив А. М. Горького, КГ-рзп-1-28-2).

Издательство «Круг» сборник о Есенине не выпустило.

Стр. 62. *...Стефан Жеромский со Петко Тодорову...*— Ошибка памяти Горького: Стефан Жеромский приезжал на Капри в феврале 1907 г., а Петко Тодоров познакомился там же с Горьким лишь в 1912 г. (см.: *Архив Г*$_{VIII}$, стр. 150).

Стр. 62. *...вместе с Клюевым.*— В автобиографии, датированной 14 мая 1922 г., Есенин писал: «С Клюевым у нас завязалась, при всей нашей внутренней распре, большая дружба, которая продолжается и посейчас, несмотря на то, что мы шесть лет друг друга не видели» (С. Есенин. Собрание сочинений в 5 томах, т. V. М., 1962, стр. 9).

Стр. 62. *Самокиш-Судковская* Е. П.— художница.

Стр. 64. *Айседора Дункан* (1878—1927)— знаменитая танцовщица. В 1921—1924 годах жила в СССР. Была женой С. Есенина; с ним путешествовала за границу.

Стр. 64. *Кусиков* А. Б. (р. 1896) — поэт-имажинист; сопровождал Есенина и Дункан в их заграничном путешествии; потом эмигрировал.

Стр. 64. *...а один журналист...*— В черновике воспоминаний о Есенине Горький называет фамилию журналиста — А. Волынский.

Стр. 65. *«Хорошо бы, на стог улыбаясь...»*— Из стихотворения «Закружилась листва золотая...» (1918). *«Я хожу в цилиндре не для женщины...»*— Из стихотворения «Я обманывать себя не стану...» (1922). *«Извлюбили тебя, измызгали...»*, *«Что ты смотришь так...»* — Из стихотворения «Сыпь гармоника. Скука... Скука...» (1923).

Стр. 66. *монолог Хлопуши...*— Из поэмы «Пугачев» (1921).

Стр. 67. *...«Рай животных» Клоделя...*— Ошибка памяти Горького: «Рай животных»— рассказ французского писателя Франсиса Жамма. См. в кн: Франсис Жамм. Стихи и проза. М., 1913, стр. 119—121. Экземпляр книги с пометами Горького хранится в *ЛБГ*.

Стр. 67. *...«печали полей...»*— «Печаль полей» — повесть С. Н. Сергеева-Ценского, высоко оцененная Горьким (см.: *Г-30*, т. 30, стр. 31).

Стр. 68. *Луна-парк* — система аттракционов и увеселительных заведений.

Стр. 68. *...«музыкой для толстых».*— Ср. статью Горького «О музыке толстых» (*Г-30*, т. 24, стр. 351—356).

## Н. Ф. АННЕНСКИЙ

(Стр. 70)

Впервые напечатано в книге: М. Горький. Воспоминания. Рассказы. Заметки. Berlin, «Kniga», 1927.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Черновой автограф (*ЧА*) без заглавия (ХПГ-1-4-1).

2. Авторизованная машинопись с правкой (*АМ*) под заглавием «Н. Ф. Анненский» (ХПГ-1-4-2).

Печатается по тексту *К* с исправлением по *ЧА* и *АМ*: «что противник сам вместе с другими» (стр. 72, строки 3—4) вместо «что противник вместе с другими».

Написано в конце декаря 1926 — начале 1927 г. Замысел произведения, вероятно, относится еще к 1912 г., когда умер Н. Ф. Анненский. 24 апреля 1913 г. редактор журнала «Вестник Европы» Д. Н. Овсянико-Куликовский писал Горькому: «Ждем ⟨...⟩ воспоминаний об Н. Ф. Анненском» (Архив А. М. Горького, КГ-п-54-16-10).

Н. Ф. Анненский (1843—1912) — общественный деятель и публицист, один из лидеров либерального народничества. С 1883 до 1895 г. был статистиком казанского и нижегородского земств. В Нижнем Новгороде занимал должность председателя статистического земского бюро. Сотрудничал в «Отечественных записках» и «Русском богатстве», друг В. Г. Короленко. В марте 1895 г. переехал в Петербург для участия в редактировании журнала «Русское богатство». Позднее — участник I съезда партии социалистов-революционеров (1905), а в 1906 г.— один из учредителей партии народных социалистов.

В 1925 г. Е. С. Короленко послала Горькому только что вышедшее посмертное издание дневника своего мужа за 1881—1893 гг. Получив «Дневник», Горький писал Е. С. Короленко 7 октября 1925 г.: «А Вы и „Дневник“ разбудили в памяти моей хорошие дни. Я вижу Вас и его, В⟨ладимира⟩ Г⟨алактионовича⟩, такими, как видел в 93 году, в доме Лемке. Вижу у вас Н. Ф. Анненского, Савельева...» (*Г-30*, т. 29, стр. 444).

16 декабря 1926 г. Е. С. Короленко обратилась к Горькому с просьбой «написать что-нибудь о Николае Федоровиче, хотя бы немного» для предполагавшегося сборника (Архив А. М. Горького, КГ-рзн-3-30-3). Горький ответил 24 декабря:

«...о Николае Федоровиче я напишу и пришлю Вам дней через 10 — хорошо? Раньше — не смогу.

Замечательно верно написали Вы „Если знали, то и любили его“. Знал я его — мало, но — видел, и этого достаточно было мне для того, чтоб и уважать и любить Н. Ф.» (*Г-30*, т. 29, стр. 488).

В тот же день Горький сообщал Е. П. Пешковой: «... целый день писал о Н. Ф. Анненском для Е. С. Короленко. И очень я заработался» (*Архив* $Г_{IX}$, стр. 261). Вскоре произведение было закончено и отослано Е. С. Короленко, которая писала Горькому 9 января 1927 г.: «Глубоко благодарна Вам

за Ваше „воспоминание“ о Николае Федоровиче. Хороший Вы подарок сделали мне и всем читателям Вашим» (Архив А. М. Горького, КГ-рзп-3-30-4).

Сборник, для которого предназначались воспоминания Горького, не был издан.

Стр. 70. *Щеглов* Н. П. (р. 1856) — нижегородский адвокат, был близок революционным кругам.

Стр. 70. *Павел Скворцов* ∞ *Аполлон Карелин.*— См. «Время Короленко» в т. XVI наст. изд.; там же — о Сведенцове, Иванчине-Писареве, Карелине. *Фрелих* Н. Н. (1863—1905) — нижегородец, участник студенческих волнений; служил в Нижнем Новгороде в казенной палате, был мировым судьей; в 1897 г. арестован и выслан на 5 лет за столкновение с губернатором.

Стр. 70. ...*брат казненного Степана Ширяева...*— *Ширяев* П. Г. (1853—1899) — революционер, народник; его брат *Ширяев* С. Г. (1856—1881) участвовал в покушении на Александра II в 1879 г., за что был приговорен к смертной казни, замененной бессрочным заключением. *Барамзин Е. В.* (1867—1920) — социал-демократ, член русской редакции газеты «Искра».

Стр. 71. ...*«О катедер-социалистах».*— Катедер-социализм (от нем. Katheder — кафедра) — разновидность буржуазного социализма, отрицающего классовую борьбу и ограничивающегося проповедью социализма с университетских кафедр.

Стр. 71. ...*у Н. И. Дрягина...*— Дрягин Н. И. (1865—1905)— статистик нижегородской управы. Об упомянутых Горьким лицах, бывавших у Дрягина, см. «Время Короленко», в т. XVI наст. изд.

Стр. 72. ... *М. Меньшикова о Льве Толстом или о князе Вяземском, толстовце...*— Очевидно, речь идет о статье М. О. Меньшикова «Дознание» («Книжки „Недели“», 1895, № 7, стр. 191—232; см. также «Неделя», 1895, № 37 и 38), в которой развенчивалась легенда о князе В. В. Вяземском (1811—1892), помещике Серпуховского уезда Московской губ., как о великом подвижнике. См. об этом отзыв Л. Толстого в письме Меньшикову от 5 (18) октября 1895 г. (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 68. М., стр. 203—205).

Стр. 72. ...*на демонстрации 4 марта.*— 4 марта 1901 г. в Петербурге, у Казанского собора, царизм учинил расправу над молодежью, вышедшей на улицу в знак протеста против репрессий, примененных к студентам Киевского университета (183 человека были отданы в солдаты за участие в студенческих волнениях). Среди участников-демонстрантов 4 марта был Н. Ф. Анненский. Он стал одним из инициаторов и авторов «Письма писателей и общественных деятелей в редакции газет и журналов с протестом против насилий над демонстрантами 4 марта у Казанского собора» («Революционный путь Горького». М.— Л., стр. 43).

Стр. 73. ...*Капитолина Назарьевна* ∞ *откликнулась...*— Ошибка памяти Горького: К. В. Назарьева умерла в 1900 г.

Стр. 74. *Т. А. Кроль* — переводчик.

## О ГАРИНЕ-МИХАЙЛОВСКОМ

(Стр. 75)

Впервые, под заголовком «Воспоминания о Н. Г. Гарине-Михайловском», напечатано — в отрывках — в «Красной газете» (веч. вып.), 1927, № 94, 9 апреля. Полностью, под заголовком «Н. Г. Гарин-Михайловский»,— в журнале «Красная новь», 1927, № 4, стр. 202—213. В том же году под названием «О Гарине-Михайловском»— в книге: М. Горький. Воспоминания. Рассказы. Заметки. Berlin, «Kniga», 1927.

В Архиве А. М. Горького хранится черновой автограф произведения (ХПГ-7-1).

Печатается по тексту *К*.

В связи с 75-летием со дня рождения Н. Г. Гарина-Михайловского, исполнявшимся в феврале 1927 г., руководитель общества «Чехов и его эпоха» Н. Д. Телешов обратился к Горькому с просьбой написать воспоминания. 4 февраля из Соррепто Горький ответил: «...о Н. Г. Гарине напишу и пришлю Вам к марту, а вернее, к 19 апреля. Буду очень рад хорошо вспомнить о нем» (*Г-30*, т. 30, стр. 9).

10 марта писатель послал Телешову текст воспоминаний о Гарине (*Г-30*, т. 30, стр. 11), которые были прочитаны 5 апреля на заседании общества «Чехов и его эпоха» И. А. Белоусовым (*ЛЖТ*$_{III}$, стр. 514). Другой экземпляр автор передал через П. П. Крючкова А. К. Воронскому для «Красной нови», о чем 10 марта оповестил А. Н. Тихонова (см.: *Г Чтения*, 1959, стр. 54).

Стр. 75. *...родоначальник веселых праведников...*— Джованни Бернардоне (1181 или 1182—1226), сын богатого купца, отказался от всякого имущества и под именем Франциска Ассизского вел странствующий образ жизни, прославляя нищету; основал нищенствующий орден францисканцев (или миноритов). Франциску Ассизскому были свойственны черты веселого юродивого, он называл себя «жонглером», скоморохом господним. Канонизирован католической церковью.

Стр. 75. *...создать международную организацию...*— В 1864 г. швейцарский общественный деятель, литератор и филантроп Анри Дюнан (1828—1910) основал «Красный Крест»— организацию помощи раненным на войне.

Стр. 75. *...прославленный доктор Гааз...*— *Гааз* Ф. И. (1780—1853), врач, филантроп. 40 лет работал в России тюремным врачом.

Стр. 76. *...в «эпоху великих реформ»*.— Речь идет о либеральных реформах 1860-х годов; в судопроизводстве они были связаны с введением Судебного устава (1864).

Стр. 76. *...в книге «Воспоминаний»*...— Речь идет о книге: Я. Л. Тейтель. Из моей жизни. За сорок лет. Париж, 1925.

Стр. 76. *А. В. Пешехонов* (1867—1933) — публицист-народник, земский статистик, сотрудник «Русского богатства».

В 1917 г. был министром Временного правительства. С 1922 г. белоэмигрант. *В. А. Мякотин* (1867—1937) — историк и публицист, сотрудник «Русского богатства». В 1918 г.— один из основателей белогвардейского «Союза возрождения России», эмигрант.

Стр. 76. *...Анненкова, потомка декабриста...*— Отцом В. И. Анненкова (1831—1897) был декабрист И. А. Анненков (1801—1878).

Стр. 77. *...познакомился с Николаем Георгиевичем Михайловским-Гариным.*— Знакомство состоялось в 1895 г. (см.: Н. Г. Гарин-Михайловский. Собрание сочинений в 5 томах, т. 4. М., 1958, стр. 314).

Стр. 78. *...в «Русской мысли»...*— Очерки Гарина «Несколько лет в деревне», направленные против народнической идеализации крестьянской жизни, печатались в «Русской мысли», 1892, №№ 3—6.

Стр. 78. *...«словам — тесно, мыслям — просторно».*— Из стихотворения Н. А. Некрасова «Подражание Шиллеру (II. Форма)».

Стр. 79. *Косоротов* А. И. (1868—1912) — драматург, театральный критик и журналист; сотрудничал в газетах «Новое время» и «Русь». Горький писал Е. П. Пешковой« «Я мог бы назвать себя его литературным крестным отцом...» (*Архив* $Г_{IX}$, стр. 139).

Стр. 79. *...строил ветку...*— В 1896—97 гг. Гарин был занят постройкой Кратовско-Сергиевской железнодорожной ветки.

Стр. 80. *Первым браком ∞ дочери генерала Черевина...*— Женой Гарина с 1879 г. была Н. В. Чарыкова (Михайловская), дочь минского губернатора. Ошибка Горького была исправлена редакцией «Красной нови» (см.: *Архив* $Г_X$, кн. 2, стр. 51). Однако, как видно из последующей переписки с Воронским, Горький санкции на исправление не дал или не успел дать.

Стр. 82. *...«Гений» — подлинная история...*— Рассказ «Гений» был напечатан с примечанием: «В основании рассказа взят истинный случай, сообщенный автору М. Ю. Гольдштейном. Фамилия еврея Пастернак. Автор сам помнит этого еврея. Подлинная рукопись еврея хранится у кого-то в Одессе» («Самарская газета», 1901, № 222, 11 октября). В изложении рассказа у Горького изменена фамилия прототипа главного героя, а конец расходится с концовкой рассказа в его последней редакции: старый еврей умирает не на станции, а у себя дома, «в каморке» (см.: Н. Г. Гарин-Михайловский. Собрание сочинений в 5 томах, т. 4, стр. 461—464).

Стр. 83. *...черновики его книг о Маньчжурии и «Корейских сказок»...*— С рукописями книг «По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову» и «Корейские сказки» Горький ознакомился еще весной 1903 г., когда готовил их для «Знания» (вышли в свет в 1904 г.).

Стр. 84. *...легенду эту использовал ∞ Рафаил Зотов.*— Имеется в виду роман Р. М. Зотова «Цин-киу-Тонг, или Три добрые духа тьмы» (1840).

С т р. 86. ... *спорил против афоризма Э. Бернштейна...* — «„Конечная цель — ничто, движение — всё“, это крылатое словечко Бернштейна,— писал Ленин в статье „Марксизм и ревизионизм“,— выражает сущность ревизионизма лучше многих длинных рассуждений» (В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 17, стр. 24).

С т р. 86—87. ...*именно так излечился один из героев его книги «Студенты»*.— Этот эпизод содержится в первом отдельном издании романа «Студенты» (СПб., 1898); в следующем издании романа («Знание», 1903) исключен автором.

С т р. 87. *Мамонтов* С. И. (1841—1918) — крупный промышленник и меценат, строитель Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги.

С т р. 87. *Возвратясь из Маньчжурии и Кореи...* — В начале июня 1898 г. Гарин предпринял кругосветное путешествие, частично как участник «Научной экспедиции в неисследованных районах Северной Кореи и Маньчжурии». Вернулся в Россию поздней осенью 1898 г.

С т р. 87. ...*к вдовствующей царице...* — Вдова Александра III Мария Федоровна.

С т р. 88. ...*великий Сибирский путь...* — Сибирская железная дорога, рельсовый путь от Челябинска до Владивостока. Сооружение Сибирского пути началось в 1891 г. при Александре III. В 1891 г. Гарин был назначен начальником партии по производству изысканий Западно-Сибирского участка этого пути (Челябинск — Обь).

С т р. 88. *Молодая...* — жена Николая II Александра Федоровна.

С т р. 88. ...*был административно выслан из Петербурга...* — Этот эпизод Горький ошибочно связывает с протестом Гарина против разгрома студенческой демонстрации у Казанского собора и относит его тем самым к 1901 г. В действительности Гарин был лишен награды весной 1899 г., видимо, за поддержку протеста прогрессивной интеллигенции против преследования участников студенческого движения 1899 г.

С т р. 88. ...*подписал протест...* — См. примеч. к очерку «Н. Ф. Анненский».

С т р. 89. ...*в Куоккале, летом 1905 года*.— Упоминаемая встреча состоялась в июне 1905 г. и была последней встречей двух писателей. Осенью 1904 г., узнав, что Гарин получил заказ на подряд для армии, Горький советовал Е. П. Пешковой просить у него для революционной работы денег, «которых у Гарина теперь — кучи» (*Архив Г*$_{V}$, стр. 131). По свидетельству Е. П. Пешковой, Гарин дал 25 тысяч рублей, которые в значительной степени пошли на организацию большевистской газеты «Новая жизнь» (см.: *Г Чтения*, 1966, стр. 248; Л. К р а с и н. Как возникла «Новая жизнь».— «Новая жизнь», 1905, вып. I. Л., «Прибой», 1925, стр. VII).

С т р. 89. *П. М. Рутенберг* (1878—1942) — эсер, друг Гапона, а потом организатор его убийства, эмигрировал из России; *Азеф* Е. Ф. (1869—1918) — провокатор в эсеровской пар-

тии; *Татаров* Н. Ю.— провокатор-эсер, после разоблачения в 1906 г. убитый членом боевой организации этой партии. *Салтыков* С. Н.— меньшевик, позднее — член социал-демократической фракции II Государственной думы. *В. Л. Бенуа* — большевик. *Доброскок* И. В. («Николай — Золотые очки») — провокатор. *Габрилович* О. С. (1873—1936) — пианист. *Шелгунов* В. А. (1867—1939) — старый рабочий-революционер.

Стр. 90. *...скоро—шестьдесят лет...*— Гарин родился в 1852 г.

Стр. 90. *Он так и умер «на ходу»...*— 27 ноября 1906 г. Гарин участвовал в редакционном совещании большевистского журнала «Вестник жизни», где был прочитан его драматический этюд «Подростки»; писатель принял участие в споре о роли интеллигенции в революции, о путях создания нового революционного искусства (см.: *Луначарский*, т. 7, стр. 163—164 и 638—639) и во время заседания умер от разрыва сердца. «На ходу» — название очерка Гарина (1893). 16 декабря 1906 г. вдова Гарина Надежда Валериановна писала Горькому: «Позвольте передать Вам, многоуважаемый Алексей Максимович, что муж мой еще накануне своей неожиданной смерти говорил о Вас с большой сердечностью и уважением к Вам и Вашему таланту. Вы несомненно потеряли в нем искреннего друга» (Архив А. М. Горького, КГ-рзн-5-47-1.— Цит. по журналу: «Филологические записки». М., 1971, № 1).

## II

### И. И. СКВОРЦОВ

(Стр. 93)

Впервые напечатано в газете «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1928, № 236, 10 октября.

В Архиве А. М. Горького хранится беловой автограф — *БА* (ХПГ-45-22-1).

Печатается по тексту газеты «Известия», сверенному с *БА*.

Произведение возникло как непосредственный отклик на смерть И. И. Скворцова-Степанова (1870—1928). Член РСДРП с 1896 г., большевик, Скворцов принимал участие в революционно-освободительном движении с 1892 г., неоднократно арестовывался, бывал в ссылке. Выдающийся пропагандист марксизма, он переводил на русский язык и редактировал три тома «Капитала» Маркса. В 1917 г.— редактор «Известий Моссовета», член Военно-революционного комитета, первый наркомфин. С мая 1925 г.— ответственный редактор газеты «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», а с 1926 г. еще и директор Института В. И. Ленина при ЦК ВКП(б), член ЦИК СССР и ВЦИК, с XIV съезда КПСС — член ее ЦК.

В марте 1928 г. Скворцов-Степанов возглавил делегацию москвичей, которая выезжала на станцию Негорелое встречать Горького.

Скоропостижная смерть Скворцова-Степанова глубоко опечалила Горького. «Очень огорчен смертью Скворцова»,— писал он М. Е. Левберг 12 октября 1928 г. (*Лит Насл*, т. 70, стр. 242).

С т р. 93. «*Борьба*»— легальная большевистская газета, выходившая ежедневно с 27 ноября (10 декабря) по 7 (20) декабря 1905 г. в Москве.

С т р. 93. *Н. А. Рожков* (1868—1927) — историк и публицист. После Октябрьской революции принимал участие в педагогической и административной советской работе.

### ПИСЬМА ДРУЗЬЯМ

(Стр. 95)

Впервые напечатано в газете «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1928, № 152, 3 июля.

В Архиве А. М. Горького хранится беловой автограф — *БА* (ХПГ-42-12-1).

Печатается по тексту газеты «Известия» с исправлениями по *БА*:

*Стр. 95, строка 12*: «неопределенное, качающееся» вместо «неопределенно-качающееся».

*Стр. 100, строки 8—9*: «вежлива, внимательна» вместо «вежлива и внимательна».

*Стр. 100, строки 20—21*: «жаловаться» вместо «пожаловаться».

Написано на даче в Морозовке, куда Горький 25 июня 1928 г. приехал на пять дней отдохнуть и поработать. М. А. Пешков писал жене 25 июня 1928 г.: «Вчера был замечательный день. Дука ⟨так звали Горького в семейном кругу⟩ и Крючков переодетыми и загримированными ходили по Москве. Дука был в бороде, а Крючков с усами и маленькой бородкой. Были в нескольких чайных, пивных, разговаривали с разной публикой, обедали на вокзале» (*Архив Г*$_{XIII}$, стр. 250).

Судя по заголовку «Письма друзьям» и рубрике «I», Горький предполагал написать серию очерков. Замысел полностью осуществлен не был.

С т р. 95. *В воскресенье...*— 24 июня 1928 г.

С т р. 95. *...у Александровского вокзала...*— Ныне Белорусский вокзал.

С т р. 96. «*Батька Левицкий*»— Дмитро Левицкий, бывший петлюровский «министр», представитель так называемого Украинского национально-демократического объединения — УНДО. Как сообщала «Правда», Левицкий выступил в Польше с «программной речью», содержавшей призыв «оторвать» украинские земли от СССР. «Правда» связывала выступление Левицкого с «исключительно частыми посещениями Польши английскими агентами» («Правда», 1928, № 144, 23 июня).

С т р. 97. *Уж не жду от жизни ничего я...*— Из песни «Выхожу один я на дорогу» на слова М. Ю. Лермонтова. Музыка Давыдова К. Ю. (1838—1889). У Лермонтова: «Я ищу свободы и покоя...»

С т р. 98. *Василий Великий* (329—378) — христианский богослов, архиепископ Кесарии Каппадокийской.

С т р. 99. *...мимо церкви Прасковеи-Пятницы...*— Церковь Параскевы Пятницы (построена до 1406 г.) находилась в Охотном ряду (ныне проспект Маркса); снесена в 1930 г.

С т р. 100. *Труба* — Трубная площадь.

С т р. 103. *Ярков* П. Г. (1875—1945) — крестьянин деревни Сельцово (Московская область). В 1919 г. организовал самодеятельный крестьянский хор. В Архиве А. М. Горького хранится письмо Яркова Горькому: «Работать хоровой коллектив начал с 1924 года, 11 июня, со дня открытия Московского дома крестьянина. Весной в 1929 г. хор был вызван на „Всесоюзную олимпиаду искусств“, где сдал экзамен на лучшую передачу русской песни» (Архив А. М. Горького, КГ-ди-13-26-1). В 1924 г. Ярков опубликовал в «Правде» статью «О народном творчестве». Он

писал: «В годы революции народное творчество как бы обнажило и вскрыло свои родники» («Правда», 1924, № 67, 23 марта).

Стр. 103. *...хор Пятницкого...*— Хор под руководством собирателя и исполнителя народных песен М. Е. Пятницкого (1864—1927), был организован им в 1911 г. и назывался «Ансамбль русской песни». 22 сентября 1918 г. на концерте хора в Кремле присутствовал В. И. Ленин и одобрил его деятельность (см.: П. Казьмин. С песней. Страницы из дневника. М., 1970, стр. 98—100).

Стр. 103. *Всерабис* — Центральный комитет Всероссийского союза работников искусств; помещался на Солянке, д. 12. Московский губернский союз работников искусств помещался в доме 9/41 на углу Б. Гнездниковского пер. и ул. Горького.

Стр. 104. *...в зале ∞ «Большой Московской».*— Большая Московская гостиница («Гранд-отель») помещалась на нынешней площади Революции. Здание снесено в 1969 г.

Стр. 104. *... по типу ∞ производственной трудкоммуны...*— 8 июня 1928 г. Горький посетил трудколонию им. ОГПУ в б. Николо-Угрешском монастыре возле Болшева.

## ФАКТЫ

(Стр. 105)

Впервые напечатано в журнале «Чудак», 1928, № 1, ⟨декабрь⟩. Подпись: Самокритик Словотеков.

В Архиве А. М. Горького хранятся автограф и машинопись (ХПГ-47-5-1).

Печатается по тексту журнала «Чудак», сверенному с автографом.

Написано в ответ на просьбу М. Е. Кольцова, обратившегося к Горькому со специальным письмом от 1 ноября 1928 г. Он просил, в связи с подготовкой первого номера сатирического еженедельного журнала «Чудак», «прислать что-нибудь, хотя бы небольшое, весело-зубастенькое или сурово-наставительное, и то и другое одинаково подойдет к характеру журнала» («Новый мир», 1956, № 6, стр. 150).

Горький откликнулся 6 ноября 1928 г.: «Лично сотрудничать в журнале Вашем едва ли найду время,— полушутя писал он,— но разрешите рекомендовать Вам знакомого моего Самокритика Кирилловича Словотекова. Самокритик — подлинное имя его, данное ему родителем при крещении ⟨...⟩ А со сказочкой — не церемоньтесь, годится — ладно, а не годится — бросьте куда следует. Но, если годится, я могу попросить Самокритика, чтоб он и еще написал в этом роде» (там же, стр. 151). Обрадованный Кольцов писал Горькому: «Большое Вам спасибо за скорый ответ, за приветствие „Чудаку“, за присланную вещичку. И то и другое украсит первый номер журнала,— он выходит в двадцатых числах декабря» (там же).

Первые номера «Чудака» не удовлетворили Горького («определенно неудачны» — там же, стр. 160). Продолжения серии «Факты» не последовало.

С т р. 106. *Мне бы — термидорчик!* — 9 термидора (27 июля) 1794 г. во Франции был совершен контрреволюционный переворот, приведший к поражению якобинской революционной диктатуры.

## ПО СОЮЗУ СОВЕТОВ

(Стр. 107)

Впервые напечатано в журнале «Наши достижения», 1929, №№ 1—6, январь—декабрь.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Черновые автографы (*ЧА*) очерков: III — разрозненные листы (ХПГ-41-13-3); IV и V — рукопись без заглавия с большой правкой (ХПГ-41-13-5, 6 и 7).

2. Черновой автограф отрывка из очерка IV и машинопись его (ХПГ-41-13-15, 16).

3. Беловые автографы (*БА*) очерков: I— ХПГ-41-13-1; II — ХПГ-41-13-2; III — ХПГ-41-13-4; V (подзаголовок «Соловки») — ХПГ-41-13-7,6).

4. Авторизованная машинопись первоначального варианта очерка III — отрывок без начала и конца (ХПГ-41-13-14).

5. Авторизованные машинописи с правкой ($АМ_1$) — оригиналы наборных экземпляров для журнала «Наши достижения» — очерков: I, II, III, IV и второй части V — ХПГ-41-13-9, 17, 11, 12 и 13. В машинописи очерка I заглавие «На Родине», написанное рукой автора, зачеркнуто и неавторской рукой написано «По СССР». В машинописи очерка II первоначальное заглавие «На Родине» написано не автором и зачеркнуто, другою рукой написано: «По Союзу Советов. Дети. М. Горький». В машинописи очерка III заглавие «По Союзу Советов. III» написано рукой автора. В машинописи очерка IV заглавие «По Союзу Советов. О пионерах» написано рукой автора. В машинописи второй части очерка V заглавие «По Союзу Советов. М. Горький. Соловки» написано неавторской рукой.

6. Авторизованные машинописи с правкой ($АМ_2$), снятые с текста, опубликованного в «Наших достижениях» (*НД*): очерков I — ХПГ-41-13-8 и II — ХПГ-41-13-10.

В Архиве А. М. Горького хранятся также неопубликованные заметки писателя, которые, возможно, он предполагал использовать в очерках «По Союзу Советов» ($ГЗ_{VI}$-9-33, $ГЗ_{VI}$-8-70, $ГЗ_{VI}$-7-28, $ГЗ_{VI}$-7-25 — см. варианты).

Печатаются: первые два очерка — по $АМ_2$, а очерки III, IV, V — по тексту *НД* со следующими исправлениями:

*Стр. 111, строка 6*: «в центр толпы» вместо «в центре толпы» (по *БА* и $АМ_1$).

*Стр. 137, строка 3*: «есть» вместо «что есть» (по *БА*, $AM_1$, *НД*).

*Стр. 143, строки 36—37*: «и нам без духовного вождя» вместо «и без духовного вождя» (по *БА* и $AM_1$).

*Стр. 144, строка 1*: «Пастырь,— пластырь» вместо «Пастырь-пастырь» (по *БА* и $AM_1$).

*Стр. 144, строки 29—30*: «получить там» вместо «получить» (по *БА* и $AM_1$).

*Стр. 148, строка 1*: «самосильно» вместо «самостоятельно» (по *БА*, $AM_1$, *НД*).

*Стр. 148, строка 17*: «человеческую» вместо «человеческую силу» (по *БА*).

*Стр. 150, строка 9*: «шляпку» вместо «шляпу» (по *БА* и $AM_1$).

*Стр. 151, строка 16*: «кто б они ни были» вместо «кто б ни были» (по *БА* и $AM_1$).

*Стр. 159, строка 35*: «действенной любви» вместо «действительной любви» (по *БА*).

*Стр. 172, строка 25*: «А эти» вместо «Эти» (по *БА*, $AM_1$, *НД*).

*Стр. 174, строка 36*: «по сёму краю» вместо «по всему краю» (по тем же источникам).

*Стр. 177, строка 8*: «они встречаются» вместо «встречаются» (по *БА* и $AM_1$).

*Стр. 181, строка 40*: «к созданию этой культуры» вместо «к созданию культуры» (по *БА* и $AM_1$).

*Стр. 183, строка 19*: «не верится им» вместо «не верится» (по *БА*).

*Стр. 192, строки 19—20*: «курчавый» вместо «курносый» (по *ЧА*).

*Стр. 201, строка 21*: «речь» вместо «работу» (по ЧА).

*Стр. 212, строки 12—13*: «язык этот» вместо «язык статьи» (по *БА*).

*Стр. 218, строка 8*: «летное дело» вместо «лесное дело» (по *ЧА* и *БА*).

*Стр. 219, строки 14—15*: «на холодном острову» вместо «на холодном острове» (по *ЧА*, *БА*, $AM_1$).

В период своего пребывания в Сорренто Горький с огромным интересом следил за жизнью в Советском Союзе и вел обширную переписку с людьми самых различных профессий. «Какие интересные люди,— писал он П. М. Керженцеву 21 марта 1927 г.,— как всё у них кипит и горит! Славно!» (*Г-30*, т. 17, стр. 482). И добавлял: «Я — человек жадный на людей и, разумеется, по приезде на Русь работать не стану, а буду ходить, смотреть и говорить. И поехал бы во все места, которые знаю: на Волгу, на Кавказ, на Украину, в Крым, на Оку, и — по всем бывшим ямам, по ухабам» (там же).

В письме А. Б. Халатову от 10 октября т.г. он сообщал: «Мне хочется написать книгу о новой России. Я уже накопил для нее много интереснейшего материала. Мне необходимо побывать — невидимкой — на фабриках, в клубах, в деревнях, в пивных,

на стройках, у комсомольцев, вузовцев, в школах на уроках, в колониях для социально опасных детей, у рабкоров и селькоров, посмотреть на женщин делегаток, на мусульманок и т. д. и т. д. Это — серьезнейшее дело. Когда я об этом думаю, у меня волосы на голове шевелятся от волнения» (*Архив* $Г_{X}$, кн. 1, стр. 91).

28 мая 1928 г. Горький приехал в Москву. В июле-августе того же года им было предпринято давно задуманное путешествие по СССР.

Писатель побывал в Курске, Харькове, в Куряжской колонии его имени, которой руководил А. С. Макаренко, на Днепрострое, в Ялте, Симферополе, в Донецком бассейне, в Баку, Тбилиси, Ереване, Сталинграде, Казани, Нижнем Новгороде, Сормове, Балахне.

Летом 1929 г. Горький совершил вторую поездку по стране — посетил Ленинград, был на Соловках, в Мурманске, на Волге, в совхозе «Гигант», в Сталинграде, Астрахани, в Новом Афоне, Сухуми, Тбилиси, Владикавказе.

Писателя глубоко взволновало всё, что он увидел. Вероятно, уже в начале поездки по стране у него стал складываться замысел серии произведений о советской действительности. В речи, произнесенной на торжественном заседании горсовета Нижнего Новгорода, Горький говорил: «Об этой работе нельзя рассказать в такой речи, о ней надо написать, и я напишу, и думаю, что мне это удастся» («Нижегородская коммуна», 1928, № 182, 8 августа).

Завершив первую поездку по СССР, Горький писал в статье «О журнале „Наши достижения“»: «Не будем говорить о героической работе таких рабочих коллективов, как Сормово и прочие,— об этом будет рассказано в другом месте» («Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1928, № 216, 16 сентября).

Наконец, на вопрос корреспондента иваново-вознесенской газеты «Рабочий край», в какой литературной форме Горький предполагает написать о Советском Союзе, он ответил: «Было бы смешно, если бы я, пробыв в СССР несколько месяцев, сразу бы стал писать роман о Советской России. Я напишу свои впечатления, то, что я видел и слышал, и то, что я обо всем этом думаю» («Рабочий край», 1928, № 239, 14 октября). Это было сказано 12 октября 1928 г., в день отъезда Горького из Москвы в Сорренто.

К работе над циклом «По Союзу Советов» Горький приступил не раньше конца октября 1928 г. 29 октября Халатов, имея в виду журнал «Наши достижения», писал Горькому: «Важнее следующее: в каждом номере журнала совершенно необходима Ваша большая статья ⟨...⟩ Я, кроме этого, считаю, что было бы целесообразно, чтобы в каждом номере журнала помещался один Ваш законченный очерк о достижениях СССР на основе Ваших наблюдений, впечатлений и т. д. Ведь Вы всерьез задумали писать книгу об СССР, которая и будет являться суммой этих очерков» (*Архив* $Г_{X}$, кн. 1, стр. 119). Писатель ответил ему 7 ноября 1928 г. из Сорренто: «Для первой книги я пришлю с Крючковым статью о детях в С⟨оветском⟩ С⟨оюзе⟩. Для второй — Баку — Сормово — Днепрострой» (там же, стр. 120).

Оба очерка были написаны в очень короткий срок. «Кончил вторую статью»,— уведомил Горький 28 ноября 1928 г. П. П. Крючкова (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-146). Судя по фразе «Начну с Курска...», первым написан и должен был открывать цикл очерк, условно называвшийся «О детях» и впоследствии ставший вторым. О том, что первоначально предполагалось открыть цикл вторым по журнальной публикации очерком, свидетельствует и надпись на $АМ_1$. Кроме общего заглавия «По Союзу Советов», здесь имеется подзаголовок «Дети» и цифра «1» (там же, ХПГ-41-13-17). О том же говорит и сохранившийся в Архиве А. М. Горького черновой вариант — отрывок из статьи о поездке по СССР. Он обрывается на фразе: «Я начну не с Москвы, а с Курска» (*Архив* $Г_{XII}$, стр. 131). Закончив очерк II, о Баку — Сормове, и отправляя его в Москву, Горький написал Крючкову 5 декабря 1928 г.: «В 1-й № „Наших дост〈ижений〉“ нужно пустить прилагаемую статью,— она интереснее...» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-148). Об этом же он просил А. Б. Халатова в письме от 6 декабря 1928 г. (там же, ПГ-рл-48-15-26).

После небольшого перерыва в работе над циклом был написан очерк о Днепрострое и 14 апреля отослан в Москву. «Посылаю маленькую статейку для 3-й книги»,— уведомлял Горький Крючкова (там же, ПГ-рл-21а-1-217).

Над очерком IV Горький, по-видимому, начал работу не ранее конца июня 1929 г. 22 июня по пути в Мурманск писатель познакомился на станции Кяпесельга с карельской пионерской делегацией, направлявшейся на окружной слет в Мурманск. С рассказа об этой встрече и начинается очерк, напечатанный в № 4 «Наших достижений».

Вероятно, к концу октября 1929 г. была завершена работа над первой частью очерка V — «Соловки», так как 1 ноября в «Известиях ЦИК СССР и ВЦИК» появился отрывок из очерка: «Хороший, ласковый день. ∞ Истерически кричит чайка».

Текст первой публикации цикла «По Союзу Советов» подвергся, по согласованию с автором, редакторским изменениям (см. варианты).

После первой публикации цикла автор вернулся к очеркам I и II, правил их в $АМ_2$. Вероятно, они предназначались для книги, которую собирался выпустить Госиздат. 15 декабря 1930 г. Халатов писал Горькому: «Сейчас подбираются в аппарате все Ваши статьи, рассказы, заметки и т. д., которые Вы написали за последние два года. Я предполагаю выпустить их отдельной книгой...» (*Архив* $Г_X$, кн. 1, стр. 227). 26 декабря 1930 г. Горький попросил Халатова прислать весь материал: «...я сделаю отбор наиболее живых статей,— писал он,— и мы издадим их отдельной книжкой подешевле» (там же, стр. 230). В 1931 г. вышел сборник: М. Горький. Публицистические статьи (М., ГИХЛ), но очерки «По Союзу Советов» в него не были включены.

Литературная критика и читатели положительно оценили очерки «По Союзу Советов». Ознакомившись с первым из них еще до опубликования, Халатов писал 18 декабря 1928 г. автору:

«Ваша статья очень и очень хороша» (Архив А. М. Горького, КГ-п-83а-1-65). Аналогичный отзыв он дал в письме от 27 декабря 1928 г., адресованном редакции журнала «Наши достижения»: «За эти два дня я дважды прочитал статью Алексея Максимовича к № 1 журнала ⟨...⟩ эта статья действительно оригинальная и крайне интересная и будет изюминой всего номера...» (там же, КГ-изд-45-46-1).

Отклики в печати появились сразу же после опубликования первых очерков. Оценивая первый номер журнала «Наши достижения», Д. Заславский выделил очерк Горького, который, по его мнению, проникнут «пафосом, не переходящим в крикливость» («Правда», 1929, № 61, 15 марта). «Интересны страницы статьи М. Горького „По Союзу Советов", посвященные бакинским нефтяным промыслам»,— писал Н. Леонов («Учительская газета», 1929, № 31, 15 марта). «Очерки Горького ⟨...⟩,— утверждалось на страницах „Комсомольской правды",— не только показывают достижения, но путем ярких сравнений с прошлым ⟨...⟩ облекают достижения в живую плоть, наполняют их живой кровью» (1929, № 103, 9 мая).

Критик М. Беккер в статье «Проблема художественного очерка» отметил, что Горький «не ограничивается голой передачей факта, знаменующего то или другое достижение: он постоянно интересуется человеком, притом новым человеком, усваивающим привычки и психологию революционного времени» («На литературном посту», 1929, № 13, июнь, стр. 57).

Об интересе к очеркам свидетельствуют и хранящиеся в Архиве А. М. Горького письма читателей. 17 февраля 1929 г. Д. А. Лутохин писал из Ленинграда автору: «Из новых книг наибольшим событием является № 1 „Наших достижений", хотя он еще не очень проник в большую публику. Хотелось бы, чтобы Ваши заметки по Союзу получили продолжение, чтобы они были лишь увертюрой к книге об СССР, каким Вы его увидели в лето 1928. И чтобы в этой книге были бы все Ваши наблюдения ⟨...⟩ Притом наблюдения не только художника, но и *учителя*. Очень нуждается наша жизнь в наставниках,— а, кроме Вас, кто наставит?!» (Архив А. М. Горького, КГ-п-46а-1-142).

Очерк I понравился бакинцам. 25 февраля 1929 г. директор Азнефти М. В. Баринов направил Горькому телеграмму с просьбой разрешить напечатать в Баку этот очерк отдельной книжечкой для бесплатной раздачи рабочим (там же, КГ-изд-44-6-1). Писатель дал свое согласие. 31 марта 1929 г. Баринов писал Горькому из Баку: «Посылаем Вам двадцать пять экземпляров ⟨очерка⟩ на русском и пять на тюркском языке ⟨...⟩ Мы очень благодарны Вам за те теплые чувства, которые Вы испытываете при воспоминаниях, связанных с посещением бакинских нефтяных промыслов» (там же, КГ-изд-44-15-1).

⟨ОЧЕРК I⟩ (стр. 107). Впервые напечатан в журнале «Наши достижения», 1929, № 1, январь-февраль, стр. 11—43. Написан в Сорренто, в ноябре 1928 г. (см. выше, стр. 572).

В основу произведения положены впечатления, связанные с посещением Баку, Тбилиси, Еревана, Сормова, Балахны.

С т р. 107. *...в 1892 и в 1897 годах.*— Второе посещение Горьким Баку относится не к 1897, а к июню 1898 г.

С т р. 107. *...на промыслах был пожар...*— 15 октября 1892 г. на промыслах в Балаханах произошел сильный взрыв парового котла, повредивший нефтепроводные трубы и буровую вышку («Бакинский торгово-промышленный листок», 1892, № 239, 7 ноября). Возможно, у Горького идет речь об этом.

С т р. 107. *Афанасьев* Ф. Е.— рабочий-механик мастерской Закавказских железных дорог, впоследствии революционер-марксист. 13 июня 1932 г. Горький, ходатайствуя о пенсии жене Афанасьева, писал председателю Закавказского ЦИК Ф. И. Махарадзе: «Революционную работу Ф. Афанасьев начал в 1892 г., в 96 был арестован, после тюрьмы и ссылки вернулся в 903 г. в Тифлис, где вел работу среди солдат, имел у себя на квартире типографию, за время с 903 по 917 год был несколько раз арестован. В 20-ом умер, заболев тифом» (*Г и Грузия*, стр. 124). Афанасьев был арестован не в 1896 г., а 26 июня 1897 г. в Тифлисе и заключен в Метехский тюремный замок; 23 июня 1899 г. выслан под гласный надзор в Вятскую губернию (см.: *Г Чтения*, 1968, стр. 65, 97—98).

С т р. 107. *Черный город* — рабочая окраина старого Баку, ныне Шаумяновский район, перестроенный.

С т р. 109. *...попал через пять лет...*— Через шесть, в 1898 г. (см. первое примеч. к стр. *107*).

С т р. 109. *«Каспий»* — буржуазная общественно-политическая и литературная газета, издававшаяся с 1881 по 1919 г.

С т р. 109. *Сураханы* — нефтепромысловый район Баку; ныне рабочий поселок (Орджоникидзевский район города).

С т р. 109. *...сосущий звук «тартанья»...* — *Тартание* — способ извлечения нефти из буровой скважины с помощью желонки.

С т р. 109. *Желонка* — прибор в виде длинного цилиндра с клапанами в дне, применявшийся для подъема нефти из скважины. Ныне желонки заменены глубинными насосами.

С т р. 110. *Страбон* (ок. 63 до н. э.— ок. 20 н. э.) — древнегреческий географ и историк. В своей «Географии» писал: «...Александр ради опыта велел облить раба нефтью в бане, а потом поднести светильник с огнем. Тотчас пламя охватило раба, и он чуть не погиб, если бы стоящие вокруг люди, вылив на него громадное количество воды, не справились с огнем и не спасли его» (С т р а б о н. География в 17 книгах. М., 1964, стр. 689).

С т р. 111. *Балаханы, Романы* — пригородные районы старого Баку, ныне рабочие поселки, реконструированные и благоустроенные.

С т р. 111. *...башня древней крепости...* — Девичья башня (Гыз галасы), возвышающаяся на проспекте Нефтяников у восточных стен бакинской крепости.

С т р. 111. *В этом городе не было воды...* — Первый водопровод в Баку был построен в 1914 г.

С т р. 111. *Румянцев* К. А. (1891—1928) — активный участник борьбы за Советскую власть в Азербайджане, член КПСС с 1916 г. (подробнее см.: Автобиография К. А. Румянцева.— Партийный архив Азербайджанского филиала ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 1, оп. 8, лл. 12—13). С октября 1926 г. Румянцев — заместитель управляющего объединения Азнефти.

С т р. 112. *Ключ* — короткий шест, служащий для стягивания веревки.

С т р. 112. *Май-Маевский* В. З.— белогвардейский генерал, командовавший пехотными дивизиями, которые действовали к югу от Луганска.

С т р. 112. *Покровский* В. Л.— белогвардейский генерал, командовавший конным корпусом у Деникина.

С т р. 112. *...а мы у них «горшки перебили», как сказал Ильич...* — Ср. в наст. томе, стр. 34.

С т р. 114. *«Богомолки»* — глубинные компрессорные насосы, станки-качалки.

С т р. 114. *Баринов* М. В. (1888—1937) — коммунист, активный участник революции 1905 года в Баку. Прошел путь от ученика на промыслах и заводах до начальника Азнефти, а затем и Главнефти страны (см.: С. А с л а н о в. Михаил Баринов. Баку, 1969).

С т р. 115. *Качалка «Виккерса»* — станок-качалка для глубинно-насосной эксплуатации нефтяных скважин.

С т р. 116. *Серебровский* А. П. (1884—1942) — советский государственный и партийный деятель, член КПСС с 1903 г. До революции вел партийную работу в Уфе, Петербурге, Баку, Москве, Одессе. В 1920 г., по личному указанию В. И. Ленина, был назначен начальником Азнефти. С 1931 г. работал в Главзолоте, затем — заместителем председателя ВСНХ СССР и заместителем наркома тяжелой промышленности (см.: Автобиография А. П. Серебровского.— Партийный архив Азербайджанского филиала ИМЛ, ф. 1, оп. 8, ед. хр. 13, лл. 9, 14).

С т р. 118. *...бушевал поток странно белого, почти бесцветного огня...* — Об этом случае Горький рассказывал 23 июля 1928 г. на станции Тауз, по дороге из Баку в Тифлис (сб. *Г и Грузия*, стр. 201).

С т р. 120. *Биби-Эйбат* — между одноименной бухтой Каспийского моря и горой Патамдар. Засыпанная часть Биби-Эйбатской бухты стала называться Бухтой Ильича.

С т р. 120. *Потоцкий* И. Н. (1879—1932) — инженер-нефтяник, заложивший основы бурения нефтяных скважин в море, создания морских нефтяных промыслов. В 1931 г. награжден орденом Ленина (см.: С. М. Л и с и ч к и н. Выдающиеся деятели отечественной нефтяной науки и техники. М., 1967, стр. 226—232).

С т р. 121. *...через несколько дней после разгрома Юденича...* — Встреча с Лениным, о которой рассказывает Горький, состоялась в конце 1919 г. в Москве.

С т р. 121. *Бакинские поселки рабочих...*— Рабочие поселки им. Степана Разина, Сураханы, Балаханы, Романы по тому времени были лучшими и образцовыми поселками в Советском Союзе (см.: «Наши достижения», 1929, № 1, стр. 64).

С т р. 121. *Их, вероятно, уже не одна сотня...*— Здесь явная смысловая ошибка: Горький, видимо, хотел сказать, что в поселке им. Разина он насчитал много благоустроенных, новых домов.

С т р. 122. *...«необходимейшее дело нашего века»...*— Ср.: «Ленин — самый великий человек дела нашего века и самый бескорыстный» («Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1924, № 28, 3 февраля).

С т р. 122. *В 1892 году, в Тифлисе, у В. В. Флеровского-Берви...*— Берви В. В. (литературный псевдоним — Н. Флеровский, 1829—1918) — экономист, социолог; за активное участие в освободительном движении неоднократно арестовывался, провел много лет в тюрьмах и ссылках.

С т р. 123. *Амбалы* — грузчики (от арабского слова hemmal; корень heml — груз).

С т р. 123. *Главная улица* — Николаевская (ныне — Коммунистическая).

С т р. 124. *«Татарская»* — нагорная часть города, беспорядочно застроенная одноэтажными серыми домами; здесь жила городская беднота.

С т р. 124. *Кыз-Каласи* — Девичья башня.

С т р. 125. *Никишин* А. А. (1895—1938) — член КПСС с мая 1917 г., участник гражданской войны. В 1918—1920 гг. на партийной работе в Астрахани, Фергане, Туркестане. С мая 1920 г. заведовал орготделом Азербайджанского Совета профессиональных союзов. В 1928 г. избран секретарем Баилово-Биби-Эйбатского райкома партии. В июле 1928 г. сопровождал Горького в его поездке по Баку. Автор ряда работ по истории профсоюзного движения в Азербайджане (Партийный архив Азербайджанского филиала ИМЛ, ф. 1, оп. 8, ед. хр. 79, лл. 1, 4, 7, 14, 16).

С т р. 125. *...где предположено устроить...*— На горе у юго-западной стороны Приморского бульвара. Ныне здесь разбит Центральный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова.

С т р. 125. *...на культурном празднике тюрков в Баку...*— Тюрками раньше называли азербайджанцев. Имеется в виду торжественное заседание по случаю шестой годовщины нового азербайджанского алфавита, состоявшееся 22 июля 1928 г. в Республиканском дворце культуры, где Горький, выступив с речью, сказал: «Сегодня ваш праздник и мой праздник, праздник моего сердца <...> То, что вы делаете, завтра, послезавтра будут делать все народы Востока. Ведь начинается действительно мировая новая культура, ведь вы становитесь как бы первой волной, каким-то новым движением, которое потрясет все народы» (К а м а л Т а л ы б з а д е. Горький в Азербайджане. Баку, 1970, стр. 79).

С т р. 125. *Самед Агамали-оглы* (1867—1930) — В 1921 г. на I съезде Советов Азербайджана был избран заместителем председателя ЦИК Азербайджана. С 1922 до конца 1929 г.— председатель ЦИК Азербайджанской ССР. С начала 1923 г. руководил

переходом республик Советского Востока к новому алфавиту и был председателем Всесоюзного комитета нового тюркского алфавита (см. его статью: «Наши достижения», 1929, № 2, стр. 7—13).

С т р. 125. *...он вспоминал, как Владимир Ильич сказал о культурную революцию среди тюрков.*— Встреча С. Агамалиоглы с В. И. Лениным состоялась 11 августа 1922 г. в Кремле (В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 45, стр. 682).

С т р. 126. *...писал об этом...*— См. статью «О кавказских событиях» (*Г-30*, т. 23, стр. 337—340).

С т р. 126. *На многолюдном собрании рабкоров...*— 22 июля 1928 г. состоялась беседа Горького с писателями и рабкорами Баку. «Пришел весь бакинский рабкоровский актив. Тут были рабкоры всех бакинских газет, пролетарские писатели, а также работники печати» («Бакинский рабочий», 1928, № 182, 23 июля).

С т р. 128. *Навтлуг, Дидубе, Авлабар* — части старого Тбилиси. По новому административному делению Навтлуг и Авлабар входят в район им. 26 Бакинских комиссаров, Дидубе относится к району им. Первого мая.

С т р. 128. *Мушгаид* — старое название Парка культуры и отдыха им. С. Орджоникидзе на левом берегу Куры.

С т р. 128. *Расширяют музей Кавказа...*— Музей создан в 1852 г.: на его базе в 1923 г. организован Государственный музей Грузии.

С т р. 128. *В музее — чучело того тигра...*— Появление тигра на территории Грузии — редкость. Тигр, чучело которого Горький описывает, был убит в 1922 г. в селе Лелоби, недалеко от Тбилиси.

С т р. 128. *В Музее революции...* — Этот музей был создан в 1924 г. и существовал до 1938 г., когда стал частью Грузинского филиала Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

С т р. 128. *...отсутствие материалов по участию грузин в народническом и народовольческом движении...*— Горький лично знал участников «процесса 50-ти»: И. С. Джабадари (1852—1913), Г. Ф. Ждановича-Маяшвили (1854—1917), А. Е. Гамкрелидзе (1854—1895). Они были членами «Всероссийской социально-революционной организации», подверглись аресту и после суда в 1877 г. отправлены на каторгу.

С т р. 128. *...по участию грузинских дружин в персидской революции...*— Горький был знаком с одним из героев этой революции — В. Мгеладзе, гостившим в 1910 г. у него в Италии (подробнее см. в газете: «Комунисти», Тбилиси, 1966, № 15, 19 января).

С т р. 128. *Во Мцхете, в грандиозном соборе, построенном в IV веке...*— Собор построен в XI веке (1010—1029), но вобрал в себя остатки церкви V века.

С т р. 129. *В. М. Васнецов в 1903 году...*— Ошибка памяти: не в 1903, а в 1900 г. (см. газету «Иверия», 1900, № 120, 7 июня).

С т р. 129. *...Загэс с ее монументом В. И. Ленину...*— Проект памятника В. И. Ленину принадлежит скульптору И. Д. Шадру (1887—1941). Земоавчальская гидростанция и памятник В. И. Ленину открыты в 1928 г.

С т р. 129. *Коджори* — дачное место вблизи Тбилиси, ныне входит в Гардабанский район. В июле 1928 г. здесь открылись подготовительные курсы для учителей.

С т р. 129. *...детские дома.*— В Коджори был создан образцовый «детский городок» для сирот. Горький заинтересовался работой городка и посетил его 24 июля. Пребывание писателя в Коджори вылилось в большой праздник («Комунистури агзрдисатвис», 1956, № 6, стр. 70—71).

С т р. 129. *...пели две девицы...*— Ксения Кекелидзе (блондинка) и Кето Георгадзе. По воспоминаниям первой из них, впоследствии заслуженной учительницы, они спели «Мравалжамиери», «Цицинателу», «песню на слова Акакия Церетели, затем несколько народных песен и под конец „Я сын крестьянина“ ...» (*Г и Грузия*, стр. 96).

С т р. 129. *...беседа с рабкорами в каком-то саду...*— Беседа состоялась 27 июля 1928 г. в Летнем клубе строителей (проспект им. Г. В. Плеханова, ныне Парк им. М. Горького). В своей речи Горький сказал: «Раз вы стоите на позиции рабкоров, вы должны обличать различные недостатки 〈...〉 Но не надо забывать, что в деле строительства Советских Социалистических Республик так много нового и сложного, что без ошибок обойтись нельзя 〈...〉 Нужна более дружественная, более товарищеская критика. Не надо также писать исключительно о плохом. Ведь вы живете не ради плохого, а ради хорошего» («Заря Востока», 1928, № 173, 28 июля).

С т р. 129. *...выступил рабкор...* — Текст речи сохранился: «Товарищ Горький говорит, что рабкоры теребят наших хозяйственников, принимают в отношении них грубый тон. Я с этим согласен, но, когда возглавляющие наши учреждения товарищи не видят такого хозяйственника, который не любит свое дело, мы должны об этом писать ...» («Беседа рабкоров, селькоров и юнкоров с товарищем Горьким. 27 июля 1928 года». (Стенограмма).— Архив А. М. Горького, РПГ-1-31-1).

С т р. 130. *Письма ваши рабкорам...*— М. Г о р ь к и й. Рабселькорам (Письма). М., 1928. См. также: *Г-30*, т. 24, стр. 262—263, 299—300, 304—307, 313—318, 327.

С т р. 131. *Из беседы в великолепном доме грузинских литераторов...*— Беседа с грузинскими писателями состоялась вечером 24 июля 1928 г. во Дворце искусств. Местная газета писала: «Собеседование началось краткой приветственной речью тов. Тодрия и выступлениями писателей М. Джавахишвили и Тициана Табидзе». Горький подчеркнул, что такой журнал, как «Наши достижения», «должен быть общесоюзным» (см.: «Заря Востока», 1928, № 171, 26 июля).

С т р. 131. *...речь одного из молодых писателей...*— Имеется в виду выступление писателя Н. И. Мицишвили (настоящая фамилия — Сирбиладзе, 1894—1937). См. об этом в его выступлении — «Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934». М., 1934, стр. 158.

С т р. 131. *...сборник «1000 казакских-киргизских песен...»* — По всей вероятности, имеется в виду книга: Александр З а т а е-

в и ч. 1000 песен киргизского народа (Напевы и мелодии). Оренбург, 1925.

С т р. 132. *А. И. Загорская* (1895—1965) — исполнительница русских песен и песен народов СССР. В июле 1927 г. выступала в Берлине (см.: «Rote Fahne», 1927, № 160, 10 июля; «Berliner Zeitung», 1927, № 160, 11 июля).

С т р. 132. *Дилижан* — в 1928 г. село, ныне город, районный центр.

С т р. 132. *Много здесь турки перебили армян.*— В феврале 1918 г. Турция вторглась в Закавказье, оккупировала значительную часть территории Армении. Турецкая армия чинила грабежи, зверски истребляла беззащитное мирное армянское население (см.: Е. К. С а р к и с я н. Экспансионистская политика Османской империи в Закавказье. Ереван, 1962, стр. 389—390). Турецкая агрессия вызвала героическое сопротивление армянского народа; в сентябре-октябре 1918 г. турки были изгнаны из Закавказья.

С т р. 132. *Гокча* — турецкое название озера Севан («гок» — круглый, «ча» — река, вода).

С т р. 132. *...память воскрешает трагическую историю Армении конца XIX—начала XX веков...*— В 1827 г. Восточная Армения, находившаяся под властью Персии, была присоединена к России, Западная Армения продолжала находиться под турецким игом. Оставшиеся в пределах Турции армяне подвергались жестокому угнетению и насилиям. Русско-турецкая война 1877—1878 гг., окончившаяся победой России, привела к освобождению из-под ига Турции ряда городов и районов Западной Армении, которые были присоединены к России. Однако происки враждебных России западноевропейских держав привели к тому, что в результате Берлинского конгресса 1878 г. по существу было закреплено расчленение армянского народа на две части. Пользуясь попустительством западных держав, турецкий султан Абдул-Гамид, прозванный «великим убийцей», усилил преследование армян. Чтобы разгромить освободительное движение армянского народа, Абдул-Гамид наметил план организации массовой резни армян. С 1892 г. в Западной Армении стали действовать конные отряды, названные по имени их основателя Абдул-Гамида «гамидие». В 1894 г. на помощь бандам убийц султан Абдул-Гамид направил регулярные войска, которые, несмотря на героическое сопротивление местных жителей, подавив их численным превосходством, подвергли разграблению и разрушению Сасун. Кровавые репрессии против армянского населения проводились по всей Турции. С осени 1895 г. по конец 1896 г. турецкие погромщики опустошили сотни армянских сел и городов, убили около 300 тысяч человек.

Восстания западных армян против турецкого деспотизма продолжались и в начале XX века. В 1904 г. поднялись крестьяне Сасуна, против которых султан Абдул-Гамид отправил регулярные войска и разбойничьи банды. Вступив в Сасун и подавив сопротивление армянских крестьян, турки разрушили 42 села, сожгли 2300 домов, убили свыше 7000 человек, бросили в тюрьмы сотни повстанцев.

С т р. 132. ...*позорнейший акт грабежа самодержавным правительством церковных имуществ Армении*...— 12 июня 1903 г. Николай II подписал закон о конфискации имущества армянских церквей. Закон имел целью лишить армянские школы, которые содержались за счет церковного имущества, материальной базы. Конфискация вызвала широкий протест армянского населения Закавказья. Правительству вначале удалось подавить недовольство. Однако в 1905 г., в результате роста общероссийского революционного движения, закон был отменен.

С т р. 132—133. ...*ужасы турецкого нашествия последних лет*...— После государственного переворота в Турции в июле 1909 г., когда Абдул-Гамид был низложен и к власти пришли младотурки, положение западных армян стало еще более тяжелым. Продолжая политику геноцида, младотурки организовали резню в г. Адапе и ближайших деревнях, убив до 30 тысяч человек. Наиболее чудовищное преступление националистическая партия младотурков совершила в конце 1914 г. Под предлогом войны в армию были призваны армяне-мужчины в возрасте от 16 до 52 лет, которых затем вероломно обезоружили и тайно уничтожили. Лишив армянское население его боеспособной части, турецкие варвары перешли к открытой массовой резне. В течение 1915—1916 гг. турки вырезали около миллиона армян, столько же угнали в пустыни, на верную гибель.

С т р. 134. ...*большая русская деревня*... — Еленовка, основанная русскими крестьянами-молоканами, переселенными в 40-х годах XIX века царским правительством в Армению; ныне — город Севан, в 66 км к северо-востоку от Еревана.

С т р. 134. ...*пустили 15 миллионов мальков сига*...— Сиги прижились в озере Севан и наряду с форелью являются ныне основной промысловой рыбой.

С т р. 135. ...*отличная силовая станция украшает Эривань*...— Имеется в виду первая Ереванская ГЭС, вступившая в строй 16 мая 1926 г.

С т р. 135. *Прекрасно организован музей*...—Государственный музей Армении; открыт 7 ноября 1922 г.

С т р. 135. ...*найдены богатейшие залежи вулканического туфа*.— Залежи известняков в Араратской долине позволили создать известковую и цементную промышленность Армении.

С т р. 137. ...*есть в нем что-то общее с воинственным танцем гурийцев*... — Круговые (коллективные) танцы ванских (а не сасунских, как ошибочно записано Горьким) армян и гурийцев — «перхули» (как и «хорули» абхазцев) действительно содержат много общих элементов. Танец «перхули» Горький описал в очерке «Разбойники на Кавказе» («Нижегородский листок», 1896, №№ 309, 314, 324, 325, 327, ноябрь).

С т р. 137. ...*деревни сектантов-«прыгунов»*.— Русские сектанты появились в Армении (на территории б. Эриванской губернии) в первой половине XIX века, когда в результате преследований со стороны царского правительства вожаки секты молокан были выдворены из губерний средней полосы России. Вслед за вожаками в 40-х годах XIX века сюда потянулись таборы моло-

кан, расселившихся в районах, прилегающих к Арарату, ибо, согласно учению этой секты, во второе свое пришествие Иисус Христос должен собрать молокан на земле, «кипящей медом и млеком где-то близ Арарата». В 1852 г. вследствие кризиса молоканской секты из нее выделилась новая, именуемая «прыгунской». Возникновение и распространение этой секты на территории Армении связано с деятельностью прыгунского «пророка», по ремеслу колесника Максима Рудометкина. Чтобы возбудить в верующих экстаз, были введены на собраниях «прыганье и скакапье» с пением стихов по примеру библейского царя Давида.

С т р. 137. *В 1903 году...*— См. примеч. к стр. 129.

С т р. 138. *...помните, как он «скакаше играя» пред ковчегом-то завета?* — «Ковчегом завета» называлась, по Библии, главная святыня еврейского народа — деревянный, обитый золотом ящик, в котором якобы находились каменные доски (скрижали ) с заповедями, сосуд с манной, некогда служившей пищей евреям в пустыне, и легендарный жезл первосвященника Аарона, брата Моисея. Одна из библейских легенд гласит, что во время церемонии перенесения «Ковчега завета» из селения, где он хранился, в Иерусалим, царь Давид, выражая восторг, «скакал изо всей силы пред господом» (Вторая книга царств, гл. 6, стих 14).

С т р. 138. *...знал, что из его колена Христос изыдет...*— Согласно евангельской легенде, Христос происходил из колена (рода) царя Давида (Евангелие от Матфея, гл. 1, стих 6).

С т р. 138. *...еллены, царства Елены Прекрасной...*— В речах сектанта Захария причудливо смешались библейские сказания с легендами древних греков-эллинов, название которых он производит от имени описанной Гомером Елены Прекрасной.

С т р. 138. .. *Пицунда* — мыс на побережье Черного моря, в Абхазской ССР. При археологических раскопках там обнаружены остатки мощных крепостных сооружений, древних терм, базилики с мозаичным полом, а также остатки фресковой росписи христианской церкви X—XII веков.

С т р. 138. *Иван — это Предтеча...*— Захарий имеет в виду Иоанна Крестителя, или Предтечу, который, согласно евангельской легенде, предсказал близкое пришествие Христа.

С т р. 138. *к наместнику Кавказа...*— Наместник — высшее должностное лицо на Кавказе; имел от царского правительства чрезвычайные полномочия.

С т р. 139. *Пругавин думает, что секты — культурное явление.*— А. С. Пругавин — автор книг: Раскол внизу и раскол вверху... СПб., 1882; Раскол и сектантство в русской народной жизни. М., 1905.

С т р. 139. *...я воспользовался этим сравнением...*— Возможно, Горький имел в виду характеристику, данную им одному литератору в «Жизни Клима Самгина» (см.: *Г-30*, т. 19, стр. 100).

С т р. 139. *...Четвертый раз я на Военно-Грузинской дороге.*— Первый раз Горький на этой дороге был осенью 1891 г., второй — в 1898, третий — в 1900, четвертый — 28 июля 1928 г. 9 сентября 1929 г. он проехал по ней в пятый раз.

С т р. 141. ...*голод был*...— Имеется в виду голод в Поволжье в 1921—1922 гг.

С т р. 141. *А того хуже чехи были*...— В 1918 г. Антанта использовала против Советской власти чехословацкий корпус в России, который был во время войны сформирован из пленных и добровольно перешедших из австрийской армии на сторону России чехов и словаков. В конце мая 1918 г. чехословаки подняли мятеж и в течение двух месяцев совместно с силами внутренней контрреволюции заняли часть Сибири, Урала, ряд поволжских городов.

С т р. 142. *И капитана*...— Речь идет о капитане пассажирского парохода «Урицкий» В. В. Казакове. На этом пароходе — по пути из Сталинграда в Казань — М. Пешков 30 июля 1928 г. записал в дневнике: «Вечером сидели с капитаном. Старый речной волк. 36 лет плавает по Волге» (Архив А. М. Горького).

С т р. 142. ...*обратилась ко мне с просьбой*...— М. Пешков записал 31 июля 1928 г. в дневнике: «8 утра. Пришли в Камышин 〈...〉 Монашенка требует Илиодора: „Хороший человек. Духовенство его оклеветало“ 〈...〉 Монашенка поехала из Сталинграда специально затем, чтобы попросить Дуку о содействии для возвращения Илиодора в Россию» (Архив А. М. Горького).

С т р. 143. ...*вы помогли ему бежать*...— В июле 1914 г. в Мустамяках (Финляндия) иеромонах Илиодор (Сергей Труфанов, р. 1880) познакомил Горького с документами, компрометирующими царскую семью и разоблачающими Г. Распутина. По просьбе А. С. Пругавина и при помощи Ф. Ф. Линде (социал-демократ) Горький устроил Илиодору побег за границу (см.: В. И. Метлин. Лето в Мустамяках.— Архив А. М. Горького, МоГ-9-16-1).

С т р. 144. «*Перелетные птицы*» (Wandervögel) — юношеское объединение, возникшее в Германии в буржуазной среде. Основано Карлом Фишером в 1901 г. в Штеглице (под Берлином). Члены объединения совершали походы в горы, леса, культивировали народные песни и пляски, посещали различные страны и знакомились с их культурами.

С т р. 144. ...*мой отчим служил на Сормовском заводе*... — Отчим Алеши Пешкова, Е. В. Максимов, служил кассиром на заводе в Сормове в конце 1876 — начале 1877 гг.

С т р. 144. *В 96 году я ходил по цехам завода*... — В 1896 г. Горький был корреспондентом газет «Одесские новости» и «Нижегородский листок» на Всероссийской промышленной и художественной выставке. 8 июля 1896 г. в заметке «С Всероссийской выставки» он писал: «...я осматривал завод...» («Одесские новости», 1896, № 3687, 12 июля).

С т р. 145. «*Степной край*» — общественно-политическая и литературная газета, выходившая в Омске с 1893 по 1905 г.

С т р. 145. «*Новое время*» — реакционная газета, выходившая в Петербурге с 1868 по 1917 г.

С т р. 146. ...*в несколько часов прогулки по Сормовскому заводу*? — См.: Речь Горького в *Г-30*, т. 24, стр. 402.

С т р. 146. ...*Сормовский завод — «ветеран труда»*... — Сор-

мовский завод, изготовляющий суда, железнодорожные вагоны, паровозы, основан в 1849 г. 1 мая 1902 г. рабочие завода провели одну из первых в России политических демонстраций, что нашло отражение в повести Горького «Мать».

С т р. 147. *Н. А. Семашко* (1874—1949) — первый народный комиссар здравоохранения в СССР.

С т р. 147. «*Нужно работать так...*» — См.: Н. С е м а ш к о. На борьбу с советской изношенностью.— «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1928, № 273, 24 ноября.

С т р. 147. *...я не объявляю «войну дворцам» этого типа...*— В ответ на письмо А. С. Филиппова из Сормова от 3 марта 1929 г., которому слова в первом очерке относительно постройки дворцов культуры показались странными, Горький писал, 7 апреля 1929 г.:

«Возможно, уважаемый товарищ, что в суждениях моих о «Дворцах культуры» я «хватил через край»,— сказал резко то, что следовало сказать мягче.

Но я был поражен несоответствием условий труда с теми великолепными учреждениями, цель которых — создание культурных условий рабочего быта ‹...›

Само собою разумеется, что каждый «Дворец культуры»— огромный камень в фундамент государства трудящихся. Но хочется, чтоб рабочему человеку и жилось и работалось легче, веселее, продуктивней. Очень хочется этого!

И вот откуда является мысль о неравномерности в достижениях бытовой культуры и культуры трудовой» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-47-42-1; «Горьковская правда», 1973, № 112, 15 мая). Выражение «война дворцам» — из лозунга французской революции: «Мир хижинам, война дворцам».

С т р. 147. *...строить морские шхуны...* — 8 августа 1928 г. Горький посетил Сормовскую судоверфь и осмотрел построенные шхуны — «Ленин» и «Профинтерн» («Нижегородская коммуна», 1928, № 183, 9 августа).

С т р. 148. *На бумажной фабрике Балахны...* — 9 августа 1928 г. Горький ознакомился с балахнинским бумажным комбинатом («Нижегородская коммуна», 1928, № 185, 11 августа).

С т р. 149. *...речь молодого товарища-рабочего,— кажется Зиновьева...* — Комментируя посещение Горьким 8 августа 1928 г. завода «Двигатель революции», газета писала, что на митинге выступил рабочий-литейщик тов. Зиновьев. Он сказал, обращаясь к писателю: «Вот видишь, Алексей Максимович, как мы работаем, что мы делаем! А делаем мы себе „стальных рабов“ — двигатели, которых заставим работать на нас, вести нас к социализму» («Нижегородская коммуна», 1928, № 183, 9 августа).

‹ОЧЕРК II› (стр. 149). Впервые напечатан в журнале «Наши достижения», 1929, № 2, март-апрель, стр. 14—38. Написан в Соррепто в начале ноября 1928 г.

В основу очерка положены впечатления, связанные с пребыванием Горького в Курске и Харькове.

С т р. 149. ...*прозванных в начале XX века «зубрами»*.— «Зубрами» иронически именовали черносотенных помещиков, представителей оголтелой реакции (см.: В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 21, стр. 119).

С т р. 149. ...*«Курские порубежники»*... — Этот роман (М., 1874) написан В. Л. Марковым, братом Е. Маркова. В романе прославляются курские дворяне XVII века, когда Курск был порубежным городом на юге России.

С т р. 149. ...*роль капитолийского гуся*... — В 390 г. до н. э. Рим был захвачен галлами. Только небольшой отряд римлян укрылся на труднодоступном Капитолийском холме. Согласно легенде, галлам удалось открыть тайную тропинку, ведущую на вершину холма, и они ночью предприняли нападение на Капитолий. Стража спала, но гуси, посвященные богине Юноне, услыхав шорох, подняли гоготанье. Проснувшаяся стража отбила нападение галлов.

С т р. 151. ...*«город Курск основан вятичами в IX веке»*.— Источник, из которого взята цитата, установить не удалось. Не исключено, что Горький перефразировал соответствующее место из статьи «Курск» в энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона: «К〈урск〉 принадлежит к древнейшим городам южной России; он построен вятичами не позднее IX ст.» (т. 33, СПб., 1896, стр.104).

С т р. 151. *А. Г. Уфимцев* (1880—1936) — изобретатель. Особое значение имеют его работы по использованию энергии ветра (см.: В. У ф и м ц е в а. Горький и Уфимцев.— «Молодая гвардия», (Курск), 1938, № 83, 18 июня). Об Уфимцеве Горький писал в очерке «Леонид Андреев» (см. т. XVI наст. изд., стр. 346).

С т р. 151. *Ф. А. Семенов* (1794—1860) — автор известных работ по предвычислению лунных и солнечных затмений (см.: Н. А. А н т и м о н о в. Федор Семенов—курский астроном. Курск, 1961).

С т р. 151. ...*товарищ из губкома*... — Горького в Курске сопровождал заведующий отделом культуры губернского совета профсоюзов К. Ф. Пронский.

С т р. 152. *«Современности четкий шаг. ...В шумной стройке наша страна*... — Стихи Ольги Лоде; процитированы Горьким с некоторыми изменениями (ср.: «Курская правда», 1923, № 157, 8 июля).

С т р. 152. *Зашумели в роще травы*... — Из поэмы М. Козловского «Лесное динамо», цитируемой Горьким с незначительными отклонениями от текста (ср.: «Курская правда», 1928, № 157, 8 июля).

С т р. 153. ...*мой советчик в этом деле*... — См. сб. «М. Горький в Татарстане». Казань, 1932, стр. 58—65.

С т р. 154. *Впервые я увидал «беспризорных» в московском «диспансере»*... — 18 июня 1928 г. Горький посетил Покровский детский приемник Московского отдела народного образования, куда поступала вся масса беспризорных с улицы (см.: М. Б р о й д е. Горький в Москве.— «Рабочая Москва», 1928, № 140, 19 июня).

С т р. 154. *...заведующая диспансером...* — «Речь идет о Татьяне Васильевне Тарасовой, учительнице нашего IV класса...» — писал 9 июля 1971 г. Я. И. Сотников в редакцию настоящего издания.

С т р. 155. *Среди массы бойких человечков — поэт...* — «Здесь говорится,— уточняет в том же письме Я. И. Сотников,— о моем друге детства — Ване Грекове (настоящая его фамилия Дорошенко, родом он с Украины)». Альбом со стихами Грекова, подаренный в тот день автором писателю, хранится в Архиве А. М. Горького, Рав-бп-8-31-1.

С т р. 156. *...«механическим гражданам»...* — См. статьи Горького «„Механическим гражданам“ СССР. Ответ корреспондентам» и «Еще о „механических гражданах“» (*Г-30*, т. 24).

С т р. 156. *...я видел 1300 «беспризорных» в Николо-Угрешском монастыре.*— 2 июля 1928 г. Горький посетил эту колонию. Николо-Угрешский монастырь — один из древнейших русских монастырей — расположен к юго-западу от Москвы на левом берегу Москвы-реки. Основан Дмитрием Донским после победы в Куликовской битве 1380 г. (см. т. XIX наст. изд., примеч. к произведению «Преступники»).

С т р. 157. *Допр* — Дом предварительного заключения.

С т р. 157. *...парень лет шестнадцати...* — Сопровождавший Горького в поездке к «беспризорникам» М. Е. Кольцов рассказывал: «Молодого любителя птиц, ящериц и прочей зоологии в коммуне прозвали Шаляпиным. Он соорудил целый зоопарк в четыре квадратных аршина ⟨...⟩ Горький обещает прислать Шаляпину книжек насчет зверей. Горький хлопочет за Шаляпина насчет капканов» («Правда», 1928, № 157, 8 июля).

С т р. 158. *Мальчик-брюнет со стихи не его...* — Стихи, посвященные Горькому и напечатанные в стенной газете колонии, написал Л. Мариани (см. там же).

С т р. 158. *...сын и секретарь.*— Сын Горького — М. А. Пешков; секретарь — П. П. Крючков.

С т р. 158. *Погребинский* М. С. (1896—1937) — чекист, организовавший по поручению Ф. Э. Дзержинского из бывших беспризорных несколько трудовых коммун — Болшевскую, Люберецкую, Кунгурскую и др. Из Болшевской колонии вышли впоследствии поэт Павел Железнов, художник Степан Дудник, музыкант Илья Петров и другие талантливые люди, в судьбе которых самое близкое участие принимал Горький.

С т р. 158. *«Как родная меня мать провожала»* — популярная песня «Проводы», слова Д. Бедного, музыка Д. С. Васильева.

С т р. 160. *Передонов* — персонаж романа Ф. Сологуба «Мелкий бес» (1907).

С т р. 160. *Я был в Куряжском монастыре...* — См. примеч. в т. XVI наст. изд., стр. 614—615.

С т р. 161. *...с летней церкви сняли главы, она превратилась в двухэтажное здание...* — Здание сохранилось. У входа — мемориальная доска: «Здесь в клубе 9 июля 1928 г. выступал Алексей Максимович Горький перед воспитанниками А. С. Макаренко». На втором этаже — музей Макаренко.

С т р. 161. *С ребятами ∞ я переписывался...* — См. *Г-30*. т. 29, стр. 437—438, 442—443, 472—473.

С т р. 161. *Колония существует семь лет, четыре года она была в Полтавской губернии.*— Колония была открыта 25 августа 1920 г. в местечке Трибы, в 6 км от Полтавы. В марте 1921 г. ей было присвоено имя М. Горького. В мае 1926 г. переехала в Куряж.

С т р. 161. «*Если бы Вы знали...*» — Из письма от 9 октября 1928 г. (полный текст письма хранится в Архиве А. М. Горького — ХПГ-41-13-2).

С т р. 163. *Д.*— Петро Дроздюк. Цитируемые ниже слова взяты из его автобиографии (см.: альбом «Наши жизни. Горькому — горьковцы».— Архив А. М. Горького, ДПГ-20-75-1, стр. 77).

С т р. 163. ...*284 человека написали и подарили мне свои автобиографии.*— В альбоме, хранящемся в Архиве А. М. Горького, насчитывается 264 автобиографии с 33 фотоснимками; некоторые написаны на украинском языке; в ряде биографий приводятся стихи колонистов. Альбом был подарен Горькому 8 июля 1928 г., в день его приезда в колонию.

С т р. 163. *Стихотворцев-колонистов — несколько человек.*— В альбоме свои стихотворения поместили: Веселов (стр. 21), Семен Калабалин (стр. 27), Литвинов (стр. 35), Николай Турчанинов (стр. 87), В. Данилов (стр. 92), П. Волков (стр. 96), Василий Казаков (стр. 133), Николай Бондаренко (стр. 241) (Архив А. М. Горького, ДПГ-20-75-1).

С т р. 163. ...*иллюстратор Ч.*— Александр Чоп.

С т р. 167. *Он ввел в обиход колонии кое-что от военной школы, и это — причина его разногласия с украинским наробразом.*— Здесь названа всего лишь одна из причин упорной и длительной борьбы, которую пришлось вести Макаренко, отстаивая новаторские принципы советской педагогики. «Я был страшно рад,— писал Макаренко в статье „Максим Горький в моей жизни“,— что все коллективные наши находки встретили полное одобрение Алексея Максимовича...» (А. С. Макаренко. Сочинения в 7 томах, т. VII. М., 1958, стр. 304).

С т р. 168. ...*я видел под Харьковом еще колонию имени Ф. Э. Дзержинского.*— Эта воспитательная трудовая коммуна была открыта 29 декабря 1927 г., в день празднования десятилетия ЧК ГПУ; располагалась в специально построенных зданиях на живописной окраине Харькова. Заведующим был назначен Макаренко. Со временем коммуна переросла в завод, который выпускал, в частности, знаменитые фотоаппараты «ФЭД» (см. «Второе рождение. Трудовая коммуна им. Ф. Э. Дзержинского». Харьков, 1932). Горький посетил коммуну 9 июля 1928 г.

С т р. 169. *Герингсдорф* — курорт на Балтийском побережье; Горький лечился там в июне — сентябре 1922 г.

С т р. 170. *Шиберы* — спекулянты, разбогатевшие в годы первой мировой войны.

С т р. 170. ...*глупейшим учебником русской истории Иловайского, катехизисом Филарета...* — *Иловайский Д. И.* (1832—

1920) — историк и публицист дворянско-монархического направления, автор официальных учебников, принятых для начальной и средней школ дореволюционной России. *Филарет* — митрополит московский В. М. Дроздов (1782—1867), составитель «Пространного катехизиса», ставшего, по решению Синода, официальным учебником богословия.

Стр. 170. *В коммуне «Авангард»...* — Коммуна «Авангард» (101 км от Запорожья) была организована 3 мая 1922 г. бывшими красноармейцами, возвратившимися с фронтов гражданской войны, жителями села Басани и близлежащих хуторов. Государство передало коммунарам мельницу, маслобойку и около 500 гектаров земли. Коммуна просуществовала до 1935 г., когда перешла на устав сельхозартели. Горький посетил коммуну 13 июля 1928 г. В. Медведев писал в корреспонденции от 15 июля: «А. М. особенно интересовал быт коммунаров, отношение окрестных крестьян к коммуне и к коллективизации вообще» («Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1928, № 163, 15 июля).

Стр. 170 *...организатору коммуны Лозицкому...* — Директор районного краеведческого музея г. Пологи (Запорожская обл.) О. В. Чудновский 28 марта 1971 г. писал в редакцию настоящего издания: «Большой след в жизни коммуны оставил Иван Игнатьевич Лозицкий (1891—1942) — коммунист, в общей сложности около восьми лет возглавлявший коммуну...»

Стр. 171. *...в «Комсомольской правде» попрекнули нас за это.* — Речь идет о статье С. Баранова «Не только поверить, но и проверить» («Комсомольская правда», 1928, № 104, 6 мая), критикующей очерк «Оазис будущего» Ф. Гладкова о коммуне («Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1928, №№ 72, 73, 25, 27 марта).

Стр. 172. *...учительница и товарищ руководитель культурной работой в колонии.* — В. Ф. и М. Н. Рыжовы, впоследствии заслуженные учителя.

Стр. 173. *...старинная книжка...* — Генрих Цшокке Делатели золота. Быль из жизни немецких крестьян. М., 1891.

Стр. 174. *Когда-то я ходил...* — В конце июля 1891 г. А. Пешков вышел из Лубен и путь его в Тифлис лежал через Манжелею, Новую Прагу, Екатеринослав, Александровск (Запорожье) (см.: *Г Чтения*, 1966, стр. 384).

Стр. 177. *В Москве, на школьном празднике 56 школы...* — Горький посетил 56 школу 13 июня 1928 г. «Третьего дня Алексей Максимович Горький посетил 56 школу СОНО в связи с ее переименованием в „Школу имени А. М. Горького". В школе обучается 2000 детей» («Учительская газета», 1928, № 25, 15 июня).

Стр. 178. *Приехали ко мне тверские пионеры...* — Видимо, речь идет о встрече Горького с тверской молодежью 13 июня 1928 г. (см.: Б. Полевой, Н. Кавская. В гостях у Алексея Максимовича.— «Смена», 1928, № 46, 19 июня).

Стр. 179. *...В коммуне пионеров...* — 1 июня 1928 г. Горький посетил Первую пионерскую коммуну Рогожско-Симоновского района г. Москвы («Правда», 1928, № 127, 2 июня; А. Ф п-

л а т о в. Словно это было вчера..., в кн.: «Эстафета пионерских поколений». М., 1972, стр. 191—193).

С т р. 179. *...автор стихов — один из признанных поэтов...* — «Ярким звеном, связующим детей с политической и общественной жизнью страны,— писал 22 июля 1973 г. бывший воспитанник коммуны, ныне поэт А. Филатов в редакцию настоящего издания,— была „живая газета"; ею руководила небольшая группа артистов МХАТ'а, возглавляемая заслуженным артистом Республики Я. Б. Сухаревым. Им составлялся материал для „живой газеты" из разных сборников стихов, скетчей, инсценировок тех лет. В „живой газете" часто использовались стихи А. Жарова, А. Безыменского и особенно Д. Бедного».

С т р. 180. *Это было на улице села Морововки...* — См. примеч. на стр. 568.

С т р. 181. *...ни плавание «Наутилуса» под водой, ни «Путешествие на луну»...* — Речь идет о романах Жюля Верна «Двадцать тысяч лье (80 000 верст) под водою. Путешествие вокруг света в подводной лодке» (Пб.— М., 1915) и «Путешествие на луну» (М., 1898).

‹ОЧЕРК III› (стр. 182). Впервые напечатан в журнале «Наши достижения», 1929, № 3, май-июнь, стр. 3—10. Написан в Сорренто в апреле 1929 г.

В основу очерка положены впечатления, связанные с пребыванием Горького на Днепрострое в 1928 г.

С т р. 185. *...сказка о Святогоре-богатыре...* — Былина «Святогор» (см.: «Песни» собранные П.Н. Рыбниковым, т. I. М., 1909, стр. 453—454).

С т р. 185. *...слова Александра Блока...* — Не совсем точно воспроизведенные фразы из статьи А. Блока «Крушение гуманизма». Ср.: А л е к с а н д р Б л о к. Собрание сочинений в 8 томах, т. 6. М.— Л., 1962, стр. 108, 112, 115.

С т р. 186. *...в 96 году, когда по улицам Нижнего Новгорода пошел первый вагон трамвая...* — Это событие Горький описал в «Беглых заметках» («Нижегородский листок», 1896, № 141 24 мая).

С т р. 186. *Тогда я почевал тут на берегу Днепра...* — В конце июля 1891 г. будущий писатель, путешествуя по Руси, ночевал против острова Хортица у г. Александровска (ныне Запорожье). См.: *Г Чтения*, 1966, стр. 382.

С т р. 186. *...беседовал с меннонитом...* — Меннониты — секта, возникшая в XVI веке в Германии и получившая свое название от имени основателя Менно Симонса. Проповедовала непротивление злу. В России меннониты появились вместе с немецкими колонистами в конце XVIII века. Секта распространяла свое «учение» и среди русских крестьян.

С т р. 187. *В 87 году меня в Казани судил...* — См. в наст. изд. т. XIV, примеч. к «Случаю из жизни Макара», стр. 573—575.

С т р. 188. *«На горах станут воды».*— Псалтырь, псалом 103, стих 7.

Стр. 189. *...казанского крендельщика Кувшинова.*— В «Беседах о ремесле» Горький писал: «Мне часто приходилось работать в крендельных Донова, Кувшинова...» (*Г-30*, т. 25, стр. 335).

Стр. 189. *...остроумный парень, который на свадьбе пел за упокой.*— См. сказку «Набитый дурак» («Народные русские сказки А. Н. Афанасьева», вып. 6. М., 1861, № 12, стр. 92—93).

Стр. 190. *...о гастролях ∽ Юрьева.*— Запорожская газета сообщала: «Сегодня постановкой „Маскарада" Лермонтова открываются гастроли народного артиста Республики Юрия Михайловича Юрьева» («Красное Запорожье», 1928, № 159, 11 июля).

‹ОЧЕРК IV› (стр. 191). Впервые напечатан в журнале «Наши достижения», 1929, № 4, июль-август, стр. 3—10. Написан в конце июня — начале июля 1929 г.

Материал для очерка дали Горькому встречи с советскими детьми во время поездок по СССР в 1928 и 1929 годах, в частности, встречи на станции Кемь и в городе Мурманске.

Стр. 191. *...поезд остановился...* — На станции Медвежья Гора.

Стр. 192. *Командовала ими девушка...* — Люся Альшиц, впоследствии ленинградская актриса, педагог Театрального института.

Стр. 192. *...бывшая «беспризорная».*— Сима Максимова, с 1922 г. воспитывалась в детском доме. Горький предлагал Симе помощь (она прекрасно танцевала и пела), думал ее устроить в какое-либо театральное училище. Но Сима после окончания средней школы пошла в железнодорожный техникум и затем работала на Кировской железной дороге мастером.

Стр. 192. *На барабане играл ∽ должно быть, карел.*— На барабане играл Лева Альшиц, а на треугольнике — Митя Мукачев.

Стр. 194. *Скромный, задумчивый крутолобый человечек...*— Сережа Волков. Впоследствии закончил Петрозаводский железнодорожный техникум и стал дорожным мастером, женился на Симе Максимовой. Во время Великой Отечественной войны стал отважным партизаном; тяжело раненный, скончался в госпитале.

Стр. 194. *...со страниц «Известий»...* — Имеется в виду статья Гр. Львовича «Отцы и дети» («Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1928, № 299, 25 декабря).

Стр. 195. *Дети учат отцов ∽ Победа зубной щетки* — «Последние новости». Париж, 1928, № 2839, 30 декабря.

Стр. 195. *Малолетние убийцы* — «Последние новости», 1929, № 2939, 9 апреля.

Стр. 197. *...съезд «деткоров».*— С 23 по 30 марта 1929 г. в Москве проходил Первый Всесоюзный съезд крестьянских деткоров (см. журнал «Дружные ребята», 1929, № 7 и 8, апрель, стр. 2—6 и 15—17).

Стр. 197. *«Природа ∽ к склонностям отца».*— Не совсем точная цитата из повести Цвейга (см.: Стефан Цвейг. Смятение чувств. Л., 1927, стр. 79).

С т р. 197. *...слет пионеров Северного края...* — В Мурманск, на стадион им. Володарского, где проходил слет пионеров, Горький прибыл 24 июня 1929 г. в час дня и пробыл там около двух часов, внимательно наблюдая за парадом физкультурников, за спортивными играми и соревнованиями (см.: «Полярная правда», 1952, № 143, 18 июня).

С т р. 197. *...героическое стихотворение Гюго...* — Возможно, стихотворение «На баррикаде» («Парижская коммуна». Сборник для детей и юношества. Госиздат Украины, 1924, стр. 85).

С т р. 197. «*Стена коммунаров*» — по-видимому, стихотворение И. Бехера «Стена расстрелянных» («Чтец-декламатор». М., МОПР, 1928, стр. 39—40).

С т р. 198. «*Понапрасну, Ваня, ходишь...*» — Ср. «Сказки и песни Белозерского края». М., 1915, № 574, стр. 472.

С т р. 198. «*Сухой бы я корочкой питалась...*» — Слова из песни «Сухая корочка» См.: «Песенник (с нотами)». Изд. «Русского вестника». Берлин, стр. 9.

С т р. 198. «*Спи, младенец мой прекрасный...*» — Начало стихотворения Лермонтова «Казачья колыбельная песня» (1840).

С т р. 198. «*Последний нонешний денечек...*» — См. «Песни славянских народов». Пг., 1914, стр. 26—27.

С т р. 199. *...руководитель съезда товарищ Фрумкина...* — Е. Е. Гвоздикова-Фрумкина (1881—1954); в 1927—1930 гг. работала ответственным редактором газеты и журнала «Дружные ребята».

‹ОЧЕРК V›. СОЛОВКИ (стр. 202). Впервые напечатан в журнале «Наши достижения», 1929, № 5, сентябрь-октябрь, стр. 25—36, № 6, ноябрь-декабрь, стр. 3—22.

Написан летом 1929 г., сразу после того, как Горький побывал в Кеми, на Соловках и в Мурманске (с 18 по 27 июня 1929 г.). Работа над очерком связана с обострением международной обстановки и массированной идеологической атакой империализма на Советский Союз, усилившейся в 1929 г. клеветнической кампанией ряда буржуазных стран и Ватикана. Именно 1929 г. дал еще один «повод» для усиления международных антисоветских акций, для обвинений в «ужасах чека», преследовании религии в СССР: в этом году исполнялось 500 лет со дня основания Соловецкого монастыря, упраздненного Октябрьской революцией. Превращение «святой обители» в лагерь особого назначения, где содержались уголовные (а одно время и политические) преступники, давало пищу для контрреволюционной и религиозной демагогии. Соловки становились хотя и отдаленной, но едва ли не самой «притягательной» точкой опоры для буржуазной антисоветской пропаганды. Политическая чуткость Горького заставила его обратиться к Соловкам, чтобы разоблачить клеветников. Но вместе с решением этой политической задачи Соловки привлекали писателя-гуманиста как чрезвычайно интересный для него опыт массовой перековки вчерашних преступников.

С т р. 204. *В 1875 году имущество монастыря оценивалось в 10 миллионов рублей*,— См.: В. И. Немирович-Дан-

ч е н к о. Соловки. Воспоминания и рассказы из поездок с богомольцами. СПб., 1875, стр. 250. Из этой же книги (стр. 251) взяты и другие данные, приводимые Горьким ниже.

С т р. 204. «*Оскудевает лепта народная...*» — Здесь Горький передает в двух фразах диалог из названной книги В. И. Немировича-Данченко (см. стр. 251).

С т р. 205. ...«*православие, самодержавие, народность*».— Эти три «принципа» С. С. Уваров, будучи министром народного просвещения в России (1833—1849), положил в основу своей политики.

С т р. 207. ...*в Лубнах у Афанасия Сидящего.*— См. примеч. в т. IX наст. изд., стр. 563—564.

С т р. 211. ...*Медвежатник у нас, в Болшеве.*— Вероятно, А. А. Мологин, в прошлом крупный «Медвежатник», ставший организатором Болшевской коммуны (см. сб. «Болшевцы». М., 1936).

С т р. 212. ... *читал когда-то книжку Трахтенберга...* — В. Ф. Т р а х т е н б е р г. Блатная музыка. «Жаргон» тюрьмы. СПб., 1908.

С т р. 214. ...*переведуп ли их в Болшево...* — Трудовая коммуна ОГПУ, организованная в 1925 г. в бывшем имении фабриканта Крафта, недалеко от станции Болшево (подробнее о коммуне см.: М. С. П о г р е б и н с к и й. Трудовая коммуна ОГПУ, 1928, и сб. «Болшевцы»).

С т р. 220. *Паллади́н* А. В. (1885—1972) — советский биохимик, академик.

С т р. 220. *Вавилов Н. И.* (1887—1943) — советский ботаник-растениевод, лауреат Ленинской премии.

С т р. 222. ...*слышал их суждения о «Геохимии»...* — Имеются в виду книги: В. И. В е р н а д с к и й. Очерки геохимии (М., 1927); Н. И. В а в и л о в. Центры происхождения культурных растений (Л., 1926); Н. И. В а в и л о в и Д. Д. Б у к и н и ч. Земледельческий Афганистан (Л., 1929).

С т р. 222. ...*украинец, работает по культуре винограда...*— П. Т. Болгарев (р. 1899), впоследствии профессор, зав. кафедрой виноградарства Крымского сельскохозяйственного института им. М. И. Калинина (см. воспоминания П. Т. Болгарева «Незабываемая встреча» в кн: «Горький и наука». М., 1964, стр. 220—222).

С т р. 223. ...*должен отметить заведующего питомником чернобурых лисиц, песцов и соболей.*— Заведовал питомником на острове Муксалма К. Г. Туомайпен. В Музее А. М. Горького в Москве есть фотография, на которой Горький снят рядом с Туомайненом, оба держат в руках кроликов.

С т р. 224. ...*вспоминаю Шопенгауэра...* — Ср. «... маленькие мужчины любят больших женщин» (А р т у р Ш о п е н г а у э р. Мир как воля и представление. Дальнейшие доказательства основных положений пессимистической доктрины. СПб., 1893, стр. 652).

С т р. 224. ...*человек из породы революционеров...* — Вероятно, имеется в виду Г. И. Бокий (1879—1941) — член Коммунисти-

ческой партии с 1900 г., в 1917—1918 гг.— секретарь Петроградского комитета РСДРП(б), а затем председатель Петроградского ЧК; с 1921 г.— ответственный работник ВЧК, член коллегии ОГПУ—НКВД. Г. И. Бокий сопровождал Горького на Соловках.

С т р. 227. ...*«Сказание о сеножатех» Лескова.*— Речь идет о рассказе Н. С. Лескова «Таинственные предвестия» (цикл «Рассказы кстати»), в котором писатель использует записки «одного лица», известные ему под заглавием «Событие о сеножатех» (см.: Н. С. Л е с к о в. Полн. собр. соч., т. 20. СПб., 1903, стр. 62, 85).

С т р. 227. *Каран д'Аш* (Caran d'Ache) — псевдоним французского карикатуриста Эммануила Пуаре. Родился в Москве в 1858 г., где закончил гимназию. Юношей уехал во Францию. Выступал с политическими карикатурами в ведущих французских изданиях.

С т р. 230. ...*кроме театра, сосредоточены школы, довольно богатая библиотека...* — В 1929 г. на Соловках работало 76 общеобразовательных и специальных школ, курсов и кружков: начальные и средние школы для взрослых, профтехкурсы, готовившие рабочих высокой квалификации, кружки ликвидации неграмотности. Во всех хуторах и на центральном острове были клубы, библиотеки, красные уголки, кинопередвижки. Работали два театра с несколько экзотическими названиями: «Хлам» (возможно, подражание одесской ассоциации «Хлам», расшифровывавшейся как «художники, литераторы, актеры, музыканты») и «Свои». Первый составляли актеры профессиональные и полупрофессиональные, второй театр представлял собою самодеятельность бывших уголовников. В репертуаре были, в частности, «На дне» Горького, «Поджигатели» А. Луначарского, «Дети Ванюшина» С. Найденова, «Волчьи души» Дж. Лондона.

С т р. 230. ...*музей, отлично организованный Виноградовым исследования о «Соловецких лабиринтах»*... — Ученый-археолог Н. Н. Виноградов после Соловков работал в Петрозаводске и Ленинграде. Исследование, упоминаемое Горьким, называлось «Соловецкие лабиринты, их происхождение и место в ряду однородных доисторических памятников»; впервые напечатано в т. IV «Материалов СОАК» (то есть «Соловецкого отделения Архангельского общества краеведения»). Соловки, 1927.

С т р. 230. *Ведется на острове краеведческая работа, печатается журнал, издавалась газета...* — С 1926 г. на Соловках велась большая научно-краеведческая работа (ежегодно выпускалось 4—5 томов статей), на которую обратила внимание Академия наук СССР: в июле 1926 г. в многотиражке, выходившей на острове, было напечатано «Письмо Академии наук СССР» с благодарностью всем, кто ведет на острове исследовательскую работу. С марта 1924 г. на острове выходил политико-общественный и воспитательный журнал «СЛОН», который с января 1925 г. стал называться «Соловецкие острова». С 1925 г. издавалась газета «Новые Соловки». Оба издания подготавливались и выпускались заключенными, из них же составлялись и редакционные коллегии.

С т р. 231. *В одной из таких статеек сказано...* — Видимо, речь идет о заметке «Беглецы из Соловков» («Последние новости», 1929, № 3158, 14 ноября).

С т р. 233. *...весьма циническое учение о «врожденной преступности»...* — Представитель этого учения — итальянский психолог и криминалист Чезаре Ломброзо (1835—1909).

С т р. 234. *...заповедь «Не укради» со «Не убий»...* — Имеются в виду библейские заповеди (Исход, гл. 20, стихи 13 и 15).

С т р. 234. *«Спаси, господи, люди твоя»...* — Молитвослов. М., 1916, стр. 114.

## НА КРАЮ ЗЕМЛИ

(Стр. 237)

Впервые напечатано в журнале «Наши достижения», 1930, январь, № 1, стр. 5—13.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Черновой автограф — *ЧА* (ХПГ-40-11-1).
2. Машинопись (ХПГ-40-11-2).

Печатается по тексту журнала «Наши достижения» с исправлениями по *ЧА*:

*Стр. 243, строка 39*: «Силов не хватаит» вместо «Силы не хватает».

*Стр. 246, строка 37*: «в полунощном краю» вместо «в полуночном крае».

Произведение примыкает к IV и V очеркам цикла «По Союзу Советов». Хотя главной целью поездки писателя в Карело-Мурманский край были Соловки, он посетил и Мурманск, чтобы своими глазами увидеть, с каким мужеством советские люди покоряют дикую и суровую природу Заполярного края, как преображается Север «несокрушимейшим народом».

Впечатления Горького, связанные с поездкой в Мурманск, и легли в основу очерка «На краю земли». К работе над ним он смог приступить лишь после возвращения из Москвы в Соррento. В письме П. П. Крючкову от 29 ноября 1929 г. Горький уведомлял: «Пишу для I-й книги „Н‹аших› достижений“» (*ЛЖТ*$_{ш}$, стр. 755). По всей вероятности, речь шла об очерке «На краю земли».

С т р. 237. *Так писал...* — Цитируемое письмо обнаружить не удалось.

С т р. 237. *...доктору А. Н. Алексину...* — См. в т. XVI наст. изд. очерк «А. Н. Алексин» и примеч. к нему.

С т р. 237—238. *С. Г. Сомов, Аким Чекин.*— См. в т. XVI наст. изд. примеч. к очеркам «Время Короленко» и «В. Г. Короленко».

С т р. 238. *Погодин с Костомаровым — ученые историки...* — М. П. Погодин и Н. И. Костомаров высказывали различные

взгляды по вопросу о происхождении Руси. Погодин утверждал: «Русское государство основано варягами — русью. Кто такие эти варяги — руссы? Теперь нет ни одного народа, ни одного племени, которое бы носило это название. Ученые в течение 150 лет разрабатывали этот вопрос. Более 20 мнений о происхождении Руси пущено в обращение. Древнейшее и наиболее распространенное мнение состоит в том, что варяги — руссы суть норманны» («Публичный диспут 19 марта 1860 года о начале Руси между г.г. Погодиным и Костомаровым». СПб., 1860, стр. 28). Костомаров настаивал на «литовском происхождении» Руси. Он считал, что «упоминаемые в наших летописях варяги — русь пришли из Литовской Руси» (Н. И. Костомаров. Начало Руси. СПб., 1860, стр. 17). По его мнению, «...название Руси география удерживала за правым рукавом реки Немана ‹...› сторона по берегу этого рукава называлась Русью или Русией, и народ, обитавший в ней — руссами или русснепами, иначе русью ‹...› этот народ принадлежал к литовскому племени» (там же, стр. 14). Костомаров утверждал, что норманнам «не удалось основать в ней ‹России› ничего прочного, и никакой памяти они в потомстве не оставили, кроме короткого известия летописца: «изгнаша варяги за море и не даша им дани!» (там же, стр. 32).

С т р. 238. *...известный апостол «толстовства» Новоселов...* — См. в т. XVI наст. изд. примеч. к очерку «О С. А. Толстой».

С т р. 238. *...изуверского церковного журнала...* — Имеется в виду ежемесячный богословский журнал «Миссионерское обозрение». Выходил с 1896 по 1898 г. в Киеве, а с 1899 по 1916 — в Петербурге и объединял наиболее реакционные круги духовенства. Редактором «Миссионерского обозрения» был В. М. Скворцов, о котором Горький еще в 1901 г. сказал: «... Скворцов — известный прохвост из миссионеров православия...» (*Г-30*, т. 28, стр. 198).

С т р. 239. *Моя молодежь...* — Горького сопровождали Максим Алексеевич и Надежда Алексеевна Пешковы, М. С. Погребинский.

С т р. 239. *Без тебя большевики...* — Из песни Демьяна Бедного «Проводы» (1918).

С т р. 240. *...на все дни в Мурманске...* — Горький предполагал пробыть в заполярном городе не менее трех дней, но состояние здоровья (обострение бронхита) сократило срок пребывания в этом городе более чем на сутки.

С т р. 240. *...строится город.*— Основанный в 1916 г., Мурманск с конца 1920-х годов переживал пору активного строительства. Советское государство отпускало для этого большие средства (см.: Е. А. Двинин. Край, в котором мы живем. Мурманск, 1959, стр. 141 и 143).

С т р. 241.— *Причалов в порту не хватает ∞ Тралеров мало...* — Мурманский порт тогда был еще очень маломощен, имел считанное количество причалов и траулеров, среди последних: «Феликс Дзержинский» и «Максим Горький».

С т р. 243. *...«Крестьянская газета» ∞ издает десяток журналов для деревни...*—«Крестьянская газета»—орган ЦК ВКП(б),

массовая газета для деревни; выходила в Москве с ноября 1923 г. по февраль 1939 г. Тираж газеты до 2—3 млн., а некоторые номера выходили тиражом до 5 и даже 11 млн. Газета имела около 15 тыс. селькоров. Издательство «Крестьянская газета» выпускало журналы «Сам себе агроном»,«Крестьянка», «Журнал крестьянской молодежи», «Спутник коммуниста в деревне» и др. (справочник «Газеты и журналы, выходящие в изд-ве „Крестьянская газета“». М., б. г.).

С т р. 243. *...издало бы и продало только одних классиков...* — По всей вероятности, Горький приводит данные, опубликованные в книге «Пятилетний перспективный план издания классиков, 1928—1932», Госиздат, 1928 (см. стр. 32—33, где приведены соответствующие данные).

С т р. 244. *...марсианин из романа Герберта Уэллса.*— Имеется в виду описание внешности марсианина в произведении «Война миров» (см. Герберт Уэллс. Собрание сочинений в 15 томах, т. 2. М., 1964, стр. 18—19).

С т р. 244. *Александровск* — город в 42 км севернее Мурманска; в 1930 г. переименован в г. Полярный.

С т р. 244. *...профессор знаменитый живет...* — По-видимому, биолог Клюге Г. А. (1871—1956). В 1920-х годах организовал в Александровске первую рыбацкую школу, где студенты проходили практику.

С т р. 246. *...собрание местных работников.*— Заседание расширенного пленума Мурманского городского совета с участием партийных, профессиональных и общественных организаций 24 июня 1929 г. Присутствовало около 400 человек.

С т р. 247. *Вспоминаешь изумительную кудесницу Орину Федосову...* — Выступления русской народной сказительницы Орины (Ирины) Андреевны Федосовой (1831—1899) Горький слушал на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем летом 1896 г. Исполнение ею былин произвело на него неизгладимое впечатление, о чем он тогда же рассказал в статье «На выставке» («Нижегородский листок», 1896, № 159, 11 июня) и в очерке «Вопленица» («Одесские новости», 1896, № 3660, 14 июня). Орина Федосова изображена также в первой части «Жизни Клима Самгина».

С т р. 247. *...Гильфердинг* А. Ф. (1831—1872) — славяновед из обрусевших немцев, собиратель и исследователь былин. Примыкал к кружку славянофилов. В 1871—1872 гг. в Олонецкой губернии записал с большой филологической точностью 318 былинных текстов («Онежские былины». СПб., 1873), предпослав им статью «Олонецкая губерния и ее народные рапсоды»).

С т р. 247. *... поклонники «народности», славянофилы Киреевский, Рыбников и другие, записывали песни в усадьбах помещиков...*— *Киреевский* П. В. (1808—1856) — фольклорист, археограф, публицист, переводчик. Отзыв Горького о нем не совсем справедлив: Киреевский был, по словам А. И. Герцена, «заеден николаевским временем», а собранные им народные песни — дело всей его жизни — он издать так и не смог. Они были опуб-

ликованы, не полностью, лишь в 1860—1874 годах (под ред. П. А. Бессонова) и в 1911—1929 годах (под ред. В. Ф. Миллера и М. Н. Сперанского). Вопреки господствующей идеологии «официальной народности», Киреевский выдвинул научные, для того времени подлинно новаторские методы работы. Указание Киреевского, что песни должны быть записаны «без изъятия и разбора», имело важное теоретическое и практическое значение. Подобный метод означал требование записывать все виды песенного творчества, в частности — песни крестьянских войн и восстаний (см.: А. Д. Соймонов. П. В. Киреевский и его собрание народных песен. Л., 1971, стр. 12). *Рыбников* П. Н. (1831—1885) — этнограф и фольклорист. К славянофилам отношения не имел, участвовал в студенческом революционном движении, за что в 1859 г. был сослан в Олонецкую губернию, в Петрозаводск, где на берегах Онежского озера записал 224 былины и исторические песни. «Песни», собранные П. Н. Рыбниковым, вышли в 4-х томах в 1861—1867 гг.; изд. 2, в 3-х томах — в 1909—1910 гг.

Стр. 247. *А вот песни крестьянства ... явно искаженном виде.*— Это подтверждается и исследователями устного народного творчества. Одному из первых собирателей песен о Разине и Пугачеве, А. С. Пушкину было запрещено публиковать их, так как, по словам А. Х. Бенкендорфа, они «при всем поэтическом своем достоинстве по содержанию своему неприличны к напечатанию» (А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. 13. М.—Л., 1937, стр. 336). Поэтому в печать попадали не все песни, а в опубликованных текстах опускались или смягчались социально острые строки. Большая часть песен искажалась, фальсифицировалась. В них Разин из вождя освободительного движения превращался или в вора-разбойника, или в раскаявшегося грешника (см. Ф. С. Панкратов. Гребенцы в песнях. Владикавказ, 1895, стр. 34—35). Подверглись «правке» и песни о Пугачевском восстании 1772—1775 гг. Советским ученым удалось разыскать в архивах, записать от народных рапсодов песни о Разине, Болотникове, Пугачеве и таким образом, насколько это было возможно, восстановить историческую правду (см., например: «Песни и сказания о Разине и Пугачеве». М.—Л., 1935; «Исторические песни XIII—XVI вв.» М.—Л., 1960; «Исторические песни XVII века». М.—Л., 1966; «Народная устная поэзия Дона». Ростов-на-Дону, 1963).

Стр. 248. *...рабочие казенных заводов...*— Рабочие песни возникли в России в XVIII веке. Это было связано с развитием горнозаводского производства, мануфактур, бурлачества, солдатчины. Песни изображали характер выполняемой работы, отражали жалобы на непосильный труд, раскрывали конфликт между рабочими и хозяином. Советскими учеными широко разрабатывается проблема «рабочего» фольклора (см. в частности, статьи: А. Н. Лозанова. Поэтическое творчество «работных людей» крепостной эпохи.— «Русское народное поэтическое творчество», т. II, кн. 1. М.—Л., 1955; О. Б. Алексеева. К вопросу о понятии «рабочий фольклор» и А. В. Позднеев.

Рабочий фольклор в рукописных песенниках XVIII в.— «Устная поэзия рабочих России». М.—Л., 1965; П. Г. Ширяева. Из материалов по истории рабочего фольклора.— «Советский фольклор», 1936, № 2—3).

Стр. 248. *...хибинских апатитов.*— В 1929 г. в Хибинских горах обнаружили огромные запасы апатитов, тогда же в породах Заимандровских массивов были найдены медь, никель. На основе этих месторождений вырос первенец заполярной цветной металлургии — Мончегорск.

Стр. 249. *...где-то «поблизости» мальчишки находят слюду...*—По-видимому, в Енском районе Кольского полуострова, где обнаружилось большое число месторождений (12 жил), содержащих крупную высококачественную слюду («Богатства Мурманского края — на службу социализму». Л.—М., 1934, стр. 55).

Стр. 249. *Специалистов ждем.*— Научные работы Академии наук СССР в изучении Хибинского массива начались в 1920 г. и велись до 1932 г. под руководством академика А. Е. Ферсмана (см.: «За Полярным кругом. Работы Академии наук на Кольском полуострове за годы Советской власти 1920—1932 гг.», под ред. акад. А. Е. Ферсмана. Л., 1932, стр. 14—16).

Стр. 250. *... в сторону Лапландии ∞ будто бы золото.*— В губе Базарной в 1870 г. была открыта свинцовая руда, «где свинцовые жилы выступают у самого берега ‹...› В XVIII веке в Кемском уезде Архангельской губернии, близ деревни Надвоицы, имелся и золотой рудник ‹...› Около той же деревни Надвоицы, в Воицком руднике, а также в Кандалакшской губе было встречено самородное золото» (В. Блинов. На Мурмане. Пг., 1918, стр. 52).

Стр. 250. «*Бараньи лбы*» — скалы, образовавшиеся от движения ледника и получившие закругленную форму.

## РАССКАЗ

(Стр. 252)

Впервые, под заглавием «Рассказ», напечатано в газете «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1929, № 243, 20 октября; под названием «Сказание» — в многотиражной газете зерносовхоза «Гигант», 1929, № 16, 7 ноября.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Автограф с правкой; заглавие «Сказание» зачеркнуто и над ним рукой Горького написано: «Рассказ» (ХПГ-44-5-1).

2. Авторизованная машинопись, послужившая оригиналом набора для «Известий» (ХПГ-44-5-2).

Печатается по тексту газеты «Известия».

Написано вскоре после посещения Горьким — 1 сентября 1929 г.— совхоза «Гигант» (в Сальском округе), где писатель присутствовал на празднике «Дня урожая» и выступил с речью перед рабочими, крестьянами. Посещение Горьким совхоза

«Гигант» освещалось на страницах местных газет (см. «Сальский пахарь», 1929, № 460, 8 сентября; «Молот» — Ростов-на-Дону, — 1929, № 2427, 3 сентября).

С т р. 252. «*Восходит солнце и заходит...*» — Библия, Книга Екклесиаста, гл. 1, стихи 4,5.

## О ВИКТОРИНЕ АРЕФЬЕВЕ

(Стр. 256)

Впервые напечатано в журнале «Сибирская живая старина» (Иркутск), 1929, вып. VIII—IX, стр. 219—220.

Печатается по тексту названного журнала.

Написано по инициативе редактора «Сибирской живой старины» М. К. Азадовского, который в 1928 г. обратился к Горькому с просьбой «поделиться своими воспоминаниями об Арефьеве» («Литературное наследство Сибири», т. 1. Новосибирск, 1969, стр. 52). 7 марта 1929 г. Горький прислал рукопись. В сопроводительном письме, заметив, что «сорок лет многое стерли в памяти», он назвал ряд лиц, которые знали Арефьева и могли бы о нем «кое-что рассказать» (там же, стр. 54).

В. С. Арефьев (1874—1901) — революционер-народник, известный этнограф, уроженец Саратовской губернии. Вел революционную работу (см. «Крестьянское движение в России в 1890—1900 гг.». Сборник документов. М., 1959, стр. 197, 198,199), за что в 1892 г. был арестован и заключен в Саратовскую тюрьму. Из Саратова выслан в 1893 г. в Нижний Новгород, а оттуда в Вятку. В 1896 г. вновь арестован за напечатание прокламаций к 1 мая и в 1897 г. выслан под надзор полиции в Иркутскую губернию (см: П. Н. Л е п е ш и н с к и й. На повороте. Пг., 1922, стр. 70, 71 и др.). Там Арефьев деятельно сотрудничал в сибирских газетах «Восточное обозрение» (Иркутск), «Сибирская жизнь» (Томск), «Енисей» (Красноярск). По окончании ссылки в марте 1900 г. жил в Красноярске, Иркутске. В 1901 г. возвратился в Саратовскую губернию. Скончался 2 (15) августа 1901 г. после тяжелой операции, вызванной воспалением среднего уха. Ленинская «Искра» напечатала некролог, в котором говорилось: «Русская революционная партия понесла в нем несомненную утрату. Вечная память тебе, дорогой, бескорыстный, преданный друг и товарищ!» («Искра», 1901, № 9, октябрь, стр. 3).

Знакомство будущего писателя с Викторином Арефьевым, вероятно, состоялось в с. Красновидове, куда, по предложению М. А. Ромася (см. в т. XVI наст. изд. «Мои университеты» и примечания к ним), Алексей Пешков переехал летом 1888 г. Встреча в Казани, видимо, относится к 1891, а в Нижнем Новгороде — к 1893 г. См. Л. Ж а к. А. М. Горький и Саратов, 1973, стр. 159).

На просьбу И. А. Груздева сообщить дополнительные сведения о знакомстве с Арефьевым Горький ответил в августе 1929 г.: «О Викт‹орине› Арефьеве не могу сообщить ничего, кроме написанного мною для иркутского сборника. О нем ищите материалы в Саратове, у старых народников, если таковые существуют. Около Сараханова, Чумаевского...» (*Архив Г*$_{XI}$, стр. 209).

Стр. 256. *...интересные записи ∞ о саратовской «Матане»...* — В статье Н. И. Удимовой указывается, что основной труд Арефьева — «Современная народная песня» — остался ненапечатанным. Во второй главе Арефьев говорит о весьма распространенной современной песне-частушке или «Матане» (Н. И. Удимова. Сибирский бытописатель В. С. Арефьев.— «Сибирская живая старина», вып. VIII-IX, 1929, стр. 234). Видимо, извлечением из этого труда явилась упоминаемая Горьким статья, напечатанная под заглавием «Новые народные песни. Деревенские думы и дела» (за подписью Н. А. -ф-въ) в «Саратовском дневнике», 1893, № 285, 30 декабря, и № 286, 31 декабря.

Стр. 256. *...нашел, кажется Сологуб...*— См. четверостишие Ф. Сологуба, написанное в 1902 г.: Когда я в бурном море плавал /И мой корабль пошел ко дну,/ Я так воззвал: «Отец мой, Дьявол,/ Спаси, помилуй,— я тону» (Федор Сологуб. Собрание стихов, кн. III и IV. М., 1904, стр. 129).

Стр. 256. «*Милый мой по Волге плавал...*» — частушка (см. «Сборник великорусских частушек», под ред. Е. Н. Елеонской. М., 1914, стр. 153).

Стр. 257. *Был он человек живой.*— Старый большевик П. Н. Лепешинский, отбывавший ссылку вместе с членами петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» в том же Казачинском Енисейского уезда, где находился Арефьев, вспоминал: «Наиболее жизнерадостным членом колонии был Арефьев, с появлением которого наша казачинская ссыльная публика сразу же оживилась» (П. Н. Лепешинский. На повороте. Пг., 1922, стр. 70, 71).

Стр. 257. *Встретил его у геолога Северцева или Сибирцева.*— Вероятно, имеется в виду Н. М. Сибирцев (1860—1899), впоследствии почвовед, производивший в конце 1880-х — начале 1890-х годов почвенно-геологические исследования в Нижегородской губернии (см. «Н. М. Сибирцев, его жизнь и деятельность». СПб., 1901).

Стр. 257. *И. И. Сведенцов* (псевдоним — Иванович, 1842—1901) — писатель-народник, автор очерков и рассказов из народного быта.

Стр. 257. *...о провале типографии Ромася...* — Провал типографии народоправцев произошел в 1894 г.; в кружок Ромася входил и Арефьев.

## СОВЕТСКАЯ ЭСКАДРА В НЕАПОЛЕ

(Стр. 258)

Впервые напечатано в журнале «Наши достижения», 1930, № 2, февраль, стр. 10—14.

В Архиве А. М. Горького хранится автограф (*А*) с наклеенным заголовком «Советская эскадра в Неаполе». Под наклейкой первоначальное название: «Наши моряки в Неаполе» (ХПГ-46-5-1).

Печатается по тексту журнала «Наши достижения» с исправлениями по *А*:

*Стр. 259, строка 38*: «добры молодцы» вместо «добрые молодцы».

*Стр. 260, строка 3*: «не стесняясь» вместо «не стеснялись».

*Стр. 264, строка 5*: «мелкие признаки» вместо «маленькие признаки».

Написано 15—17 января 1930 г. Встреча, о которой рассказывает Горький, произошла в Италии, куда писатель вторично приехал 7 апреля 1924 г. и прожил до 9 мая 1933 г. Он поселился на юге страны, но уже не на о. Капри, а в Сорренто. Главной целью приезда было климатическое лечение, на чем настаивал Ленин (см. в наст. томе стр. 44 и примеч. к ней).

Горький приехал в Италию, когда там к власти пришли фашисты. «Знали бы Вы,— писал он Д. А. Лутохину 10 августа 1924 г., — какая это жалкая публика, фашисты!.. Однако — кажется, что это не надолго! Очень здоровый народ итальянцы, подразумеваю, конечно, духовное здоровье» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-23а-1-10).

У Горького очень быстро установились обширные связи с родной страной. Ему писали рабочие и крестьяне, рядовые труженики и государственные деятели, старики и дети.«... засыпан письмами из России, получаю их штук по 40, 50 ежедневно...» — сообщал он в апреле 1928 г. М. Ф. Андреевой (*Андреева*, стр. 381). Наряду с этим почти каждый советский человек, выезжавший за границу, считал необходимым посетить Горького. У него побывали ученые, дипломаты, артисты и режиссеры, художники. Особенно часто приезжали писатели. «В настоящее время Сорренто становится для русских писателей новой Ясной Поляной — центром притяжения литераторов»,— писала миланская газета («Il corriere della sera», 1928, № 86, 10 aprile). «... у нас почти ежедневно гости разных племен...» — сообщал Горький 18 ноября 1930 г. Е. П. Пешковой (*Архив Г*$_{IX}$, стр. 282). Он любил сопровождать советских людей в экскурсиях по Неаполю, рассказывал им об Италии, ее истории, ее писателях и художниках. Вместе с тем он продолжал рассказывать всему миру об успехах строительства первого в мире государства рабочих и крестьян, о его достижениях в области социалистической культуры. В 1928 г. газета «Правда» подчеркивала то важное обстоятельство, что, находясь за границей, Горький «сам себя назначил на пост политического и

культурного представительства» («Правда», 1928, № 122, 27 мая).

Горький не успел воплотить в художественном слове свои наблюдения соррентийских лет так широко и ярко, как ранее воплотил впечатления каприйского периода в «Сказках об Италии». Но и «соррентийский материал» нашел свое отражение в очерках «Советская эскадра в Неаполе», «Терремото», в нескольких набросках.

В основу очерка «Советская эскадра в Неаполе» лег реальный факт: утром 9 января 1930 г. на рейде Неаполя встали два корабля Военно-Морского флота СССР — линкор «Парижская Коммуна» и крейсер «Профинтерн». Это был отряд советских морских сил Балтийского флота, совершавший в зимних условиях, начиная с 22 ноября, учебный переход по маршруту Кронштадт — Атлантический океан — Средиземное море — Севастополь. «Еще не видны были берега Италии, а краснофлотцы на обоих кораблях постановили — выбрать делегацию и послать ее в Сорренто к Максиму Горькому с приглашением обязательно посетить нас в Неаполе» (Е в г. К р и г е р. Кронштадт — Севастополь.— «Красная Звезда», 1930, № 70, 26 марта). 11 января 1930 г. делегация моряков приехала в Сорренто. Горький подробно расспрашивал их о ходе почти 2-месячного плавания в тяжелых зимних условиях. Он оставил гостей обедать. После обеда предложил послушать волжские песни в граммофонной записи. Показал свой рабочий кабинет, книги, коллекции, рассказывал об Италии.

Через день — 13 января — писатель приехал в Неаполь в гости к морякам. Внимательно осматривал линкор «Парижская Коммуна» — машины, орудия, жилые помещения. С удовольствием смотрел и слушал концерт самодеятельности, устроенный в его честь. Охотно и обстоятельно отвечал на многочисленные вопросы краснофлотцев (см. там же).

На второй день после отбытия наших кораблей из Неаполя Горький сообщал А. Б. Халатову (15 января 1930 г.): «Были здесь наши „Парижская Коммуна“ и „Профинтерн“, были у меня, потом я у них провел семь часов. Отличные ребята. Напишу о них для второй книги ‹„Наших достижений“›» (*Архив* $Г_{X}$, кн. 1, стр. 188). А два дня спустя — 17 января 1930 г. — очерк «Советская эскадра в Неаполе» был уже отослан в редакцию журнала «Наши достижения» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-250).

18 марта 1930 г. на линкоре «Парижская Коммуна» состоялся торжественный митинг, где было принято и тут же отослано Горькому в Сорренто письмо, в котором моряки благодарили писателя за внимание к ним, «проявленное в очерке» (Архив А. М. Горького, КГ-коу-3-77-1). «Передайте товарищам сердечный мой привет. Отличные часы провел я у вас на кораблях»,— ответил им Горький (там же, ПГ-рл-47-2-2).

Одновременно с письмом моряков, выразивших свое положительное отношение к очерку «Советская эскадра в Неаполе»,

Горький получил письмо от Вс. Вишневского, который упрекал автора в одностороннем изображении старых матросов, в преувеличении отрицательных черт их характеров, в обобщении, сделанном якобы на основании встреч только с тремя матросами (см.: *Лит Насл*, т. 70, стр. 47). На это Горький ответил: «О матросах Вы написали мне неубедительно. Вы не можете отрицать, что современные моряки *культурнее* дореволюционных. Затем вы позабыли о Кронштадтском бунте. Из того, что я упомянул о трех матросах, еще не значит, что я знал только трех. Нет, я знал многих и — между прочими — Матюшенко. Роль старых матросов в Октябрьской революции мне известна. После революции они несколько изменились, что отмечено нашей литературой, напр‹имер›, в рассказе Артема Веселого „Реки огненные“, в пьесе Трепева „Любовь Яровая“ и т. д.» (там же, стр. 49).

С т р. 258. *Утром 12 января пришли ко мне девять человек моряков и начальник их сказал мне...* — Описка: делегация моряков посетила Горького 11 января (Вахтенный журнал линкора «Парижская Коммуна» — ЦГА ВМФ, ф. 172, оп. 2, ед. хр. 4979).

С т р. 263. *...предатели Беседовские, Соломоны, Пальчинские...*— См. статью Горького «О предателях» (*Г-30*, т. 25, стр. 191—200).

С т р. 264. *Старый Неаполь, любивший в прошлом бунтовать...*— См. т. XII наст. изд., стр. 563.

С т р. 264. *...мой знакомый юноша...*— Илья Вольнов, сын писателя Ивана Вольнова.

С т р. 264. *Вомеро* — один из холмов, на которых расположен Неаполь.

С т р. 267. *...и поискам экспедиции Нобиле...* — В спасении итальянской экспедиции, возглавляемой генералом Умберто Нобиле, которая на дирижабле «Италия» предприняла полет к Северному полюсу и 25 мая 1928 г. за восьмидесятой параллелью потерпела катастрофу, активно участвовал Советский Союз. Полярный летчик Б. Г. Чухновский обнаружил двух итальянских аэронавтов Дзани и Мариано, которых, как и других, оставшихся в живых, 12 июля 1928 г. вывез из Арктики советский ледокол «Красин».

## ДЕНЬ В ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ

(Стр. 268)

Впервые напечатано в журнале «Наши достижения», 1930, № 3, март, стр. 70—76.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Черновой автограф без заглавия (ПСГ-1-19-1).

2. Беловой автограф под заглавием «День в центре культуры» (ПГС-1-19-2).

Печатается по тексту журнала «Наши достижения».

Написано в январе 1930 г. В письме к П. П. Крючкову 28 января того же года Горький писал: «...посылаю статью „День в культурном центре“ для II-й книги „Н. Д.“. Мне кажется, что эту статейку можно рассматривать как образец *приема* для статей отдела „За рубежом“. Если редколлегия согласна взглянуть на нее так,— тогда следует останавливать на ней внимание авторов» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-255). 6 февраля Крючков сообщил Горькому, что для второго номера статья запоздала и пойдет в третьем (Архив А. М. Горького, КГ-п-41а-1-85).

С т р. 276. *...анекдот о распутном царе Валтасаре.*— Библия. Книга Даниила, гл. 5, стих 25.

С т р. 279. *Вейнингер* — австрийский психолог Отто Вейнингер (1880—1903), автор псевдонаучной декадентской книги «Пол и характер» (1909).

## ТЕРРЕМОТО

(Стр. 282)

Впервые напечатано в журнале «За рубежом», 1930, № 5, ‹ноябрь›, стр. 31—35.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Черновой набросок: запись фактов, цифр, названий, имен (ХПГ-46-14-2).
2. Черновой автограф с большой правкой (ХПГ-46-14-1).
3. Беловой автограф (*БА*), текст которого соответствует опубликованному в журнале (ХПГ-46-14-3).

Печатается по тексту журнала «За рубежом».

В очерке описывается землетрясение в Южной Италии, разразившееся в ночь с 22 на 23 июля 1930 г. В эпицентре катастрофы оказались маленькие города, расположенные к северо-востоку от Неаполя, на границе областей Кампанья и Пулья. Здесь, по одиннадцатибалльной системе, сила толчков достигала 9—10 баллов. Зона сейсмических колебаний распространилась на 150—200 км и захватила Неаполь с окрестностями, в том числе и Сорренто.

Горький горячо откликнулся на несчастье итальянцев. М. А. Пешков по поручению отца несколько раз ездил на место катастрофы. Содержание его рассказов о всем виденном и услышанном Горький передал в письме И. А. Груздеву от 27 июля 1930 г. (*Архив Г*$_{XI}$, стр. 240—241).

Как видно из этого письма и других документов, Горький собрал о землетрясении колоссальный материал, на основе которого и написал очерк «Терремото». Вероятно, уже в первых числах августа 1930 г. работа над ним была закончена (см. письмо Горького П. П. Крючкову от 29 июля 1930 г.— Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-309).

Любопытна история *БА*. Японский переводчик и критик Исида Кёдзи, который в 1928 г. встречался, а потом переписывался с Горьким, узнал о катастрофе и, тревожась за судьбу писателя, послал ему 26 июля взволнованное письмо (см.: *Архив Г*$_{VIII}$, стр. 440). В благодарность за сердечную заботу, за сочувствие далекому народу Горький послал Исиде Кёдзи рукопись «Терремото» (там же). Исида Кёдзи тотчас же перевел очерк на японский язык: «Этот рассказ будет интересен для наших читателей,— уведомлял он автора в письме от 2 декабря 1930 г., — так как у нас только недавно было землетрясение ‹...› очень редко встречаются люди, которые могут так тонко передать напряженную деятельность мозга в минуту катастрофы и опасности, как это удалось Вам» (там же, стр. 442).

На японском языке очерк «Терремото» был опубликован в журнале «Кайдзо», 1931, № 1, со следующим примечанием от редакции: «Великий писатель мира Горький прислал из Сорренто рукопись рассказа „Терремото“, в котором с непревзойденным искусством переданы все оттенки того чувства страха, которое так хорошо известно нам, испытавшим ужасы землетрясения» (там же, стр. 444).

Исида Кёдзи летом 1969 г., приехав в Москву, передал рукопись в Архив А. М. Горького.

С т р. 283. *Изонцо* — имеются в виду ожесточенные бои в период первой мировой войны, происходившие между итальянской и австро-венгерской армиями в районе реки Изонцо (северо-восточная Италия).

С т р. 288. *Мессинская катастрофа...*— См. в т. XI наст. изд. примеч. к очерку «Землетрясение в Калабрии и Сицилии».

## РАССКАЗЫ О ГЕРОЯХ

(Стр. 289)

Впервые напечатаны в журнале «Наши достижения»: первый рассказ — 1930, № 4, апрель, стр. 76—82; второй — 1930, № 7, июль, стр. 62—69; третий — 1931, № 10-11, октябрь-ноябрь, стр. 107—109.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Черновой автограф первого рассказа (*ЧА*) с большой правкой (ХПГ-45-2-1).
2. Черновой автограф второго рассказа — *ЧА* (ХПГ-45-2-2).
3. Отрывок из черновой рукописи этого рассказа (ГЗ$_{VI}$-8-5).
4. Черновой набросок ко второму рассказу (ГЗ$_{VI}$-8-2).
5. Черновой автограф третьего рассказа — *ЧА* (ХПГ-45-2-3).
6. Авторизованная машинопись первого, второго (ХПГ-45-2-4) и третьего (ХПГ-45-2-5) рассказов (*АМ*) с незначительной правкой. В этой редакции рассказы опубликованы в книге: М. Горький. Рассказы о героях. Л.— М., ГИХЛ, 1932.

7. Часть листа в линейку, на котором в левом верхнем углу красным карандашом рукою Горького написано «Баба» (Архив А. М. Горького, $ГЗ_{XXII}$-15-15).

Печатаются по *АМ* с исправлениями по *ЧА*:

*Стр. 290, строка 22*: «выплыва-ат» вместо «выплывает».

*Стр. 292, строка 25*: «наскрозь» вместо «насквозь».

*Стр. 296, строки 4—5:* «был, он и появлялся чаще. Он тоже из солдат, артиллерист» вместо «был, артиллерист».

*Стр. 305, строка 28*: «и об детях» вместо «так о детях».

*Стр. 310, строка 35*: «ворчит» вместо «говорит».

*Стр. 315, строка 7*: «рогожники» вместо «рогожки».

*Стр. 320, строка 24*: «уверпуться» вместо «утвердиться».

*Стр. 321, строки 20—26*: «и попу трудно...— Загнав кол до половины ∞ обращается к собеседнику: — Вы гражданин» вместо «попу трудно...— Вы, гражданин».

Работу над первым рассказом цикла Горький начал, по-видимому, в феврале 1930 г., когда готовились материалы для четвертой книжки журнала «Наши достижения». 5 марта 1930 г. П. П. Крючков сообщал Горькому: «„Рассказы о героях“ и материал для четвертого номера „Н. Д.“ получил. № 4 готов почти и десятого марта сдаем в набор» (Архив А. М. Горького, КГ-п-41а-1-91).

Работа над вторым и третьим рассказами относится к лету и осени 1930 г.

С разрешения Горького первый рассказ был перепечатан в журнале «Будущая Сибирь», 1931, № 1, октябрь, стр. 5—12.

22 декабря 1930 г. Горький писал редактору этого журнала М. М. Басову: «Но в чем — конкретно — могла бы выразиться „поддержка“? Вот, например, в 4 и 7 номерах «Наших достижений“ напечатаны мои „Рассказы о героях“, я слышал, что они нравятся массовому читателю,— не хотите ли перепечатать их? Будет третий рассказ,— пришлю Вам в рукописи, если Вы не прочь печатать его одновременно с „Нашими достижениями“» (сб. «Горький и Сибирь». Новосибирск, 1961, стр. 177—180).

Тогда же Горький предложил Госиздату выпустить рассказы отдельной книгой, которая была подготовлена к печати при участии И. А. Груздева и увидела свет в 1932 г. Автор произвел некоторые сокращения и отредактировал произведения по *АМ*, присланной ему Груздевым. Последний свидетельствовал, что состав книжки определил сам Горький: «„Рассказы о героях“ выделены им вместе с Михаилом Вилоновым в особую книжку...» (Архив А. М. Горького, ХПГ-45-2-4).

Сохранились свидетельства, что Горький намеревался продолжить цикл произведений о героях, сделать их частью большой книги «Рассказы о героях» (см.: *Архив* $Г_{VI}$, стр. 235). Однако, будучи занят работой над «Жизнью Клима Самгина» и огромной общественной деятельностью, он не успел полностью реализовать замысел книги о простых людях Союза Советов, героях современности.

Читатели и литературная критика положительно оценили «Рассказы о героях». В статье, так и озаглавленной «Рассказы о героях», А. Мингулина писала:

«В этих рассказах Горький освещает геройство масс, малозаметное в обыденной жизни, и доказывает, что героев в Советском Союзе тысячи и все они достойны носить имя нового человека <...> Рост отсталой деревенской женщины Горький прекрасно показал в рассказе об Анфисе — батрачке в прошлом, кандидатке партии в настоящем» («Художественная литература», 1932, № 18, стр. 1).

О третьем рассказе в той же статье говорилось: «...с горьковским мастерством дан старик-крестьянин, из которого „земля жилы вытянула". Старик этот не враждебен советской власти, но он „вжился" в свое хозяйство, „вжился" в азиатское прошлое и с трудом принемлет новое. Он недоволен, он брюзжит на передовую молодежь — защитницу новых порядков<...> Но он не может не видеть преимуществ новой жизни, и мысль его поднимается до осознания, что „оборониться миру супротив их, племяпников-то этих, нечем! И понемножку переваливается деревня на ихнюю сторону. Это надобно признать".

В борьбе с этой косной силой, так реально и жизненно представленной в образе старика, нужна большая воля и выдержка, нужна та классовая непримиримость и убежденность, о которых говорил Михаил Вилонов» (там же, стр. 2).

Стр. 292. *Под Ляояном...* — Речь идет о сражении 17—21 августа (ст. ст.) 1904 г. у Ляояна (Маньчжурия), закончившемся поражением русской армии, которой командовал генерал А. Н. Куропаткин.

Стр. 292. *...мотался на фронтах от Черновицы города до Риги...*— В первую мировую войну 1914—1918 годов.

Стр. 293. *... Деникина гнали...*— Начало разгрома Деникина началось с Орловско-Кромской наступательной операции (с 11 по 27 октября 1919 г.). 12 декабря Красной Армией был занят Харьков, 16 декабря — Киев; в марте 1920 г. на Северном Кавказе войска Деникина были разгромлены окончательно.

Стр. 309. *...царя в Тобольск привезли.*— Арестованный Николай II с семьей был привезен в Тобольск летом 1917 г. и находился там до мая 1918 г.

Стр. 315. *Колчака бьют...*— В декабре 1918 г. восстания против Колчака происходили в Канске и Омске, в январе-апреле 1919 г.— в Бодайбо, Енисейске, Кольчугине, Тюмени, Красноярске, Омске. В декабре 1918 г. ЦК РКП (б) образовал особое Сибирское бюро для руководства подпольной партийной работой и партизанским движением в колчаковском тылу. Были созданы партизанские армии, координировавшие свои действия с наступательными операциями Красной Армии. В 1919 г. войска Восточного фронта под командованием М. В. Фрунзе нанесли армии Колчака сокрушительное поражение. Остат-

ки ее 6 января 1920 г. сдались в Красноярске. 7 февраля 1920 г. Колчак был расстрелян по приговору Иркутского ревкома.

Стр. 315. *Под городом Осой....*— недалеко от р. Камы (Пермской обл.).

Стр. 316. *...новая экономическая началась.*— В 1921 г. X съезд РКП(б) принял решение о НЭПе.

Стр. 317. *...ведь сказано вам: без женщины социализма не построить! Бебеля-то забыли? А Ленин что сказал?*— Ср.: «Женщина-пролетарий должна <...> вместе с мужчиной-пролетарием, ее товарищем по классу и судьбе, вести борьбу за коренное преобразование общества...» (А. Бебель. Женщина и социализм. М., 1959, стр. 44). «Женщина продолжает оставаться *домашней рабыней*, несмотря на все освободительные законы, ибо ее давит, душит, отупляет, принижает *мелкое домашнее* хозяйство, приковывая ее к кухне и к детской, расхищая ее труд работою до дикости непроизводительною, мелочною, изнервливающею, отупляющею, забивающею. Настоящее *освобождение женщины*, настоящий коммунизм начнется только там и тогда, где и когда начнется массовая борьба (руководимая владеющим государственной властью пролетариатом) против этого мелкого домашнего хозяйства, или, вернее, *массовая перестройка* его в крупное социалистическое хозяйство <...> Нет сомнения, что среди работниц и крестьянок имеется во много раз больше, чем нам известно, *организаторских талантов*, людей, обладающих умением наладить практическое дело <...> Но мы *не ухаживаем*, как следует, за этими ростками нового» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 39, стр. 24—25). Имеются также в виду слова В. И. Ленина: «Каждая кухарка должна участвовать в управлении государством» (Н. К. Крупская. Инесса Арманд.— «Правда», 1930, № 264, 24 сентября).

## ИВАН ВОЛЬНОВ

(Стр. 324)

Впервые напечатано в журнале «Красная новь», 1931, № 5-6, май-июнь, стр. 138—148, с примечанием: «Предисловие М. Горького для книги Ивана Вольнова, выходящей в ближайшее время в ГИХЛе». Имелось в виду: Иван Вольнов. Собр. соч., т. I, изд. 2. М.—Л., 1931, стр. 5—21.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Беловой автограф под заглавием «Иван Вольный» — *БА* (ХПГ-33-5-1).

2. Автограф отрывка без заглавия на двух страницах (ХПГ-33-5-2).

3. Авторизованная машинопись с правкой и подписью (ХПГ-33-5-3) — оригинал набора для ГИХЛа, о чем свидетельствуют пометки технического редактора, надпись «В набор» и штамп: «Печатать без изменений», дата: «19 апреля».

4. Машинопись (ХПГ-33-5-4), второй экземпляр с перенесенной на него — рукою М. И. Будберг — правкой Горького.

Печатается по тексту предисловия к названной книге с исправлениями по *БА*:

*Стр. 332, строки 17—18*: «он, сердито глядя в стакан, сказал» вместо «сердито глядя в стакан, он сказал».

*Стр. 336, строка 27*: «свою» вместо «твою».

*Стр. 339, строка 6*: «Вообще там все» вместо «Вообще все там».

Написано вскоре после смерти И. Е. Вольнова (1885—1931), последовавшей 9 января 1931 г. В письме от 16 марта Горький сообщал А. Б. Халатову: «... тороплюсь написать ‹...› воспоминания об Ив. Вольном для „Зифа“...» (*Архив $Г_X$*, кн. 1, стр. 246).

Первая встреча Горького и Вольнова произошла в Италии. Эмигрировав из России, Вольнов в январе 1911 г. приехал в Италию (Гос. музей И. С. Тургенева в Орле, ин. 4980, л. 39 об.) и в том же месяце встретился с Горьким на Капри (*$ЛЖТ_{II}$*, стр. 183).

Через год, переслав «Повесть о днях моей жизни» Вольнова в журнал «Заветы», Горький рекомендовал редактору этого журнала В. С. Миролюбову: «Ивана Егорова надобно печатать в журнале, конечно, и с первой же книжки,— это даст ей определенный вкус и запах» (*Г-30*, т. 29, стр. 216). Тогда же он писал редактору журнала «Вестник Европы» Д. Н. Овсянико-Куликовскому: «Прошу Вас: обратите внимание на повесть Ивана Вольного, она начнется печатанием с первой книги журнала, автор — орловский крестьянин. Мне эта вещь кажется очень интересной и даровито сделанной» (там же, стр. 214).

Интереса к Вольнову Горький не терял и в последующие годы. Они встречались в 1917 г. (см. в т. XVI наст. изд. примечание к произведению «В глубине России»); переписывались после отъезда Горького для лечения за границу. В 1928 г. по приглашению Горького Вольнов приехал в Сорренто, чтобы закончить здесь работу над последними частями «Повести о днях моей жизни». 19 января 1929 г. Горький сообщал Е. П. Пешковой: «Вольнов Иван работает с утра до поздней ночи, вижу его только за обедом, завтраком. Утверждаю — парень хороший» (*Лит Насл*, т. 70, стр. 53).

О неизменном уважении Горького к Вольнову свидетельствует дарственная надпись на первой части «Жизни Клима Самгина»: «Ивану Егоровичу Вольнову, старому товарищу, талантливому писателю с непоколебимым чувством дружбы. М. Горький. 28/VIII—28. Москва». (Экземпляр книги хранится в Орле, в Государственном музее И. С. Тургенева).

Стр. 324. *Иван Егорович Владимиров — Иван Вольнов...*— Настоящая фамилия писателя не Владимиров, а Во́льнов. Свои ранние произведения он подписывал псевдонимом «Иван Во́льный». В годы революционной деятельности был известен под кличками «Вольный», «Воробьев», «Касперович». Подлинное

имя писателя устанавливается по выписке из метрической книги, а также по паспорту, выданному в Неаполе русским консульством 3 мая 1917 г. (Хранятся в отделе рукописей Гос. музея И. С. Тургенева в Орле, фонд И. Вольнова).

Стр. 324. *...появился на острове Капри в 1909 или 1910 году.*— В Италию Вольнов приехал в январе 1911 г. (дата устанавливается по тетради Вольнова, хранящейся в Гос. музее И. С. Тургенева в Орле).

Стр. 324. *...приехал из сибирской ссылки.*— Из сибирской ссылки Вольнов бежал 27 июля 1910 г.; в октябре того же года в форме офицера пересек границу России, жил в Швейцарии, батрачил на фермах. 10 февраля 1912 г. Ив. Вольнов писал В. Л. Бурцеву с Капри: «За границей с октября 1910 года. Приехал сюда прямо из Сибири... Жил три месяца в Цюрихе, а потом по совету сведущих людей переселился в Италию. По убеждениям я — социалист-революционер, но партию в ее настоящем виде не особенно долюбливаю... Мне сейчас 27 лет» (ЦГАОР, фонд В. Бурцева).

Стр. 324. *Сослан был как член партии социалистов-революционеров...*— В революционное движение Вольнов включился в 1903 г., примкнув к эсерам. Вел пропаганду в деревне, распространяя нелегальную литературу (подробнее см.: *Минокин*, стр. 10—15, и *Вольнов*, стр. 25).

Стр. 324. *...тюремные надзиратели несколько раз избивали его...*— В первый же день заключения в «централ» Вольнова избили до полусмерти, облили соленой водой и бросили в карцер за то, что он потребовал, чтобы его перевели из камеры уголовников в камеру политических.

Стр. 324. *...в глухой сибирской деревне...*— В списке политических ссыльных Енисейской губернии (хранится в Гос. архиве Красноярского края) отмечено: «Вольнов (Воробьев) прибыл 9 декабря 1909 г. в дер. Кондратьеву, Рождественской волости, Канского уезда. Бежал 27 июля 1910 г.»

Стр. 324. *...там еще что-то открылось за тобой...*— Ср. в донесении Орловского губернатора от 3 декабря 1911 г. в департамент полиции: «Вольнов разыскивается прокурором Московского военно-окружного суда как обвиняемый в принадлежности к преступной организации, совершившей в 1908 г. в селе Куракине Мало-Архангельского уезда убийство учителя Наумова [1] и кражу паспортных бланок из Куракинского волостного правления» (Гос. архив Орловской области, ф. 883, оп. 1, ед. хр. 589).

Стр. 325. *...потолкался кое-где за границей...*— В заметке «О себе» Вольнов писал: «Бежал из Сибири за границу. Жил там до 1917 года — главным образом в Италии. Был во Франции, Англии, Швейцарии, Германии» (*Вольнов*, стр. 26).

Стр. 326. *Почти ежегодно приезжал Иван Бунин...*—

[1] М. Наумов — черносотенец, председатель Куракинского отдела «Союза русского народа»; убит единомышленниками Вольнова.

Бунин жил на Капри с середины марта до середины апреля 1909 г., в апреле 1910 г., с 9 ноября 1911 г. до 16 февраля 1912 г., с 16 ноября 1912 г. до 24 марта 1913 г. (см. *Г Чтения*, 1966, стр. 67—71).

Стр. 326. *...его земляка Н. С. Лескова...*— Лесков родился в с. Горохово Орловской губернии.

Стр. 329. *Чернов* В. М. (1876—1952) — один из теоретиков и лидеров партии эсеров.

Стр. 330. *...князя Куракина.* — Куракины — княжеский род, внесен в родословную князей Орловской и Пензенской губерний. Родители Вольнова — бывшие крепостные князей Куракиных. В период первой русской революции Куракинская волость была самой «беспокойной» во всей Орловской губернии.

Стр. 331. — *Вам бы, Иван Егоров, надобно писать об этом!*— В ранней автобиографии Вольнов рассказывал: «В январе 1911 года, затесавшись на Капри, показал Максиму Горькому то, что я писал в Цюрихе. Всё приставал к нему с вопросом, следует ли мне писать дальше. Просил, чтобы „честно" мне ответил. Горький ласково обходил вопрос, щадя мое самолюбие. Всё, что я показал ему, было плохо. Но напечатал это в амфитеатровском „Современнике" за 1911 год. Амфитеатров впихнул туда немало и отсебятины. Это мои первые шаги. После этого я совсем сорвался с цепи. Думал, испишу всю итальянскую бумагу стихами в прозе. Мучил Горького, таская рукописи на просмотр. Он исправлял, заставлял переписывать и бросать в сорный ящик. Как-то он стал расспрашивать о прошлом моем. Послушал и предложил написать это и именно так, как я рассказывал. Я год писал. Когда кончил, принес Горькому. Понравилось. Он выбросил всё лишнее, остальное же составило „Повесть о днях моей жизни". „Юность" написана уже самостоятельно. Вплоть до отъезда в Россию в 1913 году Горький возился со мной. Заставлял читать, исправлял рукописи» (цит. по кн.: Л. М. Клейнборт. Очерки народной литературы. 1880—1923 гг. Л., 1924, стр. 149).

Стр. 332. *...в 1902 году он начал бунтовать...*— Имеются в виду крестьянские волнения в Полтавской и Харьковской губерниях. Усмирение сопровождалось зверским избиением крестьян и многочисленными арестами. 1090 человек было отдано под суд («Процесс в Валках»). 2 октября 1902 г. в письме к В. Г. Короленко Горький поддержал группу московских адвокатов, которые отказались от защиты ввиду грубого нарушения ведения процесса над участниками крестьянских волнений 1902 г. и подали заявление в особое присутствие харьковской судебной палаты (*Г-30*, т. 28, стр. 270—271).

Стр. 332. *...содрал кожу с живого быка...*— Ср.: И. А. Бунин. Собрание сочинений в 9 томах, т. 3. М., 1965, стр. 273.

Стр. 334. «*О, какая тоска была...*» — Из рассказа «Захар Воробьев» (цит. по «Сборнику товарищества „Знание" за 1912 год» кн. 38. СПб., 1912, стр. 19).

Стр. 334. «*Деревня*» — Вначале был опубликован отрывок под названием «Утро» в газете «Утро России», 1909, № 34-1,

15 ноября. Впервые целиком, с подзаголовком «Повесть», напечатано в журнале «Современный мир», 1910, № 3,стр. 5—65.

Стр. 334. *Написал «Суходол» ∽ опомнился — «Деревню» написал.* — «Суходол» написан после «Деревни», во второй половине 1911 г.; впервые напечатан в журнале «Вестник Европы», 1912, № 4, стр. 3—60

Стр. 334. *Лично Бунина он не любил.*— 12 мая 1914 г. Вольнов писал А. С. Новикову-Прибою: «Я понимаю Бунина, который пытается меня „изничтожить": на его месте я, вероятно, еще яростнее поступал бы. У него недостаток: при большой наличности желчи он трусливо „барственен", надо бы быть искреннее: есть коготки — не прячь, и так ведь всем известно, что человек с коготками» (Институт мировой литературы им. А. М. Горького, рукописный отдел., ф. 80, оп. 1, ед. хр. 30).

Стр. 335. *Он уже работал над «Повестью о днях моей жизни...»* — «Детство» и «Отрочество», составившие две первые части «Повести о днях моей жизни», написаны в 1911 г. на Капри. Горький был редактором. Рукопись с его правкой не разыскана. Повесть впервые напечатана в журнале «Заветы», 1912, № 1—4, апрель—июль; № 8 и 9, ноябрь и декабрь, под заглавием «Повесть о днях моей жизни, радостях моих и злоключениях».

Стр. 336. *...мужик перегрызал горло живому петуху, ревнивая баба ∽ пьяной бобылки.*— В окончательную редакцию произведения не вошло.

Стр. 336. *...и всякие Родионовы.*— Имеется в виду черносотенец И. А. Родионов и его книга «Наше преступление. Не бред, а быль. Из современной народной жизни» (несколько изданий в 1909—1910 гг.). По словам Горького, книга рекомендовала «водворять мир посредством виселиц» (*Г-30*, т. 29, стр. 157).

Стр. 337. *...романы Ренэ Базена, Эстонье... — Рене Базен* (1853—1932) — французский писатель, автор романов «Умирающая земля», «Возрождающаяся земля», «Донасьен». *Эстонье* Эдуард (1862—1942) — французский писатель, автор романов «Жюльен Дарто», «Лабиринт», «Дубле Баллерон».

Стр. 337. *...прочитав «Последнего барона» Лемонье... — Лемонье* Камилл (1844—1913) — бельгийский романист, автор книг «Конец буржуа», «Адам и Ева», «Ветрогон». В романе «Последний барон» показано крушение феодальных порядков под натиском капитализма.

Стр. 338. *«...выварить мужика в фабричном котле...»* — Эти слова впервые употребил экономист Н. И. Зибер в беседе с Н. К. Михайловским в 1878 г. Последний в своей статье «Литература и жизнь» вспоминал: «Добрый человек, наверное, никому в жизни не сделавший зла сознательно, он не смущался, однако, тем множеством скорбей и страданий, которыми сопровождается вторая ступень гегелевской триады, — они неизбежны и сторицею окупятся на заре новой жизни. „Пока мужик не выварится в фабричном котле, ничего у нас путного не будет" — говорил Зибер» («Русская мысль», 1892, № 6, стр. 195—196; см. также: Н. К. Михайловский. Литературные воспоминания и

современная смута, т. I. СПб., 1900, стр. 338—339; Н и к о л а й — о н. Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства. СПб., 1893, стр. 342).

С т р. 338. *Азеф* Е.Ф. (1869—1918) — см. в наст. изд. т. XVI, стр. 606.

С т р. 338. *...женился на одной из эмигранток...* — На певице Сарре Григорьевне Гольдберг (1893—1961). Сын Илья родился в 1913 г., учился в гимназии, затем в университете г. Неаполя; в 1937 г. вернулся в СССР, участвовал в Великой Отечественной войне, впоследствии доктор химических наук, старший научный сотрудник Академии наук СССР.

С т р. 338. *В Россию Вольнов вернулся в 1917 году, весной.*— Вернувшись на родину, в с. Богородицкое Куракинской волости (Орловская губ.), Вольнов принял активное участие в общественной деятельности на стороне эсеровской партии, был комиссаром Временного правительства в Малоархангельском уезде, прошел по эсеровскому списку в Учредительное собрание.

С т р. 338. *...изображено им в повести...* — Имеется в виду повесть «Комиссар Временного правительства», законченная автором вчерне (Гос. музей И. С. Тургенева в Орле, фонд И. Вольнова).

С т р. 338. *Я встретился с ним в Москве в 1920 году...*— Ошибка памяти: в 1920 г. Вольнов находился в Самаре, откуда вернулся в 1921 г. Раньше Горький и Вольнов могли встречаться в декабре 1917 — начале января 1918 г. в Петрограде, где Вольнов находился как член Учредительного собрания, и в 1919 г. в Москве.

С т р. 338. *Ильич выручит...*— После первого ареста Вольнова Ленин по просьбе Горького телеграфировал: «Телеграмма Орловскому губисполкому, 12.IV.1919 г. Орел, губисполком. Копия Малоархангельск, уисполком. Арестован литератор Иван Вольный. Горький, его товарищ, очень просит о наибольшей осторожности, беспристрастии расследования. Нельзя ли освободить под серьезный надзор? Телеграфпруйте. Предсовнаркома Ленин» (В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 50, стр. 280). Летом местные власти снова арестовали Вольнова, затем выпустили его, но 15 сентября арестовали в третий раз (см. в наст. томе, стр. 37—38). Освободив Вольнова по распоряжению Ленина, местные власти не вернули писателю его рукописи. Снова вмешался Ленин: «Телеграмма председателю Орловского исполкома. Орел, председателю исполкома. Копия председателю ЧК. Совершенно немедленно вышлите в Москву, Кремль, Совнарком все рукописи, отобранные на обыске у писателя Ивана Вольного. Сохранность их на вашей личной ответственности. Исполнение телеграфируйте. Предсовнаркома Ленин» (В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 51, стр. 70).

С т р. 339. *...был у Ленина.*— Осенью 1919 г. Вольнов был вызван в Москву на прием к Ленину и в более чем двухчасовой беседе «эпически рассказывал Владимиру Ильичу и хорошее и дурное, ничего не скрывая, ничего не прикрашивая». Подробнее об этом см.: *Минокин*, стр. 63—64.

С т р. 339. *Зря болтался в разных местах.* — В начале 1918 г. Вольнов вместе с А. С. Новиковым-Прибоем и М. А. Пешковым ездил в Барнаул за хлебом для Москвы. Летом он снова поехал в Сибирь за хлебом для голодающих центров России, но на Урале (Кунгур) был отрезан «добровольческой армией», созданной так называемым Самарским правительством, и провел несколько месяцев в Самаре. Вырвавшись из Самары, порвал с эсерами и почти безвыездно жил в селе Богородицком до поздней осени 1919 г., когда, по совету Ленина, покинул на время родные места. Вплоть до марта 1921 г. вел борьбу с эпидемией тифа в Поволжье.

С т р . 340. *...наблюдал тех «вождей»...* — В Самаре 8 июня 1918 г. было организовано марионеточное эсеро-меньшевистское правительство «Комитет членов Учредительного собрания» (Комуч), находившееся под сильным влиянием американского вице-консула в Самаре Вильямса. Это правительство, которое народ прозвал «самарской учредилкой», состояло в значительной своей части из эсеров — бывших членов контрреволюционного Учредительного собрания (см.: История гражданской войны в СССР, т. 3. М., 1957, стр. 197).

С т р. 340. *...в повести «Встреча».*— Напечатана в журнале «Молодая гвардия», 1927, №№ 3—5. Отзыв об этой повести содержится в письме Горького автору от 29 апреля 1927 г. (см.: *Лит Насл*, т. 70, стр. 61—62).

С т р. 340. *«Вам, мои единомышленники...»* — Цит. с сокращениями по журналу «Молодая гвардия», 1927, № 3, стр. 3.

С т р. 342. *Живя в Сорренто...*— Летом 1928 г. Вольнов встречался с Горьким в Москве и по его приглашению в ноябре приехал в Сорренто, где прожил до апреля 1929 г.

С т р. 343. *...отец, желая спасти сына...*— См. *Вольнов*, стр. 384—385.

С т р. 344. *...напротив дома, где я живу...* — В отеле «Минерва».

С т р. 344. *...горячо взялся за трудную работу организации деревни на началах коллективизма.*— Еще в 1923 г. Вольнов в с. Богородицком, в бывшем владении князей Куракиных, организовал товарищество по совместной обработке земли. Позднее из товарищества вырос колхоз, председателем которого стал Вольнов. После смерти писателя колхозу было присвоено его имя. Об истории куракинской артели Вольнов рассказал в очерках «Новая земля» («Молодая гвардия», 1927, № 6), «Мужицкая артель» («Наши достижения», 1929, № 1). Последний был отредактирован Горьким и печатался по его рекомендации.

С т р. 344. *«Мы свой, мы новый мир построим!»* — Несколько видоизмененная строка из «Интернационала».

## КАМО

(Стр. 345)

Впервые напечатано в переводе на грузинский язык в газете «Салитературо газети» (Тбилиси), 1932, № 4, 21 февраля; на русском языке — в газете «Заря Востока» (Тбилиси), 1932, № 161, 12 июля, и в журнале «30 дней», 1932, № 8, стр. 11—15. Через два года перепечатано в качестве предисловия к книге: Б. Бибинейшвили. Камо. М., 1934, стр. 17—29.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Черновой автограф части текста (ХПГ-35-15-2).

2. Беловой автограф (*БА*) всего текста, кроме написанных позднее вставок (ХПГ-35-15-1).

3. Авторизованная машинопись (*АМ*), снятая с этого автографа (ХПГ-35-15-4).

4. Авторизованные машинописные дополнения к *АМ* (ХПГ-35-15-3).

Печатается по тексту *АМ* со следующими исправлениями по *БА*:

*Стр. 345, строки 3—4*: «где теперь помещается ВЦИК» вместо «где еще недавно помещался ВЦИК».

*Стр. 345, строки 7—8*: «революционной борьбою рабочих» вместо «революционной работой рабочих».

*Стр. 345, строка 17*: «утомленные трудами» вместо «утомленные трудом».

*Стр. 349, строки 35—36*: «гениальная симуляция душевнобольного, симуляция, которая» вместо «гениальная симуляция, которая».

*Стр. 351, строка 9*: «очень целомудренным юношам» вместо «целомудренным юношам».

*Стр. 351, строка 30*: «свежесть и сила» вместо «сила и свежесть».

19 апреля 1931 г. в «Правде» и «Известиях ЦИК СССР и ВЦИК» появилась статья Горького «О работе неумелой, небрежной, недобросовестной и т. д.» В ней, наряду с другими изданиями, была подвергнута резкой критике только что вышедшая книга Алексея Окулова «Камо». Горький писал, что это сочинение «компрометирует фигуру Камо, революционера, который обладал почти легендарным бесстрашием, был изумительно ловок, удачлив и в то же время детски наивен. „Историческая точность“ Окулова — неправда: он не мог знать, как и что говорил Камо в Моабитской тюрьме Берлина и в психиатрической больнице Герберга врачам-психиатрам, симулируя безумие 〈...〉 Неправда, что „отсутствуют“ материалы, — Камо в 1921 году работал над своей автобиографией и написал очень много,— материал этот, вероятно, находится у его жены, Медведевой» (*Г-30*, т. 25, стр. 474—475).

Это выступление Горького послужило поводом к его переписке с сестрой Камо — Джаваирой Хутулашвили. 3 мая 1931 г. Д. Хутулашвили обратилась к Горькому с письмом, в котором

благодарила за оценку книги Окулова и сообщала, что Госкинпром Грузии взялся за постановку картины «Камо». «...автобиографии Камо не оставлял, не успев это сделать»— писала Д. Хутулашвили.—И далее: «Сохранились его записки только до 1905 года, после же этого времени всё приходится восстанавливать, прибегая к помощи живых свидетелей его деяний» (Архив А. М. Горького, КГ-рл-28-57-2). Горький ответил 31 октября 1931 г.: «Получив Ваше письмо, т. Джаваира, очень живо вспомнил дорогого Камо 〈...〉 Рад узнать, что Госкино Грузии ставит картину „Камо“〈...〉 нужно показать Камо так просто и правдиво, таким беззаветно храбрым, спокойным и ясным, каким он был. Он был человеком без позы и был художником революции» (*Г-30*, т. 30, стр. 230).

7 декабря 1931 г. Д. Хутулашвили писала Горькому: «Один из наших товарищей — Бибинейшвили (партклички — Барон), товарищ по подполью Камо, один из старейших большевиков Грузии, ныне директор Государственного музея и заведующий Госиздатом Грузии — написал первую обстоятельную и документальную биографию Камо 〈...〉 Как бы Вы 〈...〉 отнеслись к просьбе моей и автора — написать о Камо статью, которая — кроме того, что ей следовало бы появиться в журналах по случаю близкого десятилетия со дня смерти Камо — послужила бы также предисловием в книге ...» (*Г и Грузия*, стр. 122).

Горький ответил согласием, судя по письму к нему Д. Хутулашвили от 29 декабря 1931 г.: «Сегодня получила Вашу депешу, которая несказанно обрадовала и меня и автора книги 〈...〉 воспоминания 〈Ваши〉 совпадут с 10-летней годовщиной смерти Камо 〈...〉 в ожидании столь ценного для нас Вашего материала с удвоенной энергией заканчиваем нашу работу» (Архив А. М. Горького, КГ-рл-28-57-3).

Работать над воспоминаниями о Камо Горький начал в конце декабря 1931 г. К 23 января 1932 г. работа была закончена; посылая в этот день П. П. Крючкову из Сорренто ряд материалов, Горький в числе прочих назвал «копию предисловия к издаваемой в Тифлисе книге о Камо». И замечал: «Предисловие это можно, пожалуй, включить в книжку „О героях“» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-406). Через три дня писатель решил дополнить отправленный текст двумя вставками: «К заметке о Камо будут дополнения,— писал он Крючкову 26 января того же года.— Вы ее — пока — не давайте в печать» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-409). В течение следующих трех дней эти дополнения были написаны, и 29 января 1932 г. произведение в законченном виде было послано Б. Бибинейшвили. В сопроводительном письме говорилось: «Посылаю маленький этюд о Камо, написать больше — не могу, нет времени» (*Г и Грузия*, стр. 123).

3 марта 1932 г. Б. Бибинейшвили уведомил Горького, что присланные им воспоминания «приложены — в качестве предисловия — к книге 〈...〉 переведены на грузинский язык, напечатаны в нашей грузинской литературной газете и прочтены по радио» (Архив А. М. Горького, КГ-п-8-12-2).

Этюд Горького о Камо был положительно оценен читателями. «...недавно я прочитал биографию Камо (книга Б. Бибинейшвили, с Вашим предисловием),— писал Горькому украинский писатель А. С. Левада 18 мая 1935 г.— Она потрясла меня настолько, что я не мог успокоиться, пока не начал писать драматическую поэму „Камо“» (Архив А. М. Горького, КГ-пп-а-15-10).

О. Д. Форш, написавшая пьесу «Камо», сообщала Горькому 3 апреля 1936 г.: «В основу его ⟨Камо⟩ характера взято мною очень выразительно закрепленное Вами впечатление от этого необыкновенного человека» (*Лит Насл*, т. 70, стр. 613).

Стр. 345. *Камо* — партийный псевдоним профессионального революционера, активного участника революционных событий на Кавказе в 1905 г., героя гражданской войны Симона Аршаковича Тер-Петросяна (1882—1922).

Стр. 345. *...боевая дружина грузин...*— Боевая дружина Московского Комитета партии, которой была поручена охрана квартиры Горького и его самого (см. *Архив Г*$_{XI}$, стр. 319, а также: *Г и Грузия*, стр. 51).

Стр. 345. *...убитого мерзавцем Михальчуком.*— Н. Э. Бауман был убит 15 (28) октября 1905 г. Убийство организовано полицейскими-черносотенцами. Исполнитель преступления — Н. Ф. Михалин, бывший гвардейский солдат, надзиратель в рабочем бараке, ставший впоследствии агентом Петербургского охранного отделения.

Стр. 345. *Арабидзе* В. О. (1881—1951) — активный участник революционного движения в Грузии, а также Московского декабрьского вооруженного восстания. Он вспоминал: «Охранять дом Максима Горького поручили кавказской дружине, которой руководил я» (*Г и Грузия*, стр. 43).

Стр. 345. *...он застрелил в 908 году...* — Публикация воспоминаний Горького о Камо в газете «Заря Востока» сопровождалась следующим примечанием Б. Бибинейшвили: «Упоминаемый тов. М. Горьким генерал — не Азанчеев-Азанчевский, а Алиханов-Аварский, в убийстве которого принимал участие один из дружинников т. Арабидзе, а не он лично» («Заря Востока», 1932, № 161, 12 июля). Генерал-лейтенант М. Алиханов-Аварский в 1905—1906 гг. был военным губернатором Кутаисской области. Убит в Александрополе (теперь город Ленинакан).

Стр. 347. *...князь Дадешкелиани, знакомый по Тифлису.*— В период революционных событий в Грузии в 1905 г. Камо ездил в Петербург для получения взрывчатых веществ и оружия. Паспорт у него был выправлен на имя предводителя дворянства князя Коки Дадиани.

Стр. 348. *...арестован в Берлине и его едва ли спасет.*— Камо был выдан провокатором и арестован в Берлине 9 ноября 1907 г. Будучи заключен в тюрьму Альт-Моабит, в течение двух лет симулировал безумие. 4 октября (21 сентября ст. ст.) 1909 г. был выдан германскими властями царскому

правительству. Тогда же заключен в Метехский замок в Тифлисе; продолжал симулировать безумие до побега из тюрьмы 15(28) августа 1911 г.

С т р. 349. *...где-то в Дидубе...*— Народное название северной части города Тбилиси; ныне входит в Первомайский район.

С т р. 350. *Лично с Камо я познакомился в 20 году в Москве, в квартире Фортунато*[1]. — Горький познакомился с Камо осенью 1920 г. Одна из их встреч состоялась 27 октября 1920 г. В этот день Ленин присутствовал «на докладе инженера Р. Э. Классона о гидравлическом способе добычи торфа» (В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 41, стр. 683). В воспоминаниях жены Камо — С. В. Медведевой-Петросян — сообщается: «Однажды Владимир Ильич и самолично побывал у нас. Случилось это так. Инженер Классон делал в Кремле в зале Свердлова доклад об электрификации нашей страны. После доклада Владимир Ильич, А. М. Горький, М. Ф. Андреева и другие товарищи пришли вместе с Камо к нам» (Архив А. М. Горького, МоГ-9-23-2).

С т р. 350. *Он готовился поступить в военную академию.*— В цитированных воспоминаниях С. В. Медведевой-Петросян рассказывается: «Осенью 1920 года В. И. Ленин предложил Камо посвятить себя военной специальности. В связи с этим ему пришлось проходить подготовку для поступления в Военную Академию» (Архив А. М. Горького, Мог-9-23-2).

С т р. 351. *Он 〈...〉 юношески романтично был влюблен в хорошую женщину со а не будет ли женитьба изменой делу революции?* — С. В. Медведева-Петросян вспоминает: «Когда мы с Камо решили оформить наши отношения, он предупредил меня, что регистрируется со мной как советский гражданин. Как член партии он жениться не может, потому что он вечный жених революции и никаких других обязательств брать на себя не может 〈...〉 Зарегистрировались мы с ним 13 ноября 1920 года. Свидетелями нашими были приглашенные Камо А. М. Горький и А. М. Игнатьев» (Архив А. М. Горького, МоГ-9-23-2).

С т р. 351. *Просил Ильича...* — В 1921 г. Камо написал письмо В. И. Ленину с просьбой принять его для делового разговора. «При состоявшейся встрече с Ильичом Камо предложил направить его на диверсионную работу в одно из буржуазных государств. Конечно, предложение это сильно рассмешило Ленина, однако он со свойственной ему человечностью терпеливо объяснил Камо, в чем заключается неправильность его оценки международного положения нашего Союза в тот момент» (Архив А. М. Горького, МоГ-9-23-2).

С т р. 352. *Я стал уговаривать его писать воспоминания...*— «По инициативе А. М. 〈Горького〉 машинистка-стенографистка записала автобиографию Камо, но, к сожалению, довела ее только до 1905 года» (там же). Воспоминания Камо опубликованы частично в кн.: Б. Б и б и н е й ш в и л и. Камо. Указ. изд., стр. 35—80.

---

[1] Фортунато С. В. — мать С. В. Медведевой-Петросян, жены Камо.

Стр. 353. *Триадзе* — партийный псевдоним социал-демократа Власа Мгеладзе (р. 1868), который долго не находил своего места ни среди меньшевиков, ни среди большевиков. В.И. Ленин, сообщив в одном из писем Горькому об аресте «Триа», заметил: «Жаль хорошего парня. Революционер» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 48, стр. 11).

## ОБ ИЗБЫТКЕ И НЕДОСТАТКАХ

(Стр. 355)

Впервые напечатано в журнале «Наши достижения», 1934, № 1, январь, стр. 10—22(*НД*).

В том же году очерк вышел отдельными книгами: М. Горький. Об избытке и недостатках. М., «Крестьянская газета», 1934; М. Горький. Об избытке и недостатках. М., Гослитиздат, 1934.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Черновой автограф, неполный экземпляр (ХПГ-42-1-2).
2. Беловой автограф — *БА* (ХПГ-42-1-1).
3. Авторизованная машинопись с незначительной правкой — *АМ* (ХПГ-42-1-3).

Печатается по тексту названного издания Гослитиздата со следующими исправлениями:

*Стр. 355, строка 31*: «мужичок» вместо «мужчина» (по *БА*).

*Стр. 361, строка 25*: «ничего» вместо «нет чего» (по *АМ* и *НД*).

*Стр. 366, строки 23—24*: «— А ты бы не ворчала, мама,— посоветовала дочь.— Она без этого не живет,— сказал Егорша» вместо «— А ты бы не ворчала, мама,— сказал Егорша» (по *БА*).

*Стр. 366, строка 29*: «язык-от...» вместо «язык-то...» (по *БА*).

*Стр. 367, строка 23*: «капает» вместо «каплет» (по *АМ* и *НД*).

Очерк «Об избытке и недостатках» написан Горьким, по-видимому, в конце 1933 г.

Редакция «Крестьянской газеты» просила читателей присылать свои отзывы; читатели живо откликнулась на эту просьбу.

Рабочий Е. Е. Абакумов отмечал в своем письме, что «избытки ужасов прежней деревни» изображены Горьким «очень художественно», что «автор мастерски раскрасил всё это такими черными красками, какими можно раскрашивать черноту жизни, ее вечный беспросветный гнетущий сумрак». Далее Абакумов писал, что «ничего плохого нельзя сказать и о второй части ‹...› И если эту книжечку прочитают многие партийцы, то они не замедлят взять пример с этого замечательного партийца, о котором рассказал М. Горький ‹...› Очень хорошо показана забота Советской власти о женщинах, о детях». Отзыв об очерке Абакумов закончил словами: «Я думаю, что все, как и я, будут рады тому, что великий мастер литературы М. Горький появ-

ляется на стройке дней социализма, в среде колхозников. Эту книжечку все, как и я, примут с великой радостью, и не замедлят еще крепче полюбить нашего пролетарского писателя Алексея Максимовича Пешкова» (Архив А. М. Горького, ОПГ-1-1-1).

Работник низовой печати Елесина сообщала 16—19 мая 1934 г.: «Эту книжку с большим интересом читают колхозники» (Архив А. М. Горького, ОПГ-3-44-1).

П. В. Малахов из Борисоглебского автодорожного техникума писал: «...я должен сказать, что рассказ написан четко, понятно, простым языком, который доступен каждому читателю ⟨...⟩ Этот рассказ дает полное представление о двух периодах быта трудового населения» (Архив А. М. Горького, ОПГ-5-41-1).

М. И. Суетнов из города Лукояновска, Горьковского края, говоря о достоинствах произведения, сводил их к «следующим главным моментам»:

«а). Старому и молодому читателю крепко запоминается *различие* между старой и новой деревней.

б). Горьковская простота изложения и ясность, образность, меткость характеристик и сравнений.

г). Почти *фотографическая* точность изображения деревни (старой и новой).

д). Правильно (очень правильно!) охвачены перспективы, которыми живет колхозник сегодня, к которым он стремится послезавтра».

«А это,— заключал Суетнов,— по-моему, и есть тот (загадочный для некоторых авторов) социалистический реализм, о котором много (подчас бестолково) пишут в журналах и газетах» (там же).

73 колхозника из колхоза «Красный пахарь» писали самому Горькому:

«С огромной радостью и вниманием прочитали мы в журнале „Наши достижения“ твой рассказ „Об избытке и недостатках“. Очень хороший, правдивый рассказ. Каждый из нас вспомнил всю свою жизнь — от детства до сегодняшней колхозной жизни. А нам было что вспомнить! Хотя и по-разному жили мы, но, по-честному говоря, все мы жили не лучше такого пропащего бедняка, как описанный тобою Егорша ⟨...⟩ Ты хорошо, дорогой Алексей Максимович, описал эту звериную, скотскую жизнь в своем рассказе. Вспомнили мы, слушая твой рассказ, о проклятом прошлом. Но вспомнили только для того, чтобы еще упорнее строить наше настоящее» (Архив А. М. Горького, КГ-коу-2-56-1).

Эти и другие письма редакция «Крестьянской газеты» передала Горькому. Они настолько заинтересовали его, что он счел необходимым публично ответить на них. Горький, в частности, писал, отвечая на упрек читателя Н. В. Белоусова, что рассказ «не дает полной картины современной колхозной деревни»: «Отвечаю на деловитые указания товарища Белоусова не ради полемики с ним и не для оправдания указанных им недостатков второй части рассказа, а для объяснения причины этих недостатков. Причина, конечно, в том, что прошлое известно мне

сравнительно хорошо, а настоящее не так хорошо. Если б не мешал мне возраст мой, я бы, разумеется, походил годика два пешком по колхозам и тогда „набил бы зоб“ себе отборнейшими зернами фактов коллективного творчества работников полей и фактами пережитков грязной старины. Но я очень много вижу таких же честных, умных строителей новой жизни, каков, видимо, сам Белоусов, и думаю, что эти встречи дают мне право говорить о жизни полным голосом.

Вольнодумная старуха — тип, должно быть, уже не редкий, я довольно часто встречаю таких, да и раньше знавал их немало. Не редкость, мне кажется, и „фатоватые“ дети героев-отцов, ведь вообще „героев“, которые живут за счет чужих заслуг перед рабочим народом, у нас немало. Товарищ Белоусов правильно отгадал: речь идет именно о Горьковском крае, а он, как известно, не хлебороден. Письмо товарища Белоусова мне очень понравилось» (*Г-30*, т. 27, стр. 371—373).

Переходя к анализу других писем, Горький писал:

«Очень интересно своим критицизмом письмо Курина из города Инсар Мордовской автономной области:

„Книжка ясно рисует, какие недостатки у нас являются общими: теснота, бескультурность, отсутствие культурных учреждений — клубов, театров и т. д. Но вот однажды мне колхозники заметили:

— Тут указываются наши недостатки, а насчет того, как их изжить, мало говорится. Приятель-то Горького говорит, что вместо пальто скотину бы купить надо, а, по-нашему, это не совсем верно. Это и раньше было — скотину заводили, а сами в лохмотьях да по колено в грязи ходили. Тут что-то другое предложить надо.

Другой колхозник сказал:

— Крестьяне много просили от заехавшего к ним товарища, были довольны его беседой, а вот как он им помог в их просьбе, в книжке не видно. Вот было бы нам понятнее и лучше, если бы Горький постарался бы справиться у своего приятеля и дописать книжку, как теперь живут крестьяне того села, есть ли у них электричество, радио и клуб да еще какие у них недостатки после этого появились?

По-моему, предложение очень уместное, книжку нужно продолжить, она тогда отразит шаги советской деревни по лестнице к социалистическому обществу 〈...〉 Не мог Егорша думать о радио, когда у него на ужин хлеба не было. Это понимают все, кто читает или слушает книжку, но больше говорят, что ее *нужно продолжить*“ 〈...〉

«Странное впечатление вызывают категорические заявления одного из „низовых“ авторов — Воронова.

„Очень уж взята бедная семья, каких надо было с огнем поискать. Мозг говорит: нет, таких жизней не было“.

«Люди, с которыми он беседовал о рассказе, тоже не верят и считают, что условия жизни батрака Егорши показаны неправдиво: „Пошли к шутовой матери, чтоб люди жили в бане, да в таком виде! Да *я* бы глинянку смазал“.

«Очерк „Об избытках и недостатках“ написан по впечатлениям, которые я вынес из Орловской губернии, где в ту пору часть крестьянства жила еще в „курных избах“, то есть с печами без труб, выводящих дым; печи топились „по-черному“, дым шел в избу, и, чтобы не задохнуться в дыме, дети во время топки печей сидели и валялись на полу. Вероятно, по этой причине Орловская губерния изобиловала слепыми нищими.

«Воронов и его собеседники живут в Горьковском крае, деревня Молебное, недалеко от Большого Мурашкина, а Мурашкино — село богатое, как большинство приволжских сел,— особенно среднего плеса Волги: от Оки до Камы. Мурашкино почти сплошь занималось шитьем тулупов и полушубков, раздавая работу и по ближайшим деревням. На мурашкинских шубников работал весь этот край, помнится, работала на них и Молебная. Места эти я знаю, бывал и в Молебной, но особенно жуткой нищеты в этих местах не помню, мужик в них был достаточно сыт и сильно пьянствовал. А батраками у них были, в большинстве, чуваши и мордва — „эрзя“. Но на полсотни, на сотню верст вглубь от берегов „кормилицы Волги“ начинались жестокая бедность и нищета, начинались деревни, сплошь зараженные трахомой и „бытовым“ сифилисом. Распространению сифилиса отчасти способствовала церковь посредством „таинства причастия“, ибо после причастия одной и той же пеленою отирались губы больных и здоровых. Особенно же сильна была нищета уездов Арзамасского и Лукояновского.

«Подробную критику моего очерка 〈...〉 данную Вороновым, я считаю почти образцовой критикой литературной техники и намерен опубликовать ее в поучение профессиональным критикам. Но должен сказать Воронову и собеседникам его, что, опираясь на опыт только своего курятника, петух будет ошибочно судить о жизни всех других птиц. Воронов очень плохо знает недавнее прошлое крестьянства, так плохо, как будто и не хочет знать и даже как будто изображение нищеты деревенской несколько обидело его. Можно подумать, что Воронов верует в песенку из оперы „Аскольдова могила“:

В старину живали деды
Веселей своих внучат.

А эта песенка — кулацкая» (*Г-30*, т. 27, стр. 372—376).

На просьбу читателей «дописать книжку» Горький ответил: «Это будет сделано, товарищи!». Смерть помешала ему выполнить свое обещание.

С т р. 370. *Автодор* — общество содействия развитию автомобильного транспорта, тракторного и дорожного дела в СССР; организовано в 1927 г.; тогда же был выпущен государственный заем Автодора. По инициативе Общества, в 1933 г. был организован автомобильный пробег по маршруту Москва — пустыня Кара-Кум—Москва.

## ТУМАН

(Стр. 376)

Впервые напечатано в журнале «За рубежом», 1934, № 6, 25 февраля, стр. 4.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Черновой автограф, без заглавия (ХПГ-46-19-1).

2. Беловой автограф без заглавия; перед текстом рукой Горького синим карандашом поставлена цифра «2» (ХПГ-46-19-2).

3. Два экземпляра авторизованной машинописи с правкой и подписью; в первой машинописи заглавие вписано от руки Горьким (ХПГ-46-19-3 и 4). Это произведение имеет и другое заглавие: «Музыка в тумане» — Архив А. М. Горького, ХПГ-49-17-1.

Печатается по тексту журнала «За рубежом».

Задумано и написано в конце 1933 — начале января 1934 г. Предназначалось для журнала «За рубежом» в качестве образца «полубеллетристических очерков» на темы зарубежной жизни (*Г-30*, т. 26, стр. 385).

3 декабря 1932 г. М. Е. Кольцов, ставший одним из редакторов журнала «За рубежом» после его реорганизации, обратился к Горькому с просьбой: «Хорошо, если Вы писали бы для „За рубежом“, хотя бы даже короткие, но постоянные заметки о явлениях современной жизни, о вновь прочитанных Вами книгах, встреченных людях, поучительных фактах» (*Архив* $Г_{X}$, кн. 2, стр. 236).

По-видимому, в ответ на эту просьбу Горьким и были написаны «Туман» и «Пейзаж с фигурой».

## ПЕЙЗАЖ С ФИГУРОЙ

(Стр. 380)

Впервые напечатано в журнале «За рубежом», 1934, № 6, 25 февраля, стр. 4.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Черновой автограф, без заглавия (ХПГ-42-1-2).

2. Два варианта небольшого наброска, по содержанию примыкающего к произведению: ХПГ-42-1-2 и ХПГ-33-9-1.

3. Два экземпляра авторизованной машинописи с правкой (ХПГ-42-10-1 и 2). Вторая машинопись — с подписью автора и вписанным им заглавием.

Печатается по тексту журнала «За рубежом».

Задумано и написано в конце 1933 — начале января 1934 г. (см. примеч. к предыдущему произведению). Творческая история очерка связана с рядом других — осуществленных и неосуществленных — замыслов писателя, относящихся к 30-м годам. Черновая рукопись наброска является частью единого автографа, включающего в себя материалы к произведениям «Об избытке и недостатках», «Шорник и пожар» и другим (см. в наст. томе стр. 355 и 382, а также *Архив* $Г_{VI}$, стр. 116 и 126).

## ШОРНИК И ПОЖАР

(Стр. 382)

Впервые напечатано в журнале «Колхозник», 1934, № 1, октябрь, стр. 5—14.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Черновой автограф — *ЧА* (ХПГ-48-6-1).
2. Беловой автограф — *БА* (ХПГ-48-6-2).
3. Авторизованная машинопись (*АМ*) с незначительной правкой и штампом редакции журнала «Колхозник» (ХПГ-48-6-3).
4. Неавторизованная машинопись (ХПГ-48-6-4).

Печатается по тексту журнала «Колхозник» со следующими исправлениями:

*Стр. 382, строка 18*: «глян» вместо «гляй» (по письму Горького В. Я. Зазубрину — *Архив Г*$_{X}$, кн. 2, стр. 391).

*Стр. 388, строка 1*: «поверим» вместо «поверием» (по *ЧА*, *БА*, *АМ* и письму Горького Зазубрину).

*Стр. 390, строка 1*: «бесцветным» вместо «беззвучным» (по *ЧА*, *БА*, *АМ*).

*Стр. 393, строка 26*: «Наяпливый» вместо «Ная...вый» (по *ЧА*, *БА*, *АМ* и письму Горького Зазубрину).

Написано в Горках, под Москвой, весной или в самом начале лета 1934 г. специально для журнала «Колхозник». Намечая, как главный редактор журнала, состав его первого номера, Горький в письме к заведующему беллетристическим отделом «Колхозника» В. Я. Зазубрину в июне (после 10) 1934 г. поставил первым это произведение: «1. М. Горький. „Шорник и пожар“, стр. 16» (*Архив Г*$_{X}$, кн. 2, стр. 387).

Конец рассказа, не вошедший в печатный текст, сохранился в разных вариантах в *ЧА* и *БА* (см. варианты) и был использован писателем в статье «Беседа», опубликованной, как и данный рассказ, в журнале «Колхозник», 1934, № 1, стр. 112—124. Здесь автор дал интересную характеристику персонажей, подобных шорнику: «Старик, показанный мною в очерке „Шорник и пожар“, — неглупый старикан, но он живет и работает для себя, к людям равнодушен. Он шил для них шубы — по своей „единоличной“ нужде, а будь у него сила — он с удовольствием снимал бы с людей не только шубы, а и кожу сдирал. Таких, как шорник, и подобных ему я встречал немало 〈...〉 В людях такого характера, как шорник, я не встречал ни одного, который искал бы коренную, общую причину невыносимо мучительной жизни трудового народа. Самое выпуклое и сильное в шорнике — равнодушие к людям. Вот только это равнодушие люди его типа сеяли и укрепляли в деревнях среди людей, враждебно оторванных друг от друга труднейшей борьбой за кусок хлеба» (*Г-30*, т. 27, стр. 377—378).

В другой раз Горький косвенно прокомментировал смысл рассказа «Шорник и пожар» в письме журналисту Д. В. Кузнецову (см. *Г-30*, т. 30, стр. 373).

25 октября 1934 г. Зазубрин писал Горькому: «...не согласен с Вами, что вся книжка „Колхозника“ вышла сероватой ⟨...⟩ Один Вы делаете номер отличным ⟨...⟩ Да и писатели многие в восторге от журнала. Многие уже говорят, что в таком журнале очень хочется напечататься» (*Архив* $Г_X$, кн. 2, стр. 392).

Положительный отзыв на первый номер «Колхозника» поместила «Правда». В рецензии отмечался высокий художественный уровень всех публикуемых произведений, а «Шорник и пожар» был назван «замечательным очерком» (1934, № 247, 24 октября).

О первом номере журнала, в частности о рассказе Горького, писала и «Комсомольская правда»:

«Открывается книжка журнала рассказом М. Горького „Шорник и пожар“. В рассказе предельно четко показан на одном эпизоде жизненный обиход прежней деревни со всей дикостью, людской разобщенностью и закономерной противоречивостью этого обихода.

По-горьковски ярки и интересны люди, в особенности скептик-шорник, остро чувствующий жизнь деревни, в которой на одном полюсе — богатство кулаков, на другом — нужда бедняков, но не понимающий истинной причины такого „неустройства“, не ищущий выхода из положения и по существу равнодушный к судьбе людей» (1934, № 251, 28 октября).

20 ноября 1934 г. Горький писал Зазубрину: «Увлекаться хвалебными рецензиями на первую книжку — не следует. Вам известно, что рецензент — это человек, который плохо читает. Возможно, что хвалебный тон рецензии объясняется еще и тем, что в журнале сотрудничает Горький, человек, уже как бы не подлежащий критике...» Здесь же писатель отмечал: «...я решительно против „снисходительных“ оценок произведений граждан литераторов, неспособных понять, что первый журнал для колхозников должен дать отличный и серьезный материал» (*Архив* $Г_X$, кн. 2, стр. 402—403).

## ЭКЗЕКУЦИЯ

(Стр. 395)

Впервые напечатано в журнале «Колхозник», 1935, № 1, январь, стр. 7—29.

В Архиве А. М. Горького хранится беловой автограф (*БА*) произведения со штампом журнала «Колхозник» на обложке (ХПГ-48-7-1).

Печатается по тексту журнала «Колхозник» с исправлениями по *БА*:

*Стр. 395, строка 28*: «окалывали» вместо «скалывали».

*Стр. 404, строка 7*: «явились на улице» вместо «явились на улицу».

*Стр. 420, строка 36*: «но спокойно» вместо «неспокойно».

Написано под Москвой, в Горках, летом 1934 г. для журнала «Колхозник». В письме к В. Я. Зазубрину от 22—23 сентября 1934 г. Горький сообщил: «Посылаю очерк для 2-й книжки» (*Архив $Г_X$*, кн. 2, стр. 390). Однако ко второму номеру рассказ опоздал.

Стр. 404. «*Тело злобы богопротивное / Отроцы божественни обличиша*» — Минея праздничная, стр. 384.

Стр. 404. «*Явите, вопия, тело мое...*» — Евангелие от Матфея, гл. 26, стих 260.

Стр. 405. «*Мира человека обновление*» — начало «Великого славословия» из ежедневного утреннего богослужения (Евангелие от Луки, гл. 2, стих 14).

Стр. 413. *...в деревню въехал губернатор.*— В письме В. Я. Зазубрину от 3 ноября 1934 г. Горький указал: «...мой губернатор — это разоблаченный „герой Весты" Н. М. Баранов». Генерал-лейтенант Баранов (1837—1901) участвовал в защите Севастополя. В русско-турецкую войну 1877—78 гг. прославился как командир небольшого крейсера «Веста», нанесшего повреждения турецкому броненосцу «Фехти Булен». В донесении о сражении Баранов необычайно преувеличил свои заслуги, за что решением военно-морского суда в 1879 г. был удален с морской службы. В 1893—1897 гг. Баранов — нижегородский губернатор, прославившийся жестокими расправами с участниками крестьянских волнений. В дневниках В. Г. Короленко неоднократно упоминается имя Баранова и, в частности, говорится о расправе, учиненной им в деревне Дубенки (см.: В. Г. Короленко. Дневник, т. II. СПб., 1928, стр. 324).

## ОРЕЛ

(Стр. 423)

Впервые напечатано в журнале «Колхозник», 1935, № 2, февраль, стр. 5—20.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Черновой набросок (*ЧН*) к рассказу (ХПГ-42-5-3).
2. Черновой автограф (*ЧА*) рассказа (ХПГ-42-5-2).
3. Беловой автограф (*БА*) — ХПГ-42-5-1.
4. Авторизованная машинопись ($АМ_1$) с незначительной правкой (ХПГ-42-5-4).
5. Вторая авторизованная машинопись ($АМ_2$) с правкой (ХПГ-42-5-5).

Печатается по тексту журнала «Колхозник» с исправлениями по *ЧА* и *БА*:

*Стр. 427, строки 19—20*: «рыжеватые» вместо «рыжие».

*Стр. 433, строка 9*: «шеи» вместо «щек».

*Стр. 434, строки 6—7*: «левой, правой,— эт!» вместо «левой, правой!»

Написано для журнала «Колхозник» осенью 1934 г. В письме П. П. Крючкову из Тессели от 23 октября 1934 г. Горький сообщил: «...прилагаю ‹...› рассказ „Орел“ для „Колхозника“ ‹...› Не следует ли печатать „Экзекуцию“ и „Орла“ одновременно в „Колхознике“ и в „Наших достижениях“? ‹...›

PS. „Орла“, напечатав ‹на машинке›, пошлите мне» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-452).

В конце октября Горький получил машинопись ($AM_1$) рассказа. Исправив текст, он сразу отправил его обратно: «Возвращаю „Орла“»,— писал он Зазубрину 3 ноября 1934 г. (*Архив Г*$_{\text{Х}}$, кн. 2, стр. 395). 19 ноября Зазубрин вместе с письмом к Горькому послал ему $AM_2$ со своими пометками и замечаниями: «...Вашего „Орла“ я прочел с удовольствием. Фигуры земского начальника, его письмоводителя и всех до единого мужиков Вам чрезвычайно удались. В этом рассказе люди показаны с исключительной выразительностью. „Орел“ идет у нас в № 1» (там же, стр. 397).

Иллюстрировал рассказ В. В. Доброклонский, и его рисунки были одобрены Горьким.

В Архиве А. М. Горького сохранилось письмо И. М. Касаткина, датируемое февралем 1936 г. Касаткин сообщал Горькому: «...впервые сейчас читаю и перечитываю новые Ваши рассказы: „Экзекуция“, „Орел“, „Бык“, — и, радуясь, волнуюсь, хохочу, плачу... Волнует мастерство. Радует неожиданность, новизна взятой темы. В голос хохотал я над исполнительным мужиком — „следственно“, „первоначально“, „артихектер“ ...Жалостна до жути эта спящая баба у колодца с ребенком, „по животу ползали мухи“ ‹...› И нигде об этих рассказах я не встречал ни слова. А о них, как о новом мотиве Вашего творчества, надо бы написать книгу...» (Архив А. М. Горького, КГ-п-34-16-53).

С т р. 428, *«ехал барин с поля, две собачки впереди, два лакея позади»*. — Из песни: Вечор поздно из лесочка, / Я коров домой гнала (см. «Песни для русского народа», собранные М. Смирдиным, ч. 1. СПб., 1859, стр. 382—383).

## БЫК

(Стр. 440)

Впервые напечатано в журнале «Колхозник», 1935, № 3, март, стр. 3—36.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Беловой автограф (*БА*) рассказа (ХПГ-1-11-1).

2. Авторизованная машинопись (*АМ*) с правкой (ХПГ-1-11-2).

Печатается по тексту журнала «Колхозник» со следующими исправлениями:

*Стр. 444, строка 36*: «Не ной» вместо «Не пой» (по *БА*).

*Стр. 448, строка 3*: «тут» вместо «ты» (по *БА* и *АМ*).
*Стр. 452, строка 23*: «дурам» вместо «дуракам» (по *АМ*).
*Стр. 453, строка 10*: «сигарку» вместо «папиросу» (по *БА* и *АМ*).
*Стр. 470, строка 20*: «где это» вместо «как, где это» (по *АМ*).
*Стр. 477, строка 6*: «клюкнут да опьянеют» вместо «клюкнут, пускай хватят, да опьянеют» (по *АМ*).

Написано, по-видимому, в конце 1934 — начале 1935 г.

11 декабря 1934 г. Зазубрин, перечисляя произведения, намечавшиеся к публикации в третьем номере «Колхозника» за 1935 г., писал Горькому: «Номер не блестящий. Вся надежда на Вас — на Ваш рассказ» (*Архив $Г_X$*, кн. 2, стр. 409). Очевидно, в это время Горький, находясь в Тессели, интенсивно работал именно над рассказом «Бык». Возможно, закончен рассказ в Москве, так как во второй половине декабря Горький уехал из Тессели. Мартовский номер журнала был сдан в производство 14 января 1935 г., а подписан к печати 15 марта 1935 г.

В очерке «Лев Толстой» Горький вспоминал, что когда-то читал «свой рассказ „Бык“» Толстому (*Г-30*, т. 14, стр. 260). Чтение могло состояться в одну из встреч Горького с Толстым в Крыму, в Гаспре, в конце 1901 — начале 1902 г. Горький рассказывал о реакции Толстого на это произведение: «...он очень смеялся и хвалил за то, что знаю „фокусы языка“.

— Но распоряжаетесь Вы словами неумело — все мужики говорят у вас очень умно. В жизни они говорят глупо, несуразно,— не сразу поймешь, что он хочет сказать. Это делается нарочно,— под глупостью слов у них всегда спрятано желание дать выговориться другому ‹...› А у вас — всё нараспашку, и в каждом рассказе какой-то вселенский собор умников. И все афоризмами говорят...» (там же).

Трудно сказать, написал ли Горький в конце 1934 — начале 1935 г. рассказ «Бык» заново или имел под рукой какие-либо материалы, относящиеся к произведению, которое он когда-то читал Толстому. Текст последнего не найден.

С т р. 440. «*Спаси, господи, люди твоя...*»— Псалтырь, псалом 27, стих 9.

С т р. 445. «*не знает ни заботы, ни труда*» — из поэмы Пушкина «Цыганы» (1824).

С т р. 451. *Вниз по реченьке гоголюшка плывет...*— См.: А. В. Ш е й н. Великоросс в своих песнях, обрядах, обычаях..., т. I, вып. 1. СПб., 1898, стр. 132.

С т р. 452. *Мне не спится, не лежится...*— Вариации украинской песни: «Ой не спится, не лежится, и сон мене не бере» («Полный сборник либретто для граммофона», ч. 2. СПб., 1904, стр. 71).

С т р. 455. *Гляжу я, гляжу я на черную шаль...*— Вульгаризированная вариация романса А. Н. Верстовского «Черная шаль» (1824) на слова А. С. Пушкина.

С т р. 479. *Не красива я, бедна...*— Народное переложение известного стихотворения И. З. Сурикова «Сиротой я росла» («Стихотворения И. З. Сурикова». М., 1875, стр. 63—64).

С т р. 480. *Эх, нужда пляшет... Н-нужда по миру ведет...*— Распространенная прибаутка, вошедшая во многие сборники. См., например: В. И. Д а л ь. Сборник пословиц, поговорок, речений, присловий... М., 1862. Совр. издание: «Пословицы русского народа». Сборник В. Даля. М., ГИХЛ, 1957, стр. 33.

## ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О И. П. ПАВЛОВЕ

(Стр. 481)

Впервые напечатано одновременно в газетах «Правда», 1936, № 62, 3 марта, и «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1936, № 53, 3 марта.

В Архиве А. М. Горького хранятся три экземпляра машинописи: первый правлен и подписан автором (ХПГ-42-8-1), второй более тщательно правлен, но не подписан автором (ХПГ 42-8-2), оба — без заглавия; третий не авторизован, содержит небольшую редакторскую правку текста и вписанное неустановленным лицом заглавие; видимо, этот третий экземпляр (ХПГ-42-8-3) послужил оригиналом набора для первой публикации.

Печатается по тексту газеты «Правда».

Написано сразу же после смерти И. П. Павлова, последовавшей 27 февраля 1936 г., и напечатано в номерах газет, в которых содержались другие материалы, посвященные памяти ученого.

Горький и раньше характеризовал И. П. Павлова как «великого человека», как одного из «нескольких десятков поистине гениальных работников искусства и науки» (*Г-30*, ст. 24, стр. 352; т. 26, стр. 193).

На страницах книги И. П. Павлова «Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных. Условные рефлексы...» (Л., 1924), посланной Горькому в Италию по его просьбе (*Архив Г*IX, стр. 235) и сохранившейся в *ЛВГ*, имеются многочисленные пометки писателя, свидетельствующие о его активном интересе к работе ученого.

С т р. 481. *В 1919 году я ∞ пришел...*— Возможно, здесь совместились две встречи Горького с И. П. Павловым. Первая из них могла состояться осенью 1919 г.: сохранилось письмо Горького от 3 октября 1919 г. одному из сотрудников Петросовета (Шатову) с благодарностью за лошадей, переданных Институту экспериментальной медицины по просьбе писателя (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-53-5-1). Но «в качестве одного из

трех членов „Комиссии“» Горький мог прийти к Павлову только после того, как эта «Комиссия» была создана, т. е. в 1921 г.

24 января 1921 г. В. И. Ленин подписал постановление Совета Народных Комиссаров об условиях, обеспечивающих научную работу академика И. П. Павлова и его сотрудников (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 42, стр. 573).

В «Постановлении» указывалось: «1. Образовать ⟨...⟩ специальную Комиссию с широкими полномочиями в следующем составе: т. М. Горького, заведующего высшими учебными заведениями Петрограда т. Кристи и члена Коллегии Отдела Управления Петросовета т. Каплуна, которой поручить в кратчайший срок создать наиболее благоприятные условия для обеспечения научной работы академика Павлова и его сотрудников⟨...⟩ 3. Поручить Комиссии по рабочему снабжению предоставить академику Павлову и его жене специальный паек, равный по калорийности двум академическим пайкам («Известия», 1921, № 30, 11 февраля).

В тот же день состоялась беседа В. И. Ленина с Горьким об улучшении условий жизни академика И. П. Павлова (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 42, стр. 573).

Вскоре (до 9 февраля 1921 г.) Горький посетил И. П. Павлова.

С т р. 482. *Лет шесть тому назад он, памятно, сказал мне...*— Встреча Горького с И. П. Павловым, о которой здесь идет речь, состоялась 27 сентября 1931 г. «Горький посетил ⟨...⟩ И. П. Павлова, только что возвратившегося в Ленинград из Швейцарии после участия в качестве представителя СССР на Первом Международном неврологическом конгрессе в Берне» (Ф. П. Васильев. Горький в Ленинграде.— В кн.: «Вопросы советской литературы», т. 1. М.— Л., 1953, стр. 392).

# III

## «ОЛИВЫ ПАХНУТ ГОРЬКО...»

(Стр. 487)

Впервые напечатано в книге: Архив А. М. Горького, том VI. Художественные произведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе и языке. М., 1957, стр. 173.

В Архиве А. М. Горького хранится автограф — *А* (ХПГ-51-43).

Печатается по *А*.

Стихотворение, судя по сорту бумаги и орфографии, написано, по-видимому, в середине 1920-х годов.

## О ЕДИНИЦЕ

(Стр. 488)

Впервые напечатано в журнале «Новый мир», 1960, № 11, стр. 57—62.

В Архиве А. М. Горького хранится беловой автограф — *БА* (ХПГ-40-4-1). Перед концом его — пропуск и пометка рукою автора: «Здесь письмо». Имелось в виду письмо А. А. Семенова Горькому от 23 июля 1929 г. (Архив А. М. Горького, КГ-рзн-9-5-58), которое для очерка «О единице» Горький несколько сократил.

Печатается по *БА* с включением письма Семенова.

Написано в 1929 г. и по содержанию — примыкает к циклу «Рассказы о героях».

С А. А. Семеновым (1882—1938), сыном крестьянина, Горький познакомился в марте 1912 г. на Капри, во время путешествия Семеновых по Европе (см. Ал. Т и м ш и п. Якутские друзья А. М. Горького. Якутск, 1970, стр. 4, 6). С тех пор они постоянно обменивались письмами. В 1920-х годах Горький неоднократно советовал Семенову написать автобиографию (см. «Новый мир», 1960, № 11, стр. 65—86).

С т р. 490 *...беседуя со мною на Капри...* — Семенов вспоминал об этой встрече: «Через час пришел Горький. Довольно

угрюмый вид его с первого раза не обещал ничего хорошего, но вскоре, за рассказом о далеком и по-своему интересном крае со своими маленькими строителями жизни, он оживился. Чувствовалось, что его интересует положительно всё, и я был немало удивлен тому, как много знает он о Сибири вообще, а в частности о наиболее близких мне Забайкалье и Ленском крае. Нашлось немало общих знакомых〈...〉Время до полночи прошло незаметно. За всю свою жизнь я не встречал более интересного собеседника. Хотелось и рассказать возможно больше, хотелось и наслушаться вдоволь» («Новый мир», 1960, № 11, стр. 64—65).

Стр. 491. *...о постройке им города Томмота.*— А. Семенов был инициатором закладки города Томмота (см.: Ал. Тимшин. Якутские друзья А. М. Горького, стр. 149).

Стр. 494. *...там жили два писателя — украинец Михайло Коцюбинский и поляк Стефан Жеромский.*— М. Коцюбинский находился на Капри с июня по август 1909 г., а также в июне-июле 1910 г. и в ноябре 1911 — марте 1912 гг.(см. т. XI наст. изд., стр. 555), С. Жеромский жил на Капри в конце 1906 — начале 1907 гг.

Стр. 495 *...вспомнил Крашенинникова, Дежнева, Щапова...*— *Крашенинников* С. П. (1711—1755) — русский путешественник, первый исследователь Камчатки; основной труд Крашенинникова «Описание земли Камчатки» вышел в 1756 г. *Дежнев* С. И. (1605—1673) — казачий атаман, исследователь Якутии. *Щапов* А. П. (1830—1876) — русский историк-сибиряк, сын деревенского дьячка и бурятки; в 1864 г. по подозрению в связях с революционной эмиграцией сослан в Иркутск. Его важнейшие труды: «Русский раскол старообрядства» (1858), «Великорусские области и смутное время — 1606—1613» (1861), «Земские соборы в XVII веке...» (1862).

## 〈СЕРАФИМ САРОВСКИЙ〉

(Стр. 496)

Впервые напечатано в книге: Архив А. М. Горького, т. VI. Художественные произведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе и языке. М., 1957, стр. 114—115.

В Архиве А. М. Горького хранится автограф — *А* (ХПГ-49-15-1) — с приложенной к нему статьей «Памяти преподобного Серафима Саровского (2 января 1833 — 2/15 января 1933 г.)», вырезанной из белоэмигрантской газеты «Возрождение», 1933, № 2784, 15 января. Статья имеет пометы Горького.

Печатается по *А*.

Набросок датируется 1933 г.

В конверте с заметками, относящимися к замыслу романа о российском Жане Вальжане (см. т. XI наст. изд.), находится листок без заглавия со следующей заметкой о Серафиме Саров-

ском: «В последние годы жизни Серафима Саровского его часто посещала мать А. И. Ланина, ей было в ту пору около 20-ти, а в год смерти С<ерафима> — 22. Вот что рассказывал с ее слов А<лександр> И<ванович>» (см.: *Г, Материалы*, т. III, стр. 383).

Стр. 496. *Серафим Саровский* (П. С. Мошнин, 1760—1833) — монах Сатисо-Градо-Саровской пустыни, Темниковского уезда (Тамбовской губ.). Сын курского купца. Канонизирован как «святой» накануне первой русской революции. Открытие «мощей» Серафима Саровского состоялось в 1903 г.

Стр. 496. *Ланин* А. И. (1845—1907) — См. примеч. в т. XVII наст. изд., стр. 572.

Стр. 496. *...бывала в Понетаевском, Дивеевском монастырях.*— Имеются в виду: *Серафимовский-Понетаевский* женский монастырь в селе Понетаевке Арзамасского уезда, учрежденный в 1864 г.; *Дивеевский* женский монастырь в 28 верстах от гор. Ардатова в селе Дивееве, основанный в 1861 г. (В. В. Зверинский. Монастыри в Российской империи. СПб., 1887, стр. 46, 135, 226); *Оранский* монастырь — см. примеч. в т. XV наст. изд., стр. 613.

Стр. 496. *Иоасаф Печерский* — Иоасаф, известный в церковной истории схимник и затворник нижегородского Печерского монастыря (ум. 1560) (Е. Е. Голубинский. История канонизированных святых, изд. 2. М., 1903, стр. 329).

Стр. 496. *...кто-то из оптинских.*— Из монахов Оптино-Введенской — Макарьевой мужской заштатной пустыни Калужской губернии Козельского уезда. Основана, по преданию, бывшим предводителем шайки разбойников Оптою в XIV веке.

## «СНОВА КРОВОХАРКАНЬЕ...»

(Стр. 498)

Впервые, без последних четырех строк, напечатано в журнале «Новый мир», 1940, № 8, стр. 207—208; полностью — в журнале «Октябрь», 1941, № 6, стр. 19.

В Архиве А. М. Горького хранится беловой автограф — *БА* (ХПГ-51-32).

Судя по содержанию и орфографии, написано в 1935—1936 гг.

Печатается по *БА*.

Стр. 498. *... ночью даже кит/ Где-то в море крепко спит.*— См. сказку Горького «Самовар» и примеч. в т. XI наст. изд., стр. 344 и 586.

## «ДОРОГИЕ МОИ ДЕТИ!»

(Стр. 499)

Впервые напечатано в журнале «Октябрь», 1941, № 6, стр. 18—19.

В Архиве А. М. Горького хранится: беловой автограф — *БА* (ХПГ-51-11).

Печатается по *БА*.

По свидетельству Н. А. Пешковой (см. Архив А. М. Горького, КОМ-1-90-1) стихотворение было послано Горьким из Горок в Тессели в 1935 г.

## «СЕЛО КОМАРОВО КОГДА-ТО РАСПОЛОЖИЛОСЬ...»

(Стр. 500)

Впервые, в отрывках, напечатано в газете «Комсомольская правда», 1946, № 142, 18 июня; полностью в книге: Архив А. М. Горького, т. III. Повести, воспоминания, публицистика, статьи о литературе. М., 1951, стр. 131—153, 265—281.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Незаконченный черновой автограф — *ЧА* (ХПГ-42-3-1); на первом листе красным карандашом написано заглавие «Овраг».

2. Частично перебеленный, но тоже не завершенный автограф без заглавия — *БА* (ХПГ-42-3-2).

3. Наброски к произведению (ХПГ-42-3-1,2; $ГЗ_{VI}$-8-76).

Печатается по *БА*.

Работа над произведением, вероятнее всего, относится к 1935—1936 гг. Тематически и по характеру изображения прошлого деревни оно близко к рассказам, которые в 1934—1935 гг. Горький печатал в журнале «Колхозник».

16 мая 1935 г. В. Я. Зазубрин писал Горькому: «После прочтения Вашего „Быка“, после того, как были уже напечатаны „Шорник и пожар“, „Экзекуция“ и „Орел“, я писал Вам, что Вы подходите к кульминационному пункту всего цикла задуманных Вами деревенских рассказов. Я не ошибся, в разговоре потом Вы сказали о повести, в которой будет история деревни нашей с ее пожарами, морами и голодами» (*Архив* $Г_X$, кн. 2, стр. 416).

С т р. 506—508. ...«*Братову песню* ∞ *Например,— про старосту...*— В рукописи на полях против слов «Братову песню» обозначено: «Самарские — Варенцова». Горький включил в текст известные ему варианты песен, содержащихся в «Сборнике песен Самарского края», составленном В. Варенцовым. СПб., 1862, стр. 92—93, 145. В этой книге, хранящейся в *ЛБГ*, страницы с песнями содержат пометы Горького карандашом.

Стр. 507. *Пела колыбельную с такими словами...* — На полях рукописи против песни написано: «„Русские песни“ Якушкина». В книге «Русские песни из собрания Якушкина» (Приложение к журналу «Отечественные записки» за 1860 год), хранящейся в *ЛБГ*, на стр. 286—287 против нескольких строк песни, вариант которой приведен Горьким в тексте, сделаны пометки карандашом.

## ‹ФОЛЬКЛОРНАЯ ЗАПИСЬ›

(Стр. 519)

Впервые напечатано в книге: М. Горький. Стихотворения. Библиотека поэта, малая серия, изд. 3. М.— Л., 1963, стр. 280—281.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Автограф (*А*) полного текста произведения с правкой, вариантом начала и припиской:

«Напечатайте, прибавив на отдельном листке следующее: ‹Далее—пропуск›.

Я не смогу восстановить текст, особенно начало. Будьте добры, внесите поправку.

Книга Терещенко „Русский быт“ [1] — слабая, возьмите Сахарова [2]» (ХПГ-52-35-2).

2. Автограф вариантов начала произведения (ХПГ-52-35-1), которые Горький, вероятно, и просил напечатать «на отдельном листке». На полях приписка: «[Сказитель ‹?› Алекс. Менин]. Сибирский? стихотворец, имеющий какое-то отношение к торговле маслом, ныне, кажется эмигрант. Мопин или Менин».

Судя по бумаге и орфографии, попытка воспроизвести ранее слышанное произведение сделана Горьким, по-видимому, в 1930—1936 гг.

Печатается по *А*.

---

[1] А. Терещенко. Быт русского народа, ч. 1—7. СПб., 1848 — *ЛБГ*.

[2] «Сказания русского народа о семейной жизни своих предков», собранные И. Сахаровым, ч. 1—3. СПб., 1836—1837 — *ЛБГ*.

## СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

**А. М. Горький.** Москва, 1928 г. . . . . 4

**В. И. Ленин и А. М. Горький в группе делегатов II конгресса Коминтерна у дворца Урицкого** . . . . . 32

**«В. И. Ленин».** Машинописная страница последней редакции . . . . . 43

**«Сергей Есенин».** Страница автографа . . . . . 63

**«По Союзу Советов».** Страница автографа . . . . . 217

**«Иван Вольнов».** Первая страница автографа . . . . . 327

# СОДЕРЖАНИЕ

## I


| | Текст | Примечания |
|---|---|---|
| В. И. Ленин | 7 | 527 |
| Леонид Красин | 50 | 552 |
| Сергей Есенин | 62 | 558 |
| Н. Ф. Анненский | 70 | 561 |
| О Гарине-Михайловском | 75 | 563 |


## II


| | | |
|---|---|---|
| И. И. Скворцов | 93 | 567 |
| Письма друзьям | 95 | 567 |
| Факты | 105 | 569 |
| По Союзу Советов | 107 | 570 |
| На краю земли | 237 | 594 |
| Рассказ | 252 | 598 |
| О Викторине Арефьеве | 256 | 599 |
| Советская эскадра в Неаполе | 258 | 601 |
| День в центре культуры | 268 | 603 |
| Терремото | 282 | 604 |
| Рассказы о героях | 289 | 605 |
| Иван Во́льнов | 324 | 608 |
| Камо | 345 | 615 |
| Об избытке и недостатках | 355 | 619 |
| Туман | 376 | 623 |
| Пейзаж с фигурой | 380 | 623 |
| Шорник и пожар | 382 | 624 |
| Экзекуция | 395 | 625 |
| Орел | 423 | 626 |
| Бык | 440 | 627 |
| Из воспоминаний о И. П. Павлове | 481 | 629 |

| | Текст | Примечания |
|---|---|---|
| «Оливы пахнут горько...» | 487 | 631 |
| О единице | 488 | 631 |
| ‹Серафим Саровский› | 496 | 632 |
| ‹Снова кровохарканье...» | 498 | 633 |
| «Дорогие мои дети!..» | 499 | 634 |
| «Село Комарово когда-то расположилось...» | 500 | 664 |
| ‹Фольклорная запись› | 519 | 635 |

ПРИМЕЧАНИЯ . . . . . 521—635

Условные сокращения . . . . . 523

Вступительная заметка . . . . . 525

Список иллюстраций . . . . . 636

*Печатается по решению*
*Президиума Академии наук СССР*
*и Комитета по печати*
*при Совете Министров СССР*

*
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Л. М. ЛЕОНОВ (главный редактор),
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ, Б. А. БЯЛИК, С. С. ЗИМИНА,
Г. М. МАРКОВ, А. И. МЕТЧЕНКО, А. С. МЯСНИКОВ,
В. С. НЕЧАЕВА, В. В. НОВИКОВ,
А. И. ОВЧАРЕНКО (зам. главного редактора),
В. М. ОЗЕРОВ, Б. Л. СУЧКОВ, Е. Б. ТАГЕР,
К. А. ФЕДИН, М. Б. ХРАПЧЕНКО, В. Р. ЩЕРБИНА

Тексты подготовили и комментарии составили:
*К. В. Айвазян, С. Г. Асадуллаев, И. В. Баскевич,*
*И. А. Бочарова, Л. Г. Бухарцева, Л. П. Быковцева,*
*Г. Д. Гвенетадзе, Т. Б. Дмитриева. Э. Л. Ефременко,*
*М. Б. Козьмин, А. М. Крюкова, М. В. Минокин,*
*И. А. Рейзакина, Л. Я. Резников, И. И. Соколова,*
*Е. А. Тенишева, В. Ю. Троицкий*

Ответственный секретарь издания *М. А. Семашкина*
Редактор двадцатого тома *Н. Н. Жегалов*

*
Редактор Издательства *А. И. Корчагин*
Оформление художника *Н. А. Седельникова*
Технический редактор *О. М. Гуськова*
Корректоры *Б. И. Рывин, Н. Г. Сисекина*
*
Сдано в набор 10/XII—1973 г. Подписано к печати 13/II 1974 г.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1.
Усл. печ. л. 33,7. Уч.-изд. л. 32,9. Тираж 298500 экз.
Тип. зак. № 1091. Цена 1 р. 50 к.

*Издательство «Наука» 103717 ГСП,*
*Москва, К-62, Подсосенский пер., 21*

*Набрано во 2-й типографии издательства «Наука»,*
*121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 10.*

*Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени*
*Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова*
*Союзполиграфпрома*
*при Государственном комитете Совета Министров СССР*
*по делам издательств, полиграфии и книжной торговли,*
*Москва, М-54, Валовая, 28*

Ур. 5/4.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ»